Юрий КАЗАРИН

НЕМТЫРЬ
(думающий стихи)

Роман

Москва
2026

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
К14

Казарин Ю. В.
К14 Немтырь (думающий стихи). *Роман* — Москва: Издательство Евгения Степанова, Издательство «Клуб печати», 2026 — 620 с.

ISBN 978-5-908107-13-6

Роман Юрия Казарина «Немтырь (думающий стихи)» — масштабное и панорамное произведение, охватывающее события советской и постсоветской эпох. В центре повествования находится главный герой — поэт, солдат, педагог, человек.

В оформлении обложки использованы материалы сайта бесплатных изображений magnific.com (freepik.com).

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Казарин Ю. В., 2026
© Издательство Евгения Степанова, оформление, 2026

ISBN 978-5-908107-13-6

От автора

Книга «Немтырь» создавалась добрую дюжину лет. Это не роман и не повесть и тем более не исповедь (хотя исповедальная интонация в тексте явно присутствует). «Немтырь» — это текст не автобиографический, это, скорее, попытка осознать внутренний мир человека, думающего стихи, когда художническое воображение, не отрицая реальной действительности, работает с предметами, явлениями и процессами духовно-культурного характера.

Немтырь — не изгой. Немтырь — это человек, который отказавшись от примата бытового и социального существования, живет музыкой и поэзией. Особенно поэзией — потому что поэзия есть оязыковленная музыка, вечная и вездесущая.

март 2023 г.
д. Каменка

I. От могучей крапивы

От могучей крапивы до белых тяжелых татарских гусей, до разреза-озера, возникшего сто лет назад на месте золотоносного карьера, до огородов, до ближнего и дальнего покосов, до Андреевских и Больших озер простиралось детство Ивана — мальчика пяти с небольшим лет.

Мальчика худющего, большеголового с тонкими, но уже подавшимися вперед плечами под нажимом грядущей сутулости — сутуловатости напряженной спины и возрастающей в ребенке силы. Через тринадцать-четырнадцать лет Ваня на спор поднимал руками передок военного Уазика и держал машину «на взлете» до тех пор, пока пара морпехов не снимала колеса с переднего моста и не ставили на их место новые.

Ваня жил, или «гостил», у деда с бабушкой и считался «городским». Городской — это одновременно и клеймо несовершенности, «недоделанности», чужака и возможность в любой момент и в любой ситуации получить поджопник от местного, от местных, или наших. Особенно от тех наших, кто жил на улице Цап-царап, где обитали кацапы, т. е. не большинство ссыльных татар, евреев, немцев и хохлов, населявших сначала деревню, а потом, после открытия талькового комбината, рабочий поселок Шатры (до революции — деревня, затем село с часовенкой — Шабры, что значит «соседи»). Чаще всего прилетало ногой под зад у колонки, когда какой-нибудь городской наклонялся к чугунному носику попить ледяной и сладкой водички.

Ваня был немтырь. «Наши» считали его недоумком, юродивым. Бабушка иногда шептала на всхлипе «блаженный». Ваня любил деревья, книги, небо, птиц, озеро, рыбалку и деда с бабушкой. Отца он избегал, сторонился его, «тырился» по углам: крупный красивый мужик, брюнет с голубыми глазами, алкоголик, буйный потомок

уральских казаков с реки Чусовой, был чудесный рассказчик и певец народно-комсомольских песен; он часто, как говорили в Шатрах, дрался — со всеми, без разбору: с женой, с соседом, с лошадью, с кривой сосной, с копной сена. Он тоже был городской — инженер с Уралмаша. Матери Ваня не доверял. Она всегда все забывала. Врачевала в уралмашевской больничке для женщин. Пела арии из засаленных итальянских опер. Яростно мыла полы и не умела готовить: все у нее подгорало, сгорало и выкипало, — как в душе, жаждавшей эстетики, театра, сцены и цветов.

Ваня был не просто немтырь — он был великим думателем и воображателем, а воображение, как известно, — это мыльный пузырь, но пуленепробиваемый. Ваня сочинял истории о любви, о любимой и о себе, всегда называя себя в этих героико-романтических мечтах не «он», не «Иван Черепов» и даже не «Ваня», он видел себя — благородного и сильного — только «Юриком»: бабушка часто кликала его, поддразнивая нежно и любовно — Ваня, Ванюша, Ванюра, Нюра, Юра, Юрик ты мой ненаглядный. Ваня был пока единственным, то бишь первым внуком.

Ваню нарекали убогим, и бабушка, Наталья Григорьевна Своякова, крестьянка, крымчанка, жившая до тридцать второго года на Украине, в Сумах, была неграмотна, но умна от природы. Травница, знахарка, — она знала наизусть (почти — скорее, в апокрифной форме) Ветхий Завет, Псалтирь и Четвероевангелие — запомнила в детстве своем с голоса своей неграмотной бабки. А еще она лечила все на свете — от простуды и поноса до страшных порезов косой и лошадиных ушибов (конь, мерин Ежик часто обступал ноги деду). «Убогий, — говорил бабушка, — это, знать, рядом с Богом, у Бога под боком, под рукой и в уме».

Отец и мать вернулись из Геленджика. Отдохнули. Морда у папы была тяжелая, неподвижная и опухшая, такая, что ткни сосновой иголкой — брызнет водка, твердой золотистой струей, как из-под коня. Ваня сидел посередине двора на траве и разговаривал с подорожником, особенно с его солдатиками, высокими, голыми, но с султанами на головах, — упрашивал расти как-то так ровнее что ли, не строем, конечно, не шеренгой по двое, а не в россыпь. Папа с мамой разговаривали — негромко, полуголосом-полушепотом. Отец, Василий Никанорович, инженер-казак, приобнял свою жену, Ванину маму, и тихонько подвел к забору, новому, сосновому,

крепкому, как все хвойное и свежеструганное. Он что-то говорил, говорил, говорил. В пол-уха Ване слышалось: «Катя, катится, каток, Катя, острый локоток, катыш, камешек, малыш…» Вдруг инженер-казак (а он был почти на полметра выше своей жены) бросил, швырнул, впечатал свою Катю — лицом, грудью, животом, всем телом — на забор, в забор, так сильно и крепко, что доски выдохнули: «Хххрясь!.. Гррязь!.. Мрразь!..» Он резко отпрянул от завалившейся под забор жены, развернулся, глянул на Ваню, как на кошку смотрят в деревне, — и задами, огородами ушел на автобусную остановку, спрятанную в березовую рощицу.

Так смотрят на кошку из космоса — как на мандавошку, — равнодушно, отстраненно: бегают тут, блин, размножаются… кусаются, гадят, воруют… и песен не поют!..

Ваня сидел в траве. Он чувствовал, что чем больше он вжимается в зеленую землю, тем крепче врастает в шатровские знаменитые на весь Урал глины — белые, красные, синие; он чувствовал, как корешки растений вьют свои прохладные бледные колечки, образуя червеобразные петли на запястьях, на щиколотках, на коленях… — Вот стану деревом. Вот стану деревом. Вот стану деревом…

Лица у мамы не было — его будто содрали, все и разом. Только глаза, темно-карие, почти черные, огромные и сухие дышали холодом гнева и позора. Позора и гнева… Катя поднялась, цепляясь за доски забора, и почувствовала твердый и нежный мед сосновой смолы на разбитых, измятых пальцах, на ледяных ладонях. Она оглянулась по сторонам и страшно улыбнулась всей кровью ободранного и сплющенного болью лица — улыбнулась Ване. И Ваня — не заплакал. Он вырвался из травы-земли и подошел к матери, и повел ее, маленькую-большую, убитую-живую к садовой кадке с дождевой водой. (Через полтора десятка лет Ваня впервые услышит морпеховскую идиому, нарекающую такое лицевое ранение: помидором умылся.)

Мама умылась. Прижала серую тряпочку к лицу и сквозь тряпочку эту сказала Ване: — Вот, Нора-Ванюра, умылась мама твоя помидором.

Слева от огорода, из прохода мимо стайки (по-уральски так звалась конюшня и коровник, и овчарня — все вместе) к Разрезу, показался огромный, пушистый, черный, с карей рыжинкой, кот Вася. А Вася всегда ходил впереди деда. Кот краем левого глаза увидел

нас, подумал, что что-то случилось, что что-то случилось, блин, у них опять что-то произошло, что-то нехорошее и губительное для людей и котов… Дед шел вслед за котом, в двух-трех шагах. Его еще не было видно, но чувствовалось приближение более крупного живого существа, нежели кот: воздух между дедом и котом сжимался (дед нагонял кота), уплотнялся, и казалось, что за котом следовал сначала призрак деда, а за ним — сам дед. Дед Иван Иванович — был в серых штанах и серой куртке, — в спецодежде, в комбинатовской (Шатровский Тальковый комбинат) в униформе, которую во все времена года носили и дома, и на фабрике, и на покосах местные мужики. Из дома быстро и, как всегда, внезапно появилась бабушка. Она мгновенно оказалась рядом с окровавленной дочерью, подхватила ее и увела на огород. Дед сделал последний шаг, ступая на двор, а на поляне уже никого, кроме внука, не было. Дед взглянул на забор, на помидорные неяркие потеки на двух заборных досках — и молча, не спеша, но очень быстро, быстрее, чем всегда, вошел в дом.

Ваня, сидя на траве, вцепился, сжав пальцы в кулачки, — в траву. Трава же еще крепче вцепилась корешками в землю. Земля еще сильнее вцепилась в себя, в воду, в дым из печных труб, в облака, в небо, в солнце, наглотавшееся дыму и облаков. Ваня не залопотал, не завалился на спинку — от страха, не закатил глазки, — но остался сидеть на месте своем, как слеза в уголке глаза. Он почувствовал — и в этот раз еще глубже и выше — могучее одиночество мальчика, пацана, человека, оставшегося один на один с ужасом, с гибелью, с миром, с собой, с любовью. Любовь, умывшаяся юшкой венозной, сидела в Ване, как в траве, вцепившись в него из первых своих, еще мало испытанных сил… Бабушка позвала его из-за забора в огород:

— Ваньша, аж поди-ка сюда, помоги-ка нам, грешным…

Ваня прошел в огородную калитку, не поднимая глаз: так было легче — смотреть в траву, оставаясь в траве, не выбираясь на свет белый… Он нарвал подорожников, лопушков и мяты. Катя стояла лицом к поленнице, отвернувшись от всех. Бабушка забрала Ванину травку и, кивнув не головой, но глазами, махнула легонько рукой, как бы указывая на Разрез, а просветы среди огромных красноствольных сосен: мол, иди, родной, туда, на свет, к воде, на простор.

Ваня только начинал рыбачить. Удочку ему изладил дядя Коля, офицер-ракетчик, служивший на Байконуре (славное было словцо!):

пацаны завидовали, взрослые не верили глазам своим — чудо! — Коля Орлов, сын дяди Вани и тети Наташи (такие именования «дядя Ваня» и «тетя Наташа» немного смущали, злили и улыбали Ванину душу, которая считала, что дед Иван и бабушка Наташа — это дед и бабка мира сего), — сын Орловых, Орлов-младший работает там, откуда летали прямо и сразу в космос…

Ваня взял удочку (удилище сделано из сухой стройной сосенки, такие растут только в сосновых подлесках, в чащобе молодняка; и это в ту пору, когда торговли — любой — просто не было: на полках стояли башмаки и сапоги, резиновые, уралобувские, фуфло полное — нет, не фуфло, туфта, как говорили вполголоса мужики шатровские, одна треть которых воевала с немцем, вторая — сидела в лагерях (на Урале три дыры — Сосьва, Гари, Таборы), третья была выслана сюда из Крыма, с Кавказа и Русского Черноземья. Но были и другие — беглые, как дед Иван. С «Уралобувью» соседствовали водка, мука (серая), хлеб завозился из города и продавался отдельно и порционно: одна булка белого и одна черного — в одни руки). Затем вытащил из поленницы притыренную банку с червями, подхватил битый-перебитый, бывший когда-то синим, трехлитровый бидончик — и рванул на волю. Кот Вася (он все чувствовал и знал заранее) уже ждал Ваню перед стайкой, сразу за поворотиком направо, чтоб не светиться перед дедом и соседями. Так и пошли они к Разрезу колонной по одному: Вася впереди (огромный и ужасный, гроза всех кошек и собак, которых доводил до обмороков и заикания), а за ним Ваня. Шли быстро: гуси! Татарские (соседи — татары) гуси, белые, дебелые и дебильные, как говорила мама-врач, красивые даже, блин, прекрасные, но агрессивные, как сука Гитлер и наш упокоившийся генералиссимус Железкин (так его иногда в подпитии аттестовал дядя Коля, вольнодумец и космический офицер). Гусей не было. Еще 127 шагов — и озеро, Разрез, глубочайший водоем, с кварцевой галькой по берегам. Озеро, небольшое, но для Вани — огромное, лежало в крутых берегах, как глаз. Разрез — не карьер с золотоносными жилами, а прямо-таки Разрез Глаза Земного… Перед Ваней открылся глаз воды, в который вливался глаз небесный. И Вася стал весь глаза — огромные, зеленые, раскосые; медленные глаза кота ждали потехи.

Ваня размотал леску, накрученную на удилище, сел на теплую гальку (всегда на одно и то же место, ставшее на десятилетие

Ваниным). Он положил удочку рядом, справа, на траву. Закрыл глаза и беззвучно прошептал: «О Разрез, великий, глубокий и живой! Помоги мне сегодня! Увидь меня своим волшебным глазом — земляным-каменным, древесным, травяным, водяным, воздушным, солнечным и небесным! Помоги мне сегодня!..» — Ваня видел и слышал бабушкины молитвы и знал, что молиться нужно о жизни и вечности (слово «Бог» он никогда не произносил, хотя был крещен, а через пару лет его крестят еще раз, хотя говорил с Ним и чувствовал Его, и знал Его, но не так, как бабушка и дед, который молился, как и Ваня, в себе, в себя, вертикально — одновременно в землю и в небо). Он посидел еще немножко, опустив голову и чуть-чуть приоткрыв глаза: два рыжих крупных муравья обнимались, встав на задние лапки — то ли целуются, то ли кусаются, то ли милуются, то ли дерутся… Как мама с отцом… Ваня сразу отбросил эту мысль, воспоминание, зачеркнул его, заштриховал слезой, замазал раздавленной пальцами черникой — и запретил себе вспомнить все это и думать об этом.

Наконец, он забросил удочку. Поплавок был из гусиного пера (как у Пушкина, белое, тонкое на конце и утолщенное посередине), ободранный от перышек стерженек, небольшой, легкий и веселый. Сердечко в Ване колыхнулось и задрожало — неприметно, но ровно и очистительно. В душе посветлело. Вода, наоборот, потемнела от солнца и сосновой тени на ней — так поплавок виднее. Он дернулся сразу, притопился и выскочил обратно — в мир, как Ванино сердечко. Потом поплавок прилег набок, и его повело в сторону. «На запад», — подумал Ваня и подсек: пескарь. Первую рыбку он всегда отдавал Василию, который сначала играл с ней, а потом хрустел — и глотал. Быстро. Страшно. Но — так надо. Ваня это знал. Он поправил на крючке червячка и забросил удочку в то же место.

Окунек обычно топил поплавок навсегда и вел его в сторону, то на восток, то на запад — ему все равно куда. Чебак, или плотва, поднимал поплавок и клал его набок и навзничь, а то и лицом вниз, то бишь горбатой спинкой пера кверху — к небу. Пескарь дергал поплавок во все стороны. Гольян и вьюн клевали по-разному, хаотично — так, будто играли в безумный, пьяный, безворотный футбол. Карась сначала отбивал поплавком морзянку, частую, как лихорадка, как дрожь, как мороз по коже — а потом топил его к такой-то матери, до дна. Щучка срубала поплавок, срезая бесповодковую

леску с крючком и грузилом, дергая поначалу снасть так сильно, что удилище загибалось в полумесяц, а запястье вывихивалось ненадолго… Рыба разных национальностей заселяла Разрез, как люди Шатровский рабочий поселок, многие из которых прозывались нацменами (национальные меньшинства). Ваня воспринимал это словцо как чуждое речи и языку — и переводил его так: национальный человек. Русские же, оказывалось, были людьми не национальными, а иными — чуть-чуть: они существовали как часть земли, почвы, глины, воды и всей природы, которая уже нещадно истреблялись городами. По разумению Вани, братья Демидовы были преступниками, беззаконниками, убийцами и насильниками лесов, рек, озер и Уральских гор. Дед постоянно поминал этих Петровских засранцев недобрым словом — ведь они срыли горы, иссушили реки и загнали людей в землю, под землю… Что ж, русские — люди земляные. Бедные… Они сейчас живут в земле и показываются на свет белый травой и деревьями.

Ваня был азартен, но не жаден, как местные с Цап-Царап, бравшие рыбу бреднями и сетями. После их выходов «на рыбалку» Разрез пустел. Оставалась в нем только рыбная мелочь. Озерцо это, образовавшееся в карьере еще при царе Горохе, было небольшим: метров пятьдесят в ширину и метров сто в длину. Зеркало Разреза, или по Ваниным размышлениям, Божье Око, тянулось с востока на запад, поперечное же сечение его упиралось в юг и север: Ване всегда казалось, что на дне Разреза лежит гигантский крест — золотой, медный, серебряный, — который однажды шевельнется на пятидесятиметровой глубине, поворочается — и встанет во весь свой стометровый рост: ликом на восток, а спиной к западу, и руки его — перекладина — ухватятся за север и юг… Так и будет однажды. Обязательно будет. Произойдет. Свершится.

Когда Ваня сидел с удочкой на Разрезе, его обязательно проведывали, навещали то бабушка (всегда говорившая уходящему на Разрез Ване — в спину: «Утонешь — домой не приходи…»; а сама крестилась и крестила мальчика с удочкой и котом, уводящим внука «на промысел»), то дед.

В этот раз пришел дед. Он явился, как всегда, ниоткуда: ходил он бесшумно — и в лесу, и в поле, и в саду, и в доме, и на покосах. Ваня оглянулся на присевшего чуть выше деда и улыбнулся ему — немтырь. Дед закурил. Помолчал. И тихо, в себя, сказал:

— Клюет? Бабке про папиросы не говори, ладно? — Ваня кивнул и вдруг ощутил в себе дрожь несчастья, морозец гибельный: значит, не привиделось — все, что он видел краем глаза, оказалось куда страшнее, чем фильмы про войну, куда шире и глубже глаз — никакие слезы не заслонят эту беду…

Дед притоптал папироску и, сунув окурок в карман спецовки, вдруг, опять же тихо и медленно, проговорил-прошептал:

— Отец твой… Да-а-а… Ты, Ваня, не трусь. И — ничего не бойся… Какой он отец?.. Если еще придет — убью… (Ваня понял — убьет. Точно убьет.) А ты, сынок, живи у нас с бабкой… Пусть они там додерутся… Я поеду к ним… В город… Посмотрю ему в глаза… И Катю заберу… Пусть принимает роды здесь… В Шатрах… Каждый день бабы рожают… Гинеколог… Да-а-а… — Дед сел рядом с Ваней. Положил свою крепкую легкую ладонь внуку на плечо: — Ничего, Ваня, и никого, Ваня, не бойся… Ты — не Черепов… Ты — Орлов-Черминский… Так обстоят дела… Сынок…

Дед говорил, как выдыхал, как задыхался,— так, будто произносил если не последние, то очень важные слова, но не для себя и не для внука, а для травы, камней, воды, для сосен, глины под галькой, для неба. Дед прибыл сюда, на Урал, в Шатры, с Украины, из Харькова, просквозив всю Россию, умирающую в гражданской войне. Он был из дворян: Орловы-Черминские — как родовой поток — вобрали в себя две ветви, военную (один из предков Ивана Иваныча лично словил Пугачёва и доставил его в Оренбург) и духовенскую (священники, епископы и митрополиты служили в Киевской Епархии Православной Церкви по всей Украине). Иван Иваныч успел окончить гимназию в Харькове в 1917 году. В 1918–1919 годах старшие братья, офицеры и священники, частью были расстреляны, частью ушли через Крым и море в Турцию. У деда было пять братьев. По семейной традиции старшего нарекли Яном, а младшего Иваном. Отец и дед Ивана Ивановича были казнены большевиками в Архангельске: молодой Иван приехал дикими поездами в Архангельск в 1921 году, нашел бараки для ссыльных, где, прямо в конторе, нашелся добрый человек, который вывел деда на снег, закурил мохорочки и сказал, чтобы парень гнал отсюда лошадей (каких таких лошадей, удивлялся Ваня) прямо счас — поезд через два часа на Питер идет, потому что как раз позавчера отца и сына Орловых-Черминских расстреляли по постановлению ревтрибунала

русско-американского Архангельска (американцы скоро сбегут: большевики и партизаны шибко допекали — жить не давали, да и виски кончились). Иван Иваныч ушел в Россию. Несколько лет жил с цыганами, стал кузнецом и лошадником («ветринаром»). Потом вернулся на Украину, купил новый паспорт на царские золотые десятки, стал просто Орловым, избавившись от второй части фамилии. Где-то в деревне (дед не говорил в какой) он познакомился с Натальей Свояковой, но оставил ее и уехал в Москву, а потом в Подмосковье, где работал на спиртовом заводе года два, чуть не спился с круга (жил с простой женщиной, мещанкой в городишке, допился до канавы). Сердобольная Анна прижала Ивана Иваныча с выпивкой — сказала, мол, уезжай, Ваня, не то погибнешь. И Иван Иваныч завербовался с новым паспортом на Урал, где нашли тальк в Шабрах, переименованных почему-то в Шатры, — видимо из-за холмов и сопок, потянувшихся к югу от Ледовитого океана. Устроился на тальковый комбинат кузнецом, но ручным, ковал все: и навесы, и ручки дверные, и решетки, и подковы, и скобы, и особые заказы — для начальства — каминные решетки, узорные ворота и запоры, ножи, палаши и другие клинки, — все, чему научили Иван Иваныча цыгане.

В 1934 году Иван Иваныч стучал молотком по железке, а Петя, молотобоец, курил снаружи, а потом вдруг вбежал в кузницу и шепотом прокричал: «Иван Иваныч, там баба с девчонкой тебя спрашивает». Дед выглянул в окошечко и увидел Наталью Григорьевну, ту девку, с которой он года 3–4 назад познакомился на Украине. Она стояла как нищенка — драная, пыльная и смертельно худая (на Украине был голод), с девочкой лет четырех. Это была маленькая Катя, будущая мать Вани. Иван Иваныч шепнул Пете: мол, беги домой, Зину спровадь к родным — пусть забирает все, кроме коровы (девчонке молоко нужно). Потом Иван Иваныч и Наталья поженились, и было у них трое детей: Катя — старшая, Софья умерла в 1937 году от скарлатины, Коля родился накануне Великой войны — в апреле 1941 года… Такие дела.

Когда забрасываешь снасть прямо в солнце, поплавок исчезает, глазам больно, но боль проходит — и пересоленное солнце насыщает зрение золотым и фиолетовым, и эти плавающие цветные лепешки, не сливаясь, порождают видения: кое-что из того, что было с Ваней до его рождения, что-то из того, что происходит сейчас,

и нечто, что еще случится в недалеком и в сильно отдаленном будущем… Вокруг Разреза, не кончаясь, начиналась и продолжалась жизнь: птицы — береговушки и редкие чайки стригли волну, вороны и сороки караулили черного коршуна и ворона — готовились к атаке, зачищая гнезда свои, трясогузки — парами — бегали вокруг всего живого и расписывали воздух, траву и камешки китайскими иероглифами, работая, как Врубель, дрожащими кистями хвостиков своих — длинных и постоянно записывающих все, что проживает окрест. Вокруг Разреза, по берегам, пасли на привязях телят. Бабушка принесла полугодовалому бычку Мишке ведро с пойлом, насыщенным резаной картошкой, хлебом и комбикормом. Оцинкованное ведро, уже пустое, стукнулось о железный штырь телячьего поводка и сказало: «Бааумааннн!» Бауманы, немцы, жили как раз левее Орловского сенника — и постоянно работали — то картошку поправляли, то сено метали в стога, то ковырялись в огороде, то поливали грядки, то открывали-закрывали теплицы и парники.

Дед с бабушкой ушли, наказав Ване, утонумши домой не приходить, — все трое посмеялись, и Мишка, черный бычок, улыбнулся Ване и посмотрел с тоской вослед удаляющейся бабушке.

Когда человек, любимый и близкий, побыв с тобой минуту-другую, уходит, — от него остается что-то самое главное для тебя — в воздухе, в земле, в небе, в свете солнечном, — в тебе. Как призрак любви. Как дыхание с уст человеческих на зеркальце карманном… На тебя сразу нисходит сладкое одиночество: сидишь и улыбаешься, как дурачок.

Ваня опять увлекся рыбалкой — рыбалочкой, редким клевом и Васькиным полукошачьим-получеловечьим бормотаньем, зеванием, сосредоточенностью, улыбкой и молчаньем. Ваня в очередной раз забросил удочку и вдруг невольно обернулся: слева и чуть-чуть сзади стояла незнакомая женщина, лет сорока, в простом, но дорогом, добротном платье-сарафане серого с серебринкой цвета в мелкий-мелкий горошек. Миловидная. Почти красивая. С короткой стрижкой. Волосы густые, светло-русые, некрашеные и без перманентной завивки. Руки — голые, красивые. Ноги стройные и «прекрасные» (подумал Ваня). Городская? Да, вроде бы так. Не местная — точно. Но и, блин, не городская все-таки. Она посмотрела Ване в глаза — своими серо-сине-голубыми с зеленой искоркой глазами. Улыбнулась. Откуда она?.. Такая чужая и своя? Будто иная

жизнь вошла в нашу. Жизнь — в жизнь. Или — не жизнь? По Ваниному загривку пробежал морозец. Ваня погладил себя по голове и глянул на ладонь — инея нет. Он опять оглянулся на женщину — никого. Как и не бывало. Привиделось? Кот Василий, услышав Ванины мысли, сказал: «Ну да, перевиделось». Васька подошел к Ване и пробормотал: «Пилирягу сюда… Не бойсь, Ваньша, — я ее знаю, тетю эту… Она еще пилирейдет…»

Ваня тоже слышал кота, черного, зеленоглазого и на вид сурового. Ваня сам видел, как Васька умучил на огородчике гадюку — до смерти. Дед пришел и, подцепив дохлую веревочку змеи, вынес ее за стайки — воронам. Васькин язык, и особенно речь, значительно отличался от Ваниного: в котовском языке было очень мало слов, фразы были короткие, монологи сдержано-эмоциональные, стилистка слышимого только Ваней языка была нашей, деревенской. Нет, не деревенской и не городской — она была небесно-земляной и чистой, без матерщины и грязных слов. Ваниного товарища Вася звал Викторономычем, по отчеству. А нехороших и злых людей прозывал не гадами, а нарекал, например, так: «Этот нечеловек — хуже меня — я в сравнении с ним человек человеческий…» Ваня научил кота песенке, которую распевали трех-пятилетние детишки под руководством воспитательницы — это была песенка из серии городских распеваний в честь и в защиту Кубы, где мохнатый Фидель Кастро учудил революцию (к Фиделю Ваня относился терпимо, а вот Че Гевару боялся и ненавидел — бандит-бандитом, да еще и бабий берет на ухе, да и рожа у него бабья, нежная, в редких кучерявых с изломом волосиках — такие растут у мужиков в общественной бане на лобках). Иногда Васька и Ваня, чаще по инициативе кота, распевали такую чушь собачью:

Слышишь чеканный шаг —
Это идут барбудас…

Какие такие арбузы? — И они с котом ржали, как от щекотки. Чаще пели загадочную песню о Кубе:

Есь каписька мори
Остро небашо
Люди там герои

И с башо душо
Люди там герои люди там герои
И с башо душо и с башо душо

Куба — куба — куба — куба
Куба — куба — куба — куба
И с башо душо…

Лет через пять они с Васей запоют с бесконечными повторами (после ссоры Хруща с Фиделькой):

Куба отдай наш хлеб
На — забирай свой сахер
На х.р нам нужен мохнатый Фидель
Куба иди ты на х.р…

Кот слово «х.р» не произносил, он заменял его на «фигу»… Такие дела.

Но наиболее интересной и родной для Вани в этих диалогах, бесконечных и непрерывных (они происходили даже во сне), была лексика кото-человеческая: кадапоник (подоконник), ылып (пыль), котоклизмы (катаклизмы), котострофа (катострофа), котаться (кататься), котельня (кошачья лежка), мяунямки (еда), мяуко (молоко), мяубовь (любовь), мррррась (дождь), мрос (мороз), копа (попа), пакашки (какашки), реветьлюция (революция), митана (сметана) и др.

Приход незнакомой женщины, весь ее вид, а особенно ее глаза с зеленой искоркой и безмолвная речь о том, о чем придется Ване думать всю жизнь,— все это разом переменило Ваню: его нутро, душу и ум. Немтырь повзрослел.

Он по-прежнему слышал тишину, наполненную безмолвными разговорами, криками, шепотами, пением, и мыслями растений — всех,— зверей, птиц и рыб. Он по-прежнему слышал в себе музыку — постоянно: во сне, наяву, в мечтах и в часы бреда, когда тяжело и трудно болел простудами, особенно ангиной. Ангина любила его. Она пахла в тебе смертью, малиной и тройным одеколоном, которым бабушка натирала Ване спину, ножки и грудь…

Ваня смотал удочку, зацепил крючок за медицинскую резинку, объявшую в три кольца комель соснового удилища. Вынул

из бидончика парочку пескарей, положил их, живых еще, перед Васькой, который благодарно глянул на Ваню и пробормотал: «Пасиба, Ванюра… Поларыбалили, да?» Ваня выпустил всю пойманную рыбешку в Разрез — идите домой. Сполоснул бидон, вытряхнул червей в траву — идите домой. И подумал — Ваське: и мы пошли домой, что ли… Как-то нынче все у нас наперекосяк. И кулик вон заплакал, забегал, отпечатывая на приводной глине строчки буковок своих трехпалых, трехлистных, трехострых. Глиняная страница многометровая, а на ней сказка куличья. Сказка в стихах. Хороших. Не паскудных, как у папы Василия Никанорыча, который любил напевать (это по трезвому делу-то!):

Хозяйка бл.дь пирог с говном
Котлеты тоже из конины
Подайте шляпу и пальто
Е.ал я ваши именины…

Почему «тоже»? Смешная строчка: котлеты тоже из конины… Или вот такое, это уже в пьяном виде:

Чайки за кормой верны кораблю
Как ветрам облака
Трудно первый раз сказать Я люблю
Так любовь нелегка…

Чушь собачья (дедушкино выражение): так и не говори. Трудно, нелегко — не люби. Жри свою водку. Бей жену. Пинай под зад пятилетку-сына. Но Пятилетку социализма — не трожь! Ты же, козел, сталинист-ленинист и хрущист хренов. Строй свой коммунизм, лежа мордой в своей блевотине… Вырасту — убью гада. Казачок хренов. Герой первой дивизии НКВД им. Ф. Э. Дзержинского, сын героя Гражданской войны, красного партизана, которого Коуровские мужики за дикое бл.дство начальническое (о, председатель сельсовета, орденоносец!) сунули башкой в прорубь на реке Чусовой — и вморозили туды по пояс — волки ноги объели, а через тридцать лет тебе тоже ноги отрежут — врачи. И похоронят тебя в коротком детском гробу… Вот такие дела… — Так думали деревья, особенно березы. Так думала земля. Так плакала вода…

Ваня еще посидел, посмотрел воде в глаза, небу отраженному — в лицо, встал — и пошли они с котом Васькой до дому. И все человечество, все птичество, все рыбчество и все насекомчество перестало быть войной, а превратилось обратно в любовь, улыбнулось, прилегло на траву, на воду, на дерево и на небо — и задремало…

Потянуло небом. Посвежело. Трава зашумела вечерней росой. Ваня взобрался на пригорок, отбивавший поселок от Разреза, оглянулся: озеро приподнялось над берегами, вообще над землей, потянулось вверх всем замутившимся зеркалом воды, уходя в туман, в котором уже виднелись завихрения, ходы и повороты. И чудилось, что там, внутри тумана, кто-то ходит, один и одинокий, как душа в единственном числе и одиноком; Ване и казалось, и виделось, и слышалось, как сандалии этого одинокого, совсем иного, хлопали беззвучно по пяткам, как край его одежды, белой, волглой и тяжелеющей, цеплялся за приводные тальники и черемухи… Ух-х-х… Ваня и кот пошли к стайкам, в которых стояла уже скотина — и дышала сильно, дружно и тяжело — так, что земля чуть-чуть гудела — подрагивала под ногами.

Они — Вася впереди, Ваня следом — прошли мимо сенника, запасного картофельного огородца и приблизились к стайкам… — Гуси!.. Ваня остановился. Вася вспрыгул на заборчик, дряхлый, прясловый, жердевой. «О, все! Хорош! Битва!..» — Ваня осмотрелся: ничего бьющего и убивающего окрест не было — ни камней (все растащили огородники на постройку изгородей), ни палок, ни поленьев (все разнесли по домам — жечь в печах). Гусак — Ване по плечо — уже развернулся, как боевой фрегат, и пошел на сближение, чтобы атаковать пацана. Он вытянул уже параллельно земле шею, в горле его боевом уже что-то клокотало — то ли кровь, то ли слюна, то ли гусиный самогон, то ли песня боевая, песнь атаки, песнь битвы, песнь гибельная и победная одновременно. Ваня отступил шага на три — и вдруг увидел в траве под молодой с золотистым стволом березкой старую, иссохшую в камень, в бетон, в кремень коровью лепешку. Ваня поднял ее: о, и тяжелая, и легкая, и острая по краям, с прекрасными аэродинамическими характеристиками лепешка — не лепешка, а летающая тарелка, НЛО. Карающая лепешка… Ваня выставил левую ножку вперед, перекрутил верхнюю часть тела вправо, отвел правую руку с лепешкой карающей максимально в сторону и чуть-чуть назад. Гусак был уже совсем близко

в трех метрах… Итак, замах — и, как древний грек — бросок, прицельный, точный, карающий… Шея гусака переломилась как раз пополам. Птица-корабль рухнула. Ваня и Васька бросились вперед. Гуси отступили, охренев от увиденного возмездия. О, возмездие за годы позора и бегства от этих милых и тупых созданий!.. Ваня выдохнул — все. Кончено. Мы почти в доме. Мы дома.

Домик был казенный, шлакоблочный, в один подъезд, двухэтажный, шестиквартирный: по три на этаже — одна двухкомнатная и две однокомнатные. Ваня — в себе — называл его волчьим домиком; в нем жило шесть семей: мы, Орловы, а также волкообразные — Вольфы (евреи), Вульфы (немцы, а может, и наоборот), Волковы, Бирюковы (бирюк — тоже волк) и Бирюхановы (татары), по-русски «властелины волков». Все мужики (пять Акелов маугли-образных и Орел, Ванин дед) работали на комбинате, где добывали тальк, который присыпал белой пылью весь поселок и окрестные лесочки. Все шесть семей держали скотину: корову, овец, телят, кур, гусей (Бирюхановы) и одного коня (Ежика нашего, дедушкиного любимца, «мальчика», как называл его дед, когда оглаживал шею и морду этого огромного гнедого мерина семисильного, могучего, умного, хитрого и крайне ироничного шутника: он любил брать Ваню большими оранжеватыми зубами за шкирку — за воротник куртки, пальтишка, шубейки — и поднимать его над землей, и держать так минуту-две в полете, в висе, в невесомости, смеясь во все свои огромные челюсти крокодильи. Когда Ваня с Васькой подходили к дверям домика, за спиной, в стайке, коротко взревнула, как динозавр, корова Орловых Ночка. Динозавров в те поры называли ящерами, или звероящерами — разница большая: динозавры — это будущий Стивен Спилберг, а звероящеры — это реальность современная — ящериц было окрест до фига и боле, они сновали всюду — Шатры — это край каменистый, и где-то в горных лесах можно было найти один из верхних этажей многоярусной пещеры Хозяйки Медной горы.

По вечерам все выходили во двор. Расставляли табуретки, устанавливали стол и выносили от Орловых единственный в поселке телевизор «КВН» с крохотным экраном с огромной линзой на нем — будто телевизор — через лупу — всматривался в народец, собравшийся перед Волчьим домиком. Показывали — редко — фильмы, чаще — новости, какие-то невеселые огоньки и балет.

Балет любили все — смотреть, конечно: бабы плевались на голые ноги и попы балерин, а у мужиков урчало в животах — так и сидели часок-другой, сладко зажмурившись: эх, живут же люди…

Все были нищие, но сытые огородом и скотиной. Денег ни у кого не было: Хрущ заломил налоги и требовал повсеместно сеять и выращивать кукурузу, которая, сука, на Урале не росла — вот такое партийное ку-ку получилось. Все воевали, все сидели в лагерях, все были ссыльными и бывшими врагами народа и товарища Сталина — лично. И все были, в общем-то, добрыми людьми, но молчаливыми и водконестойкими. Пили в основном бражку, настойки и реже «Московскую» (Ваня изумлялся: аж с Москвы это дерьмо везли — эшелонами, самолетами, кораблями). Поселок — официально — имел статус «рабочего»: рабочий поселок. Рабочая Москва, рабочий Нью-Йорк, рабочий, блин, Париж… Да-а-а…

Ужинать сели впятером: Васька к своей миске с молоком и хлебным мякишем, остальные к столу. Была у бабушки сковорода — не сковорода, а сковородища диаметром больше полуметра. Сначала бабушка в одном конце (скажем, северном) сковороды жарила курицу, потом в другом конце (южном) — колбасу и дедово любимое сало, спустя полчаса начинала в западных пределах сковороды жарить картошку и — отдельно — строгать овощной салат в огромную чашу хрустальную (от деда-буржуя досталась), дед доставал из овощной ямы соленые огурцы, помидоры и квашеную капусту (Катя помогала — то бабушке, то деду, то Ваню умывала, то Васю гладила — и все на ходу, на бегу). Потом — в заключение — бабушка в середине сковороды жарила яичницу из двенадцати яиц. Вот и все: ужин готов. Рассаживались у круглого стола, на котором уже стояли три хлеба (белый, черный, серый), салаты и соленья, а также две рюмочки и бутылка (чаще початая) водочки… Ели спокойно, молча, основательно… Мама Катя, с разбитым лицом, сегодня помалкивала, не тарахтела… Бабушка тяжело вздохнула и как-то в сторону произнесла: «Ктой-тось нынче у Бирюхановых гусака прибил…» — Все переглянулись, а Ваня начал медленно сползать со стула под стол… Дед ловко вернул Ваню на место, подмигнул ему и сказал: «Кто ж это такого добряка кончил?..» — и широко улыбнулся. Ваня отвернулся от стола и стал смотреть в окно, понимая, что и окно смотрит на него — небом и отцветшей сиренью. И подумало

окно: пронесло тебя, Ваня, мимо бури житейской — пей чай и беги на травку свою.

Ночью Ване снился сон. Сначала приснился отец, Василий Никанорыч, пьяница-казак и красавец-мужчина. Он собирался на охоту. Показал Ване СКС-43 (карабин Симонова, скорострельный, образца 1943 года). Говорил, что нашел тех, волков, которые папе его ноги съели, пока он торчал башкой вниз из проруби, и смотрел мертвыми глазами на налимов, и силился сказать мертвым ртом, что замерзает он, что, мол, вот выберусь — всю Коуровку перебью из ружья. Потом снилась мама Катя, тоже неживая, она почему-то сидела у входа в свою больничку и раздавала крыжовник — каждому прохожему по кулечку. Потом Ваня видел себя, уже взрослым парнем, в бронежилете, в комбинезоне цвета хаки и в горных ботинках. Он спрятался в камнях, где-то в горах, за которыми чувствовалось море и другое, новое небо. Его гнали, как зайца, какие-то иностранные бойцы, часто стреляя в него, в камни, по кустам, по синему с сединой горному воздуху. Пахло жженым кремнием, порохом и жизнью, которая то касалась смерти, то отрывалась от нее — и бежала, дышала-задыхалась, петляя между скал и кустов самшита. У Вани кончились патроны — уже давно, на поясе болталась Ф-1 — на последний, пожарный, гибельный случай… Ваня уходил от погони, а те, враги, все-таки близились и близились. В горле стало сухо и тесно… И вдруг… И вдруг Ваня вспомнил, что он может, что он умеет летать. Он разбежался, оттолкнулся от гор левой ногой и стремительно полетел, уже не касаясь земли и смерти, вперед и вверх, а потом вниз — с гор, к белому песку на кромке моря. И — он — проснулся. Он лежал на спине, а рядом на постели сидела Та женщина нездешняя, что была у него на Разрезе, в том же серебристо-светло-сером платье-сарафане. Она пахла лимоном, чуть-чуть апельсином и малиной. Женщина взяла его руку. — Знаешь меня? Помнишь меня? — спросила она. Ваня молча кивнул и почувствовал, как в горле его стало сухо и тесно. Женщина наклонилась ниже и сказала тихим голосом, тихим и чуть дрожащим («Так осины говорят», — подумал Ваня): — Помни всегда, что ты можешь летать. Ваня прикрыл глаза — от ужаса и от любви. Когда он открыл глаза, женщины не было. И Ваня уснул — сразу, глубоко и спокойно: теперь он умел и мог летать.

* * *

После убийства татарского гусака прошло пять лет. А в лето гибели золотистой и белой, злой и туповатой птицы от карающей пересохшей коровьей лепехи, полетевшей, как диск древнегреческий из пясти Геракла, Ваню отправили в город: в конце августа Катя приехала на выходные и долго говорила с дедом и бабушкой о Ване, о казачке-политехнике-машиностроителе и еще о каком-то Андрюше, который вот-вот подъедет, объявится и присоединится к семье инженера и врача Череповых. Катя пополнела, похорошела. Походка ее изменилась: она стала ходить-похаживать, как татарская гусыня, одна из жен погибшего гусака (тетя Зоя Якубова, соседка из соседнего домика, так и не проведала, кто грохнул ее Тегу-Тегу: «Тега-Тега-Тега», — созывала свое гусиное воинство тетя Зоя). Андрюша был в Кате, как в матрешке, думалось Ване. Принцип матрешки наблюдался Ваней повсеместно и во всем живом, кроме растений. Хотя… Капуста, горох, бобы и прочие зерновые работали примерно так же — их андрюши тоже распухали внутри плодов и потом сыпались повсюду, как дите сыплется с утра и сыплет по дому босиком, бодро и весело. Да еще мак. Население маковой головушки, потемнев и подсохнув, легко умещалось в горстке — а затем и во рту.

Забор постарел. В нем появились щелки, в которых, как зернышки укропа с хвостика пушистыми — в зубах, — застревали бабочки, мотыльки и стрекозы, как бы собираясь с Ваней на рыбалку: на — бери меня, — как раз окунь, чебак или щуренок клюнет. Помидорное пятно крови сошло с него, но Ваня все равно его видел, и сердце его ловило холодок беды, боли, гнева и отмщения.

В городе, переименованном в Свердловск, то бишь названном заново в честь убийцы царской семьи Романовых (Ваня думал и знал, что имя святой Екатерины, имя его мамы Кати невозможно замыть, как помидорное пятно на заборе; через тридцать с лишком лет Якова Михайловича сбросят с корабля Уральских гор, миллионы лет плывущего с юга на север — прямо в Ледовитый океан, который Ваня еще увидит своими новыми глазами матроса Северного флота), — в этом вечно сером, грязном и пыльном городе Ваню снарядили в школу — немтыря!.. Но не в школу дураков № 111, а в другую — нормальную. Ваня школу не любил. Нет, скорее, ненавидел по-детски, по-щенячьи, по-ангельски: школа не для дураков делала послушных (с виду), покорных (рабски), жизнерадостных идиотов,

рубившихся за высокие отметки, оценки, похвалы, вымпелы, знамена и за прочую хрень, не имевшую к жизни, к смерти и к любви никакого отношения.

Сколько Ваню ни вжимали в город — он не вжимался и не вживался в пыльную вселенную Уралмаша. Здесь даже воробьи говорили на ином, городском воробьином языке, мусорном и матерном. Ваня и сам пробовал вжаться в каменные дебри рабочего района, в его бараки и в домишки частного сектора. Не вжималось, не прижималось, не приживалось растение Вани на кирпично-бревенчатой почве огромного заводского пригорода Яков-Михалычева-Свердловска. В деревне Ваня был хоть не свой, не поселковый, не шатровский, но всякий житель Шатров чувствовал и понимал Ваню и разрешал ему быть частью деревенского воздуха, частью дома, палисадников, огородчика, огородов, покосов и полей, леса, полупересохших речонок, озер и карьеров, наполнившихся водой — разрезов. Ваню удивляло, однако, то, что и в городе, и в Шатрах он был дитем, ребенком, человеком погоды. Душа его больше зависела от дождика, чем от хмельных казачьих слез пьяного папы. Пьяный папа матерился искусно, с надрывчиком, с нажимом и всегда слегка улыбаясь. Уралмаш матерился — весь, всегда и всюду. В Шатрах ругалась только улица Цап-Царап, на которой жило 25–30 семей одним общим табором. Жители Цап-Царапа в основном воровали — все и везде, гастролировали в Катер (от «Екатеринбурга» по подобию «Питер» от «Петербурга» и «Петрограда»), щипали сумки, лопатники (портмоне) и все, что плохо лежит. А потом «отдыхали — ну-с» на Цап-Царап: сначала пили водку, потом самогон, потом брагу, потом одеколон и лосьон, потом политуру, клей, тормозную жидкость и различные метиловые смеси, уворованные бог весть где, а еще жидкость от комаров и других летучих и ползучих гадов. В сущности, вся это шантрапа была просто родственным сбродом фраеров, хулиганов, разбойников и душегубов.

Ваня заметил, что не матерятся только несколько воркующих старшеклассников в их школе, директор и завуч по воспитательной работе, то бишь «театралы», тов. Сталин и тов. Берия.

В дедушкином доме, в главной комнате, звавшейся не залом, как у многих, но большой, — на стене, тоже главной, белели прямоугольные пятна, не забеленные как нарочно. Здесь висели портреты членов Политбюро ЦК ВКП (б). Сюда ничего не вешали:

ни репродукций Левитана, ни Коровина, ни портретов Кати и Коли (они висели в другой комнатке). Светлые, почти белые дыры в пространстве комнаты оставались не тронутыми и не закрашенными с 1957 года (Ване было два года). Ваня знал (по словам Иван Иваныча), где чей квадрат пустоты: первый — Ленин, второй — Сталин (потом Хрущ), затем Берия, Коганович, Маленков, Калинин, Будённый и Ворошилов (сенокосная фамилия). Дед снял их со стен навсегда — разом, впервые в сердцах буркнув при Ване: «Бляха!» Однажды к Иван Иванычу зашли в гости (а это знак грядущего ареста или награды) директор и председатель парткома Тальковского комбината. Они пили чай, беседовали с дедом и посматривали на усато-бородатые морды (Ваня их всех видел не раз, запомнил навсегда — они лежали пыльно-пушистой стопочкой на сухом чердаке конюшни, где еще стояли по пушистым же полочкам старые и старинные книги: Пушкин, Жуковский, Тютчев и другие бывшие враги народа, которых Ваня с Иван Иванычем время от времени читали), ретушированные плебейские лики вождей. Главный коммунист окрестностей вдруг заметил:

— А что это у тебя, Иван Иваныч, Берия висит?

— Не висит, а пришпандорен к стене стальными гвоздями, коих хрен в округе найдешь, — отозвался дед. — А в чем, собственно говоря, дело, товарищи руководители мои?

— Дак, Ваня, — вдруг вмещался директор фабрики с не очень приличной фамилией Задницер, — расстреляли, знаешь, Берию нынче в ночь…

Дед чуть не заплакал: эти деятели партии и правительства с тов. Лениным во главе расстреляли его отца, полковника русской гвардии, и деда, епископа Харьковского, — и вот надо же — такое возмездие. Запоздалое. Тупое. Уже ненужное. И братьев (пять душ) — уже не вернешь — сгинули на Беломоре да на Магадане. Такие дела…

В школе Ваню ненавидела завуч по воспитательной работе Лина Львовна Беркович. Она была тетенькой ростом с сидячую собаку (без ленинской кепки) и говорила нечисто, будто подсолнухи пощелкивала и поплевывала незримую шелуху — от слова до слова, от выдоха до вдоха. Речь от этих безвидных семечек казалась страшней ее содержания и напоминала далекий, где-то длящийся, заафриканский расстрел: щелк-щелк, щелк — щелк — выстрел —

затвор — цельсь — выстрел — затвор — цельсь. Эта тетушка, второе лицо школьного государства, вызывала к себе на беседу папу Вани по поводу рисунков, найденных учихой на Ваниной парте на уроке арифметики: ужас — арифметика и рисование, это же вольнодумство! На тетрадном листке была схематически изображена особа женского пола без одежды. Подпись «Уч. арифм.» возмущала Лину Львовну более всего. Отец к завучу пришел. Зашел он и к директору. Обаял обеих. А может, и поимел их прямо обеих в двух кабинетах поочередно… Отцу рисунок понравился. Он погладил (на улице, за стенами учебного заведения) Ваню по башке, хоть Ванька ему и не нравился: шибко похож на Орловых-Черминских этот хилый и хреноватый казачишка.

Вообще-то, Ваня мог рисовать только линейные рисунки — без штриховки, виньеток и прочих красотищ. Воспроизводить пером на бумаге Ваня умел только три предмета: голую тетку, паровоз и лошадь. Почему? Видимо, потому что они все округлые и страшноватые. Нет, страшные. Особенно паровоз.

Городской мир был для Вани чужим. Его родной мир сжался до точки и, находясь в Шатрах, у деда с бабкой,— болел прямо в Ване, в его сердце, душе и памяти. Вся жизнь его, нет — все его существование и существо было в Шатрах и болело в Ване — городском, скорбно напевающем свой романс «Мой первый гусь, мой гусь бесценный…» Ваня боялся города, и страх его дрожал на струйке воды из крана и звенел-позванивал по жестяной раковине умывальника…

Жизнь Вани, все его существо, а самое, может быть, главное для него — воображение,— были разорваны, но не в клочья, а на полоски: одна черная — городская маета и житуха, другая — светлая, искрящаяся, светящаяся, как все новогоднее и новорожденное, но надорванная по краям, а то и насквозь, напрочь, на более короткие поперечные полоски каникулярных уездов, отъездов и наездов Вани в Шатры… И вдруг, неожиданно для этого немтыря и полудурка, появилось занятие, которое делала светлые полоски Ваниной жизни более внушительными и далее не рвущимися: лепка.

Слова «чайковский», «вивальди», «рахманинов», «бах», «глинка», «мендельсон», «бетховен», «моцарт», «глюк» и загадочные «марчелло», «альбинони» Ваня услышал от Кати и из радио, которое часто хоронило государственных деятелей и в память о них играло

музыку, начинавшуюся с этих слов. Музыка — слово узкое, как щелка, из тьмы-тьмущей в свет. Музыка была светом, проникавшим прямо в кровь, в сердце, в душу и заставлявшим тебя дрожать, подрагивать, уходить сквозь себя в такие пустоты, где обитали только звезды и их мерцание, похожее на озноб.

Ваня переводил музыку на слова, на слоги, на звуки, на чудовищно звучащие окказионализмы (новые слова, но случайные, как весь наш мир). Эти ряды звуков-слогов-морфем-слов скоро превратятся, именно так — не преобразятся, но чудесным образом переродятся в иную музыку, которую пели для Вани — устами Иван Иваныча — Жуковский, Батюшков, Пушкин, Баратынский, Тютчев и Фет.

Лепка. О, лепка! Ваня начал лепить еще во младенчестве в дедовом доме. К десяти-двенадцати годам он уже легко и чертовски похоже лепил лица бабушки, деда, Кати, Коли, кота Василия, а также иные портреты и иных предметов — от птицы и дерева до мотоцикла и з*а*мка с откидным мостиком. Дед принес глину. И приносил ее часто и помногу: голубую, почти бирюзовую, холоднющую и живую. А начиналось все с хлебного мякиша и пластилина, но лепить из хлеба — грех, а из пластилина — дорого… Обидно, да?

Ожидание выходных, сдвоенных и строенных праздничных дней, а особенно каникул, а особенно — летних, — это было не просто ожидание свободы, воли и возможности не видеть инженера-казачка, — это было выпрашивание у бытия и небытия, у времени и пространства — жизни. Немтырь Ваня попрошайничал во всю длину своего скудного внешне и невероятно чудесного внутренне существования на ветрах деревенских, на вьюгах, зимних и летних, вьюгах пустоты, тьмы и света. Ветер тьмы, света и пустоты, способный породить воображение, музыку и лепку, простирался куда дальше жизни и смерти — туда, где было равенство души и мира. В городе Ваня ждал себя. В деревне Ваня становился самим собой.

Ни покосы, ни огород, никакие земляные работы, ни пастьба, ни вывоз сена, ни воровство дров в лесу, ни постоянная занятость Вани — ничто не мешало ему ждать себя, свое воображение, свои мечты, свою музыку, свои слова и свою лепку. В городе все всюду и всегда говорили и думали о деньгах, которые, в конце концов, к двадцать первому веку сожрут и человека, и страну — воровством, мздоимством, грабежом, преступной предприимчивостью. Коммунизм начал кушать Россию — капитализм доел. Сглотнул.

Не поперхнулся. Город убил страну. Жаль, что не наоборот. — Так думал Ваня. Он знал, как и чем это все кончится. И не пугался: у него были музыка, слово, пустота, тьма и свет. Что еще нужно честному контрабандисту мечты? А?

Дед, приезжая в город, в Череповскую квартиру не заходил — шел с автобуса и трамваев сразу к Кате в больницу, где она работала. Оставлял сумки, рюкзак и пару котомок со снедью. Давал деньги. Немного. Но это все крепко поддерживало жизнь Катиной семьи: Ваню, Андрюшу, ее саму и Василия Никанорыча, инженера и казака (Ваня подумал: «Гусара», — и добавил: «Хренов гусар…»), который все свои заработанные кровью и потом денежки прогуливал-пропивал. Вечно поддатый, навеселе, папа любил стучать себя в грудь и с надрывом вещать: «И квартира (хрущёвка, самострой цеха № 74 УЗТМ), и сад — мои, кровью моей и потом политые, пропитан-ные!..»

Ваня совсем ушел в себя — и редко выглядывал из себя, из высокого подростка (14 лет — 187 см роста, — выше казачка, имевшего лишь 180), из полуюноши-немтыря. Знахари, врачи и психологи обещали, что скоро парень заговорит — не остановишь («заговорил» Ваня уже после завода и армии, где хлебнул мурцовки отменной, — в университете после первой сессии). Он послал всю эту логопедию к хренам собачьим — и однажды после экзамена по русскому фольклору пришел домой, выпил стакан водки, поставил перед собой на стол себя, то бишь зеркало. Выпил еще стакан. Взял лист А-4 и карандаш — и начал говорить и слушать себя откуда-то свысока, с дикой пустой высоты, где живут только тьма и свет. Он просидел так — напротив себя три дня. Исписал стопку бумаги, свел все данные фонетического характера в таблицу — и обнаружил, что его заикания, немтырство, речевая замкнутость происходят по трем (как минимум) причинам: спонтанный характер фразы (строение, порядок слов, мысль, образ и т. д.), оказалось, что образ обгонял мысль и ее словесно-фразовое выражение; перенапряженность души: хотелось сказать сразу все, и это все должно быть главным; взрывные, шипящие и свистящие звуки в абсолютном начале фразы, слова, словосочетания убивали речь, — стало быть, нужно начинать говорение с гласных и сонорных, а перед ними ставить протезы в виде речевых паразитов вроде «э-э», «о-о», «ну», «я думаю», «офигеть», «ах, как хорошо/плохо/великолепно и т. п.», союз

«и», — «и пошло, и поехало», «и вот такая штука тут случилась» и т. д. и т. п. Через десять лет Иван заговорил — коротко, правильно, без запинки, с улыбкой в глазах, но — обязательно — доверительно, искренне и доброжелательно.

Жили городские Череповы бедно, трудно и невесело. Сначала в бараке (Ваня почти не помнил барачный период, а когда закрывал глаза — видел огромное количество светящихся электрических ламп: по три, четыре и пять — в самодельных («цеховых») люстрах, изготовленных из дюралевых трубок, украденных на заводе и покрытых золотой краской; длинный ряд голых, без абажуров и стеклянных титек, лампочек в коридоре, где его укатывали-укачивали в коляске, голубой и неудобной — хрен повернешься; одинокую лампочку, забрызганную известью, горевшую в туалете, в общей кухне, в комнате три метра на три. Потом переехали в общагу — четырехэтажное краснокирпичное здание с рестораном «Север» на первом этаже. Это было самое заметное строение на улице Сталина, которую к двадцатому съезду партии переименовали в Орджоникидзе, большевика и самоубийцу (за что народ уважал этого чайника: надо же — сам решил свою судьбу, обойдя Сталина, Ежова, Ягоду, Берию и еще пару-тройку людоедов). Ване было три, когда он начал играть в шахматы с умирающим от туберкулеза Аркадием. Аркаше было лет двадцать пять. Играли они в шахматы украдкой: прятались от Кати и иных борцов за здоровый образ жизни. Катя боялась, что Аркаша заразит Ваню туберкулезом — и все, мальчонке конец. Встречались они с Аркашей как бы случайно: в кухне (днем всегда пустой), на балконе огромном (если было лето), на черной лестнице (там было темновато, но безопасно — они с Аркашей были невидимы, незримы и свободны. Аркаша всегда плакал, когда играл в шахматы с Ваней (и это длилось полтора года). Заводя партию с Ваней, он играл как бы с самим собой, еще малым и здоровым; а Ваня играл сразу против трех шахматистов — Аркаши, глупых и злых соседей с Катей, но еще Ваня чувствовал, что он играет то с жизнью, то со смертью, — чаще со второй. Аркаша плакал и улыбался. Ваня улыбался и силился не заплакать. В три-четыре года он яснее всех остальных видел за левым плечом Аркаши смерть. «Конь ходит буквой «гэ»». Смерть ходит буквой «эссс». Буквы ходят конем и смертью. Вот такие шахматы.

Ивановы, Козловы, Свешниковы, Кутлины, Темирбековы, Сайнишвили, Степаненко и другие, меченные другими фамилиями, вели, как казалось Ване, придуманную, неестественную жизнь, основанную на коллективной безответственности: «Мы — Ивановы! Мы — Степаненко! Мы — Базаровы!..» Водку пили все, кроме младенцев, девственниц и домашних животных. Но бродячие коты, собаки, а также голуби и воробьи пребывали постоянно в состоянии подпития, так как склевывали, слизывали и лакали похмельную блевотину прямо с асфальта. Ни от кого, никогда Ваня не слышал слов: «Я — человек». Или — «Я — зверь». Или — «Я — птица». люди, живя в телесной и душевной тесноте, забывали о том, что они — люди. Стакана водки хватало, взгляда косого хватало, улыбки кривой хватало для того, чтобы твой собеседник озверел. И драки были зверские — с кровью, с выбитыми зубами, со вспоротыми животами. Ножи, заточки, тонкие напильнички, шило, сплющенный в кармане гвоздь, финка немецкая (или немка финская?), даже топорик или ножовка пистолетиком — все носилось с собой и применялось незамедлительно, почти фатально, зверски… Зверь ходит конем.

Квартиру на улице Восстания (какого такого восстания? — Пугачёва, эсеров, Лазаря из гроба?) получили, предварительно построив ее своими руками, в год, когда Ваня пошел в школу, то бишь через год после улета Юрия Гагарина в космос: он, бедняга, так и не вернулся, так и остался там, он и на Земле был в космосе и жил здесь, как в космосе, в хаосе, в экосе, в этом прекрасном вечном бардаке.

Папа-казак и инженер — часто рассказывал, как они добивали бандеровцев и литовских лесных братьев. Каждый свой героический рассказец он обычно завершал словами: «Подыхай, как звали…» Мебели в новой двушке почти не было, но зато был холодильник и три железные панцирные кровати — две узкие для пацанов, и одна полутора-двух и трехспальная для родителей. На ней было хорошо прыгать (как на батуте), а на узких — плохо: часто вылетаешь далеко в сторону, как ночной хулиганский чинарик, окурок, вспыхивая и искря безумно вылупленным глазом. Однажды полупьяненький казачок позвал Ваню сходить на помойку. На помойку? — значит, за мебелью, выброшенной туда более зажиточными гражданами…

Это был стол. Стол! — Старинный. Письменный. Гоголевский. Темно-бежевый и мощный, как сама основа планеты. Трехтумбовый и девятиящиковый. Столешница — четыре с половиной квадратных

метра. Гладкий, но с глубокими морщинам и рубцами. По торцам столешницы и тумб ползли, не двигаясь, узоры — ящеро-растительная резьба. После сборки, ремонта и лакировки стол посмотрел всем своим существом на Ваню — и Ваня обомлел: он увидел сидящего за столом спиной к Ване Николая Васильевича Гоголя. (Позже, по ночам, он встречал сидящих за этим столом — поочередно — то Пушкина, то Лермонтова, то Тургенева (о, «Записки охотника»), то Тютчева, то Баратынского, а то и самого Петра Андреевича Вяземского.)

Жизнь Вани в городе воспринималась им как черно-белая кинокартина (что-то вроде Козинцевского «Гамлета», но еще тоскливее и страшнее, нет — ужаснее. Жизнь в деревне у деда с бабкой была многоцветной — особенно зеленой, синей, белоснежной, аспидно-черной, золотой, оранжевой и темно-бежевой, как стол. Жизнь Вани в его воображении была окрашена в изумрудно-голубой, в бирюзовый, слепяще-серебряный и темно-золотой. Понимал ли этот убогий, блаженный немтырь, что он — безумен? Да. Он ощущал это до горько-сладкой дрожи в горле. Так, видимо, дрожит в горлышке у соловья в июне по ночам.

Ваня сидел на полу в туалете, почти упираясь ключицей в унитаз, но смотрел он вверх, в потолочный угол, наблюдая работу паука. Так бабушка в зимние черные вечера рассказывала Ване Библию, Новый Завет, читала молитвы и напевала псалмы. Речь, волшебная, с чудными и чудесными узелками вечных имен Иисуса, людей, местностей, морей и небес — опадала паутинками, нежными, серебристыми и милостивыми на темя, на лицо, на плечи и на весь-весь мир, притихший от работы слова, уст и вечности. Ваня наблюдал, как появляется речь из уст бабушки, из воздуха, из миллионов жизней и миллионов смертей, из подвига быть человеком среди потерявших лик человеческий, дух человеческий, дух божественный… Ваня наблюдал, как из пустоты и глины появляются предметы и существа мира, как вещество мира обращается в жизнь, как это вещество, смятое в кулаке, исчезает. Ваня чувствовал, что появление чего-либо, — да птички глиняной, что ли, — связано с исчезновением этого существа, еще теплого от пальцев, ладоней, дыхания и веяния души. Ветерок, сквознячок души появлял все, кажущееся несуществующим. Появление — исчезновение — появление — исчезновение, — вот путь жизни пустоты и глины, обнявшихся, обнимающихся, теплеющих и холодеющих в твоих руках и в мире, живущем

без твоих рук. Когда Ваня лепил что-то, в нем дрожала музыка. Музыка музыки и музыка тишины. На стыке двух этих музык появлялся и длился свет, выпуклый и непустой, наполненный тьмой до-появления и вспышками исчезновения. Фигурки были небольшие — почти каждая умещалась в ладошке. Сложнее было с глиняными солдатиками и офицериками, которые появлялись здесь, в этой хрущёвке, из 1807 (Аустрелиц) и 1812 (от Бородина до Березины). Барклай де Толли, Багратион, Голенищев-Кутузов, Дохтуров, Денис Васильевич Давыдов (поэт!), Ермолов Алексей Петрович — вот герои и натурщики («модели») Ваниного воображения — воображения Ивана. Были и французские герои, которых Ваня уважал, но не любил: Даву, Мюрат и сам Наполеон (которого Ваня-Иван прозывал Напольёнчиком). Иван терпеть не мог любимых историками и народами мира Хана Чингиза, Александра Великого (Македонского), английских флотоводцев (работорговцев), Мамая, русских князей-разбойников, Разина, Пугачёва, Кромвеля, Петра Великого (Первого) и многих других душегубов. Надо бы стыдиться войн — убийства миллионов и миллионов людей. Надо бы позорить воителей, разоривших мир, — весь, целиком. Надо бы не слушать долгий и сухой плач глины, воздуха и пальцев, творивших бог весть что. Иван часто плакал, но тайком. Но — горько и сладко. Но плакал — и ему не легчало, напротив, — он начинал видеть — ощущать все крупнее, глубже и шире: сквозь увеличительные слезы мир виделся таким, каким он был на самом деле.

Ваня, как все ходил строем в спортзал, в столовую, в мастерские, в тир, в бассейн, на маевки, на собрания и т. п. Он мало чем отличался от других. Разве что был слишком высок для своего возраста и чересчур бедно одет (быстро вырастал из школьной формы, из рубах, из обуви — и все это надшивалось, удлинялось, надстраивалось, приподнадшивалось. — Но тщетно: Ваня вновь мгновенно вырастал, перерастал одноклассников, учителей, школьные помещения, время, а главное устоявшиеся традиции советской школы, советского воспитания и образования в целом. Он, немтырь, давал на уроках только письменные ответы (об очередном съезде КПСС писал в стихах, рифмуя Брежнева с «небрежностью», — и ждал неминуемого расстрела в форме изгнания его сначала из школы, затем из страны, а потом и с планеты Земля; на уроке литературы «проходили» В. Г. Белинского (неистового зануду и туповатого

типа — рядом с Пушкиным, Грибоедовым и Лермонтовым), толстая тетка (словесница, так сказать) заклеймила трех неплохих парней: «Чацкий, Онегин и Печорин — лишние люди», — это вслед за Виссарионом Белинским, кстати, тезкой папы-сапожника товарищча Сталина; Иван поднял руку и, заикаясь, сказал, что Онегин, Чацкий и Печорин — люди как раз не лишние. «А кто же тогда лишние?» — игриво спросила ученная в пединституте тетка. — «Н-н-ну, н-н-например, ВВВы, я… да и все мы, сидящие здесь в классе», — ответил Иван — и был изгнан навсегда — до выпускных экзаменов в восьмом и десятом классах. Вот и хорошо: Ваня отправился в спортзал к Юрию Фёдоровичу, физруку, бросать баскетбольный мячик в кольцо.

Музыка — это звучащий воздух, дрожащий и знобящий себя и тебя — все это происходит от вибрации горла и уст. Петь можно во весь голос, негромко, почти шепотом, шепотом — и в себя. Иван пел и плакал в себя, внешне оставаясь невозмутимым. В музыке и в плаче нет ничего деланного, рукотворного, искусственного. В музыке нет искусства. Музыка — это пение и плач (в себя, в себя, в себя). Пение и плач. Пение — мелодия. Плач — слово. Мелос и логос. Музыка и поэзия — не искусство. Не искусство, как театр, живопись, кино, скульптура и любое иное кривляние или фиксация такого кривляния. Так чувствовал Ваня. Так думал Иван. Когда Ваня-Иван оставался один — внешне (внутренне он был одинок всегда), — он пел и плакал, мычал в себя свою музыку и говорил эту же, ту же музыку — одновременно с мелосом — пением. Так логос, дублируя мелос, усиливал и себя, и мелос. Скульптурки. Ваня расставил их — десятки и десятки — на старинном новом столе, оставив квадратный метр посередине столешницы пустым — для книг и тетрадей. Прямо перед собой (направление — юг) он установил странную скульптурку камня, из которого вылуплялось сердце.

Ваня часто сбегал в Шатры. Бабушка пугалась таких нежданных приездов внука. Дед же улыбался глазами, и в такую минуту становилось ясно, на кого похож Иван, первый внучок Иван Иваныча, — и — чья кровь работает в Ване, чья кровь думает и помнит все, о чем думает и помнит дед. В один из таких приездов, когда в доме, за столом начал угасать вопрос: что случилось? опять Василий Никанорыч? избил мать? — Хотя все трое, глядя в скатерть (по бабушке, «в скатерку»), знали: бьет. Бьет он Катю. Этот гад бьет

Катю. Казачок голубоглазый. Герой антибандеровских войн. Алкаш, но — коммунист. Иван чувствовал, как дед ненавидит то, что этот казачок с нагло-подобострастной мордой вождя цеховой парторганизации, — неподсуден, не судим, неуловим. Ваня не знал, набил ли дед Васе-казачку рожу его бесстыжую (и поганую, — добавила бы бабушка). Это был год, когда Ваню пригласили заниматься сразу в две спортивные секции — баскетбольную (рост у мальца 187 см) и легкоатлетическую. Ваня, как все немтыри поневоле, был очень выносливым, сильным от природы и закаленным в сельхозработах у деда на покосах и в огородах. Он тренировался почти бесконечно — и думал думу свою о воздухе, глине и пальцах…

После ужина, уже поздно (по-деревенски часов в девять вечера), дед положил на стол книгу стихотворений Тютчева. Это было издание настоящее, без советской брехни, дореволюционное. Ваня насторожился: неужели дед снова вызовет его на спор о стихотворении «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, — и нам сочувствие дается, как нам дается благодать…», — спор об ошибке поэта (конечно, мнимой: дед просто дразнил Ивана), когда вместо союза «но» («нам сочувствие дается»), Фёдор Иванович употребляет союз «и». Дед говорил, что раз «нам не дано предугадать…» — значит, мы несчастны от незнания своего, и поэтому поэт успокаивает нас неразумных: «но нам сочувствие дается, как нам дается благодать…» — отношения здесь противительные, так как одно явно противоречит другому. Хотя…

Ваня же считал, что здесь никакой ошибки нет: союз «и» имеет противительно-уступительное значение, то бишь Бог жалеет нас и спасает возможностью не только сочувствия (чьего? — вот вопрос!), но и прикосновения, хотя бы глазами, — к благодати. Бабушка улыбалась Ване и Ваниным рассуждениям. А дед хмурился и делал вид, что не понимает внука — и посему чуть-чуть злится. И — бередит молодой ум и юную душу начинающего скульптора и спортсмена. Иван Иваныч спросил Ваню:

— А какие слова или, может быть, слово — здесь главные: «не дано предугадать», «как слово отзовется», «сочувствие дается», «дается благодать»?

Ваня ответил сразу, без запинки «профессионального» заики:

— «Слово», «сочувствие», «благодать». А «не дано предугадать» — это преувеличение фаталиста (о, «Фаталист» Лермонтова!).

— А ты — не фаталист?

— Нннет… Я вообразитель. Мечтатель. Воображение всесильно. Оно — от Бога…

Бабушка опустила глаза и перекрестилась.

— Давайте-ка лучше чай пить. А дед?.. Ты слышишь меня?.. Пойду за чайником. А ты, Ваньша, достань сахар и чашки.

Ваня подумал вслух: «Это Тютчев от отчаяния… так… сказал… Его, кроме Пушкина, никто не слышал». — Дед закрыл книгу и произнес как бы в себя и себе только: «И нас с тобой, Ваня, Пушкин слышит. Вот сейчас и слышит. Всенепременно».

Вечер. Окно засунули в черный валенок — так темно. Бабушка сучит, вылавливая и вытягивая из облака овечьей шерсти — нить, накручивает ее на веретено с крестообразным основанием. Крест вращается — то быстро, то медленно, то совсем останавливается. Потом мохнатую многожильную нить накидывают и накладывают на Ванины руки, и уже с его рук бабушка сматывает нить в клубок, который время от времени падает на пол постоянно и через каждые две-три минуты: тук-тук… тук-тук… так-тук… Будто кто-то или что-то стучит в пол, в его изнанку — из-под земли. Морозец пробегает по загривку. Даже коту Ваське страшновато — он запрыгивает на колени к деду, сворачивается в черное пушистое колесо, изредка вспыхивая безумной зеленью глаз. Бабушка гладит Ваню по плечу, легонько похлопывает — по спине, тихонько берет его ладонь в свою, мягкую и прохладно-теплую, и легонько сжимает, пожимает, поглаживает… И вдруг дед, положив руку на Тютчева, негромко, но отчетливо и мерно произносит:

В день рождения Будды
Он появился на свет —
Маленький олененок…

И все миры соединились — в один, единый, единственный и одинокий: мир земной, мир небесный, мир воображаемый, мир Божественный и Вечный. Соединились в целое и нерушимое — в Ване, в бабушке, в Иване Ивановиче, в коте Василии. И это единение миров вдруг ощутилось как счастье — общее и вечное.

— Это Басё, поэт, японец — про олененка, — тихо сказал дед. И Ваня вздрогнул, оглянулся и вдруг вновь — содрогнулся, —

и озноб, неведомый и счастливо-страшный, коснулся — разом — всего существа, телесного и внутреннего, всего вещества, из которого состоят все миры, и Ваня, и Иван, и Иван Иванович, и Наталья Григорьевна, и Василий Никанорыч. Мгновение открытия и загляда за грань бытия потрясло Ваню. Нет — тряхнуло его на незримом воздушном ухабе, подбросило в небо, прорвав черный валенок окна, — и звезды — сквозь иней, изморось и снег, сквозь свой же взгляд — и Ваня вдруг стал видеть дальше взгляда. Слух его, здешний, прекратился — и он услышал цикаду в кусте Кассиопеи, и олененок оставновил своим новым взглядом Ивана — и Охотника-Ориона, и Пояс Ориона перекосил к югу, и Гончие Псы отвернулись от добычи и вспомнили Медведиц — обеих, и затрепетали, как слезы Будды — слезы счастья, ужаса и Божества, Божества жизни, вечности и любви. И смерть заплакала, и слезы ее текли по оконному стеклу, здесь, в доме, внутри тепла… Внутри счастья.

В городе Ваня тосковал. Тосковал по себе. Тосковал по себе — будущему. Он много читал, но все книги подряд, которые обитали в уралмашевском доме. Да нет, не в доме — а в квартире, в квартирке, в квартирочке. Он читал все, что могло показать его самого в скором, близком и далеком грядущем: от русских Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстого (собрания в «Библиотеке «Огонька»» — в приложении к журналу, к русскому «LIFE'у», насквозь лживому, но красочному, яркому и глянцевому) — до Джека Лондона («Смок и Малыш», «Мартин Иден»), Роберта Льюиса Стивенсона (баллады, стихи) и книги о жизни этого странного сочинителя — больного, умирающего и гениального — «Под флагом «Катрионы»»… Он любил, умирая, и умирал любя — это и есть жизнь художника: любовь и смерть, смерть и любовь…

Уральские города — все — строились вокруг заводов: рядом обычно стояла гора (с железной рудой, с марганцем, с серебром, с золотом, с медной рудой и т. д.) и текла река. Все реки Урала, как и Сибири, и Европейской России, текли с юга на север или с севера на юг. Кроме одной реки — Чусовой, собравшей в себя десятки речек, речушек и ручьев до впадения своего в Каму, которая, в месте слияния ее с Волгой, оказывается в полтора-два раза шире и сильнее «русской матушки-реки». То бишь в Каспийское море впадает — прямо говоря — не Волга, а Кама. Екатеринбург-Свердловск-Екатеринбург стоит на реке Исети. Весь Средний Урал представляет

собой систему прудов, плотин и крестообразных сплетений рек (придуманную по легенде братьями Демидовыми, разорившими Урал до основания, до пустынного состояния, до полной или частичной гибели лесов, сопок, древнейших Уральских гор, рассыпающихся от Ледовитого океана до башкирских сопок и степей). Одним словом, опорный нищий край державы медленно, трудно и неотвратимо умирает.

Уралмаш — место знаменательное и трагическое. Завод-гигант строился в тридцатых годах силой энтузиазма комсомолии и по воле кнута НКВД, который нагнал сюда бывших и сущих советских каторжан, зэков, сидельцев, воров, убийц и клятвопреступников — строить Уральский завод тяжелого машиностроения (кураторы-прокураторы — Орджоникидзе, самоубитый от страха перед Вождем народов, и Малышев — нарком, министр тяжпрома). Комсомольцы и бандиты смешались на стройке, в жизни, в любви и в смерти,— и к пятидесятым-шестидесятым годам двадцатого века на земле уралмашевской возник новый человек — комсомолозэк, или комсомоловарнак/душегуб/блатота.

В шестидесятых сложилась здесь особая масса полубарачных, полублатных и полублагородных людей, породившая в последствии ОПС-Уралмаш (организованное преступное сообщество, или, как серьезно шутили бандиты — общественно-политический союз).

«Нормальная» жизнь здесь срослась с криминальной, а «нормальные» дети, естественно, постоянно находились под давлением шпаны. Катя однажды проговорилась, что отец Вани когда-то состоял в банде, хлопавшей квартиры, грабившей тех, кто побогаче, или — всех подряд.

Если тебе 7–10 лет и тебя останавливает шпана, у тебя есть два варианта продолжения праздника: первый — бежать, второй — подвергнуться шмону. Шмонали 2–3 человека (и еще 3–4 находились в засаде: Великая Отечественная война научила всех тактике нападения [шпана] и защиты [«интеллигентный, б.я, мальчик»]). Но! — Если ты — оторви-и-брось, то можешь и вступить в махаловку, в бой, что Ваня и начал практиковать после двенадцатого своего дня рождения (помог спорт: баскет, диск, копье и бокс, которым в те поры занимались многие; оказалось, что у Вани, двурукого — и левши, и «правши» одновременно,— отчетливый левый крюк, оверхэнд, который вылетал сам, помимо воли Ивана, в самый нужный

момент — шпаненок, твой визави, после Ваниной левой садился жопой на асфальт и, закатывая глазки, искал неподвижными зрачками — пролетарскими, бесцветными — что-то самое важное за невысокой, как дедов забор, пеленой млечного, почти белого безмолвия нокдауна, переходящего в нокаут (О, Джек Лондон! О, рассказ «Кусок мяса»!). Однако чаще Ваня все-таки бежал — как бы неспешно, ровно, следя за дыханием и поднятием бедер,— бежал почти вальяжно, степенно, как завзятый средневик, обладающий силой и навыками сразу спринтера и стайера, меняя направление «беговой дорожки» (спасибо баскетболу) с неожиданными остановками, разворотами к преследовавшим ему шпанятам,— он бил вырвавшегося вперед (с пяток, всем телом усиливая удар) правым джебом, чаще двойным — и вырубал его третьим — левым крюком,— а потом бежал дальше — куда? Туда, где нет людей, в «летний сад» — там его уже никто не догонит, не словит, не зацепит пикой (заточкой, изготовленной из автомобильного дворника), не запинает насмерть.

Страх? Ох, бывало страшно. Всегда страшно. Бесстрашие, смелость, отвага и проч.— это все показатели (и следствие) отсутствия воображения. Но — когда воображение показало тебе, что может произойти и к*а*к нужно себя вести в драке, в бою, в спорте, в жизни — это все с людьми, с людьми, с людьми,— страх превращается в ярость. Воображение твое всегда опережает жизнь, ее страшные и мерзкие проявления,— и наделяет тебя ледяным и страшным, прежде всего для тебя, спокойствием. Противник, шпана, гад чувствуют это — и сникают. Ты раскален до состояния льда — льда иного, наземного, сверхъестественного, льда, раскаленного добела. Ваня-Иван — всегда бледен, почти до синевы небесной, и глаза его белели в тот момент, когда он так «успокаивался» перед боем. Ничего не бойся — просто уважай и сторожись своего воображения… Так думал Ваня и в детстве, и в отрочестве. Так он будет думать и одновременно расширять, удлинять, усложнять свои мысли в своем воображении, которое, в свою очередь, всемерно влияло на Ваню и думало его, и меняло его от ситуации к ситуации (какими напряженными они бы ни были), и сохраняло в нем то, что было первородным, исходным, истинным и неизменно чистым, чудесным — могучим.

Шмонали так: останавливали и без увертюры заставляли снимать сандалии, кеды, башмаки, выворачивать карманы, прыгать

на месте — не звенят ли где затыренные монеты, растопыривать пальцы рук и ног, открывать рот и поднимать язык — нет ли и там заветных денежек. Великие традиции вертухайства и вертухайского шмона (на зоне, в крытке/тюрьме и т. п.) работали повсеместно: мусора и вертухаи шмонали воров, а дети воров и комсомольцев шмонали всех остальных — от сосунка до старушки и дедушки, бредущих в магаз, в лабаз, в торговую точку за хлебушком и молочком. Донатович в «Зоне» говорит о волшебной силе колючей проволоки, делящей советский (да и любой другой) мир на две зоны: «охраняемые» и «охраняющие». Однако это лишь поверхностное наблюдение, пацанский образ, метафорка — все в действительности оказывалось сложнее: каждый устраивал зону всякому, если не любому, все сторожили, ловили и наказывали друг друга — особенно в подростковом нечистом мире. В каждом из нас строится и живет тюрьма — не как болезнь, но как жизнь, просто жизнь… Такая жизнь. А Донатович служил срочную вертухаем. И — был вертухаем.

Иван знал, чувствовал, что все нехорошее, что происходит в жизни, — это неглавное, пустое, подлое, низкое: оно не касается главного, основного, чудесного и чистого, светлого и темного, восходящего и возносящего тебя не к осознанию жизненной, искусственной правды, но к истине. Грубая сила всегда слабее высокого бессилия быть не частью семьи, общества, района, города, страны, континента, планеты. Высокое бессилие оставаться собой — таким, каким ты был отпущен сюда для отбывания не жизни, не срока, а переживания страшного мгновения слепоты и глухоты, длящегося годами, десятилетиями — для того, чтобы быть «человеком», сыном, внуком, пионером, спортсменом и книголюбом.

В новой двухкомнатной хрущёвке (пятый, верхний этаж) было пустовато. Дешевая мебель. Страшноватые, как железные клетки для снов, светлых и кошмарных, кровати стояли колесиками прямо на полу, тогда как в доме деда единственная кровать, возвышавшаяся подушками, как индийский храм в украинских накидках и кружевах, стояла всеми четырьмя ножками, тоже железными, в четырех консервных банках из-под тушенки, наполненных водой — это были водные преграды, которые не могли одолеть клопы. Клопы были давно выведены — все, — уничтожены дедом, а банки с водой, защищали, как оправленные в жесть рвы, — теперь уже от призраков клопов, — обороняли индийское чудо перин, многих подушек

и свободных от внешней жизни узоров, выплетенных бабушкой, которая все делала сама: и половики, и рушники, и сатиновые трусы, и рубахи — нательные и выходные, — и юбки, и штаны, все-все-все, вязанное из овечьей шерсти — носки, варежки, шарфы, шали, поясничники, наколенники и прочую мелочь…

В папиной хрущёвке пахло краской (масляной) и войной. Особенно — войной: воздух здесь был погуще и потуже; свет из трех окон, смотрящих на юг, замер в себе, зажмурился, позабыл темные уголки и подкроватные пещерки с пылью на половых досках, крашенных опять же половой коричнево-бежевой масляной краской, которая трескалась и отколупывалась, как яичная пасхальная скорлупа; кухонька была настолько мала, что посуда в ней казалась огромной, а редкие пельмени и пирожки были такими крупными, будто лепились и стряпались они для одноглазых великанов из Древней Греции — так и ждешь, что огромадная башка Циклопа вот-вот выломит кухонную дверку вместе с косяками, с коробкой дверной, с обналичкой из тонких сосновых досочек.

В этом доме — казака, сталиниста и бывшего энкеведиста — стараниями Вани всегда были живые твари — от рыбок, ящериц и тритонов до птиц, ежиков, черепахи, котенка и даже щенка Джека. Отец к зверью этому был равнодушен, но однажды все-таки выбросил (в полночь) с балкона пятого казачьего этажа аквариум с двумя скаляриями (с похмела хлебнул из двенадцатилитрового сосуда для живых рыб — не понравилось). Рыбки, как подумалось рыдающему Ване, умерли еще в полете — от ужаса. Аквариум встретился с землей, охнул и произнес «щщщёрррссс», имя любимого казаком героя гражданской войны: земля смягчила удар, разъялась и втянула в себя кубический каркас с остатками стекла. Души двух умерших от разрыва сердечек скалярий теперь каждую ночь подлетали к окну Ваниной (и братца его) комнаты и, тускло вспыхивая прекрасными чешуйками, звали Ваню к себе, за собой — полетать да поглядеть на черную от сна землю Уралмаша.

На кухонном столе лежала записка: «мама Джеку адала деденьке на Красный еш канфеты в шкафу я пашол на Уровмаш ну чта поделаиш». Ваня сел на пол и заплакал. Красный — это крохотный поселок с огородами, где-то недалеко от Верхней Пышмы, небольшого городка деревенского типа. Куда пойти? Кому поплакать? В чью

горсточку поплакать? Все слезы выплакать? — Пусть выплеснут из горсточки мое лицо, мое сердце, мою душу…

«Нет, это не Андрей, — думал Ваня, — это Андрий из «Тараса Бульбы», это Павсекакий Уралмашевский… Надо выключить тот свет и этот. Пусть будет темно всем».

Каждый вечер — для Кати и двух ее сыновей, с наступлением темноты — превращался в молчаливое ожидание бойни. Каждый вечер они готовились к отражению штурма «маленькой», детской комнаты, куда прятались от полного и грозного папы-казака измученная подработками врачиха, немтырь и юный предатель кошек и собак. В детскую приносилась питьевая вода в пятилитровом бидоне (в таком Катя, во время войны с немцами, с фашистами, таскала пешком молоко на Свердловский рынок, где меняла его на хлеб, соль, сахар и спички, — это двадцать пять километров туда и обратно, а Кате было тогда 12–15 лет). Еще два ведра — пустое (переносной туалет) и с водой (умыться и вообще про запас). Еда. Перевязочный материал и другое, например, Андрюшины конфетки, к которым Ваня после истории с щенком Джеком не прикасался (жили очень бедно: Катя иногда приносила ребятам даренные пациентами две-три шоколадные конфеты или даже небольшую шоколадку — чаще с изображением Спасской башни с часами или мавзолея товарища Ленина, тоже казачка, да нет — казачища залетного, любителя макарон со сливочным маслом и красного террора; «Красный террор» — неплохое название шоколада для внуков Ивана Иваныча Орлова-Черминского, столбового дворянина, сына и внука русских офицеров и генералов, священнослужителей и любителей поэзии Гёте и Державина).

Ты мнешь глину сначала в левой ладони, потом в правой — и глина теплеет, а рука, наоборот, зябнет, и этот чистый озноб постепенно охватывает тебя от ступней до темени: руки твои становятся частью глины, а глина роднится с пальцами и ладошками, прирастает к рукам. Так земля и небо греют и знобят друг друга — чтобы остаться собой, чтобы стать земленебом, чтобы превратиться в Будду и Олененка, который появился на свет в день рождения божества… Уральский казак и сталинский контрразведчик, проходя мимо сына, играющего в глиняные бирюльки, а лучше — бергольки, мнялки, лепилки и проч., отвесил скульптуренку затрещину — и юный художник врезался, вляпался Большому Будде прямо в живот.

— Нюхай жабу, — негромко рявкнул подвыпивший (т.е. принявший на грудь 0,7–0,8 литра водки) папа лепуна. — Лепи рожей, а?! — носом лепи, зубами кусай, языком лижи (Ваня уже десятки раз лизал глину — вкус и запах Космоса, если из него слепить небольшой круглый глиняный снежок)… — лбом, лбом, лбом бейся этой жабе в брюхо! Я в твои годы сиротой коров чужих пас… — пузатый казак удалился, всхлипывая и заглатывая свои огромные русско-казацкие рыдания.

Слезы глотали окно: с небом, с новостройками, с воробьями и голубями. Ваня глотал слезы — с окном и со всем, что было, шевелилось и двигалось в нем. Жило и подрагивало — от слез Ваниных и жизни, чужой и общей, — все перемещалось, надвигалось и наезжало друг на друга — все, кроме неба. Небо на Уралмаше, над городом — над любым городом, — было недвижно и неизменно: нижние облака, тучи и помазанная дымом синева стояли над сим местом часами, сутками, неделями, месяцами, годами, десятилетиями, столетиями, тысячелетиями… Верхние облака пробивали нижний слой облачности дождем, просеивали сквозь него снежок, серый от заводского дыма — десятки гигантских труб дымили непрестанно и вечно. Земля в городе умирала. Сюда, на ее неостывающий труп, свозили сотни самосвалов с торфом (город был окружен торфяниками) и перегноем. Подсыпали дороги щебнем, в котором мальчишки и девчонки находили цветные (чаше зеленые и синеватые) осколки яшмы, амазонита, малахита, бирюзы и прочей красоты, иногда попадался горный хрусталь — пальчиками, «карандашами», полудрузами, побитыми экскаватором, а то и цельными, целыми и, как затяжной поцелуй горы, острыми и прозрачными почти ледяными друзами.

Инженер-казак, член парткома УЗТМ и председатель партбюро цеха № 74 пил водку и негромко (пока) напевал на весь подъезд (двадцать квартир):

Приходи ко мне на баню —
я тебе набарабаню.
Приходи ко мне на ночь —
будем семечки толочь…

Или механически, машинально (машиностроительно!), непроизвольно пел а капелла казачий рок-н-ролл (казачью буги-вуги и казачий же чарльстон):

Подними повыше ногу,
покажи свою берлогу…
…
Укуси меня за голову,
укуси меня за грудь —
перед тобой стою я голая:
ну, укуси за что-нибудь!..

Степень опьянения отмечалась — музыкой. Потом казак-разведчик заводил «патефон», старинный проигрыватель пластинок — и слушал всегда одну и ту же песенку, потому что игла утыкалась на этом месте в трещинку и прыгала самостоятельно на начало, потом доходила до конца песни и прыгала обратно — к началу бесконечного ужаса звучащего бесконечно музыкально-народного шедевра:

Бежит река, в тумане светит…

Все это очень напоминало рекламу, которая в двадцать первом веке стала главным движителем безумия. Человечество постепенно впадало в состояние тотальной и многообразной связи — от радио и телевидения до интернета. Не-думать! — вот подводная генеральная функция любой связи, коммуникации, общения. Не думать — и жить, как все…

Ваня любил смотреть на людей, особенно в Шатрах, где сердечно был связан со всеми, кого знал: и волкообразных соседей, и дедушку Яценко, и всех татар Якубовых, семью Кокотовых и даже кое-кого с улицы Цап-царап, например, Гошу Гонцова, который к своим двадцати пяти годам сделал пять ходок на зону и который, купаясь в Разрезе, лежа спиной на огромной надутой воздухом автомобильной камере колесной, пел-орал на все Шатры:

Гоша едет на машине:
чирик, ху.к, пиз.ык… Ку-ку…

«Ку-ку» всегда звучало печально, почти жалобно и проникновенно. К Ване относился он по-бандитски нежно: дарил ему ножики, патроны (целые, нестреляные) к охотничьему ружью («Тулка», шестнадцатый калибр), фотографии, молочно-бело-серые,

самодельные, — с голыми девками, страшными, как утопленницы, внимательно слушал Ванины бредни и фантазии о голожопках (мифические существа, живущие на огородах и в полях, засеянных овсом и горохом, — с одной из них Ваня уже виделся в поле за Шатрами, когда возвращался с детской своей рыбалки, с карасиками в трехлитровом бидончике с «родной» водой), о деревянных и глиняных человечках и о скелетах (детство не отпускало — деревней — Ваню, Ивана всю жизнь).

И о скелетах… Однажды Ваня ехал в Шабры — в те поры — на перекладных поездах — Уфалейском пассажирском и по узкоколейке на паровозике с двумя крохотными вагончиками (потом господин Хрущ подарил Свердловским пригородам автобусное сообщение будущего мегаполиса с пригородными селеньями). Ваня был с дедом. Задремал (это уже в узкоколейном ящике на колесиках). Спросонья Ваня оглянулся окрест — и обомлел: среди стоячих и сидячих граждан он увидел скелеты — стоящие, сидящие, говорящие, пьющие водку, откушивающие и закусывающие, курящие и глядящие в крохотные окошки вагончика. Ваня не испугался: ему было уже пять лет и он прочитал кучу книжек сказочного содержания, он уже прослушал половину Ветхого Завета из уст неграмотной бабушки Наташи, которая знала всю Библию (и Ветхую, и Новую Заветные части) наизусть — запомнила на слух, с детства она слушала свою бабушку, деда и мать и целиком сжилась с апокрифическим текстом Святой Книги)… Одним словом, Ваня был подготовлен к чуду. Готов — к чуду. Даже такому страшному. В борьбе за чудо будь готов! — Всегда готов… Ваня закрыл глаза и снова задремал — его укачивало и беспорядочное движение паровозика, и страшное чудо, этот ужас по имени чудо…

Ваня, а позднее уже Иван и даже Иван Васильевич, изредка видел в живых людях (особенно в городе) скелеты. Они ходили, читали газеты, ехали в автобусах и метро. Они были всюду. Но показывались очень-очень редко. Повзрослев, Иван начал думать (но не понимать), что он болен. Однако… затем, спустя десятилетия, он заметил, что явление скелетов всегда предшествовало какому-то чудесно-ужасному или ужасно-чудесному событию: чья-то болезнь, даже смерть или перемена жизни твоей, твоей семьи, города, Шатров и целой страны…

Люди-скелеты были — осязательно и понятийно — живыми людьми во плоти, но зрительно и вообразительно почему-то порой преображались в свои костяки. Плоть их выветривалась временем, ускоренным воображением Вани до мысли, до образа, до видения, до озарения — страшного, но верного, правильного и неизбежного… Ваня выглянул в большую комнату — и даже не вздрогнул, увидев отца, сидящего за столом перед патефоном, отца бесплотного, отца-скелета. Скелет пел:

И снег, и ветер, и звезд ночной полет
Всегда мое сердце в тревожную даль зовет…

«Звездочный» — так слышал Ваня и видел, как загадочный и страшный «Дальзовет» стоит за спиной сидящего и трезвого сквозь дикое опьянение скелета… В это мгновение щелкнул замок во входной двери — и Ваня вскрикнул в себя: «Мама!..» «Катя пришла!..» Ощущение неизбежной очередной и уже почти бесконечной беды засыпало глаза пылью, пеплом, песком — так, что заплакать было нельзя.

Серое вещество жизни, света, воздуха, головного мозга съежилось, свернулось и сжалось в комок. В горле появился горько-кислый ком. Катя, глянув на казачка, на Ваню, на приоткрытую дверь маленькой комнаты, занесла в кухню авоськи с покупками. Никанорыч вскочил, опрокинув жалкую посуду для выпивки и окончательно сбив пластинку «Бежит река, в тумане светит…» с панталыку (казачье словечко в семье): она съехала с платформы патефона, но не легла, как всегда на стол, а вдруг покатилась со стола, будто кто-то ее подтолкнул — и упала на пол, беззвучно развалившись надвое. Папа взревел. Он бил Катю молча, как на ринге: яростно, самозабвенно и насмерть. Ваня бросился между ними — и был отброшен в сторону тяжелой затрещиной. Но пацан развернулся и, схватив со стола самодельный («заводской», «цеховой» нож: в доме много было вещей из 74-го цеха — ковши, ковшички, половники, толкушки и прочая ерунда) нож, снова рванулся к отцу — теперь уже всерьез… Инженер-казак опешил от наглости этого щенка, отступил… Катя и Ваня успели проскочить в детскую и с помощью Андрея выдвинули неподъемный стол от окна к двери, перекрыв ее таким образом наглухо, надежно, навсегда.

Осада и штурм «Орловских выродков» длились до 5–6 часов утра: с рубкой двери топором, с попытками пробить стену, с криками и воем, с матерными жалобами и проч. Ваня обмывал мамино лицо — окровавленные бинты и вату он бросал в таз с водой, которая постепенно из алой, из красной превращалась в багровую. Пятилетний/шестилетний/семилетний Андрей спал в своей кровати, узкой, панцирной, солдатской. Он плакал во сне — и улыбался. Около шести утра казак сдавался — падал в изнеможении на пол, раскинув грязные подошвы босых ног в стороны. «Мелехов хренов», — думал Ваня (Шолоховскую сагу крутили по телеку раз в месяц). В семь утра папаша сваливал на свою работенку — строить коммунизм, социализм и справедливое общество, выполнять план, жрать водку из чекушек в железных высоких пеналах для инструмента, жрать котлетки в рабочей столовке, жрать водку с пивом на Уралмашевском рынке, жрать водку и любовницу в одной из сталинских квартир Дворянского гнезда (собрание довоенных домов для ИТР, инженерно-технических работников), жрать водку дома, готовясь к осаде детской комнаты с бабой и детьми внутри.

Катя закрылась в ванной. Шумела вода, бьющая из всех трех кранов, Ваня выносил из детской и выливал в унитаз багровую воду из тазика, мочу из ведра, остатки теплой питьевой воды из чистого ведра, которое, чокаясь с унитазом, стонало: «Бауманн… Мауманнн… Блюхеррр…» Андрей, или Андрюша, или Андрейка, — сбежал в школу. Ваня решил в школу не ходить. Катя вышла из ванной. Молча собралась на работу к девяти утра. Долго ковырялась в прихожей, изредка вполголоса исторгая из себя, откуда-то из сердечных глубин одно-единственное слово «па-ра-зит». Потом позвала Ваню. Обняла его. Заплакала. Быстро оборвала плач на полувзрыде. Дала Ване трешку, зеленую, небывало огромную для пацана трехрублевую бумажку: «Купи себе книгу… Книг… Сам смотри… Ты ведь хотел Тютчева, Жуковского и Баратынского?.. Вот, на еще, — протянула две рублевые купюрки. — Я пошла… Хочешь, заходи сегодня ко мне на работу, я сегодня в физиолечебнице» (Катя была заведующей этой клиникой на Уралмаше). — И ушла, осторожно, мягко прикрыв дверь.

Ваня потихоньку остывал — внешне. Время лечит? — У времени тоже есть возраст, и оно умирает. Ночное время папиной бойни умирало. Умирало — и умерло. В разрушении есть порядок творения.

Разрушение — это творение пустоты, в которой начинает зарождаться новый свет. Магеллан отдыхает. Васко Да Гама отдыхает. Колумб спит… Ваня, сопротивляясь самому себе, вошел в детскую: фэффаттаграффия. Разгром. Конец Фадееву. Чтобы не заплакать, Ваня чихнул. Еще раз. Еще. Помогло: мозг и боль можно только выкакать, а не вычихать. Жизнь переменилась. Стала другой жизнью. В голове у Вани крутились безумные фразы: «Жизнь такова, какова она есть — и больше никакова…» «С точки зрения банальной эрудиции, никакой индивидуум, метафизирующий абстрактность, не может быть критерием стуктуральности и систематизации, основанной на теории утопической субъективации…» Абраказебра какая-то…

Он прибрался в детской, в большой комнате, где обычно казак пишет письма султану Сталину, плачет по завершившейся войне и по невозможности пострелять хохлов-бандеровцев. Где… Где, может быть, Ваня наконец решит эту долбаную казачью проблему, ликвидировав вполне по-сталински и по-бериевски проблему местного квартирного казачества. Ваня не произносил — даже мысленно — глагол «убить». Но знал, что так оно и будет, — и боялся этого знания, которое постепенно перерастало в уверенность, чреватую планом. Воображение Вани предлагало одновременно несколько коротких видений, самым простым, а значит действенным, был удар по лысеющей башке гантелью, текстолитовой дубинкой, обрезком толстой арматуры и т. п. Ваня видел, как инженер-казак оседает на пол вполне по-буддийски, раздвинув колени и вывалив из лопнувшей майки огромный живот, который Ваня и для себя, и для всех называл Бегемотом: выпученные жиром соски — глаза, натянутый и расширенный от жадности пуп — нос, едалово располагалось ниже, в штанах — и лучше бы его не видеть…

Наревевшись всласть, Ваня уснул на своей узкой унтер-офицерской койке с последней мыслью об отце-казаке и внуке Молотова-Риббентропа… Потом в его голове забегала трясогузка, часто качая хвостиком и отчеркивая в сером веществе иероглифы, которые следовало прочитать — во сне.

Ване снился белый-белый огромный унитаз. Унитаз — ухо земли. Господи, прости! Потом снился дед, Иван Иваныч. Он уже восемь лет не заезжал-не заходил в дом Кати, Вани и Андрея, в дом доброго казака. Дед заезжал раз в две недели к Кате на работу: оставлял

сумки-котомки с едой и деньги — знал, что Никанорыч в дом ничего не приносил, кроме своего большевистского, коммунистического, сталинского брюха, в коем булькала водка и переваривались столовские советские котлеты… Дед стоял у березы, а на березе сидела огромная, как кот Васька, сорока. У нее были глаза Бога. Карие. И глаза эти, незлые-недобрые, были всюду и всегда: в камешках, в ягодах, в грибах, в картофелинах, в овечьем горохе, в бобах, в бусах бабьих на крепких и влажных деревенских шеях прекрасного пола. Ваня не понимал сна, но он принимал его таким, каким он был. Дед смотрел Ване в глаза своими светло-голубыми, почти пепельными зрачками, и Ваня чувствовал, как сходятся две бездны — звездная и Ванина ответная (из закрытых спящих глаз) — каряя бездна. — И Ваня ощущал приближение счастья — божественного, чудесного, онтологического…

Сон был то цветной, то черно-белый, то со звуком, то бесшумный и безмолвный, без козлословия и порнословия шпаны уралмашевской и уралмашевского казачка. А то вдруг он вспыхивал, распахивался, как самое содержание, самоя сущность и сама мощь гравитации Вселенной — голубое, зеленое, черное, алое, фиолетовое, сиреневое, красное и багровое с белыми вспышечками, звездочками, искорками внутри необъятного организма тяготения небесных тел, связанных друг с другом болью — трепетной сеточкой, веревочками, тросиками, канатами отвердевшими лучами боли, счастья, гибели и любви. И расцветала нежность к двум девочкам — Любе Войновой, красавице из детского сада, с которой Ваня танцевал на крохотной сцене по праздникам, — и Кате Степаненко, шабровской разбойнице, которая однажды увела Ваню на рыбалку — да так и оставила его там — у воды, пылающей огнем, небом, песком и камешками-самоцветами…

Гравитация во сне дышала и погуживала, и бухала в голове силой, которая в полях зрения сна превращала время в пространство — и наоборот, и создавало, соединяя их в целое, новое третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое вещество мира и всех его основ.

И дед во сне сидел на белом коне в желтом кожаном седле — генералом, а рядом вздрагивали с лошадьми конные Алексей Петрович Ермолов, тоже в генеральских эполетах, и Денис Васильевич Давыдов — полковник — в гусарском ментике и с белым султаном на форменном картузе. Дед докладывал что-то Ермолову, и тот

сказал: «Хорошо, генерал! Скачите с полковником Давыдовым к генералу Дохтурову, в арьергард — затейте кутерьму господину Наполеону с мурцовкой и сурьмой, хрен ему в глотку!..» И дед подмигнул Ване, вскрикнул: «Оп, Мальчик!» — И белый жеребец, вскрикнув и привстав на дыбки, рванул к Дохтурову…

Приснился Баратынский. Он был весело печален, как всегда. Он смотрел сквозь Ваню, чему-то улыбнулся и вдруг голосом деда произнес негромко и без нажима:

О верь ты нежная дороже славы мне
Скажу ль мне иногда докучно вдохновенье
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине…

Ваня проснулся. Он был весь мокрый — будто на него выплеснули ведро горячей воды. Жар. Горячка. Ваня повернулся и лег на спину — в ногах на его койке сидела женщина. Он сразу ее узнал: светлые волосы, светлые глаза, светлое платье, красивое лицо, круглые колени и тонкие длинные запястья. Она уже подходила к нему в Шатрах, когда Ваня рыбачил на Разрезе после убийства гуся иссохшей в камень коровьей лепешкой. Она улыбнулась, привстала с края кровати и осторожно, мягко и все же сильно обтерла Ванино лицо голубым то ли бархатным, то ли махровым, то ли байковым полотенчиком. Потом положила свое прохладную ладонь Ване на лоб и сказала: «Земля уходит из-под ног — приходит слово. Иди за ним…» — Ваня трижды повторил эти слова — и уснул…

Потом дверь в детскую комнату открылась, через порог переступил седоглавый старик, похожий то ли на деда, то ли на Тютчева, то ли на шатровского дедушку Яценко, — и голосом Юрия Левитана он произнес:

Одни зарницы огневые
Воспламеняясь чередой
Как демоны глухонемые
Ведут беседу меж собой… —

Поэт Орлов-Тютчев-Яценко строго глянул на Ваню, повернулся к нему спиной и принялся перебирать глиняные фигурки, стоящие

по особому порядку на огромной поверхности стола. Так, стоя спиной к Ване, не оборачиваясь, он вдруг громко и почти грозно, но не страшно выговорил: «Всю жизнь тебе играть этими прелестными глиняными болванами…» Ваня почувствовал вдруг — то ли во сне, то ли наяву, — что он очень смертный человек.

Потом Ване снилась любовь. Кто-то (он — не он) с кем-то (с ней — не с ней; о, нет — с Ней!) стоят над водой. Они стоят прямо на тенях от ветвей и раздвоенного ствола березы. Над водой. Свежо. Темнеет в груди и холодеет во рту, как от льдинки. Иван говорит — объясняет ему-ей, себе-ей, Себе, Ей: «Сначала целуются наши воздухи, наши дыхания, наши теплоты и наши ознобы, наши запахи, наши морозцы на губах — расстояние от губ до губ огромно, долгота, сила и объем до-поцелуя неизмеримы». Люба… Катя… Катя… Катя… Казачок.

Бабушка Наташа насучила два огромных, размером с баскетбольный мяч, клубка шерсти. Они лежали на полу — и вдруг начали сами по себе подпрыгивать, отрываться от пола и подлетать до бабушкиных колен. Бабушка мягко шлепала их — и направляла вниз, обратно к полу, будто разминалась перед игрой, как опытный разыгрывающий баскетболист. На бабушке, поверх блузки, была надета белая баскетбольная майка (фамильная, с лампасиками) с номером «14» на спине и слева, на груди, выше к плечу, (Ваня узнал мамину работу — это она нашила номера на адидасовскую (для официальных игр) майку, которые вырезала аккуратно и красиво из куска тонкой лайки (откуда взялся этот лоскут дорогой кожи — загадка). Бабушка стучала шерстяными мячами в пол, но смотрела она не на мячи, а оглядывалась по сторонам — кому бы сделать пас. Ваня улыбнулся — и проснулся.

Она опять сидела на краешке койки. Постель была раскалена влагой, жаром и горячкой Ивана. Он с трудом поднял на нее глаза — оба лица покачнулись, будто у мальчика на голове стоял кувшин, глиняный горшок с водой: он пытался заговорить с ней, но не мог — тогда она, опережая его бессильное желание издать звук, слог, слово, фразу, заговорила очень негромко — голос у нее был явно нездешний: так говорят книги. Она говорила что-то непроизносимое, но понятное: ты знаешь, кто я. Кто — я. Догадываешься. Только не плачь. Казаки приходят и уходят. От вашего казака вы уйдете сами: дед поможет разменять эту двойную келью на одиночную и комнату. Эту случится

через две недели. Потерпи, родной. Я постоянно рядом. Я всегда слежу за тобой. Ты — великий фантазер и словесник. Ты немтырь. Так и должно быть. Не плачь. Тебя будут убивать много раз. А ты терпи — немтыри бессмертны, ибо их устами не говорит подлость и пошлость. Все, что ты говоришь в себя, — я слышу и знаю. Немтырь говорит душой — это видно по его глазам. По твоим глазам. Я буду приходить к тебе, когда ты, великий немтырь, будешь собираться умирать. Ты — не умрешь. Никогда…

В момент смерти над человеком образуется и вздувается прозрачный купол смерти. Как пузырь рыбий. Просишь человека: — Смотри на меня! — и он смотрит! — хотя его уже нет. Здесь нет. Конец. И становится тихо. И Она уже из глаз его пристально и равнодушно смотрит на тебя… Не — уходи…

И смотрит на тебя уцелевшего. Пока живого… Тупик. Тупик всегда выход… Нет, тупик — это вход в иное.

Иван Иванович Орлов-Черминский читает Ивану стихи Николая Алексеевича Заболоцкого.

…Какой-то отголосок бытия
Еще имел я для существованья,
Но уж стремилась вся душа моя
Стать не душой, а частью мирозданья…

А Ваня сидит на берегу Разреза с удочкой. Сидит на обрыве, что с северной стороны водного зеркала, ближе к востоку, в заливе и думает: «Господи, только бы не клюнул кто — ни пескарь, ни карась, ни окунек… Пусть живут. Ваня сидит над бездной двойной — небесной и водной: бездна втягивает в себя отраженья берез — как души земли, глины и камня; бездна мочит губы в мелкой волне, в ряби, которая убегает с ветерком, убегая от ветерка и отставая от него. Солнце посторонилось — и Ваня увидел кончик удилища, поплавок и свой лоб — в бездне, уже точно небесной… А дед все читает и читает стихи другого деда в круглых очках и в арестантской пижаме:

…Со мной бродил какой-то мальчуган
Болтал со мной о массе пустяковин
И даже он похожий на туман
Был больше матерьялен, чем духовен

Мы с мальчиком на озеро пошли
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто долетавшее с земли
Не торопясь рукою отодвинул…

Ваня очнулся в Уралмашевской больнице, в инфекционном отделении. Гепатит. Болезнь Боткина. Уралмашевская эпидемия. Он проболел три месяца. Два раза умирал. Катя давала ему свою кровь. Трижды. Ваня выжил. Точнее — вышел из бреда, а вернее вывела его из бреда Она светлыми глазами своими и нежным полотенцем. Три месяца Ваня в бреду боролся со шпаной: Серый, король Болота (Ванина улица Восстания, улица Коммунистическая, Кирпичный завод и дальше — до Северного кладбища), пацан лет восемнадцати, — пырнул его ножиком-режиком в печень, а потом бегал от Вани, уклонялся от прямой дуэли, прятался по гаражам. Серый умер от желтухи за неделю до Ваниной выписки. Ване исполнилось четырнадцать лет. Он достал у знакомых парней полуметровый отрезок текстолитовой палки — дубинки (Архимед бы точно повернул таким текстолитовым рычагом планету), показал это орудие-оружие восьмилетнему Андрею, и они договорились: инженер-казак приходит пьяный, начинает выеживаться — и Андрюха занимает его внимание тупой невыполнимой просьбой (папа любил младшего и ненавидел старшего, Орловского выродка), а Ваня, взяв текстолитовую смертоубийственную дубинку, которая лежала как раз за телевизором, — бьет атамана энкаведешного аккурат по башке, сзади, со всей матушки. И — все… Дело будет сделано: свобода! свобода! свобода!..

На Уралмаше в том году (конец шестидесятых 20 в.) десятиклассник убил отца гантелью. Суд его оправдал… Ваня думал, что, если не оправдают, — пойдет на зону для малолеток. Отсидит. Выйдет. И уедет жить в Шатры. Там глины — и голубой, и белой, и синей, и красной — хоть задницей ешь. Будет огородничать, рыбачить, сено косить и всех казачков этих сраных к чемору посылать…

Через две недели умер дядя Степа Загурский (дядька отца, из ссыльных поляков), Никанорыч разрыдался и уехал в Коуровку на похороны. На четыре дня. За эти четыре дня Катя с помощью деда разменяла двушку на однокомнатную на Болоте и на комнату на Сталина-Орджоникидзе. Переехали в один день. Все оставили казаку.

Жили теперь они втроем через два дома от прежнего — без холодильника, телевизора, без какой-либо мебели, но зато в мире — без ора, мордобоя и докапывания инженера-казачка ко всем и ко всему. За день до отъезда на похороны пьяный (я могу! — у меня горе!) папа помял Ванины скульптурки и наорал — с матом — на Орловского выродка. Пока папа орал, Ваня открыл настежь окно и — горстями — сбросил вниз с пятого этажа всю свою лепню: земное — земле. Казак охренел. И вдруг — напугался. Пацана напугался. Хотел было раздавить парнишку, но зассал Ваниных глаз — глаз Орловых-Черминских, раскосый и уже абсолютно бесстрашный, мужской, белый от гнева и решимости выкинуть вслед за Буддой в окно этого жирного и тупого барана. Они стояли лицом к лицу — и старший сдался. Энкаведешник зассал. Попятился. Молча. С выпученными, красными от пьянки и слез, глазами…

Ваня шел в школу из нового (но знакомого) дома и говорил с кем-то невидимым, но обязательным и необходимым тому, кто привык говорить-думать-страдать ненапоказ. Этот кто-то, этот некто — был Дух.

* * *

Две нижние трети окна закрыты двумя плотно задвинутыми занавесками, и, когда смотришь на него то ли спросонья, то ли засыпая, ты видишь широкую банку, наполненную молоком не до стеклянного кольца, венчающего сосуд, а до широкой горловинки, чистой и прозрачной. Эта немолочная полоса окна тоже налита чем-то голубоватым, темным и ослепительно светлым, но сверху — прямо из неба. Ваня смотрел на то, как голубое, отталкиваясь от свинцово-синего, поеживается от ярко-светлого, которое то теснит свинцовое, то отступает от него, теснится, сгущается в синий, в лазорево-синий, в зеленовато-синий кусок вещества времени. Так выглядит время. Так думал Ваня, чувствуя, как три разных хроноса играют в подкидного дурака друг с другом, а обыгрывают мир. Ваня понимал, что что-то происходит с ним, с близкими, вообще с людьми — с миром. Детство Вани потеснилось, но не ушло, оно каким-то чудесным образом въехало всем своим лазоревым веществом в отрочество, которое крепко прилипло к темно-синей оболочке юности. Три времени, плавая над небесно-домашним, ситцевым

молоком, вызывали четвертое — взрослость, зрелость, старость, смерть…

Каждый четверг у бабушки был приемный день: к ней приходили один за другим местные убогие, дурачки и дуры, сумасшедшие, но очень интересные для Вани и добрые люди. Дед по четвергам исчезал — уходил в лес по грибы или работал в конюшне, на огородах, в саду. Он посмеивался над бабкой, но Ваня чувствовал и знал, что Иван Иваныч уважает эту блажь Натальи Григорьевны. Бла-жен-ные…

В Шатрах постоянно проживало несколько нищих, душевнобольных, без крыши над головой и в головах человек. Число юродивых менялось год от году, но Ваня навсегда запомнил Веру, Надю и Любу — женщин немолодых, но с юными и сильными голосами (как они пели!), местные звали их рыб*а*чками по двум причинам: во-первых, они действительно рыбачили — ловили мелочь, кормили кошек и собак, ворон, сорок и других птиц и оставляли немножко себе на ушицу; во-вторых, девоньки эти безумные любили местную речушку Арамилку — сидели там на бережках, перепевались друг с другом, а то и ночевали, ежели была теплая ночь.

Умалишенных мужиков обычно разбирали по дворам, и жили они как батраки-небатраки, а так — работнички на подхвате; ночевали они в конюшнях, стайках, сарайках и на сеновалах. Из юродивых мужчин часто приходил Григорий, мужик лет пятидесяти, в черном полупальто с шалевым воротником (драном-передранном), в папахе с офицерской кокардой и всегда — зимой и летом — в тонких, высоких, седых, почти изящных валенках.

Сухой кипяток крапивы ошпарил запястье, и Ваня, сидя на стулке (махонькой скамеечке для бабушкиной больной ноги) в кухне, в уголке, почти за печкой, смотрел на то, как бабушка принимает своих четверговых безумных гостей. Они приходили по одному, что-то смущенно мычали (бабушка их понимала: она знала язык ангелов, мучеников и пророков), долго раздевались, топтались в коридорчике, который принято называть прихожей, потом, озираясь и еще более смущаясь — до слез, проходили в кухню. Хвалили сначала Ваню — черный котище пристально следил за руками посетителя: кабы чего не сперли. Потом что-то шептали бабушке — о Ване, но не комплиментарно, а утвердительно, что-то вроде «а вот крылья-то видны…», «а глаза-то, как очи ангельские — карие да

раскосые…», «а вот головушка-то золотая…», «а ручки-то царские, княжеские — тонкие да красивые, как вода на лопухе…», «ножки-то слабые, да и не нужны — мальчонка ужо летает: в душе у него высокий и долгие полет…» и т. д. и т. п. Бабушка соглашалась и было видно, как плечи ее передергивает озноб — от узнавания главного, от открытия сокрытого. Бабушка кормила каждого юродивого: первое — суп с курицей, белый, с домашней лапшой; второе — мясо говяжье (если не пост) с жареной картошечкой и квашеной капусткой; третье — компоты (два-три, и все разные: холодный с вишней, теплый с яблоком, горячий со сливой — фрукты бабушке присылал племянник Иван Свояков, севастополец, герой, а ныне тихий крестьянин-богомолец — и шанежки, и пирожки, и крендельки, и сдобы с ягодами и желтыми лимонными конфетками). Ваня был сыт, но тем не менее, часто сглатывал слюну, набегавшую не от голода, а от вкусноты.

Бабушка разговоры вела осторожно, медленно и абсолютно аполитично: ни слова о Хруще, о Сталине или еще какой сатанинской братии — только о святых да юродивых, о пророках, да библейских поэтах — о Соломоне, об Иове или Лазаре, или о каком-нибудь патриархе, который живот свой отдал за веру.

Угощение бабушкино завершалось торжественным наливанием в огромную рюмку кагора. После кагора бабушка выносила каждому узелок, а то и целый узел, с чистым или новым бельем, с одеждой, с обувкой и едой. Потом каждому вручалась небольшая сумма денюжек: всегда два-три рубля отдельными бумажками и полная двойная горсть монет — от копеечки до белого полтинничка, а то и рубля с колосьями по кругу, тяжелого, драгоценного и прекрасного (на ощупь — Ваня монет не лепил, но любил трогать тонкое, почти изящное литье). От бабушки каждый ее безумный посетитель отправлялся в общественные бани с женским и мужским отделениями. Там продавали пиво (бутылка в руки) и газировка сладкая, чаще лимонад — напиток ангелов, детей и сумасшедших… Бани были славные, отменные, а из-за мраморной отделки (полы, скамьи, стены, потолки, и проч.) роскошные. Сюда ездили помыться да расслабиться даже из Свердловска и Челябинска. Сталин помер вовремя: мраморный лом и нестандарт пустили на строительство бань — а так бы Усатый пострелял бы тут весь Поселковый совет с автопарком и роддомом. В бани ходили очищаться и выдыхать

накопившуюся несвободу, нищету, голод, маяту жизни, замусоленность ее вселенскую. Все были голые и веселые, как в раю. Банная свобода Шатров удивляла всех: Римские термы отдыхают, египетские купели — говно, Московские Сандуны — подъ.бка Северного Флота. Почему? А потому как в банях Шатровских под шатрами небес, лесов, воздухов и звезд вдали от Москвы и ее закопченных сыновей витала свобода. Витала — жила. Вселялась в каждого. И никакая гнида — вроде Джугашвили и Берия, Орджоникидзе и главный по жратве армянин Микоян — не могла перебить жаркий пар из парилки и крепкий туман банного очищения.

Ваня ходил в баню всегда с дедом. Они намечали день. Не всеобщая мыльная суббота или похмельное воскресенье. А — свой выходной — выходной, отпускной от покосов, огородов, пастьбы (по очереди) соединенного в стадо вполне по-пролетарски скота: коров, телок, бычков, коз и овец. Это мог быть любой день, кроме понедельника (баня в этот день отдыхала от свободы), субботы и воскресенья. Бабушка готовила чистую смену белья. Дед, усмехаясь, мог указать на свежую, огромную, размером с Монако, коровью лепеху — поваляемся в дерьме, а? Перед банькой-то, а? Перед баней почему-то всегда и обязательно выпивали по кружке молока — и вспоминали общеизвестную (чудовищную), но вполне советскую историю о Гоше Гонцове, которого после очередной отсидки пилила-пилила-пилила за пьянку мать: я тебя выкормила, заморыша, а ты!.. Гоша не сдержался и, матюгнувшись, сбегал в магазин — принес пятилитровый бидон разливного молока: вот, мол, мать, бери молочко, пей — я тебе щас ни хрена не должен…

Дед брал с собой мелочь — для нищих и бродяг, кучковавшихся окрест бани и ждавших не подачки, но банного милосердия: на чекушечку, на пивко, на самогоночку, на бражку — рабочему люду, а?.. Среди попрошаек (упаси бог, так их назвать! — нищими были все деревенские, поселковые и мелкогородишные людишки), среди страждущих было много фронтовиков-инвалидов и бывших зэков-калек (Ваня помнил их, многочисленных, на улицах Уралмаша — но однажды они все разом исчезли, — говорили, что Сталин, а за ним Хрущ, — свезли этих героев войны и костоломной политики Ежова, Берии, Ягоды и других гадов-энкавэдэшников в тайные места — и кончили всех одномоментно и скопом).

Все мужики в бане были не совсем голые: половина моющихся была одета в портачки, в татуировки (будущие недосексуалы — отдыхают), а остальные носили на себе веревки, ленты, полумесяцы и иные замысловатые узоры — и все в узлах, — отметины и шрамы осколочных, пулевых (проникающих и сквозных), ножевых, штыковых и других загадочных, невероятных ранений. У Ивана Кокотова, соседа — молчаливого, но приветливого — не было одного яичка (что не помешало ему сделать после войны с красавицей женой дочку и сына; в Нину Кокотову, в дочку Ивана, Ваня был тайно влюблен — да и она смотрела на немтыря добрыми, немножко испуганными, почти птичьими глазами). Одновременно в мойке и парилке (очень просторных, светлых, чистых и недушных) каждый божий банный день находилась добрая дюжина безруких и безногих. Когда Ваня смотрел на них, он вспоминал Валеру, красавца, молодого, на лицо все еще парня, сапожника с сильными, нет — могучими, руками: обе ноги — под корень Валера потерял на войне, и теперь перемещался по улице Ильича в самодельной тележке, вместо колес — четыре больших подшипника (о, сколько их было тележечников!). Валера, катясь по тротуару, часто останавливался у поперечных дорог — там были высокие поребрики. Мужики махом переносили Валеру с тележкой через дорогу. Ваня часто ходил в библиотеку и постоянно встречал Валеру. Они познакомились — безногий бывший фронтовой разведчик, лейтенант, и парнишка пяти-шести лет. Они редко разговаривали. Ваня просто брал Валеру за нераненую левую руку — правой своей — и тянул Валеру, помогал ему — особенно в горку. Подшипники-колесики вращались легко, они были с внешней стороны залиты резиной, и поэтому тележечка не гремела. Валера спрашивал, какие книжки несет Ваня. Иногда он читал стихи Симонова («Жди меня, и я вернусь…» — видимо, баба-то, жена или невеста, Валеру бросила — не захотела жить, есть, пить и спать сразу с двумя — с Валерой и его тележкой). Иногда рассказывал, как неплохо рубился в футбол до войны. Но о войне этот почти сказочный сапожник не говорил ни слова. Иногда они сворачивали в одну из поперечных аллеек — и смотрели на птиц. Ваня сидел на скамейке, а Валера — почти на земле, он, первый чужой, после деда-птицелюба и бабушки-травницы, учил Ваню опознавать птиц: вот воробей — рядовой пехотинец; вот чечень в красной крохотной папахе — кубанский казак из ползунов; вот снегирь — Рокоссовский,

Жуков, Кутузов; вот синица — гусар (иногда с гусаркой); вот ворона — эта из Ваффен СС; вот сорока — военврач; вот голубь — интендант, снабженец; а вот щегол — это наш, разведчик фронтовой, армейский, кра-са-вееец… Валера исчез внезапно — одновременно с тысячами инвалидов, военных и невоенных, — на Уралмаше, во всем городе стало пустовато, если не пусто: так душегубы изгоняли из страны печальный, веселый, радостный, добрый и больной дух прошедшей великой войны. И Уралмаш, вместе с городом, стал заваливаться в бездну воровства. Инвалиды исчезли — но ведь именно они сторожили добро работяг, раскиданное-собранное по баракам, по халупам и домам, которые строили пленные немцы, по общагам и прочим берлогам и хатам. Воры хлопали, бомбили и опустошали все и всех, но Дворянское гнездо обходили стороной: мусора прикрывали богатый районч ик местного начальства и ИТР. Тащили, дергали, хлопали, щипали чепуху из чепухи — но чепуху драгоценную, последнюю: одежу, обувь, патефоны, посуду, трофейные велосипеды, статуэтки, картины, барахло и аккордеоны, ордена, медали, гитары, балалайки и жратву. Уралмаш притих, улицы опустели. Война никуда от нас не ушла, она просто изменила свой облик. Словно обильная и непростая жизнь и кладка насекомых: яйца, личинки, гусеницы, бабочки, коконы. Анабиоз. Мимикрия. Агрессия. Голод. Сытость. Смерть.

В бане, рядом с билетершей, всегда сидел блаженный Гриша. С мокрой головой, в испарине, в расслаблении и усладе. Ему подавали денежную мелочь, хлеб, бутылку пива, газировки, конфетку, пряник, пирожок или что-нибудь из одежи. Он глядел на всех и сквозь всех на что-то чудесное, что мерцало, маячило, мнилось и двигалось за границей сей жизни, толкотни и хождения предбанных и послебанных людей. Это чудесное, раскаленно-ледяное, светло-аспидное и почти газообразное заглядывало в уголки широко раскрытых глаз Вани. После такого загляда Ваня обращался к миру — но видел его уже иным: пленка детского зрения истончалась и расползалась, под ней виднелась иная оболочка мира — короста беды и боли, наросты заботы и усталости, разрывы и шрамы времени и пространства, а также розовато-голубоватые лысинки тихой радости, милости и доброты. Под этим слоем надмирной кожи текла, бугрилась, вывихивалась, бросалась из стороны в сторону, устремлялась вниз и восходила березовыми потоками — жизнь. Жизнь — в обнимку

со смертью, с любовью, с вечностью и с чудом — кратким, долгим и непомерно огромным…

В этой жизни не было душегубов и гадов: ни Чингисхана, ни Батыя, ни диких князей и заморских рыцарей, ни Македонского Шурика, сжегшего Александрийскую библиотеку, ни Карла Великого, ни Генриха Восьмого, ни Ивана Грозного, ни Петра Великого Душегуба, ни Бонапарта, прости господи, Наполеона, ни тупых кайзеров, ни бессильных русских царей, ни народовольцев, разбуженных Герценом и Огаревым, ни Нечаева, ни Ленина, ни Троцкого, ни Сталина, ни одного нациста, фашиста и большевика, ни Че Гевары, ни Кастро, ни ЧК, ни НКВД, ни Аллена Даллеса, ни ЦРУ, ни КГБ — одним словом, ни политики и политиков, ни денег, ни финансов, ни уголовников, ни маньяков, ни дебильного и жадного гламура, мейнстрима и педофилии. В этой жизни воображение обнималось с красотой, поэзией, музыкой, любовью, временем, вечностью, космосом и — с Богом, который из последних сил удерживал здесь чудо…

Когда Ваня смотрел на этих полувеселых крепких, изуродованных войной и тюрьмой мужиков, ему хотелось — постоянно — стряхнуть с лица, с плеч, с рук, с ног муравьев. Это были муравьи, или по-крестьянски «мураши», изумления и сочувствия: десятки мужицких болей соединялись в одно целое и, разворошив муравейник Ваниного изумления, превращались в его боль, в его страх, в его ужас… Когда Ванины мураши опадали с тела на мокрый мраморный пол сельской бани, Ваня начинал отыскивать мужиков, кого он еще не читал. Находил. И просил деда:

— Дедушка, можно я дядю Яценко почитаю?

Дед, не удивляясь, кивал и кричал сквозь грохот и звон шаек, тазов и воды, смеха, вскриков и разговоров:

— Степан!.. А, Степан?! Можно тебя Ванюра почитает?

Степан улыбался беззубой магаданской улыбкой и вставал с мраморной лавки навстречу Ване… Татуированные портреты Ленина, Сталина, красивых баб и православных крестов; надписи, короткие и не совсем понятные, подрагивая на теле бывшего зэка, упирались Ване прямо в глаза, в душу, в сердце: на ногах — «Они устали ходить…»; на кистях рук — «Они устали бить…»; на груди два портрета Ленина и Сталина почти целовались, когда Степан напрягал грудные мышцы; на животе — «Всегда пусто…»; внизу живота — «Пайка тянет на рывок (побег)»… Потом Степан поворачивался

спиной — и Ваня читал дальше: на лопатках — по лопате — на одной сидит черт, на другой Баба Яга; спина была чище, и купола церковные не татуировались — можно было получить ДП — новый срок… А потом Ваня, опустив глаза на ягодицы, начинал смеяться — но тихо, негромко, но с запретным удовольствием: там кочегары, слева и справа, лопатами швыряли уголь в топку задницы…

Татуировки на теле зэков — это звездное небо, покрытое волосками, мыльной пенкой и застарелой болью. Кто делал эти надписи и рисунки? — Сам Бог, — думал Ваня… — Или Кассиопея и другие созвездья приложили свои пятерни к телу несчастного весельчака — и выжгли на нем голубовато-синюю вязь формулы страдания, ужаса, смерти, но и жизни, жизни, жизни, исполненной надежды, воли, любви, семьи и неба, собирающего звезды в мосты млечные и в пустоту. Пятерня судьбы накрывалась большей пятерней, о! необъятной пятерней Кассиопеи. На коже живой, на теле бессмертном человеческом все — одушевлено, все. Звезды стеснились в человека — и он жив, полувесел, полупечален и счастлив от горя былого и грядущего. Прошлое всегда в будущем. Настоящее — в прошлом. Так как настоящее — пустота проходящая. Ты в настоящем — Ваня знал, что пустота — воодушевлена: она скоро вернется густым раствором жизни, чистым, горьким, как мед, холодным и алым, как малина, свободным и вяжущим душу, как черная черемуха, как черные ягоды со скелетиком внутри, как ягоды с крохотными черепами внутри…

Смеялся Ваня — во весь голос — и тогда, когда слышал время от времени то там, то здесь странный звук. Будто жабы пели на дереве. Хлюпанье, бульканье, воздушные трели лопающихся пузырьков мыла, гладкая и твердая отдача мраморной поверхности банной скамьи — все это происходило внезапно, достаточно резко и невыносимо смешно: кто-то пукал в мыльный мрамор и выдавал жабье-соловьиную трель, забывая приподнять одну из ягодиц для выпрямления звука… Деревня… Нет — рабочий поселок. Беглоссыльное поселение мужиков и баб, задыхающихся на добыче талька и умирающих от удушья, от туберкулеза, от силикоза — от «талькоза», как говорил дед. В бане в голосе деда появлялась трещинка, в которую набивался пар, жар, пивной выхлоп и шум недобитых войной и Сталиным людей. Древние римляне называли баню (поихнему «термы») самым демократичным местом (locus) в империи,

а значит, и в мире. Мир недемократичен, лжив, жесток, политичен, милитарен etc. Жизнь среди людей и внутри государства — абсолютно недемократична. Дед Иван говаривал (но только в состоянии подпития или крайнего возбуждения, когда неприятие несправедливости часто, всегда, да и вечно, — оставалось чувством внутренним, когда мысль погашалась, но и улетучивалось самоощущение раба), что настоящие демократические государства и страны — это Смерть и Бог: здесь все равны перед вечностью, а не перед временем; перед бесконечностью, а не перед географией планеты; перед Духом, а не перед душой; перед Абсолютом, а не перед конкретной унавоженной цивилизацией жизнью…

Демократичное, но неделикатное попукивание в мыльный мрамор банных скамеек, лавок, демократичный язык мирской общественно-поселково-деревенской бани — все это отмывалось незамедлительно от матерщины, от просторечия, от говноречия, от ругани и от эхообильного донебесного хохота. Баня чище смерти.

Сквозь пупырчатый голос алкаша Ваня, сквозь потный и свежий пар в мойке (в «мыльне», как говорили шатровские люди), слышал, видел и различал крестообразное, замутненное болью, неволей, помывкой, уродством израненных войной и отшлифованных тюрьмой души людей — золотое сечение, золотое рассечение, золотое загрязнение и очищение тени бытия. Не всего бытия в целом, а этого — горячего и ледяного бытия планеты, Евразии, России. Грамматика немоты, в такие минуты, была вполне избыточна в Ване: слова и синтаксис — дети грамматики немоты. И Ваня тихо молчал себе под нос — да и под нос деду, который слышал все. Он умел не слушать, но слышать то, что скоро скажет и напишет Ваня.

Ваня опрокинул на себя малую шайку с чистой холодной водой, сел на свою мраморную скамеечку (их было несколько — для детей). На такой же скамеечке сидел бездвухногий дед Лаптев. По бокам безного Лаптева сидели два его одноногих сына — Саша (младший, пьяница и весельчак) и Матвей (старший, пьяница и философ). Они негромко переругивались, спорили, изредка подмигивая друг другу: мол, все это шутки, прибаутки, бабий ссец. Седые брови Лаптева-старейшины так разрослись, что, свисая (мокрые!), почти напрочь закрывали глаза могучего старика. Полчеловека. (Однажды Ваня тайком от деда принесет с собой ножницы, подойдет к дедушке Николаю Лаптеву и, ничего не говоря — немтырь! — подстрижет

ему брови, из-под которых на него глянут голубые-синие прибалтийские глаза фронтового штрафника, — добрые, чистые от слез и изумленные поступком немтыря, внука Иван Иваныча. Старый Лаптев прищурится и полупрокричит: — Иван, гляди-ка, я прозрел. Скоро внучок твой заговорит, бля буду, век пива не видать!..)

Мужики хохотнули. А дед, строго взглянув на Ваню, вдруг молвил, но как-то чудно и неслыханно:

— И мне постриги… брови… но не под нуль…

Из парной вышел юродивый Гриша. Он встал посередь мыльного зала, прикрыв оцинкованной шайкой храм. Он огляделся и вздрогнул всем телом, опустил голову и спокойным тоном, почти беззвучным, но слышным, как показалось Ване, аж до Москвы, произнес музыкально насыщенную, грубоватую и общеизвестную присказку:

Купил доху я
На меху я
Но видит Бог
Дал маху я
Доха не греет…
Абсолютно.

Смех, хохот — от узнавания текста и от молитвоподобной интонации декламатора — накрыл баню — и мужскую половину, и женскую… Один Ваня не смеялся — он вдруг услышал в этом скабрезном стишке эхо чего-то далекого, высокого, недостижимого и непостижимого. Эхо чего? Отзвук? Обрывки интонации?.. Дед говорил Ване, что интонация — это язык ангелов, младенцев и птиц.

Ваня вспомнил, что по четвергам, в дни гощевания, угощения и вспомощевания бабушка, угощая Гришу и тихо беседуя с ним, иногда, очень редко называла его озорником. И Ваня всегда удивлялся: где и как Наталья Григорьевна рассмотрела в блаженном Григории озорника — в этом захлопнутом наглухо в себе молитвой, страданием убогого мужичка малого роста, тщедушного, чернявого, как цыган или еврей, покорного Богу или Судьбе?.. Ваня был одновременно и мечтателем, и работником, помощником деду и бабке, деятелем и мастерителем диковинных существ из высохших кореньев и веток, из глины, из дощечек и палочек (с помощью ножа и другого инструмента); и максималистом, и реалистом-

минималистом (он мог легко обходиться без игрушек и товарищей по игре, игрушкам и первым разговорам детей о чем-то главном: на Ванин ум, дети всегда занимались чепухой, не читали книг и книжек, не пересказывали сказок, не сидели подолгу у воды, у костра, не лежали на земле лицом вверх, уходя в небо, и лицом вниз, вглядываясь и внюхиваясь в бездну чернозема, глины, коры земной — до лавы раскаленной мантии, до ядра планеты, наконец. Ваня не был ни оптимистом, ни пессимистом, ни романтиком, ни болтуном (немтырь-заика) — Ваня был застенчив: он всегда существовал за стеной своего воображения, внутри воображения. Катя любила называть Ваню «тюхтя» — она любила Ваню особенно за то, что он был не такой, как все. Именно это она в Ване и не любила, и боялась за него, одновременно побаиваясь сына, его образа жизни, мыслей, его редких, — как бабушкино «озорник» по отношению к Грише, — странных слов.

Мужики еще посмеивались над покупкой дохи на меху. Гриша как общепризнанный и вполне уважаемый и снисходительно любимый шатровцами дурачок засмущался, раскраснелся лицом до синевы, до крупных слез в прищуренных по-ленински глазах — присоседился к деду Ивану и Ване. Дед набрал ему свежей водички в большую чайку, а Ваня, подав ему кусок банного мыла и мыла хозяйственного (для стирки нижней, близкой к телу, мелочи), вдруг встал и медленно вышел на самое пустое широкое место в мыльне, прямо ко входу в парилку. Дед опустил голову — Ваня это заметил, дрогнул и почти шепотом, с искаженным заиканием лицом, которое перекашивалось то слева направо, то обратно во время любого говорения медленно с болезненными для него самого и для всех паузами медленно произнес: Тютчев Фёдор Иванович

Молчи прошу не смей меня будить
О в этот век преступный и постыдный
Не жить не чувствовать удел завидный
Отрадно спать отрадно камнем быть

Дед сидел с опущенной головой. Ваня, идя к дедовой мраморной лавке, заметил, что многие, нет — почти все в мойке, все тридцать три мужика, старика и мальчика, сидели и стояли, опустив головы. Дед встал, погладил по голове Ваню и осмотрелся:

начальников с фабрики не было, стукачей тоже… Да и год нынче тыща девятьсот шестьдесят первый… Пронесет? Обдует? А что с детенка-то возьмешь? Ну, проработают на фабрике, ну, лишат премии… Бог с ними…

Ваня вышел из бани один — дед замешкался в прихожей, где сидела билетерша, стоял бачок с холодной питьевой водой, рядом располагались две-три алюминиевые кружки, большие, флотские, емкостью от двухсот до четырехсот граммов. Потом вышел Степан Яценко, он улыбнулся Ване — и пошел, пошел, пошел до дому. Ваня закрыл глаза, приподнялся на носки, раскинул руки — и почувствовал, что вот сейчас он точно сможет взлететь… После бани легко летается. Легко заглядывается и за горизонт, и за облака, и за череду семирядную небес. Можно и за седьмое небо заглянуть… Ваня тряхнул головой и открыл глаза: и здание бани, похожее на древнерусскую крепостишку такую, какие ставили в центре кремлей князья для укрытия семей своих и всяческого добра от воров, проходимцев, предателей и неприятелей — слышно, как татарские кони пробуют кованым копытом землю… Ваня поднял голову, сердце его подскочило в груди, а душа шевельнулась и расправилась, выросла — теперь она могла объять весь мир, всю Вселенную, весь Космос… И Шатры, и узкоколейка, и общественная баня, стоявшая на отшибе — все было окружено лесом, состоявшим из могучих сосен и берез. Они были огромные, стволы в обхват, а то и более того,— ровные, как отшлифованные временем, вечностью, силой земли, света и тьмы и воздуха, снегом, дождем — и глазами. Стволы сосен были медно-красные или золотисто-желтые, как всюду на Урале, и березовые стволы позолотели от любви земной к миру. И сосны, и березы составляли колоннаду. И в лесу этом припоселковом стволы деревьев были каменные, мраморные, гранитные, базальтовые, яшмовые и малахитовые,— будто все колоннады мира сошлись здесь, яшма и малахит побратались, обнялись и стали испускать невероятный, невозможный, божественный свет и цвет. И дереву в этом мире, любящем и убивающем, отрадней камнем быть… Ваня впервые пошел из бани один. Баня была рядом с домом — метров сто. Дед догнал Ваню у дворовой изгороди. Приобнял внука за плечи, заглянул в глаза — побудешь на воздухе? — Смотри, не улетай. А я к бабке пойду, расскажу про Гришину частушку. А о «частушках» Тютчева — ничего не скажу…

Во дворе восьмиквартирного домика, очень небольшом, объятом конюшнями, стайками, сараями и сарайками, палисадниками (их было два — по сторонам входа в домик), огородчиками, садиками и садом, и огородом, и дюжиной мощных взрослых берез, — справа от входа в домик возвышался насыпной бруствер, длиной метров пятнадцать, на котором покоились дощатые крышки-щиты, покрывающие пять-шесть погребов, глубоких и хладных, — для хранения картошки, солений, варений и других овощей — моркови, или, по-местному, «морквы», свеклы, или «свеклы» и других важных немногочисленных плодов — репы, турнепса, редьки и прочей шарообразной и пахучей прелести.

Ваня сидел на крышке своего погреба, или, как дед говорил, «ямы». Крышка была крышей, защищающей людей от голода и мора. Она была теплая и мягкая — обшитая толем, под которым была плотно уложена вата, стекловата или просто ненужные и негодные для ношения тряпки. Ваня смотрел на восток — в небо, где набирались, густели и тучнели белые облака. Космос и Бог с помощью притяжения земли вытягивали их в полотна, в белые половики, в рядно, в широкие дорожки (не ковровые, как в Кремле, а чудесные, как в мире), которые преобразовывались в холсты, прямоугольные, квадратные и эллипсообразные, — в холсты, мягкие и подвижные: такое движение облачных нитей и облачного полотна показывало Ване то лики человеков, ангелов и Бога самого, то лица, знакомые до холодка в груди, Леонардо да Винчи, Шекспира, Микель-Анджело (так писал это имя Фёдор Иванович), то Пушкина, то Гоголя, то деда Ваниного, но с бородой, седой и проливной, то Иова. Но чаще движение облаков являло обобщенный лик Бога, Леонардо, Микель-Анджело и Деда.

Вдруг Ваня почувствовал — сначала холодком в груди, в потом всем телом и существом своим, что он не один, что кто-то есть рядом, что кто-то сидит на крышке овощной ямы рядом с ним, рядом с темным шариком в душе, который в минуты беды и счастья начинал испускать свет, но свет не белый, не золотой, а смутно-темный с черно-синим оттенком, с фиолетово-темно-оранжевым мерцанием, составляющим радугу, похожую на ширящийся синяк с оком посередине. С оком, со зрачком, с темно-синим, почти карим и вороным шариком, сгустком живого и мертвого вещества ужаса. Ужаса, вызывающего темную радость открывания, узнавания и познания

чего-то главного, прикосновение к нему разумом, сердцем и душой обнаруживало в этом, почти шерстяном, как у бабушки, мотке, мячике, — в этой планетке, в этом измученном солнышке — радугу, свернутую, сжатую до боли в жизнь, в ее невидную и невиданную часть, которая затягивает тебя в себя — да так, что глаза твои и кончики пальцев твоих начинали светиться… Ваня повернулся всем существом своим налево и увидел ее. Это была Она.

Она сидела, светловолосая, светлоглазая, — в серебристом с синевой платье с короткими рукавами. Кожа на ее коленях, на локтях, на запястьях натянулась и слегка светилась — так, будто была прозрачной или — вся — состояла из воздуха, такого густого, что трудно стало дышать. Ваня подумал, как Ее зовут? Она втянула Ванина глаза в свои, родные и добрые, и, не открывая уст произнесла изнутри, из страшной глубины, прямо внутрь, в нутро Вани: — Она. — Она, — подумал ей навстречу Ваня. — Да, милый, просто — Она. Они молча помолчали. И она молча произнесла, переводя взгляд свой на облака: «Молчи, не смей меня будить…» — Ваня откликнулся: — Тютчев… — Она легко, почти невесомо возразила: — Да, и Фёдор тоже. Но изначально Микель-Анджело, Да Винчи, Данте и Шекспир, и еще… еще кто-то… — Она продолжала: — Ваня, тысячелетие, любой век, любой день и час, любая минута — преступны… и — постыдны… поэтому душа художника, засыпая, не умирает, но делится своим веществом с камнем, с деревом, с водой, с огнем, с воздухом, с любовью, с Богом, со звездой, с тьмой и светом, с пустотой. С пустотой, которая — мать всему на свете и во тьме…

Ваня озяб. Откуда-то из космоса надвигается на Шатры вечер… Она посмотрела Ване в глаза еще глубже и больнее и медленно, как пошумливает листва на осине в безветрие, беззвучно произнесла: — Ничего не бойся. Ты — художник. Этот мир никогда не поймет тебя до конца, этот мир недослышит, недовидит, недопонимает, недочувствует Главное. Ты становишься старше — а мир остается младенцем с голодными и веселыми глазами. Ты возмужаешь — и все, что ты знаешь, произнесешь вслух, во всеуслышание, но мир недослышит тебя потому, что голос способны услышать и принять в себя только Он, Она, свет, тьма и пустота…

Ваня заплакал. Наплакавшись, он вытер ладонями глаза и щеки — и увидел, что сидит на крыше овощной ямы один. Он положил маленькую ладонь свою на то место, где только что сидела

Она: поверхность крышки погреба — здесь — была ледяная. Он отвел ладошку в сторону — тепло. Вернул ее обратно — лед…

Детство упирается в отрочество, отрочество — в юность, а юность в молодость и зрелость — как в тупик. Ваня задержал в себе детство, поместив его в центр своего воображения, разума, сердца, души — сознания, которое взрастало, ширилось, углублялось и возвышалось силой столкновения двух, трех, четырех — всех — энергий, от ювенальной до зрелой, перезрелой, премудрой. Ваня чувствовал, что столкновение в нем разных возрастных состояний порождает треугольноподобный, почти непреодолимый тупик, который вдруг, сразу после разговора с Ней превратился не в выход, как скажет через двадцать лет один поэт, услышавший крик ястреба, а во вход — вход в Иное, но знакомое, родное,— свое… Последняя перед наступлением сумрака ласточка-береговушка, приподнявшаяся и залетевшая сюда от Разреза (сто метров к югу) за особенно крупной и вкусной летучей насекомой тварью,— вдруг метнулась к Ване, сидевшему на погребном возвышении, остановилась в воздухе, быстро и нежно трепеща крылышками,— прямо в метре от Ваниного лица, как перед незастекленным окном,— и заглянула Ване в глаза, в мысли его, в его взрослое детство… «Да-да-да,— сказал ей Ваня,— я понимаю тебя, родная… лети в глиняный свой домик в глиняном каменистом Обрыве Над Водой… там ждут тебя малые ласточонки и друг твой вечный — Ласточкин…» Ваня, услышав в своей внутренней речи бабушкины слова,— улыбнулся…

Каждое лето, а точнее, каждую весну (крохотные школьные каникулы не в счет), с майских праздников (Первое и Девятое мая) Ваня перебрался из города (с Уралмаша) в Шатры. Воля, внутренняя и внешняя, пришла к Ване, Кате и младшему брату Андрею сразу после побега от отца. Казачок, уже не наш, уже ничей, а «всейный», то бишь вернувшийся в мужскую пьяную и разгульную свободу, в дикое поле уралмашевское — городских соблазнов и развлечений,— казак-атаман коммунистов цеха № 74 УЗТМ, красавец мужчина, высокий, статный, в темно-синем костюме с двубортным пиджаком, в белой с синей тонкой полосочкой рубахе с отложным воротником, а то и в галстуке, тоже синем, темным до черноты,— Никанорыч, Вася, В. Н. Черепов, секретарь партбюро цеха, истребитель бандеровцев, участник двух военных парадов (всегда в первой шеренге квадратного полка, правофланговый), способный в один

присест выпить два с половиной литра водки (пять бутылок) — и не помереть… Ах, какая мужчина, какая мужчина,— всем б такую…

Ване исполнилось пятнадцать лет. Он крепко занимался баскетболом и легкой атлетикой (метание диска, копья и толкание ядра — да, ядра, несмотря на худобу, высокий рост и проч.,— Ваня не был накаченным культуристом, он был просто сильным — и от природы, и от сельхозработ у деда, и от непреодолимого желания не быть дохляком). И поэтому привез в Шатры юниорское ядро (6 кг, тогда как «взрослое» ядро, олимпийское, весило 7 кг 257 г). Он толкал его сначала за дальним торцом домика, но однажды дальний полет ядра пробил насквозь дощатый заборчик в сад, и ядро докатилось как раз до малины Орловых. Дед, хмурясь, посмеялся, но заметил, что Ваня рано или поздно разбомбит весь забор, а срывы с кисти ядра вправо высадят оба окна Орловых, находившихся на первом этаже. Ваня перенес свои олимпийские игры за двор, за сенник, ближе к Разрезу, где через пару недель по утрам и вечерам собирался поселковый народ поглазеть на диковинные упражнения внука Ивана Ивановича: вишь ты, дед — кузнец, и внук железный шар выталкивает, как близкобойная, но слабенькая пушка… Занятия с ядром Вани воспринимались работягами и крестьянами как нечто пустое, ненужное, даже враждебное их жизни, но, черт побери, крайне интересное, удивляющее, не только взрослых людей, но и детей, и березы, и коз, и телят, и сам воздух, который все свое существование в этой части земли ждал такого сверхполного использования его легкими, сердцем, мышцами и душой этого долговязого парня, уже не шкета, не пацана, но почти мущины. Мущины нового в этих краях, небывалого. (Когда через много лет эта живая пушка станет кандидатом филологических наук, шатровские соседи станут называть этого Ваньшу, Ванюру, Ванюрика, Юрика и просто Ваньку дэканом, хотя Ваня не был и никогда не станет таковым: поселковый люд не знал слова «филологический», и на его ум и воображение все, кто работал в университете, был или профессором, или деканом, но никак уж не каким-то дацентом.)

Появление у Орловых еще трех внуков сверх Вани: Андрюши (младшего сына Кати), Танюшки и Славки (детей Катиного брата Коли и его жены Веры) затруднило вольную часть жизни Вани,— его походы в лес по ягоды и грибы, рыбалку и на Разрезе, и на Пруду,

появившемся в трех-четырех километрах от Шатров, в сторону Горного Щита, за фермой, в горном распадке, в который входила, втекала, вбегала речка-ручей Арамилка. Ваня отныне (и вовеки веков) отвечал за сохранность малышни, когда она съезжалась к деду с бабушкой в Шатры, поэтому и таскал с собой и за тобой то на Разрез, на Малые Андреевские озера (водяные окна в Чистом болоте, раскинувшемся до Сысерти, которую Ваня постоянно, но через силу, через не могу рифмовал со «смертью», понимая краем сочинительского сознания, что это туфта, неправда, фуфло, ерунда и экзерсисы. Ваня еще не понимал себя, вернее, свою способность рифмовать и сочинять стихи: он еще не знал, что внешние показатели талантливости — это совокупность чувства меры, вкуса и чувства объема, но уже краем души предвидел это человеческое, авторское продолжение дара. Ваня много сочинял и уже четыре года записывал стихи в тетрадь. Стихи были всегда — стишки, — но по-настоящему они поперли из него после того, как с помощью папы-казака, инженера и коммуниста, Ваня бросил, отринул, возненавидел занятие лепкой и резьбой по дереву и из дерева. Но! — если лепить и заниматься резьбой по дереву вызывали в Ваниной душе ощущение сладости и гордости от «бесполезной» работы, то писание, а сначала думание, страдание, мука предсочинительского одиночества и счастья — все это вызывало боль, начинавшую обитать в крови, в плоти, в сердце, в голове, в душе и в том, что принято называть вдохновением. Лепить — приятно, сладко, почти весело. Но думать стихи — все равно что постоянно окунаться то в кипящее молоко, то в ледяную воду одиночества. Никто не слышит, не видит то, что делает сочиняющий и пишущий себя в себе, создающий этот мир заново, не копируя его, но уважая или ненавидя, отторгая его движущуюся, летящую без перемены места и времени жизнь. Ваня думал стихи, но и они его то понимали, то не узнавали. Он часто плакал тайком, скрываясь в ванной или в туалете однокомнатной убогой, но родной, прекрасной, очень несчастной, криво-косо выстроенной квартирки, которая собирала в себе все звуки сорокаквартирного пятиэтажного дома, двора, улицы, Уралмаша, города… Ваня плакал и улыбался сквозь слезы, наблюдая работу паучка, который, видимо, переехал с Катей и детьми сюда, на новое место.

Сочинительство, думание, вытаскивание, улавливание, ухватывание стихов в воздухе — и выше; хождение в стихах и со стихами,

сон в стихах и со стихами, — это самоистребление и самопорождение, это возрождение себя — одновременно и многовременно, — не повсюду, но всегда. Творящее сочинителя — самоистребление. От думания стихов никуда не деться потому, что оно происходит всегда — даже после смерти сочинителя. Такие дела.

Ваня сидел на крышке погреба после вечерних занятий с ядром — и досидел до звезд. Он видел, как бабушка несколько раз выглядывала между белых шторок в окно, как в экран вечера, сада, леса, озера, неба и звезд. Дед и младшие давно уже спали. В космосе стало, как в деревне: ни света, ни воды, ни канализациии. Лес подтягивался к небу — особенно его хвойная, сосновая часть — своей чернотой, островерхностью дерев, елей, зазубренностью поверхности примыкания. В такое время — трудно не рассмотреть Бога в лесу. Грамматика леса, грамматика темноты, грамматика созвездий и звезд, цепляющихся друг за друга, грамматики движения и покоя, грамматика света, времени и вечности — все это были варианты грамматики красоты, гармонии — жесткой, сильной и нежной, милостивой, — благодати и вечного смятения в душе, чреватого ожиданием начала думания стихов. Такая грамматика в такие минуты — божественная — втягивала в себя все возможные виды грамматики, нуждающиеся в остихотворении, в ословлении, в музыке и красоте, несущие сочинителю боль, боль, боль — и прозрение, еще смутное, тяжелое, царапающее душу, вывихивающее ум и делающее тебя человеком. Иным человеком. Немота Ивана, и вообще немота любая, — это грамматика без участия твоего содержания в содержании мира, ибо последнее ничтожно. Грамматика голоса, звука, интонации завершила этот чудовищно трудный и долгий процесс появлением главного, что есть в стихах — грамматики грамматики. Грамматика грамматики — это еще одна сторона дара, таланта. Ваня и Иван, внутренний человек Ивана, дали почувствовать Ване это мучительное, пугающее и прекрасное раздвоение, размножение ума, сердца и души. Единство ума (разума, ratio), сердца как эмоционально-чувственной части личности и души как связи с Духом, с Ним, с Ней и звездами — такое единство, братство, дружество и такая любовь друг к другу главных темно-светлых сторон человека, думающего стихи — делало человека, сочинителя, художника не частью населенного пункта, района, города, края страны, страны

и государства, — это единство позволило увидеть, видеть и слышать то, что происходило за гулом политики, войн и денег.

Местные писатели и поэты, которых читал Ваня, просто писали, выдумывали и лгали всем ради славы, денег и памятника в центре Свердловска на Плотинке. Сочинения поэтов Вавилова, Вампилова, Вопилова и Вампирова (вишь ты, все на «в»), а также детского прозаика Кровопивина и беллетристов для взрослых идиотов Кардана и Тутыхина издавались десятками, сотнями, тысячами и миллионами экземпляров. Все они были лауреатами премий комсомола, партии коммунистов и других подконтрольных власти организаций и шабашей. Их любил народ. Они его презирали. Почему в советской литературе было столько чуши собачьей?.. Эти издания чуши были бесконечны, и ты начинал понимать — медленно, постепенно и больно — следующее: во-первых, Ленин выдумал наличие некоей пролетарской культуры, то бишь некультуры и, более того, антикультуры — и уничтожил с тов. Сталиным, героями Гражданской войны представителей всех культурных слоев России — под корень: дворянство, интеллигенцию, технократию, духовенство, всех фрилансеров и купечество, свободное студенчество, образованную часть рабочих и крестьян, армию — офицеров, унтер-офицеров и профессиональных солдат; оставшиеся в живых полумещане и пролетарии добили, раздавили, растрепали и разрушили все, что ими относилось к Старому миру. Во-вторых, в постреволюционный период породились, оформились и консолидировались новые социалистические человеки (необразованные, без культуры, дикие, неумные, откровенно примитивные, вороватые, коварные, похотливые, злые, верующие только в догмы коммунизма, в мумии и чучела — Мировой и местной — социалистической революции, которая и довела Россию, все этносы, народ — до ручки. До полной гибели всерьез, как говорил один поэт. Доносительство, лжесвидетельствование, просто откровенное воровство, взяточничество и прямое убийство — все это дошло до высшей степени трагедии, до всевозможных кризисов, застоев, крахов и катастроф — от товарища Ленина до товарища и господина Ельцина.

В-третьих, все подчинилось мощнейшему всегосударственному потоку идеологии «законов» и форматов «строителей» бог знает чего. Остатки культуры были добиты цензурой. Литература, поэзия, наука, искусство с той поры работали редко на ЦК, ЧК и лично

товарища такого-то, естественно — вождя. Цензура породила «вторую культуру», подпольную, наказуемую, караемую властью.

В-четвертых, массы поедали синтетический продукт первой культуры. Сотни и тысячи — смаковали и интерпретировали артефакты второй культуры (писание в стол, самиздат, квартирники, подъездники, костерники и почти все это на низком самодеятельном уровне). На рубеже двадцатого и двадцать первого веков в России грянет третья культура, дешевое и дохлое, но грязное и голое повторение второй (ориентиры сменились). Наука будет производить ракеты, утюги и танки. Искусство станет наполнять залы. Литература увязнет в аттрактивности, в сексе, в крови (кетчуповой), в тупо- и слабоумии. Останется только поэзия. Поэзия уйдет далече — и от культуры, и от литературы, и от литературного (публичного, как те дома) стихотворчества.

В-пятых. Таким образом, на ум Вани-Ивана, культура подлинная была спасена литературой Золотого Века и поэзией Осипа Эмильевича Мандельштама.

Сборы на рыбалку с младшими братьями и сестрой (Ваня — «старшой») происходили в потемках. Младшие — родной и двоюродные — еще сладко дрыхли. Ваня колдобился и бесшумно шарахался по кухне, собирая снедь на целых четверых да на целый день — до вечера. Удочки, дождевики, сапоги, купальники были готовы с вечера с двумя стопками салфеток (туалетная бумага продавалась только в Москве [в свободной продаже], остальная распределялась по ЦК, обкомам, горкомам и райкомам КПСС. Ваня брал две буханки хлеба — детям — одна и рыбам — другая. Бросал в рюкзак огурцы (и свежие, и малосольные), помидоры, колбасный сыр (немного), сосиски (по две на рот), пять бутылок с молоком, квасом (себе) и водой. (Через четыре-пять лет он всякий раз будет вспоминать эти рыбалочьи сборы, готовя свою группу в рейд за передний край обороны уже вполне вероятного, но «локального», еще не очень обнаглевшего, противника — в Северной и Южной Африках в Индокитае…) Вдруг появлялась бабушка уже в двух-трех юбках своих, как цыганка, недочесанная и невесело добрался — она добавляла к Ваниной снеди самое важное: соль, конфеты, пряники, печенье и яблочки. Потом она выводила голубчиков — заспанных, злововатых и молчаливых, — через 5–10 минут они начнут ныть, ржать, толкаться и злиться на Ваню — ну да, три-четыре километра

до Пруда кандыбать — да еще сквозь уличку, улищу Цап-Царап, — туда и мусора-то не заглядывали — бздели; изредка, правда, устраивали шмоны, налеты, засады, из которых не всегда выходили — так и спали там до следующего полудня. Ваню на Цап-Царап знали и уважали как немтыря и убогого, а ныне еще и сильного, как Гоша Гонцов, который Ваню уважал с младенческих лет и защищал: уркаганы куда острее литературных критиков и искусствоведов чуют талант — особый, ангельский, божественный, — за то и дарил Ванюхе ножички миниатюрные — камерные, чтоб в крытке (тюряге) не нашли. Ах, красивые да острые — мечта любого пацана, и не обязательно шатровского и уралмашевского, а московского, парижского и еще черт знает какого.

Ваня собирался на рыбалку и думал:

— Если вам не приходилось получать веслом по балде — приходите на Шатровский пруд, лучше вечерком, в жаркий денек, где как раз соберутся представители всех трех деревень Шатровского поселка: Старого, Нового, а также Банного (райончик, закуток, где жили Орловы), кроме того подъедут и городские — на горбатых «запорожцах», на инвалидках с мотоциклетными юно пердящими моторами, на мотоциклах и мопедах (говорилось «мопэдах»). Такие собрания на берегу всегда заканчивались всеобщей, как лотерея ДОСААФ, дракой — из-за узкой полоски искусственно насыпанного песчаного пляжа… Ваня молча рассмеивался и улыбался, вспомнив вдруг, как Катя интеллигентничала на сельской автобусной остановке и говорила не «МРП» и не «пернул», но «перднул».

Было еще рано. Очень рано. Бабушка перекрестила детей и выпроводила их с Богом из дома — на волю. Было 3:30 утра. Можно еще было поспать перед хлопотами со скотиной и огородом.

Ваня вывел троицу ребятишек из подъездика и у дворовой калитки достал из кармана куртки крепкую фабричную бечевку, — было еще совсем рано — темновато, серовато, голубовато и прохладно. Ваня привязал бечевку к свободной левой руке (за спиной рюкзак типа сидор, в правой руке удочки — три), а потом поочередно привязал с интервалом в 1 м 20 см Таню, Славку и Андрюху — тоже за запястья, чтоб не отстали и не потерялись — идти нужно было долго (для таких малых) — километра четыре. Дети шли, тянулись за Ваней, как пленные французы или немцы. Нет, французы… Они быстро, вдруг взбодрившись, проскочили спящую

мертвым пьяным сном улицу Цап-Царап «Обратно будет труднее и страшнее», — подумал Ваня, и ему захотелось закурить, хотя он еще не курил — сознательно: спортсмен, дед тоже не курил, и вообще курил только дядя Коля — «Шипку», то с фильтром, то без фильтра. Вышли с Цап-Царап в поле — и потянулись по пыльно-влажной узкой, двухколейной дорожке в сторону леса. Над полем уже редко да нет-нет и пролетали птички — овсянки, чаще белошапочные, яркие, с красной грудкой и черно-белыми крылышками, а на головках у самцов — белые шапочки, они пищали, а иногда и трели выдавали: Ваня давно заметил, что все птицы подражают всем птицам, перепевают друг друга, передразнивают, метят звуком свой мир… Поле было засеяно овсом и горохом — самое доброе место для голожопок. И голожопки здесь водились: такие тетки по колено мужику, голые, с длинным, до пят, волосом конским — они ничего никому не делали, но любили попугать, погонять по полям, закружить, запутать так, что не выйдешь с поля никогда, — сторон света не взвидишь, забудешь так, что хоть ложись в овсы, рубай горох да спи. Спи до смерти… В этот раз пронесло, не зацепило — уж больно Ваня переживал за малышей. И зачем он их попер на привязи с собой? — Просились, ныли, выли, рыдали… Ох, детва беспризорная…

В лесу колыхнули воздух — аж по ушам ударило — вороны, сороки, сойки и всякая иная разная хищнота, — от сов до ястребов и черных коршунов, от соколов до скоп, до тетеревятников. Колыхнулись — и попадали в чащу спать дальше. Сосны стояли — выше себя самих. На земле проступили еловато-желтые вены от напряжения — тяжелые они, высоченные, толстые и ветвистые: о сосновые корни запинаться на тропе — лучше вовсе не ходить.

Пруд открылся, как всегда, неожиданно сразу весь — со всеми своими заливчиками, обрывчиками и небом внутри, в воде — и в глазах. Ваня со своим караваном обошел Левое болотце, залив и вышел на приподнявшийся над водой полуостров: слава Богу, он не был занят рыбаками. Ваня запалил костерчик, усадил пацанву вокруг огня, выдал каждому по яблоку, по пирожку, по три печенинки и по пять конфет «Школьная», налил из термоса — каждому — по кружечке пресного чая на травах, дал каждому по книжке и карандаши, — «городские, бедные уродцы», — подумал Ваня. И отправился к снастям. Сначала он закинул далеко от берега три

закидушки, но не донки, а верховые, с живцами (пескарь, чебак-плотва и карасик) на крючках (двойных, чтобы щуренок или щучка зацепились крепко). Потом размотал три удочки и закинул снасти в воду с разными насадками (хлеб, горох, тесто) и наживками (червяк или малинка/мотыль) — для карпика, чебака-плотвы, карасища и окуня, которые здесь были просто зверями, зверьми, чудовищами. Потом сел на бугорочек, поближе к удочкам, изредка посматривая на огромные белые (неестественно снежные, как куски снега в теплой воде) пенопластовые поплавки закидушек, мысленно отмечая: три, пока три, все на месте…

Ребятишки сидели у костра переговаривались-переругивались-пересмеивались, но мирно (Ваня наказал им строго — не драться! — а то больше на Пруд не возьму). Ваня сидел на своем бугорке и думал (а думал всегда, даже во сне, даже когда дрался, даже когда умирал от гепатита (болезнь Боткина), от любви и ангины): ужас, высокий ужас, божественный ужас, бытийный, онтологический — в том, что люди поступают по-христиански (преимущественно), а страны — нет. Любое государство — вне нравственности: существует и умирает. В общем, оставь надежду всяк, сюда входящий. Все бездарное стремится к объединению (поэты Вавилов, Вампилов, Вопилов и Вампиров, в также примкнувший к ним детский писатель Кровопивин). Бездарность — явление коллективное, строевое, толпяное, хоровое. Хоровая эмоция бездарности гудит повсюду и всегда… Еще дождемся, — и появится поэт в авторитете, в законе — с говорком Ленина и интонацией цадика.

Вдруг Ваня услышал Славкин голос — почти шепот. Он орал шепотом: — Ваньча, бля.ь, блин, блиндаж, — смотри — че это такое?! В руках — в обеих — его было удилище, согнувшееся крепко («Ниче, сосна выдюжит», — мелькнуло в голове), а на крючке сидел карпенок под килограмм, натянув леску так, что она пела, подрагивала и позванивала… Ваня вскочил и мягкими прыжками по-кошачьи, чтобы не топать, рванул к своей малолетней братве, водившей безмолвный хоровод вокруг удочки…

Это был красавец-карпенок. Дети рассредоточились. Ваня в течение часа вытащил на воздух еще 15 рыбин. Устал. Присел. Все — перекус. Перекусили. Помолчали. Рассмеялись. Ребятишки впервые видели клев. И впервые ощутили добычу. И впервые побывали в шкуре охотника, рыболова, добытчика.

Солнце вылупилось из-за берез, и стало припекать. Купаться! Славка и Андрей уже умели плавать — не плавать, но поплавывать. Танюшку пришлось оснащать детским оранжевым надувным кругом и такими же нарукавниками. Вожаком был назначен Андрей, десятилетний, ленивый, но шибко умный парень. Ребята ушли купаться — вокруг болотца, залива — на противоположную сторону пруда. Ваня засыпал в центр угасающего костра десяток сырых картофелин, нагреб на них углей разровнял. Присел. Прилег. Уснул. Сначала снилась тоска — тоска по тому, чего нет и не будет. Потом снились казенные сны: Ваня ходил в строю, в котором шагали разные люди — и дети, и подростки, и взрослые, и старики. Они бродили — в колонну по одному по длинным коридорам. Хотелось есть. Но все чего-то или кого-то боялись и поэтому шагали все дальше и дальше. Куда? Потом снились два друга — уже из будущего, из молодости и зрелости. Оба друга уже умерли, но Ваня бросался к ним, как к живым, а они отстранялись — Саша и Петя. Саша был суровее и, видимо, знал законы Того света, а Петя все хотел остановиться, положить руку на плечо и заплакать. Потом снилась мама: Катя уже как бы умерла — и все махала из толпы своей пестрой леопардовой банданой. Слезы стояли в ветвях деревьев, и Ваня все никак не мог поплакать деревьями, пролить с ветвей слезы, и свои, и небесные. Потом он опять (в который раз) уходил от погони, от противника, редко отстреливаясь из какого-то карабина, похожего на СКС-43. Эти же лупили по нему без остановки. Ване некуда было деваться — его загнали. Ваня подбежал к обрыву — и замер: на краю сидела Она, повернув голову в сторону Вани, и улыбалась. К ней нужно было пробраться сквозь редкую толпишку людей, среди которых были и Ленин, и Ельцин, и отец-казак, и Тютчев, и Сталин, и Твардовский, и иные товарищи-господа. Проходя, протискиваясь сквозь собрание, мимо Ленина и Ельцина, Ваня внятно пробурчал, простонал, пролепетал: Иди на х.р… — Ваня споткнулся, и Тютчев подхватил его за локоть, положив ладонь левой руки Ване на грудь: — Спасибо, Ваня, за Микель-Анджело, — низким грудным голосом проговорил. Фёдор Иваныч. — Поддержал меня здесь…

А потом Ваня, наконец, добрался до Нее. Спиной он чувствовал стволы неприятеля, но знал, что при ней стрелять они не станут — зассат…

Ваня сел на обрыв, свесил, как Она, ноги над бездной. Она положила ладонь, почти ледяную и почти горячую, на Ванино колено: — Ничего не бойся. Никто и никогда тебя не убьет. Ты сильнее их. Всех их. Бойся себя. Страстей своих и силы своей огромной. Не навреди себе. А сейчас… — Она улыбнулась, — полетели. И — они полетели в пропасть — и дальше к морю, где было видно, как волны сворачиваются, заворачиваются в трубочки, в рулончики, в стебли будущих бурь… А теперь очнись — с Танюшкой не все ладно — пригляди за ней.

Иван вскочил с мутными глазами и увидел, как Таня плывет с другого берега сюда, на полуостров, барабаня ножками по темно-зеленой воде и слабо вскидывая окольцованные оранжевыми пузырями ручки. До нее было метров пятьдесят. Ваня замер, обмер, похолодел — весь — и стал ласково звать двоюродную сестру к себе, зайдя в воду по горло (пруд был глубок) и толкнувшись ступнями вперед. Они встретились на полпути. Ваня плакал — но в воде это было не заметно, а Таня смеялась, хохотала и захлебывалась пахнущей водорослями и рыбой водой…

Пообедали-пополдничали-поужинали у костра. Солнце чокалось с водой в трех местах — выходил треугольник, в котором не отражались сосны, и вода в нем была гладкая. Еще искупаться, собрать удочки, снасти и рыбешку — и домой. Вчетвером они отправились через Малое болотце на пляж — и не успели подойти, как случилась драка. Взрослая. Настоящая. Яростная и убойная. Дрались мужики и бабы, местные, но из разных поселков, и приезжие, городские, — их грузовик стоял чуть в стороне, под молодым сосняком. Били друг друга досками (дюймовка, сороковка) с гвоздями. Пьяные, но били по-трезвому точно — по башке, по спине крест-накрест, поперек груди и по мудям — с оттяжкой. Человек двадцать были в крови. Дрались насмерть и молча. Ваня лет через пяток такое увидит в Африке, в Индокитае, но там — война, а здесь страсти после покоса. Господи прости…

Ваня прыгнул в кабину 130-го ЗИЛ-ка, ключ был в замке. Газанул — и рванул кузовом назад. Как раз на дерущихся. Схватил в кабине с сидушки топор полуторный, выскочил из кабины, не глуша двигателя, и пошел прямо на дерущихся — на тех, кто чужой, приезжий. Ваня был очень высок ростом — выше всех дерущихся, да и сила в нем была — крестьянская, казачья, спортивная (штанга,

ядро, диск, копье, баскетбол), военно-дворянская уверенность в своей правоте, а также сила, способная защищать не только трех своих кровных малышей, но и всех, кто отпрянул сейчас от воды к молодому сосняку, который подрагивал от ударов кулаками, палками, досками — по голым телам… Ваня-Иван, уже Иван, схватил за плечо заезжего вожака и негромко, не заикаясь, но твердо сказал, держа топор в полусогнутой левой руке: — Уезжайте! Прямо сейчас. Вас тут всех перебьют. Убьют. Слышишь?! И я сейчас впишусь. С топором. Но не за вас. За своих. Уезжайте — мотор работает. А базар будет завтра, но не здесь, а у Бани, у остановки. И если базар будет серьезный — я тоже впишусь.

Заезжий вожак видел перед собой парня, который левым кулачищем уложит его на песок — легко. Нет, это не парень. Это боец… Окровавленные гости под прикрытием Ивана, его левой колотушки и топора в правой руке, — попрыгали в кузовок ЗИЛ-ка. И — уехали.

Ваня сел на песок и сидел так некоторое время — с топором в руке, со сжатым левым кулаком и опустив голову. Он весь был как одна мышца, готовая взбугриться и убить — любого гада, который попробует тронуть его малышню… Все, кто был на пляже, чувствовали это — и расслабились, зашевелились, — все: война кончилась… Дети стали подходить к сидящему Ване — без единой слезы в глазах и в голосе… Они — улыбались.

Пятилетняя Таня погладила Ваню по плечу и сказала себе и всем: — Ваня, ты не кожаный, как коркодил, и не мухнатый, как медведь, ты — голый, как Геракл.

Десятилетний Андрюша вписался в Танины похвалы и пошутил: — Геракл в штаны накакал. — А трехлетний Славка пропел: — Касманаааааавт!..

Андрюха вдруг заорал дикую блатную песнию:

Зачем ушла из жизни ты так рано
Зачем грустить заставила разлуку
Куда ушла из сердца ты так рано
Зачем грустить заставила разлуку
Я плачу и рыдаю дорогая} 3 раза

И сразу все вместе: Таня, Славка, Андерман и Ваня — грянули:

Сидели мы у речки у вонючей
Сидели во двенадцатом часу
А ты прижалася ко мне позорной мордой
И пела ковыряясь в носу
Ты пела так что выли все собаки
А у соседа обвалился потолок
И мне хотелося без шума и без драки
Обнять, поднять тебя и е.нуть об порог
Любила целоваться ты взасос
Захватывала сразу рот и нос
Любила обниматься за волосы хвататься
Вот почему я братцы без волос

В колонну по одному отпрыски царского генерала гвардии удалились с пляжа к Малому болотцу — и дальше, на полуостров — собирать шмотки и сваливать домой…

Обратно шли гурьбой: впереди Славка и Таня, потом Андерман, и замыкал сей тихий и посмеивающийся, покрикивающий ход — Ваня. Начинало смеркаться. Ваня молчал — по глазам его гуляли слезы. Слезы — главная оптика любви. Жизни. Дружбы. Родства. Смерти. Боли и счастья. Где-то в сосне застрочил дятел: Ваня подумал: «Заслуженный дятел наук… Нет, Заслуженный дятел искусств… Нет, Заслуженный дятел культуры и сельского хозяйства (справа от них, глубоко вздыхая, засыпали овсы с горохом — с полем, землей, небом, перепелками и голожопками… Нет! Заслуженный дятел тишины!..») Ваня шел, почти тащился за ребятами: устал — рюкзак с рыбой, снасти, детские шмотки, какие-то грибы, удочки, длинные, отработавшие нынче свое, мешающие идти сквозь кусты дикой малины, шиповника и прочей хренотени. Голожопки еще не вышли — было слишком светло. Быстро пересекли поле, прохромали поскотину и вышли в коридор улицы Цап-Царап. Улица гудела дворами, домами, палисадниками и садами: и там, и здесь, и всюду гуляли и веселились жители и обитатели этой самой шумной улицы на свете… Прошли уже пол-улицы, и Ваня начал подумывать, что они уже проскочили эту воровскую слободку без потерь и приключений, как из срединного домишки вышел из калитки Гоша Гонцов.

— О, Ванюха-Ванюра, откуда и куда? Литературоведение может благополучно существовать без литературы, но Цап-Царап без

драки — это полная х.рня, так не бывает: нужен шмон, пинки под зад, легкие тычки кулаком в рожу пятнадцатилетнего спортсмена. Гоша был выше Вани на голову — как раз 205 см, как центровой на баскет-площадке. Бороденка у него была рыженькая, жидкая, как у бабки под коленкой. — Не брагой единой ссыт арестант, — фальцетом прокричал Гоша и добавил: — Ты, сука, так низко пал, что плинтус — в небесах… О тебе еще напишут дурналисты… Я, б.я, все сделаю для бредущего поколения фраеров!.. — Ваня почувствовал, как смерть смотрит на него, пока еще живого и целого… — Гоша, — сказал он твердо, — сегодня Коля приезжает. — Коля-космонавт?! — вопросил Гоша. — Да, Гоша, космонавт, с ним еще один Коля-майор госбезопасности, бабушкин племяш. — Это котовый в Совете безнаказанности ООН робит? — уточнил Гоща. — Ну да. — А Молекула Николаевна с ним? — Ну да. А куда она на фиг денется. — Железно, — кивнул Гоша и предложил: — Бражечки намахнешь? — Неее, мне еще ядро толкать. — Куда? — Ну, Гоша, вдаль, но мимо Цап-Царап. Ваня опять осознал, что любой тупик — это не выход и не вход (отсюда и куда-то); тупик — это зашаг в иное. Зашаг — как заступ за черту бетонного круга для толкания ядра.

Гоша продолжил, глядя на Ваню раскосыми, как у зайца, глазами: — А я тут развелся. Со своей Дульцинеей, как СССР развелся с Кубой. — Ваня хмыкнул, изобразив изумление и скорбь одновременно на своем усталом лице. Гоша, заметив кровь на кулаках Вани (особенно на левом), прищурившись, спросил: — Дрался?.. С кем? Ваня опять хмыкнул и вдруг сказал: — Нее, это я прыгал. В небо — без парашюта, и обратно — с парашютом… Прямо Господу в ладони. — И он поймал тебя? — Ну да. Он ловкий… Гоша добавил, как бы говоря о себе: — Ясно. Городских пассажиров завернул… Наших прикрыл… Нормальный ты пацан… Читай меньше… А то отупеешь и глаза попортишь… Ваня подумал, это наезд? Или шутка? Или какая-то уголовно-тонкая мысль? — А я уже все прочитал… прочел… И вдруг громко произнес:

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела
Как души смотрять с высоты
На ими брошенное тело…

Ваня заметил, как Гошина спина содрогнулась, как у кота. «Все, капец, драки не будет… Ты, Гоша, обосрался… со своими наездами и прицепами… Как говорится — адыхай, ну-с!.. — Ваня улыбнулся и добавил — уже как победитель, знающий некую истину:

О вещая душа моя
О сердце полное тревоги
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия

(Здесь Ваня — на «двойном бытии» закрыл глаза так, как это делают поэты, полудурки, юродивые, идиоты, блаженные и святые…)

Так ты жилица двух миров
Твой день болезненный и страстный
Твой сон пророчески-неясный
Как откровение духов
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые
Душа готова как Мария
К ногам Христа навек прильнуть…

И Ваня со своей малолетней ватагой пошел из одного бытия в другое, зная и ощущая иное бытие, накрывающее два первых. Он шел и знал, что отныне он неуязвим. Нет, конечно, его могут убить, но только этого Ваню, который живет в первом бытии, страдает и радуется во втором, но по-настоящему живет и думает стихи — в третьем бытии. Вот так, брат, братишка, братан.

Ваня шел, и ему казалось, что за ним волочится огромный, смятый белый парашют, как крылья, уставшие в полете… Но Ваня одновременно ощущал прозрачную легкость и плоти, и души своей: словно тело двигалось не по его желанию и воле, а душа — то придавливала его к земле, то отрывала от земли. Тем не менее, ему чудилось, что он все больше, сильнее и выше отрывается от пыльной дороги, которой здесь была утоптанная и уезженная земля. Ваня вдруг понял, что он сам — земля, и земля отрывалась, отторгалась от земли — это было и больно, и легко: Ваня-земля поднимался над землей-землей, и его сестра и братья видели это — и цеплялись

за его штаны и рубаху, чтоб не улетел. Чтоб не улетал. Слава, совсем еще малек, вдруг запел частушку:

Трынди-брынди баловайка
Растопузая хозяйка…

Таня рассмеялась. Но ребята шли — напуганные и настороженные: они испугались не Гоши и не Цап-Царап — они боялись, что Ваня улетит. А Ваня — это не только старший брат, но и старшой во всем — умный, добрый, нежный, заботливый и веселый всегда, когда не думает свои стихи. Его гитара — это все-все-все: и блатота, и Володя Высоцкий, и Beatles, и Леннон, тоже Ваня, и Маккартни, этот уже Паша, и Ринго Стар, по-нашему Старое Колесо, и Джордж Харрисон — Юрик Мордорыпин… И частушки, и просто народные песни — казачьи и хохляцкие, военные — времен Суворова и генерала Орлова-Черминского, всех Орловых-Черминских — и полковников, и офицеров Великого Царства Русского. Ну, блин, нельзя ведь жить без царя в голове. И — в мире. И — в душе… Таня набрала ракушек и теперь, по одной, бросала их на обочину: если Цап-Царапы убьют — то папа с дядей и бабой найдут их, еще живых, но убитых, — по ракушечкам. А ракушка, особенно большая, — она как телефон Черного моря, которое где-то далеко — за горами, равнинами и самолетами. Папа водит самолет. А Ваня управляет всем, что движется — даже цветами, жуками и велосипедами…

Ночью, когда все угомонились, Ваня читал Лермонтовского «Героя…» в одиннадцатый раз. Он понимал, что перед ним не просто роман в новеллах или рассказы, собранные в роман, — это нечто большее. Как чудо. Как загадка, изобретенная не Михаилом Л., а Богом. Бог и вечность зашифровали этот текст. Ваня искал в нем акропрозаические фрагменты, восьмерки палиндромов, осколки анаграмм. Он составил из «Героя…» свои тексты — ужасные, прекрасные, уже нелермонтовские, уже ничьи, уже просто Божьи, но — увы — не божественные. Он чувствовал пальцами, глазами, сердцем, умом, душой, что ковыряется уже не в языке, но во времени: время жглось, припекало, прошивало душу цыганской иглой без дратвы (это не валенки!), кололо глаза и пальцы, — кипело крапивой, ее кипятком, зелеными и ворсистым, — время врастало в Ваню корнями древесными, прорастало его насквозь — и тут же

вынимало, выдирало корни из живой болящей плоти. Время издевалось над Ваней, но не зло, не пакостно, но по-отечески, по-братски. Ваня почувствовал себя, ощутил себя внутри времени иного, не исторического, не литературного… Какого? Времени?.. Ваня плакал беззвучно. Ваня трогал время за раскаленно-ледяные края, за его нежные и ядовитые корешки — и ему это нравилось… Он знал теперь, *что* с ним происходит. Все мучило его и заставляло радостно страдать, — все это — испытание вечностью… Ваня чувствовал, что выдержал это испытание… Теперь он знал, *как* жить и *что* делать: думать стихи, страдать стихи, радовать стихи, умирать стихами, воскресать стихами… Теперь он вечен и неуязвим. Мир людей, стран и государств поймут Ваню, примет *такого*. Или напротив, возненавидят его. Уничтожат. Убьют… Но вечность… вечность опять и опять, раз за разом будет воскрешать его, будет возвращать его в стихи, а стихи — в него…

Ваню вызвали на соревнования: городское и областное первенство по легкой атлетике (август, начальство зашевелилось). Ваня всегда волновался перед началом состязаний. Волновался до боли в сердце, до судороги в душе, до полного онемения. Перед попыткой (метание диска или копья) он всегда безостановочно пробегался туда-сюда трусцой, чтобы скрыть откровенную дрожь. Он знал, что победит. Скорее всего — победит. Но спортивный мандраж чуть ли не валил его с ног. Сидеть и лежать на лужайке перед своей попыткой он не мог — земля дрожала под ним, и в чистом небе кружили вороны — огромные, чудные, беззвучные, с желтыми клювами и тяжелыми хвостами. А иногда ласточка залетала в ухо и начинала лепить гнездо из головного мозга. Ваня глох, к немтырю примыкал глухня тугоухий. Тут и в глазах начинала мелькать мошкой и комаром тундра. Одним словом, глухо-слепо-немой Ваня разминался перед попытками, знал, что он победит…

Красивая, талантливая, с привкусом трагедии ложь всегда правдивее правды. Ваня победил, и никто не заметил волнения. Такой обман (публики, соперников, тренера) был, несомненно, морально значимым актом. Морально значимый акт — это вся жизнь бывшего отца-казачка. Однажды он приехал из Нижнего Тагила (Тагил — родина гламурных могил; удивительное место: оттуда едут по миллионникам бабы и девки строить социализм-коммунизм-капитализм, совокупляясь — непрерывно — друг с другом, —

Голландия отдыхает). Приехал. Усталый. Сел. Командировка. То-се. Пиджак бросил на диван от стола. Далековато лететь. А пиджак — это пингвин: ты ходишь, а он машет рукавами. Пока пиджак летел, вопреки его пингвиновой природе, из его карманов посыпались фотографии, небольшие, с детскую ладонь (о, Амстердамские дети!). Фотки были порнографические. Папа обосрался. При всех. При жене. При детях. При рыбках. При птичках. При телевизоре и балконе, наконец. Папа тогда сказал фразу, которую Ваня помнил и — в гибельные часы своей жизни — повторял: это моя кича, где я сам себе труп и сам себе гроб… Ваня часто говорил в минуты неудач и ужаса: я сам себе труп и сам себе гроб…

Ваня добрался до уралмашевского дома своего уже в темноте. Квартира располагалась на третьем этаже. Между первым и вторым, на площадке, чистой, без окурков и почти белой, как саван, стояли два шпаненка. Ваня присмотрелся: один — Ваган, одноклассник из алкашей и шпаны, второго он не знал. Это почему-то его напугало — в животе похолодело, и сердце поползло вверх, к горлу.

— Это Серый,— сказал Ваган, кивнув в сторону недоноска. «Бедные-бедные люди, бедный-бедный и слегка бездарный алкаш Достоевский»,— подумал Ваня и, кивнув обоим, сделал шаг к лестнице, ведущей вверх, в середину пятиэтажной хрущёвки. «Не-льзя по-во-ра-чи-вать-ся к шпа-не спи-ной»,— прошептал Ваня, когда под левую лопатку его чем-то ткнул Серый. Это была пика — заточка из автомобильного дворника. Она вошла в спину косо, потому острие ее, пройдя насквозь Ванину жизнь, вышло рядом с левым соском. «Блин, меня проткнули насквозь»,— спокойно подумал Ваня — и пошел — с трудом — выше. Выше. Ступень за ступенью. Выше.

II. Тишина распахивается

Тишина распахивается — всем пространством, способным к вибрации и звучанию, — всем, что давит на уши, закладывает, как вода, — всем, что запечатывает уста и сшивает губы горькой дратвой, прокалывая кровь холодной цыганской иглой, — всем, что обволакивает глаза сине-зелено-черной пленкой: надавишь кулаками на глазные яблоки — и видишь вспышку, ярко-фиолетовую на золотой и платиновой подкладке — о, это очень большой взрыв, ждущий твоего ужаса и счастья, засыпаемых звездами, метеоритами, взглядами Того, чьих глаз не видно. Тишина разматывается, разворачивается, как рулон небумажной бумаги, почти черной со звездочными дырочками тут и там, но редкими… Рулон истончается, кончается — и… И появляется музыка. Какая, чья, откуда, как, где и когда — не понятно. И ты ищешь связь этого божественного звука с чем-то земным… Не находишь. В городе таких родственно-музыкальных звуков нет. Они есть в лесном, озерном, морском, горном, степном, пустынном, — постоянно меняющемся воздухе. Но и в лесу, в степи, в горах, на берегах любой воды не каждый слышит это.

Ты начинаешь прислушиваться к себе. И постепенно, медленно, но, как все чудесное, неожиданно находишь отзвуки, обрывки струн, пески, истертые в порошок, дудуки, тромбоны и другие трубчатые инструменты-растения, — басы, альты, иные скрипки, а главное, главное, главное — виолончель, крупу и камни барабанов, — и смычки — да, ты находишь их в себе, в том месте, где обитает в тебе язык. Язык отзывается первым на любую музыку, но не на всякую: сначала ты соотносишь звуки произносительные с этими — чудесными, а потом слоги, части слов, вереницы звуков и слогов, потом — почти слова, уже слова — все, склеенные в гигантскую лексему, равную «Гильгамешу», «Илиаде» и «Войне и миру»…

Потом ты созвучиваешь музыку, ее значимые части с языком своим, — и у тебя получается!..

Звук равен ноте, любой части ее (половина, треть, четверть и т. д. — до наночастиц этого чуда). Слог равен тексту. Вальс — трехсложное слово — любое, правильное и случайное. Более сложные нотные, тоновые и тональные постройки тоже находят в языке, в речи и в поэтическом тексте почти точные аналоги… — Так думал Ваня, долго доставая ключ из кармана куртки, или «курточки», как говорила Катя. Долго устраивая ключ, уже липкий и почти то ледяной, то горячий, между подушечками большого и указательного пальцев, долго встраивая, вдавливая ключ в замочную скважину (замок был новый, невиданный — «английский», а к нему — крохотный ключик, почти золотой и прекрасный). — «Только бы Катя — спала», — думал он, проворачивая сердечник замка — медленно, побеззвучнее, почти нежно.

Катя умаялась на своих двух сменах — и уже крепко спала. Андрей, увидев торчащий из груди брата штырь — острие пики, задрожал глазами и молча сел на пол. Ваня зашел в ванную, закрылся, содрал с себя куртку, свитер, рубаху, майку — на каждой одежке чернело красное пятно крови. Ваня осмотрел себя, с трудом поворачиваясь перед зеркалом… Он приоткрыл дверь ванной и шепотом позвал уже уплаканного младшего брата… Плеснул ему в лицо холодной воды — трижды и сказал очень-очень негромко: — Брат, братишка, братан, меня подкололи… Не плачь… Сейчас я надавлю на пику спереди, с груди — на острие, а ты крепко, но не сразу резко потянешь эту суку за ручку. Ферштейн? Андерстэнд? Сартелемон? — Сартелемон, — побелевшими губами пролепетал десятилетний пацан. — На, брат, братишка, братан, на счет «три», да? — Да! Ага! Ну! — Не плачь, малыш, лишь бы мать не услышала, да? — Да, — шепнул пацан…

Ваня повернулся к деревянному косяку, приоткрыл дверь, чтобы не цепляла плечо, приставил торчащее из груди острие пики к косяку и твердо сказал: — Три. — Пика вышла легко. Йод. Вата. Йод. Вата. Потом Ваня облил грудь и, с помощью брата, спину — водкой. Сделал прокладки. Залепили пластырем входящее и исходящее отверстия пики. Сели в ванной на пол. Посидели. Встали. Убрали все окровавленное. Смыли кровь. Сели уже в кухне — Андрюха в трусах и в майке, Ваня в свитере и спортивках. Пили чай. Молча. Так же

молча Ваня выпил полстакана водки — впервые в жизни, но оставался по-прежнему трезвым и серьезным. Андрей сходил на разведку в единственную комнату: мать крепко спала за занавеской и платяным шкафом на узкой кровати. Видимо, запахи больничные ее не смущали — так устала она и поизносилась в больницах за последние два-три бесказачьих года.

Братья сидели в кухне. Андрей принес Ване сигарету. Ваня благодарно взглянул на него и закурил — в форточку. В эту минуту раздался негромкий стук в коридорную дверь…

* * *

Бывает потянет музыкой, ее вышним, свежим и незнаемым сквознячком — с улицы — в форточку, из подъезда, общажного или барачного коридора, — ниоткуда, — и ты вдруг исчезаешь здесь и появляешься там. Где-то там… Впервые немтырь ощутил себя в музыке, а музыку в себе, когда ему было три года. Ваня хорошо помнил себя с трех лет — до трех он видел себя, жизнь и все остальное, главное и неглавное, фрагментарно, но ярко, внезапно и больно. Явление музыки обернулось появлением Вани в иной сфере существования — одновременно в себе и вне себя. Он сразу начал подбирать к музыке, то есть внедрять в ее потоки звуки еще или уже не речи, но языка, который подпевал бог знает чему, который выстраивал свои звуковые и слоговые ряды то параллельно, то альтернативно музыке… Музыка звучала всюду и отовсюду: из радио, на улице из громкоговорителей, телевидения еще не было, но были уличные музыканты — инвалиды войны, стоявшие, сидевшие и полулежавшие на тротуарах и траве, которую еще не стригли, но по-деревенски косили литовками дворники. После смерти товарища Сталина, по Ваниному отцу — вождя и гения, а по матери — душегуба и упыря, — по селекторному городскому радио все чаще крутили классическую музыку и все реже врубали алкогольно насыщенные военные марши. Катя однажды (много позже той поры) вспомнила, что водила Ваню в Театр оперы и балета 17 раз — и все на «Щелкунчика», где Ваня 34 раза плакал, проваливаясь, как под озерный лед, в адажио. Любой фрагмент музыки Чайковского, Бетховена, Баха, Глинки, Мусоргского, Равеля, Моцарта и иных, еще неведомых Ване композиторов, появлял в Ване, или проявлял, отрезки иной речи,

иного языка, похожего на язык ласточек, синиц, скворцов (птиц городских) и береговушек, стрижей, трясогузок, вуалехвосток, кукушек, снегирей, чечеток, королевских щеглов и других деревенских певцов. «Умдыки — увирк — высоко — высоко…» — такая примерно фраза, объединяла музыку и язык в невероятное целое. Подобных фраз, строф и «песенок» было много. Они варьировались. Они удлинялись и укорачивались. Они исчезали — и появлялись новые, недоспелые, но уже диковинные и бесценные. Ваня долгое время — почти до школы — был уверен в том, что все укрепляют музыку таким — речевым — образом. Эта уверенность исчезла в первые школьные дни. Дни изумления Вани — царящей в мире, в этом мире, в мире его людей — глухотой и немотой. Немтырь замолчал окончательно — ровно на десять лет…

* * *

Во входную дверь стучали осторожно, но требовательно. Андрей приоткрыл ее, стараясь не щелкнуть замком — не щелкнуло. В щель он кого-то увидел — и сразу прихлопнул дверь. И опять — беззвучно. Он на цыпочках проскочил в кухню и прошептал: «Ваган… Вроде бы, один…» Ваня притушил сигарету, встал, бросил окурок в открытую фоточку, как в черную бумагу — аж хрустнуло там, снаружи, ночью и холодом. Ваня промелькнул в крохотную прихожую, пыхтя и морщась от боли, надел кеды, накинул на плечи штормовку, не вставая на носки дотянулся до полатей, пошарил слева и вытащил из-под старых половиков пистолет. Это была ракетница, войсковая, подаренная братом отца, дядей Сережей, который был танкистом и бил немцев на Курской Дуге в составе Уральского добровольческого корпуса. Ракетница походила на «ТТ», но была просторнее и тяжелее. Ваня зарядил ее, сунул в карман штормовки два ракетных патрона, наклонился к Андрюхе, легонько боднул его лбом в лоб и прошептал: «Скоро буду… не спи… откроешь».

* * *

Язык птиц, язык музыки и язык языка не соседствовали, а работали совместно, родственно и слаженно где угодно — только не в городе. Дрозды, сороки, сойки, серые цапли, вороны и вороны,

совы и хищники-пискуны (ястребы, соколы, коршуны), выделяли музыку из леса, из полей, из прибрежных камышей и отделяли ее от тишины, вытягивали ее из тишины — и отпускали обратно. Жаворонки, перепела, овсянки, зяблики, пуночки и все водоплавающие, от уток до лебедей, отрывали музыку от земли и поднимали ее до высот иной тишины — той, где зарождалась музыка. Музыка, которой веяло, сквозило и поддувало сверху вниз по вечерам, ночью и утром…

* * *

Ваня быстро вышел из квартирки. Ракетница была в правой руке, за спиной. Он кивнул Вагану и негромко, почти шепотом приказал: «Вперед!.. Быстрее… Щас жахну в рожу — уши до Колымы долетят…» Ваган быстро побежал по ступенькам с площадки третьего этажа. Ваня резко повернулся направо, вытянув правую руку с тяжелой ракетницей к тому, кто должен быть за спиной — к Серому. Серый опешил. Ваня выстрелил, но в бетонку под ноги владельцу пики. Ракета ударилась, вспыхнула ярче и подпрыгнула к яйцам шпаненка. Серый рванул вверх по лестницам до пятого этажа. Ваня же выскочил из подъезда и сразу вслед за Ваганом. Тот, стоя прямо под горящей лампочкой, весь освещенный и черными от мочи штанами. «Иди, сучонок, — сказал негромко Ваня, — иди и не оглядывайся — бо башку снесу антифашистской ракетой…»

Катя так и не проснулась. «Видимо, спиртяшки глотнула после смены у старшей сестры», — подумал Ваня. Он обнял Андрюху — все в норме. Всех разогнал. Пошли спать. Спали они на полу, стащив матрас с кровати и добавив к нему пахнущий конюшней тулуп. Обнялись — и уснули.

Рано утром к Кате заходила соседка. Они громко шептались в кухне: ночью была в доме, в обоих подъездах милиция. Кого-то искали: то ли Серю, то ли Серого… («Значит кто-то, или сам Ваган, стукнули или «активистам», или мусорам…»). Кто-то в подъезде что-то спалил — стены и потолок от третьего до пятого этажа черны: все в ожогах и в саже… А может, и стреляли… С чего?.. С пугача?.. С огнемета немецкого (говорят, болтается такой на Болоте)… Твои-то спали, Катя, да?.. (В те годы дверные глазки еще не существовали.) Не-е-е, Кать, это не шпана и не воры — это какой-то фронтовик

нажрался и гонял шпану по подъездам и по Болоту огнеметом… О, ка-а-ак… Ну, все, пошла я будить своих на работы да в школу…

Ваня проспал 3600 секунд (минус 300 секунд на засыпание). Проснулся он мгновенно от своего то ли крика, то ли от немоты, наступившей после кошмара, ужасного сна… Страшный сон оказался жизнью… — Ваню ждали встречи со шпаной, а то и с бандюганами, которые, в общем-то, его узнавали и даже относились к нему благосклонно, если не с уважением (с уважением к его левому полукрюку и быстрым ногам). Кроме того, наверняка Ваню посетят мусора — тут бы надо все организовать так, чтобы Катя не прознала о конфликте с Вагановым и Серым. Ваня в школу не пошел, он закинул пистолет-ракетницу своему дружку-однокласснику Юрику Пятилову. Они сели в пустой квартире-двушке (все ушли на работу) послушать музыку — у Пятилова был магнитофон, огромный, бобинновый, громкий и чистый. Слушали «Stairway to heaven» Цепелинов и смотрели в окно на строящийся девятиэтажный (редкость большая в те времена) дом: начали с Led Zeppelin прямо с первого этажа, точнее — с котлована, и теперь песня (великая!) каждые две недели дарила пацанам новый этаж. Уже было четыре, начинался пятый… На четвертой части медляка в том месте, где tutty-frutti, фанфары и все такое, — Ваня завалился на диване на бок и скатился, потеряв сознание, на пол… Скорая… Операционная. Катя… Палата реанимационная… Знакомые лица врачей и медсестер, маминых коллег и товарищей… Три тяжелых дня… И — приход в себя. Возвращение в себя… Рана была нетяжелая, но «грязная». Легкое не задето. Это главное… Однако задето было нечто большее — и душа, и сердце, и музыка, которая никак и никогда не переставала звучать в Ване.

Ваня спал и не спал: прямо в больничной палате со всеми и всяческими реанимационными приспособлениями и аппаратурой (весьма небогатой в те годы) он ехал мимо Хабаровска, Уфы, Йошкар-Олы и думал о ней и о Ней — об однокласснице ГЖ и о той Главной, которая держит в левой руке любовь, а в правой — жизнь; и губы Ее сжаты так, будто зажала Она между ними иголку с безвидной нитью, коей сшивают небо и землю, свет и тьму, звезды и пустоту. А она и Она летели над Пермью, Иркутском, Звенигородом, Донецком и Астраханью — и обе забывали его, забывали о нем, касаясь его незакрывающихся глаз, их сухой и жаркой влаги — крыльями,

которых не было,— воздухом, которого всегда было мало… Ты летишь — и взрослеешь назад — с самого рождения. Ты взрослеешь назад с самой смерти. Ты взрослеешь далеко вперед — в за-смерть. И там ты — юный. Вечный ребенок. Вечный мальчик Ваня…

Ты летишь над Северной и Южной Африкой. Ты летишь над Индокитаем. Ты летишь над Индией, где воробьи и вороны говорят по-русски. И везде люди — без лица и люди без имени — ни тех, ни других невозможно запомнить. Среди них ходят-бродят литераторы, стихописцы Маломаяковский, Полумандельштам, Сверхбагрицкий, Миниесенин, Оченьтвардовский, Брюхобрюсов и Белоблоков, а за ними плетутся, поплевываются, раскачиваются, будто бредут они по одной сосновой доске-шестидесятке над пропастью, помахивают ручками с сигаретками между средним и указательным пальцами — Малобродский, Большебродский, Полубродский. А дальше хе.ачат вприпрыжку паеты-палитики Перерождественский, Елбушенко, Перенесенский, Ах-ах-Улина,— все выпимши и все в обнимку с Фиделем-товарищем-Кастро. А за ними бредут разрозненно и одиноко Тарковский-отец, Тарковский-сын, Донатас Банионис, Саша Кайдановский и в римском хитоне Андрей Рублёв, опустивший голову и считающий травинки и камушки под ногами своими — чего больше?.. А потом Ваня стреляет из ракетницы в огромный плакат, на котором изображен огромедный партбилет, на котором написано «КПСС», «Шпана» и нарисовано семь орденов товарища Ленина.

Ваня думает, но думает не в себе, не внутри себя, а словно со стороны: у художника нет выбора — только сочинять… Писать — как?.. Пережаренным словом Бабеля?.. Недожаренным — Куприна?.. Или — быстрорастворимым Набокова?.. Писать — не стихи, не прозу, не стиль — а музыку?.. Или музыка пишет тебя. Звучит тебя и поет тебя?..

Музыка и язык работают в разные стороны добра и зла: ненависть двуостра, любовь шарообразна. Это есть в музыке, в языке, в тебе, как ты есть в музыке, в языке, в ненависти и в любви… Ваня спал и видел сны. И во сне он сопротивлялся — постоянно — состояниям зависти, мести, гнева,— как в жизни, как не во сне. Однако Ваня никогда не противился унынию: тоска, печаль, грусть — самые рабочие и продуктивные чувственные состояния русского человека. Русского поэта… Ваня спал и слышал, как он время от времени себе

самому повторял: «Великий русский поэт Иван Орлов», «Русский поэт Иван Орлов», «Поэт Орлов», а за этим рядом детских номинаций вдруг — «И пустил себе пулю в лоб…» — Или: «Она стояла перед ним совершенно голая…» — Или опять же вдруг — перед внутренними, во сне, глазами его медленно и торжественно проходила надпись — в воздухе, в небе, — исполненная огненными буквами: «Великое предназначение…» — Ваня — и во сне — удивлялся всем этим самоговорениям, самоназываниям и самонадписям… Откуда это? Что это? Боже, Боже, Боже мой!..

Это было странное и постоянно повторяющееся состояние, когда ты находишься одновременно в жизни, в яви, во сне, в полубреду, в полубоязни, в полужизни-полусмерти, но и одновременно — всегда — в любви. Ваня называл это состояние «помечтать», хотя точнее было бы «пофантазировать», «помедитировать», «повоображать»… Но «помечтать» было роднее. Остальные называтели Ваниного глубокоумия, глубоко-высокодумия и глубоко-широкосердия казались казенными, как «казенные сны» Вани об общагах, бараках, хрущёвских дворах, ночных улицах Уралмаша, о казармах, кубриках, тюрьмах и зонах, о школе, наконец, где творилось нечто сверхказенное: учителя не стеснялись своего простонародно-наглого незнания своего предмета; все наслаждались общими построениями, шмонами, линейками, хорами, танцевальными ансамблями и дружиной (школой), носившей имя любимого героя ныне Нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, больной, как Достоевский, журнализмом (термин В. В. Набокова) и примитивной неграмотностью лексико-грамматического характера. Казенное белье (в больнице), казенная еда (всюду), казенные сны (дежавю), казенные пустые речи, песни, речевки (пионерский рэп), казенная тихая «любовь», семья, казенное воспитание — вот уж неволя так неволя. Такое — не перетерпишь. И Ваня бежал всего казенного. Но казенное догоняло его, ловило и додушивало.

Еще казалось, что это не он живет — *они* его живут. Это они нашли нефть в Тюменском крае. Это *они* основали «Роснефть» — а «Роснефть» зажигает звезды (по телевизору сказали), а ты думал: их Бог зажигает… Ты думал и знал, что в литературу и в культуру попадают *после* смерти. А *они* понаделали, понастроили себе кучу культур, культурок и культурищ, а также субкультур, подкультур и сверхкультур. *Они* сказали: все, что покупается — литература, культура

и т. д. И ты лег лицом к стене — и к тебе, прямо в сон, пошли гуськом, один за другим, кот Васька и кот Григорий, пес Верный (Североморский), пес Джоли (Свердловский) и пес Норик (Каменка), попугай Васька (перелетает) и конь Ежик (Шатровский). Идут прямо в тебя, в разум, в сердце, в душу. Идут в бред твой — полубред. Идут из-за смерти в жизнь твою, в сон. Идут — то в душу, то чуть мимо, но рядом, очень рядом — впритирку.

Полубред с перевязками, дренажем, капельницей и уколами. Фантазия — фантастика — фэнтези. Первое — результат работы воображения. Второе — создание параллельного воображения. Третье — вариации на актуальные стимулы, символы, на коллективный бред и полубред, на коллективное сновидение, на коллективный кошмар… Где ты?..

Твое одиночество немтыря, полудурка, идиота и фантазера, постоянно беседующего с музыкой, с птицами, с растениями и зверьем, — твое чудесное одиночество выделяет — иногда — энергию, необходимую для твоего участия в коллективном — труде (сельхозработы в семье деда), празднике (Ваня вылез — буквально — из-под общего стола, круглого и большого, только после минования своего пятилетия: до тех пор он чаще жил под столом среди стволов, подвижных и недревесных, — ног, которые то выпрямлялись, то поджимались, а когда их владелец начинал говорить что-то, адресованное всем, — сучились, ерзали ступнями на пятках, когда одна нога почесывала другую, как бы упираясь в себя саму — в своего парного близнеца, который подражал то себе, то своему собрату, вернее — сосестре — левой или правой ноге).

Ване было четыре года, и его оставили на часок одного в доме — закрыли входную дверь на ключ: живи, Ванюра, как хошь… Сначала пацаненок изъял шпагу Дон-Кихота Каслинского — вытащил ее из статуэтки и… истыкал, исколол, исчеркал верхний ящик комода, набитого бельем, одеждой, свертками новых материй — ситец, шевиот и прочая мануфактура. Потом Ваня обнаружил на кухне огромную кастрюлю, нет, бак с борщом. Он стоял на полу — отдыхал, остывал, густел. Ваня нашел половую тряпку и решил помыть пол в доме, в обеих комнатах и на кухне. Жирная борщевая тряпка ладно скользила по половицам, которые покрывались новой, невиданной чистотой — золотистой, красновато-бледной и лаково-блестящей, как у кота кое-что. Ваня был доволен… Он

устал и уснул на бабушкином диване под иконами. Перекрестился и улетел в сон…

О, золотые полы в бабушкином доме… Из всех четырех окон к ним припадал свет, он скользил крестообразно: вертикальное движение комнатных многочисленных цветов — от герани до фикуса — пересекалось с горизонтальным раскачиванием заоконных ветвей, кустов сирени, калины, рябины и дальних кружений прозрачных могучих тополей. Потом все останавливалось: свет прилипал к борщевому, красноватому, свекольному и маслянистому золоту полов — и пол начинал набухать и колебаться, как палуба Одиссеевых кораблей. Ощущение бытия, плывущего с тобой и проплывающего тебя насквозь, распирало горло, готовое одновременно и слаженно сразу — петь и молчать, извлекая из вертикальной череды Орловского рода и песнь, и тишину, и дыхание: тишина — вдох, звук — выдох.

Дед с бабушкой вернулись с покоса. Было заметно — они спешили: Наталья Григорьевна запыхалась и разохалась, увидев Ванины золотые полы, тогда как дед, да и все Иван Иванычи Орловы на свете,— нахмурившись, улыбнулся и молодым голосом, чуть громче обычного, сказал: — Ай, молодец Иван Васильич! Кра-со-та!.. Наташа, смотри-ка, огляди-ка красоту эту… Оглядь ее очами карьими своими…

Полубред, бросаясь из стороны в сторону, двигался вперед видениями, волнами времени и временами озерными, морскими, океанскими… Ваня сел на больничной постели — все трубочки, проводки и проволочки, пронзившие его руки иглами, натянулись. «Паук,— подумал Ваня,— проколотый шпанской пикой инсектолога, арахнолога, пауковеда…» Паук родил паутину, паутина родила три мухи, двух мотыльков и целую одну огромную бабочку. В косынке межугольной паутины (в треугольном секторе круга) зависла жизнь. Паутина родила смерть… Бред продолжался: Исаак родил Бабеля. Иаков родил Самуила. Самуил родил Маршака. Иосиф, родившись из красоты, сначала породил Уткина, а потом Бродского, а затем Мандельштама, который терпеть не мог Бабеля.

Слезы текли по Ваниным ни разу не бритым щекам: слово родило Василия Кирилловича, брата Антиоха Антоновича, который родил Ломоносова, брата Вани Баркова, старшего брата Державина, потрясшего воздух, пыль и дух учебного заведения вопросом:

«А где здесь нужник?..», вопрос породил много проблем — от Петра Великого и Его Арапа, породившего поэтов Василия Львовича, Александра Сергеевича и Льва Сергеевича Пушкиных, средний из коих родил Боратынского, Тютчева и Мандельштама, будучи кровным наследником Василия Андреича и Константина Николаевича; все вышеназванные родили Михаила Юрьевича, убитого на дуэли обиженным судьбой идиота и бездельника — Мартышкой, который никого не родил — и ничего, кроме пошлости и глупости Грушницкого; Батюшков, Пушкин, Боратынский, Тютчев и Лермонтов родили Осипа Эмильевича…

Бред сменил Ванино сердце и пугал его душу неизвестной дурью: «У нас в Свиногорске снова заработал — везде — кружок койки и житья… Там же, в Свиногорске, состоялось официальное бракосочетание женской мужчины и кое-кого, коего принято называть так — мужской женщин…» Ванино существо опешило, расслышав свиногорские новости… И вдруг в палате запахло так, как, должно быть, пахнет в раю. Ваня, прорываясь сквозь паутины бреда, медицинских препаратов, сквозь пары пота, слез и смеха — от улыбки до смеха и хохота, — вернулся из себя в себя — и открыл глаза. Рядом на табуретке сидела Катя. Она была одновременно и врач, и мама, нянька ангелов, которые дышали ароматом свежего, разрезанного вдоль от жупки до пупка огурца. Путь из себя в себя был нетяжелым, но диковинным: ты с трудом ощущал и улавливал границы себя и не-себя — проще было оставаться в этом зазоре, в этой полупустоте до-смертия и после-смертия; не чувствуя боли в спине и в груди, Ваня видел и слышал свое сердце — пика прошла в двух сантиметрах от сердца, наискосок, как луч городского фонаря — в щелку между плотными и гибельно ночными шторами…

Запах свежего огурца — это запах жизни и смерти, но главное — любви. Любви и свежести. Будто вещество свежести загуляло в промежутке между физическим и метафизическим, между плотью и душой… Откуда огурец — свежий! — поздней осенью? В советских провинциях в такое время года живого огурца не сыщешь. Да, в Москве было все: книги, музеи, театры (десятки!), колбаса, сыр, овощи и даже бананы. Бананы Ваня попробовал на зуб в свои двенадцать лет. Они с Катей отстояли четыре часа в очереди до дверей овощного магазина, медленно протоптав и обтоптав три уралмашевские улицы. Купили. Чистанули, укусили — а они во рту

тают… Так не бывает. Но так было. Нынешние бананы — иные, они почти хрустят и пахнут вполне парфюмерно. В СССР было несколько мест, предназначенных для жизни: Москва, Москва, Москва, а также кое-какая Прибалтика, Кавказ и Околокавказье, ну,— и недобитая большевиками и их отпрысками деревня.

Огурец был точно райский. Вернее, половинка огурца. Вторая половинка ушла в ад в качестве угостительной взятки. Кому?.. Да, хотя бы вахтеру рогатому, который прятал под стол свои аккуратные копытца…

Запах свежести — огурец, арбуз, море, пихта и небо. Птичка в руке, в полуразжатом кулаке, неподвижная — и от этого еще более живая, трепетная и трепещущая,— птичка в кулаке припахивает пылью небес: никто не знает, кроме Самого, откуда берется пыль. Она опадает с неба: это истершиеся до пустоты кометы и другие ледяные и раскаленные камушки неба. Огурец, разрезанный вдоль и распахнутый перед тобой, пахнет пылью небесной, нецелованым хрусталем и закатывающей глазки птичкой… Огурец пахнет временем покоса и рыбалки… Ваня вдруг заплакал — сразу в себя и из себя. Катя перепугалась, но, поняв причину полудетского-полувзрослого, то бишь детского в чистом виде отчаяния,— улыбнулась: «Вот встанешь — и поедешь в Шатры: будет тебе и покос, и рыбалка, и картофельное поле, и Немецкое кладбище…»

К выпускному десятому классу Ваню удалили с уроков почти всех гуманитарных дисциплин — до заключительных экзаменов в школе-десятилетке. Ваня остался один на один с физикой, математикой, химией и баскетбольным кольцом в школьном спортзале. Химию в школе не преподавали — не было учителей, т. к., видимо, все образованные химики ушли работать на предприятия закрытого типа (оборонки). Ваню выгнали — «навсегда» — с географии, истории, обществоведения, русского языка и литературы. Учителя не то чтобы не любили его — они, скорее, побаивались этого немтыря, непроходимого, как тайга, заику, который отвечал на уроках только в письменной форме (сочинение — ода в стихах, разностопный ямб,— в честь Николая II, «кровавого», согласно советской истории,— ода хвалебная и сочувственная одновременно, в которой порицались два карлика-большевика Ильич У. и Михалыч С., дето- и женоубийцы; сочинение в стихах о XXII съезде КПСС, где «Брежнев» рифмовался с компаративом «небрежнее» и т. д. и т. п.).

Тем не менее, Ваню держали почему-то в школе, вызывали Катю, орали, пугали ее, бедную, но Ваню из школы № 182 не исключали. Его удалили из школы — особым приказом — сразу после выписки из хирургического отделения Уралмашевской больницы № 14. Все началось с выходки Шмотки (классный руководитель 10 «А», историчка и истеричка по призванию). На следующий день после выписки Вани из больнички Шмотка вошла неурочно и безурочно в свой класс и трагическим, по-бабьи злым голосом сообщила: — Орлов с Ваганом убили Юру Путилова (раньше он был Пятилов). Класс обомлел: Юра и Ваня — друзья, соседи домами на Болоте, на улице Восстания… Не разлей, вроде бы, вода, а?..

— Как убили?! — вскрикнула Г. Ж.

— Зарезали, проткнули, убили, — возопила Шмотка.

С задней парты, сосед Вани, Вадик Улицин, по прозвищу Улицин-Восстаниен, вдруг закричал в потолок:

— Х.рня!.. Б.я, ты охренела, что ли?! — обратился со слезой в голосе к Шмотке Улицин-Восстаниен… — Шмотка возопила так шибко, что какая-то резинка в ее глотке лопнула (все знали — от трусов):

— Улицин, ты уволен, отчислен, исключен!..

Вадик, бросив ей в красные глаза ровную, явно бунтарскую и антисоветскую фразу «Осужден. Пытан. Забит и расстрелян…» — вышел вон из класса и тут же в рекреации (так *они* придумали называть коридорчик) закурил. Сел на корточки. Оперся спиной о стену. Сплюнул и заплакал… Вадика убьют через два года после окончания школы — уже студента политеха, но не на Уралмаше, а в центре города, под Яшкой (памятник душегубу Свердлову, который красуется точно посередке пяточка между Театром оперы и балета с южной стороны и Уральским университетом с севера). Сунули режик в живот. На темной автобусной остановке П. П. Бажова. Ваня его не хоронил — был уже в армии…

Последний год в школе Ваня, восстановленный в правах нормального, но с прибабахом, парня, неубивца и стихосочинителя, — провел, плутая и в себе, и в мире. Кабы не книги, которых в доме становилось все больше и от которых радовалась и болела душа, — он бы давно уехал в Шатры, но он понимал, что без него Кате стало бы совсем плохо: даже с приработками она получала, работая в больничке, 130–140 рублей — деньги на троих слишком малые.

Дед помогал — и деньгами, и продуктами, но Андрей и Ваня быстро росли, и Катя выбивалась из сил, работала в больнице и в отделении физиотерапии с 8 утра до позднего вечера — одиннадцать-двенадцать часов подряд.

Ваня устроился работать, с помощью матери, в морг, через подставное лицо, конечно; — Ване не было и шестнадцати, но выглядел он взрослее: метр девяносто, жилистый (спасибо деду, спорту и Богу, который дал Ване силу от природы и от себя — недюжинную), усатый, щеки бритые (не часто — раз-два в неделю), темные от нулевой и двухмиллиметровой щетины. Ваня приносил домой девяносто рублей. Стало легче… Но ощущение заблудшести, порой безвыходности осталось. Иногда ему казалось, что он уже давно умер, но Бог, чтобы не мучить бессмертную душу парнишки, стал показывать Ване сон с названием «Жизнь», который длился быстро и бесконечно, как спектакль, поставленный нерадивым и не очень талантливым ангелом: «Жизнь» стала однообразной внешне, не иная жизнь, болевшая и ликовавшая в Ване разворачивалась сама — чудесная, сильная и непредсказуемая.

Ваня чувствовал то же самое, когда лет восемь назад заблудился в чистом поле, идя по единственной дороге к деду на ближний покос. Он вышел за околицу поселка и пошел по набитой лошадьми дорожке на запад — к лесу. Идти — пять верст. Слева, на полдороги, ушло назад Немецкое крохотное кладбище, расположившееся в березовом островке — здесь были похоронены пленные немцы, не дожившие до освобождения. Ваня шел и жил свою иную жизнь, которую дарило ему воображение: романтическая, благородная любовь, героический персонаж по имени «Ваня» — не «я», не «он», не «этот парень» и т. д. шел и смотрел в себя, играл себе свою музыку, которая появлялась на стыке разума, сердца и души. Улыбался. Размахивал руками. Как очередной деревенский дурачок… Вдруг — очнулся: он идет к лесу, а леса нет, и Немецкое кладбище уже справа — но! — дорога-то одна — на запад, а он, значит, пер уже на восток, то бишь назад, к деревне. Ваня развернулся — кладбище оказалось слева. И он зашагал к заветному лесу, погружаясь в себя, в свое, в воображаемое… И вдруг — Господи, помоги! — Немецкое кладбище опять оказалось справа…

Ваня сначала остановился. Потом, потоптавшись на месте, сел на дорогу лицом к лесу и западу, куда так и не добрались

похороненные здесь вражеские солдаты. Бабушка рассказывала, что они с соседками собирали немцам прикорм: вареную картошку, ягоды, соль, постное масло, а девчонки, и Катя с ними, все это носили немцам — передавали сквозь колючую проволоку. Часовые-охраннички отворачивались. Не смотрели на эту кормежку и не видели ее. Значит, ее и не было. Дед говаривал: — Наташа, посадят нас всех: и меня, и тебя, и Катю, и Колю. — И пусть. Бог с ним, — отвечала, глядя в пол бабушка.

Ваня сидел на дороге. И смотрел на лес — взгляд его отталкивался от белого, пыльного от талька, проселка, над которым вдруг стал подниматься золотистый гриб, который неожиданно оказался широкополой соломенной шляпой, какую носили только хохлы. «Дед Степан Яценко!» — узнал встречного путника Ваня.

— Ваня, чего сидишь, куда поспешаешь? — спросил, улыбаясь дедушка Степан. — Ваня, сбиваясь, заикаясь и чуть не икая от ужаса присутствия в деревенском пространстве ленты Мёбиуса, объяснил: мол, иду к деду Ивану, на покос, что вон за тем леском… Дед Яценко, маленький старичок, переживший революцию, гражданскую войну, голод на Украине, двадцать лет зоны, вечной ссылки на Урал, гибель сына на Великой Отечественной и многое другое, — опять улыбнулся и сказал: — Это тебя, Ванечка, бес попутал…

Слова «черт», «бес», «дьявол» в доме бабушки не произносили. Ваня дрогнул и перекрестился. — Не дрейфь, сынок! Иди прямо на лес — он рядом, полверсты… А бес — это другой бес, полевой, как леший в лесу. Он как раз и есть атаман всех здешних голожопок… — Ваня еще раз подернул плечами, побледнел и, не поблагодарив деда Степана, рванул с места — к лесу… Метров через триста он оглянулся: Яценко стоял на месте и смотрел ему вослед, изредка, но часто крестя Ваню и кусок дороги, который мальчишке предстояло одолеть…

Ваня шел к лесу и начинал понимать, что это не бес виноват, а воображение и фантазия его. У воображения и музыки — свой язык. Это главный язык. Ваня был уверен, что этим языком владеют все. Так он думал лет до восемнадцати, когда понял — без озарения, а напротив, с затмением, — что *такой* язык есть не у всех… Потом, лет через десять, он начнет видеть людей, думающих на ином, на его языке… Их было немного. Таких людей было мало. Очень мало. До слез мало…

Ваню спасали Лермонтов («Герой нашего времени») и Тютчев («Стою ни мертвый, ни живой…») — спасали от социальной глупости и бесполезности: все, что выдумывает государство и общество — душе ничего не дает. «Это — душе ничего не дает…» — так он думал часто, видя и оценивая *ихние инициативы*… Что это было? — эскапизм? Побег в себя от хоровых мыслей, эмоций и от хорового вранья: «Мы живем в эпоху наступающего коммунизма» — наступающего на что, на кого? На жизнь твою истинную и потайную. «Социализация» — это что-то вроде сталинской зоны: шаг в сторону — побег, прыжок на месте — полет в «космос» (ближний космос пуст, как выбитая коровами поскотина, — трава не растет, и все в дерьме…).

Ваня плакал в себя. Он научился — немтырь — говорить подлости в глаза: «Ты — подлость», — а пошлости просто не замечал… Утром он вышел из подъезда и зашагал в школу вдоль соседнего четырехподъездного хрущёвского домика в пять этажей, как всегда, глядя не по сторонам — а в себя. Проходя под вторым балконом второго соседского дома, он вдруг — по задумчивости и по недосмотру врезался лбом во что-то мягкое, подвижное, но неживое: это была пятка в шерстяном носке человека, повесившегося здесь, на проволочном крепеже балкона… Ваня отшатнулся, отошел в сторону: повешенный или повесившийся еще полчаса назад (время было утреннее, но мертвое и пустое: взрослые на заводе, дети в школе, алкаши спят, бл.ди тоже отдыхают, а бабки смотрят по телевизору новости), — ноги еще теплые (пятка — мягкая и теплая: Ваня дежурил по ночам — один через три — в морге и уже разбирался в температурной школе смерти, — человек, убивший себя, был Васей Осокиным. Ваня знал его. Он неплохо играл в баскетбол и хорошо боксировал, но вдруг — себе, как оказалось, на беду — влюбился в легкоатлетку, чемпионку СССР в эстафете 4×100 м, спринтершу, маленькую русскую или финно-угорскую японочку… За любовью всегда следует вечность — и смерть. Поэтому люди боятся влюбиться и любить: влюбляясь, человек окружает себя многими болями — болью ума, сердца, души, болью бытийной, болью времени, болью полного одиночества. Любовь — одиночество. Не секс, не семья — а любовь. Ты остаешься один на один сначала с собой, а потом — с Богом. Посмотри в глаза дождю — и не мигни, и не зажмурься. Предсмертное, великое, насыщенное светом, тьмой и пустотой —

состояние… Твое состояние и его висение здесь, в городской, уралмашевской пустоте, — это взлет, улет и полет в Дальний Космос, не загаженный еще человеком…

Он знал, что все телефоны-автоматы в округе были разбиты. Телефон на шесть пятиэтажек был только у боевой старушки из дома висельника. Она жила на первом этаже в соседнем от смерти подъезде. Ваня постучал в новую лаковую, диковинную и богатую дверь: хозяйка была ветераншей всех войн, большевичкой, но в целом очень доброй и щедрой бабушкой, жившей на персональную пенсию и с телефоном. Ваня удивился отсутствию звонка и вспомнил: «Тамара Андреевна… и шрам у нее через все лицо — от сабли — ползет от левой брови, через нос до правой стороны подбородка (промазал, смазал казачок белозадый)…» Бабка узнала Ваню: «Немтырь!.. Что случилось?» Говорила она негромко, из глубины души, почти как Катя, мягко и как-то убедительно. Ваня достал из портфельчика тетрадку, карандаш и написал прямо на обложке: «Вася Осокин повесился. Висит с балкона. Вызовите, пожалуйста, скорую и мусоров». Бабушка сняла трубку телефона. Дозвонилась. Ваня поклонился ей, а она обняла его и, вдруг заплакав, проговорила сквозь слезы: «Подожди, Ваня. Постой. Я сейчас. Мигом», — и скоренько вышла из прихожей в единственную комнатку. Она вернулась тотчас — Ваня даже не успел осмотреться, т. к. мешали книги: они были всюду — и в прихожей, и в переходе в кухоньку, и в кухне (насколько было видно), а в комнате — из прихожей была видна северная, длинная стена помещеньица. Однако Тамара Андреевна скрылась из виду — что-то искала на книжных полках, прибитых к восточной стене… Вышла она уже с сухим лицом и подала Ване сверток «железной» бумаги, в которую обычно заворачивали — кульковали гвозди, шурупы, гайки, винты, шайбочки и прочую шурупень в хозтоварах. Сверточек был аккуратный, небольшой, прямоугольный и тонкий. «Фотография или…» — подумал он. Старушка улыбнулась: «Здесь стихи. Цветаева. «Версты». Прижизненное издание. Тебе. Единственному стихотворцу на Болоте…» Ваня смутился. Поклонился по-старинному, как учил его дед и, немтырь, молча вышел вон.

Он не стал дожидаться скорую и милицию. Побрел в школу, думая одновременно о том, когда же его наконец выгонят из школы окончательно, и о том, что большевичка-то хранит дома белогвардейских поэтов… Об этом бы лучше молчать. Никому ни слова…

* * *

Улицина Вадика подколол — неглубоко — Серый. В тот вечер, когда Ваня гонял его по подъезду ракетницей… Ваган сидел в классе у окошечка и помалкивал. Ваня решил уехать в Шатры к деду. Навсегда. Но Юрик Пятилов убедил его не делать этого. Ваня обещал не уезжать. Но мысленно он поклялся себе уделать и Серого, и Вагана (этого гада отмазала мамаша, богатая алкоголичка, зубная врачиха, практиковавшая на дому)… Ваня встретил их обоих в гаражах (ряд капитальных гаражей вдоль Болота). Он на ходу снял с левой руки часы, забросил портфелишко свой на крышу гаража, снял куртку и зашвырнул ее туда же. Он следил за глазами этих уродов — и увидел, что они перемохали, забздели, заколдобились. Он подумал: «Сначала Ваган: замах правой — и удар левым боковым в нижнюю часть челюсти… Серый рванет… Ниче, ракета — осветительная, красная — догонит. Засажу прямо в зад… Петух серенький…»

Драки не было: шпанята зассали, развернулись и рванули между гаражами: один — к смерти своей от пьянства в 25 лет; другой — к зоне своей, семилетней…

Ваня представил несостоявшуюся драку — всю, от начала до конца. Мотнул головой. Достал с гаража свои шмотки. Надел куртку — и стоял теперь так, как стояли Лермонтовские верблюды в «Демоне».

И дикий крик и стон глухой
Промчались в глубине долины
Недолго продолжался бой
Бежали робкие грузины…

——
Затихло все теснясь толпой
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели…

Ваня вышел сквозь ряды гаражей на пустырь, где прежде играли в лапту, в наших и фашистов, в футбол, в волейбол — по кругу,

в ляпки и прочие игры… Сейчас здесь начиналась стройка нового квартала — как раз на задах Ваниной школы. Поле прежних битв и игрищ было заставлено поддонами с красным хрупким кирпичом, который был как куски высохшей до звона печени земли. Людей не было — самострой: мужики придут сюда строить себе дома после шести вечера, обходя неглубокие котлованы со вспученной и неокирпиченной рыжей глиной. Они выпивали по чекушечке водки, закусывали килечкой пряного посола из газетных кульков, на которых, бывало, можно было прочитать черно-жирные слова «ТРУД», «ПРАВДА», ИЗВЕСТ…» (да, и известь здесь была в ведрах и жестяных кадушках), «Комсом…» и даже «СПОРТ». Закуривали. Молчали — и начинали: кто копать, кто месить, кто строгать, кто кирпич класть…

Ваня нашел укромное местечко — укромное от сторожей, мусоров и простых рядовых граждан. Он сложил из четырех кирпичей печечку, похожую на мавзолей великого Ленина, и запалил костерок из щепок, веток и кислорода. Он любил небольшие, маленькие, крохотные костерки, которые ему придется лет так через 4–5 жечь в Заполярье, на Ближнем Востоке, в Индокитае и Южной Африке… О, знал бы он, что так бывает, когда пускался на дебют: не строчки с кровью убивают, а пули ткнутся — и убьют… Но все-таки, и Ваня это уже знал, строчки с кровью убивают вернее, но горше и слаще, но постоянно, везде и всегда…

Он сидел у костра и видел себя отовсюду — и с неба, и со всех сторон света, и с деревьев — огромных тополей, и с крыш домов городских, и с земли, и из-под земли — видел глазами птиц, насекомых, растений (особенно травы), собак, людей, кошек и котов, грызунов, рыб и верблюдов, наконец… Он видел себя, сутулого, долговязого — сидящего — колени до ушей… Зрение такое — множественное — создавало невероятно ясные, смутные, знакомые и чужие образы, почти призраки, — все это сопровождалось, или порождалось? — музыкой и неотвязным думанием стихов. Музыкой — новой, неслыханной. Думами — древними и пугающе свежими, почти не рожденными, но уже существующими в душе. Ваня думал, что если все языки Космоса, Хаоса и Вселенной соединить в одно целое, а затем вытянуть или втянуть, или сложить этот язык — этот бесконечный язык — в одно слово, сжать его — в одно слово, — то оно, это слово, все равно будет короче имени Бога. Ваня вслушивался

в свою тишину, надеясь, что это имя вот-вот нагрянет и грянет, как любовь, как Хан Чингиз, как смерть среди жизни, как жизнь среди смерти…

Межсезонье — как междометье: вроде бы что-то сказано, что есть, но что и как, — не понятно. Длинная весна и длинная осень, как два мокрых детских чулка, — все тянутся, тянутся, не кончаются, а на ноги не надеваются… Детсад ледяной. Ледяная школа. Холод детских толп, в которых каждый детеныш одинок. Светло. Холодно. Алюминиевая весна. Алюминиевая осень. Ножки у детей в колготочках озноба… Ваня теперь мог — иногда, очень редко и с очень близкими людьми — не заикаться, не молчать как вкопанный, как вбитое в глину слово, как застрявшая в воздухе незвучная слеза. Когда он совсем не мог говорить — он чирикал по-птичьи, но мысленно, чтобы не угодить в сто одиннадцатую школу для дураков. Три единицы — 111 — не просто пугали его, они застревали в горле, как рыбья хребтовая кость.

Ваня сидел у костерка. Пламя росло, спадало, перебегало от ветки к щепочке или стояло, как трава в траве — алая трава в алых видениях, мыслях, в алом полощении памяти в бледно-алой неподвижности настоящего, и первое, и второе росли незаметно. Растение языка пошевеливалось в голове и груди Вани: что-то будет — стихи; что-то было — стихи и беда. Вчера после полуночи в дверь сильно и длинно постучали, словно в две руки. Катя и мальчишки проснулись и лежали на своих спальных местах, переговариваясь шепотом: кто это? что это? что случилось?.. Ваня встал — Катя вышла в ночной рубахе из-за шкафа и молча, сжав лицо в припухший кулачок, замахала руками: нет, нет, нет — не открывай!..

Ваня натянул штаны и пошел к двери спокойно, но все же будто упираясь в прозрачную фанеру ночного душного воздуха. Он открыл дверь — широко и резко: в дверном проеме стоял отец. Пьяный. Вдрызг. Это был не первый его визит, но последний — ему впервые открыли дверь, и он сам опешил от такой удачи… К кому пришел? К Кате? К детям? К семье?.. Ваня подумал: «Какая разница, искатель на жопу приключений…» Ваня молча развернул его тяжелое тело и осторожно, с мягкими пинками под зад, спустил Василия Никаноровича, секретаря партбюро, инженера-казачка по лестничным пролетам с третьего этажа. Ваня поднялся на свой этаж. Закрыл дверь на все (их было четыре) запоры и замки и прошел как

был — голый по пояс и в кедах — на кухню. Пили чай. Молчали. Часики на полке показывали 3:30. Пора спать. Завтра им с Катей, обоим, на работу: ей — лечить живых, ему — сторожить мертвых, чтобы не убежали… Ваня долго не мог уснуть. Лежал, не шевелясь. Смотрел на шторы, которые росли, как дальний лес, но близко — у самого лица… Ему было стыдно. За себя, за отца, за жизнь, за школу, за страну, бухающую и празднующую бесконечно то ли Победу над Германией, то ли смерть сталина, который, как оказалось, был одновременно и отцом, и сыном великого ленина, хруща, ельцина и прочих негодяев…

Ваня медленно, окольными путями пробирался к школе. Вошел в школьный двор через дикий сад, где встретил ежика — или ежик встретил его. Ваня подумал: «Из семейства кошачьих самые умные — ежики…» И — вонючие: еще в прежней квартире Ваня завел ежа, который днем спал, а по ночам топал так, будто толпишка карликов играет в футболохоккей — так звонко звучали коготки ночного зверька. Ваня украл в классе ГО (гражданской обороны) противогаз и принес его домой, чтобы в нем убирать ежиковы кучки… В саду он увидел бабку, собиравшую яблочный дичок — на вареньице. Она глянула на Ваню и осадила попытку немтыря заговорить тухлой улыбкой… Бедная старуха. Бедные люди. Черные вечера и ночи.

Мутная история с Ваганом и Серым закончилась зоной для Серого и ощущением своей смертности и гибельности этой жизни — для Вани. Вадику Улицину прокололи мочевой пузырь — ранение тяжелое. А потом, блин, этот хренов Орлов вдруг оказался жив. Вот и пошли ребятки добивать фраера… Ваня остановился. Тряхнул головой: всё — больше об этом, Ваня, не думай. Было — и прошло… Человек — это форма, форма, форма. И — функция. И никакого содержания. Тебе и Вадику прокололи (Ване — насквозь) форму. Содержание уцелело… У этих товарищей — от сталина до серого и вагана — только форма и функция, и — никакой семантики. А семантика человека как жизни — это смысл существования, бытия.

В школьном саду жил белый голубь. Видно, отбился от голубятни, от стаи, заблудился. Его подкармливали старушки из столовой, ребята из младших классов. Все его звали «Голубь Андрей». Почему «Андрей?» И, наконец, почему «Голубь»? Может, он иное существо, мыслящее и страдающее?.. Осенний садик был еще густ, хотя листва

уже посыпалась. Густ — от обилия цвета: зеленого, золотого, беложелтого, светло-алого, красного, бордового и багряного. Сад что-то говорил всем этим милым, озябшим и озабоченным людям. Что? — Ваня знал — что…

И дик и чудесен был вокруг
Весь Божий мир но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье Бога своего
И на челе его высоком
Не отразилось ничего…

Небо, высокое, не опускаясь к земле, коснулось земли — так качают себя, так трогают свои плечи озябшие люди, так Голубь Андрей видит себя в чистой лужице и клюет себя, и пьет себя по капельке… Всё сероваговское пропало, улетело — ни сквозняка, ни ветерка. Лицо твое, поднятое к небу, уходило в небо — зрением, обонянием, вкусом во рту, слухом, осязанием лобным, прохладным и крепким… Галя Журавлёва — его тайная ГЖ — осталась журавлем в небе, — не дотянешься: ты и она — в разных небесах, несоединимых, непересекающихся, не видящих и не слышащих друг друга, несоприкасающихся. Слепых друг для друга. Слепых и глухих друг к другу: пленка слепоты зеркальна, и, глядя в нее, ты видишь себя, живого, несчастного, сильного и вечного.

Клянусь я первым днем творенья
Клянусь его последним днем
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством
Клянусь паденья горькой мукой
Победы краткою мечтой
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой
Клянуся сонмищем духов
Судьбою братии мне подвластных
Мечами ангелов бесстрастных
Моих недремлющих врагов
Клянуся небом я и адом

Земной святыней и тобой
Клянусь твоим последним взглядом
Твоею первою слезой
Незлобных уст твоих дыханьем
Волною шелковых кудрей
Клянусь блаженством и страданьем
Клянусь любовию моей
Я отрекся от старой мести
Я отрекся от гордых дум
Отныне яд коварной лести
Ничей уж не встревожит ум
Хочу я с небом примириться
Хочу любить, хочу молиться
Хочу я веровать добру
Слезой раскаянья сотру
Я на челе, тебя достойном,
Следы небесного огня
И мир в неведенье спокойном
Пусть доцветает без меня…

Сад то смыкался ветвями и листвой над твоим лицом, то вдруг открывал небо — уже иное небо, новое, мыслящее и сочувствующее тебе…

Ваня — внешне — оторвался от Журавлёвой: за пять лет он не получил от нее ни одного отклика, отзыва и ответа на свои письма и на стихи, которые думались и писались для нее девять лет. Журавль — такая птица, птичка, птичище, которая подпускает охотника к себе ровно на восемьдесят один метр — ружье («тулка», ТОЗ) бьет на восемьдесят: стрелок делает два-три шага, и журавль перепрыгивает через две-три кочки — стреляй, милый, не достанешь. Так и Журавлёва: смотрела на Ваню часто, взглядывала неотрывно, как маяк — во тьму, но не подходила и не подпускала к себе этого парнишку из бедной семьи, убежавшей от отца, героя казака и комуниста, человека на Уралмаше и УЗТм известного, красивого, остроумного, доброго и компанейского.

Ваня вогнал в себя эту любовь поглубже — в себя, в душу, и она уже не болела, а ныла, особенно по вечерам и ночам. Ваня нравился девушкам. Он вообще был заметным парнем и в школе, и на Болоте,

и на Уралмаше — его знали как спортсмена, как дылду под два метра, как обладателя «смертельной» левой, удара простого, но трудно отразимого: рост, длина руки, хорошая координация, ну и спокойно-бешеный нрав; многие знали, что значат побелевшие Ванины карие глаза — лучше молчи и не квакай, а то беги — топчи дерьмо свое из штанов своих. Любовь к Журавлёвой пошевеливалась в Ване, но уже не причиняла нестерпимой боли и глубинного с дрожью беспокойства.

Ваня дружил с девушками. Но влюбиться не мог ни в одну из них. Отроческая, юношеская похоть иногда обманывала его, правда, он ей и не верил. Он был поначалу нормально одинок. Такое одиночество тянется до первой любовной постели или до свадьбы. Однако Ванино одиночество изначально было внутренне всеобъемлющим. И природа такого одиночества происходила не только от неразделенной любви, но и от чего-то иного, не менее важного. Ты, думающий стихи, мир и себя, — постепенно, с самого, может быть, зачатия своего впадал в одиночество бытийное, онтологическое, действие которого в большей степени зависело от звезд, света, тьмы, пустоты и мира в целом, нежели от близких тебе и к тебе внешних социальных и половых раздражителей. Ваня начал понимать, что с ним все нормально: так и должно быть — страдать, мыслить, страдать и думать стихи свои, Тютчева, Лермонтова, Пушкина и вновь свои, это нормально — быть ненормальным. Стихи думались и мучили его постоянно — и во сне. Это была иная, новая мука: в тебе ничего не болело, и это ничто вызывало непрерывную боль. Болело все: прежде всего, мир, пространство, воздух, погода, время, сады и лес, птицы и земля под ногами. Ты был одновременно и ядром этой боли и ее оболочкой. Человек вообще оболочка боли — интеллектуальной, мыслительной, музыкальной, душевной, сердечной. Кровь твоя тоже болела — текла в тебе и болела тобой…

Из школы вышли два скелета — матери и дочери с портфельчиком. Ваня тряхнул головой и подумал: «Пора ехать в Шатры…» Катя сделала сначала освобождение от занятий до середины января, а потом была комиссия, педсовет, районо (районный отдел неродного образования — будто бывает еще и антинародное, и кошачье, и лошадиное, и ежиково), гороно — и было решено перевести И. В. Орлова, ученика десятого класса на неаудиторное, «домашнее» обучение; то бишь Ване разрешили «учиться» самостоятельно

и сдавать все экзамены (и выпускные) экстерном — по состоянию здоровья (ранение, немтырь, «бунтарь», первый декабрист десятого «А»; всезнайка, но в письменной форме, т. к. молчит, щенок, даже не пищит). Одноклассники рассказывали, что Шмотка так разозлилась-расстроилась (некого мучить), что покакала в себя, прямо в себя, внутрь, в нутро свое историко-образовательное — с тухлой улыбкой палача, оставшегося сегодня без работы, — стало ей сладко, горько, гадко и светло — аж шторы в классе задернула. Лицо у нее было разочарованно-мертвое, будто хотела она сказать: «Эксгумируйте меня — я проголодалась», — ан нет… Мимо денег, мимо станции, мимо ворот… На учительском столе стояло ведро с грязной водой — ребята постарались…

Ваня ехал в Шатры. На рейсовом загородном автобусе № 105, билет стоил 30 копеек. Пирожок — 5 коп. До Шатров, таким образом, было шесть пирожков. В автобусе, кроме него, впереди на пенсионерских местах сидели скелеты. Семь штук. Они разговаривали. Ване было стыдно: за себя, за школу, за город, за ребят, за девчат, которые плакали, провожая его в недолгий тридцатикилометровый путь. Ваня чувствовал себя виноватым. Он сам был виной всему, что страдало в этом городе, в этой стране. Все, что страдало и, может быть, даже мыслило. Хотя… Скелеты переговаривались, лезли в сумки, стоявшие на автобусном полу — у каждого по сумке, а то и по две между ног… Exodus — это ихний Гоголь. У каждого и в каждом есть свой Гоголь… «Гоголь» — это уже не имя, а кличка, кликуха, погоняло, да?.. «Эй ты! Клокуха?! — Маклай…» — Ваня даже не улыбнулся…

Окрестности города начали зарастать снегом. А поля и сады густо заросли инеем и снегом, как временем. Поздняя осень на Урале хороша, свежа и чиста, как дикорастущее искусство… Поэзия — дикорастущая сущность. Или сверхсущность. Или вещество, которое наполняет прекрасную пустоту поэзии. Снег — это еще и плотная, сухая и крепкая вода… Ваня, выехав из города, попал прямо в чудо, пока еще молчаливое и не совсем твое, но… — вот из чего состоит то, что растет в слове — до полного освобождения от звука, от языка, от музыки, за которыми дышит — как на стекло оконное — Бог… Ваня смотрел на Россию как на иную, главную и неземную страну: «Вездесуэла…» — прошептал он, и парок изо рта прижал призраки его губ к автобусному стеклу, которое утолщилось до горизонта

и теперь втягивало в себя Ванины глаза, а затем вжимало их в вещество поэзии, которое упираясь в ресницы множило многоконечные звезды, их светы, их тени, их призраки, их пустоты, их соль и слезы, их снежные комочки, застревающие в горле…

Бабушки, сидевшие в передней части автобуса, дремали, подремывали, задремывали, передремывали, передергивая плечами, покрытыми черно-синим бархатом парадных осенних жакетов… Ты входишь в странное, но уже ставшее обычным для тебя, состояние, когда звуки и оконное кино автобуса, не мелькание уже, но сплошная картина объятия — долгого, крепкого и холодного — белого неба, которого почти нет, белого совхозного поля и белого леса, выходящего на цыпочках в снежные просторы, — все это соединяется в одно целое, когда ты воспринимаешь смех как плач и плач как смех, — они тянутся к тебе с передних бабушкиных ледериновых сидений, блестящих то ли потрескавшимся лаком, то ли леденеющей влагой. Автобус, не доезжая до Горного Щита, сворачивает налево, где сходятся четыре асфальтированные дороги и перекрещиваются, как клинки палашей с заиндевевшими лезвиями. Скоро Шатры. Свобода и воля, воля и свобода продувают твои легкие — вот-вот запоешь, закричишь, заорешь от сладкого и болезненного счастья, вернувшегося в тебя здесь: всегда здесь, здесь, здесь, здесь — на скрещении четырех дорог-клинков, ниже Горного щита…

Вот и Девяносто Пятый переезд, вот десяток домиков, две-три «железнодорожные» коровы, объедающие серые метлы железнодорожного сорняка, в которых нет-нет и вспыхнет багровым, фиолетовым почти горсть цветных головок татарника, чертополоха и других загадочных вольных цветов. Вот и Хабаровские озера, где Ваня с Гришей Якубовым добывали самодельным бредешком карася. Хабаровские озера — это крохотные (до двадцати метров в диаметре) абсолютно ровные и правильные окружности шурфов золотоносных, пробитых здесь триста с лишком лет старателями — и заполненные теперь ключевыми водами, заросшие водорослями, кувшинками и тальником по краям-берегам. Золотой Урал отдал все золото (видимое) и поменял его здесь, на Хабарах, на невидимое золото карасей. Крупный карась ложился на сковороды, а мелкий уносился в бидонах с водой и становился живцом, на которого брали щуку и окуня на Андреевских и Больших озерах, образовавшихся на краю Чистого болота, простиравшегося на юг до Сысертских

рек и прудов. Каждое Хабаровское озерцо было надежно спрятано в еловой гуще, густой — не продраться. Из полутора десятков озерец уцелело теперь лишь два — ближе к горам, поросшим вековым лесом, хвойным и лиственным. О них знали только Гриша и Ваня. Грибники сторонились темных лесных мест — опасались встретить мишку. А они здесь были. И еще есть. Шумят себе бесшумно. Ворочаются в ягодниках. Мишка пыхтит. Фыркает. Носом насвистывает «Пусть всегда будет солнце…» В общем, упаси Бог от такого соседа.

А вот и Баня. Бани. Они стали меньше, будто усохли. Но дым из труб (их две) идет. Но люди со сверточками под мышкой идут, подходят, заходят по ступеням в клубы и в клубки, в сквозняки горячего воздуха, уже не пара, а особого состояния банной атмосферы — послепара: нюхнешь такое — и завидуешь тем, кто сейчас в парилке, в мойке, в мыльне, в раздевалке с бутылочкой пива и вяленой воблой, одним словом, блеск и нищета партизанок, партизанов и партизанят. На парадных банных ступенях сидел огромный грязно-рыжий пес с простым русским именем «Ахтунг». Ему было лет тридцать, и он помнил Сталина, Гитлера и пленных немцев. Бабушка хотела взять Ахтунга на свой двор, но дед не дал: говорил, что Баня осиротеет, да и пес без работы усохнет, зачахнет, да и мужикам его не будет хватать у Бани; посмотришь на Ахтунга — и вспомнишь, какую беду мы победили: и Гитлера, и Сталина, и дурь нашу рабскую, русскую…

В доме бабушки и деда все изменилось: уменьшилось в размерах,— и ничто не изменилось: печь осталась печью; появилось паровое отопление, но с перебоями; мебель тридцатых годов двадцатого века — это просто короба с дверками, но и сохранились замечательные горки — мебельные матрешки в два, в три, в четыре яруса,— верхний — для самой мелочи кухонной и посудной, нижний для кастрюль, мясорубок и крынок с трехлитровыми банками. Другие горки — каменные пирамиды до полуметра высотой: искусно скрепленные, склеенные, сложенные воедино полудрагоценные камешки, камушки и друзы (огромные и мизерные) горного хрусталя, стоявшие и в кухне, и в комнате, и в прихожей (по-деревенски «в сенках», «на колидоре») на тумбочке с обувными и одежными щетками, баночками и ваксой, солидолом и обувными кремами… Дом был прежним — нельзя вырасти из того, что вросло в тебя, и во что ты врос сам навсегда.

Они сидели за столом втроем: дед, бабушка и Ваня. О чем-то говорили — о незначительном, о протекающем мимо, о мелком, словом, о том, что и было, действительно, главным. И дед, и Ваня одновременно почувствовали, как прошлое не дает стать и быть ни Ивану Ивановичу (по рождению), ни Ване (генетически) — своим, родным и рабски счастливым в этом исковерканном бунтами, революциями и войнами, бывшими в двадцатом веке, мире. Мир — весь огромный мир, вся Вселенная, весь Космос — становились все совершеннее и страшнее. Так хотел человек. Человечество кромсало сплошным ножом себе вены, глядя в зеркало, в экран в чудесной самодельной раме, — и думало, что смотрит фильму, фильм, кино, киношку, movie, некрасивые и неумные картинки: вот зеркало погаснет — и можно идти спать, на ходу перекусив у холодильника. Дед и Ваня переглянулись — и улыбнулись…

Ваня почувствовал, что плоть его и душа его — это пластилин мира, глина мира, гипс мира, медь и бронза мира, из которых он должен и может вылепить, отлить новый вариант мира, незавершенный до него иными художниками. Ни наука, ни общество, ни государства, никто не изменит гибельный облик мира. Только культура и словесность способны сотворить это чудо.

За окном происходило чудо — густейший снегопад, обвал неба, объятие неба и земли, объятие всеместное, круговое немереное и взаимное.

Думы Ивана были наивны. Но наивное всегда ближе к истине, чем заумное, которое часто оказывается пустым. Даже кот Васька это почувствовал: он спрыгнул с табурета и погнался за несуществующей мухой или за призраком… Чьим?..

В такие снегопадные минуты тишина внешняя, вселенская, которая была слышна в доме особенно ясно, вдруг начинала наполняться шорохом, шепотом, перезвоном огромных мохнатых снежинок: тишина насыщалась сначала предмузыкой, а потом — музыкой, но беззвучной и неотвязной. Расслышав эту музыку, ты начинал слышать тишину — настоящую, великую, твою и не твою, которая, сливаясь с шумом крови твоей, становилась частью тебя, как ты сживался и роднился с тишиной, — и теперь мог посмотреть ей в глаза. У тишины темно-карие, почти черные глаза. Тишина учит тебя быть собой. Оставаться собой. Учит тебя почаще смотреть по сторонам и оглядываться назад, чтобы не разбить

лоб о небо, чтобы не заблудиться в себе. На земле, на планете Земля, — много пространств, а люди собираются только в одном их них — кучкуются в нем, преют в рассоле своего быта, своего праздника, своего стола с рюмочкой и пирожками. Бытовать в одном пространстве — ритуал. А ритуал в пределах быта и бытовухи, житухи всегда губителен для слуха, нюха, зрения, осязания и вкуса: все говорят «Вкусно!» — и тебе вкусно. Все говорят (хором!) «Гадко!» — и тебе гадко… И ты ищешь иные пространства, не задушенные социальностью и государством (что одно и то же: первая — агрессивна и тупа; второе — актуально и денежно)… Находишь — и переживаешь свое счастливое бедство… Мы ищем Бога, а он ищет нас (в нас, с нами и для нас). Тщетно. Не видать нам друг друга. Пока ты не почувствуешь направление и силу ответности Его Взгляда. Душа знает и чувствует. Она сильнее плоти. Не у всех. Душа — не власть, не деньги, не пороки. Душа — это снегопад, небопад, объятие неба и земли с последствующим унесением земли в небо.

* * *

Дед, как казалось Ване, достаточно быстро и без особого труда превратился из дворянина, юного и неизбалованного, в крестьянина, в кузнеца ручного, многоумеющего, искусного, в молчуна, грубоватого, но уважаемого всеми… Ваня редко позволял себе думать о себе будущем: кто он? что он? поэт? фантазер? — немтырь.

Он уже не работал в морге, где узнал и увидел, и ощутил, как плоть сопротивляется смерти, остывая, коченея, вздуваясь и иссыхая, мертвое тело двигалось, поднимало руку, подгибало ногу, словно пыталось выбраться из смерти, как из снежной ямы, не имеющей дна. Он сдал выпускные экзамены в школе. Легко и весело. Отвечал только письменно. Химию не знал совсем (через 15 лет он увлечется этим предметом и кое-что узнает — почти то же самое, о чем догадывался, о чем догадывалось его воображение, разум, сердце и душа). Вместо выпускного сочинения Ваня написал рассказ. Поставили «два». Но тогда вдруг и неожиданно для всех взбеленился молодой учитель-словесник, поднял шум и отнес сочинение сразу в гороно. Оценку исправили на «четыре», потом на «пять», потом на «три» и, наконец, на «пять». Феликс Салимов, выпускник

филфака университета, отстоял Ванин рассказ, доказав, что рассказ, как и стихотворение, роман и т. д., есть сочинение в сфере как учебной, так и художественной словесности. На выпускной вечер Ваня не пошел: получил свой аттестат и характеристику, в которой упоминались три исключения из школы, уголовный суд (забыв отметить, что он был пострадавшим и свидетелем). Через неделю после получения аттестата (Ваня эту свободную навсегда от школ неделю провел у деда с бабушкой), он устроился на УЗТМ, в двадцать девятый цех — лидерный, механический, огромный, располагавшийся в чудовищно просторной коробке под звездой, где проработал полтора года — и ушел в армию.

Еще в послеэкзаменационном июне Ваня тайком от всех послал свои стихи (писанные рукой на бедной бумаге) в Литературный (единственный в СССР) институт на творческий конкурс. Ответ пришел через шесть дней — отказ, а на седьмой день свободы он отправился в заводоуправление, в отдел кадров, и был принят учеником фрезеровщика в лучший цех Уральского завода тяжелого машиностроения, из проходной которого было видно здание с вывеской «Ресторан Север», где он прожил первые годы своей жизни в общежитии, семейном и шумном, как вокзал.

В двадцать девятом цехе работали нормальные мужики и парни, многие из которых имели высшее машиностроительное образование (инженер получал 120 рублей, рабочий-станочник — около трехсот, а то и больше). Странно, но в цехе не было почти ни пьяниц, ни алкашей — в перерывах играли в шахматы (очкарики!), а пиво пили по пятницам на Уралмашевском рынке. Цех работал в три смены. Ваня все лето провел в двух точках: завод и озеро Балтым с хорошими пляжами, куда ездил с новой, а точнее — первой, подружкой, Олей, золотомедалисткой, поступившей в политех без экзаменов, спортсменкой — и хорошей: спринт, прыжок в длину. Расстались неожиданно: однажды после первой смены, вечерком, встретились — сидели на скамеечке, о чем-то говорили. У Ваня отросли волосы, как у битлов («Beatles» были и остались чудом на всю жизнь, как Бетховен и Рахманинов), длинные волосы, почти до плеч… И вдруг Ольга заметила: «У тебя волосы пахнут машинным маслом…» — А Ваня после каждой смены полоскался и фыркал в душе. Внутреннее небо Вани закрылось. Это была не обида. Это было что-то чужое, исходящее из сидящей рядом юной женщины.

Ваня проводил Олю домой — уже в темноте. И забыл о ней. Просветы в его небе закрылись — ни щелочки. Конец.

Потом появилась Таня, тоже, как и Ольга, одноклассница. Потом другая Таня. А затем третья Татьяна, которой предстояло провожать Ваню в армию… Полтора года Ваня, думая стихи, не записывал их. Почему? — Время вернулось и теперь лезло в уши, в глаза, в горло, в голову, в сердце, в душу. Социальное время выедает все — и потайное мышление, и подспудное чувствование, и душевные силы, без которых нельзя оторваться от асфальта, от людей, от забот, от глупости, своей и чужой, от тихой доброй подлости всех, кому на тебя наплевать. Эта доброжелательная, мягкая подлость — без запаха и объема — была всюду: и дома, и в цехе, и на улицах, и на пляже, и в разговорах — бесконечных — с «друзьями» новыми и прежними… Было тоскливо. Так тоскливо, как бывает дождливо или ведро, или пасмурно, или холодно, или душно. Каменный город давил на Ванину душу изнутри и снаружи… Он жил все это время на слезе: душа знала, что будет впереди, после завода, — и мучилась, и мучила Ваню, и мучила всех, кто любил его… О ком бы и о чем бы ни плакали дети и взрослые люди — он плакал с ними, вместе со всеми, плакал в себя. Пора ожидания, предчувствие чего-то небывалого, должна была кончиться — и тогда, Ваня знал это, подступит вечность без права переписки. Ваня каким-то образом оказался в зоне гравитации такой вечности.

Последняя Ванина смена на заводе была третьей. Он был уже основным фрезеровщиком на огромном станке, высотой с двухэтажный дом. В его бригаде был еще подручный и ученик. На фрезерном столе расположилась деталь весом в 12 тонн — корпус дробилки (для горной промышленности). Оба шпинделя были снаряжены фрезами — вертикальной и плоской, круговой, — шла «обдирка» и одновременно резался паз, дисковая фреза отщелкивала на станок и на стальной пол стружку толщиной в палец, вертикальная — с эмульсией — высверливала полутораметровый паз в гигантской детали. В шесть утра остановили станок и начали убирать стружку. Подошел Боря Медведев, основной с соседнего станка. «Ну что, пошли?» — спросил Боря. Зашли в душ. Там напоследок выпили водки. По чекушке. Не допили. «Ладно, допьем по дороге, на скамеечке», — решил Боря. Они оделись и вышли из проходной. Август. Было почти светло. Решили посидеть с недопитым горючим

(по четвертьчекушечки) на скамеечке бывшей Сталина у Старого-Нового гастронома, недалеко от бывшего родного дома с вывеской «Ре тора Север»…

Они сидели, делали по глоточку из своих бутылочек, курили, смотрели на уже светлое, но пустое, сонное, с полуприкрытыми глазами небо. Закончили. Встали. И вдруг почувствовали силу гравитации войны — вот-вот что-то случится, неприятное, может быть, гибельное, бедовое и страшноватое. От фронтона Старого-Нового гастронома, с двух сторон вышли четверо — двое с западной и двое с восточной стороны. Двое из них были клопы — значит, с ножами. Один был крепкий, спортсмен. А последний — огромный, двухметровый, уже не пацан и не шпана, а серьезный мужик, уголовник. Боря Медведев тихо скомандовал: «Шпокойно, Шклифосовский: бери амбала, а я остальных. В контакт не вступай, гоняй его по рингу (Боря был боксером, к. м. с., дрался редко, но грамотно и сокрушительно — Ваня изредка участвовал в бойнях у гастрономчика по ночам после второй смены).

Боря улохматил коротышек и сразу передвинулся в сторону спортсмена… А уголовник шел спокойно на Ваню. Оценил. Прежде голову (плохой знак), и Ваня увидел, как блеснуло лезвие режика из рукава противника. «Левой, левой — не сразу; побегаю, правой помашу, нос ему напомажу — и в сторону, два шага вправо, назад, влево — удар правой. Нож у него в левой. Левша? Не-е-е… В правой может быть пика недлинная в рукаве — руки держит рукавами вниз… Понятно. Начали…»

Боря всерьез увяз со спортсменом. Двое ихних убежали… Пора. Ваня заставил крутануться своего страшного пару раз — влево-вправо. Удержал левую — пока бить нельзя. Страшный шагнул навстречу, подсел («Сейчас будет удар ножом слева…»), и Ваня вложился в правый прямой — ноль внимания… «Шпокойно Шклифасовский, шпушкаю…» — подумал Ваня, ушел вправо — и по крутке свистнул нож из левого рукава. «Ни хрена себе. Профи». — Ваня начал злиться. Волнение прошло. Начиналась настоящая драка. Ваня уходил от режущих и колющих рукавов папаши и работал правой, правой, правой. Страшный призапыхался, но в глазах его теперь стояла смерть — не интерес и любопытство до драки… Ваня пропустил опять железку из левого рукава гада теперь по запястью. Не больно. Хорошо даже. «Не слизывать и не вытирать кровь — это секунда-

две. «Осторожнее… И — быстрее, двигайся быстрее», — думал Ваня так, как думают стихи графоманы… И улыбнулся, одновременно с отходом его железяки от запястья, ударил левой — в висок. Страшный рухнул. Боря, наблюдая сквозь борьбу со спортсменом за Ваней, громко прошептал, чтоб не сбивать дыхание: «Молодец, Ванюша. Шпокойно, шпокойно, Шклифосовский…»

Ваня, идиот, расслабился — нокаут… Но! Страшный вскочил, поднял руки вверх, стряхнул рукава с ножей и спокойно, как танк, пошел на Ваню… Речь всегда длится дольше драки. Вся эта возня без ринга и судьи продолжалась секунд 35–40… Ваня отступил и совершил ошибку — не ушел в сторону. Он запнулся о что-то, находившееся по курсу сзади — и упал. Упал ниже земли. В канавку. Теперь все — конец. Левая рука нащупала кусок асфальта (спасибо, раскопали), и Ваня крутнулся на заднице ровно на 180 градусов, вскочил. Пока ножеватый борец с трудягами думал: «А это че такое?!» — Ваня вложил ему слева точно в розовое пятно, которое осталось от предыдущего удара кулаком. Все. «1.2.3.–8 — аут…», — отсчитал он. И рванул к Боре — ему попал борец-вольник. Сильный, быстрый, ловкий. Ваня знал, что бить сзади нельзя, но уголком глаза увидел свои руки в своей крови — и вложил левой в ухо товарищу борцу, братану, быку, млекопитающемуся. Они долго бежали до улицы Избирателей — сегодня Бог выбрал их… На перекрестке простились — мгновенно: Боре направо, Ване налево. И разбежались. Боря крикнул и Ване, и себе: «Три дня сидим дома!..»

Три дня Ваня мучился, думая, жив ли страшный? Убил я его, эх, убил, гада, прости Господи…» Он молился. Читал Цветаеву, Тютчева, Лермонтова. И плакал, пока был один дома. На четвертый день зашел Боря. Посидели. Помолчали. Плюнули на все и пошли выпить пива на рынок. Пили мало, но долго, медленно. И вдруг Боря, который был старше Вани вдвое, тихо сказал, указав, как снайпер, линию взгляда и огня: «Вот он. Башка в бинтах. Да и не страшный он ни хрена… Выходи сразу сейчас, первый, я — за тобой. Отдыхай в деревне: армия — не прогулка у Старого-Нового гастронома», — он положил ладонь на Ванину и добавил, еще тише: «Ты хороший человек, но бываешь резкий. Будь поспокойнее. Умнее…» Они расстались навсегда: Шпокойно, Шклифосовский, шпокойно…

Одиночество и свобода. Одиночество без права разговора — Таня была молчалива, тиха, — тонкая брюнетка, почти цыганка-индийка,

дочь прапорщика, начальника детского лагеря на Балтыме, мать очень красивая, невысокая, с огромными черными очами, полная, всегда радовалась, глядя на Таню и Ваню: он высокий с выгоревшими русыми длинноватыми волосами, она тоже высокая, стройная со смуглым полным лицом, крайне спокойна и одновременно невероятно сентиментальна, но не чувственна, но более эмоциональна. Еще та парочка. Катя смотрела на это, по ее словам, увлечение, иронично, но вполне сердечно по доброте душевной, женской, материнской. Деевы, семья Тани, жили по тем временам богато. Орловы (мать все-таки поменяла казачью фамилию на генеральскую, отцовскую, «папину», по ее словам, — а реально — на фамилию кузнеца и лошадника Иван Иваныча, дяди Вани, Ивана, Ивана Орлова) были бедны. Очевидно небогаты. Перебивались с копейки на копеечку, пока Ваня не стал работать сначала в морге, а потом на заводе, где платили очень «прилично» (мамино слово).

Ваня уехал в Шатры на два с половиной месяца (август, сентябрь, октябрь), в ноябре призовут на срочную службу (он окончил местную Морскую школу ДОСААФ и был теперь дипломированным радистом, специалистом по радио-релейной связи). Записался в военкомате на флотскую службу (три года вместо двух в наземных войсках)… Наступила странная пора: время исчезло, пространство замерло, только в Ване, во внутреннем небе плыли облака — всегда почему-то на север, мерцали звезды, ходили по кругу леса, беззвучно пели птицы, покусывал плечо мерин Ежик, которого уже не было в живых, но была корова Ночка — огромная, мудрая и норовистая. Окрест Вани мир остановился, как кино — пленку заело. Он уже курил, не стесняясь деда (при бабушке терпел, не лез за пачкой сигарет и спичками в карман). Окончательно подружился с Колей, братом Кати и своим дядей. Они стали ровней, видимо, Николай, почувствовал Ванино взросление. Однако это взросление оставалось детским, не наивным, а прямым и простым — таким, как это происходит только у деревьев, чей возраст определяет только смерть. Нет, Ваня не завис в пустоте — от отчаяния, от нелюбви, от беды. Он входил во взрослый период детства — теперь уже навсегда. Только детство удерживало в нем шевеление и боление словесности. Он думал стихи. Думал жизнь. Думал смерть. Думал любовь. Думал время. Думал мир. Думал свое внутреннее небо. Думал вечность без права переписки.

Ваня не хотел, не желал, отказывался быть тем, кого любит, обожает и ненавидит общество. Он ничего не хотел от этого легкого, жестокого и лживого мира людей (О, Печорин!), он был Ваня, который внешне — человек, но внутренне — неизвестное и непонятное существо. Себе — не-понятное. Птица? Дите? Трава? Дерево? Воздух? — И их боль. Боль существования. Боль бытия. Бытия иного — бытия без права переделки, передумывания, раздумывания и переписки. Без права переписки (О, сука Сталин!). Ваня жил и летал в себе — высоко, стремительно, сильно и неостановимо.

Он приехал к деду. Деревня обняла его. Бабушка всплакнула. Вода в речке приостановилась, взглянула на Ваню и присмотрелась к нему. Узнала. Скорчила рожицу и побежала дальше с юга на север — туда, куда Ване следовало скоро отправиться на три года. Только Ване придется двигать севернее, очень севернее — в вечную мерзлоту, к Баренцу, к Мурманску, к Североморску, к снегам, к сопкам, к Северному сиянию…

Гравитация прежней жизни — внешней — полушкольной, с полусемейством с полуотцовством казака, с товарищами по школе, по спорту, по улице, с полудружбами, с полулюбовями, с полуранениями, с полусвободой, — ослабла, и в этой гравитации проявилась сила, превращающая время в чистое и беспредельное пространство, в котором все близкое, ближнее, приближенное уменьшилось, а далекое, дальнее и незнакомое, почти невидимое, напротив, увеличилось. Гравитация ожидания, тяготение и притяжение с отталкиванием ожидания — не пугало: Ваня, превращаясь в Ивана, совершил серьезные поступки, изменившие его дальнейшую внешнюю жизнь: он дал отпор хамам, шпане, он был ранен (и не однажды), он прекратил занятия спортом (баскет, легкая атлетика, бокс), добавившим уму заметного успеха (кубки, медали и иная мишура стояли у Кати на серванте — и вызывали улыбку у Вани), он нашел наконец-то «армейскую девушку» — Таню, он получил аттестат, он год работал в морге и полтора на заводе, наконец, он предпочел думание стихов и книги всем другим занятиям миллионов юношей и девушек.

Гравитация новой жизни — внутренней, — сила ее явила Ване призрак вечности, — страшный, заманчивый и неотвратимый. Внешнюю и внутреннюю жизнь связывало то, что принято называть душой, которая и распоряжалась жизнями и грядущей смертью

Вани-Ивана. Энергия, сила такой гравитации чувствуется постоянно: от кинетики до сознания, от эмоции до духовности, от душевности до почти неощутимых границ мира, Вселенной и Космоса. Разновидные силы такой гравитации действовали совместно, одновременно и всюду. Именно такая множественная гравитация освобождала Ваню от тяготения и притяжения Толпы. Прямо говоря, это была гравитация одиночества небесного тела, летящего в открытом космосе и испытывающего влияние сотен, тысяч, миллионов притяжений и отталкиваний иных небесных тел, контактов и взрывов, которые происходили в любое время и во всяком месте: во сне, наяву, в воображении и в периоды активности думания стихов, жизни, смерти, любви, Бога, вечности и бесконечности. Возможно, окружающим Ваню людям казалось, что он заодиночился.

* * *

Ваня заодиночился. Он медленно шел от остановки автобуса к дому деда. Решил срезать дорожку и вошел в лес. И птички слетелись к нему — их было много. Очень много, так много, что можно было решить, что Ваня — птичий царь. Ваня вышел на чистую, нехоженую полянку, которая казалась основанием светового конуса, который установило солнце здесь, прямо на траве, раздвинув ветви берез со своими клейкими, как почтовые марки, листочками, налепив их густо на распахнутые и набитые птичьей речью конверты воздуха. Ваня остановился. Отставил в сторону котомку с подарками деду и бабушке. Сначала сел на траву. Посидел. И, наконец, лег навзничь, раскинув руки. И мураши, и паучки, и косеножки, и божьи коровки поползли по его рукам, ногам, шее и лицу. Ваня изредка отдувался от насекомышей. Он знал, что будет дальше… Он заплакал, глядя в нестерпимо яркое узкое кольцо солнца. И две серые овсянки сели в его левую распахнутую ладонь, и две белошапочные овсянки опустились в его правую ладонь, и две трясогузки побежали врозь по его ногам, и летний молодой, подтянутый снегирь сел прямо на сердце, и стрекоза — вся из прозрачного золота опустилась Ване на лоб, и дятел-желна опустился на левое плечо, а желтый — на правое, поползень побежал от живота к подбородку, и пара зябликов опустилась на кеды и осторожно поклевывали китайскую резину, и сорока села под левую подмышку и что-то

быстро сказала, и ворона прыгнула под правую подмышку и что-то нежно прорычала. И белка упала в траву рядом со лбом, села на задние лапки и заглянула в глаза, и зеленушки окружили Ванино тело, и бурундук лег ему на грудь, не вспугнув снегиря, и потерся спинкой, а потом животиком о Ванину шею… И два черных коршуна кружили низко над поляной и пищали что-то хорошее, доброе. И две совы-молодые — с огромным филином сели на две ближние ветки старой березы и начали вкручивать свои теплые головы в небо…

Ваня сел. Птицы не улетели. А бурундук ткнулся крохотным ледяным носиком в его запястье. И белка, отбежав в сторону, вернулась и уткнулась в другое запястье. «Господибожетымой!..» — пробормотал, не заикаясь, Ваня: «Я дома…»

Это был прыжок с парашютом в небо, когда парашютом была вся земля, а неба — клочок, обрывочек… Он встал. Пошел дальше. Птицы и зверьки двинулись за ним. Он остановился у сосны — и вспомнил: если насморк замучил, высморкайся в ладонь и шваркни сопли об сосну — все сразу пройдет… Он улыбнулся, но уже не себе, а воспоминанию из детства: дед так лечил его простуду. Бабушка поругивалась. А дед лечил…

Ваня подходил к дому с задов, с огородов, со стороны стаек. Он видел приручeнную, удобную нищету. Бедные люди. Бедные мы. Бедная планета. Бедный Бог. Жизнь наивна — смерть инфантильна: хапает всех, кто плохо сидит или стоит… Ваня чувствовал, что прежнее его существование идет к концу. К финалу… Что делать? Все — остановить?!. Что делать? Что сделать? А? Ружье? И вдруг его осенило: у кого есть все, тот не имеет ничего. У кого нет ничего — тот владеет всем. У тебя есть больше, чем все: три земли, три неба, три жизни, три души. Фактическое, воображаемое и творимое — вот эта тройственность… Тройственность одеколона, да?.. Ваня почти дошел до стаек, присел на прясло. Закурил. Достал из кармана куртки блокнот с карандашиком, посидел, посмотрел сквозь глаза свои туда, где глаза уже не видят и где начинается, может быть, самое важное, главное, чудесное, божественное… Он встроился в туманное и слезящееся главное и записал «Сердце на тысячу птичек разбито…» Захлопнул блокнотик, спрятал его в карман, как золотую дедову десятку припрятал на черный день. Встал. Пошатнулся. Голова закружилась. От музыки. Беззвучной. Безвидной. Но вполне материальной. Ты был частью ее. Она была частью тебя.

Сорока замерла над тобой, сидя на заборном столбе. Она наклоняла голову из стороны в сторону и семенила лапками, как динозавр: черное, аспидное, темно-зеленое, жемчужно-зеленое, ярко и ясно белое, золотые голяжки и пясти ножек, большая, но изящная головка с длинным черным клювом и потрескиванием синих искр электрических в ее плотных перьях крыльев, ее резко раскрывающийся и медленно закрывающийся веер хвоста, узкие женские плечики, невесомость плоти ее — всё сошлось в ней: и время, миллионы лет, и пространства, и погоды, и климаты, и миллионы голов зверья, — всё отразилось ее глазами, почти игрушечными, и всё уходило в ее глаза — навсегда — и мерцало теперь вечным снегом, фирном — на самом дне. «Здорово, дружище!» — подумал Ваня. — И сорока крякнула, — так ломается карандаш в пальцах, когда ты заикнулся, умолк и не знаешь, продолжать ли разговор… Любой человек — Ной: он носит в себе не только образ мира, но и всю живность, всех любимых и близких — живы они или мертвы. Жизнь — твоя и не твоя — перенаполняет тебя — некогда остановиться и некуда бежать от такой любви. Лето кончилось. Сидели втроем — дед, бабушка и Ваня, в большой комнате за круглым столом прямо перед окном, за которым, а казалось, — в котором — росла сирень. Росла сквозь оконные стекла — в дом. На ветке, что была ближе к форточке, сидел то ли воробышек (самочка), то ли соловей, он крутнулся и показал красноватое основание хвостика — соловей! «Скоро улетит», — подумал Ваня. «Скоро улетит», — подумал дед. «За синие моря», — сказала бабушка… Два с половиной месяца (часть августа — и до ноября) накопившегося заводского отпуска подходили к концу и приближали день (третье ноября) ухода в армию, на флот. На какой? Тихий? Северный? Балтфлот? Черноморский?.. Ваня думал, что выпадет ему Северный. Приезжал Коля, Катин брат, да не один — с другим Колей Орловым, подполковником авиации, племянником Ивана Ивановича. Дед иногда за столом забывался: прошлое наплывало на будущее, как слезы. Ни Гражданской, ни Великой Отечественной, ни Ленина-Сталина, ни коммунистов… Вот-вот подъедут еще офицеры — ротмистры, полковники, подполковники и генералы — и все Орловы… Веки на его глазах краснели (дед был блондином с рыжиной), слезы невозможного, несбыточного увеличивали, утолщали уже немолодые глаза Ивана Ивановича, гимназиста, кузнеца, любителя Тютчева и Фета. И здесь случился

еще приезд — Ивана Орлова, фронтовика, тихого человека с тремя боевыми орденами, полковника запаса и московского племянника деда. Пили водку. Немного, но долго. Ходили на Разрез. Ходили по грибы. Ваня был проводником, т. к. Коля Байконуровский, сын деда, тоже полковник авиации, всегда был крепко навеселе и мог бы заблудиться в двух рюмках и трех соснах.

Орловское офицерство гостило недолго. Разъехались в два-три дня. Коля обещал приехать на «проводы в армию» (а это был настоящий ритуал в те времена). Он любил Ваню как младшего брата, хотя разница в возрасте составляла четырнадцать лет. Накануне его отъезда они купили в сельпо бутылку водки, набрали в карманы помидоры и огурцы, взяли удочки и ушли на Разрез. О водке бабушка не знала, а дед наказал Ване крепче следить за Николаем — что-то он в последнее время стал «злоупотреблять» и явно перебирать — до пошатывания и слез. На Разрезе сидели недолго — водки было мало. Хлопнули по стакашку — остальное добил Коля. Он сидел на камушке, курил, долго молчал и смотрел на поплавки. Потом вдруг встряхнулся, обнял сидевшего рядом Ваню за плечи и сказал: «Ничего, штурман, прорвемся», — и заплакал. Ваня почувствовал, что видятся они в последний раз. И такая тоска пошла окрест из груди его, что аж воду в Разрезе зарябило…

Назавтра проводили Колю на автобус. Ваня тайком сунул ему в карман плаща чекушку водки. Коля благодарно улыбнулся. Со всеми обнялся и уехал в свой Байконур…

Этой ночью Ване не спалось. Он лежал с открытыми глазами и следил за движением сложного узора на настенном ковре… Родовая память — это видения, сны, мысли, ясные подсказки и разгадки движения бытия. Кровь знает и помнит. Душа это знание земное соединяет с призраком истины, которая таится в памяти небесной. Две памяти, соединяясь, порождают третью — божественную, чудесную, ужасную, прекрасную, трижды родную. Трижды истинную. И правда существования, существа, вещества приближается к истине…

Изредка, неизвестно откуда и каким образом, по потолку, голубоватому от синьки, распластывались, скручивались в спирали и вдруг замирали, как живые существа, сполохи или тени от теней без света и тьмы. Будто свет был внутри этих призраков, полутеней, отсветов то ли мыслей всех, кто жив и кто умер, то ли взглядов

тех, кто еще не родился. Иван вдруг глубоко ощутил все пространства, запретные смертному обывателю: времена, место и движение вещества, из которого состоят миры до-рождения своего и послесмертного своего состояния. Морозец продрал Ванину спину, грудь и загривок.

Зачем с безумным ожиданьем
К тебе прислушиваюсь я
Зачем трепещет грудь моя
Каким-то вещим трепетаньем
Как очарованный стою
Над дымной бездною твоею
И мнится сердцем разумею
Речь безглагольную твою…

Боратынский склонился над Ваней и, показавшись из тьмы — из светлой тьмы, улыбнулся ему. Улыбнулся тревожно. Растерянно. Откровенно и напряженно, как улыбаются мужики, поднимая на плечо неподъемные железнодорожные шпалы… Дымная бездна подпотолочной высоты тревожила и другие высоты — надпотолочные, молочные, бессрочные и бесконечные… Не были ни страха, ни удивления, ни смятения душевного: что это? откуда? почему? Может быть, это и есть тени и призраки высшей совести? Дед говорил, что честь, совесть, достоинство и долг — вещества врожденные. Они или есть, или их нет. И работают они скопом, все вместе — поодиночке не могут. Они-то и не дают тебе стать скотом, не дают не думать, не дают спать, не дают счастья, которого на свете нет, а есть покой и воля. И — доля. Судьба…

А Бог?.. Мироздание?.. Гравитация?.. Можно быть уверенным в том, что ты религиозен, но реально и метафизически это может быть не так. Происходит замещение религиозности желанием быть религиозным… Религиозность — и человеческого сознания, и сознания всего живого и неживого, холодного — свойство врожденное. Врожденное и в растение, и в животное, и в человека, и во время с пространством, и в мир. Религиозность — это постоянное болезненное, благостное и бесконечное ощущение наличия, присутствия центра, сердцевины, сердца. Сердца человека, разума, души, мира и самого сердца…

О вещая душа моя
О сердце полное тревоги
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия
Так ты жилица двух миров
Твой день болезненный и страстный
Твой сон пророчески-неясный
Как откровение духов
Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые
Душа готова как Мария
К ногам Христа навек прильнуть…

Тютчев, страшась себя и слов своих, никого не пугает… Господи, что бы мы делали без него с собой?.. Куда бы мы жили?.. — вверх, вниз, в стороны, разрываясь и умирая каждое мгновение… Чудо. Всё — чудо. Все, что имеет вид и плоть, и все, что безвидно. Всё — чудо. И ты становишься чудом, не желая этого, не зная чуда, его природы. Оно притягивает тебя. Сила гравитации чуда огромна, вечна и умна. Сила эта прикасается ко всему, но не всё чувствует прикосновение боли, счастья и любви. Не всё…

Что-то резко и тяжело надавило на живот. Ваня чуть было не вскрикнул. Вскрикнул — но в себя: Васька, котище черный, партнер по рыбалке, товарищ по мытью полов и поеданию шанежек. Вася лег вдоль Вани, тронув ледяным носом шею, — и Ваня уснул…

Он спал и думал: разрываешься пополам, поперек тела: земное твое ссыпается в землю, небесное твое струится вверх. Между земным и небесным твоим светится, мерцает и бродит тенью по стенам и потолку вещество поэзии. Он спал и думал: дикие верят в Главного Бога, прирученного — местного. Ты — дикий?.. Да. Дикий и вольный… Нельзя плевать с чужой губы, петь чужим голосом, стонать чужим воем, выть чужим стоном… Ты безумен… Но! — спятить — это не обязательно идти вспять, назад. Иногда (не всегда) — это идти вперед, вверх — туда, где никто не был… Никакой такой-сякой эволюции нет. И развития нет. А Дарвин, вообразив себе все это, просто отмахнулся от жизни, смерти, Бога и от любви. Позитивисты хреновы. Мир — непознаваем. Точнее: не всякий

перец может его «познавать». Развития нет: тогда бы Евшубенко писал лучше Пушкина. Есть рост и угасание. Мир — это гигантское мыслящее растение. И мы его плоды… Ваня вновь уснул. Двойной сон происходит от двойного засыпания. А пробуждение — одно: ты приходишь в себя или на этом, или на том свете. Ваня опять уснул. Открыл глаза. В его ногах на диванчике сидела Она. Она смотрела в темно-молочное окно. Руки ее лежали на Ваниных ногах. Он попытался поджать ноги — не вышло. Ноги были то ли невыносимо тяжелые, то ли совершенно невесомые, — то ли их совсем уже не было. Она повернула лицо к нему. Она… Ваня хотел поздороваться с Ней, но не смог — немтырь.

— Нет, немота здесь ни при чем, — она улыбнулась, — скоро уедешь. Я буду с тобой… Ваня попытался привстать, присесть, опомниться, очнуться, но… ничего не получалось…

— Тебе будет нелегко, — продолжала она, — ты будешь мучиться. Тебя будут мучать. Терпи. Просто терпи и думай всегда Бога, любовь и стихи… Тебя будут убивать. Много раз. Ты уцелеешь. Ты потеряешь свободу, но зато найдешь волю. Тебя найдет человек, и вы станете друзьями… Ты его потеряешь. Береги его каждое мгновение — до самой его гибели. Его убьют. Под пальмами. Но ты не вини себя. Его смерть заслонила от смерти твою жизнь. Так надо. Я тут принесла тебе последней малины, мелкой, но прямо из рая. Попробуй…

Ваня проснулся. Сел. На подушке была кровь. Из носа?.. Ссадина на кулаке?.. Да-да, малина… Малина.

Переходы, перебеги, перелеты, переползы из одного мира в другой, с одной стороны, подавляли в Ване привыкание к чему-то одному, постоянному (с точки зрения обывателя), с другой стороны, делали его ощущение себя, мира и не-себя вполне нормальным для разума, сердца и души: он принимал разные миры как родные. Он, в свои восемнадцать лет, был идеалистом (девушки не ходят в клозет) и одновременно оставался парнем, который мог работать и руками, и душой, и воображением — одновременно. Он встал, подошел к большому крестьянскому, самодельному зеркалу и провел по его ледяной поверхности (еще не нагрелось после Ее прихода) ладонью. Он прижимал пальцы ко льду в деревянной раме и беззвучно, не отрываясь от зеркала, протирал нечто из одной стороны в другую, удерживая свое отражение в зеркале. Ладонь гладила

стекло без скрипа и всхлипов, обычных для утренних зеркал… Скоро ехать. В город. А там через пару-тройку дней — в армию. На флот. Ваня подумал, что разлук в жизни всегда больше, чем встреч, ровно на одну разлуку — главную… Смерть, гибель, исчезновение — это сплошная, непрерывная встреча с самим собой — с собой-до-рождения, с собой-после-смерти, с собой-в-вечности… Ваня тряхнул головой. Вспомнил гостей: племянников (был же только Коля Орлов и еще Коля Орлов) и сына деда, офицеров с боевыми наградами — нестарых, рыжих, добрых и невеселых… Россия устала воевать: после 1945 года, после Победы прошло 28 лет, но страна будто и не помнила того, будто жизнь одного человека, человека — страны — это слишком малый срок для того, чтобы не защищать себя бог знает от кого и чего… Ну, ничего: от хрущёвской кукурузы как-то избавились. И сахар кубинский тростниковый оказался не столь сладким, как свекольный… Ваня приблизил лицо к зеркалу, прижал к нему лоб так сильно, зеркало треснуло — паутинка из трещинок проступила в левом верхнем углу. Левое — ближе к сердцу…

Он уехал назавтра. Зеркало стало не знаком беды и других дурных предчувствий — оно осталось здесь, в доме деда, в Шатрах, как часть времени и пространства, еще не прожитых Ваней.

В городе устроили проводы. Ваня уходил в армию последним: там уже были из тридцати одноклассников девять, трое учились в политехе. Ваня был единственным, кто из двухсотквартирного двора (три дома — 10 подъездов по 20 квартир в каждом) не сидел и даже не имел уголовного срока. Провожали Ваню (сидели накануне призыва за столом и мерзли на окраине Летнего сада, дожидаясь автобусов, увозивших призывников) двадцать девчонок-одноклассниц, приехала бабушка, плюс младший брат и Катя. Коля подъехал прямо к военкомату. Выпил водки. Расплакался. Подарил швейцарский складной нож. И вдруг сказал Ване на ухо: «Прощай, брат. Больше не увидимся…»

До Мурманска ехали две недели, и Ваня все думал: почему не увидимся? Я не вернусь?.. Или что-то с Колей?.. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй и сохрани.

Призывников везли в вагонзаках. Медленно. Много времени убили на пересылке в Чебаркуле Челябинской области. Неделю доходили. Без еды, без курева и воды. Уже в вагоне, в шестишконковом

отделении, какой-то хмырь, на полке над Ваней, сошел с ума. Был шмон. Забрали Колин ножик. Всё. Капец. Хуже некуда. Слишком много дурных примет. Ваня лег на свою полочку, отвернулся к стенке и уснул.

Ему снилась камера-одиночка. И он в ней спит. Слышит: кто-то подходит и наливает в железную кружку воду. Кружка была пустая. Ваня поднимает голову — кружка полная. Да-а-а, бывает. Он думает о любви и видит некий обобщенный образ любви, которая одновременно есть и жизнь, и смерть, и вечность… Ваня понимает, что он спит. В вагоне. И начинает вспоминать Лермонтова. И человека, и стихи.

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый
Как птичка в клетке
Сердце запрыгает
Встречу ль глаза твои
Лазурно-глубокие
Душа им навстречу
Из груди просится
И как-то весело
И хочется плакать
И так на шею бы
Тебе я кинулся…

Жизнь не переделаешь, не перепишешь. Вот и живешь без права переписки.

III. Ивану снился сон

Ивану снился сон, в котором он не спал, а ехал в поезде бог весть куда. Поезд шел и не шел: вагон, кажется (как во сне) раскачивала сотня лысых и голых по пояс пацанов. Они беззвучно ахали, беззвучно кашляли и беззвучно матерились: вагон ускользал из двухсот рук куда-то не туда, куда надо. Если вагон сдвигался влево, то и рельсы перемещались и ложились левее прежнего прямо под ребристые, убийственно тяжелые колеса вагона. Вагон был свежевыкрашенным железно-дорожно-бурой краской с прозеленью.

Колеса стучали даже тогда, когда поезд зависал над бездной дальнего следования — на руках бритоголовых оборванцев. Колеса выстукивали на равнодушный слух однообразный ритм. Однако Иван слышал в нем бесконечное число вариантов: если поезд шел по прямой, то под ритм легко ложилась музыка от Моцарта и Вивальди до Стравинского и Сергея Прокофьева. Чаще Ивану слышались мелодии Вивальди — «Июнь» и «Декабрь» («Времена года») и Рахманинова (концерт для фортепиано № 2 in C minor, op. 18). На поворотах, долгих и скрипучих, а также над мостиками и мостами в вагоне звучал железноколесный рок-н-ролл («Битлз», «Deep Purple», «Led Zeppelin»), на участках торможения слышался джаз, а иногда — опера. На остановках — долгих, почти вечных — звучала тишина. В эти минуты и часы тишины Иван видел, как Поэт, Мелодист, Гитарист и Симпатяга с барабанными палочками, беззвучно топая по сцене, сбегают с нее и не менее беззвучно поют «Girl».

Иван пытался представить лицо Танюшки (так она себя называла; Иван впоследствии шарахался от таких уменьшительно-ласкательных автономинаций всяческих Людочек, Наташенек, Светочек, Юлечек и прочих Машенек)… Лицо не появлялось: память и воображение боролись друг с другом — и Ваня видел не Таню, а лицо Анастасии Вертинской. Воображение побеждало память —

и от этого становилось еще горше: на три года рвануть вон из дому: куда? — в военкомате спросили, не без улыбки: «Иван, ты окончил морскую школу РЛС, ты радист и все такое, где хочешь служить-то, а?..» — «Во флоте», — ответил не без заикания Ваня. Пожилой майор, фронтовик (уж больно планки орденские широко и высоко теснились на левой стороне кителя), усатый и с похмелья, — поправил: «На!.. На флоте!» — Ваня спохватился: «Да, на… Хочу служить на флоте». Усатый и боевой офицер вдруг мягко приказал: «Покажи ладони… Пожалуйста…» Ваня показал ладони — они были покрыты мозолями от весла шестивесельного яла, обрамленными заводскими, «трудовыми» мозолями. «Хорошо, — кивнул майор. — Пойдешь на флот. Номер твоей команды здесь на листочке (четыре цифры). Отчаливаем третьего ноября в 1000 от площадки военкомата. Видел площадешку перед входом? — вот оттуда и пойдем на твой флот. Ясно?.. Ну, тогда удачи, не опаздывай… Свободен».

Поезд летел, качаясь на плечах бритоголовых полей и рок-н-ролльных лесов. Тебя влекут бог весть куда. Ты в тоске. До слез. Но! — ты получил свое одиночество поезда, набитого призывниками; одиночество толпы, строя, колонны, подразделения; одиночество кубрика; одиночество оружия, спящего в баталерке; одиночества душевного; одиночества душевного; одиночества душевного. Одиночество такое — это не совсем одиночество. Ты вдруг, с болью в груди, понимаешь, что главное свое одиночество нужно заслужить страданиями. Отчаяньем. Волей выживать и выжить. Силой мыслить и страдать («Я жить хочу, чтоб…») — мыслить и страдать то, что немыслимо и нестрадаемо. Все это влечет тебя не к людям, но к уединению. Уединение и одиночество — не одно и то же, — но, сливаясь в одно целое, они и есть человек. Они суть человек и поэт. Поэт в чистом виде, гибельном и счастливом виде. Поэт как таковой…

Вот теперь ты точно один. И стихи идут иные — идут сразу сверху и снизу, по вертикали: в точке пересечения — ты, музыка и язык… Да, ты — дудка, дудочка. Но на тебе нельзя играть. Потому что на тебе уже кто-то играет…

Поезд плыл на чьих-то плечах в Егоршино, в сборный пункт призывников, откуда ты уже следовал до места службы. И все — под конвоем. Егоршинская пересылка в те годы (первая половина семидесятых годов двадцатого века) — это одно зданьице — коробка

бетонная: внутри трех, а то и четырехъярусные (сварные) нары площадью 12 м х 12 м, с двумя лестницами-трапами. Один трапик полудохлый вверх и другой — вниз. Беспорядок, толчея, красные от слез, от водки, от недо- и пересыпа глаза полусолдат и полуматросов, постоянно орущий динамик (внутри барака и снаружи): «Команда такая-то строиться на плацу». Плац — зассанный и грязный от осени и заблеванного снега пятачок асфальта и еле видной белой чертой, организующей строй.

Спать на четырехэтажных нарах вповалку было невозможно — спали только те, что с водочкой внутри торчали здесь неделями, а то и месяцами… «Господи, как мы фашистов-то придавили с такой организацией»,— думал Иван. В этой зоне бродили патрули. Шмонали всех. Даже на площадки лезли, чтобы потрепать денежных кавказцев. Но: подлость сменяется беспечностью; беспечность — подлостью. Закон простой. Он понимается за два-три часа. И ты быстро учился учиться искать уединение и краткую горькую свободу… В драки Иван не ввязывался, помнил свою левую: ну их на хрен, этих диких будущих бездельников, хапуг и вояк…

Целую неделю Иван и ему подобные кантовались на пересылке. Но однажды утром, в восемь ноль-ноль, по селекторному радио объявил сорванный криком и водкой голос местного подполковника: «Призывник Орлов Иван Васильевич! На построение! Твоя команда такая-то, направление на флот, мать твою (сказано уже в сторону, видимо, наливающему опохмелительный стаканчик)!.. Иван схватил рюкзачок-сидорок свой, слетел по трапику со второго уровня гигантских железных нар вниз и выскочил на волю: свет врезал по глазам — и небо, и прожектор. Он подбежал к линейке — и встал, повернувшись небритым лицом у бетонного барака (щетина-борода у Вани была иссиня-черная с сивым отблеском, а волосы на башке были русые, почти светло-русые, как у Печорина — чем Иван осторожно и втихую гордился). Номер флотской команды сменили, и Ваню теперь повезут не на Балтфлот или ЧФ (Черноморский), а на Тихоокеанский или Северный (так тихо, почти на ухо, сказал ему флотский старлей, парень высокий, крепкий и трезвый)… Через час Ивана втолкнули в вагон спецпоезда (снаружи пассажирского, внутри зэковского, с табличкой места назначения «СФ»). «Ну да, не Москва же или Питер… А жаль…» — подумал Иван и взобрался на верхний, третий, ярус-полку-шконку, черт

поймешь… Он уснул сразу. Ехали долго. Две недели — на Кольский полуостров. Ваня бывал в Москве, в Ленинграде (Питере) и в других городах и городках — на соревнованиях. Чаще — метал диск. Всегда был в призах, иногда выигрывал. А вот в баскет выигрывал всегда: «Уралмаш» юношеский/юниорский громил всех…

Словосочетание «Кольский полуостров» тянуло за собой другие: «Баренцево море», «Финляндия и Норвегия», «Справа, на карте — Русский Север, или Архангельск, где расстреляли прадеда и прапрадеда в один позднеосенний большевистский денек; а также Вологда и, ближе к Кольскому, Северодвинск… География моя, красавица, поволокла бог весть куда и зачем…

Иван, засыпая, чувствовал свою убитость разлукой с родными и друзьями. И одновременно — тревогу; тревогу до боли в сердце: что-то случится. «Что-то случится», — стучали колеса. Он не мог пока вместить в себя стремительно расширяющийся мир. Но себя — настоящего, внутреннего, думающего стихи и музыку — он держал в себе крепко. Он вцепился в себя, думающего и страдающего, словно последний кусок жизни, расколовшийся, как льдина, — и теперь этот ледяной, теплый, жаркий и огненный овал льда тащил его за собой. Да, география меняется, но путь твой — с музыкой и стихами — остается прежним, неизменным и единственным.

Ты думаешь во сне, в котором ты не спишь: «Вот я и дома. На севере жизни моей. Жизни ужасной, толпяной, грязной, полупьяной, злой. Жизни теплой от блевотины пережравшихся будущих матросов Северного Флота. Жизни музыки твоей и стихов… Да. Да. Да, эту жизнь нужно оборонять, заслонять ее другой жизнью — человеческой — от человеков же, от их коллективных мыслишек, чувствишек, порывчиков, словечек, речуг и диких языков — симпатичных и родных тебе соотечественников… Ты любишь Тютчева и Лермонтова… Господи, они и не слышали имен этих, более родных, чем имя современной жизни, чем имя смерти, любви и гармонии…»

Вдоль вагона, в котором ехал Иван, и обратно кружили три сквозняка: один источал запах усталых, перепившихся, а теперь уже просто печальных, давно немытых мужичков, в которых превратились вчерашние парни; другой — казенный, воняющий машинным маслом, исписанной бумагой, туалетом, вечно занятым, едой, тоже казенной, не пахнущей едой — каша полухолодная с каким-то жиром, — жиром неведомых животных, инопланетных, убитых

на двух великих войнах четырнадцатого и сорок первого года; третий пах креозотом: будто разрезали огромный железнодорожный апельсин, распахнули его — и носят теперь эти остро пахнущие дольки из конца в конец поезда, из сна в сон, из сна в явь, из яви в сон — и обратно; вместо косточек в этом ж/д апельсине ржавели гайки и болты, а еще он был грязно-черным веществом протухающего времени и гниющего пространства…

Если вытянуть шею, подобрать тело, как бы сжимая его в перекрученное осиновое бревнышко, опереться рукой о верхний край рамы вагонного окна, то можно было смотреть в незатянутую железную шторку часть окна на страну, которая оказалась — в черно-белом ноябре — очень одинокой (деревеньки, села, городки, хуторы, бараки и постройки для жилья на переездах и редких станциях), огромной и пустой. И если бы не леса, горы, возвышенности, реки, речки и ручьи, то можно было бы заплакать от тоски-печали и от страха, от одиночества и от любви к этой откровенной убогой стране, состоящей из нескольких построек — между большими городами — и необъятной, неоглядной пустоты.

Прощай (и здравствуй) *немытая Россия,*
страна рабов, страна господ…

Вот везут тебя из нищеты сквозь нищету в нищету… И эта нищета — часть твоей страны, которую ты призван (осенний призыв в армию, на флот) защищать. От кого?.. Не от господ ли? Не от водки? Не от равнодушного и веселого, хмельного существования? Не от себя ли самого?..

Иван смотрел в Россию, сквозь Россию, сквозь слезы и шептал:

Наедине с тобою брат
Хотел бы я побыть
На свете мало говорят
Мне остается жить…

Начало семидесятых годов двадцатого века: ни церквей, ни домов высоких…

А если спросит кто-нибудь
Ну кто бы ни спросил
Скажи им что навылет в грудь
Я пулей ранен был…

Тебя поцелуют в ноги сразу две пули — через год…

Я умер честно за царя
(слава Богу, не за Ленина-Сталина, а за царя-в-голове…)
Но плохи наши лекаря
(это точно: в полевых условиях)
Зато родному краю
Привет я посылаю…

Да — слезы. Но — никто не видит. Надо бы поплакать в себя — и Ваня перенаправил слезы — в сердце, в душу, в спинной мозг…

Отца и мать мою едва ль
Застанешь ты в живых
Признаться, право, было б жаль
Мне опечалить их
Но если кто из них и жив
Скажи что я писать ленив
Что полк в поход послали
И чтоб меня не ждали…

Отца своего Иван уже почти не помнил, но знал его хорошо: казачок-то видный был и Сталина любил, и бабу свою бил. Катю жалко… Она сейчас только о тебе и думает… Господибожетымой…

Соседка есть у них одна
Как вспомнишь как давно
Расстались обо мне она
Не спросит все равно
Ты расскажи всю правду ей
Пустого сердца не жалей
Пускай она поплачет
Ей ничего не значит…

Через три года Иван бросит Таню, которая, поджав губы, тащила его под венец, то бишь в ЗАГС… Да, тут полное несовпадение. Литература и жизнь, так сказать…

Соседом по вертикали (как птицы лежачие), занимавшим полку под Ивановой шконкой, оказался парень, небольшой, худенький, с вечно плаксиво сморщенным лицом. Такое лицо, если не точно это, Иван видел потом — уже на флоте несколько раз: будто человек этот — Илюшичев, Илюшин, Иляйкин или Илькунакбеков — был чем-то напуган навсегда. Напуган не тем, что происходило вокруг, не миром — а самим собой: болью, недосыпом, недомоганием, недолюбовью, недружбой и нежизнью вообще. Напуганный самим собой однажды ночью вдруг закричал, завизжал, заорал, завыл и запел: «Он убьет меня! У него нож! Он хочет меня убить!» И т. д. Прибежали сопровождающие, или морской, но сухопутный, поездной конвой. Ваню обыскали. Иван показал свой малюсенький складной швейцарский ножик, подаренный Колей. Нож забрали. Забрали и Ильчина. Куда-то увели. Один из морячков строго посмотрел на Ивана. Иван криво улыбнулся и, не опускаясь с полки, поставил кулаки себе на колени: казанки набитые, пальцы ломаные, руки длинные. «Сука, боксер… — Подумал пристальный и строгий мореман, — Спи давай, браток… Псих поедет в санитарном вагоне…»

Обошлось. Без мордобоя и мата. Без выбитых зубов, сломанных челюстей, пальцев, носов, рук и ног. Победила ночь. Ночь — это дружба человека со сном, сна со сном и человека с человеком, если они лба смертельно устали и готовы к немедленному отбою.

Иван проснулся от зычного, прокуренного навылет голоса:

— Ну, где он?! — капитан-лейтенант лет пятидесяти, видимо, не единожды разжалованный фронтовик вырвал из полумрака вагон-зака Ванино лицо, — это у тебя нога хрена короче?! А?! — каплейт долго смотрел ему в глаза — и вдруг улыбнулся:

— Вот твое холодное оружьице. Швейцарское? О-о-о, ножище! Штык! Десантный нож! Консервный нож морпеха! — Он положил складной ножичек (Колин!) в ладонь Ивана и, оглянувшись на морячков, сопровождавших его, произнес:

— Помните, морпехи высадились в Африке, а какой-то карась из них орет: «Ребята, только в негров не стреляйте!..»

Каплейт хлопнул изуродованной рукой Ваню по колену, торчавшему с полки.

— Я, сынок, капитан Арефьев, из тех, из декабристов. Я тебя запомнил. Пишись в мой список — повезу вас в учебку морпехов… Ты, это, только никогда не стреляй в негров. В Африке. Это — люли, а не носер, или «no, sir'ы!» Понял?.. — Он подмигнул Ивану и скомандовал:

— Пошли дальше! Одного своего нашли. КМС и перворазрядник по двум видам — это харашо… Эх, хараша была Параша, краше не было в селе…

Все ушли. Ваня полусидел-полулежал на своей полке, сжав в кулаке Колин ножик. Складной. Родной. Швейцарский. И вдруг сквозь сопение, храп, бубнеш и шепот призывников он расслышал — издалека, как из будущего: «Запомните. Орлов. Наш парень. Запишите. Нормальный боец будет…» На соседней верхней полке-шконке зашевелился парень. Огромный. С коленями, выпершимися в воздушное пахучее пространство «купе», как две башки, обтянутые штанами цвета хаки. Здоровяк, не открывая глаз, присел, вытащил точным движением пристенной руки из-под подушки цвета асфальта дохлую вареную курицу. По-прежнему не открывая глаз, великан скушал ее — в себя так, будто просто засунул ее — всю — в рот и проглотил. Куриные косточки, опять не глядя, он сунул под кусок асфальта, когда-то бывший подушкой. Прилег. Выпятил двухкамерный зад без таблички «Холодильник ЗИС (имени Сталина)». Вздохнул так глубоко, широко и высоко, что заскрипели вагонные перегородки. Иван улыбнулся — в себя — так, чтобы никто не увидел. «Хорошее парнище, — подумал он, — попадем в одну часть — подружимся. Буду читать ему стихи, петь песни, он будет плакать, плакать, плакать — и весь Северный флот замрет, призадумается, улыбнется и тоже заплачет, и тоже — в себя, чтобы Бог не увидел…»

Иван лежал на спине, подтянув пятки к заду, — колени упирались в вагонный потолок. Он опять улыбнулся: «И заживем мы, уроды, и послужим Родине (а в груди кашлянул ледяным выхлопом ужас), и, как говорят в рекламе «Розы счастья и шипы гинекологических заболеваний» не коснутся этого мира, — мира мужского, нестрашного, но тупого, заносчивого и брехливого…» Он стал вспоминать Таню, но вновь увидел лицо Насти Вертинской, Офелии Козинцева. Так и уснул — с Настей. Душа понимала, что ее обманывает этот призывник, стихоплет и мечтатель, фантазер, придурок и немтырь. Но душа знала, что произойдет, что будет дальше…

Ужас — но не страшно. С тем он и уснул. И видел сон, в котором не спал, но стоял на скале над асфальтовым морем и шептал: «Быть иль не быть…» Или: поэт только «бывает», а не «бытует»? И здесь Ваня уснул — во сне. Во сне, многоуровневом, многонебесном — без земной тверди под ногами, упираясь холодной головой в ледяную твердь, которая звезд полна, — в бездну.

Иван проснулся сразу, вмиг, но — множественно. Он огляделся окрест — ничего нет: ни серого Баренца, ни скал, ни съеденной курицы в брюхе богатыря — она ожила и вылетела вон из спящего где-то в спецпоезде Саши-Володи-Сергея, вылетела сразу вся и отовсюду — из пасти, из ноздрей, из ушей, из глаз, — ниже, из всех отверстий и разверстостей, — вылетела и улетела. Иван повернул голову вслед за взглядом своим — и содрогнулся: холодно, голодно, пусто. Снег идет серый над серой твердью, отрываясь от верхней тверди, тоже серой и густой, как зрачок мертвеца. Иван лежал на сером снегу в серой пустыне, но не в плоской, как положено, а в сферической. Прямо над ним то ли стояла, то ли зависала в сером снегу, то ли опускалась вертикально, то ли возлетала, но — была, наличествовала, существовала, а точнее — воссуществовала Она. Она что-то говорила ему, уже, видимо, давно, а он, идиот, не слышал, немтырь глухой. Ваня прислушался к ее словам, к ее говорению, почти пению — в тот момент, когда поймал своими плачущими глазами ее глаза: «Помнишь? — Не бойся, ничего не бойся — ни толпы, ни гадов человеческих, ни бойни ночной в казармах, в кубриках, в камерах, в бараках… Ты иной человек — ты думаешь одновременно и в небо, и в землю, и в воздух, и в дождь со снегом, и в космос, где нет ничего и никого, кроме Бога, которого здесь называли и прозывают временем, пространством, холодом и пламенем, тишиной и песнью, пустотой и светом, прямой и обратной тягой гравитации, ненавистью и любовью, жизнью и Мной, жизнью и смертью, теплом и дыханием, льдом и растением, Духом и душой… Думай всегда — и пиши: с бумагой и без бумаги, с пером и без пера, долго и коротко, просто и заумно, холодно и сердечно — о том, что безвидно, бесшумно, невесомо; о том, что есть самое главное: о красоте, о ужасе, о гармонии, о гибели, о вечной жизни… О вечности не думай — она уже в тебе, потому ты и немтырь. Немтырь для всех тех, кто знает только язык голода, похоти, вражды, подлости и предательства. Для всех, кто предал себя…»

Иван проснулся, перейдя из одного сна в другой, третий, двести пятьдесят первый. Иван проснулся. Болели ноги, спина. Все болело. Особенно — душа: когда душа болит, становится легче быть собой. Ты всегда знал и знаешь, и будешь знать, что думать стихи — это любовь, когда не важно, кто с кем, кто где и кто когда. Когда не важно, видят тебя или не видят, слышат тебя или не слышат. Когда не важно, жив ли ты…

Ты наивен. Доверчив. Внешне открыт. Внутренне закрыт. Нет, захлопнут. Дверь в твой воображаемый мир захлопнута. Ты уже знаешь, что люди не такие, как ты. Но, несмотря ни на что, ты им веришь, доверяешь и доверяешься. И — попадаешь впросак: ты просто немтырь — вот и молчи. Думай и говори — в себя. Только в себя. Рано или поздно тебя могут услышать. Могут. Но — смогут ли?..

Иван — сквозь все свои сны и все свои яви — вдруг понял, что он — подполье. Словесность, изящная словесность, стихи, не зависимые от социальности и политики, сопротивляются показу, произнесению — не потому, что в толпе нет тишины — тишины, в которой — и не только в ней — появляются и живут стихи. Стихи — не для пресловутого читателя, издателя, критика, государства, образования и т. д., а стихи — для собеседника, может быть, далекого во времени, как это предсказывали Баратынский и Мандельштам. Время — разобщает. Вечность соединяет и роднит поэта и его, по Мандельштаму, провиденциального собеседника. Собеседника, который скрыт беспросветными временами социальности, политики и пресловутой истории человечества. Собеседника, который высвечен и освещен вечностью. Вечностью жизни, смерти, любви, культуры, красоты, и мысли. Ваня — Иван, Иван Васильевич Орлов — никогда не думал о славе, об известности (пахнущей негашеной известью), о деньгах, о ношении себя на чьих-то скользких и холодных руках. Ваня думал, нет — мечтал о создании такого стихотворения, от которого бы — лет через сто и даже тысячу — улыбнулся бы или расплакался бы «провиденциальный», «идеальный», «оптимальный», вечный читатель. Иван чувствовал в себе силу, возможность и неотвратимую неизбежность *слышать, помнить* и *произнести* нечто главное, прекрасное и одновременно ужасное, что спасет не перепачканные свальной и пошлой жизнью души. Или — душу. Хотя бы одну… Он бледнел — в себя и плакал — в себя, когда слышал в сердце тишину — сквозь грохот социальной и гибельной тишины, тишины лживой, пустой и безглагольной, —

и глагольная тишина время от времени (о, снова это время!) произносила в глубине разума его, сердца и души страшные и неожиданные слова, словосочетания и фразы — так, как звучат в чистом поле и в темном лесу названия железнодорожных станций, переездов и остановок электричек: «ты умрешь три раза», «Иван Орлов — русский поэт», «Великое предназначение…» или: «И пустил себе пулю в лоб», «Она взглянула на него и не заплакала», «Расстояние до переднего края противника 700 метров», «Она взяла его за руку» и т. д.

Сначала ты чувствуешь в себе начало поэтической возможности быть — как болезнь. Потом — как бред. Затем — как выздоровление от мира сего. И наконец — как абсолютную свободу быть одновременно и смертным, и вечным, как волю вольную быть всюду и нигде, как духовную гравитацию, собравшую твое вещество и существо из квантов красоты, добра и света… Ряд заклинаний внутреннего (или — Ее?) голоса обычно завершался призывом «Лети впереди света»: то бишь будь тьмой и светом одновременно, чтобы наполнить пустоту — собой…

Потом опять явилась Она, и этажерка снов выпрямилась, укрепилась, напряглась и замерла: «Тебя убьют три раза, но ты не погибнешь; тебя будут мучить долго, но ты уйдешь от мучителей; тебя будут расстреливать семь раз и восемь раз всем строем расстрельщиков — семь раз промахнутся: пули ударят в бетонную стенку семь раз и обсыплют тебя сохлым цементом, мертвым песком и кремневыми камушками величиной с птичий глаз… Птицы тебя любят. Верь им. Доверяйся им. Самое важное и трудное для тебя — не разлюбить птиц. Они на этом свете — главные. Главные водители взгляда твоего… С этого дня ты будешь жить двойной, тройной, множественной жизнью. Ты теперь как матрешка, в которой живут меньшие существа, одна другой весомее, плотнее и темнее. Никто не будет видеть тебя — внутреннего, но многие будут чувствовать в тебе то главное, чего нет в них: мысль, красоту, дух. Вы все грешники. Но они истязают и убивают безгрешного. А потом обедают и умиляются своей безгрешности. Ты — убивал, убиваешь и будешь убивать себя. И чем больше ты себя убьешь — тем живее ты будешь…»

Иван вздрогнул — и этажерка снов его, уже пустая, без книг, — упала, хряснулась-хрустнула о вагонную палубу и рассыпалась сначала на отдельные деревянные косточки, а потом — в пыль… Прощай, большое одиночество, прощайте, книги!..

* * *

На Кольском зима. Северный флот — зимний, с коротким обилием ягод и грибов летом. Заполярное лето — это призрак погоды, который ты одеваешь в лето уральское, русское, африканское, индокитайское, ближневосточное или — в бледное и тонкое — балтийское…

Приехали. Довезлись. Дошли. Тысячи призывников помыты (мыло в бане — хозяйственное за 19 коп., огромный кус,— режется горячим ножом (делает это мичман) или ниткой-дратвой цыганской, коей прошивают унты, сапоги и валенки. Помылись. Переоделись. Охренели от ускорения времени и — одновременно — от замедления его до полной остановки. Посидели. Полежали. Оголодали — оголодали — оголодали (сухой паек — опоздал). Помолчали. Попели. Побазарили. Поржали. Кое-кто и поспал. Потом — построение. Все — юные матросы-матрасы перетасованы по новым командам, шифрам (цифры пятизначные) и построены по иной военной классификации: самые высокие и крепкие — в морпехоту; самые крепкие и невысокие — на подлодки; самые крепкие и среднего роста — в плавсостав; самые «бросовые» (термин банного главстаршины) — в моравиацию, в службы обеспечения, в хозроты, в автобаты и т. п. Построились. Подравнялись. Сделали на-пра-во. И голова готовой колонны тронулась. Через час ходьбы почти в ногу Иван осмотрелся: сопочное (сопки) заснеженное ночное пространство было освещено прожекторами, звездами и северным сиянием. Ужасом и невероятной, загадочной, божественной подвижной красотой северного сияния. Слезы стояли в тебе колодцем. Нет — колодезем. Шахтой алмазной. Ледяной. Черная и поэтому жирная колонна растянулась на километры, то попадая между сопок, то выползая к северному сиянию. От колонны отделялись команды черных людей — и исчезали за забором, в автобусах, в автомашинах (ЗИЛ-157, ГАЗ-66 и др.) или просто утопывали куда-то пешком и утопали в полумраке чужого снега, чужого неба и чужих долин, долинок и шхер. Огромный черный припорошенный снегом сентипид пожирал себя. Колонна пожирала себя. Пространство, колючее и злое, пожирало себя вместе с людьми.

Учебка располагалась в трехэтажном здании. Морпехота Ивана обитала на втором, проходном этаже. Три взвода почти по сорок

человек (больше нормы, но с расчетом на убывание части личного состава, то есть по здоровью и по разным причинам негодности) — все большие, угрюмые (первые две-три недели) и обособленные… И вдруг через месяц, после принятия присяги («Я такой-то, вступая в ряды военнослужащих Советской Армии…») и выдачи полного комплекта форменного обмундирования, — все ожили, очнулись, начали выныривать из разлуки, из отторжения всего чужого, что окружало салаг; у парней начали проявляться глаза, кто-то уже мог улыбаться, и взгляды, поначалу сосредоточенные на себе, любимом, и направленные внутрь себя, вдруг освободились от напряжения и притяжения дома. И то — дело, добро: не три года на коробке и лодках, а два — да еще и морпехом. А это в общем-то неплохо и абсолютно железно. Изредка уже слышались новые, военно-морские шутки: «Держись за свою жопу — не утонешь!..», «Эй ты, младший матрос (такого звания на флоте нет) Волосатов-Волосков-Волосюк-Волосов-Волосенко и Волосиков!..», «Эй, моложавый и маложивой!..»; или — «Как сказал велихий сухопутный поэт Блямонт, “О, раздвинь свои бледные ноги!..”»; «Матрасня! Фотография — есть мгновенный след смерти… Чьей?!»; «Море течет в разные стороны, но не к дому…»; «Товарищ младший матрас и старший — тоже!..»; клятва: «Консервой буду!»; ответ на жалобу «Жрать хочу!» — «Откуси свой палец, пожуй — и выплюнь…» и т. д.

Парадная форма — морская — преобразила пацанов: они превратились в мужчин, крепких, сильных (все — спортсмены) и высоких. Ивану было легче (может быть, единственному): он умел жить одновременно внешне и внутренне, когда душевная жизнь (сочинительство, думание мира, Бога, стихов, красоты, смерти и жизни, любви и ужаса) не всегда внимала физическое; когда метафизическое чаще касалось онтологии и бытия, нежели социальности и быта — любого: служебного, человеческого и ролевого, наигранного, не исконного, а в большей степени поверхностного. Здесь, на флоте, неожиданно для Ивана его художественное сознание стало уважать прагматику военного дела, тренировок, «флотского спорта» и боевых забав, пахнущих порохом, соляркой и мужским потом, на основе плотного соприкосновения живого и смертельного, гибельного, опасного, страшного, но не ужасного, но необходимого — не позволять никому обижать наших матерей, отцов и детей. Родину — не обижать.

Люди взрослеют — в разные стороны: кто-то в себя, кто-то наружу и наружно, выискивая тех, кто послабее, чтобы показать свою свежую, юную, туповатую и демонстративную взрослость. Кто-то остается — и внешне, и душевно ребенком: он ждет дембеля с первых минут призыва. Кто-то просто живет по-мужичьи, по-бычьи, радуясь регулярной кормежке, теплу, постели, одежде и постоянно кричащей тишине окрест. Но есть и такие, кто пришел сюда, в кубрик, в Заполярье, в уставную жизнь (с преступными и хулиганскими, дерзкими, почти блатными ночами: блатуют обычно «старослужашие» сопляки, подловатые, кучные и трусоватые герои до первого тычка кулаком в нюх, до первого мрачного взгляда салаги, в котором легко читается: «Убью… Еще шаг, звук, пук — убью…»), в жизнь не военную, но уже воинскую взрослым человеком с глазами (и душой) ребенка, мальчишки, пацанчика, но не «сынка» и не «ссыкуна».

В этой сотнеголовой толпе учебной роты Иван заметил только двух матросиков: Володю (огромного парнищу из железнодорожной перевозки-передержки для призывников, собак и прочего зверя) и Юру, деревенского парня, игравшего на гитаре так, будто его только что приняли в группу «Биатлесы». Самоучка. Его все уважали, Вову — боялись, значит, уважали тоже, но не за музыку, а мощь жизни, которая распирала Володю — до улыбки на его туповатоумном лице, особенно тогда, когда он спал и храпел так, что верхняя койка из двухъярусного комплекта взлетала до потолка, билась об него, заваливалась всегда влево и обрушивалась, но как-то осторожно, стараясь не разбудить Вовку. Ваня был самым молчаливым морячком, «морпех-мячиком», в этом коллективе вечно голодных, отчасти тоскливых, отчасти крикливых и немного истеричных, но на глазах мужающих парней. Его явно побаивались: он часто, нет — скорее, редко — в скудные минуты «личного времени» (времени, которого, как считал Иван, просто не существует) что-то записывал на листках тетрадных, перечитывал написанное — и, скомкав измаранный почеркушками листочек, бросал его в печь — в огромную голландку, в ее крохотный зев, куда каждый час дневальные засыпали ведро угля. Иван часто стоял — один — у зарешеченного окна (в здании — четыре оружейных комнаты, «оружейки») и смотрел на то, какой разный здесь снег: от манной крупы до снежинищ размером с учебную тетрадь, от непробиваемого ногой наста

до снежных переметов, которые пересекали дорожки, плац и все на этом свете и месте огромными Моби-Диками, белыми китами, неубиваемыми никем и ничем. Он не смотрел телевизор — его тошнило от спектакля, который устраивали командиры (Ваню не назначили ком. отделения из-за сильнейшего заикания): свободный дневальный открывал фортку и гнал от телевизора веником — вон из помещения помехи.

Люди растут в разные стороны: одни прут и прут вниз, в грязь, в пыль, в сор, в дрязг: обмажешься там грязью, подсохешь — весь, глиной и прилипшими к ней травинками — и лежишь, как чувак в кувшине, протухаешь помаленьку — долго ли коротко до другого кувшина — последнего, деревянного. Другие растут в стороны близко к земле, как полярные деревца и кустарник — жмутся к камням замшелым и думают: «Ох, я почти в небе…» Третьи вообще никуда не растут: приникают к телевизору, к другому СМИ, кушают, кушают — и засыпают навсегда, сытые, здоровые и счастливые, окруженные подобным себе, отпрысками. Некоторые вообще никогда не растут. И только единицы поднимаются по вертикали — вверх, вверх, вверх — и в себя, в себя, в мир, в пустоту, в свет и во тьму. Они стоят себе в чистом, голом, безлюдном поле — смотрят на свои изношенные башмаки, — и видят звезды и смотрят, как по небу полуночи ангел летит…

(Иван вспомнил себя, пятилетнего, и бабушку Наташу: за окном — дневная темнота, сине-серая, грозовая; молнии ломают себя, как хворостины, о чье-то колено — ясно чье; ливень подходит, а пока хлещет он по палисаднику с калиной, по деревьям, заборам — хлещет ливень сухой, без воды, как зимой или высоко в горах; июль — а в полдень черно и страшно; вдруг в распахнутую форточку влетает золотой, чистый до белого, дрожащий и судорожно подергивающийся шар, шарик, как моток золотистой дратвы с кулак, но уже взлохмаченный и более чем живой; он движется ровно посередине стен, не выше и не ниже, и вдоль стен, огибая иконы, этажерку с книгами, комод с горкой, открытый стеллажок опять же с книгами, ножную швейную машину «Зингер», старинную, с литыми ажурными, почти кроватными ножками и спинками, тоже заваленную книгами; он подлетает к женщине и ребенку, как бы присматривается к ним и движется дальше по периметру комнатки, добирается до огромного фикуса с весельными, загробными,

твердыми, лаковыми листьями темно-зеленого, почти угольного цвета; он как бы удивляется огромности листьев фикуса, пятится к бабушке и Ване, замирает — и в это мгновение в комнату входит дед Иван; шаровая молния темнеет, краснеет и надувается, но дед не дает ей лопнуть, взорвать и убить здесь все живое — он вытягивает руки вперед, ставит ладони так, как волейболисты в прыжке под сеткой делают блок летящему мячу, — и выталкивает огненный шар в форточку — вон из дома; шар не успел опомниться, как оказался на воле — хлынул дождь, и шарик, напоровшись на крепкие, узловатые ветки калины, с треском взрывается, форточка захлопывается — сыплются осколки разбитого, лопнувшего стекла…)

Телевизионные помехи, выметенные веником в форточку, в небо, тянутся ввысь, к северному сиянию, где кучкуются в голубой шар — в объемный «телевизор» ангелов: они, видимо, тоже смотрят хоккей, футбол и прочую легкую атлетику… Иван вдруг начинает — внутренне — закипать. Он вдруг подходит к подиуму, на котором стоит телевизор — и вырубает его. Потом спокойно смотрит в очумелые глазки командиров и их прихвостней. И — вдруг — запевает (когда Ваня пел — он не заикался):

Пере.б я всю деревню
повели меня на суд
впереди гармонь играет
сзади е.аных несут…

И сразу за первой частушкой затягивает уралмашевскую блатную:

…И вот ведут меня на суд
А судьи му.ями трясут
Кошмары понял кошмары
понял кошмары…

И еще:

Сижу на нарах
как короли на именинах…

Иван пел негромко, но сильно и тонически точно, без хрипотцы, но с явным тюремным акцентом. Володя и Юрка подошли к певцу и прикрыли его с тыла и флангов. Все — одурели, но молчали. Потом начали вставать с баночек (с табуретов) и разошлись… Дневальный выставил баночки в ряд. Хмыкнул, посмотрел Ивану в глаза — и подмигнул.

Иван подошел к окну, чувствуя на себе взгляды морячков, а особенно Вовки и Юрки. Он встал лицом к зиме и спиной к миру людей, к Северному флоту и всем ВС СССР. Он стоял лицом к себе и плакал в себя: скотина ты, Ваня, скотина… По загривку пробежал озноб. И он увидел свою жизнь — одновременно внутри и снаружи — всю: от первого своего рождения в роддоме горбольницы № 14 Уралмаша до второго — до осознания того, что ты оказывается думаешь, говоришь и молчишь не как все твои родные, близкие и приятели; от первой своей смерти (прочтение «Демона» Лермонтова) сквозь остальные, «промежуточные», краткие и долгие, страшные и ясные, очищающие душу (бывший отец, бывший мир, пустой и милый, грубый и гибельный, счастливый и горький), сквозь приходы к нему во сне-наяву Ее, сквозь свое исчезновение в словесности, изящной и уродливой, одномоментной и вечной; в нем постоянно вызревало некое единое целое жизни-смерти-любви, — жизнь ты проживаешь, смерть ты терпишь — перетерпливаешь и умираешь — да, ты умираешь смерть, — любовь ты любишь, ты живешь, любишь и умираешь во всех ТВОИХ мертвецах, и мертвецы твои живут, умирают и любят тебя — в тебе; они живут в тебе, рожденные и нерожденные, умирающие и умершие, воскресающие и воскресшие, любимые и любящие… Ты и они (и Она, и она: жизнь, смерть, любовь) — это твоя внутренняя цензура, убирающая с глаз долой, из слуха — в тишину и из души в ближнюю пустоту этот опустевающий окрест тебя мир. Такая внутренняя цензура есть совесть. Совесть как способность и возможность, и необходимость видеть себя, свою жизнь, смерть и любовь, со стороны, нет, со всех сторон и с главной стороны — отвесной, вертикальной. О, кто ты и что?! О, к*а*к ты живешь?! Твоя словесность не слишком изящная, но она входит в твою совесть, в твою цензуру — и твои совесть, нравственность, честь и достоинство — это не пространственные и не временн*ы*е рубежи (пресловутый Рубикон), а истребители человеческих низких, бытовых, прагматических многих правд; они

суть движители «истинной правды» (не «общей» и не «общественной», а божественной), или — просто истины. Истина непознаваема, невыразима, но — ощущаема так мощно, что с голубых елей вокруг плаца игла сыплется. Игла упала — и пропала, но нить осталась… — держит душу на весу.

Ты попал на чужбину — в пределах своей страны. Земля Кольская чужая не потому, что она не Уральская, а потому что люди окрест чужие. Лица полуславянские («в каждом русском живет татарин»), финно-угорские, тюркские, монгольские, кавказские, закавказские, реже германские и еще бог знает какие. Всех их объединяет одно качество — дикость, которое проявляется как неблагородность, невежество и невежественность, нечестность (или бесчестность). Где вежество и честь? Где благородства чин? Где словесность? Где нравственность? Где религиозность? Где милосердие и проч., проч., проч. …Прочь отсюда: все перечисленное заменяется идейностью. Идеологией коммунизма, то бишь позитивизма безмозглого, когда познание отрицается уже совершенным, сделанным, излаженным… Где товарищество? Где дружество и дружественность? Где доброжелательность и добролюбие? Все это замещено «единым порывом» и «всем народом», тянущимся к каким-то загадочным «свершениям». Где книги? Здесь нет библиотеки. Ты знакомишься с офицером, с капитаном Печерским (вернее, он с тобой знакомится), и просишь его принести книгу или книг, лучше девятнадцатый век, а еще лучше — стихи Жуковского, Боратынского, Тютчева, Фета и, конечно, Державина, Пушкина и Лермонтова, а еще Шекспирова «Гамлета», а еще… ты думаешь: Печерский, Печорин… Плакать хочется… Ленин, Троцкий, Сталин и иже с ними, их дуболомы, уничтожили дворянство, интеллигенцию, купечество, студенчество, мещанство, а главное — для России — крестьянство, — и теперь на этих лодырях компартия из-под палки строит победивший социализм (достроенный, выстроенный, перестроенный), разочаровавшись в ненагрянувшем и негрянувшем и грязноватом коммунизме. Испачкало за семьдесят почти лет (после 1917 г.) все. Ракеты — космос — Гагарин? Ну да, за счет России, но не Москвы. СССР — не Москва, а остальное — Россия, Удмуртия, Кавказ и т. д. Убили царя. Вместе с семьей. Ах, молодцы! А Гитлер бил нас два с лишком года. Десятки миллионов — Ленину, Сталину, столько же — Гитлеру… Ты думаешь: все? — конец света? конец всему и всем?.. Нет! —

слово. Есть слово. Оно и спасет нас, нашу страну и эту планету. Уже не однажды спасало. Ну и напоследок спасет. Нас спасут буквы. Меня спасут буквы. Письменность. Словесность. Особенно — художественная, изящная…

Ты вспоминаешь разговоры и споры, еще школьные, юношеские: «Декабристы десятого "А"», — так ты называл одноклассников и себя. Да, декабристы, народники, социал-демократы и прочие озабоченные черным тщеславием люди, которые привели к власти полуграмотных и полупьяных пролетариев, которые за семьдесят лет превратились окончательно в безграмотных, в бездушных и пьяных товарищей N, N, N.

* * *

Володя, Юрчик и Ваня дневалили. Дежурным по роте был красавец армянин Самвел Микаэлян, бывший балетный, ныне морпех, побывавший в трех командировках и получивший пулю в ногу. Он был молчун, книгочей (скоро они с Иваном подружатся, читая те книги, которые удавалось достать Самвелу: классика, книжки журналов «Иностранная литература» и специально для Вани выпуски возобновленного издания Горьковской «Литературной учебы»). На гражданке Самвел был в труппе Ереванского театра оперы и балета (где он, по его словам, не.ерово прыгал, скакал и размахивал деревянными мечами, сухими пальмовыми ветвями и гордо вздымал башку то в шлеме (золотом), то в короне (золотой), то в венце (золотом); все шло хорошо: в 25 — заслуженный, в 30 — народный артист Армянской ССР, а то и СССР; но как раз в день своего двадцатилетия Вася (так звали друзья Самвела, который мало с кем дружил, а вот с Ваней они закорешились) случайно убивает чувака в ресторане — ногой, и отец прячет его на Северном флоте…

Ваня отдыхал после вахты. Проснулся от шума знакомых, но не мальчишеских, а взрослых голосов: очнулся, сел — и узнал, как говорили здесь, по базару, тембру и темпу речи легкие и уста капитана Печерского и еще одного, но капитана-лейтенанта (моремана) — боже мой! — Арефьева, вернувшего ему Колин швейцарский ножик в железнодорожной перевозке… В полумраке казармы-кубрика (2.40 ночи) к спящему на койке Ване подошел Володя: — Вань, там офицера в баталерке — Печерский и еще один,

каплейт, кличут тебя, грешного. Дуй туда. Ваня вышел из кубрика: на тумбочке стоял, как положено дневальному, с ножом и пистолетом, Юрчик — он скорчил корешу рожу и мотнул башкой на дверь баталерки. Ваня стукнул в дверь дважды. Дверь открыл Самвел, затем он отодвинул в сторону складную решетку, за которыми открылись ряды карабинов, автоматов, подсумков, десантных ножей и прочей прелести, включая гады (ботинки рабочие), кеды, сапоги, валенки, унты, бушлаты, шинели, бронежилеты, бухты шнурков (концов) разной длины и разного диаметра, топорики, лопатки, стол — за ним два капитана, на нем бутылка, фляжка, трехлитровая банка соленых огурцов, вилки и одноразовые картонные тарелки, три сухих пайка — боевых, неординарных, а также лаваш — огромный, проломленный, как мексикошная шляпа (это Васе Люда-хлеборезка испекла) и папки с личными делами учеников-морпехов, морпехчиков и многое другое.

— Разрешите, товарищи офицеры, — шепотом рявкнул Иван.

— А, Орлов!.. — каплейт улыбнулся, — и Ваня узнал — еще раз — теперь уже воочию Арефьева.

Печерский встал, вышел к Ване:

— Спал?

— Так точно.

— Крепко?

— Не-е-ет. Крепко — не умею.

— Молчи-молчи под койкой не обнаружен?

— Никак нет, слава Богу… — заикаясь и внутренне содрогаясь, произнес полушепотом Ваня. («Молчи-молчи» — это офицеры политчасти, политотдела, политуправления, то есть современные [в семидесятых годах] СМЕРШ.)

Арефьев бормотнул:

— Молчи-молчи… Молчи-молчи… Да. Мочи.

Все слабо хохотнули.

— Ладно. Аврала нет. Деж по части — старлей Бойко, хороший парень. Наш. Смершу не пройти…

Сидели почти до подъема. Выпивали. Ваня — как салага — не пил, но слушал и радовался людям — живым, умным, бесстрашным и веселым, а главное — честным. Самвел по просьбе товарищей офицеров (он был с ними на ты и обращался к ним по имени «Сергей», «Серёга», «Серёжа» — к Печерскому и к Арефьеву —

«Иван/Ван Иванович/Иваныч» или просто «Иваныч»), рассказывал, кхак кхарашо в Армении и кхакой божественно вкхусный кханьях «Ахтамар». «Ах-ах-ах-ах-ах-тамар!» «Царица Тамар… Опять Лермонтов», — подумал Иван и рассмеялся.

— Молодой человек, что ржем? — спросил с полуобидой Самвел.

— Вася, ах-ах-ах, какой красивый, прелестный и соблазнительный Тамар: ах-Тамар, да?

Все вполголоса хохотнули. Иван отметил: у Печерского три боевых награды (по колодкам на груди), а у Арефьева — семь!.. Фронтовик… Видимо, разжалованный или пригрозили — за язык острый, за волю, гуляющую в зеленых глазах. А ведь ему за пятьдесят… Почему не гонят на пэнзию?.. — Самвел, пойдем покурим? — Печерский и Макаэлян вышли из баталерки-каптерки-оружейки и свернули по коридору направо — в умывалку, огромную, кафельную с пятнадцатью раковинами по правому борту и десятью толчками — по левому. Иван Иваныч встал, прикрыл дверь. Вернулся к столу. И, глядя Ивану в глаза, заговорил:

— Иван Орлов. Орлов-Черминский. Дед — Иван Иваныч, кузнец. Окончил Харьковскую гимназию в 1917. Прадед — Иван Иваныч Орлов-Черминский, генерал от инфантерии, расстрелян в 1922 году вместе с прапрадедом Яном Иванычем Черминским, Орловым тож… Так?.. — Ваня кивнул. Лицо его схватилось, натянулось, затвердело, как цементная стяжка… Арефьев вдруг улыбнулся и протянул ему узкую, неизуродованную ладонь через стол — Ваня пожал ее — своей небольшой, но пошире, с прямыми ровными пальцами рукой.

— Иван Иваныч, в чем дело-то?.. Это, видимо, уже не секрет (Иван говорил медленно, почти напевал, чтобы не заикаться).

— А в том дело-то, Ванюша, что я тебе прихожусь троюродным дядькой по Орловской линии. Такие, брат, дела… Я командую штурмовой ротой МП. Если все пойдет у тебя и у меня нормально, возьму тебя к себе. Не против?

Ваня дрогнул, преобразился в Ивана, встал — руки по швам:

— Сочту за честь, товарищ капитан-лейтенант!

— Вообще-то, капитан. Был когда-то кап-два (капитаном второго ранга) — стал каплейтом, сейчас буду просто капитан, а завтра — майором: стали звездочки на погоны возвращать…

Ваня вдруг быстро и без промаха в стакашки налил водки Ивану Иванычу и… себе.

— Давай-ка, Ваня, я дерну двойную парцайку. Тебе пока рано: вон в иллюминаторе темно. — Иван Иваныч Арефьев легко долбанул двойную. Ваня глянул в окно — там шевелился снегопад: белая, нет, светлая, нет, серая, нет, нечерная тьма, как бурый дурной уголь, которым отапливался весь Кольский полуостров.

— Ты пишешь? — спросил Арефьев, — стихи?

— Да, Иван Иваныч. Сами они как-то приходят. Не знаю — как. Я такой вот носильщик языка, перевозчик оттуда (Ваня ткнул указательным пальцем в потолок — не достал) — сюда, к нам.

Арефьев закурил. Прямо в святая святых — в баталерке. Ваня открыл до упора глаза в удивлении, в изумлении, но — одобрительно.

— Стихи, Ваня, это — чудо. Это тебе не хрен собачий, а хрен собачачий. Наши Орловы-Черминские, и Арефьевы тож, — писали через одного, через поколение. Так что, как говорят на флоте: не ссы глазами, морячок. В этой жизни каждый и всякий имеет право быть подлецом, хамом, дерьмом, трусом и все такое. И — бывает. И — бывают… Поэтом, наверно, смею полагать, нужно быть. Сразу. С ходу. Кровно и божественно…

Вернулись Печерский и Самвел. Скоро деж-по-части начнет обход. Сегодня дежурит юный старлей Ваня Тюрин… Иван рассмеялся… Арефьев хохотнул (будто услышав Ванины мысли):

— Да, три Ивана в одной баталерке: Тюрин, Орлов и Арефьев — многовато. Избыточно.

Иван ушел в роту досыпать. Офицеры отправились к Тюрину. Самвел поменял дневальных и прилег, не раздеваясь, в форме парадной, с ножом и пистолетом на свою, соседнюю с Ваней, койку.

Снег валил без остановки, как поезд с неба, если смотреть в предутреннее окно. И Ваня медленно побрел вверх — сквозь поезд — к свету.

Свет бывает разный. Природный, вечный и краткий, слабеющий, искусственный. Свет живет, как дерево: корни — ствол — ветви. Корни его — тьма, пустота и нежная, но мощная, родительная и гибельная сила гравитации. Ветви его — горизонтальны, наклонны и вздыблены, брошены в небо. Ствол его — это главный свет, родовой, несокрушимый, таинственный, вечно растущий, как Бог, как Чудо, как Дух, как вечность и бесконечность, как душа… Душа Ивана подвзлетела и трепетала в себе и вокруг себя, вилась вокруг ствола света и поднималась все выше и выше. Он чувствовал себя частью

этого ствола, как дед его и прадеды, как Катя, как бабушка, как Коля, как братишка младший (брат-братишка-братан). Свет Ивана всегда ощущал в себе тройное натяжение гравитации рода, любви и поэзии. Сердце, кровь, душа, неизбывная словесная мука — все это есть бытие, жизнь, Бог и чудо. Тяжелая и легкая невесомость такого полета, непрерывного и ровного, — вверх, вверх, вверх — создавала постоянное напряжение ума, мысли, сердца, чувства, души и веры в доброе и творительное, страдательное и светлое, как почти невидимая радуга ночного снегопада. Тело твое — здесь в Баренцовых шхерах, но душа твоя всюду и всегда.

* * *

Снег убирали — лопатами — ежедневно: он летел и летел так густо и постоянно, словно просто лежал в воздухе, в небе, в глазах. Работа со снегом — это сплошное подражание песочным часам: бог сыплет-сыплет, а ты переворачиваешь с головы на голову две сообщающиеся стеклянные колбочки: минута, две, три — и целый день, и целый век, и целая вечность. А снег все лежит и лежит, красавец — на плацу, на тротуарчиках, на дорогах, на тренировочных площадках, на крышах казарм, бани, штаба и камбуза на двести человек одномоментно, на матросской чайной, на военторгашке (финский барачишко с военным барахлом внутри и огромной женщиной за прилавком — Клава, мать семи девочек от неизвестных отцов), на плечах, на черных форменных шапках, на ресницах и на редких растениях, онемевших до весны. Убирали снег весело: с матом (если не было рядом офицера), с частушками (было много деревенских парней), с песнями и даже с оперными ариями вроде «Контрапупизм — это бич народов…» и «Тореадор, съешь помидор…» на музычку сухопутного Бизе… Бросаешь снег лопатой (фанера + черенок), а снег бросается тебе в лицо, уже измельченный встречным ветром: куда ни повернешь — всюду встречный ветер, работающий, как центрифуга, в пределах бетонного периметра учебной в/ч, номер такой-то. Старшина роты, по прозвищу Ультиматымыч, ставил задачи-ультиматумы ультимативным тоном. Это был пожилой добрейший человек, фронтовик с паркинсоном после контузий, ранений и флотского спирта (авиационного: спиртом опылялся самолет, чтобы не обледенеть в полете, в страшной, уже почти безвоздушной

стуже); от этого спирта слепли все: и фронтовики, и боевые офицеры (участники «командировок», например в «Арабию», в Индокитай, в Африку и в другие неведомые места перегревшихся международных отношений), и старшины-сверхсрочники, и все-все-все, кто промерзал на заполярном ветру. Здесь все щурилось: и снег от своей белизны, и белизна от света прожекторов, и прожектора от слез в военно-морских глазах, очах и буркалах, — и автомобильные фары снегоуборочных «Роторов», бульдозеров, и человеческие фары («два матроса из штрафбата заменяют экскаватор»), и моряцкие рты, уста и хавальники, когда морячки шнуровали рты лапшой на камбузе, — и небо, ознобленное собой и ледяной землей…

Ване казалось, что слышит (в пурге, во вьюге, в снегопаде и в с-неба-паде) мысли людей, машин, валенок, обморочных кустов, — он содрогался от одной безумной мысли: «я — телепат», пора телепать отсюда в курилку утепленную — в финский домик — барачик дощатый, насыпной, где можно оттаять, просморкаться, втихушку хлопнуть сотку водки, выкурить три сигареты подряд, — и назад, вон отсюда, — вперед в огромное тело снега — трезветь и думать, думать, думать… Флот — это плавучий и плавуче-летучий, гигантский тройной город-поселок-село-деревня-мегаполис: берег-море-небо. Ледово-снежный белок схлопывал, закрывал и проглатывал крохотный желток солнца, которого в течение полярной ночи просто не было: нигде и никогда… Вовка с Юркой, сдвоив свои лопаты, катили снежную волну к обочине дороги с диким криком: «Вперед за Сранцию!!!» — Внешнее не веселие, но увеселение процесса военно-морской жизни постоянно упиралось в матереющее внутреннее одиночество и в пуленепробиваемую тоску по дому, по Уралу, по родным, в главное — по любви. Письма от Тани (частые и пустые, однотипные и бесстрастные) радовали, но эта радость была поверхностная, очень тоненькая, как пленочка молочной влаги от дыхания на зимнее промороженное стекло казенного окна. Казенная жизнь не угнетала, но унифицировала и размывала все индивидуальное, когда умный, глубокий человек «врастал в коллектив», вдруг превращался в полного идиота, идиота, полного пустотой. И это не та жизнь, которая мечталась и предвиделась. Это все равно что читать газету задницей, как знаменитая Роза Кулешова из Свердловска, которая читала газету, сидя на газете с завязанными глазами — заднице глаза не закроешь. Психологический уникум. Фокус-покус. Как

социальные феномены фокус-покусовского типа. Любой социум — это игра, цирк, эксперимент. Выражаясь по-уралмашевски, «фуфло». Зоркозадое ясновидение — фокус природы и психолога, известного ученого, с которым Иван через несколько лет будет пить пиво с водкой в пивнушке рядом с университетом. Губительное, гибельное и веселое, оптимистичное состояние общества, уподобляя личность растению компактному, вдруг выставляет цветочные горшки с человеческой геранью на зимний балкон, на мороз — цветы замерзают, но корни — некоторые, их совсем немного, — засыпают в своей глубокой недоступности до оттепели, до первого осязаемого солнца, до света, нагревающего все на свете.

Ты пашешь снег, как большие противолодочные корабли (БПК) пашут море до дна — и железом, и эхалотом, и радаром, ты машешь лопатой и снегом, который — против ветра — распускает сивые кудри воды, ледяные и мягкие, и Бог видит твои снежные вееры, крылья, взмахи и вымахи, ты смеешься в курилке, катая губами пустышку сигаретного/папиросного бычка, ты смеешься, потеешь, зябнешь, промерзаешь — в самом центре людей, флота, Заполярья, снега, бурана, пурги, метели, повсюдного ветра — и молчишь, и твое глубинное одиночество проигрывает в твоей голове, в сердце и в душе «Июнь», «Июль» и «Декабрь» Вивальди (в исполнении итальянцев — любого камерного оркестрика, но только не англичан, не немцев, не французов и не русских: итальянцы — боги музыки!); одиночество и память меняют пластинки: вот «Beatles» — «Girl», «Happiness» и «Michele», и «Dear Prudens», и «Hey Jude», и ранние «Deep Purple», и великие «Led Zeppelin» — все англичане, вишь ты, отыгрались на роке, рок-н-ролле и блюзах… А потом Бах, фуги и скрипичные концерты («Concerto Grosse», ох), Бетховен — весь, Чайковский («Щелкунчик», фортепианные концерты), Рахманинов — весь; и опять — Чарли Паркер, юный Элтон Джон (его «For A Funeral…»), и — о, черт побери! — снова «Stairway To Heaven» Цепеллинов, и — повтор, повтор, повтор — в голове, в сердце, в душе, а после лопаты, после тренировок (стрельба, кроссы, рукопашка, бой в броне, бой с брони, бой за броней, бой в окопах, обкатка танком, высадка с коробки на твердое, парашют, парашют, парашют, бой «штыковой» — нож, штык, лопатка, стрельба из всех стволов, стрельба во тьме, стрельба лежа на спине по-македонски, по-турецки, по-сербски, по-русски, по-уралмашевски, наконец, после

усталости — гитара, две, три — «Stairway», «Лесенка» — минут 30–40, и все лучше, точнее, ровнее и вдохновеннее. И — никаких, на хрен, песняров, самоцветов, пламеней и голубых гитар с магомаевыми, кобзонами и хорами им. Александрова. Бедная советская эстрада — навсегда: фуфло. Настоящее — не на сцене, а в душе. Не печатают, не исполняют — клади под подушку, в стол, в сердце. Жди. Жди всегда. Жди после смерти: под подушкой культуры — бездна, она и вывезет и вынет на свет Божий, и потрясет, как Вивальди, Боратынский, Мандельштам.

Счастье — это когда ты сидишь один, у окна, на баночке-табуреточке, поглядывая сквозь стекло на снег — он уже прибрал землю к рукам своим, прибрал и поместил ее в себя. А ты разглаживаешь-поглаживаешь страницу книги или журнала, или тетради своей так, как разглаживают зеркало, как разглаживают лицо, отразившееся в нем — все, что в нем сейчас существует…

Зима подошла, не кончаясь, к заполярному маю. 1 и 9 мая матросы расхаживали, умирая от привычки работать и работать, от возможности ничего не делать, но — уже в бушлатах и бескозырках (это внутри периметра в/ч). Беспокойно важные, они курили где попало, но в рукава. Смеялись. Но без разговоров и обычных шуток — слова кончились, речь кончилась, язык кончился: весна. Скоро выпуск из учебки, из одной неволи — в другую, может быть, более вольную несвободу. Все видели, как в спортзале толпились морпехи: в Арабию (так произносилось все, что относилось к Египту) — Куда? — В Арабию. — Удачи! — Ага (и — испуг в глазах, веселый испуг — у отвечающего и грустный — у вопрошающего).

Экзамены прошли и вышли вон — из головы, из учебки, из белокирпичного снега. Иван был в лидерах. Но — заикание… Значит, будет «исполнителем», не дирижером. Оставалось последнее испытание: марш-бросок с полной нагрузкой («выкладкой») и сразу за ним — кросс на выживание — кто больше, дольше и дальше пробежит, убежит, добежит, — тот победитель.

Марш-бросок — кросс, и — все что угодно, только не смерть: терпение — терпение прежде всего смерти, обессиливания и задыхания, это как в баскетболе, когда играешь сорок минут без замены (время «грязное» или сорок минут «чистого времени»). Марш-бросок — это время, смотанное, придушенное, сжатое в клубок, в нем три нити из овечьей шерсти — белая, черная, серая, то бишь физика,

метафизика и нечто, мерцающее между ними, — серое в шершавых искорках и золотистое от пота и слез. Это уже нечто иное, это — интрефизика, «междуфизикаметафизика». Жуть. Белое — сила. Черное — изнеможение и смерть. Серое — свобода от жизни и смерти, воля думать, вспоминать, воображать — на бегу, на ходу, в падении, ползком, на четвереньках, приподнявшись, но согнувшись — и, наконец, выпрямившись, как деревья в лесу и небо в сорокаградусные уральские морозы, как снег и звезды в пятидесятиградусные Шатровские стужи.

Собирались недолго: комбез, щитки на все сгибающееся в конечностях, ботинки горные с шипами — окрест и всюду ледяной снег и наледи рыхло-твердые, длинные, как мокрая майка центрового из баскетбольной команды, еще оружие, боезапас, пайки — горный и боевой, два ножа, топорик и проч. Ваня прихватил малюсенькую фляжку со спиртом и три заначки спичек, а к ним пачку махры и «Комсомольскую правду» — тлела она в самокрутке мягко, медленно и важно, а также шнуры-концы и прочая горно-морская амуниция. Колин швейцарский ножик Ваня повесил на шею, на гайтане, рядом с крестиком, который был упрятан под тельник еще с вечера. Пока Ваня одевался-застегивался-затягивался, он вдруг вспомнил детские коньки-снегурки веревочкой крепившиеся прямо к валенкам, — и чуть не расплакался: деревенский хоккей, снежные горки, трамплины, сломанные лыжики, помороженная и подбитая рожица, крики ребят при появлении бабушки: «Шуба!!! Атас! — Шууууба, Валенки идуть!..» Тттвою мать: игры в палки и елки, игры в войну… Да-а-а… Тогда, в детстве, прибежал домой, высморкался — и жизнь стала налаживаться. А сейчас?.. Как оно будет? Накакано будет, б.я буду я… А может, нет… Господи, прости…

Марш-бросок совершали группами, помогая друг другу: Ваня, Юрик и Володя бежали крепкой тройкой в середине общей ротной массы. Иван был не такой крупный, как Юрка и Вовка, ему было чуть легче, поэтому он командовал, то есть бежал то впереди, то с кормы «трехпарусного брига», давя в спины своих корешей. Бежать было легко и не страшно, кабы не знать, что после броска будет еще и кросс на выживание. Переговаривались морячки взглядами, слабыми улыбками, жестами и дыхом. Только однажды Ваня простонал: «Не хрюкать, БМЖП, ЖП, ЖП, ЖП…» (БМЖП — это на местном сленге значило «боевая машина женской пехоты», были

и другие расшифровки аббревиатуры, но — они были слишком вольные и скабрезные). Бежали: с горки — отдыхали, расслаблялись, а не ускорялись, как остальные — все-таки тридцать километров… Ох!.. А вот в горку газовали, поднажимали — и обгоняли, обгоняли, обгоняли добрую сотню умотавшихся пацанов.

Бежали уже два часа — и вдруг поняли, что они — троица ЮВИ — начинают отрываться от остальных. Разметки трассы не было, да и вообще она была нетоптаная. Но на каждом пятом километре стоял старшина или молодой офицерик — все в унтах, в меховых летных куртках (в карманах — по фляжке), в меховых песцовых рукавицах. Финишировали все трое — в линеечку, в шеренгу — одномоментно. На снег не свалились, не пона*д*али — Ваня показал пацанам кулак. Прошли к палатке-шатру. Сели на скамеечку. Глотнули кофе с молоком (кружка матросская алюминиевая, 300 гр.) — и выскочили-выползли-вылетели вон: тошниловка. Оправились за дощатым щитом: с надписью ярко-ядовито-белой (хлорка) «ФИНИШ». Дальше — переобувка, сброс лишних вещей — и рванули мягко, утомленно, изумляясь собственной дури и благостному безумию в кросс на выживание… Такие дела.

Рванули, ЖП-БЕЛЬМОНДО, за милую душу. Рванули думать и умирать. Юрке, туманному альбиносу из Самары (из б/у Куйбышева), было нелегко — рост под два метра (198 см): Ване было легче — он поджар, жилист и спокоен почти всегда, но мог и взорваться, но Ванины управляемые взрывы происходили всегда к месту и ко времени; Вовке было тяжко: он был выше всех и тучен, но не пожирокомбинатовски, а по-борцовски (супертяж, как будут говорить через 25–30 лет), но Вова был выносliв и упрям, — он был похож на динозавра-хищника; и у Юры, и у Вовки глаза были светлые, остзейские, почти прозрачные, и Ванины карие зенки с трудом перекрывали этот серо-голубой простор Вовкиной Балтики и Юркинова Поволжья. Если ленинградец Володя (Сима — Симаков) был тиранозавром, а Юрка метисом (тиранозавр + травоядное), то Ванька казался инозавром — стройным, крепким, но с музыкой в голове.

Пробежали пять километров с восемью м/п на хвосте. На седьмом километре ускорились — ушли в отрыв, спурт был затяжной — на три км, дальше начинался — иной мир — сопки, и тропа с редко попадавшимися флажками здесь уже была не такой, как на трассе марш-броска: она петляла, спускалась вниз, в распадки,

и поднималась вверх — в серое, тусклое и тухлое, но твердое майское заполярное небо. Ох, май-месяц, твою май-мать! Тропа то скрывалась под снежными переметами, то вдруг становилась болотистой, то — каменистой, а то и совсем и сплошь ровной каменной — попадались Кольские инопланетные монолиты, оставшиеся от взлетки космодрома пришельцев (так шутил Ваня, но плиты эти как раз свидетельствовали о том, что шутка — дрянь, но в ней намек — в кончик севшему пинок). Ребята шли медленно, но верно — вперед… Ваня глянул на часы: все, перекур…

Сколько еще бежать? Хромать? Падать? Ползти?

— Мужики, нужно допереть до первого КП (колышек, влитый водичкой в сугроб, с номером и неотрываемой картой местности на дощечке, размером с ладонь ребенка). — Ваня глянул на потемневшие лица друзей: — А там я пойду один. Дам ракету. Белую. Два раза. Ну, двое финишировали… А сам еще дам верст пять — до второго КП… Там посмотрю, что дальше: КП-3 или знак бесконечности. Ну, че молчим?.. Володя, Юр, а?

Вовка и Юрка с благодарностью молчали — они наелись и бегом, и пространством, они переели. Пережрали. Обожрались. Вовка улыбнулся, но не губами, а щеками, затвердевшими от усталости — губы раздулись в мохнатые гусеницы, и в темноте, в сумраке, в черт знает, в чем, казалось, что пар изо рта выходил какими-то клочками, частями, долями, хлопьями гигантского мотылька, прозрачно-бело-серого и почти неживого:

— Ага, — хрипнул-кашлянул он. И — закашлялся: — Сигарета — дерьмо. «Северные». Дали бы «Южных», раздолбаи.

Юра Дмитриев, не глядя на Вовку Симакова («Ох, Сима-Сима!..»), прокашлялся:

— Вань, с тобой хочу. Дальше. До упора.

— А Вовка? Он же сдохнет.

— А ты как? Один-то, блин, как пойдешь, ну?!

— Мне, Юр, это надо. Нужно. Необходимо… Я загадал: уйду дальше всех — нам: тебе, Вовке и мне удача будет во всем… Вот увидишь…

Ваня достал из пазушного кармана фляжечку. Все глотнули. Ваня не стал: знал, что припонюхивать будут, особенно литеха чужой, со стороны. Бегает на снегоходе, как волк, кружит, балдеет, падла, сечет малину, ловит «нарушителей» и «спасает» обессилевших. Ну его на хрен…

Ваня встал. Хлопнул в ладоши. В горные перчаторукавицы, в трехпалые на рыбьем меху (а говорят, нерпа). И — рванул. Сначала сильно и быстро, чтобы быстрей слиться, скрыться с глаз долой. С измученных глаз пацанов. Так… Ты, получается, играешь уже семнадцатую половину (две четверти по-американски) баскетбольного официального матча — без замены. Игрушки кончились. Остались на Урале. В сумраке изредка привспыхивали двойные зеркальца, как чеховские пенсне, очи промышляющих здесь, в диких сопках, песцов. Да-а-а… Главное, чтобы мишка белый, туманный альбинос, как Юрка и Вовка, сюда не зашел. А то — все: ракеты остались, две штуки (белая и красная)… Неeет, со Шпица не допрет. Да и льда на Баренце нет. Да и коробки, лодки и бомбовозы флотские не дадут ему тут дышать. О, Шпиц-Берген! О тьма серо-голубая, полярная!.. Ништяк, прорвемся… И ты вдруг включаешь в голове, вернее душа и сердце включают в твоем мозгу «Stairway To Heaven», сначала минусовку — отдельно, потом вокал — тоже отдельно, потом соло гитарное, потом бас — партию, а потом — отдельно же — барабаны. Особенно надолго и всерьез, в шаг, в дыхание, в рывки сердечные, в мысли побочные, в усталость, в кровь во рту, в груди, в животе, в мозгу, в кончиках пальцев. И ты — пошел, пошел, пошел. Восемнадцатое дыхание. Ноги работают. Им помогают и мозг головной, и сердце, и тело, и душа, — поочередно отключаясь от общего напряжения и возвращаясь на место в посвежевшем виде… Шоколад, колотый, горький — в рот. И — пошел, пошел, пошел: прыжок (у Ваньки чистая прыгучесть, чистый прыжок с места вверх от 95 до 105 см), прыжок с места, мяч на правой ладони, в воздухе легкий, быстрый перекид мяча в левую — и сразу бросок, почти из центрального круга. В прыжке (еще висишь, зависаешь в воздухе, который густеет, твердеет для тебя — помогает тебе, видишь последние, истекающие, капающие секунды матча. Мяч летит долго — с высокой траекторией — хрен блокируешь, морда двухметроворостая, нет двухметрводесятисантиметровая жердь!.. Ш-ш-шык — мяч в кольце, он одергивает сетку, как миниюбку. Все.

Автономное отключение и подключение частей тебя происходит само собой, автоматически, чудесно, божественно… Сейчас главное — не помереть от счастья переутомления. Молодость — бесконечна. Вечна. Молодость полощется то в кипятке, то в ледяной воде.

В живой воде и в мертвой, и опять — в живой. В молоке густом, как Млечный Путь, в молоке слабом, как туман в башке, в молоке ясном, как Северное сияние… Небо вдруг открылось чернотой и звездами, и на севере небном полыхнула волна, шелково-кристаллическая, магнитно-бархатно-электрическая, тысячецветная на фоне сиренево-сине-серебряно-свинцово-голубом и слабо-слабо-слабо-золотом, и твердо-водянистом, водяном. О, твердая вода; о, твердый свет; о, мертво-живая субстанция. О, письмена Бога!..

Иван прошел — на бегу — второй КП и, не останавливаясь, попер дальше. Он бежал по тропе (так ему казалось), и когда стало совсем худо, он включил детство: и в памяти, и в воображении, и в душе, и в теле, которое вдруг стало почти невесомым, как в Шатрах, когда ты бежишь с удочкой и котом Васей на Разрез. Он уже не салага — он первый, и ребята — первые!.. И музыка в голове вдруг стала произносить, говорить, повторять еще непроизнесенное. Это непроизнесенное явило — сначала в душе, в сердце, а потом в разуме — то, что он всегда держал в себе, и то, что постоянно держало его на весу, в воздухе, в безвоздушной сфере — и работало, делало, творило его, досотворяло его после Бога и с Богом. Стихи. Ты умираешь от свободы полного изнеможения физического, ты воскресаешь в свободе неумирания. Ты смотришь на все тройным зрением: вчерашним, нынешним и завтрашним — и ты видишь все-все-все сразу, — и мальчика Ванюру, Ванюшу, Ваню, и парня, выходящего из проходной, и мальчишку — юношу, стоящего по ночам под окнами, светящимися в доме Гали (второй этаж, три окна, слева направо — кухонное, большое комнатное с балконом и одинокое, третье, Галино — здесь ее комната. Мороз страшный. Ты слышишь хлопок и свист — нежный, тонкий, стремительный, — и тебя что-то (или кто-то?) крепко берет за плечо… Это в соседнем доме хлопнула балконная дверь (о, хрущёвки!), стекло лопнуло, и крупный осколок с ладонь великана бьет тебя срезом, острием в плечо, прорезая, рассекая ткань пальто, свитера и останавливаясь, уткнувшись в кожу плеча — царапина оставила стрелку, светлую, длинную, указывающую направление — вверх. Вверх!.. Ты взбегаешь, взлетаешь на вершину сопки за этой светлой, нежной и хрупкой стрелкой, которую ты носишь на плече.

О, верь ты нежная дороже славы мне
Скажу ль мне иногда докучно вдохновенье
Мешает мне его волненье
Дышать любовью в тишине

Я сердце предаю сердечному союзу
Приди мечты мои рассей
Лаской ласкай меня о друг души мой
И покори себе бунтующую музу…

Ты слышишь, чувствуешь тройную музыку стихотворения: одна — в небе, в ветре, в Северном сиянии, в одиночестве твоем, ужасном и прекрасном; другая — в душе, в сердце, в голове; и еще одна — во рту, в горле, в легких, в крови, в усталости, в изнеможении, когда ты разрываешь слова, рвешь строку севшим дыханием, вдохом, каждый раз последним, и выдохом коротким, мощным, как сжатая в кулак метель… Боратынский поет в Заполярье — жизнью и смертью Орлова… Ты знаешь и узнаешь то, что появляется, не существуя, и существует, не появляясь…

Нет, ты уже не чечако. Джек бы подтвердил сейчас… Лондон… Джек… Дед, бабушка, мама, Коля, братишки, Галя, друзья, школа — морг (где ты дежурил в течение года) — любовь — любовь — любовь — завод — любовь — армия — любовь — флот — Заполярье — снег — снег — снег — Северное сияние… В жизни так много сюжетов, что с точки зрения Бога и Боратынского, она бессюжетна. В широком, высоком и глубоком смысле — жизнь, в сущности своей, бессюжетна. Жизнь — смерть?.. Не-сюжет… Есть иной сюжет: жизнь — смерть — любовь — поэзия — жизнь… И так далее, товарищи матросы, старшины, офицеры, старшие офицеры и адмиралы… Ты проходишь еще один КП, еще, еще… Дальше — снег. Снег и детство. Ты — дите. Измученное и счастливое твоей усталостью и твоей свободой быть одному за гранью марш-броска и кросса на выживание. Ты выживаешь. Пока выживаешь…

Бывает отрок звонким кликом
Лесное эхо я будил
И дивный отклик в лесе диком
Меня смятенно веселил

Пора другая наступила
И рифма юношу пленила
Лесное эхо заменя
Игра стихов играя златая
Как звуки звукам отвечая
Бывало нежили меня
Но все проходит Остываю
Я и к гармонии стихов
И как дубров не окликаю
Так не ищу созвучных слов…

Ты принимаешь прививку поэзией, прививку болью, прививку обществом, прививку культурой и не-культурой, тюрьмой, армией, войной, наконец, любовью. Ты неуязвим. Ты свободен. Ты рожден свободным — со свободой в душе, потом в сердце и в голове… Ты вечно свободный. Сильный. Невесомый. Незримый. Молодой. Любящий. Любимый…

В дни безграничных увлечений
В дни необузданных страстей
Со мною жил превратный гений
Наперсник юности моей
Он жар восторгов несогласных
Во мне питал и раздувал
Но соразмерностей прекрасных
В душе носил я идеал
Когда лишь праздников смятенья
Алкал безумец молодой
Поэта мерные творенья
Блистали стройно красотой
Страстей порывы утихают
Страстей мятежные черты
Передо мной не затмевают
Законов вечной красоты
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел
И жизни даровать о лира
Твое согласье захотел…

Дивный отклик… Земли и неба… Огромный очерк ты узрел… Звуки поэзии и музыки — зримы… А ты, певец, незрим и свободен… Слова твои и музыка — зримы. А тебя нет. Ты незрим. Ты бежишь до выживания или до гибели, или — не бежишь и превращаешься в зрителя, в слушателя, в наблюдателя — слепого, глухого, бездумного. Ты бежишь со скоростью света потому, что света нет…

Старательно мы наблюдаем свет
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть уповаем
Какой же плод науки долгих лет
Что наконец подсмотрят очи зорки
Что наконец поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум
Что? — точный смысл народной поговорки…

Стихи, слово, музыка, поэзия — бескорыстны. Они дарят опыт, высоту опыта души, сердца и ума не всем. Они открыты и распахнуты, как объятье, только для того, кто гибнет от несвободы быть слепым, глухим и бездумным… Мой дар убог, и голос мой негромок… Последний КП. Дежурного смотрителя выживания матросика во снегах, офицерика и снегоходика — нет… Может, тебя потеряли? Утратили? Понесли утрату? Может, ты утрачен, и скоро песцы станут твоей семьей не надолго — до тех пор, пока они тебя не скушают?.. Ты хлопаешь себя по бедру, потом по поясу, по ремню: слава Богу, оба десантных ножа на месте… Пора остановиться. Присесть. Покурить и подумать… Бежать натощак легче. И думать проще и выше. А вот решать что-то… Ты съедаешь кусочек шоколада размером с мизинчик щенка — и решаешь… — Бежать! Пока не сдохнешь… Небо, помутнев, покрылось чем-то пережеванным, но уже серым, неживым, будто покрытым плесенью и короткой, слабой паутинкой.

И ты бежишь — до сладкой гибели… Как это бывает? — Падаешь. Выкуриваешь полупустую сигаретку. Выпиваешь спирт их фляжечки — там граммов 150–175. Потом закусываешь ледяной клюквой — разгребаешь рукавом стеклянный снег, пробивая локтем три корки, одну за другой, показывается мох, вечная бежево-красноватая травка и клюква — кустиком и опавшая. Ее нужно

подержать во рту — чуток, а потом давить языком, жевать, как это небо, и глотать. Железная закуска. Убогая, но последняя — самая…

Мой дар убог и голос мой негромок
Но я живу и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах как знать душа моя
Окажется с душой его в сношенье
И как нашел я друга в поколенье
Читателя найду в потомстве я…

Кому твое любезно бытие?.. Становится тепло. Но не в тебе и не тебе, а как-то рядом вокруг… Ты вырубаешься, срубаешься, рубишься медленно-медленно… Мееедлееенннооо… Где-то кто-то что-то говорит. Ты даже не слышишь это, но чувствуешь лицом, обмерзшим и твердеющим…

— Ваня… Ваньша… Ваня…— шепчет дедушка.— Просыпайся… Пора… На… покос… Пора!

Ты вздрагиваешь, потом — весь — содрогаешься — и просыпаешься, не заснув. Садишься. Клюква. Ты собираешь ее. Ешь. Жрешь. И — приходишь в себя. Встаешь. Ноги обливаются изнутри то ледяной водой, то кипятком. В горле горчит толченая бритва-безопаска. Достаешь из ножен клинок и вместе с ним махонькую шоколадку «Алёнка» — Юра угостил. В других ножнах есть такая же. Это на потом…

Болящий дух врачует песнопенье
Гармонии таинственная власть
Тяжелое искупит заблужденье
И укротит бунтующую страсть
Душа певца согласно излитая
Разрешена от всех своих скорбей
И чистоту поэзия святая
И мир отдаст причастнице своей…

Ты бежишь. В голове «Щелкунчик» Чайковского. Адажио. Песнопенье излечит болезнь души. Но душа-то болит как раз от песнопенья, от возможности его или невозможности. Нет! —

от обязательности, неотвратимости его. Но! — и болящий дух врачует песню: сначала порождает ее, в муках сладких и гибельных, и, когда начинает умирать, гибнуть, — начинает петь. Душа — песня… А ты, гребанный певец, — гибнешь. Вот и славно. Вот и хорошо… Ты умираешь от любви ко всему, что способно любить. Но — не любит. Спит, что ли?.. Ты бежишь. Ты начинаешь слепнуть. Глохнуть. И — не думать. Не быть болящим… Ты останавливаешься. Ищешь мох, сухие веточки карликовой полярной березки, растущей вприсядку, лежа и ползком. Разводишь костерок. Потом вырываешь сухую сосенку — с корнем. Кладешь ее осторожно, как хрустальные обноски бытия, в огонь. Занимается — уже не огонь, а пламенцо небольшое. Пламька. Или — пламка? Блин, это уже что-то финское. Достаешь нож и нагреваешь лезвие в костре. А потом прикладываешь раскаленный клинок — плашмя — к ладони… Ох! — Потом кладешь еще раз — на то же место… Эх, сука, хорошо! Душа проясняется. Голова заработала. Болью боль поправ, ты сидишь у костра — костерка — горсточки тепла и держишь в кулаке огненный шар жара, огня, чистоты и ужаса жизни, красоты и приполярного мира…

Иван слышит: — Вон! Вот он!.. — Он поворачивается всем торсом и видит капитана Печерского, еще Васю Микаэляна, старлея Тюрина, еще кого-то и почему-то капитана-лейтенанта Арефьева в меховой куртке с погонами, на которых по два просвета и по две звезды. «Кап-два, кавторанг, капитан второго ранга… Чудеса… Прямо кино какое-то…»

———

После недельной лежки в санчасти, где в библиотечке начальника, пожилого майора, Иван надыбал книжечку стихотворений Ахматовой «Вечер» и Боратынского, хорошее издание 1957 года в серии «Библиотека поэта», полное собрание стихотворений. Тебе было всего два года, когда появилась эта книга, и восемнадцать, когда ты ее нашел. «Боратынский» в книге и на обложке писалось через *а* в первом слоге — «Баратынский». Да, это твой поэт. Их вообще два: на *Ба* и на *Бо*. Опять раздвоение. Но не сознания, не души, не разума, а оболочки — написания, букв, графики. Но суть остается в звуке — *а*! Так и ты, прячущий в себе, в Иване — Ваню… В санчасть приходил Печерский — занес Ванины тетради, вернее, две тетрадочки блокнотного типа, с записями, не дневником, но стихами…

нет, не стихами, внутренним дневником. Дневник для души. Для Бога. Для Нее. Но — не для себя: в тебе этих дневников десятки… Сергей Сергеич сказал, что такого морпеха он видит впервые: адски райская смесь стойкости, силы, упорства и молчания, задумчивости, поэзии, стихов… Кабы не заикание… Дал представление в штаб части — будешь, мол, старшим матросом по выпуску. Случай исключительный. Да, вот тебе, Ваня, часы с гравировкой, именные от командира части, от Самого! Они оба рассмеялись. А вот Иван Иваныч, кавторанг Арефьев не смог зайти — отправлен в Питер по делаем военно-морским. Вот тебе от него: он достал синюю коробочку, открыл ее — и Ваня увидел царский георгиевский крест нижних чинов, с георгиевской ленточкой. Все военные Орловы-Черминские имели такой — по решению состава подразделения, то бишь простых солдат и унтер-офицеров. Надо бы припрятать его. Не то молчи-молчи сядут на башку и не слезут… В конце посещения, перед прощанием, капитан Печерский, уже поднявшись с баночки, вынул из-за пазухи, из-под черной шинели книгу. Вот тебе, Иван… Ваня. Когда вытаскивали тебя, тащили, ты все стихи читал — и не заикаясь (!)… Все повторял: «Баратынский… Евгений Абрамович… Он что еврей, что ли,— вопросил Микаэлян… Ага, армянский. Армянский еврей. Он, Вася, ваш Аветик Исаакян или Егише Чаренц, только постарше: первого лет на шестьдесят, а второго на сто. Принесу тебе, Ваня — в подарок — и Аветика, и Егише… Печерский обнял Ивана и ушел. В палату вбежал медбрат Иосиф (Ваня мысленно звал его Прекрасным: ростом Иосиф был с сидячую собаку, на лицо — баба бабой, но руки имел золотые, как погоны (парадные) адмирала: капельницу, уколы ставил — не шелохнешься; от боли, конечно… Хороший парень.) Ося вколол Ване витамин, вынул из кармана халата огромный апельсин, размером с башку сидячей собаки… — Пополам? — кивнул Иван Осе, но тот вдруг широко улыбнулся: — Это от твоих пацанов. Это святое. Кушай, морячок, и не ссы — скоро в роту вернешься.— Когда? — Ося подмигнул: — На девятое мая, как раз к победе над проклятым фашизмом…

Чудный град порой сольется
Из летучих облаков
Но лишь ветр его коснется
Он исчезнет без следов

Так мгновенные созданья
Поэтической мечты
Исчезают от дыханья
Посторонней суеты…

Ване стало зябко. Он вытащил из-под подушки теплый тельник, натянул его на себя, не вставая. Подогнал край суконного колючего одеяла без подкладной простыни к подбородку. Два дня осталось. Спать? Читать? Мечтать? Скоро все исчезнет без следов внешних. Все останется в тебе, пропадающем в посторонней суете. Он лежал на спине. В животе урчало: блинчики гибнут. Ося угостил — притаранил это дело из офицерской столовой. Стало тоскливо — хоть песню вой. Про ворона… Когда исчезнет омраченье души измученной моей?..

———

Чем сильнее и дольше укреплялась вокруг Ивана и в нем внешняя несвобода (армия, флот с жестким распорядком каждого дня и каждой ночи), тем свободнее становился он внутренне, под крепчайшей оболочкой телесного стеснения тем или иным режимом службы, работы, учений и традиций (иногда бессмысленных и жестоких) армейского быта. То есть, чем несвободнее был Иван, тем свободнее чувствовал себя живший в нем Ваня, сочинитель, думатель и немтырь. И только в часы долгого, но, слава богу, редкого безделья Иван и Ваня, бывшие в одном существе и существовании, начинали чувствовать себя неприкаянно и гибельно. Тело начинало требовать чего-то безумного и необычного, что совпадало с качеством внутренней свободы, убивая эту свободу быть с глазу на глаз с бытием, вселенной, Богом и красотой. Иван стрелял из гранатомета, пистолета, карабина, СВД, пулемета, АКМ или постигал — синяками и ушибами — азы боевого самбо с элементами джиу-джитсу, или работал на ринге в перчатках и без них, бежал, кричал, высаживался на берег, в воду, в болото, в песок на БТР или БМП, или ножками с корабля (БДК) и проч., а в это время Ваня осваивал — мысленно, теоретически и практически, спондеи и пиррихии, оглаживая музыкальным слухом плавающий, изменчивый характер русского стихосложения и акцентологии русского языка…

Стихи, поэзия, думы, муки и благодать такого состояния были для Ивана нормальными, жизненно, смертно и духовно необходимыми: он думал стихи, но и они его думали; он записывал стихи, но и они его переписывали; но стихи убивали его, а он воскрешал их — в памяти, в воздухе, на бумаге.

Когда исчезнет омраченье
Души болезненной моей
Когда увижу разрушенье
Меня опутавших сетей…

Никогда. Ты сам прешь в эти сети — безоглядно…

Когда сей демон наводящий
На ум мой сон его мертвящий
Отыдет чадный от меня
И я увижу луч блестящий
Всеозаряющего дня…

Демон ненаглядный… Ужас сладкий… Всеозаряющий…

Освобожусь воображеньем
И крылья духа подыму
И пробужденным вдохновеньем
Природу снова обниму…

Свобода — это, для Ивана, причина, цель и плод — результат воображения. Дух твой, душа твоя — шестикрыла, двенадцатикрыла, миллионнокрыла. И ты обнимаешь мир, природу, вселенную, находясь в крепких объятиях природы и вселенной — объятье в объятьях… Это и есть свобода потому, что свобода возможна в таком взаимнообъятном полете…

Вотще от мольбы напрасны ль пени
Увижу ль снова ваши сени
Сады поэзии святой
Увижу ль вас ее светила
Вотще! я чувствую могила

Меня живого приняла
И легкий дар мой удушая
На грудь мне дума роковая
Гробовой насыпью легла…

Домой бы, а? К чему? Дом — везде. И здесь теперь твой дом телесный. Душевный дом — всюду и нигде… За окном рота шла с песней на рубон по направлению к камбузу. МП — «учебники» пели почти и преддембельную строевую песню. Один звонко, но как-то по-шакальи запевал (первую строку), а вторую громыхала в сто глоток вся рота. Песня-марш состояла из двух стихов, но повторялся этот малый текстик бесконечно.

Запевала начинал на мотив «Прощания славянки»:

В жопу клюнул жареный петух

Остальные, грянув, выводили страшно и красиво:

Остаюсь на сверхсрочную службу-у-у…

И так до камбуза — звонко, весело, страшно и смешно:

В жопу клюнул жареный петух
(пауза)
Остаюсь на сверхсрочную службу.

———

Свобода петь такую чепуху — тоже свобода. Свобода сделать из марша частушку. Кайф… Сады поэзии святой. Снега поэзии святой. Пороховая и мазутная гарь поэзии святой. Небо поэзии святой. Портянки поэзии святой. Обморожения поэзии святой…

———

Стихи Боратынского запоминались легко. А то, что спотыкало твой ум, — заучивалось наизусть. И — оставалось… Ваня собирался на выписку из санчасти. Собрал книги, пару тельников, трусов, носки, чистую робу. Надел на шею крестик — и в душе что-то провернулось, как боевой пловец под соленой водой, уворачивающийся

от ударов ножа противника. Там, глубоко — глубже, чем было на самом деле, — в душе, и глубже души, все: и воздух, и песок, и вода — заледенели… Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного… Ваня отвернулся от окна и произнес:

Молитва

Царь Небес успокой
Дух болезненный мой
Заблуждений земли
Мне забвенье пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай…

Строгий рай нынешнего существования обещал человеческий, слабый, опасный и жестокий ад. И это обещание застряло в венах, в артериях, в мышцах, связках, в костях, в мозгу, в позвоночнике и в душе надолго, если не навсегда.

———

В кубрике было тихо и пустовато. Выпуск состоялся. Первые три места были у Володи Симакова, Юры Дмитриева и Вани. Они к тому же установили рекорд марш-броска и бега на выживание, как сказал Вася Микаэлян, старшина роты, сверхсрочник и герой, это рекорд на века: на русские, армянские и остальные, — нэт, даже на тыщу лет, да?! Через 2–3 дня после аттестации и переобмундирования всех разгонят по частям, где придется служить до самого дембеля или кому-то до Арабии, а кому-то вечно. Ваня сидел на Юркиной койке и смотрел в сторону окна: в полумраке кубрика оно казалось прямоугольным известковым голубовато-серым пятном на стене Севера, чужбины и тоски по дому. Как в дедовом доме тот невыцветший почти квадратный кусок стены, показавшийся из-под портрета Берии (сколько лет прошло!), дед тогда пошутил ровно и точно на пятьдесят восьмую статью УК РСФСР/СССР: «Пусто место свято не бывает».

Пусто место свято не бывает… Любая равнина упирается то в провал, то в скалу: и то, и другое — бездна, ужас, страх, — страх вообще, в общем, в целом и страх потерять то состояние духа своего, которое ты, Он и Она наращивают в тебе. Страх, ужас, смятение

не перед началом драки, схватки, боя, битвы, сражения — а растерянность от понимания полной беззащитности твоей жизни — твоего процесса думания стихов, жизни, смерти и любви.

* * *

Жизнь в кубрике-роте состояла из нескольких житух: официально — служба, личное время и сон; неофициально — развод на службу и работы (лотерея: как повезет, но чаще ты уповаешь на случай — лучше бы дневалить или вообще попасть в наряды или «болеть», Ваня почему-то здесь, в Заполярье вообще не болел, не простывал и не поносил, как основная масса учебных матросиков); потом занятия (естественно, подвижные) — тренировки, стрельба, работа с различными видами оружия и вооружения, репетиции посадки и высадки с коробки (чаще на корме — на муляже кормовой части корабля), работа с БТР и БМП (техчасть, боевая, посадка-высадка, ремонт), работа с тем, что оружием не считается (у невоенных), с лопаткой, ножом, штыком, прикладом, концами (шнурами); подрывное дело; рукопашный бой; физподготовка и многое-многое другое (Ваня, Вовка и Юрчик особенно любили ножи: и с другим оружием, и с ножами-штыками-саперками морячк*и* вытворяли нечто несусветное — фокусы, жонглирование и метание — но только в отсутствие командиров, особенно офицеров. Потом — личное время. Его попросту не было. Письма писались коллективно: в роте было 3–4 грамотных текстовика, и Ваня в их числе, которые *диктовали* тексты писем маме, любимой, другу, учителю школьному, председателю колхоза, цеха и т. д. группам матросских лиц, возжелавших отписаться домой. Ваня пользовался большим спросом: он мог завернуть такое! — по-толстовски, по-гоголевски, по-тургеневски, по-уралмашевски, по-деревенски, по-университетски, по-блатному, по-солдатски и по-сыновьему, по-детски, нежно-красиво-восхитительно-убедительно хорошо. Просили и стишки присобачить, но Ваня отказывался, но диктовал что-нибудь из Пушкина, Лермонтова, Боратынского, Тютчева или Жуковского, Языкова, Веневитинова (его «Перстень» шел на ура)… Было еще и ночное время: стариков в учебной роте не было; командиры, младшие, разбегались по самоволкам и шли в гости в соседние подразделения, где служили их земы, зямы, земляки, — поэтому побоищ дедов и салаг почти не наблюдалось, а вот

салажня дралась — между собой, молча, яростно, но опасливо — как бы деж-по-части не застукал сей мордобой. Замковзводов, комотделений, конечно, парили мозги пацанам — поиздевывались: то обрезы (тазы) с водой пинками переворачивали — собирай теперь водичку до утра, то поджопники давали деревенщинам, то сигареты отбирали, но все это ерунда, ангельские придирки и ангельские поджопнички. Все это — со смехом, без злобы…

Мальчишки, оказавшиеся здесь, в Заполярье, за полгода службы (учебы, работы, нарядов) превратились в парней, высоких, закаленных, крепких и звонких, как стальной нож лопаты, когда ты выдергиваешь ее резко и с силой из глины, из грунта, из заледеневшего снега,— она звенит!.. она поет! Завязавшиеся дружбы и неприязни в эти три пустых дня, в эти трое свободных от всего, кроме себя самого, суток,— стали смешиваться. И ты начал предчувствовать нечто ужасное… Что-то должно было произойти. Как в стаде коров, как табуне конном, как в отаре овец,— здесь назревало нечто: рога коровьи, рожки бычков и рога бараньи начинали стучать по кустам и по рогам и рожкам других, обалдевших от внезапной свободы животных… По ночам ребята выпивали, ржали, смеялись, пели — но шепотом, шепотом, шепотом. Всегда кто-то (плюс дневальный) стоял на стреме: «Шухер! Шуба! Вааленкиии идууут!..» — тоже шепотом, шипеньем, долгим и зловещим,— так шипит Баренцова волна, взбегающая на берег, на замшелые валуны, а шипящий от лопающихся внутри себя пузырьков воздуха мох… Ты мох, а я не смох…

В последнюю вольную ночь — случилось. Началось в правом дальнем углу помещения, где обычно собирались, сдвигая двухъярусные койки, приблатненные — бывшие жители, или выходцы из предместий больших заводских городов, рабочих поселков, где блатота «держала мазу», бездельничала, балдела, била, воровала, грабила и пела заунывные песни «По тундре, по широкой равнине…» или «Я помню тот Ванинский порт…» или, на худой конец, «Мурку», но не ту, классическую, а иную, «Мурку» оборванцев и пьяниц городских («С муркой па прашпекту / как-та я гулял / фанарик на пулсвета [мне] дорогу освещал / и штап была висилей нам вдвоем ити / в кабачок пичорскава ришили мы зайти / захажу в пивную садюся я за стол / и бросаю кепи свой прям-таки пад стол / спрашиваю мурку че ты будиш пить / а ана мне спичит мол галава болит / я теа ни спрашиваю

че у теа болить / а я теа спрашиваю че ты будешь пить / пензинская пива самагон вино / душистую фиалку или ничаво…»). Или стонали, пьяненькие: «Ай, же ву же я так хачу / давайте вместе падуим на свечу…» Когда приблатненные «гуляли», вся их ругань и прелесть песенная исполнялись шепотом — деж-по-части убил бы за такие гулянки, за такие дела… Койки сдвигались — получался «корапь», или «каропка», то бишь корабль, который ходил по сушам, долам и горам и тащил на себе этих идиотов домой… Когда такой корапь качался в шепоте хоровом волн человеческой тоски и разгуляй-поля, Ваня вспоминал Уралмаш: в правом углу кубрика-роты был извечный и повсеместный, неизбежный уралмаш. Ты вспоминаешь свой двор уралмашевский, где на стыке трех домов-кораблей (хрущёвские кирпичные пятиэтажки шли конвоем вдоль ул. Восстания — на запад), на стыке домов-эсминцев, прямо между ними существовал заасфальтированный пятачок суши с тремя чугунными круглыми крышками над спусками к теплотрассе, канализации и к холодному водоводу. Асфальтовый островок был всегда сух, чист и серебрист (асфальт был какой-то полудрагоценный, что ли?). Летом — меньше, но весной-сенью-зимой он был завален кучками, а иногда и кучами, вареной пшенки, других каш, семечек, хлебных корок, размоченных в воде и сдобренных подсолнечным маслом: это была столовка для птиц, кошек, собак и алкашей. (Бомжей в те поры еще не было — были добровольные бичи [Бывший Интеллигентный Человек]. Бич был бродягой, поэтом, не подчинившимся власти — никакой власти: ни белой, ни красной, ни империалистической, ни коммунистической, ни социалистической-с-человеческим-лицом [лицо, конечно, здесь представлялось всегда или Железного Феликса Дзержинского, или хитрожопого недоумка и злодея Свердлова, или душегуба Берии, или папашки, пахана, пахаря по народам, по плоти человеческой, по душам непокорным и вольным — товарища дьявола, генералиссимуса Сталина], ни какой-либо иной.) Власть как слово, само в себе, агрессивно, потому что лексема эта — вся — есть агрессия… Власти решили-решили — и порешили. Всех. На хрен. Ныне и присно…

Когда ты пересекал этот остров Простой Еды, ты останавливался и становился частью этой планетараной бедности и голода: воробьи, синицы, голуби, чечетки, снегири, сороки и вороны, кошки и шелудивые симпатичные навечно собаки принимали тебя — любого — и с приношением, и с пустыми руками. Ты приседал на корточки

и гладил кошку, щенка, голубя даже сороку — и они не разлетались и не убегали, т. к. под ними, с ними и под ними был остов Любви и Милосердия… Тебе, немтырю, не нужно было объяснять, что делать: ты тащил домой раненого кота, собачку с перебитой лапой, голубя со сломанным крылом, выхаживал их с медицинской помощью Кати и быстроногостью (сбегай-ка туда-сюда) братишки Андрея… Ты сидел задницей на теплом (теплотрасса!) асфальте и грел котят, заграбастав их по двое, по трое и прижав их к животу — грейтесь!.. Ты хоронил в задрипанном Летнем саду у военкомата под соснами трупики птиц и котят. Шел туда со скорбной ношей и саперной лопаткой, которая тебе сильно пригодится лет через 8–10 в Арабии, в Индокитае и еще черт знает где… Ты плакал — юродивый, блаженный, немтырь, думатель и страдатель стихов, думатель и сочинитель музыки своей, внутренней, нутряной, никому не слышной, безвидной и огромной, как небо, которое посыпало твою детскую, но большую и дурную башку сухими иглами сосновыми, пришивая тебя хвойной иглой, но без нитки — к небу. К небу. Только к небу…

В приблатненном углу роты-кубрика, в самом дальнем углу МП и СФ, начиналась — уже не шепотом — перепалка, чреватая гражданско-пацанской войной. Дракой. Бойней. Стычки и драчки случались и раньше: тычки и угрозы, однако, не доходили, не дорастали до махаловки, до махача, до мордобоя, до бунта над самими собою, до бунта беспощадного — все понимали, что ссорящиеся суть сами по себе оружие, с рукопашкой, с поставленными ударами, с конечностями, знавшими — до автоматизма и холодной безрассудности — как и когда, а главное — куда бить. Юрка встал с койки, одернул робу и вдруг медленно произнес: «Мейне мутер арбайтен ин кольхоз…» — это был страшный знак — Юрчик был лучшим в ринге, на татами, на матах, на полу (на палуб-б-бе!), он боялся только одного: левого бокового от Вани… Вовка и Ваня вскочили. Все — почти сто человек вскочили с коек и повернулись лицом к приблатненому углу, где уже человек пятнадцать поталкивали друг друга плечами, локтями и слегка расслабленными (как всегда перед боем-схваткой) руками. Но — ноги! Ноги были напряжены и уже держали нижнюю часть стойки… Кто-то по-азиатски вскрикнул: «Ху.инам-Ханум!» — и началось — из угла поползли по всему помещению, во всему этажу, по всей учебке (2 этажа, 6 рот, 6 кубриков, 6 приблатненых углов — подгнивающих и воняющих

опасностью)… Юрчик снял черный ремень с яркой бляхой, чтоб не убить, не дай Бог, кого, и уже громко, на весь корпус, на все здание, на всю в/ч прорычал: «Мейне мутер арбайтен ин кольхоз…»

Схватка была короткой. Отчасти она была бойней — били блатных. За все хорошее: за грязь словесную, за наглость, за зверство в отношении собак, кошек и крыс, за обжорство, за кавказский гашиш, за исковерканный язык, за обосранную в диких ртах речь: «Дьжиньси изь матириаля дж'иппи…», за «Твою маму имел… и — сестру», за ночную жертву, за игру в «польськи покир», за мужское бля.ство — за обнимашечки парней черноголовых в голом виде (хотя они и голые были одеты в дочерна синюю волосню, за украденные письма, за самоволки бабам-вохрам *(вохр)*, поселенками здешним после зоны, за сладенькие рожи их, за лживость — за все… Вовка с Ваней держали Юрку — он рвался в бой, пока Ване не прилетела ременная бляха с якорем в лицо — нокдаун. Кровь. И здесь уже Иван с кровавой башкой рванул громить местный, заполярный, грязный, военно-морской уралмаш. Иван дрался и бил по-баскетбольному — с дриблингом, с работой на всех этажах тела неприятеля, от стопы до макушки. Володя шел, как крейсер, рассекая грязноголовую толпу из блатного угла. Юрка бил всех (и Вовке попало). Ваня кричал: «Парни, блок, блок, блок!» Но Юрчик его не слышал и глушил эту татуированную рыбу (блатные успели за пару дней опортачиться: лодки, коробки, девкины лица, титьки, надписи типа «КСФ», «МПСФ» — это ничего, можно, но иные портачки с текстами были непроизносимы, грязны и ужасны) с нескончаемым рыком: «Мейне мутер арбайтен ин кольхоз!..» Слова в этом призыве были страшны по-настоящему. Они были словно из 1941 года, когда терять, кроме Москвы, было уже нечего: столько в этом рыке было «любви» к немцам, к неприятелю, к советской власти, к жизни в «кольхозах», к жизни и смерти вообще…

Иван прикрывал спины друзей (у этих, «угловых», он знал, были ножи, и они, суки, не отказались от ремней, как все остальные — и бляхой можно убить — легко, в висок — и все). Ваня поостыл, охолодел, он стал внутри себя ледяным — и уже бил редко, но точно в цель: подбородок, в челюсть боковым, нет! — не в висок — убьешь, в ухо, в печень, в солнышко, в кадык, опять в солнечное сплетение… И ему прилетело, но теперь от него, всего в крови, как бы только что сделанного Богом из крови, — все шарахались, отпрыгивали…

Нож! В руке, левой, у Сайнишвили, наметившего себе Юрку… Володя подался к Сайнишвили, к Зурабчику, но Ваня прыгнул раньше — ногами вперед — левая в голову, правая в грудь… Раздался выстрел из СКС-43, потом еще два. Это Вася Микаэлян попортил потолок. Все замедлились, приостановились и — замерли на местах своих… Разняли бьющихся в партере — и теперь рота стояла, любо-дорого посмотреть — вся драная, многие с разбитыми мордами, но с горячими сердцами и опустевшими душами…

Три группы патрульных развели пацанов в тельняшках, в тельниках, в полосатых майках, в рванье, в тряпках — и пинками построили в две шеренги, лицом к лицу. Юра, Вовка и Ваня стояли рядом друг с другом, и Ваня громко сказал — все услышали: «Ни хрена себе поработали с мейне мутер ин кольхоз, ни хрена себе поарбайтали!..»

Коллективная драка разрастается долго, не сразу все набрасываются на всех. Это как постное масло, пролитое на скатерть — долго стоит и терпит свою сгущенность, плотность, крепость и возможность оставаться в своем нерасторжимом единстве. Но скатерть подмокает, пропитывается жиром — и дышать ей уже невыносимо тяжко и трудно,— и она отдается маслянистому веществу, и сама становится маслом, и темнеет, и чернеет, и воняет, и липнет ко всему, что — не масло… Такие драки, схватки заканчиваются быстро — как-то так сразу: а ху.инам-ханум? что это было? А? Почему? Откуда?.. Все стороны разводятся по лавкам… Все напуганы, но еще горячи… Брось горящую спичку на промасленную скатерть — пыхнет так, что мало не покажется… Майне херц арбайтен ин фалер, фрайер-фрайеришко.

Потом из строя начинали выдергивать по одному, но не в баталерку и к деж-по-части, а сразу в штаб учебного полка. Почти все возвращались, уже подмазанные йодом и зеленкой, подмотанные бинтами, прихрамывая или обнимая ушибленную руку. Но возвращались не все: семеро угодили в санчасть, а семерых отконвоировали на полковую гаупт-вахту. «Гауптическая» вахта при штабе была фуфлом. Повезло. Не дай бог попасть на губу к Бармоше, в Мурм*а*нск. Бармоша — старый мичман, фронтовик — хозяйничал на объединенной (или «центральной») губе тихо, спокойно и люто. Его знали все — и плавсостав, и МП, и остальные — «базовики», обитатели и обслуживатели военно-морских баз: ГСМ, хозроты, автороты и автобаты, снегоуборочные агрегаты, камбузы, офицерские столовые,

матросские чайные и кабаки (это только для офицеров). Итак, семь на семь, и среди них семеро блатных, припокалеченных слегонца-не-до-конца. Семеро арестованных (именно так припечатал начштаба Скрипка, красивый мужик, подполковник, умница и добряк). Среди задержанных и принятых были нормальные пацаны, а также (а как же! — ведь лидеры, победители всех и всяческих) Юра, Вова и Ваня… Сидели все вместе, в одной камере-каморке, рассчитанной на одного-двух хулиганов, самовольцев и водяроходцев… Ночью на губу зашел Арефьев. Вывел Ивана из клетушки, из кладовки арестантской, увел в пустую штабную комнатку. Закрыл дверь изнутри на замок. Достал из-за пазухи моряцкой безразмерной две бутылки водки, полметра сырокопченной, десять пачек «Примы», спички… И все это он проделал молча и не глядя на Ваню.

— Вот такая, Ваня, хренотень вышла… — Иван Иваныч достал из бездонного кармана небольшой термос. Термосик в форме сорокапятимиллиметрового пушечного снаряда без гильзы. Налил Ване в термосную кружку кофе, крепкий-крепкий-крепкий, как армянский коньяк «Ахтамар».

— Чисто «Ахтамар», — бормотнул, заикаясь, Ваня.

— Да, Ваня, «Ахтамар». Ничего еще смотаемся как-нибудь в Ереван к Самвелу, к Микаэляну, к Васе… Ты вот, это, ну… пей, Ваня…

Иван выпил-проглотил коньяк и вдруг понял: все — абзац, нет — АБ-ЗА-ЦЦЦ!.. Блин, бл, бл, бл… Взбледнулось. Да уж… Посадят. Из-за этой твари… Сайнишвили… Так его и разтак…

— Сайнишвили убили. — Арефьев помолчал. — Эй, моряк, морпех… Не ссы. Прорвемся. Ты ведь семьдесят три километра пробежал — на выживание. Да… Ты ведь, Ваня, — Орлов. Орлов-Черминский. Ты ведь здесь легенда. Офицера балдеют от этих километров. Все спрашивают о тебе. Ни-че-го: прорвемся!

Ваня, подавив в себе слезы зевком, спросил:

— Как так — убили? Это не наши. Ну, не Юрка и Вовка. Это они, суки, небось на перо поставили?..

Арефьев помолчал… Закурил. Дал зажженную сигарету Ване:

— Да, ножом. Брюхо вспороли. Блатняк гребанный… Ниче, прорвемся… Дисбат вам всем троим обеспечен, т. к. вы — лучшие, сильнейшие. С позволения сказать, и умные. Не пролетарии всех стран…

— Но Юрка-то из колхоза.

— И в колхозе люди живут. Настоящие. А то как бы мы товарища Гитлера раздавили вместе с внутренней бериевской сволочью…

— Берию точно расстреляли?

— Да. Точно. Точно в затылок. Башки не осталось. Одна шея кавказская. Небритая…

Они долго молчали. Курили. Допили кофе. «Ништяк кофе», — подумал Ваня…

— Моя задача убедить Скрипку отправить вас в воентрибунал, но не на гражданское судилище, где вляпают по пятнашке. Каждому. На лицо и налицо.

— А дисбат?.. Сколько?..

— Два. Может быть, вероятно, возможно, два плюс два или два плюс два плюс два. И такие случаи бывают.

Они встали. Обнялись. Иван снова подавил слезы зевком… Собрал гостинцы. Затырил все под робу, выпущенную наружу, под тельняшечку, заправленную в трусы.

— Все, пошли…

———

На штабной губе парились неделю. Выводили по одному, но не на допросы. Беседовали. Видимо, все уже было решено. Молчи-молчи, грустный и грузный полковник, отиравшийся по молодости в войну и в НКВД, и в СМЕРШ, мягко выдавливал арестованных в сферу национальной неприязни (убит-то был *грузин*), ненависти, травли покойного блатняка. Этот гад работал почти нежно и весьма участливо, но глаза его, деланно добрые и наивные, состояли из жидкого стекла под стеклом очков, но глаза его страшили парней в тельняхах и страшились — одновременно — самого себя. Полковник заваривал дело большое — до измены Родине. А это — расстрел (убийцы ведь). Оказалось, Печерский заходил ночью и прояснил: у Сайнишвили был папа, партийный хозяин одного из районов Грузии. Все. Конец. Прощай, мама, свобода. Здравствуй, разлинованное арматурой небо и бетонная стенка, исклеванная свинцовой горечью ТТ… Приезжал из Мурманска представитель штаба Северного флота, вызывали и к гонцам из Питера и Москвы — эти гнули, в разрез с молчи-молчи и другими партийными комиссарчиками, в другую сторону: перепились, подрадись, один — блатной — довыеживался,

получил перо в брюхо, за базар и — главное — за карточный долг. Молчи-молчи обвонялись, но против Москвы и города Ленина не поперли — Баренцево море холодное и глубокое, и в нем живут норвежские лодки (боевые тревоги раз-два в неделю).

Ночью приходил Самвел — Вася Микаэлян. Пили прямо в каморке «Ахтамар». Ах, Тамара!.. Где ты и где мы?! Эх, Ху.инам-Ханум… Вася, уходя, обнял Ваню и шепнул: «Делают дисбат… Я их маму имел… Завтра вас двинут в Мурманск, а тебя — в Питер, как самого умного и немтыря… Главарь, да?! Не ссы… Мы вас не бросим…»

Один из арестантов, доходной Илюшичев, который и в роте-то два раза изображал самоповешение, раскололся: подписал всю эту ахинею про нацненависть и прочую херню, показал на Юру, Вовку и Ваню — главари, они и начали, и кончили. «Зачем же резать? — подумал Ваня, — резать блатного?.. Резать?! Проще десантный или штык метнуть в лоб… Вот уроды, вот урод, вот следаки, вот свидетель и тоже пострадавший… Бедняга Илюшка… Закатают щас до износа тельца и души…» Да, на неведомых тропинках напишут-напишут наши имена.

Сидение на губе кончилось тем, что Илюшичева отправили в учебку и переводом в морскую авиацию, где он через полгода повесился в кочегарке. Ваню отправили с конвоем в Ленинград — в тюрягу при воентрибунале, а пятерых оставшихся перевели на Мурманскую гауптвахту — до заседания трибунала.

———

Ваня всегда помнил — это: отец, по словам Кати, как-то в гневе и во хмелю сказал ей: «Без меня твои хлопцы пойдут по тюрьмам да по ссылкам…» Папино пророчество. Пророчество инженера-казачка, или казачка-инженера, сбывается?! Иван был определен в одиночку (камера без окна, площадью два на три метра, — шконка поднималась к стенке; стола не было, табурет стальной с отполированной задницами сидельцев поверхностью до зеркального состояния). Сутки (первые!) он спал, то сидя на зеркале заднеместном, то стоя у стены, но не касаясь ее, то стоя посередине хатки с опущенной головой (дневальство в учебке научило и этому вполне нормальному сну). На другой день (второй) Иван получил маляву (моряк-вертухай передал: заорал на Ваню, мол, что это тут на полу разбросано [пол был бетонный и отшлифованный гадами (рабочие

ботинки)], что за бардак на палубе?!). Ваня увидел у левой стопы своей бумажный шарик. Оставшись один, выдержал двухчасовую паузу (он всегда чувствовал и знал время, даже без часов; он понимал время, и оно замечало его) — и при свете неугасимой лампочки в намордник, которая горела круглосуточно, расправил бумажный лепесток. Это была записка. От Арефьева. Мол, не ссы, все нормально, две-три недели в Питере — а там трибунал и дисбат на два года… Записка пахла табаком. В железную дверь ударили. Она открылась. Кто-то вбросил в камеру зимнюю флотскую шапку. Она, почему-то тяжелая, хлопнулась точно на табурет. Чуть-чуть проехала-проскользила к краю, к обрыву — и остановилась. Ваня поднял шапку с табурета.

Усопший брат кто сон твой возмутил
Кто пренебрег святынею могильной
В разрытый дом к тебе я нисходил
Я в руки брал твой череп желтый пыльный…

Эх, Евгений Абрамович, брат Боратынский… В шапке он нашел сигареты, пару шоколадин, чурчхельные колбаски, пластиковую фляжку (0,5 л) со спиртом и книжку-малютку со стихами Боратынского. Через полчаса в камеру вошел офицер (то ли старлей, то ли капелей) и сказал, что шконку («складная кровать») можно опустить — и лежать на ней тоже можно. Принесли стол. На стол он поставил матросский чайник (5 л) с крепким сладким чаем. Матросик положил на стол буханку ржаного, соль в солонке. Потом служивый подошел к шконке и сунул под черное суконное (ох, колючее) одеяло палку сырокопченой, еще пачку сигарет, спички и мыло: в углу камеры был толчок и умывальник. Все вышли. Дверь грохнула, взвизгнули запоры. Ваня сел на черное одеяло и заплакал…

Потом, уже на следующий день, служивый шепнул Ивану: сидеть тебе месяц. Ломать будут психически. Но… Привет от Арефьева. Не ссы. Прорвемся…

И пусть простяся с лирою моей
Я верую ее заменят эти
Поэзии таинственных скорбей
Могучие и сумрачные дети…

Ах ты, демон ненаглядный… Душа, хлебнув неведомых скорбей, болит… Хорошо тому, живется, у кого стеклянный глаз… Эх, дубинушка, ухнем… в бездну!.. Призраки счастья остались за Волгой, за лесами, в приземистых, но скалистых, скалящихся над водами, горах Урала. Призраки счастья ходят окрест, но не заглядывают сюда. Не заглядывают в тебя. Ты хочешь включить в голове музыку — не включается. Ты хочешь вспомнить деда — не вспоминается. Ты хочешь поймать над серым домом, в котором заперт, над городом Ленина; нет, сначала Петра, потом Ленина, а потом лет через… опять Петра. Петра и Февронии… Ты хочешь уловить в сыром небе звук, слог, слово, строку… Ни-че-го.

Черное одеяло. Черный стол. Черный зеркальный под зад табурет. Белая койка-шконка, но вытертая до черноты небесной, ночной. Белая (пока белая) подушка. Серые пол, стены и потолок — темно-серые до черноты барачной. Черная дверь. Жестяная, замызганная до черноты умывалка. Черный от тени перегородки унитаз. И — белое лицо твое, отразившееся в стальном зеркале баночки, привинченной или приваренной к бетонной с арматурой палубе. Ничего цветного: синего, красного, оранжевого… Даже полоски на тельняшке стали черными. И офицерик — весь черно-белый. И гюйст/воротничок на плечах и шее служивого — черный, и роба его черная. И чайник темно-сер и черен. И кружка черна изнутри от чефира и снаружи — от глаз, шоркающих кружку остановившимся взглядом.

Мир стал черно-белым… Говорят, это проходит. Когда? В брюхе урчит — кусочки колбасы гибнут. Колбаса гибнет. Все гибнет. И ты гибнешь. В тебе, гибнущем, гибнет твой мир. Черно-белый мир. У всех ли это так: черно-белое вещество несчастья? У тебя корова бела да гладка — у соседа черна и гадка. Черно-белая корова… И вдруг ты замечаешь: в голове играет тихо-тихо, тихо, громче, все громче музыка — гитара. Старая, раздолбанная, толком ненастроенная. И — Высоцкий поет.

Наши мертвые нас не оставят в беде
Наши павшие как часовые
Отражается небо в лесу как в воде
И деревья стоят голубые…

Он вчера не вернулся из боя. Ты вчера не вернулся из боя. Из боя. Из бойни… А потом вдруг в башке включили Марка Бернеса «Журавли». Матросы, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли… Да уж. Тоже сравнил. «Не сравнивай, живущий несравним». Не сравнивай живущих с мертвыми. С убитыми… Ты убит. Убит не смертью — а жизнью… Ты выпьешь спирту. Закуришь. Социализация подлости — это всегда прагматика и смерть человека… А ты — кто: человек? Гражданин? Преступник? Убийца, не убивший пока никого?.. — Сейчас бы ты смог убить того гада Сайнишвили. Второй раз убить. Можно ли убивать второй, третий, пятый раз?..

Ты черно-белый насквозь, все просрал. Все. Все профукал… Нет, это система все профусракала. Ак-сракал… Белобородый… Ты проаксакакал все: и жизнь, и смерть. Осталось проаксакалить любовь… Любовь — вот все, что у тебя, да и у всех нас, осталось. Одна дура пишет Вовке Симакову (она его «ждет» из армии — жданка такая вот. Бабушка запоздалых телят-телочек, как корова отелится, опростается, — называла Жданками), спрашивает Вову эта Жданка: «Вов, а у тебя бывало так: сначала секс, а потом любовь?» Секс в семидесятых означал прежде всего понятие «пол», а эта петербурженка уже знала (от финнов-туристов иное значение — постельное) это словечко, которое облетит всю Россию и СССР через двадцать лет и внедрится в слабые головы и головки полуголодных и обожравшихся юнцов и юниц, бандитов, журналистов и псевдописателей, вытеснив из существа человеческого все остальное, все — кроме денег… Порнокопытные тельцы и телки. Господибожетымой!

С Таней все ослабело, отошло, выдохлось. Иван не просто охладел — он устал от Таниных уменьшительно-ласкательных суффиксов в письмах в Заполярье: «мальчишечка», «ребеночек», «свердловчаночка», «пензенята» (второй трамвайный вагон в Пензе, где Таня отдыхала у родни), «кашка», «котлеточка», «пюрешка», «супчик» и, наконец, «любименький мой»… Бедная Таня. Бедный ты. Бедный мир человеческий… Ты пишешь Тане письмо. Короткое. Финал текста таков (спасибо Михаилу Юрьевичу):

Прости увидимся ли снова
И смерть захочет ли свести
Две жертвы жребия земного
Как знать итак прости прости…

Что будет с тобой: зона, расстрел (подстава явно была — тебя подставила шпана, и нож оказался меченным тобой — «ИОЧ»: Иван Орлов-Черминский. Дома ничего не знают — ни Катя, ни дед, ни бабушка, ни Коля (знал бы ты, что через тридцать лет ты назовешь своего первого внука «Николя»!), ни брат, ни друзья-товарищи. Никто. Ты передал через Микаэляна пять коротких писем домой — отсылай, мол, Вася, раз в неделю — в две по одному письму. А там — суд. Все решится и определится. И тебя определят: к стенке или к решетке, или к проволоке колючей.

Ночью в камеру заходит служивый. Он очень большой, не толстый, но костистый, жилистый, среднего роста. Волжанин. Костромской. Очень акает (ты удивляешься: ведь на Волге по-Максимо-Горьковски окают! — все это совсем не так — очень мягкое, плюшевое, симпатичное акание, не как у московских ребят — те прямо-таки не могут выбраться из вокальных нулей (мл*ъ*ко) и из огромного, бесконечного а-а-а (млаааако) с короткими ударными гласными заднего ряда (небного, небного, небесного). Служивый — Сергей, Серёга — прикрывает железную хлопушку — дверь (в детстве и отрочестве на Уралмаше ловили синиц хлопками — клеточку с дверкой, поднятой вверх, на резинке, с палочкой и кусочком сала на нитке внутри клетки: птичка прыг на палочку — ловушка захлопнулась). Ты и Серёга сидите в хатке тюремной, как две синицы — уральская да волжская.

— Что делал на гражданке, Серёга?

— Как все. Работал.

— Кем?

— Дураком.

—? — Ваня глянул в серые глаза служивого.

— Учился в ремеслухе. Выгнали. Рука у меня тяжелая. Как у тебя.

— Да ладно, я против тебя щенок.

— Ну-ну. Морпех. Девяносто км пробежал на выживание!..

— Семьдесят.

— Ни хрена себе… Я бы сдох. А ты — кто, чем и как на гражданке?

— Фрезеровщик. А еще… Я — чтец, читатель, глотатель книг. — Теперь уже удивился служивый:

— Говорят, стихи слагаешь?

— Нет, Серёж, это они меня слагают, шлифуют. Душу. Мозги. Сердце… (ты чувствуешь, что сейчас разревешься: впервые

в жизни — такое признание, да еще кому — охранничку, вертухаю… Боже мой и его Господь — тоже…).

— Эй, Вань, не кручинься… Заходил тут кап-два, ваш, СФ, Орехов… нет! — Арефьев. Гутарил с хозяином. Я прислушивался. В коридоре. У волжан слух офигенный, железный: Волга шумит, река, вода, небо в водах шумит-кувыркается… Хозяин все знает. Сказал, что в дисбат пойдешь ты и твои кореша… Покурим?

— А тебя не зашибут — нарушаем безобразие, а?

— Не. Я здесь в дедах. И батя у меня в обкоме обкомит, робит и командует. Не тронут. Я ведь тихий. Работаю. Тихий, но звонкий. В меня бить нельзя — я колокол, в Москве услышат…

Они закурили. Глотнули по очереди из фляжечки спирту.

— Спиртяшка отменный. Ректификат. А это, Ваня, здесь редкость. В Питере мореманы уже выжрали все, что льется.

— Да-а-а. Хорошо спирт пьянствовать. Когда еще придется?..

— Все будет… Арефьев этот, Орехов-то, как я брякнул по слуху, — он легенда ВМС СССР… Герой. Воин железный. Дал тут адмиралу прищечину — прищучил козла, его, легенду, и разжаловали. А щас восстановили в правах. Его, Орехово-Арефьева, сам Горшков, главком ВМС, уважает. И министр обороны Гречко лично знает, любит и ждет…

— Да, брат, хоть на танцы иди теперь с этими круанозвездными погонами… — Ваня помолчал, — Арефьев мне родной. По крови.

— Вот-вот, я и говорю. — Служивый Серёга поднялся с койки: — Шконка ништяк — поменяли мы ее на люльку корабельную. Спи спокойно, дорогой товарищ.

— И тебе, Серёга, доброй вахты…

Хлопка сработала. Ты один. Старший матрос, или ефрейтор, Орлов. Серёга пошел спать вахту. А ты ложись… Лег — и впервые за две недели включилось воображение: в черно-белом мире появилась изумрудная точка, вольная и подвижная — она описывала круги, чертила разноцветные фигуры, тянула радужную ленту внутреннего твоего Северного сияния. Ты теперь — весь — Север. Огромный. Белый. По бледному лицу твоему ползет, мерцая и искря, радуга. Или призрак радуги. Не спи! Ты уже в Шатрах. Зима. Весна. Лето. Лес. Небо, натекающее в лес, текущее в лес — по стволам берез и сосен, по ветвям, по воздушным столбам, высящимся между дерев. Ты — свободен. Волен. Ты волен и свободен истинной волей и свободой. Свобода и воля настолько велики, что и дышать

не нужно: ты — сам дыхание: и свое, и земли, и леса, и озерца в низине, и неба, обоих неб — верхнего, свободного и безмерного, и нижнего, свободного, вольного, отраженного в воде, сконцентрированного до скрипа волн, трущихся друг о друга, о небо, о его отражение, о твой взгляд, о твою душу, о твои уста, готовые шевельнуться — так много в тебе языка, мысли, призраков этого и того мира, этого и того света, и света как такового. Но ты молчишь — за тебя говорят деревья, птицы, звери, травы, цветы, воды, небеса и небо, небо и небеса, воздух и невоздух, пустота и теснота жизни, пустота и просторность смерти, воля и свобода любви. Ты идешь по лесу и видишь в яме, заросшей крапивой и лопухом, в бывшем золотоносном шурфе уральском, в травянистой горсти земли — волка. Волк сивый. Волк лежит, вытянувшись, на боку и смотрит на тебя спокойно, как на родного ему человековолка, левым глазом. Ты стоишь. Ты кланяешься волку, яме, лопухам, смерти, любви и бессмертью волка, которое уже окружает его со всех сторон — голубым и зеленым. Ты идешь дальше и видишь на тропе другого волка — молодого, серо-серебристого, спокойного и умного. И ты кланяешься ему. И молодой волк улыбается тебе. Зевает. Показывает — нет, кажет рубчатый свод пасти. Бледно-розовой пасти. Нежной пасти. Волк поднимает голову, садится, поднимает голову еще выше, вытягивает шею так сильно, что глазам больно. Волк зевает. Негромко. Ми-минор. Все человеческие песни любви-тоски-смерти и бессмертия вьются в ми-миноре. Волк опускает голову. Поворачивает карие очи к тебе и опять улыбается. И — уходит…

Вверху что-то шумнуло. Рысь. Молодая. Самка. Смотрит на тебя, как на жениха, как на дружка своего. Кисточки на ушах дрожат. И листва с небом дрожат над ними. Крыжовенные очи рыси зеленеют-зеленеют-зеленеют — и гаснут. Все. Рыси нет. Вместо нее — пустота, внутри которой клубится и рябит призрак рыси. Рыси вольной и свободной.

Ты идешь по тропинке, каменистой, галечной, кристаллической, как речь, облаченная то ли в музыку, то ли в солнце, то ли в стихотворение, то ли в дождь — дождик при ясном небе, густой и мелкий, небольшой, но частый и огромный, как выдох неба — всего неба. Впереди — весь путь твой — бежит перед тобой трясогузка, самочка, — самец, путаясь в травянистой обочине, отстает, потом подлетает — перелетает, залетает вперед, как ты заглядываешь в середину

и в конец книги, которую только-только начал читать. Кварцевая дорожка — твоя и трясогузок — переходит в пыльно-кварцевый проселок, в потом в грунтовую дорогу, неширокую — как раз под лошадиную повозку, телегу, под мотоцикл с коляской, под грузовичок… Ты сворачиваешь влево, на восток — к березово-тальниковой рощице, темнеющей и светлеющей, тенящей и блистающей мелкой листвой. Подходишь к этому огромному существу — к роще: у нее своя жизнь — явная и тайная. Она живет сама по себе с птицами и зверьками, с косулями, заходящими сюда рано утром, — и она живет сама по себе со смертью и смертью — внутри рощицы немецкое кладбище. Роща живет одновременно и жизнью — всей, и смертью, упокоенностью, обезболенным существованием праха тех, кто зарыт здесь давным-давно…

Воображение твое обволакивало жизнь, вбирала ее в себя, вдыхала, — и выдыхала мысль. Воображение само по себе становилось жизнью, более того — воображение взрослело, оно было уже крупнее и значительнее себя, жизни и тебя, поводыря несчастья твоего, и тебя, ведомого памятью — прошлой, нынешней и будущей. Грядущая память опережала опыт. Эмпирика нарастала на нее, как иней, как ветви и гроздья соли под землей, как кристаллы воды, алмаза и слез — всюду, если уже зима и окрест, и в тебе. Отчуждение от мира людей, от общества, от ритуальной активности, равнодушной и бесцельной, — отстранение, самоотстранение делало тебя еще свободнее… Немцы, похороненные здесь, в роще, освободились от дури человеческой и стали вольными. Вот они смотрят на тебя из-под каменистой земли — Гансы, Иоганны, Рихарды и все, все, все, кто был убит здесь разлукой.

Отчуждение от армии, от флота, от Кольского, от Питера, от себя внешнего уводит тебя в благодатное одиночество. Только одиночество может соединить память прошлого, настоящего и будущего в память бытийную, онтологическую, где все живы и где все — живое… Косуля, махонькая, высунулась головой и шеей из кустов рябины с оранжевыми кистями недозрелых ягод — и улыбнулась, чуть отвернув головку вбок, в сторону — в сторону света, льющегося из полей необъятных, из небес, наклонившихся к земле, как чаша — легкая, голубая и бездонная…

Судьба твоя? Ну да. Ага. Как же. Ну-ну. Судьба — это женщина с мужским лицом. Лучше — с оленьим лицом. С лицом косули.

С лицом трясогузки. С лицом волка, юного и седого, умного и сильного, нет — мудрого и вечного. Волка-друга. Друга твоего…

К тебе вернулось детское зрение, убитое миром. Мирское зрение угасло. И ты — вдруг — видишь растение — шиповник. Трехкровное растение: зеленая кровь — в стебле, красная и белая — в соцветиях. Черная кровь — в земле. Светящаяся прозрачная кровь — в камнях. Голубая и синяя — в небе… Меня убьют. Но смерть — не разлука. Разлука — тюрьма и сума? Ты не зарекался от них. От судьбы с глазами рысьими, волчьими и оленьими — не заречешься… Ты включаешь в себе Вивальди. Потянуло музыкой. Потянуло из глубин и высот воображения, снега, скал, болот, неба и души. Ты спишь — и Вивальди с тобой. Держит тебя всего в себе…

Пора думать. Спать и думать. Додумывать стихи, романы, рассказы; досматривать фильмы; доигрывать музыку, как додумывают жизнь и смерть, любовь и бессмертие, как домысливают мир. Ты лежишь на казенной койке. Матросской. Арестантской. Ты лежишь на шконке, как на земле. Лежишь — плывешь — летишь на шконке, на койке, как в земле. В земле, перемешанной с небом, с огнем, с воздухом, с водой. Морской. Солено-горькой. Ты лежишь в слезах, как в море. На дне. Ты лежишь в море, как в зрячих слезах, видящих сквозь тебя — со дна — пленку, поверхность воды, глубины, толстой глубины, как во рту у прорвы, у бездны. Ты ощущаешь, но не понимаешь, что во что переливается — воображение в мир, или жизнь — в воображение, в ближние и дальние мечты, которые перестали тебе подчиняться. Жизнь и воображение переливаются друг в друга, перемешиваются и — медленно и страшно, но вольно и свободно переливаются в третий сосуд. Третий сосуд. Третье бытие. Третья материя… Вот что тебе не дает покоя с младенчества, с детства, с отрочества, с юности — в молодость. Молодость и взрослость твои переливаются в детство с твердыми стенками, дном и краями отрочества…

Ты идешь в роще, по роще, сквозь рощу вдоль своих воспоминаний о прошлом, сущем и будущем, вдоль лиц — незнакомых и родных, и виденных уже, вдоль лиц — и они с точки зрения бога и тригонометрии уродливы; но вот они оживают, улыбаются, суровеют, плачут, смеются — и они становятся прекрасными, как лица двух трясогузок, до сих пор бегущих впереди тебя. Ты плачешь и знаешь — точнее, узнаешь: это весть! — ты не умрешь, не исчезнешь.

Лицо волка — твое лицо. Лицо рыси — твое лицо. Лицо Генриха Вольфа на истертом непогодой фотографическом медальоне — это твое лицо. Лицо деда, набирающего сено в нитяной оберемок, — это твое лицо. Лицо Ежика, коня твоего прекрасного, — твое лицо. Он смеется, показывая огромные оранжевые зубы, как костяные игральные карты в красновато-желтых рубашках, перечеркнутых сходящимися и разлетающимися линиями — черными, образуя не клетки тюремной решетки, но ромбы домов, строений, зданий деревни, города, страны. Лица инвалидов Великой Отечественной войны, которых ты тащил за руку через дороги — тянул убитые, но живые тела с тележками на шарико-подшипниках. Их потом всех соберут и вывезут из города в бараки инвалидов, где они не сумеют обжить свои зоны. Охраны не было. А на хрена?! — куда они денутся — герои эти — безногие, безрукие, жившие гривенниками и пятачками за чистку сапог, ботинок и туфель, за новые набоечки из жести на каблуки и носочки яловых сапожек офицерских и рабочих ботинок-гадов? — НИ-КУДА. Все они останутся в смерти своей, военной и боевой, как ты плаваешь — в своей, военно-морской…

Ты возвращаешься на полевую дорогу: справа овсы, слева рожь низкорослая с негусто восставшими подсолнухами, под которыми спят в тени голожопки, хомяки, полевки, ежи, ящерицы, змейки — все: ужики, гадючки и верентенницы, безлапые ящерки, длиннющие, сильные, еще медянки — правда, меднотелые и чудесные; рядом дремлют зайцы, скрестив лапки на теплой земле, а в пяти метрах дрыхнет лисенок с темными очками вокруг глаз — он улыбается во сне и слегка подрагивает лапками. Дальше улеглись полукругом бездомные, дикие, но не волкоподобные собачки — они лежат, вытянувшись поперек и по диагонали планеты, хвостами внутрь круга собачьего, а носами к сторонам воли, покоя, свободы, охоты своей высокоорганизованной, любви своей, нежной и ворчливой, искренней и вечной, могучей и великой…

Ты лежишь на спине во тьме с открытыми глазами. Лампочку-мучительницу, горящую, светящую вечно, стали выключать. И плоть темноты, смешиваясь с твоим телом, с душой, со всем существом твоим, начинает показывать свое кино: и вслед за ликами растений, животных и родных твоих — вдруг начинает двигаться, как лента, как ленточка, по кругу бескозырки, — то горизонтально, то вертикально, то по диагонали, — вереница лиц людей, тебе не знакомых,

но тоже родных — лица мужчин и женщин, замученных войной, жизнью, властью, голодом, страхом и вечной неопределенностью: убьют — не убьют, замучают — не замучают… Это были лица людей, израненных войной, битых и разрисованных портачками, выкрученные, как стираное белье,— тюрьмой. Тюрьмой, зоной, лагерем, крыткой земной, откуда тебя выталкивает рок в крытку небесную. Это были лица — открытые, измученные, бледные, но красивые. Лица русские, еврейские, тюркские, финно-угорские, монголоидные и европейские — французские, немецкие, английские, ирландские, шотландские, скандинавские, исландские, уральские, дальневосточные,— но все родные, твои. Это — твои лица. Это ты — погиб, замучен, убит, избит до смерти, расстрелян, повешен, бредущий в колонне зэков, пионеров, матросов, солдат, оленей, лосей, волков, лис и рысей, кабанов и коров, овец и домашних птиц — особенно гусей, белых-белых, как живой и болящий снег…

Крысы захватили корабль. Планету. Команда в трюмах. Крысы на палубе. До поры до времени… Страх и ужас — разные состояния. Ужас — вещество божественное. Страх — вещество низкое, сталинское, гитлеровское, политическое, социальное,— оно вполне победимо. Да! — вполне… Ты проходишь по дороге-дорожке все поля — насквозь. Ты входишь в лес. В настоящий лес, открывающийся и одновременно закрывающийся от всех, кроме тебя, болезного, как главная тайна. Ты сходишь с ума?.. Да? Нет? Да? Нет? Евгений Абрамович, помоги мне, ангел Господень, ангел муки и красоты, ангел гармонии, бездны и бесконечности… В этом открыто-закрытом, прикровенном лесу нет времени года. Это тайга. Здесь всегда — вслед за погодой — стоит зима-весна-лето-осень-зима. Особенно зима — нехолодная, но холодящая чаща, темно-зеленая со столбами — редкими, но высоченными — света, неба, взгляда: взгляда снизу вверх по вертикали и взгляда сверху вниз — отвесного; взгляды сталкиваются — аж шишки осыпаются с хвойных великанов, и осины замирают всей листвой своей чувственной, трепетной и более чем живой, живейшей и животворной, как руки бабушки, прикасающейся к твоей ангине, покрывавшей все твое детское тельце пленочкой озноба, морозца и мерцания снежного, шевеления индевеющей жизни,— жизни пылающей и пышущей стужей. Ты стужа и зной. Ты сосуд, изготовленный из стужи, который наполнен зноем июльским, покосным, рабочим, когда

работают вместе солнце и ты, крестьянин, дворянин, горожанин и еще бог знает кто…

Зима идет и тощая земля
В широких лысинах бессилья
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья
Со смертью жизнь богатство с нищетой
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой
Однообразно их покрывшей
Перед тобой таков отныне свет
Но в нем тебе грядущей жатвы нет…

Евгений Абрамович, Евгений, Женя… Да: со смертью жизнь — в обнимку, навсегда…

В лесу темновато. Но не страшно. Полярная, приполярная, заполярная, внутриполярная звездочка ужаса… Ты скребешь обкусанными в неволе ногтями тельняшку. И ты улыбаешься. Потому что ты — все еще жив. И жизнь твоя в обнимку со смертью проголодалась. Она не может и не в силах насытиться собой и смертью. Она включает в душе, в сердце, в уме, в левом плече и под ложечкой музыку. Вивальди — Марчелло — Корелли — Альбинони. Теперь — особенно сильно и долго Корелли… Она включает Льва Николаевича. Она слышит и слушает Гоголя. Она ведет к тебе Пушкина и Лермонтова. Она обнимает за плечи и подталкивает к тебе по очереди Джека Лондона, Роберта Льюиса Стивенсона, Эмили Дикинсон, Верлена и Рембо… Она подводит тебя к Тютчеву и Боратынскому. Она обнимает и тебя: мол, все в порядке, когда-то и тебя я буду подводить к беднягам, к несчастным, к измученным и к обездоленным… Она входит в темную камеру — из воздуха. Она светится. Светло-русые волосы ее за годы знакомства не поседели. Она высока. Стройна. Сильна. Добра. Умна. Нежна. Участлива… Кто ты — Она?.. Жизнь? Смерть? Любовь?.. Она улыбается: я — все, что есть в тебе и в мире. Ты мир — в мире. И я в тебе. И ты во мне. Мы в тайге. Ты ищешь сухой мох, бересту и налаживаешь костерок…

Костер разгорается. В камере включают свет. В противоположной дверям, узкой стене, проступает окно, которого нет. В камеру

входит Иван Арефьев — вслед за ним еще один офицер из молчи-молчи. Ты сидишь на привинченном к полу (или приваренном? или вмурованном в бетонный пол?) табурете. Они стоят у несуществующего, но светлого окна. Все молчат. Говорит молчи-молчи, мол, идет война холодная, священная война, с американосами, с империализмом и капитализмом; мы, строители коммунизма, выдержим и победим — в холодной, и в прохладной, и в теплой, и в горячей, и в кипящей, и в огненной войне; а ты (это — Ивану), сучонок, затеял разборки в кубрике, это — предательство, саботаж, ты льешь воду на мельницу западного империализма, заокеанского хищнического рынка, на мельницу смерти нашей, нашего молодого, но мощного и непобедимого государства. «Оппа! — говорит громко и весело Арефьев, — Америка-Европа! Папе сделали ботинки на резиновом ходу, папа ходит по избе — бьет мамашу, папе сделали ботинки…» Ботинки у костра-костерка нагрелись, плюнь — зашипит. Она берет тебя за руку, ты встаешь с земли — задница твоя остыла, под штанами она ледяная. Она ведет тебя сквозь чащу, сквозь лес, сквозь тайгу. Долго ведет. Подлесок и кусты расступаются перед вами, деревья прячут корни свои, выпуклые, в землю, пни, коряги, выворотни и сухостой переломанный сторонятся, отступают от вас в стороны. Вы идете уже по иному лесу — березово-осиновому, чахлому, с кочками и чавкающим мхом под ногами. Вы идете по гати — бревнышки подгнившие играют, толкаются, хлюпают в болотной воде. Вы выходите на чистое место — в долину: в центре озеро, в него впадает ручей, из озера вода вытекает в реку, в средних размеров уральскую речку, за речкой горы, Уральские, невысокие, но скалистые к северу и холмистые к югу. Дорога рассекает деревеньку без церковки и часовни. В деревне домов тридцать. Тридцать три насчитаешь ты и скажешь: «Тридцать три». — Да, тридцать три дома, — отзовется она. — Через тридцать три года ты будешь жить здесь. Это деревня Каменка, река Чусовая и речка Каменка. А вон там, на самом высоком холме будет стоять твой дом о четырех колоннах…»

Ты, поспешая за ней умом и телом, душой и сердцем, параллельно четырехсложному движению твоему и общему — по траве, по камням, по камушкам, по бревнышкам, по веткам сухим, думаешь стихи, а еще ты рассуждаешь о чем-то, споришь с собой и со своей глупостью: воображение — это вооружение того, что

зовется тягой, тяготением, гравитацией непокоя сознания, продутого ветром и даром — даром знать, ощущать то, что незримо, но смертельно прекрасно… Воображение твое дает не варианты жизни и бытия, но оптимальный, глобальный образ мира в тебе и тебя в мире — инвариант, как говорят физики-математики. Инвариант без доминант и констант. Чистая материя того, что кличут сознанием. Со-знание материей — материи, со-знание мира с миром. Со-знание с бытием всего, что незнаемо. Что ужасно и прекрасно… И ты вдруг чувствуешь, что можешь прожить в этой одиночной камере — с удовольствием от работы ума и души, еще десять, двадцать, еще тридцать лет!..

Ты остановился. Она присела на теплую каменную плиту у подножия холма. А ты бродишь окрест в кусах и на полянах, в болотинках и камнях. И тебя узнают травы и цветы: белокрылый болотник, горицвет весенний, ветреница лесная, все ветреницы земли, полей и леса, горец змеиный и горец птичий, мать-и-мачеха, ландыши — все, полынь, подорожник, лопух, луговой пастернак, болотный сабельник, седмичник, солнцецвет, конский щавель, болотный сабельник, все колокольчики, пастушья сумка… Все-все-все и все!.. Здесь когда-то был огород. Заброшен. Древняя опавшая, осевшая, слегшая грядка заросла осотом. Осот — красавец: желтые цветы, водянистый красноватый у земли и бледно-зеленый выше стебель в нежных ворсинах-шипах. Но листья осота — прекрасны: они вырезаны из первичной материи всех растений, они неповторимы, вырезаны ангелы не вестником — но поэтом, самим Данте. В листьях осота — и готика (узор), и вольница, дикость и мощь расти наперекор насильному урожаю…

Тебя учила травам бабушка, а бабушку — сам Бог. Однажды ты, еще подросток, порезался косой (обрезался — по-деревенски) — точил косу оселком, поставив ее почти отвесно, уперев острый конец ручки в кочку. Коса сорвалась с кочки и лезвие, блеснув, село на внешнюю часть кисти, ударив — мягко и нежно — в основание большого и указательного пальцев. Дед перетянул тебе руку тряпочкой, и ты на коне Ёжике поскакал в деревню. Бабушка нарвала травок, заставила тебя пописать на разрез, залепила его травками, прикрыла лопухом, что-то приговаривая и нашептывая. Через день на руке остался тонкий белый, абсолютно прямой, шрам-шрамик-шрамчик, стрелка, указывающая в ту сторону, откуда приходит Она.

Она погладила ладонью каменную плиту: «Базальт». Ты присел рядом, положив обе ладонь на базальт — теплый. Она улыбнулась и тихо проговорила: «Прочитай то, из Боратынского, откуда пришел Осип». Ты подумал: да, видимо, пока неведомый тебе Осип заходил в то стихотворение, погостил в нем…

Еще как патриарх не древен я моей
Главы не умастил таинственный елей
Непосвященных рук бездарно возложенье
И я даю тебе мое благословенье
Во знаменье ином о дева красоты
Под этой розою главой исполнись ты
Подобие цветом царицы ароматной
В залог румяных дней и доли благодатной…

Евгений дает и Осипу, и тебе свое благословенье во знаменье ином… Во знаменье ином… Таинственный елей… Муза красоты склонилась над цветами — царица. И ты еще не древен и не патриарх… Прорвусь? Или… Нет, никаких «или». Таинство совершено. Ты — волен. Ты — свободен. И — жив. Всегда.

* * *

Громыхнула дверь. Ты поднимаешься с баночки. Служивый и два офицера стоят перед тобой и всматриваются в тебя, не узнавая в тебе прежнего Ивана Орлова. Орлова-Черминского. Ты похудел — но вполне узнаваем. Что-то не так в тебе. Глаза. Они повзрослели. Они постарели. Они смотрят на эту черную троицу глазами деда. (В голове мелькнуло что-то болезненное, горькое, подуло легко Архангельском начала двадцатых годов — расстрельным Архангельском…) Ты улыбаешься, но не губами — а взглядом. В камеру входит, шагает в нее, как в шлюпку, и вжимается в нее Арефьев. Завтра заседание трибунала по вашему-твоему делу. В Ленинграде. За окном, которого нет (Иван Иваныч Арефьев глянул на торцевую стену), не тридцать седьмой, не сорок первый, не сорок шестой, седьмой, восьмой и так далее. За окном, которого нет, семьдесят четвертый. Декабрь. Все осторожно, не толкаясь, выходят. Служивый оглядывается, ловит твои глаза — и плачет без слез

своими. Арефьев остается. Дед твой все знает, а бабушка и Катя — нет. И Коля… Он замялся, но справился с выдохом, — тоже не знает. «И никогда не узнает», — вдруг подумал ты. И дрогнул спиной, как лошадь по имени Ёжик…

Арефьев порывисто и коротко обнимает тебя: «Я всегда рядом, Ваня, — прорвемся…» Дверь грохочет, но как-то мягче уже, негромко, как бы засыпая… Ты включаешь Алессандро Марчелло — в голове, и особенно — душе — «OBOE CONCERTO/ADAGIO» в транскрипции Ивана Баха, тезки твоего — Иоганна. Это центральная, пронзительная часть Concerto для гобоя. Это ангелы плачут по тебе. Они горюют, печалятся и тоскуют. Они обещают тебе жизнь иную, страшную, но — жизнь!.. Ты так устроен, что слышишь не только соло, коду и эффектные аккорды, конкорды и контрдансы, — ты слышишь всегда и всюду — и в классической, и рок-музыке фоновое звучание, именно там, на периферии музыки, звучит главное, страшное, ужасное и прекрасное. Ты не плачешь слезами — ты давно научился плакать в себя, как лес после ливня долго плачет в себя редкими и роящимися каплями воды с неба, прижавшейся к листве, к ветвям, к стволу, к птицам и зверькам. Бурундук промчится сквозь лесной дождь. Белка перепрыгнет через лесной дождь. Соболёк, извиваясь, ускользнет от лесного дождя. Лисица и волк отпрыгнут от опрокинувшихся веток, полных воды. Лось выпьет лесной дождь, но все-таки оставит большую часть — земле. Земля напоит лесным дождем траву, цветы, кустарник и юные побеги осин, берез и хвойных гигантов… Ты вырежешь в молодом сосняке удилище — тонкое, сосновое, подсохшее от сосновой молодняковой тесноты. Ты сделаешь удочку и закинешь ее — и поплавок из сосновой коры шлепнет по воде, как бабушка тебя легонько и нежно шлепала по губам, когда ты пел за столом. И все слушали — не ели. А это грех. После работы нужно есть, а не петь. Но ты пел. Пел всегда. Пел и плакал. Плакал в себя…

Ты подергиваешь удочку — к себе, в сторону, к себе, будто ведешь щенка-волчонка на поводке по городу, грязному и родному. Волчонок тебя еще навестит через тридцать лет в деревенском дворе твоем. Он — совсем малой. Младенец. Ты нажуешь ему колбасы — и он поест. Полакает, может быть, впервые, подслащенной водички, теплой и ясной. И — уснет у тебя на коленях… Он пахнет зверем, лесом, мамой, огромной, худой и умной волчицей… Эх,

крючок великоват, да и леска толстая… Но — неожиданно клюет: поплавок тянет в сторону без подергивания. Это крупный окунь. Окунище. Таких ты ловил с Колей на Андреевских и Больших озерах болотных к югу от Шатров. Ты выволакиваешь окунину — тянешь по воде (а он, брат, бьется), по осоке, к берегу — и по пологому бережку — дальше от воды. Бежишь к нему, положив удилище на траву береговую. Берешь его. Прокалываешь кожу на ладони иглами спинного плавника. Вынимаешь крючок. Подносишь рыбину (килограммчик, б.я, будет) к лицу. Целуешь окуня в жабру левую и жабру правую — на удачу. Потом несешь окуня к воде — и выпускаешь. Живи…

Сижу за решеткой в темнице сырой
Вскормленный в неволе орел молодой
Мой грустный товарищ махая крылом
Кровавую пищу клюет за окном
Клюет и бросает и смотрит в окно
Как будто со мною задумал одно
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет давай улетим…

Здесь ты включаешь Альбинони ADAGIO IN G в транскрипции Джазотто — музыка сквозит, льется сверху вниз — с головы, из ума, — и снизу вверх, от земли болотистой питерской, от бетона тюремного — к сердцу…

Мы вольные птицы пора брат пора
Туда где за тучей белеет гора
Туда где синеют морские края
Туда где гуляем лишь ветер да я…

Когда тебе было десять, на покосе тебя укусила змея. Гадюка. Дед высосал из ранки (зубовно-гадючий треугольник) яд, и ты неделю сидел дома у окна, напевая Пушкина: «Сижу за решеткой…» Решеток много — и они разные: после заседания трибунала по делу пятерых морпехов, а точнее по делу главного убийцы — Ивана Орлова, решетку питерскую заменили на решетку Кольскую, дисбатовскую, а питерская, в свою очередь, закрыла собой «решетку» оконную

в детских шатрах… Но гадюка-то осталась! Детскую гадюку Коля, видимо, недоубил — вот и пошло по цепочке. Не дай бог, пойдет по кругу…

Память включила Пушкина. Всего — прочитанного. Всего запомненного и запоминавшегося. Пушкин пришел вовремя: питерско-ленинградское заточение завершилось — завтра предстоит конвой в дисбат, поближе к месту, где заждались твоей комсомольской лопаты апатиты. Апатия и апатиты. Мордобой. Вертухаи — хохлы и каракалпаки. Кто лучше? Кто добрее? Кто снисходительнее?.. Ясно — кто, и улыбаться не нужно, чтобы не испугаться. Ладно, прорвемся. Вынырнем. Отряд номер такой-то. Помещение номер такое-то. Только бы с ребятами вместе — с Вовкой и Юркой. Он так их и не видел. Передавал и получал приветы, а мало — хотелось дать краба и обняться. Прижаться плечом к плечу — и чалиться два года + ДП (неофициально). Хрен с ним. Все ясно… 33 дня в одиночке. Да-с.

В чужбине свято наблюдаю
родной обычай старины
на волю птичку выпускаю
при светлом празднике весны…

Уже лето. Белые ночи, будь они неладны. В город Апатиты. Под город, под Апатиты и под апатиты. Включаешь Пёрсела-Чакону… Становится легче. И ты опять незрим. И видится на сто лет вперед.

Я стал доступен утешенью
За что на бога мне роптать
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать…

IV. Деревья шагали навстречу, такие дела

Он медленно выходил в более плотный воздух леса, и деревья выступали с опушки навстречу ему. Деревья шагали навстречу ему, но видели они не его, а разреженный воздух, клубящийся за ним — уже почти не воздух, но пустоту, безвоздушное пространство, повторяющее объем и очертания его тела, его маленький космос, образовавшийся в кильватере, в конце его движения, в обрыве между телом человека и телом леса, деревьев, сосен корабельных и чахлых, но кудрявых березок и осинок, рябины и шиповника, вымахивающего пригоршню за пригоршней аромат лесных диких роз и густейших розоватых колючек, шипчиков, шерстки, покрывающей все-все ветки его. Иван смотрел на себя, на лес, на густой черничник, обнимающий мох и корни сосновые, он вглядывался в игольчатые и округлые резные потоки солнца, идущего навстречу земле сверху — сквозь хвойные и лиственные мембраны. Он видел запах. Запах леса. Запах рода своего земного, лесного, земляного и древесного. Он поднял руки, поднес свои ладони к глазам: «Боже мой, я — клен», — подумал кто-то в его голове, подумало что-то его головой, его умом, разумом, сердцем и душой. «Кто ты? И — что ты?..»

* * *

Иван проснулся в железнодорожном вагоне: он спал почти сидя, прислонившись боком к пожилой женщине и положив на ее колени голову — набок — под щекой лежала бескозырка. Он вздрогнул, сел, выпрямился, огляделся. Да, это тетя Валя, попутчица. Сын у нее — старлей с СФ, лодочник, подводник. Навещала его в госпитале. Скоро приедет он в отпуск. Домой. К тете Вале. На месяц. Иван передернул плечами — от смущения и стыда: вчера в Питере, на вокзале, надрался

в вокзальном кабаке с Вовкой Симаком. Дембель!.. Боже мой… Батя у Симакова был третьим секретарем обкома. Или — пятым? Какая, на хрен, разница. Устроил сыну встречу и угостил по-барски дембелей, Володиных корешей. А корешей-то два всего: Ванька да Юрка. Юра Дмитриев остался в Ленинграде погостить, а Ваню посадили на московский поезд. Как и куда подсел — не помнится. Да, тетя Валя… До Москвы еще два часа. Иван привел себя в порядок. Обильно обхлопал рожу «Шипром». Вспомни запах шиповника и леса. Вернулся в купе… Пили чай с тетей Валей. С ватрушками. Ваня долго извинялся за свой непотребный вид вчерашний.

— Ну что ж вы, ребята молодые, вам можно. — тетя Валя, полная, но болезненно румяная женщина лет под пятьдесят («Чуть старше Кати», — подумал Иван) — сама была смущена таким знакомством — и краснела еще больше, когда припоминала, как гладила по коротким волосам матросика и называла его, как сына, Серёжей…

— Серёжа ваш… Наш… Скоро приедет к вам в Пермь. Вы не волнуйтесь так… Сильно. Все в порядке. Декомпрессия. Сейчас ему давление выровняют — и будет красавцем. Железно. Капитана-лейтенанта дадут. И «Красной звездой» наградят. Лодку-то они спасли, их БЧ (боевая часть) расстаралась. Молодец он у вас. Мужик!..

Тетя Валя устала: всю ночь просидела — не прилегла, Ваня как срубился башкой ей в колени — так и сидела не шевелясь, в окно смотрела. Ваня снял перемятый бушлат парадный, опрыскал его обильно водой и повесил на плечики — пусть пообтянется, выпрямится и пообсохнет. Похмелья не было. Странно. Видимо, нервы. Нервы текут, как трассеры, на восток, в сторону Урала, домой.

— А что-то у тебя, Ваня, и значков-то совсем немного. Три. Это вот парашютист, да? А это что — с корабликом? «За дальний поход»? А медалька-то за что? А-а-а, «За отвагу»… Все вы отважные. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя… — нас грешных.

Поезд недоскорый подходил к Москве.

— На Ленинградском швартуется, — пошутил Ваня. — А мне, да и вам, тетя Валя, нужно на Ярославский.

— У меня билет до Перми — на завтра. Переночую у сестры — сто лет не виделись.

На душе стало тревожно. Ты впервые в Москве, хотя и «родился в Москве», как ты всем рассказывал — шепотом и в подскок (когда безнадежный заика запинается устами и глоткой о звуки почти

непроизносимые — он подпрыгивает чуть-чуть, подскакивает на одной ножке, как мальчишка). Вот ты и почти дома. Да. Вполдома дома. Человек, муравек, зверевек, птицевек и зэковек. Зэковек хренов… Ты вдруг остро почувствовал, как Ваня начинает стареть в Иване. Как Печорин стареет в Максим Максимыче… Ощущения обновления и наращения воли и свободы в Иване не было: свобода и воля всегда — и в учебке, и в одиночке питерской, и в дисбате, и в разведке, и в морской авиации — росли и крепли в тебе. Как говорят в Шатрах, «чем тяжельше — тем вольнее». Иван чувствовал себя застрявшим в воздухе, в частицах мыслей, воображения и печали, которыми был перенабит твой кислород, водород и азот; с тобой происходило то, что случается с музыкантом, исполняющим нечто и вдруг отскакивающим от музыки, как от стенки, от безмолвия и тишины, отскакивает, как теннисный мячик — и зависает в мгновенном беззвучии, как материализовавшееся удивление, изумление и потрясение — от могучей и пронзительной музыки.

Духовной жаждою томим… Они простились на железнодорожной платформе с тетей Валей. Обменялись адресами. Телефонов не было. У бедных — не было. Никаких — ни служебных, ни домашних, ни вертушек кремлевских (да не к ночи будут они помянуты!). Обнялись. Больная женщина и дембель-матрос. И расстались на автобусных остановках, расположившихся у входа в вокзал со стороны города — ровно, рядком и рядками, как грядки. Или могилки? Бетонные грядки главного города страны.

Ты возвращаешься — куда? На вокзал? Но их — три. Да. Три. Ты заблудился в трех вокзалах. На трех вокзалах. Спросить кого-нибудь? — Стыдновато. Ходит тут лось в бушлате с золотыми пуговицами и в бескозырке с ленточкой черно-золотой с надписью «Северный флот». Морда растерянная. Невеселая. Худая. Усы дембельские. И не дембельские — ты их носишь (или они тебя) с той поры, когда начались командировки на Ближний Восток, в Южную Африку, в Индокитай: а как же — ты ведь командир разведгруппы. Просто группы — задачи были разные, не только разведывательные. Военная разведка — ВР — дело тонкое, но широкое. И глубокое. По чужим тылам. Неприятелю неприятно иметь таких приятелей в серых комбезах у себя за спиной. И всех — неприятелей и приятелей — объединял страх, которого у наших ребят не было. Было, ощущалось нечто другое. Перед первым делом их, командиров

и командирчиков, собрал Николай Иванович, большой начальник, адмирал, герой ВОВ и Герой Советского Союза. Сидели в песочнице — в блиндаже на Синае. Николай Иваныч говорил мало, коротко, но внятно и дружелюбно. Поставил задачи. Всем. Чтобы координироваться и ориентироваться в системе общей операции. Закончил он так: хлопнул мягко по столешнице фанерной, защитного цвета, столика складного, помолчал и негромко произнес: «Бойцы-командиры, страх свой оставьте здесь, в песочнице. Но ужас свой носите с собой. В себе. Берегите ужас свой. И все будет в порядке: он вас выручит, подскажет и поможет…»

Иван в этом вокзальном, трехвокзальном месиве почувствовал страх: и это был не страх одиночки, тюремного барака, боли, несправедливости, ночных рейдов в тыл неприятеля, ночных прыжков с парашютом — в огонь, в темноту, во тьму, в тишину твою и в тишину стрелковую, чаще пулеметную (с.ки, засекли…), в соленую теплую воду Аравийского моря и иных азиатских морей и заливов — в рассол, в жижу, когда плывешь по компасу хрен знает куда, один, разгребаешь с омерзением и ужасом водоросли, прикасаешься ластами к огромным рыбам, животным, чудовищам, — потом ложишься на спину, смотришь в чужое небо, на чужие звезды, пригубливаешь фляжку с водочкой, длинно сплевываешь вперед и вверх — в это короткое неглубокое небо, делаешь в воде кувырок — и фигачишь туда, где должен быть берег… О, только бы, едрена мать, не заплутать в этих желтых рассольниках мелких и густонаселенных всяческими тварями морей. Ты плывешь и думаешь: о, влечи в меня боль! Вылечи от жизни и смерти — и влечи в меня боль! Страх ума, сердца, тела, души — отходят… Ты идешь по трехвокзальному пространству — и тебе больно. Не страшно — но больно. Больно человеку лесному и деревенскому с Уралмаша, провинциалу — больно в этих столицах. Ох, больно. Ты видишь мусора, мента, милиционера — он разодет и раскрашен, как сойка зимняя. Он смотрит на тебя. Мельком. Опять ловит тебя взглядом и улыбается — коротко, одиночно, но крепко, как из ТТ с двух рук. В упор. Ужас оживает в тебе — и страх рассыпается. С ужасом веселей. На площади ты находишь киоск — билетную кассу для военнослужащих. До Свердловска билетов нет. Отходишь в сторону. Закуриваешь, ловя периферийным зрением милиционера, военный патруль (два солдатика зеленых и старлей), поедающий жадно — в три рта

на трех вокзалах три мороженки. Пломбир. 19 копеек. Но тебя тянет до ветру. По малому делу. Ты заходишь за ряд киосков — там уже от мочи желто и золотисто. Последний снег грязен и золотист. Ты выходишь из этого золотого закутка и опять подходишь к военной кассе. Нет. Опять кукан. Пусть. Иди пешком, что ли, на Урал?.. Ты покупаешь мороженое. Надкусываешь. Ищешь урну. Сплевываешь в нее эту гадкую сладость и бросаешь туда же надкушенный снежок замороженного молока с ванилью… Кто-то осторожно трогает тебя за рукав. Оглядываешься — молодой мужик в хорошем драповом пальто. Сером. С чемоданчиком. Улыбается тебе. Подводит тебя обратно к кассе. Покупает — с шоколадкой! — тебе билет до Свердловска. Поезд чрез час. Он покупает билет и себе — на тот же поезд, но до Кызыл-Орды. Говорит тебе: едем вместе, в одном купе. Денег не надо. Спрячь. Угостишь в вагоне-ресторане. Улыбается — и бежит к телефонам-автоматам…

У тебя час. Лучше всего — убить его здесь, на трех вокзалах. Ты закуриваешь — и обжигаешь себе пальцы — спичкой, угольком, так как засматриваешься на солдатика. Толстого, большого, сытого, поддатого. Нет, это не солдатик, а целое солдатище… И морда его… Господи, неужели… Вертухай дисбатовский. Участник трехсуточного, в три смены, избиения Ивана Орлова после побега. Это он, мил-дружок. Он. Никому жизни не давал… И ужас твой превращается в непреодолимую решимость и готовность прижать гада к теплой стенке. Ты видишь, как он уходит. От тебя. Хэх, от меня, дружок, не уйдешь. Он направляется к киоскам и исчезает за ними, попадая в узкое пространство золотого грозного снега между трехметровым зеленым забором и задами трех киосков-павильончиков. Идиот. А еще казак. Запорожец. Ты, парень, попал… Иван направляется в тот же нехороший тупик. Входит в золотое пространство мочи, окурков и пустых пузырей из-под водки. Какие еще подводки? Подлодки? Лодки?.. Водки… Водка… Хохол стоит в конце семиметрового тупика лицом к Ивану… Он тоже узнал своего битого беглого зэка, бывшего беглого. Нет, бывших беглых не бывает… На толстом его носу повисла крупная с воробьиный кулак капля. Сопля. Сечевик — все, попал. И бежать некуда…

Иван предъявил проводнице билет. Познакомились. Поговорили (вагон был почти пустой — и проводница Оля скучала). Ваня глянул на часы: «Ого, полчаса болтаем!..» — Оля рассмеялась:

«Через четыре минуты отправление… Неужели полчаса проговорили?» — «А то и больше», — Иван кивнул по-офицерски головой и двинулся по коридорчику к своему купе. Открыл выдвижную переборку и шагнул в пустое купе. Он снял бушлат, накинул его на казенные плечики и встал лицом к нечистому окну, за которым тянулся все тот же трехметровый зеленый забор. Он вспомнил, как всегда — и неожиданно, и ожидаемо — для себя, что на Уралмашзаводе, в цехе рабочим выдавали спецуру: рабочие ботинки со стальными заклепками на сочленениях и поворотах шва — гады, берцы, вонючки, — комбинезоны, темно-синие и черные — Ваня выбрал черный, как пустота, как небо в ночной зимней форточке в хрущовской кухоньке, — и в разведке он взял прежде всех остальных черный комбинезон, а потом уже серый, белый и буро-зеленый. Ботинки он выбрал покороче и без молний, а на шнурках: длинные, под колено, штурмовые он взял, но ни разу не надевал — хрен их снимешь под водой, когда плывешь и думаешь о ластах, о времени-то нет — вот-вот башку снесут из пулеметов с бережка… Он сжал кулаки, поднял их на уровень плеч, согнув локти и инстинктивно повернул торс боком к окну. На правом кулаке казанки были сбиты. Надо бы прижечь «Шипром» и залепить пластырем. Он лизнул неглубокие ссадины на костяшках: эх, казанки, вы мои, казанки — нае.нул я не с сильной руки. Левый кулак был чист. Убойный кулак… Дверь в купе отъехала в сторону. Иван обернулся, но не успел свернуть мысль о спецодеждах и кулаках-ударах, о «военных профессиях» своих (он улыбнулся): ученик морпеха, убийца (он снова улыбнулся, но криво), арестант, подследственный, обитатель одиночки в питерской тюряге (ох, тюремшык, как говорят в Шатрах), жилец зоны, барака, БУРа, изолятора; беглец, битый трое суток подряд в очередь — в очередь шли и шли охранички-хохлы, вертухаи незалежные и жовто-блакитные; ученик разведчика, незаметный труженик военной (нет! — военно-морской) разведки — ВР, или ВМР; и вот, блин, Господи прости, дембель… В купе вошел тот самый молодой мужик в дорогом сером пальто — он долго смотрел на Ваню, на его лицо, в глаза, по которым только дурак не прочитает, что там происходит. Что там с парнем творится…

— Ну вот и я. Я купил четыре билета — купе наше…

— Иван, — он протянул руку незнакомому, и тот пожал ее:

— Олег.

— А отчество?

— Можно просто Олег и на ты. Ты не против? — Иван кивнул.

— Олег, вы, тьфу, прости, ты похож на Олега Фёдоровича Матвеева, его портрет висел у нас в школе на стенде «Герои Даманского»… Все в стране молчали-помалкивали-помыкивали, а наша директриса отличилась. Она из фронтовых. В Сталинграде пацанов бинтовала. Никого не боялась. Антисталинка. Открыто. Демонстративно. Меня спасла три раза: от исключения из комсомола в семьдесят первом и от удаления моей персоны, то бишь рожи моей, из школы. Почему-то тайно уважала меня.

— За стихи? За спорт? За длинный язык?

— Ну да, не Есенин, а Лермонтов, не Маяковский, а Тютчев, этсетера.

— А Боратынский? Фет? Жуковский? Барков?

— Да. Барков — изустно, в списках, в апокрифах уралмашевских…

Олег доснял пальто — до конца, забросил его на верхнюю полку («Купе — наше», — отметил Иван) — и оказался в офицерском, «зеленом» по-моремански, мундирчике с погонами майора (Олег был совсем невелик, худ, но крепок — видно по рукам, шее и стройным ногам в брюках-хаки; Ваня опять заметил: «Патрулей не ссыт. Мужик…» — вдруг чуть не сел на приоконный столик: на груди, над колодочками наград (шесть!) прямо над сердцем — 12 см — покоилась Звезда Героя Советского Союза…).

— А-а-а, это… Звезда… Да-а-а. За те дела?..

Это за флаг заставы, за железный ящик, за парней (вывел из-под наших-китайских катюш), за пацана-солдатика. Так вышло, что прикрыл я его. Граната. Ф-1. Все обошлось. Полтора года по госпиталям… Голодный? А пойдем-ка до ресторану. Минут через тридцать-тридцать пять. Как раз разогреют суворовские каши… И сталинский рассольник.

Они сели на железнодорожные диванчики — грудью к столику — друг против друга. Олег глянул на грудь Ивана: справа знаки «За дальний поход» и «Парашют-51», слева медалька «За отвагу».

— Пятьдесят один боевой?

— Да, в огонь.

— Где?

— Египет, Южная Африка, негроиды, Индокитай.

— Треугольник или квадрат?

— Треугольник: ЛКВ. Корея мимо прошла.

— Тяжко было в В?

— Нет — в Л было совсем хреново.

— Братья-враги?

— Ага. Бардак там полный. Как у нас в Гражданскую.

Ивану было легко говорить с майором. Он был наш. Наш — живущий поперек власти, глупости, пошлости и подлости… Ивану, правда, мешала музыка в голове, в груди: A Funeral For A Friend, вещь Элтона Джона, длинная, долгая и постоянно изменчивая, как Полярное сияние, но без переливов, но с обрывами в прорву сиреневой и фиолетовой красоты, ужаса и прозрения. Он пытался выключить в себе музыку — не получалось…

— Вань, ты сидел?

— Да. Не на гражданке. Дисбат.

— Убийство?

— Да. Навешали. Подставили братья-кавказцы.

— До командировок?

— Ага. Семь месяцев — вместо двух + n.

— «Молчи-молчи»?

— Да. Но это ведь флотское словечко?

— Знаю. Срочную пилил на Тихом. Ходили вдоль Америки. Пугали себя и их. Особенно себя… Пахло войной. Сильно пахло.

— Ну да, а бабахнуло на Амуре.

— Бывает… Что сейчас читаешь?

— «Героя нашего времени». В семнадцатый раз. Наизусть знаю, кажется… В пустыне мрачной я влачился… С миром и Богом нельзя поговорить-поразговаривать-поболтать. С ними можно только переписываться. Место переписки — книга.

— Нас пишут книги. — Олег закурил.

— Можно. Э-э-э, то есть разрешите?

— Кури, брат, братишка, братан. Кури. Что куришь?

— «Приму». Пока. Но есть и «Родопи», болгарские. С фильтром.

— Да, хорошие сигаретки. Хулиганские хулиганской области. «Слабо жру. Криво сплю. Говно курю. Но! — Чифирю!..»

— Уралмаш, да?

— А как же. Точнее: а то как же!.. — Иван помолчал… — Уродство это надоело… Где жить? Как жить.

— А ты молодцом, Ваня: заикаешься, но — не заикаясь — говоришь. Контузия?

— Да, было две. Но я немтырь с рождения. Кабы не бабушка — сдох бы от немоты. Научила меня говорить редко. Слушать себя — и в себе слышать этот милый мир. И — Бога… Бывает, молчу днями. Слушаю и себя, и музыку в себе, и стихи, и дребедень всякую… Думаю себя. Как юродивый.

— Вань, это называется «мечтать». Мы мечтаем себя. Создаем себя — новых, иных. Досоздаем после Бога и природы.

— Мечты сочиняют нас. Воображение. Сердце.

— Душа, разум, интуиция…

— Эх, Вань… Хорош: пошли на камбуз — офицерский стол уже накрыт. И — дембельский тоже.

Выпил по три рюмки молча. Ели тоже молча, посматривая в вагонное окно с рюшечками поверху и двумя алыми юбочками занавесок, перетянутых в талии, по бокам. Иван сидел лицом к движению. Майор — спиной: «О, мир бежит к тебе навстречу…» — Иван продолжил и закончил: «И убегает от меня…» Смешно?.. Да ни хрена смешного: сидят два молодых мужика, оба искалеченные снаружи и внутри. Аж смешно… Уссышься, бабоньки… Е.олки-палки, как говаривал Вася Микаэлян.

Олег вдруг, посерьезнев, медленно и тяжело произнес себе, почти в тарелку:

— Мы помним свое прошлое, вспоминаем будущее и совсем не знаем, не помним и не осознаем свое настоящее…

На блюдце диаметром в 10–12 см лежало красное гигантских размеров яблоко — такое не укусишь, не надкусишь, не выкусишь — и не скушаешь.

— Вот этоябл*и*ще, — хмыкнул Олег. И они вдруг заржали, не стесняясь и не позорясь, не стыдясь; хохотнули — как в полевых условиях, как на боевых выходах, рейдах, бросках, маршах. Как ночью у костра с бойцами и спиртом, с боевым охранением, с секретами, с засадочками, с дежурным снайпером… А никто и не вздрогнул, и не забздел, и не обескуражился: сидят два орелика, вояки. Герой и медалист заотважный. Сидят себе парни. Воины. А не убийцы какие-нибудь. (Ваня взглянул на пластырь, прилепивший костяшки, казанки на кулаке. Олег заметил этот взгляд:

— Когда успел-то? Грингов гонял по Ярославскому?

— Да нет, старая история. Коросты полопались. Сорвал об карман. Фуфло.

— Ну-ну, — майор усмехнулся — но хорошо, по-доброму. — Молодежь. Не задушишь — не убьешь.

Они опять заржали по-казарменному, по-флотски, по военно-морски и по сухопутно-военному. Так смеются только моряки и пограничники. В сущности, и те, и эти — погранцы. Как это яблище на тарелочке.

Иван отсмеявшись, вдруг услышал в себе перемену музыки. Элтон Джон, которого слушали в командировках по «Радио Люксембург», был такой музыкальный маяк для авиаторов.

— Олег, получается, что настоящего нет? Мы живем в прошлом и в будущем?

— Ну, я в прошлом. А ты — в будущем. Тебя туда стихи тянут. Тащут. Волокут. Оттуда, из будущего, всегда тянет сквознячком — то музыкой потянет, то стихами, то видениями какими, то холодом, то жаром несусветным. Да?

— Примерно так…

Они сидели в вагоне-ресторане до утра. Говорили. Рассказывали. Но — коротко и без соплей. В своих боях майор потерял левую ногу — стопу. Теперь — на протезе. Но в строю. В секретке. (Ваня понял: в ВР.) Носит корсет — пожизненно. Потерял ряд ребер, задних. Ниче, управляется. Контузия тяжелейшая. Еле вытащили. Постоянно подлечивают. Не увольняют. А Ваня? А что, Ваня? В последней командировке, в Египте (первая и пятая, «роковая», командировки были, с.ка, как раз на Ближний Восток, или в Арабию, как говорили морпехи), в бою получил по пуле 7,62 (РПК, все стороны света уже в семидесятых были вооружены калашами всех мастей; лучший в пустыне АК-47) в обе ножки, в голени. Правую, уже в Мурманске чуть-чуть не спасли — хотели отнять под колено, но Николай Иваныч, уже адмирал, большой уже начальник, не дал резать-отрезать, привез из Питера трех первых в СА микрохирургов, которые собрали правую ножку по частям. Хромота и палочка-тросточка. Как бы от Кати — мамани это все зашхерить, а?.. Да, блин, выброшу я эту трость на хрен где-нибудь по пути к улице Восстания. Восстания нас из мертвых.

И шестикрылый Серафим на перепутье нам явился… Выпили крепко. Олег вдруг стал прималкивать — Ваня же, напротив,

разговорился: с диким, почти детским, заиканием, он комментировал утренний, вялый и какой-то совсем не коммунистический пейзаж, волновавшийся за мутноватыми стеклами вагонного, казенного окна — он говорил-рассказывал, не частя и неторпливо, почти занудно и монотонно о том, о чем ни с кем не поговоришь — напугается слушатель, убежит. О том, как курил он на коробке, на палубе под налетом фантомов, призраков и спидфайеров, пряча спину и башку за рубкой (фальш-рубка — для дураков с воздуха, сплошная броня, но красиво сделана, зараза), страшно ли было? — нет, было прохладно (на сорока с лишком плюс по Цельсию), знобко, зябко — так, что ужас просвечивал сквозь грудную клетку, и воздух в шарах мерцал; но! ты решил, с.ка, докурить сигарку до конца, не уходить от этих милых нендопандомерикосов, англо-саксов, сакфонов (с. 32) (сегодня ты играешь джаз, а завтра пиндюлей раздашь, — кому надо). Докурил почти — и ррраз! — справа в лицо прилетает с неба удар — рукой, кулаком… Что это?! Кулак неба? Длань небесная?.. Ты летишь влево три метра и думаешь: «Левша… Оно левша. Небо — левша…» Падаешь мордой в стальную рифленку: левой щеки и лба почти нет — кожура снята, счищена… Садишься на задницу. Тебе все равно. Ты уже бессмертен. Бессмертен от боли. От боли, которой нет. Она вот-вот полыхнет. Осматриваешься, оглядываешься: справа на рифленке лежит рука, оторванная от плеча по локоть. Ты на корячках подбираешься к ней: чья? откуда? да и рука ли это? жив ли ты? или уже вечен? А где Бог?.. В леворуком небе!.. Ты поднимаешь его руку… Он — кто? что?.. Это левая рука. Человеческая… Русская: на запястье часы «Победа»… Здравствуй, Война!.. Мне снится ваша поясница… По возвращении из Арабии (Египта) в Мурманск, потом на свою базу, тебя через неделю вызывают в штаб Отдельного полка МП и ВР, вводят в комнатку с вымпелом КСФ и потретом Ушакова — великого адмирала (никаких других официальных фоток с рожами коммуняк нет). Тебе что-то говорят, кладут в твою ладонь часы «Победа» на черном кожаном потертом ремешке. Вводят пожилую женщину — всю в черном. Она видит только тебя. Все эти молчи-молчи сдриснули мгновенно. Дверь закрыта. Ты — последний, кто видел ее сына… Его руку… Лицо твое подзаклеено, башка перевязана: пуля разрывная лопнула и засадлила тебе в надкостницу черепа пару осколков — игольчатых сломов металла. Лицо женщины, матери этого «левши», въехавшего

тебе всей смертью своей в жбан, — это не совсем лицо. Это — лик. Лик незнания. Лик надежды. На что?.. Она здоровается. Нина Ивановна. Швея. Сын — Вовка, Вова, Володя, Владимир. Морпех. Вы… Ты его знал?.. Да. Знал… Как он?.. Как?.. Володя погиб геройски. Прикрыл меня и еще пару ребят. Разрывными его. Очередь. С самолета противника. Он спас нас. Он — *спас*… Оба разревелись. Она — узнала, как… Ты — вспомнил, как… Господибожетымой… Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных…

Духовной жаждой томим… Жаждой знания, чувствования и сочувствия… Мне снится ваша поясница… Перевязанная кое-как набухающими, тяжелеющими бинтами. Недонесли. Сашу Кириллова. Гитариста. Молчуна. Любителя «Радио-Люксембург». Он познакомил тебя с Элтоном Джоном, с Deep Purple, с Сэмюэлем Барбье (ром), с Пако де Лусия, с Джоном Мак-Лафлином и Сашей Градским. Недонесли. Почки были погашены — обе…

Олег за полтора года костылинской жизни, но как истинный праведный Жилин, объехал всех своих ребят — солдатиков — живых и мертвых. И все — живые и мертвые — простили его. За все. За тупость генералов. За отупевшую и ослепшую Родину, обалдевшую в погоне за социализмом, а особенно — за коммунизмом. За свою неспособность спасти всех, накрыть всех своим небольшим крепким телом. Всех. И — страну… И полустанок железнодорожный, с весенней козой, с бабкой, колющей дрова, уже опять набравшиеся влаги, сырые и неподатливые…

Ты понимаешь, что нет никакой такой борьбы добра со злом, есть просто борьба борьбы с борьбой (но убедительнее об этом потом скажет иронически Юрий Коваль). Просто все: человек борется сам с самим собой — и в нем побеждает то добро, то зло. То зло, то добро в эпоху дефицита и кризиса гуманитарного сознания и гуманитарных решений, действий и поступков… Они уснули в полдень. Проснулись к позднему вечеру. Пили чай. Ели огромное красное яблоко-яблище. Резали его на ломтики швейцарским Ваниным-Колиным ножом.

— Мы — двоемышленники, — вдруг брякнул Иван.

— Это как это? — Олег поднял брови, обе посеченные осколками Ф-1.

— Знаем две правды. Живем две жизни. Умираем две смерти. Сваливаем в две вечности. Бисубстанциональность. Социальное и личное, персональное.

— Трисубстанциональность. Полисубстанциональность. Многосущность, да?

— Ну да: социальное/бытийное/онтологическое/антропологическое/боже-ственное и т. д.

— Главное здесь — «и т. д.»

—? — Олег опустил порезанные брови.

— Духовное.

— Это религиозное?

— Нет. Не совсем. Шире и глубже. И выше.

— Куда тут выше-то?

— А в высоту. В пустоту. Перенестись. Побыть там — в ужасе этом прекрасном. Обжиться. Привыкнуть. Оглядеться-осмотреться. Присмотреться. Всмотреться. — Увидеть! Услышать! Учувствовать! Научиться знать! Научиться *слышать*. Как музыку в себе. Пустота — душа мирозданья. Строительная душа… А потом вернуться — и показать, рассказать, исполнить эту душу мира. Слушайте! И — слышьте!.. Духовность, по мне, — это процесс, а не действие одноразовое или поступок. Процесс непрерывный, как «жизнь-смерть-любовь-жизнь и т. д.» Это не бессмертие пресловутое и тупое. Это возможность и способность, жить, не умирая, и умирать, живя, и любить, умирая и живя. Настоящего нет. Значит, и времени нет. Есть, по Платону, только вечность и жизнь, жизнь и вечность. Вечность — это нескончаемый поступок жизни-смерти-любви-Бога-Духа и чуда…

— Ну ты даешь, Вань… Да-а-а…

— Знаешь, в последней командировке… Я знал, что меня убьют. 7,62. Две пули. Меня сегодня убьют, но смерть — не разлука. Точнее — неразлука. И пули прилетели. Обе — в обе ноги. По одной. Железная арифметика и тригонометрия, многомерность микрохирургии. Арифметика жизни и смерти. Тригонометрия и высшая математика как каркас гравитации любви. Такие дела.

— Ну и дела… Давай-ка кофейку глотнем. — Олег вытащил из черной заплечной сумки жестяную баночку румынского растворимого.

— Я такой знаю. Коля, дядька мой, привозил с Байконура. Он электронщик. Подполковник. За отца мне. Он и дед.

— А что ж он тебя от флота не отмазал?

— Сам пошел. Окончил Морскую школу ДОСААФ. Радист. Оператор РРС. Аквалангист и все такое.

— Пригодилось?

— Особенно плаванье.

— Сколько км приходилось?

— Ну, миль. Не км. Вдоль Индокитая как-то плыл. Заблудился. Засекли нас. Расстреляли. Катера дунули по пяткам. Никого не зацепило. Семь человек группа. Я комгруппы. Просто разбросало нас. Течением растащило. Плыл на ластах около двадцати миль. Морских. Это под сорок км. Ничего. Нашлись. Все вечно гудели: на хрен еще план «ё»?! Вот и пригодился. Открытый берег. Ночью. Светом делаешь «один-два», «два-один». За пять часов все собрались… Плохая была командировка. Петю Яковенко из Махачкалы — Махача Петюню — разнесло миной шальной уже на марше. Я шел за Петей (он — ведущий группы). Я виноват: нарушил инструкцию. Шел бы последним… Но гибель Пети и мой косяк помогли выполнить задачу. Меня, с.ки, пленили. Местные с калашами. Месяц грингопада играл. Ушел. Из подвала. Во время первого настоящего допроса. А до этого все молчали, коротышки злобные. Почти не били. Одиннадцать раз расстреливали. Стоял мордой к бетонке и знал: театр. Народный революционный театр имени Половины Пота — он уже начинал испаряться. Ушел легко. С оружием. Взяли меня с двумя ножами в бессознанке. Вернулся на сопку, откуда солнечного зайчика пускали по ихнему лагерю. Я просек: треугольник делают фонариком с точкой в башке. Мои салабоны. Молодцы. Ушли в Камбоджу. Кампучию… Несчастные они все там. Индокитай раздолбали и сожгли американосы. Весь. Насквозь — от воды пресной до соленой…

— В мелких войнах нет побед. Есть бесконечные поражения. Обеих сторон.

— Это — точно. Интернациональный долг, твою мать, простите, товарищ майор.

— Средний майор.

— Не, старший. Старший. Нет, главный всеармейский майор, да?

— Коньяк в кофе?

— Не люблю. Батя бухал. Но с тобой — за милую душу.

— Подстаканник со стаканом, с кофе и коньяком — как Ф-1 в кулаке. Ф-1 закольцована… Раскольцуем?

— Твое здоровье, братишка.

— Твое, брат, братишка, братан… Я как-то вижу лимонку у Юрки в кулаке, ну и говорю, мол, осторожно, Юрик! А он, как училка химии, дополняет: «Н-н-не! Взбалтывать!»

———

В дисбате? — Бери больше, кидай дальше — отдыхай, пока летит. Охраннички — братья-славяне с Украины и каракалпаки. Сакен Абылхапов меня, Вовку и Юрика жалел: таскал нам бацилу, ну сало там, мясо вареное, рыбу. Доставал за деньги спирту, но понемногу… Там закон такой: бей — да не убей, стреляй — да не попадай. Вертухаи с Западной Украины этого, видимо, не знали. В третьем и последнем побеге меня настигли у реки. Ноябрь. Зима заполярная. Стужа с ветром с Баренца. Х.рово. Думаешь, все: пиндец… И тут они — эти домбомебы с СКС-43. Огонь по мне. На поражение. Ну, с.ка, думаю, уйду — переловлю по одному. Я много уже чего умел — руками. А пули-то все окрест, моб твою ять. Буеносцы хреновы. Стреляют плохо, но пуля-дура — телагу мне на рукаве перепилила. А партизанскую войну объявлять уже поздно: устал я, декабрист десятого «А» класса школы № 128… И все-таки ушел, вспомнил деда, его Архангельск, где расстреляли моего прадеда и его отца. Большевиковцы-хреновцы. Ушел. Иду — бегу — иду — ползу дней пять. Кусок сала досасываю. Пиндец. Вырыл в снегу берложку. Залег. Сутки кемарил. Стихи себе писал: духовной жаждою томим в пустыне мрачной я влачился… — все ждал Гавриила. Музыку себе играл. Адажио из «Щелкунчика». «Июнь» Вивальди. Альбинони. Пёрселла. Баха — кончерто гроссе. В общем, Сталин Капут. Дохожу. Уже почти с отходом…

Олег, оторвал лицо от отраженного в черном вагонном окне своего лица. Оглянулся, как в пустыне Синайской:

— Вань… Ты это — кофейку с коньяком. — Иван глотнул медно-черной, горько-сладкой жидкости:

— Эх, водки бы…

— Не, старик, хорош. Инаф, так сказать. По-американосовски… А дальше-то как? Что?..

— Смотрю речка, а на извиве — шуга идет. Умыл рожу. Пожевал шуги — и отрубился. Напрочь. Железно… И вдруг чувствую — Бог меня по лицу погладил. Тепло стало. Тихо. Стало быть ухожу — возлетаю. Тихо-тихо, но где-то в ухе маленькая собачка стонет, скулит,

потявкивает. Джек?! Катя его «деденьке на Красный одала… Ну чта поделаш? Ешь конфеты в шкафу…» Шары подкатываю — ярко все. Снег. Небо — из снега. Река из снега. Я из снега. Даже снег из снега… И! — собачье лицо. Лицо собаки! Не волка, а маламута мазаного, не аляскинского, а саамского, кольского. Два лица мохнатых, заиндевелых. Три, четыре… Саамы спустили. Из упряжки. Увидели — собачки встали. Скулят и все в сторону излучины речной смотрят… Отпустили — ищи, спасай, добрей, помогай, грей… Срубился я по новой… Чую — плыву, как снег по снегу. В рай. Лежу в ихнем шалаше. Сижу. Пью чай соленый с салом, с маслом, с жиром в нем. Вкуснотища!.. Сказали они мне, мол, не сдадут. Сам сдашься. Или к финнам уйдешь… Не ушел. Отвезли меня команчи в зону. Доложили. Мол, песца ловил — ребятам пожрать. Мы там всех ели. По ночам. И крыс. И ворон. И кошаков… Господи прости!..

Олег закурил. Затянулся пару раз и протянул свою сигарету Ивану. Он жадно внял в себя табачище дымящее. Закашлялся. Рассмеялся. Олег тоже хохотнул-хмыкнул:

— Пис-сатели, бумагомаратели. Слава Богу, ты не Рубинштейн какой-нибудь, собиратель денег, премий, наград и любви народной. «За правое, бнядь, дело…» Не расстреляли ведь тебя, а?

— Не. Почему-то всегда в трудные, в гибельные куски времени и жизни вдруг происходит во сне и вокруг что-то такое, похожее на Золотое Сечение. Одна целая шестьдесят семь сотых беды и счастья, жизни и смерти, ненависти и любви. Не знаю, как это объяснить…

— Гавриил? — И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Вам — Иван Васильевич Орлов… Не из князей ли вы, батюшко, а? Лик-то твой чересчур породист…

— Из них, отец родной, господин главный майор Всея Руси.

Выпили водки.

— Знаешь, Олег, как ночью на позициях вдруг начинается огневой хаос: все долбят абы куда. Долго. И вдруг — начинается, с небес, порядок. Сначала пулемет говорит внятно и по цели. Потом — говорит громче всех и всего — тишина. Это — Золотое Сечение жизни, смерти и любви. Хочется всего, выскочить из укрытия и пойти к противнику — обнять его, гада, и попросить прощения. За все…

— Ну, ситуации разные бывают… Нападение. Нежданное. Ночью. Тогда как?

— Землю свою, нашу, Богову — защищать. От всех — и внешних, и внутренних, сидящих наверху. С могучими бровями. С лысинами. С усами, с броденками, как у баб между ног в бане… Защищать… Олег, ты… Я знаю, как тебе хреново, Герою Союза… Ни кола ни двора? Ни жены, ни детей?

— Дворик есть и колышек есть — в Подмосковье (адрес напишу). Детей нет. Жена третья… — Иван подумал с холодком внутри: «И у меня будет три. Третья. Она будет последняя. Главная…»

Поезд в Свердловск приходил очень рано. В 4.30. Решили не спать.

— Знаешь, Олег, когда в бою, в рейде, на задании — решаем задачи, поставленные командованием, я чувствую себя частью целого сообщества, коллектива, подразделения, к тому ж я — комгруппы, главный. Я вообще растворяюсь в своих ребятах. Помогаю. Пинаю. Спасаю. Прикрываю. Меня отбивают от фланговых неожиданностей. Мы делимся патронами, гранатами, сухарями, водкой, шутками, наконец. Но я не теряю своей отдельности. Не отстраненность, а отдельность от того, что — мусор, суета, глупость, подлость. А этого хватало и хватает. И хватает всем и навсегда…

Поезд, дикий, Кзыл-Ордынский, шел ни шатко ни валко. Медленновато. В груди уже холодело и ныло от предстоящего расставания с Олегом… Лес и земля двигались навстречу с деревнями, деревьями и городками. На станциях виднелись синицы, на перегонах попыхивали снегири, в полях (очень редких) сеялись и веялись стаи чечеток. На вокзалах и вокзальчиках расхаживали по перрону галки, вороны и — реже — сороки. Они редко перелетали, взлетали и вообще, как казалось, не обращали внимания на наличие воздуха и неба. Иногда радовала глаз собачка, небольшая, рыжеватая и косматая. Или — кот на заборе, в снегу, как серая елочка после Нового года, которого больше не будет… Такая печаль была в этом кошаке, что сердце сжималось, жмурилось и поплакивало.

— Мы работали песком. Работали деревьями. Огнем. Землей и водой. Мы работали пустотой до тех пор, пока в нас не начинали стрелять. Господибожетымой, в меня стреляют!.. И я — стреляю в него. В кого? В противника?..

— В противника, Ваня. В гада этого ненаглядного…

Ни Олег, ни Иван никогда не думали о том, почему я? Почему меня? За что меня так? А? Двадцать три ранения старлея на заставе

и годы лечения и покаяния перед родными живых и мертвых погранцов-пацанов, — не остановили внутреннего движения Олега — прежде всего к себе, потом — к миру и ко Всему, что этот мир держит. Коммунисты-империалисты. Чушь собачья. Котелок каши на дюжину мужиков; два рожка к АК-47 и семь гранат — на дюжину жизни и бесконечность смерти, ужаса и бытия.

Олег курил одну сигарету за другой. Иван смотрел в окно: за Волгой, за Казанью он переключился — Богом и движением — с чужбины на родину. С чужого/родного на родное/чужое. Ставшее уже почти чужим. Три и три вокзала: московские и Мурманск-Москва-Свердловск — это не шесть вокзалов, это ничья: три-три, это ничто: все с чистого поля, заснеженного, с тремя стожками сена за вагонным окном. А в это окно вжимаются твои горячие от слез глаза: круглый крест прицела СВД на твоей спине, башке, на лице твоем; десять ведер дерьма их самостекающих, самоистекающих говном туалетов в Лаосе, в периметре, где ты валялся контуженный и добровольно полумертвый с полуанглосаксонским хрипом в груди, — десять ведер каждое утро — на тебя выливают во дворике тюряги ихней; и ты узнаешь важнейшую информацию: в крепостишке этой 300–350 бойцов-карлихенов, узкоглазых, милых и злых, — триста — это не спартанцы, прорвемся — и вернешься из Камбоджи, где отсидимся, отъедимся лягухами и гадами, вернемся и возьмем то, что должны взять; стеклянное белье тюремное, стеклянная телага с номером на груди: 1155; это дата и год твоего рождения — все будет хорошо: тебя найдут собачки; ты поморозишься, но тебя отходят, выходят, и ты вернешься в зону через военную прокуратуру, а через семь месяцев со дня посадки тебя и корешей твоих заберет Николай Иванович — и спасет разведкой своей военно-морской; у медали (и у твоей — за отважность твою) есть третья сторона — ребро, кольцо ребристое, крепчайшее — не согнуть, не сломать, — кольцо божественное, кольцо чудесное, кольцо вечности…

Под утро вздремнули — секунд триста, как в секрете вторым номером. По очереди выходили из купе в туалет. Умывальник бил как душ. Набираешь пригоршню воды ледяной — и бросаешь ее с ладоней под сводчатый потолок вагона. Она возвращается потеплевшей. Стоишь голый, светлый и взволнованный, как до своего рождения… Выпили кофе. Без коньяка.

— После Лаоса, плена были санкции?

— Месяц молчи-молчи мочили словесно в душу. Вмешался наш адмирал. Вытащил. Но сняли представления на «Красную звезду». Да и х.р с ней… С ним. Не в ордене дело. А — в жизни. Слава Богу, не вернули в зону — послали в пекло. Дали группу: семь человек со мной и три спеца. Спецы сгинули. По возвращении — даже не спрашивал ничего, и меня не трясли. Офицеры были. Боевые. Думаю, ГРУ («ГРУ» Иван произнес полушепотом — но колеса-то слышали!). Ушли — пропали. Связи не было. Мы отбили роту МП (остатки роты — 44 погибли), негроиды и наемники (кубинцы) зажали наших в овраге — пулеметами. Мы наемников ударили в ножи, молча. Обошли — с тылу. 17 штук их было. Гады. За капусту они рубились. Ну, и порубили мы их с капустой ихней. Из наемных пулеметов — прямой выстрел — дунули по негроидам. Юрка крикнул: — Пацаны, только в негров не стреляйте! Умоляю! — Черные разбежались. Остатки роты — 11 человек. И нас — 7. Прикопали ребят — и сожгли солярой: до моря далеко, авиации нет. Морды болят сильнее сердца: так, б.ядь, обидно было. Вывел всех к базе — 143 км по бушу, по ихним джунглям, прости Господи! Все остававшиеся — целы. Меня простили. Дали отдохнуть. А через три недели — в В. Америкосов доби… довыгоневывать на хрен. Довыгнали. И все. Пятая — опять в Египет. В Аравию, то есть. Ну и там меня, как уже говорил, прошили из РПК братья-евреи, англосаксы и французы. Такие дела…

Поезд подползал, вернее — вползал на привокзальные пути. Свердловск. Остановились. Вышли. Обнялись. Закурили напоследок. Майор вдруг вложил в руку Ивану что-то тяжеленькое, но маленькое, завертнутое в носовой платок.

— Вот. Он твой. Носи спокойно. Я добьюсь восстановления представления к награде. Ты заслужил… Не дергайся. Назад не возьму. Свой — восстановлю.

Они еще раз обнялись, и Ваня пошел по перрону к выходу в город. Пошел не оглядываясь.

———

Вокзальный патруль его не остановил: он козырнул лейтенанту, а салаги зеленые, в сапогах, посмотрели на него как на пришельца. Как на призрака. Как на черное чудо на черном уральском снегу…

Иван вышел с площади к гостинице, сел на пятый трамвай. Осмотрелся в вагоне, деревянном с деревянными свободно

болтающимися дверками («четверодверка»), вспомнил, как Юрик Пятилов вытащил его из-под колес, вытянул с рельса — спас ноги: они любили прыгать с трамвайчика (но — двойного!) на ходу, — вылетали из первого, бежали и запрыгивали, раздвигая деревянную четверодверку — во второй. Ваня сорвался. Упал. Покатился под второй вагон — под заднюю ось. Все. Кранты… Но Юрик, молодец! — выдернул его. А было им лет по десять — возвращались с тренировки… Кассы в трамвае не было. Кондуктора — тоже. Редкие пассажиры, в основном тетки с авоськами, набитыми снедью (где достали?! — магазины были всегда пустые или полупустые), подходили к чему-то и этим чем-то прошибали насквозь какие-то прямоугольные бумажки — не билеты, а нечто иное… Спросить было как-то неловко, стыдно и по-деревенски опасно — вдруг обсмеют?.. Он сошел на остановке «Первый километр» — и пошел пешком по Космонавтов до Восстания — а это километров пять. Ничего. Все нормально. Прогуляешься, морячок. Нога болела. Ты опираешься на трость правой рукой, в левой — дембельский портфель. Рыжий. Оранжево-рыжий. Кожаный, нелакированый. В нем — подарки, дембельский альбом и тройка тельняшек. И — все. Богаты мы, браток. Брат, братишка, братан… Стало темнеть. Или показалось? Поезд прибыл в 5.00. С опозданием. И — сразу вечер?! Воздух стал ощутим, он материлизовался и цветом, и шершавостью, и тяжестью своей… Где я был 12 часов?.. Спал?.. Где?.. Ты начинаешь психовать. Но тихо, медленно и глубоко в себе — не видно, не заметно, не опасно для окружающих… Эй! Кукан! Ты же, идиот, просидел весь день на скамеечке в привокзальном сквере, безлюдном, но очень закопченном. Ты купил три буханки белого, семечек — птицам, и пару пирожков с бутылкой лимонада — себе. Сидел в толпе воробьев, синиц, голубей, галок, ворон, сорок и даже снегирей. Они не дрались. Всем всего хватало. Ты ходил в «Продукты» еще раз за хлебом и прикупил пшена. — Привет, матросня, я вернулся…

———

Ты шагал по тротуару мимо ПТУ, двух заводов — справа, и УЗТМ — слева. Ты шагал, прихрамывал. Сильно припадая на правую ногу. Старший матрос Орлов Иван Васильич, морпех, разведчик, авиатор, засранец, трус и храбрец, правдун и лжец, сочинитель и воитель, мечтатель и убийца, преступник и почти герой, полный

идиот и полудурок, нет — двудурок: внутри и снаружи… Но! — шестикрылый серафим тебе, убогому, явился… И ты идешь навстречу ему. Тебя убивали — и ты убивал… Господибожемой… Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешного!.. И ты — не живой. Ты почти живой. Часть тебя — та, армейская, умирает. Часть тебя — та, думающая музыку и стихи, оживает, крепнет — и дышит полным небом, набитым мутной и нечистой весной. Март-апрель — это морока городская. Это тебе не Баренц, скалы, шхеры, поля аэродромов, плацов и линеек, профилей кораблей, мореманов, идущих строем бог знает куда, стрельбищ и тренажеров и запахов соляры, керосина, бензина, машинного масла, офицерского и дедовского «Шипра», камбузов и резины, кожи, меха, теплых тельняшек и легких тельников, и полосатых же маек на пацанах, старшинах, офицерах и адмиралах, запахи песца, собак и прочих росомах, вонь угольная и чад кочегарок с проржавевшими душевыми, и запах женщин, девушек и жен офицерских — мичмановских, и аромат кофе, спирта и сигарет… В голове включается кусок музыки из фильма «Красная палатка» с Бриджит Бардо и льдами-торосами, обрушающимися в воду, в море, в океан…

Все — хорош… Хватит. Экономь, береги, прячь, ныкай, зашхеривай патроны и для АК-47, и для ТТ, и для СКС-43, и для СВД. Тырь их где попало. Тырь их в своем гнезде, в своей лежке… И еще — пару Ф-1. Одну для себя.

Ты останавливаешься у трамвайной остановки. Отступаешь за ларек. Ставишь портфель на страшный снег. Прислоняешь палочку-трость к стене киоска. Закрываешь ладонями лицо. Плачешь. Молча орешь, кричишь, воешь. Молча рыдаешь. Молча материшься. Молча молишься. Молишься. Молишься… Все — ты дома. Руки трясутся. Разгребаешь ботинком грязный сугробец — до чистого снега, — и умываешься им. Растираешь лицо. Достаешь из кармана платок носовой Олега, с орденом. Смотришь на орден. Кладешь его в нижний карман черного бушлата, потом резко достаешь обратно. Целуешь его. И кладешь во внутренний левый нагрудный. Полегчало. Идешь дальше — ближе к дому. Там Катя, Андрюха, ребята — все в соседних домах. Надо всех собрать. С водкой. И сидеть до утра. Вот, собственно, и все. Рррравнясь! Смирррно!.. Разойдись…

Он вошел в свой двор меж тремя домами. И двор, и дома стали другими — совсем уже маленькие. Усохли, что ли?.. Иван сел

на скамейку напротив своего подъезда. Уже темно. Окна в пятиэтажке светятся не по-ленински, не по-хрущёвски, даже не по-брежневски, а как-то по-детски то ярко, то слабо — по-стариковски… Ты закуриваешь. Смотришь на тросточку. Встаешь. И — забрасываешь ее в палисадник с кустами смородины, рябины и сирени. Кусты еще костлявы и страшны. Особенно в темноте. Но уже чувствуешь, что они — оживают. Они живы. И ты жив. Взлетаешь, хромая, на третий этаж — а в дверях уже стоит Катя, мама, мать. Худая. А была — эх… Крепкая, полноватая, веселая… Обнялись. Катя заплакала, но легко и радостно, как ребенок. Ты на глаза — сухой. Ты плачешь в себя…

———

Время застегнулось на все пуговицы. Старо время — на старые пуговицы. И полезло оно, поползло, стало разъезжаться — до растяжек, до прорех и распахов. То ли ты заблудился, то ли оно, то ли вы вместе заблудились. Навсегда…

Время обессучилось. Для тебя. В армии, на зоне, в командировках, в авиационном дослуживании, на флоте, в целом — все и все обнажено и обнажены. В армии все — голые. Заметные. И благородные, и подлые, и никакие. Время поменялось. Изменилось. Переменилось.

———

Сидели за накрытым столом в однушке маминой (уже не-Ваниной: он знал, что жить здесь не будет, но — где? — не знал). Было весело. Всем. Весело до истерики смеховой и слезной. Только Иван был грустен. Причем, тосковал он и печалился в себя. Вот они — главные друзья-товарищи: Юрик, Вадик, Витёк, Алик Саетгалиев, Олег Ишмухаметов (шофер и бандит, но уважаемый-почитаемый разбойник), Света, Галя, другая Галя, которая была первой любовью, Надя, другая Надя и иные — все взрослые, здешние. Иван же сидел и пил водку — в пустоту: душа его еще не вернулась на Уралмаш. И сердце где-то застряло. В Казани? На трех вокзалах? В Питере? В Мурм*а*нске? В Североморске? На Рыбачьем?.. Он чувствовал, что здесь, за этим столом, он самый старший. Нет — самый старый. Он был растерян: почти ничего не слышал, не видел и не понимал… Усталость? Бросок в прошлое? В домашнее.

В уралмашевское. В гражданское… На войне бывают дни и ночи полного отчуждения каждого от каждого и всякого от всякого, от кого-либо, от чего-либо, от времени и места сего, от всего на свете. От всего, кроме Бога и души своей… И нужен человек — всего один человек, общий для всех и всего *связной*. Он всех разбудит, растолкает и соединит. В своей разведгруппе ты был таким человеком. Ты приводил свою страну в себя, в сознание, в память, в ум, в душевное равновесие. Ты будил всех и возбуждал, и побуждал к действию. Ты учил всех и себя видеть на войне мир — место и время — каждой капелькой пота, зрячей и подвижной, — слышать каждым волоском — противника, чужое оружие, полет чужой пули, чужой мины, чужого снаряда. Ты знал врага всей шкурой и кишками. Ты понимал его всей землей Синайской, африканской, индокитайской и — русской, русской, русской. Ты его ощущал всем песком, светом, ливнем, ветром, огнем сигареты, плавным ходом затвора автомата, пулемета, карабина, пистолета… Песок, камень, земля и растения с водой и воздухом рассказывали тебе все, что знали о противнике, и все, что нужно делать дальше, как поступать, куда ползти, бежать, идти; где залечь — и не жить пару часу, чтобы воскреснуть и вдарить туда, где у него слабо… Все. Хватит. Хорош. Ты трясешь башкой и улыбаешься…

Мама сияла — лицом, слезами, новым платьем, летним. Брат Андрюха посматривал на братана, брата, братишку, Галя (первая любовь) постреливала по диагонали через стол в моряка, в его тельняшку, в медаль, в знаки и в орден «Красная звезда» на правой стороне голландки, ближний к ближней к Гале. Ребята шумели и расшумливались все больше. Включили магнитофон («Космос», дорогущий — Вадик припер) — негромко наплывала «Stairway To Heaven»… Таня смотрела в тарелку. Ты ловишь ее редкий взгляд исподлобья: брюнетка, красавица, молчунья и мамина дочка. Киваешь ей и показываешь взглядом — выйдем на кухню?.. Вышли… Твоих зениц коснулся он… Таня, не глядя в глаза, тихо, почти шепотом сказала, что все, мол, кончено. Вот твои письма. Последние. Остальные затерялись. Куда-то делись. Ты взял пачечку конвертов. Машинально просмотрел даты на штемпелях. Два письма были толстые. Ты их помнил. Это — главные для тебя письма. Ты отделяешь их от стопочки и суешь в карман форменных парадных брюк, расклешенных, но слегка. Североморский, морпеховский клеш —

скромный, строгий и вполне гармоничный, соответствующий ранней заполярной и уральской весне: снег еще теснит все, что обитает на земле, но и земля уже зашевелилась, но слегка, еще во сне и почти бессильно. Ты обнимаешь Таню. Благодаришь, что дождалась, что пришла, что красавица, что спортсменка и комсомолка. Вы возвращаетесь за стол — в комнату — и все видят ваши освобожденные от ужаса объяснения и разборок лица…

Нет. Это ты ее бросил. Давно. Еще в дисбате. Ты знал, что не вернешься. Или вообще, совсем не вернешься, или не вернешься прежним. Ты — гад. Этто тточчно. На рассвете народ начал расходиться. Пьяненький от вина и недосыпа и трезвенький от счастья видеть здесь и сейчас Ваню… Иван, проводив гостей, закрылся в кухне — Катя и Андрюха прилегли вздремнуть перед работой и школой. Он сидел, глядя в окно, набитое голыми ветвями тополей и стриженным по-весеннему небом. Счастье ударило неожиданно — под ложечку. Аж голова закружилась… Дома! Я! Живой! Дома!.. Дверь приоткрылась: Катя, причесанная и в парадном платье, негромко, почти шепотом спросила:

— Можно? Ваня? А?..

Иван кивнул, встал, вынул из-под кухонного стола второй табурет:

— Вот, мам, садись… — Тебе вдруг становится холодно. И — запах… Запах похорон, как привкус резины во рту, когда получаешь кулаком по губам-зубам.

— Ваня… Ванечка… Ваньша, мы тебе не стали писать, чтобы ты там, на флоте этом, с ума не сходил… (Ты весь сжимаешься — в кулак, особенно сердце и душа)… Дядя Коля погиб… Еще год назад. Мы молчали. Прости. Он сам себя… убил…

— Петля?

— Да, на рыбацком капроновом шнуре.

— Пил?

— Да. Запой… Просил у Веры денег на водку.

— Не дала?

— Нет. Говорит, мы со Славкой и Танюшкой на каток пошли… А Коля ей: идите. А я — в петлю. «Ну и вешайся», — говорит она — и ушли. А он — все это в ванной и сделал…

— Такие дела… Такие дела… Такие дела…

Катя вышла. Ты сидишь: твою роту… ее мать… еемать… твоюроту… Господибожетымой… Вот и все… Нет Коли… Ты плачешь насухую. И — в себя. И — окрест. И — в небо, где все мы соберемся. Уже собираемся…

———

Дядя Коля умер. Кто это сказал — в рассветной полутьме? Фраза всклубилась темным, почти черным выдохом — не твоим, который тебе не вдохнуть… Ты и не вдыхаешь — ничего. Только выдыхаешь. Так не бывает. Детство не кончилось, потому что ты застрял в нем. В Шатрах. В дедовом доме-огороде-саде-покосах-рыбалках-картошках-любовях к зверькам и скотине, в дружбах с растениями и татарскими детьми. Отрочество кончилось. Юность кончилась, молодость прошла, а взрослость и зрелость отвернулись от тебя и стоят спиной к тебе, не оглядываясь. Дядство кончилось. Осталось дедство, бабство… Женщинство вокруг тебя клубится — мужиков мало, хотя война кончилась 31 год назад. Сплошное девичество — и твое младенчество, любовное и мужское, ходят кругами окрест девственности и бля.ства. Ты — девственник. Тебе 21 год, и ты — девственник. Ты еще и предатель — Коли, Тани, одноклассников, Шатров… — ты все променял на книжки и стихи. На тебя смотрят как на еннутого. Долбонеб хренов. Салага. Трус. Предатель. Всех бросил. Всех… Еще грядут жениховство, отцовство, дядство и тетство, — дедство. Но ныне ты — никто. Даже не старший матрос. Поднебка Северного флота. Твоюроту. Еемать. Такие дела…

Ты собираешься ехать в Шатры. Идешь на уралмашевский трамвай. Все смотрят на тебя — моряк… Знали бы, что надеть нечего, вот и шпаришь в парадной форме — весь черный-черный. Это от счастья, да?.. Бушлат с золотыми пуговицами. Беска — ленты заправлены за воротник бушлата, чтоб не хлестали по морде. Клеш и самоходы офицерские. Идешь себе, сопляк. А Коли уже нет… Ты едешь в сто пятом автобусе с Южной в Шатры. Народу мало. И тот — скелеты. Женские, в одевках и обувках. Перегрузился. Не сдохнуть бы от счастья, черного такого. Военно-морского и гражданского…

Восьмиквартирный «волчий» домик стал меньше — усох, скукожился. Квартирка деда и бабушки на первом этаже, слева. Стучишь — звонка нет. Дверь крепкая, глухая. Никого. Ты выходишь на двор, обходишь все три окна, заглядывая в них — никого.

Форточка в «зале» приоткрыта. Звук… Как бы тихий, долгий, без конца и края — вой. Бабий? Детский? Звериный? Женский? Бабушкин… И ты видишь ее сквозь заросли домашних цветов («цветник»): сидит она в черном платке у круглого стола белого — и воет. Плачет. Ровно и неостановимо. Ты стучишь в стекло оконное. Замечает тебя. Пугается… Идешь в подъездик к дверям дома своего. Дверь открыта. Бабушка смотрит чужими глазами — на чужого… Узнает… Поднимает руки к плечам своим — накрест. Плачет. Ты обнимаешь ее. Закрываешь дверь. Вы садитесь в кухне на табуреты. Ты куришь — впервые — в Шатровском доме. Коля — бабушкин любимчик. Кольша… В дверь стучат. Громко. Настойчиво. Долго. Ты открываешь — тетя Таня Кутлина… Русская, из курчан ссыльных, вышла за татарина. Бабка-Кутлиха все ворчала по-татарски и молилась каждый час, стоя на коленях на циновке-коврике, за упокой убиенного коммуняками мужа. Это их гуся Ваня грохнул засохшим коровяком — точным попаданием в длинную, безразмерную шею. Неслучайный «выстрел». Но убивать не хотел — мальчишка шестилетний. Самозащита. Превысил, так сказать, степень и меру обороны… Тетя Таня как стояла на пороге, так и сказала — громко, внятно и спокойно, слишком спокойно:

— Приехал Ваня? Вернулся? Тетя Наташа, поздравляю. И наш Серёжка… Привезли Серёжу в ящике, а в нем алюминиевый гроб. Вань, не знаешь, как открывается он?..

— Лучше не открывать…

— Но там окошко. Он лежит. Лицо целое. — И тут вмешалась Наталья Григорьевна, главная бабушка Шатров:

— Ваня не пойдет. Прости, Татьяна. Нельзя смешивать… Все это… Господи, прости…

Тетя Таня глянула на Ваню, на отмеченную железками грудь, на тельняшку и уже негромко, почти на слезе медленно проговорила почти в сторону:

— Заходи. Потом. Паша вскроет. Сейчас. Через час заходи. Хоть по стакану водки на помин души…

Татьяну не любили ни соседи, ни поселковые. Грубая она была и злая… Но здесь — горе… Ваня кивнул… Бабушка с охами и вздохами рассказала, что Серёжа Кутлин отравился древесным спиртом. «Что б нам было с шести бутылок, кабы водку гнали не из опилок…» Смерть шоркнула наждачком, напильничком, оселком по сердцу —

но уже вдогонку. Смерть армейская… До Афгана оставалось несколько лет, когда на убой послали салаг, полудетей, еле обученных. А в семидесятые гибли только «воины-интернационалисты», то бишь неплохо выдрюченные, с устойчивыми навыками, доводимыми до рефлексов — не умирать, не гибнуть, не подставляться под огонь, под нож, под партизанскую тактику афро-азиатов. Николай Иваныч, баааальшой начальник, часто повторял, пофыркивал, поборматывал: «Твоя, сынок, задача — не умереть: живой ты шороху наделаешь и прикурить дашь…» Воевали в основном слепцы, доживающие свой век офицеры и старшины войсковой разведки, или ВР, а также подразделения разведчиков и начинающих диверсантов — срочников, но прошедших в армии и на флотах подготовку в спецшколах… Кроме того, гибли по дурости деревенско-городской пацаны, оказавшиеся впервые вне дома, так сказать, «на природе», которая, как известно, убирает все лишнее и вредное. По глупости гибли от пьянки, от неосторожного обращения с оружием, техникой, печами (особенно на северах, где всякий идиот разжигал уголь в печи, предварительно плеснув туда авиационного керосина — хлопок, взрыв-взрывчик — выдох Агни, вечного, индийского и повсеместного), от драки неуемной, от лихости древней, как Агни и Кали, богини азиатского зла, от тупости и необразованности, от скученности и скуки. На зоне однажды сгорел барак (финский, дерьмовый, но деревянный) после охоты на крыс. Сгорел с сидельцами-штрафниками. Ночью. А вечером три догадливых и догадливых гада решили избавить свое тюремное жилище от крыс. Закупорили пять подвальных отдушин, а шестую, одну, оставили. Сунули туда шланг от пожарки и дунули туда пену огнеборную. По мере наполнения подвала, из свободной отдушины-окошечка рванули на волю крысы — десятки, сотни. Кто-то шутил — миллионы. Правда, много. Невероятно много. Два урода стояли над отдушиной — один с керосиновой лейкой, а другой — с факелом зажженным. Хозяин зоны был в курсе и лично присутствовал… Крыса, это умнейшее и древнейшее животное, которое однажды погрызло Ване помороженный палец на левой ноге,— выскакивала от удушья — пена давила — на воздух, ее поливали керосином и поджигали факелом — тыкали в спину. И все… Всех победили. Фашисты. Всех укорячили. Век воли не видать… А ночью где-то занялось в районе фундамента — и барачище на 200 арестантов сгорел с арестантами, т. к. природа завалила

оба выхода бетонными плитами (двумя) с хлипких навесиках на дохлых столбиках полугнилых над двумя крылечками. А на окнах — решетки. А решето хрен сдернешь — оно вбетонировано в железобетонную окантовку барачных окон. Такие дела…

Тогда сгорел поставщик сигарет татарин Никулин, которого все звали — для весу — Юрием Никулиным. Вертухай Сакен тогда стал таскать еще сигареты. А это труднее — они объемные и не растекаются по грелкам, велосипедным камерам и огнетушителям.

Вечером пришел дед. Иван Иваныч вышел на пенсию, но подрабатывал в пекарне. Сначала он год разгребал кое-что на очистных сооружениях, но перебежал в пекарню — запах лучше, легче и сытнее. Ваня к Кутлиным на поминки не пошел — бабушка не пустила. Он уехал утром, так как спешил попасть на собеседование в университет: Юрик Пятилов сделал вызовы из обкомов КПСС и ВЛКСМ — и в Мурманск-Североморск, и — в универ, ходил к ректору, который все понял и разрешил присоединиться к рабфаку (на филфаке) с опозданием на полгода. Юрик умел убеждать: мол, герой, медаль, орден и т. д. и т. п. (а ордена-то и не было тогда — он появится только осенью. Смешно.)… Вечером Ваня видел похороны татарские — до захода солнца (хотя солнце уже село). Он стоял у кухонного окна в темноте и видел людей рядом с красивым гробом, освещенных фарами двух грузовиков. Ваня не досмотрелся до лица покойного. Видел только нос. И подумал, что дети в деревнях хоронят не человека, а нос, который виден им в единственном и одиноком числе. Гоголь прав. Нос — главное. Нос бессмертен. Но ужасен. Особенно в гробу…

———

Все, что было пережито, как тебе казалось,— вдруг оказалось впереди: прошло сквозь тебя вторично, но свежее, известное тебе, но тем и страшнее и живее. Прошлое всегда в будущем. В настоящем — автобус, пеший путь через весь город с юга на север — от Южной до Уралмаша… Все социально радостное и печальное отмечается. Например, Октябрьский переворот, или ВелОктреволюция — революции, коих будет еще с десяток. Брежневское время застряло в себе, как «во многом мясе малое дерево», или заноза в заднице. Это не время, а календарь в голове у слепоглухонемого. Все хотят есть, пить и веселиться. Но — не работать: отработала свое

Россия по Великим стройкам и лагерям. Даже выходным дням радуются. Или горюют у Вечных огней. А то, что поэзию Мандельштама не замечают вот уже сорок лет (и не будут замечать еще сорок) — это ничего — никуда не денется энта паезия. И шестикрылый на перепутье… Не пропустить бы. Не не заметить бы… А то и давай Есенина споем. Или Маяковского вскрикнем. Или распустим коллективную эмоцию под Дунаевского, Исаковского, Пугачёву с Арлекиной некоей, под барачное искусство страны Советов. А в театр сходим. В музкомедию — для слабоумных и отупевших. В цирк. Посмеемся. Кто в армии служил, тот в цирке, в зоопарке и на театре не смеется. И не плачет…

По пути Иван зашел в военкомат. В районный. Свой — родной. Отправили в кабинет № 1, к майору, который долго молчал: сначала смотрел Ванино личное, видимо, дело, досье, блин; потом еще дольше смотрел Ивану в глаза… «Щас вербовать будет. Точно… Вербовали уже: в учебке, в трибунале, в зоне — молчи-молчи, молчи-молчи. Добрые дядьки с глазами доброго Берии. И все, с.ки, в очках. Молчи, брат, молчи…» У майора — облом. Он улыбается. Ты думаешь: одной бы рукой шею свернул — правой ли, левой — треугольником локотным. Сявка. Фрайер политический… Встали. Майор вдруг сурово произнес: «Ты, старший матрос, служил в морской авиации КСФ. Так?!» — «Да. Так точно». — Ответил Ваня. Сделал кругом. Вышел — не хромая. Вышел вон. Прямо в гражданскую жизнь.

Он шел по улице Ильича. Подумал: после Брежнева-старичка надо бы подобрать такого, чтобы и у него было отчество «Ильич». Наш Ильич, наш Ильич, наш Ильич, в общем-то Super Star. Super Star, Super Star, Super Star — это наш Ильич… Ллойд-Уэббер опередил на Уралмаше Высоцкого и «Маруську».

* * *

Воздух раздвинулся. Небо приблизилось. И все стало высоким и широким, как вольная душа…

Ты поднимаешься домой на третий этаж по косым бетонным хрущёвским ступеням. Медленно — умаялся. Нога не фурычит. Завтра собеседование в университете… А душа считает ступеньки — на каждую, кривую-косую-облупленную-округлившуюся — произносит имя бойца, привезенного в Мурманск в холодном упокоенном

виде. В те годы еще не было наименования «Груз-200», — говорили о мертвых, раненых и целых: холодных столько-то, теплых столько-то, горячих… Горячих всегда, слава Богу, было больше. Душа произносит имена всех подряд: ей все равно, убит ты, ранен или выскочил живым и здоровым; у нее — все живые: Петя (Яковенко), Дзинтарс (Вашилишунс), Кирилл (Смирнов), Олег (Медведев), Юра (Дмитриев), Володя (Симаков-Симак-Сима) и, естественно, Юркино «Мейне мутре арбайтен ин кольхоз!..» Ступенек мало. Иногда ты останавливаешься — припоминаешь облик, имя, характер пацана, убитого, раненого, уцелевшего. Ступени кончились — и душа заплакала. Не успела. Не успела всех назвать.

———

Иван — вдруг и весь сразу — обессилел. Он сел на ступеньку, уже принадлежавшую четвертому этажу, достал пачку — последняя сигарета. Хлопнул по другому карману — запасная здесь. Закурил последнюю, глубоко затянулся. Пустую пачку открыл — будет пепельницей. Подъезд был пуст, чист и сумрачен — окна за зиму закоптились. Заводы, то-се. Весной помоем эти окна. По теплу помоем. Посветлеет…

На перепутье мне явился…

Ты понимаешь, что в «Пророке» три стихотворения: первое — начальная строфа, второе до трупа в пустыне и третье: «Как труп в пустыне я лежал…» — и до конца. «Первое стихотворение» — это человек превращается в поэта. «Второе стихотворение» — ангел, архангел и душа преображают тебя, его, меня, их в гения, то бишь в того, кто слышит, видит и знает то, о чем не ведает никто. Даже не догадывается, что есть Нечто — и оно способно тебя приобщить, пристрастить к себе. Внедрить в себя… А теперь иди на все восемь сторон. Все равно — сторона одна, и она вверху. По вертикали. Она отвесна, навесна, откровенна и прикровенна. «Исполнись волею моей…» — это и о воле пространственно-временной, о воле и свободе быть там, где должен быть поэт по воле, по свободной воле Господа, Космоса и Природы. По воле души, разума и сердца. По воле жизни, смерти, любви и воображения…

Ты отдышался после подъема на третий этаж, после наплыва памяти и боли душевной, а теперь не можешь отдышаться от Пушкинской догадки, которая истиннее любой правды… Ты вскрываешь вторую пачку. Куришь. Три подряд… Открывается дверь в твою квартиру — мать. Она знала и знает, что ты здесь. Сидишь и думаешь стихи свои и не свои — больше, чем твои, родные. Страшнее. Ослепительнее. Темнее. Прекраснее.

— Заходи?..

— Ага. Сейчас. Иду… А что?..

— Тебя гости дожидают (так по-деревенски сказала — это от волнения). — Иван не спросил, кто там и какие это гости, — он знал. Снял ботинки, беску и бушлат. Прошел в кухню. За столом сидели Арефьев и Сергей Печерский, уже майор МП, а Иван Иваныч в погонах кап-раза, капитана первого ранга. Офицеры встали. Обняли Ваню по очереди. Сели втроем — Катя что-то еще приставила на стол и добавила бутылку водки. Арефьев с серьезным видом произнес:

— Отверзлись вещие зеницы… — Иван ответил в тон, в мелодию:

— Иван Иваныч — имя традиционное для Орловых.

— Орловых-Черминских, — дополнил Иван Иваныч и спросил: кого хороним?

— Тезку товарища майора. Серёгу Кутлина, дружка детства.

— Где он служил?

— В Пермской.

— Дело знаменитое. Семь дембелей испили метанола. Крышка. Всем. Жаль… Помянем.

Все выпили. Мужики — сидя. Катя — стоя. Помолчали.

— Перстами легкими, как сон… — Арефьев смотрел в глаза Ивану. — Пишешь? Думаешь?

— Думаю постоянно. Пишу… Вернее, записываю — редко.

— Певец во стане русских воинов… Представление на орден восстановлено. Кто-то постарался. Некий Герой Советского Союза, забайкалец. Погранец. Молодец…

— Случайная встреча. На вокзале. В поезде. В купе. Он ребят своих прикрыл и вытащил на Даманском… и ни пяди грязи не отдал китаезам.

— Он стихов-то, часом, не пишет?

— Кажется, да… Глаза у него, как у иконописца. Весь посечен осколками. Без ноги. Но служит. Майор…

— Майор — значит «старший». Старшой. Хороший парень… В девятнадцатом веке почти все поэты — воины. Денис Васильевич Давыдов, Константин Николаевич Батюшков, Боратынский, Лермонтов, Полежаев… А нынче, в двадцатом, одни студентики, революционеры, комсомолишки, евреи, мещане, проходимцы партийные… Странно: поэзия и война. Да?

Печерский закурил:

— К концу девятнадцатого дворянство духовно исхудало. Засиделось. Зажирело. Обнаглело. Онтологическая наглость — быть лучшим по рождению. Духовная жажда уже не томила. И пустыня осветилась электричеством и синематографом — смотри на себя, любимого, смотри — не хочу, до усрачки смотри, Господи, прости!.. Но перепутье-то осталось! И явится на него, как на дежурство, шестикрылый — только не для этой разночинной и совдеповской шушеры. Коммунистические университеты… Дурь полная. Гиль. Гниль. Мрак. Энтузиазм бурьяна. Ни крапивки не видать…

— Да-с, господа офицеры и один матрос-медалист, тема худая. Видная насквозь… Ваня, мы в Свердловске проездом. — Арефьев глянул на ручные часы, диковинные. — Через час едем в Шатры к дяде Ване Орлову-Черминскому. Катя — с нами? — Катя кивнула и почему-то неожиданно для себя покраснела. — И — дальше, во Владик, на Тихоокеанский. — И обратился к Ване: — Ты завтра экзаменуешься? — Да, собеседование, диктант и сочинение.

Печерский хохотнул, но негромко, изящно:

— Как я провел этим жизнем в тюряге и в разведке… Хорошая тема…

— Нет, я напишу о Тютчеве и о том, почему я не могу не думать стихи и не смею записывать их…

* * *

Катя и офицеры быстро собрались и уехали на машине, присланной из УрВО. «Жаль, что водила — не моряк», — подумал Арефьев. «Хорошо, что водитель — не матрос, а зеленый старшина», — подумал Печерский. «Вечером вернусь, — подумала Катя, — завтра на собеседование Ваня пойдет в своей морской форме…»

Иван стоял у окна, на которое надвигалось весеннее небо.

* * *

Мать вернулась поздно. Быстро поела и ушла в свой закуток, образовавшийся за шкафом, где стояла старинная кровать с никелированными шариками на спиночных стойках. Комната была одна. Небольшая. Закуток занимал около двух метров всей площади прямоугольника жилого, так сказать, помещения, или треть его. Остальные две трети этой общесемейной спаленки занимали сервант с посудами, диван двухсотлетний, шоколадного цвета, кожаный, почти барский, кабы не потертости; круглый стол с малиновой скатертью из рыхлого бархата; два-три стула убогого вида; пара табуретов, резных, деланных дедом, и раскладушка, ставившаяся параллельно к дивану, на котором сейчас спал очередник Андрюха: завтра наступит Ванина очередь — маяться на этом насекомом, складном, дюралевом сооружении. На подоконниках двух небольших окон стояла дюжина глиняных горшков с цветами — домашние сады, как говорила бабушка.

Иван прочитал все письма. Выбрал себе два — о Лаосе и гитарке, остальные аккуратно сложил в стопочку, перетянул медицинской резинкой и положил — осторожно и ровно — в помойное ведро… Уже светлело. Он разделся, сторожась страшного диванного скрипа, лег и загадал себе проснуться через час — в 6.00. Как раз хватит собраться и доехать до университета. Собеседование в 418. В 418. В 418…

———

Когда уезжают гости, в доме становится пусто, еще более — чем в мире. Мир, теперь уже иной, не такой, как прежде, не впускает тебя — и ты, что бы ты ни делал, топчешься у входа туда, где шевелится и шумит род человеческий… Иван вспомнил о своих письмах, которые вернула Таня, нашел их под телевизором, вскрыл конверты и сел читать. Пришел из школы брат Андрей, покопошился в кухне и вышел вон, не сказав ни слова. Иван принялся за письма. Он читал их, особенно два (одно из дисбата, другое — послелаосское, посткомандировочное). Он читал их так, будто эти письма были адресованы не ему, да и сочинены не им самим. Будто некто писал тебе. Так — просто, для памяти…

Из первого письма

<…> он исследует. Наблюдает. Познает. Осознает и далее… Разведгруппа из семи морпехов оказывается в Лаосе. Задач много: во-первых, обозначиться в этом неспокойном месте (если Восток дело тонкое, то Юго-Восток — тончайшее), т. е. стратегически: показать друзьям — противникам (двум-трем державам), что мы ЗДЕСЬ, и войти в состояние контакта-неконтакта-полуконтакта с предполагаемыми визави (не с лаосцами, естественно: они заняты своими делами политико-партизанского характера). Во-вторых (тактика), прогуляться вглубь (весьма неглубокой) страны, ознакомиться с окрестностями, достопримечательностями, кое-какими людьми и нелюдьми. И, в-третьих: главное. Обнаружить нечто, очень нужное всем — и нам, и англосаксам и прочим друзьям-товарищам… И — группа пошла. Джунгли. Холмистые. Не те джунгли великой Амазонии школьно-географического характера, а полусухой лес-подлесок с огромным количеством насекомых и гадов (как в Индии, например; в Анголе, там кусты да огромные кочки то ли травяные, то ли тростниковые — жуть; а в Северной Африке — там песочек, везде, и в ботинках тоже). Идет группа. Командир (нарушая предписанный порядок) — первый, во главе колонны по одному с интервалом ровно на разрыв мины — и летучей, и лежачей, и прыгучей. Слышатся редкие хлопки миномета (одиночный аплодисмент), которые чреваты через 7–10 секунд ответным групповым аплодисманом. Клакеры хреновы. Окказиональный (на арапа) обстрел окрестностей военной базы. Демонстрация бдительности и ужаса тихой вечной войны. Группа идет. Навстречу (с неба) — мина. Прямое попадание в морячка, следовавшего за командиром. Командир летит — боком — в сторону, точно на север (поближе к Родине), и, контуженный, катится с холма, по откосу вниз — прямо к товарищам военным. Низкорослым, однолицым и неловким, как инопланетяне. Пятеро останавливаются и — бегом — уходят вверх: двое, кажется, убиты. И — командир. Однако последний жив. Его берут в плен. И он приходит в себя в бетонном полуподвале какого-то строения военно-промышленного образца (ох, уж этот Рембо с его бамбуковыми клетками и кагебистами, подбирающимися с электродами к его бесценным гениталиям…). Контузия серьезная. Тотальная. Кровь идет из всех телесных отверстий. Но настроение — бодрое. Потому что — страшно. Не за медальки,

которых лишат, если выберешься, а за ребят, окопавшихся на вершинке холма. Три недели его никто не трогает. Он лежит на бетонке, предварительно вымазав своей кровью комбинезон. Ходит он, что называется под себя, в штаны. Играет немощного, обезумевшего от контузии идиота. Стонет. Его рвет кровью — и он слабым голосом издает англо-матерные звуки с добавлением волшебного слова «God», что-то вроде «Oh, my God…» Ясно: узнают в нем русского — расстреляют. Морского котика — отдадут за выкуп. Все просто. Кормят: миска риса и миска воды. Половину съедает, половину разбрасывает окрест себя. Воду выпивает всю. Но миску отбрасывает от себя на метр — не пил я ее, вашу вонючую воду.

Иногда в камеру заползает солнечный зайчик, бледный и размытый, и пишет на противоположной от окна стене кружок с точкой. Это ребята. Его ребята. Он молится. Просит Бога, чтобы не пускал их сюда. Не прорваться: гарнизон — человек 300. Значит, то, что ищем,— здесь. Это хорошо… Через три недели к нему в камеру приходят трое: старший офицер с белым носовым платком в правой руке (в правой — это хорошо), офицер помладше с бамбуковой палочкой в правой же руке (о, это тоже очень хорошо), но бамбук какой-то такой не Рэмбовский, а скорее удилищный: верхушка удочки, тонкая бамбуковая вица. Третий — унтерофицер с АК-47, который смотрится в его ручках (все — низкорослые, как семиклассники) как трехлинейка, как винтовка Мосина образца 1908 г. Старший заговорил по-своему. Средний — по-русски. Младший аккуратно пнул в лицо: пленный от удара не заслонился, но успел разглядеть — сапог наш, советский, на подошве рядом с каблуком цифра «39». Карлик милый. Милый карлик… Карлик у Кеши украл прахоря… Средний перешел на английский. Пленный оживил свои глаза, сделал взгляд осмысленным, хотя и не хрена не понял: юго-восточный англо-суржик почему-то напоминал татарский — так, если бы говорил ребенок, сюсюкающий и не признающий шипящих и сонорных звуков. Старший брезгливо поглядывал на загаженного, в кровяной коросте «котика». Средний наслаждался своим чудесным произношением. Младший переложил автомат в правую руку (о, Боже, как это хорошо!), а потом вообще выпустил его из руки и держал эту родную для пленного волыну за ремень (длинный! — о, хорошо), покачивая автомат, как люльку для 30 (+1) шмелей (хорошо, да? — шмелиный улей). Пленный ругнулся,

застонал, попытался повернуться, лечь на спину — средний помог: пнул в лицо, пнул в плечо, пнул в живот, пнул в … «Вот и все. Хана вам, пацаны,» — подумал пленный, овладевая автоматом (это легко — сначала ногой — садясь, потом рукой — уже стоя, потом три коротких по коленным чашечкам (отключка моментальная и надолго — болевой шок: это вам не кино и не телевизор). И — ходу. Ушел просто: не спеша, мимо вышки — и влево. Умел ходить рядом с неслепым так и с такой скоростью, что становился невидимым. Все. Буш. Лес. Подлесок. Долбаная джунгля…

Группа в сборе. Минус один. Его звали Петя. Через пару месяцев его матери вернут Петины (папины) часы «Победа» и вручат Орден Красной Звезды (в то время рядовой состав орденами почти не награждали, только — посмертно; а так все — медальки, белые и рыжие)… Через неделю группа ушла в Камбоджу, где месяц ребята кушали лягушек, ящериц и гадов. Еще через месяц лаосскую базу смела диверсионная группа, вслед за которой прошла группа чистильщиков. Дело было сделано. Нечто было обнаружено и взято. Остальное — сметено к чертовой матери… Схема такая: разведка — диверсионная работа — зачистка.

* * *

Очень похоже на писательскую работу: замысел — осуществление замысла — правка. Подготовка к написанию (нулевой текст в виде плана) — черновик — чистовик… Сначала разведка неизведанного (познание с параллельным влюбливанием в предмет текстотворчества, или пленение автора этим предметом: мука мученическая). Потом полное разрушение пленившего тебя предмета с последующим воскрешением его в вербальном, текстовом виде. И, наконец, зачистка, работа с черновиком, доведение его до совершенства, почти до пустоты (с точки зрения обывателя)…

Из второго письма

Самодельная гитара. Запретная. Противозаконная. Ворованная — у государства, у трибунала, у зоны, у дисбата, у охранников. Как говаривал один школьный учитель физики, «Изготовляется легко — применяется широко», — но тайно, по ночам, в холодном бараке с насыпными стенами (финны научили), звучит она

шепотно, без визга, но внятно и вольно. Моя первая самодельная «гитара» была сооружена в 1974 году на Кольском полуострове, вторая — в том же году в Африке, и третья и четвертая — в 1975 году в Юго-Восточной Азии. Для того чтобы сделать такую «гитарку» нужны три вещи: во-первых, доска; лучше не фанерка, проклеенная и с пропиткой: она не звучит, а вякает и постанывает, а еще вскрикивает на резкой перемене аккорда, — нужна досочка, лучше смолевая (сосна, елочка) — она мягче и шепот у нее почти человечий; сухая такая досочка с уральским ароматом смолы и скипидара, с запахом леса, дома, свободы — редкая вещь в Заполярье; такая длинная (полметра) дощечка (длинная — для зоны, где все на хрен запрещено: железное, стеклянное, длинное (негабаритное) и напоминающее волю); так вот, дощечка эта, по щечкам ее бледным, протирается спиртом (покупали на бешеные деньги у местных поселенцев-спиртоносов) — и проступает фактура, узор древесный — как иероглиф воли и независимости от вертухайства; потом дощечка сохнет под телом твоим — ночами, — вернее, между телом, одеялом и засанным матрасом, на котором ты лежишь бывшим и будущим (по окончании срока) матросом — дощечка должна лежать под спиной (задница, бедра, колени ее прогнут, изогнут, изуродуют) ровно и точно вдоль позвоночника. Через месяц гриф, а это 9/10 всей гитары, — готов. Во-вторых, нужна тончайшая и длиннейшая стальная проволока, которой армируют защитную одежку морпехов (тех, что из разведки: наколенники, налокотники, набедренники, в общем весь комбинезон штурмовой, а также и бронежилет). Проволочка эта не ломается, не рвется и не сгибается пополам. Брали ее опять же у спиртоносов-табаконосов-бациллоносов («бацилла» — это сало, реже мясо, колбаса, которая сдавала владельца охране своим неистребимым запахом дома, семьи, воли, человечности и праздника). В зависимости от длины дощечки-грифа, нарезались струны количеством от четырех до семи (семиструнная гитара в те поры была более в ходу, нежели шестиструнная, благодаря стараниям цыган и Владимира Семёновича Высоцкого). К струнам добывались, опять же у свободоносов, колки — любые: гитарные, балалаечные, от домры и даже скрипичные. В-третьих, нужен был оцинкованный бачок литров на 15–20, на худой конец — оцинкованное ведро. Емкость устанавливалась в лежачем положении как раз напротив струн нашей заполярно-гавайской гитарки. Звук

залетал в оцинкованный колокол, тот в свою очередь резонировал и распространял — шарообразно — музыку. Это как поэт работает с языком, разумом, сердцем и душой — и по воле Божьей воссоздает поэзию, обитающую за колючей проволокой нашей планеты… Одним словом, заслушаешься…

Делали 10–11 ладов. Одиннадцать — лучше: от ноты До (открытый аккорд) до ноты До (закрытый аккорд) в одной тональности. Но я не знал и не знаю (после армии я бренчал в кабаке на ритм-гитаре и пел русские народные — блатные, хороводные, и также Битлов и Маккартни на вроде бы как английском языке с листочка на пюпитре, где оригинальные стихи Леннона, Маккартни, Харрисона и Старра были изображены в русской (кириллицей) транскрипции)… В бараке пели мы всякую муру (и «Мурку» тоже: пацаны-сидельцы почти все были деревенские, 18–20!, драчуны и вольные трактористы; они городского романса не знали, но уважали «Мороз» и «Черного ворона»). Юра, мой кореш по учебке морпехов, научил меня петь, может быть, самую суровую и печальную песню невольников.

Ванинский порт

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.
На море спускался туман.
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан,
Столица Колымского края.
Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
«Прощай, навсегда, материк!» —
Хрипел пароход, надрывался.
От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья,
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья:
— Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.

Сойдешь поневоле с ума —
Отсюда возврата уж нету.
Пятьсот километров — тайга.
В тайге этой дикие звери.

Машины не ходят туда,
Бредут, спотыкаясь, олени.
Там смерть подружилась с цингой,
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.
Не пишет она и не ждет,
И в светлые двери вокзала, —
Я знаю, — встречать не придет,
Как это она обещала.
Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые дети.
Знать, горькую чашу до дна
Придется мне выпить на свете!

Автор неизвестен. Ну да, народ у нас — самая неизвестная, немодная, не-в-тренде субстанция, которую загоняют в трюмы, в храмы, на помойки, в шалманы, в спальные районы, в разоренные школы и вузы, в партии, в корпорации, в офисы, в бутылку, в шприц, к черту на кулички. Идешь по трапу в вонь и в холод — и плачешь в себя. За такую жизнь человек наплакивает в себя целое черное, горькое море. И плачет он до тех пор, пока не начинает понимать, что свобода — это не то, что все считают свободой. Свобода — она есть ты. Внутренний ты. Свобода — сущность надуманная, измеряющаяся в объеме своем и в качестве своем — рублем, долларом, властью, силой и абсолютной безнравственностью, когда природная нравственность (и гуманизм) замещена общественной моралью, демократией и любым другим видом насилия. Суд — этап — зона; память — любовь — вокзал. Вокзал забирающий и вокзал возвращающий. Миф о правосудии, о правомочии и о правовластии материализован в теорию, методологию и способы насилия.

Мы пели то, что добивало нас, уничтожало до конца. Мы гибли в вонючем морозном бараке. Мы плакали. Мы разрушались.

Но: кончалась песня — и мы воскресали, преображаясь в сильных и бессмертных, в молодых и красивых.

Звук у запрещенной гитарки был нежный, страдательный, но творительный. Иногда я играл «на квадрате» рок-н-ролл, а потом однажды объединил в один сразу три «квадрата» — и вышла иная музыка, очень похожая на ту, что я услышу в 1976 из магнитофона — Deep Purple. Ричи Блэкмор — первый рокер — и необычайно вариативный («Smoke On The Water», да?), а барабанщик Йен Пэйс — вообще гений: он ритмует сразу во все стороны — и вперед, и назад, и влево, и вправо, и — даже — вверх и вниз!.. Мы пели «Прощайте, скалистые горы…», «Северный ветер», «Окурочек». Ох, уж этот окурочек в красной помаде…

Из колымского белого ада
шли мы в зону в морозном дыму,
я заметил окурочек с красной помадой
и рванулся из строя к нему.

«Стой, стреляю!» — воскликнул конвойный,
злобный пес разодрал мой бушлат.
Дорогие начальнички, будьте спокойны,
я уже возвращаюсь назад.

Баб не видел я года четыре,
только мне, наконец, повезло —
ах, окурочек, может быть, с «Ту-104»
диким ветром тебя занесло.

И жену удавивший Капалин,
и активный один педераст
всю дорогу до зоны шагали, вздыхали,
не сводили с окурочка глаз.

С кем ты, стерва, любовь свою крутишь,
с кем дымишь сигареткой одной?
Ты во Внукове спьяну билета не купишь,
чтоб хотя б пролететь надо мной.

В честь твою зажигал я попойки,
всех французским поил коньяком,
сам пьянел от того, как курила ты «Тройку»
с золотым на конце ободком.

Проиграл тот окурочек в карты я,
хоть дороже был тыщи рублей.
Даже здесь не видать мне счастливого фарту
из-за грусти по даме червей.

Проиграл я и шмутки и сменку,
сахарок за два года вперед,
вот сижу я на нарах, обнявши коленки,
мне ведь не в чем идти на развод.

Пропадал я за этот окурочек,
никогда не кляня, не виня,
господа из влиятельных лагерных урок
за размах уважали меня.

Шел я в карцер босыми ногами,
как Христос, и спокоен, и тих,
десять суток кровавыми красил губами
я концы самокруток своих.

«Негодяй, ты на воле растратил
миллион на блистательных дам».
«Это да, — говорю, — гражданин надзиратель,
только зря, — говорю, — гражданин надзиратель,
рукавичкой вы мне по губам».

«Окурочек» — великие стихи. Здесь не только «кто не был, тот будет, — кто был — не забудет». Здесь главное: «Диким ветром тебя занесло…» Мы пели: «Вольным ветром сюда занесло». А вот арестанта туда занесло как раз диким ветром… «Десять суток кровавыми красил губами / Я концы самокруток своих…» — губная помада вольняшек и кровь зека. Кровь зека на самокрутке — губная помада Судьбы. Кровью помазанная земля наша, опять ты — за холмом…

О. Мандельштам
Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Губ окровавленных — и шевелящихся, как волосы воздуха, тронутые бесконечным движением стихов. Где? — Всюду: и в душе, и в земле, и в небе. Особенно в небе.

Пели мы и хрень всякую: «Над рекой, над речкой…», «Сидели мы у речки у вонючей…», «Как на кладбище Митрофановском / Отец дочку зарезал свою…», «Дождик осенний, слякоть бульварная…», «В луже солнце, в луже дети…», «Аэропорт, аэропорт…», «Синий лес до небес…» и т. п., — но вот в чем дело: музычка незатейливая, извлеченная из неказистой гитарки выворачивала стишки наизнанку, а на изнанке, как водится, распускались нитевые узелки и шевелился узор невероятный, страшный и прекрасный — узор жизни нашей и судьбы общей, несчастной, но молодой, ужасной и красивой.

В зоне нашей дисбатовской жизнь происходила разнообразно, многоэтажно и стереоскопично. Толпа штрафников, осужденных военным трибуналом, была едина: все сидели за ерунду. Кто-то старшину на хрен послал. Кто-то подрался неправильно. Кто-то старослужащему челюсть сломал. Кто-то что-то украл и съел. Кто-то устав такой-то нарушил изрядно. Кто-то, как в анекдоте, пионера в попу клюнул (ну, политика — то, се), кто-то слегка дезертировал, но был пойман на вокзале г. Мурманска, кто-то в самоволке неделю проболтался, кто-то попортил военное (боевое!) имущество. Но толпа эта распадалась на группы (скажем, морпехи, подводники, моравиаторы и проч.). Группы состояли из конкретных, персональных несчастий. Я, например, жил, как все: работал в карьере лопатой, топал в строю, жрал тухлую треску и хлебал баланду. Это жизнь утренне-вечерне-дневная. Но была еще и ночная жизнь с едой запретной (не скажу ЧТО и КОГО мы ели, чтобы не пугать девушек и хипстеров), с редкой и ужасной выпивкой, с нашей заполярно-гавайской гитаркой и песнями, с книгами, которые я, перевирая и «улучшая», пересказывал, диктуя коллективу единомученников любовные письма на волю, домой, в никуда, с молчаливыми драками, дуэлями и, конечно, с дружбами, когда дружбаны, земели,

земы и кореша мучительно и печально поддерживали друг во друге жизнь. Была еще и другая жизнь — своя, внутренняя. У меня — со стихами моими. Я их запоминал, чтобы забыть и сочинить новые. Не записывал. Но — все равно был всегда полон стихов, музыки и отчаяния.

«Из дома вышел человек»
песенка

Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре
Вошел он в темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.

Я (и некоторые другие) как раз был таким человеком — исчезнувшим для всех, но не для себя и Бога. Чувство и состояние неволи убивали меня. Легко сказать: я внутренне свободен. Такая свобода должна была иметь некое материальное воплощение. А материальный знак свободы и воли давал возможность выбора: жить или

умереть, жить умирая или умирать живя, — или просто жить. В себе. Плакать в себя. Думать и говорить — в себя. Любить и ненавидеть — в себя. Не зависать в несчастье, в беде, в катастрофе — но жить — в себя. Бутылочное стеклышко. Осколочек. Я нашел его в куче угля, которым топил кочегарку. Заныкал его. Ночью зашлифовал (как тот скребок из Каменного века) и заточил с одной стороны. Размером он был с советский «железный» рубль. Им можно было легко вскрыть вены. И он всегда был со мной — тырил его то в одежке, то в обуви. И родилось во мне, и укрепилось, и успокоило меня новое состояние и ощущение: хочу — живу, хочу — не живу. А это уже свобода. Свобода и воля выбора в главном. Это меня и успокоило. Я стал другим: я перестал бояться уродства своего существования и смерти. Вы, гады, приручили мою жизнь, швырнув меня за колючку. А я приручил — смерть. Я тогда чувствовал, что Бог не просто понимает меня, но и одобряет такой ход моих печальных дел.

Снегири взлетают красногруды…
Скоро ль, скоро ль, на беду мою
Я увижу волчьи изумруды
В нелюдимом, северном краю.

Будем мы печальны, одиноки
И пахучи, словно дикий мед.
Незаметно все приблизит сроки,
Седина нам кудри обовьет.

Я скажу тогда тебе, подруга:
«Дни летят, как по ветру листье,
Хорошо, что мы нашли друг друга,
В прежней жизни потерявши все…»

«Волчьи изумруды» — это Северное сияние. Это сияние не сияет, но, находясь в постоянном движении, осматривает сей мир фронтально, горизонтально, а иногда, всполошившись, распространяет свой взор вверх, швыряя себя, нет — зашвыривая, — в вертикаль. Словно, обозревая этот свет, запоминает его черно-белую сущность, его снега, белее белого, и серое, черное, измученное вещество людей, пропадающих в белом.

Случались у нас и побеги. Такой «рывок» совершил и я… Поймали меня сразу — за соседней сопкой. Били трое суток в три смены. Ничего. Выжил. Стерпел. Когда меня раскатывали и поливали водой — жидким льдом, и мочились на меня, и плевали в меня, — я думал стихи. Я уже не боялся. А че бояться-то, все равно помирать. Уж лучше так — в горячке телесной и в красоте, которая обретала красно-малиновые оттенки по краям души моей, а в середке, в центре сознания текла во мне музыка, или — не музыка, а то, что всегда предшествует стихам. Предваряет их… Спустя несколько лет я встретил одного из охранников, лупивших меня, — хохла — на Ярославском вокзале в Москве. Он меня узнал — почувствовал, и — узнал. Утек за киоск газетный. И я — медленно и верно — за ним. Иду и думаю: дадут от 12 до 15 лет. Не, ну на хрен… Подошел. Посмотрел ему в глаза, а они — детско-поросячьи какие-то, добрые и покорно-погибельные. Сказал я ему: живи, гаденыш, и помни, кто ты и что ты, и что я всегда рядом, я — ЗНАЮ — тебя. И ты знаешь меня, бандеровец хренов. И Он знает все. Живи, так сказать, и помни. Живи и жди…

Из дисбата нас вытащил Николай Иванович, большой начальник, — Юру, Вовку и меня. Ему нужны были именно мы — отчаявшиеся и готовые на все.

Иван, не дочитывая письмо до конца, на клочке бумаги дописал следующее — то, что произойдет после дембеля, до которого еще нужно было дожить: «*Юры и Володи уже нет: один был найден повешенным три года назад, а второй застрелился на даче под Питером. Мы вместе прошли пять командировок. Демобилизовался я из морской авиации, куда был переведен после госпиталя в 1975 году. Ходил после Египта с палочкой, которую забросил в палисадник перед подъездом нашей уралмашевской хрущёвки, чтобы мама не психовала. И — сразу перестал хромать. Походил туда-сюда, посмотрел на окна нашей однюшки — светятся, и в кухне, и в комнате. Сел на скамеечку перед подъездом. Закурил. Снял бескозырку — и заплакал. Такие дела.*

Мать рассмотрела меня в окне — сумерки. Взобралась на подоконник и окликнула меня в форточку… И вспомнил я, что в дембельском рыжем портфеле есть у меня заветная тетрадь — кончается уже. Надо бы купить новую…»

V. Не смотри в глаза собаке

Он оделся, предварительно скрутив с голландки наградные железки. Снял со стены круглое полуметровое зеркало, подошел к окну и увидел себя: бледного, почти лысого (как три дня после бритвы), — высокий и широкий лоб-шарабан, как говорили пацаны в детстве, или — «лобастый затылок» — в юности; сломанный нос, но горбинка спасала — спрямляла его кривизну; нижняя челюсть отъезжала то вправо, то влево, но прямо никак не стояла — тоже перелом; улыбнулся себе и кому-то еще; улыбнулся себе, идиоту; улыбнулся яркому свету весеннему — и заплакал. Лицо его сразу изуродовалось — стало, как у Чингисхана. У хана Чингиза было всегда грозное и заплаканное лицо. Так думалось Ивану. Он качнул зеркало, держа его перед собой на вытянутых руках — и облил круглым зеркалом, почти огромным, свое лицо и плечи, а потом залил им всю кухню. Зеркало отошло от лица и плеч — и плеснулось сквозь оконное стекло во двор, в тополя, на кучки снежные, на качели, на скамейки, на дальнюю помойку, на воробьев и голубей — этих дворовых, городских шнырей, которые, бедняги, подбирали с холодной, почти расснеженной земли, все, что бралось в клюв…

На трамвае он доехал до остановки «Первый километр». «А где двадцать пятый?! — Подумал он. — Двадцать пятый будет через четыре года…» Дальше, до университета, он шел пешком. Неспешно. Встречные горожане поглядывали на него, приглядывались, узнавали морскую форму — и улыбались. Иван тоже улыбался им, но коротко, не широко, а чуть-чуть озабоченно: что там впереди? Возьмут? Или провал?.. Он огляделся, пройдя под мостом: это была еще привокзальная земля, нечистая, пахнущая креозотом, мазутом и скоростью чужой жизни, проносящейся в железнодорожных вагонах мимо и сквозь Свердловск. Здесь было больше диких кошек и собак, тоже нечистых и озабоченных голодом. Здесь еще

встречались бродяги, алкаши и бичи (бывшие интеллигентные люди), оставшиеся без крова, без семьи и без работы. Один из них вынырнул из-под глубокой и темной каменной опоры (левой) моста, догнал Ивана и, стесняясь или как бы почти стесняясь, протянул к нему грозную ладонь, сложенную лодочкой. Он был почти красив, в мятой и уже драной одежде, но в почти новой шляпе из 1930-х годов. Иван остановился, бич подошел ближе: он был грациозен, насколько грациозен — настолько и вонюч. Запашист. Ваня вынул из кармана трешку — подал, положил в грязную лодочку, кивнул чуваку, который по виду был чуть старше его… Ты смутился. Ты никогда не краснеешь — ты бледнеешь, как дед, как Катя: и ты можешь оказаться под мостом, и над тобой будут хе.ачить поезда. И ты будешь всю дорогу подмостную хотеть, жаждать жрать. Ты будешь мечтать о коммунизме и жратве… Твою роту!.. Какие душегубы разорили и выгнали в чисто поле — под мост — этого человека.

Так море древний душегубец
Воспламеняет гений твой
Ты славишь ли рой золотой
Тирана грозного трезубец
Не славь его в наш грустный век
Седой Нептун земли союзник
На всех стихиях человек
Тиран, предатель или узник…

Так Александр Сергеич Петру Андреичу писал. Отписывал. Пошучивал невесело и грубовато. А надо бы еще злее и страшнее, ужаснее…

Воспламеняет гений… А твой гений что воспламеняет? Али ты, братец, бездарен?.. Вот сейчас и узнаем…

Он прошел по улице Мамина, который захотел быть Сибиряком. Средненький, уже почти советский писатель. Сочинитель… Дошел до Главного проспекта, ныне Проспекта Ленина, повернул направо: перед ним был университет им. А. М. Пешкова, ныне Горького, Сладкого, Кислого — на любой вкус. Слева стоял Яшка, в скверчике, в кустах. Памятник Свердлову, распорядившемуся архинаилучшим способом судьбой императорской семьи… Мог бы быть проспект

Романовых, а памятник не этому злобному карлику, но Пушкину и Вяземскому…

Здание Уральского университета было абсолютно, насквозь серого цвета, который имел даже по-волчьи сизый оттенок, как мох под заполярным снегом. Храм науки. Ты прошелся вдоль колонн и ступеней с востока на запад — это вход в Храм… Боже, неужели ты сюда, туда, в Это Место войдешь? Проще с семи тысяч с парашютом и кислородной маской… Людей почти нет. Никто не выходит из высоких массивных старинных двустворчатых дверей высотой с нижний край баскетбольного щита. И никто — не входит. Лекции, да? Все учатся… Так, старший матрос Орлов, хватит бздеть! Вперед! Смело — вперед… Двери не тяжелые — они тяжеленные, будто коня тянешь за повод или ротный миномет отрываешь от земли. Вошел. Прямо — лестница и еще одна, — обе широкие, как объятия Баренца. Налево и направо — гардеробы. Слева, справа и рядом с центральной лестницей, мраморной, — три зеркала: фланговые зеркала обычные, большие, современные, но центральное — главное — зеркало такое огромное, будто в него должен ежедневно и ежечасно смотреться если не Гулливер, то Пётр Великий — точно… Ты стоишь перед огромным зеркалом в золоченой, с лепниной, раме и понимаешь, куда ты попал… Вот от гардероба, правого (для профессуры, да?), вышел мужичок, невысокий, упитанный, с пузцом, с лысиной в клокастой рамке сивых волос, — это профессор. Точно профессор… В голове включился Бах — фуга за фугой… Нет, раздеваться не буду. Сниму (блин, уже снял) бескозырку. Расстегну бушлат — он короткий, как пиджак. Сойдет. А там, если почувствую конфуз, сниму. Положу куда-нибудь. Хоть н*а* пол. Наука, профессоры — настоящие и… матросня… Да-с. Шел в комнату — попал в другую… Ты поднимаешься по центральной широченной мраморной лестнице, идешь мимо здоровенного бюста Пешкова, на мраморном основании которого золотые буквы налеплены: «М. Горький». С какого такого перепугу, господа, профессоры?! Ты наматываешь на свой внутренний спидометр 592 шага, около двухсот метров до тех пор, пока не находишь 418-ю аудиторию и пока не узнаешь что здесь, в этой части здания, нет — во всем здании шесть крыльев и восемь закрылков на четырех этажах, где расположены ректорат и иные служебные каюты, а также филологический и философский (третий этаж и для философов плюс часть

четвертого), а также факультет журналистики. Вверху, прямо под верхней палубой слева и справа — подъемы на чердак (ох, видимо, громадный), или курилки. Перекуриваешь — две сразу, по очереди: первую быстро, вторую с чувством, с расстановкой. Время 8:45. Идешь к 418-й аудитории. Стучишь в дверь. Она открывается. З-з-здрасте… Навстречу тебе летит старческо-юношеский клик «Войдитя!» Ты смущаешься — и шаг твой в морпеховских (непарадных) ботинках (берцах, гадах, от-ступни-и-до-колена, ножной налокотник) — брюки навыпуск — становятся тверже. Ты, не мотая башкой, осматриваешь комнату, которую здесь зовут аудиторией: три ряда столов-парт, но крупнее, чем в школах и благороднее на вид, под широкой, как карта СССР, учебной доской коричневато-зеленоватого цвета стоит стол, длинный, с лакированной столешницей, почти черный, три стула — на них сидят по флангам две старушки и посередке, между ними, худющий брюнет в очках, в сером пиджаке; бабушки одеты в одинаковые коричневые платья с пелеринками и широкими белыми кружевными воротниками, раскинувшимися до плечей. Перед каждой университетской персоной стояли листики А-4, загнутые домиком, на лицевой стороне, которых было написано — по порядку, слева направо: «Воля Ильинична», «Григорий Владимирович» и «Сталина Иосифовна».

— Проходите, молодой человек. Присаживайтесь. Не «садитесь» — а, как в трибунале, «приседайте»… Твою ж роту!.. Ты осторожно усаживаешься на венский стулик, он ноет под тобой. Ты вскакиваешь. Снимаешь бушлат. Кладешь его на рядом стоящий стол-парту, снова усаживаешься, стульчик стонет, ты смущаешься, бледнеешь, но не улыбаешься: твоя задача прорваться сюда, в университет, поэтому надо этих товарищей переиграть, обойти, ударить с тылу, а лучше сверху, с горки, со скалы…

Сталина Иосифовна продиктовала Ивану очень короткий диктант со словами «песчаный», «оловянный», «брусчатый», а также словосочетанием «птентсы пестчат». Быстро проверила и резюмировала: «Четыре. "Философский" пишется в середине, перед суффиксом с буквой "ф"». (Ваня еще лет десять писал это слово с буквой «в» в несчастливом для него несуффиксе — гиперкоррекция. Влияние на мозг бывшего моряка (а бывших не бывает) русской деривации: суффикс (русский) всегда сильнее финали в греческом существительном «философ»…) Начиналось собеседование. Варианты

современного русского языка? Стилистические? Ведущий жанр русской прозы? Рассказ? Неверно. Идейное содержание художественного словесного произведения? Разное? Какое? Он-то-ло-гичес-ко-е?! Объяснитесь… «Невыразимое» Жуковского? Да, Василий Андреевич поэтически выразил главное: невыразимое как объект художественного познания. Гносеология? Да. Но — главное — художественное. Например?

Первое: «Что наш язык земной пред дивною природой…»
Второе: «И разновидное с единством согласила…»
Третье: «Но льзя ли мертвое в живое передать?..»
Четвертое: «Невыразимое подвластно ль выраженью?..»
Пятое: «Святые таинства, лишь сердце знает вас…»
Шестое: «Пророчество великого виденья…»
Седьмое: «Ненареченному хотим названье дать…»
Восьмое: «Обессиленно безмолвствует искусство…»
Девятое: «Предчувствие создателя в созданье…»
Десятое: «И лишь молчание понятно говорит…»

Хватит! Достаточно! Спасибо. Три пары очков (–3, –1, +4) с гневной диоптрией расплющили воздух между собеседователями и собеседующимся. Достаточно! Мы выпускаем на филфаке учителей русского языка и литературы, которую вы понимаете неверно, ложно, схоластически, в отрыве от страны, от истории, от народа, от Революции, от Великих Побед, от компартии, наконец!.. Вы хотите стать учителем? С вашими фантазиями и с вашим заиканием? Что это за медаль у вас? «За отвагу»?.. Григорий Владимирович, что же вы молчите? Сталина и Воля чересчур разволновались: судьба Ивана была решена — прочь из храма науки, культуры и идеологии… Григорий Владимирович? Не молчите!.. Знаете, Сталина Иосифовна и Воля Ильинична, дорогие вы наши и уважаемые глубоко, в том числе и этим юношей… парнем… мужиком… Вон усы у него и шрамы на голове… Воевали? Иван промолчал — он перевел взгляд на стену, на которой была написана мелом, затерта тряпкой и вновь написана загадочная фраза на инглише: «God is dead». Да нет, Он жив. Он здесь. Сейчас здесь. Чуть-чуть подумает — и поможет… Мы ведь должны выпускать не только учителей, но и… литературоведов, литературных критиков, писателей и поэтов. Вы пишете?

Иван, Васильич, вы пишете что-нибудь: прозу, стихи, что-то другое?.. Да. Я думаю стихи; иногда, очень редко записываю их… Да и как можно? — после таких вот стихов:

Дано мне тело что мне делать с ним
Таким единым и таким моим

За радость тихую дышать и жить
Кого скажите мне благодарить

Я и садовник я же и цветок
В темнице мира я не одинок

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание мое тепло

Запечатлеется на нем узор
Не узнаваемый с недавних пор

Пускай мгновения стекает муть
Узора милого не зачеркнуть…

Сталина Иосифовна, это Баратынский? Нет… Анненский… А?.. Воля Ильинична, это точно Серебряный век — некий упадочник, апологет аполитичного, асоциального и буржуазного письма, стиля… Безыдейность полная. Абсолютная… Сталина и Воля махнули ручками: одна левой, другая правой… Я свободен?.. Так понимаю, глубокоуважаемые, что я провалился… А прочитайте еще что-нибудь! — Григорий Владимирович снял очки, под ними оказались молодые усталые глаза… Почитайте напоследок, хорошо?.. Иван вдруг понял, что последний выстрел — за ним… Николай Алексеевич Заболоцкий — «Гроза»:

Содрогаясь от мук пробежала над миром зарница
Тень от тучи легла и слилась и смешалась с травой
Все труднее дышать в небе обласный вал шевелится
Низко стелется птица пролетая над моей головой

Я люблю этот сумрак восторга
эту краткую ночь вдохновенья
Человеческий холод травы вещий холод на темной руке
Эту молнию мысли и медлительное появленье
Первых дальних громов первых слов на родном языке

Так из темной воды поднимается в мир светлоокая дева
И стекает по телу замирая в восторге вода
Травы падают в обморок и направо бегут и налево
Увидавшие небо стада

А она над водой над просторами круга земного
Удивленная смотрит в дивном блеске своей наготы
И играя громами в белом облаке катится слово
И сияющий дождь на счастливые рвется цветы…

Ну вот, опять декаданс: темница мира, муть, стекла вечности, трудно дышать, сумрак восторга, вещий холод и даже порнография (это словечко было произнесено полушепотом). Ивана попросили выйти минуть на пять-десять… Совещались полчаса. Позвали. Взяли на рабфак филфака. Но не на филфак. Филфак надобно заслужить. Комсомолец? Молодец, моряк. Отважный. Старайся. Учись. Читай классиков марксизма-ленинизма. Читай классиков пролетарской литературы. Читай учебники. Учись. Учись думать и жить по-ленински принципиально, идеологически верно; учись коммунистическому, а не декадентскому отношению к миру. Ты зачислен. Спасибо товарищам из Обкомов КПСС и ВЛКСМ. Они тебе верят. Верят в тебя…

Ты выходишь на волю. На волю коридорную в пятьдесят метров длиной. Ты думаешь: «Что ж… Очередной казенный дом. Вспоминаешь бабушкино «вон ты ччто удумал…» и дедово «косим до ветлы, а там паужин — и домой» с добавлением «рысь-старуху смотреть и волкам молодым аплодировать». Ты смеешься — но в себя: место-то казенное, строгое, важное. Это тебе не с фланга обойти оборонительную линию противника. Это тебе не игра со снайперами. Это тебе не костер под землей, в ямке, жечь, чтобы разогреть тушенку. Это тебе не жирафью башку, отгрызенную гиенами, подложить пацанам в палаточку, чтобы утром услышать: «Командир!..

Ты зачем жирафа загрыз?!» (это в Южной Африке, но поближе к экватору). Улыбаешься, как деревенский дурачок… И снова в голове звучит голос деда: «Вот такую вот штуку удумкал…» Ты дико устал: мозг кончился. Почти кончился. Остались одна-две клетки, они еще живы. Но! — еще парочка нейронов, еще одна попытка, одно усилие мыслить, — и эти клетки мозговые — серые — захлопнутся: и все — безумие… Ты опять смеешься. Две блондиночки в серых (зимних!), на ватине, сарафанах обходят тебя, идут от тебя, как те две клеточки головного мозга твоего…

Иван стоял у стены — спиной к стене, а не лицом, как в Лаосе перед имитационным расстрелом. Он стоял один и чувствовал полное одиночество в этом чужом месте, мире, времени, веке — в этом уже чужом воображении: в государственно-научно-учебном воображении. Ты выскочил — с трудом — из военно-морского воображения, из его ставших почти родными пределов — и сразу попал в нечто казенное, в казенное воображение вождей, Свердлова, Ленина, Горького. О, Пешковское воображение — «Мои университеты»… Ты стоишь один, обособленно от этого мира — как в снегопаде. Идут снежные заряды — в лицо, в глаза, в уши, в сердце — один за другим. В тебя будто снежная пушка бьет, накрывает белой пеленой. Заряды — каждую минуту. Чаще. Чаще. Как миномет… И вдруг в тебе возникает музыка: Северное сияние разворачивается долго, бесконечно, как разноцветный, но прозрачный, шуршащий гигантский фантик конфетный… Последствия контузии?.. Но внутри тебя это сияние звучит, играет, как шарманка — разнообразно, не повторяясь, — но! — исполняя одно и то же… Устал ты, парень…

Ты идешь в деканат. Что-то пишешь и подписываешь. И — видишь инверсионный след пули под водой — он перед глазами, в глазах, в тебе… Но если по башке щелкнет — глаза вспучатся. Дело известное. Выпучишь шарики, может быть, навсегда. Ты, тряхнув головой, идешь на свет — сквозь снегобой, сквозь баренцову воду, сквозь себя. К выходу. Казенному выходу из казенных коридоров и аудиторий казенного заведения. Учебного. На воле — светло. Тихо. Только через минуту-другую начинают стучать и звенеть трамваи, сигналить автомашины. Их немного, поэтому в центральной пустоте города они слышнее. Они оглушительны. Ты заходишь через Ленина в ЦГ (центральный гастроном), покупаешь бутылку

водки. Идешь в кафетерий. Берешь два стакана томатного сока. Один выливаешь в цветочный горшок на подоконнике. Наливаешь его до краев. Водка сладкая. Холодная. Из второго стакана с соком делаешь пару глотков — и закуриваешь. Кафетерщик молчит. Опускает глаза — мол, пусть себе морячок успокоится… Ты выпиваешь еще стакан. В бутылке еще остается водка. Но ты благодаришь подавальщика и выходишь вон.

Городской черно-серый, черствый снег, проперченный копотью, грязью и солнцем, еще похрустывал, но — в тени домов, прикрывавших восток. 11:50. А у ЦГ уже кучкуются алкаши и передовики производства. Труд, конечно, делает из обезьян людей, но социалистический труд, коллективный и по сути коммунистический, делает из людей пьющих и твердеющих на глазах, как последний снег, неработающих работяг: мы делаем вид, что работаем, а Брежнев делает вид, что платит нам зарплату. Зарплата за делание вида: Пава, изобрази! — Умри, несчастный…

— Эй вы, трое! Идити оба сюда! — мужичок под два метра махнул рукой приятелям — те засеменили к нему, оскальзываясь, скалясь в похмельных ухмылках, в которых было более серьезности, чем во фразе «Коммунизм — это социализм плюс электрификация» или «Социализм — это коммунизм минус электрификация». Силлогизм. Пара*д*окс. Кала*м*бур. Или: «Интеллигенция — это не мозг, это г. нации» — сия сентенция forever… Заболела нога — весна. Заболела весна — нога. Раненая. Правая. Заболела душа. Главная. Единственная. Жизнь — это когда «На углу стояли трое: он, она и у него…» А ты все еще девственник. Интересно получается: стихи? отстраненность? музыка в башке? Сноровка и бесшабашность оперативная в поле боевом? Выполнение задачи, поставленной?.. Ты улыбаешься. Встречные прохожие это видят и понимают…

Сердце открылось, расправилось, распахнулось, но в прошлое и одновременно в будущее. Настоящего нет. Это все спектакль. Театр. Политический театр. Уже почти шестьдесят лет пьеса идет — все никак не уйдет на хрен, к классикам марксизма-ленинизма, к убийцам от Сталина до Че Гевары. Оххх… Люди привыкают ко всему. Дед говорил: человек не свинья — ко всему привыкает. Люди мыслят (если это вообще возможно: чаще мышление подменяется расчетами и планированием с башкой, сунутой, как в таз с пельменями, в прагматику. Плоскостное (не просто плоское,

а вечно-плоское, одностороннее) мышление черно-белое: это плохо, а это хорошо. Сферическое мышление не двуаспектное, не примитивное, но множественное, полиаспектное, многостороннее: 1+n, а не 1+1. То бишь 2х2 не равно четырем. Никогда. Всегда: 4+n. Потому любое государство способно наклонить плоскость народно-бытового-прагматического мышления то влево, то вправо: и все катится туда — под уклон, к коммунизму, к Свободе, к Справедливости, к новой жизни, к началу черт знает чего, к тому, чего нет. И ты забываешь, находясь на этой плоской дорожке, да еще и наклоненной вниз, что, когда ты моешь задницу, — задница в это время моет твои руки…

Не смотри в глаза собаке… Это был привокзально-проспекто-ленинский бобик. Мелкий. Худющий. Несчастный, бездомный, но живой. Ты вспоминаешь, как брат Андрей продал тебя — профукал щенка Джека: «Ну чта паделаишь! Еш канфеты ф шкафу…» Ешь конфеты, братва, страна, социализм с ленинизмом и прочим антагонизмом… Ты заходишь в «Продукты», покупаешь дюжину вонючих беляшей, холодных, как подмышки крокодила. Кормишь собачонка. Гладишь его. Стоишь над ним, ждешь, когда закончит уличную трапезу. Бобик съедает пять беляшиков — остальные начинает разносить по газону и закапывать в серый, перченый снег — заначка, значит, у него получается. Как в дисбате.

Телефонов в те поры не было. Никаких. Стационарные встречались по семьям редко — только у начальников и блатных граждан, но блатных от слова «блат». Даже шутка была: у тебя *там* (в нужном месте) блат? — нет, сестла… Поэтому в каждом доме, дворе, семье, компании был свой посыльный-разносчик вестей, или добровольный вестовой — паренек с «Запорожцем» или мотоциклом, или, на худой конец, велосипедом. В компании бывшего десятого «А», или «Декабристов 10-го "А"», это был Юрик Пятилов, который после службы в армии купил, с помощью предков, мотоцикл. Чехословацкую «Яву-350», красный, с никелированными кишочками, блестящий и блескучий агрегат — для гоньбы и выгула девчонок. Иван зашел к Юрику (он жил через два дома), предложил съездить в Город, то есть в центр Свердловска: Уралмаш располагался на северной окраине, или отшибе, города, и здесь, когда уралмашевцы собирались в центр, обычно говорили: «Я — в Город, на Колхозный (например) рынок, или в театр, или в кафе». На Уралмаше был

всего один кабак «Север», да и тот — воровской. Туда несудимые не совались… Декабристские настроения в кругу бывшего десятого «А» подросли, расширились и обострились: в середине семидесятых годов 20-го века в советском обществе произошла серьезная социальная сегментация: богатые (партийная номенклатура; начальники; чиновники; бандиты; подпольные цеховики-миллионеры и проч.) и бедные (особенно барачники, врачи, инженеры, учителя, подсобники, дворники, почтовики и т. д.); московские и остальные: СССР был разделен на 15 республик, на 15 столиц и на 15 нищих провинций; Москву не любили — даже сами москвичи; РСФСР, то бишь Россия, имела крепкую башку, но конечности и остальное в этом нездоровом социальном организме-государстве уже онемевали, «отнимались», отлеживались до мурашек, до боли нестерпимой (к примеру, Новочеркасск и каждый второй колхоз); Москва и Россия — это противостояние стало крепнуть, и все чувствовали приближение перемен. Брежнев во внутренней политике был вегетарианцем, а народ просто хотел жрать: магазины в провинциях были безнадежно пусты. И люди, помнящие историю, ждали и растили в себе новых Пестелей, Рылеевых, Каховских… Но государство порождало своих «слуг народа». Так, некто Кирилленко, первый секретарь Свердловского обкома КПСС, порезал весь скот на Среднем Урале, победил в соцсоревновании, уехал в Москву и стал членом Политбюро ЦК КПСС. Этого монстра ненавидели все уральцы — уральцы, которых боялись Вермахт, СС и прочие гестапы во время Великой войны. Это чудовище, его пример, породит через несколько лет еще одного, но не последыша, а гиганта политического секса, приспособленца и мимикриста — Ельцина, который взорвет (все ж таки строитель был, батенька) несколько храмов на родине своей, а также Дом Ипатьева, где была уничтожена вся семья Николая Второго (Романова); потом этот Борис (так на Урале называют до сих пор поросят: Боря-Боря-Боря) расстреляет Парламент и отдастся с небывалым политическим сладострастием бывшим комсомольским вожакам — экономистам, американцам и жуликам с Одесского Привоза-таки. И его на Урале (да и во всей России, из которой Москва само-собой исключалась) ненавидят… И будут ненавидеть…

* * *

Иван давным-давно привык к двойной жизни своей: снаружи чувак как чувак, как таковой, а внутри — чужой, думающий стихи и слушающий музыку из головы и с небес, а иногда из шума растений, из голосов птичьих, из тишины ночной, из грохота города и шепота деревенской жизни. Быть одному там, в себе — всегда, — это нормально, это естественно, это от Бога. Ничего не поделаешь: душа отстранилась от мира сего, обособилась, отвернулась от социального. Социальное — примитивно. Быть в социальном — противно твоему существу, но легко: твоя форма — со всеми, ты смеешься, балагуришь, но твое содержание автономно, как подводная лодка. Ты хохочешь и плачешь одновременно — в себе, в глубинах своего иного, внутреннего, существования: это жизнь рыдает в тебе…

Тебя мучают «Pink Floid» и Бетховен, Элтон Джон (его медляки) и Рахманинов, «Deep Purple» и почему-то «Щелкунчик» Чайковского, адажио. В твоем думании стихов, или в сознании и осознании этого думания, видны слои (как пласты сигаретного дыма в блиндаже перед рейдом по тылам противника) — этажи и уровни музыки, образов, звуков речи, интонации (твоей и не твоей), голоса (твоего и птиц, растений), голоса воды, огня, леса; поскрипывание звездного неба, прогибающегося под шагами тяжелого и невесомого прозрения. Одним словом, не смотри в глаза собаке: или она тебя приручит, или ты ее возьмешь, бездомную, в братья-сестры, или вас приручит любовь — да так, что смерти забоишься, разлуки не стерпишь, соли — не хватит в душе слезы солонить… Не смотри в глаза миру, чужому тебе; не смотри в глаза музыке — оглохнешь, не смотри в глаза стихам — онемеешь (а ты ведь и так — сам по себе — немтырь), не смотри в глаза любви — разлюбишь: люби любовь, люби ее, потупив взгляд; не смотри в глаза смерти — она, сука, полюбит тебя; не смотри в глаза беде — она не отпустит тебя… Нет! — Смотри в глаза собаке, любви, смерти, беде, счастью, жизни, миру. Смотри — и прорывайся сквозь них и сквозь себя — к себе. Прорывайся, загибаясь, умирая, воскресая… Посмотри в глаза собаке. Смотри, вглядывайся. Помещайся в карем пространстве любви, печали, тоски, голода, жизни и веры. Веры в чудо.

Собрались у Ивана. Попили чайку. Парни — на троих грохнули чекушку водки, мерзавчик, четушечку, малютку белобрысую, —

на кухне, втихаря, быстро и отчетливо, как в армии после отбоя в учебке. Парни об армии не говорили — ни-че-го. И так все понятно: глупость, дурость и воровство, дедовство, стариковщина и дедовщина, а еще и дембелевщина, забитость, закрытость, улыбание солнышку — в себя, смех — в себя, слезы — в себя. Мужики об этом не любят говорить. Юрик служил в Германии — в ГСВГ, Вадик — в стройбате, Ваня, по его словам, в морской авиации (медаль получил за отвагу на пожаре, который случился на расходном складе ГСМ, прямо на аэродроме в пятидесяти метрах от десятков капониров (земляных валов — укрытий боевых самолетов ИЛ-38, Ту-16 и первых СУ), от соседнего базового склада ГСМ (шрамы и хромота, прихрамывание — случились из-за пожара тож). Ни слова о МП, о командировках, от дисбата до разведшколы, об Африке, Ближнем Востоке и Индокитае: к чему? Да и подписки пугали и обязывали отречься от болтовни: болтун — находка для шпиона… Выпили — как раз по рюмке пузатой на пасть и вернулись из кухни в комнату, где девчонки тарахтели — весна… Встали — поехали. Трамвай, троллейбус, пеший ход, «Космос», потом Дворец молодежи, полуподвал (опять подвал!), кафе. Сдвинули два столика. Заказали все, что нужно. Руководил застольем Юрик Пятилов, невысокий крепыш. Много болтали, смеялись. Чувствовали себя как в отъезде, как в чужом городе, месте и времени. Вадик Телицын рассказал стройбатовскую байку о себе: подхватил он где-то лобковую вошь. (Вот тебе и Stairway to Heaven!). Обрили его всего: даже бровей не оставили. На разводе на работы поставили его перед строем. Старшина, еще та дубина, охарактеризовал Вадика как неисправимого самовольщика и ходока (маленького, умного, серьезного Вадьку! Да он был самым добрым и чистым из нас!), заставил перед строем вывернуть карманы гимнастерки, штанов; приказал разуться, провернул каждый сапог, пошарив, утопив руку в голенище, во влажной внутренности сапог солдатских, старых, скошенных и протертых до дыр и трещин в местах соприкосновения оных и шорканья их же друг о дружку. Посмотрел военный билет. Глянул на два письма (скорочтение, да?!), что-то процитировал: «Милый Вадюся, люблю тебя до гроба…» И, наконец, обнаружил в пачечке бумажной фотографию, слабую, молочно-мутную с Джоном Ленноном, который поет, почти касаясь губами микрофона, сжатого в кулаке… «Ну вот, — возопил сверхсрочник, — хреносос!» Стройрота вся мгновенно передохла от хохота и попадала телами солдатскими

на плац, на траву, крашенную зеленой краской и солнцем пыльным в казахстанской степи…

Рядом со сдвоенным столом уралмашевцев веселились кавказцы. Мужики, без женщин. Ваня прислушался: азербайджанская речь (он легко угадывал по звуковому облику, по интонации и по темпу речи любой язык — индоевропейский, прибалтийский, кавказский и даже тюркские различал, и юго-восточноазиатские узнавал — особенно вьетнамский, а также китайский и монгольский. Ваня любил, как музыку, французский и итальянский, а испанский воспринимал как русский — фонетически и интонационно, правда темп речи у испаноязычных ребят слишком высок, резв и неудержим. Что это было? Языковая, речевая интуиция?..). Азербайджанцы пили много — коньяк. Естественно, азербайджанский. Через часок азербайджанская микродиаспора (это, естественно, были в основном торговцы — всем на свете: оружием, наркотиками, проститутками, просто девицами, коих тайно увозили в Бакы, тряпками [турецкими] и, конечно, овощами), эти мужички, все — самые сильные, хозяева вечерне-ночной жизни больших городов и огромные друзья мусоров [а некоторые из них были сами ментами] — как-то заскучали, заозирались, осматривая полупустой огромный полуподвал с полупосетителями, забежавшими сюда перекусить или остаканиться. И вдруг — о чудо! — они увидели компанию, в которой было пять девчонок и всего три (!) пацана. Они стали что-то выкрикивать на своем великом и могучем языке и откровенно ржать, втыкая в воздух вилки и ножи. Одноклассники притихли и насторожились — запахло дракой: три-то три, но каких! — уралмашевских, да еще и спортсменов, а еще и отслуживших в армии, и еще все трое в тельняшках (Ваня подарил), выглядывающих из раствора рубашечных воротников. Один, самый мелкий и самый черненький, значит, самый смелый, — прыгласил — громко, на весь зал — девочек к нему за обильный закавказский стол, а мальчиков послал по-русски далеко. Все: драка становилась неминуемой. Призрак драки покрылся плотью, и у этой плоти были дугласо-фербекские усики и жирные от жареного барашка пальцы…

Ваня прочитал ситуацию множественно: мы, так сказать, победим, но… Мусора, КПЗ и все такое… Решение было принято за 2–3 секунды: Иван поднялся и двинулся, широко улыбаясь, к столу противника — к главному, уже почти немолодому, но здоровенному

азеру, у которого было гладкое лицо и глаза навыкате, как обезьянки-игрунки.

— Эй, параламэнтор, да?! — вскрикнул самый малый из них, коротышка.

— Да! — ответил Ваня, подходя к переднему краю. — Со всем уважением, дорогие!.. — Он неожиданно принагнулся, будто бы к шнурку развязавшемуся, моментально — обеими руками — ухватил пластмассовый с железными ножками трон вожака уважаемых торговцев, поднял его с лупоглазым вождем («о, морда-то бериевская», — подумалось ему) и без раскачки, финальным движением метателя спортивного молота вышвырнул оба предмета — султанчика и его трон — сквозь витринное огромное окно кафешки на улицу. Дядя приземлился удачно. Он, как сидел в кафе, так и продолжал сидеть в креслице своем, но уже на тротуаре с выражением лица покойника, лежащего в гробу. Иван, почти не двигаясь, положил на линолеумный пол легкими, но отключающими от света толчками-ударами трех ближних к нему, вскочивших и легших полежать. Остальные замерли. Окаменели.

Иван подошел к метрдотелю:

— Сколько мы должны?

— Двадцать пять. Выходите — быстро — через кухню, там стоянка такси — всегда 3–4 машины.

— Спасибо за вечер.

— И тебе, сынок, спасибо. Окоротили падлу. Удачи.

— Удачи.

———

Метрдотель был женщиной, огромной дебелой дамой. Эта дебелость была уже почти метафизической, идеальной: грудастость, ягодичность, мордастость, ляжечность и тотальная увесистость при подвижной одрожалости плоти и тела — все это стояло и вибрировало в памяти, в воображении Ивана, пока они возвращались в такси — цугом две тачки — на Уралмаш. Да, блин, наш ответ Кавказу… Тьфу ты — Закавказью…

———

Пока ехали в машинах, все понемногу успокоились, особенно девочки: у Светки Кусковой перестали дрожать губы, у Тани

Алябьевой зарумянились щеки, раздвигая сероватую бледность лица, как яблочки алые — снег, остальные защебетали, как птички, как пеночки, которые уже пролетели сквозь город на Север, на Родину: они перемещались огромными стайками — малюсенькие, бледненькие и светлые. Уралмашевские старушки сыпали пшено — везде: и на последний черствый снег, и на тротуары, и сухие проплешины земли, образовавшейся вокруг чугунных круглых, как боевые щиты древних русичей, люков, запирающих провалы-ходы к канализации и трубам парового отопления. Весна… Решили пойти к Кусковой, девушке крупной, черноволосой, горбоносой с хорошей улыбкой. Света и Ваня были в классе на особом счету, особенно у преподавателей, которые побаивались и ту, и другого за то, что все знали, помнили и умели поворачивать учебные ситуации то в сторону призрака науки, то в область цирка (особенно Ваня). На выпускных экзаменах случилась катастрофа: у Светы умерла мама за месяц до первого экзамена. На очередной экзамен по иностранному языку она пришла с накрашенными ногтями, что возмутило членов высокой Комиссии: как?! Ногти?! Накрашены?! У нее мать умерла — а она?! Поставили ей, «круглой отличнице», трояк. Ваня тогда встал, послал всех подальше и побежал за Светкой. Она рыдала. Ваня обнял ее. Вытер ей слезы и сказал: жди! — он вернулся в экзаменационную аудиторию, то бишь класс и, заикаясь, сказал Комиссии, что знает инглиш тока на трояк. Мол, плохо, слабо знает. Ставьте, без пожалуйста, «три» — и я пошел, — поведу Свету Кускову домой — плакать. Спасибо вам, товарищи гуманисты-коммунисты! Ка-му-ни-сты х.еновы. И — вышел вон. Но с трояком — для матери… Такие дела.

* * *

Компания завалилась к Светке. Она жила с отцом-вдовцом и младшим братом в частном домике на улице Коммунистической, убогой и страшной, даже с виду: развалины старинных слободских еще, деревенских домиков, хаток, сарайчиков прозябали в центре массива каменно-кирпичных домов хрущёвского домостроя (пятиэтажки) и первых брежневок — девятиэтажек, строенных с башенками и с простенками. В доме все засуетились. Накрывали на стол, открывали бутылки, доставали соленья (огород-то был свой),

варенья и компоты… Иван ушел в Светкину комнату — в темничку, махонькую и уютную, стул и два шкафа с книгами, в основном с собраниями сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова и других хороших ребят. Кроме того, во втором шкафчике на верхней полке стоял многотомник Джека Лондона, а прямо под ним, на второй полке выделялся ростом пятитомник Бунина лазоревого цвета, изданный в пятидесятых годах, то есть этот Бунин был почти ровесником Ивана… В голове включилась музыка, мелодия из фильма «Красная палатка», сочиненная Зацепиным, который работал на фильме в паре с Эннио Морриконе. Эта мелодия мучила тебя уже несколько лет, и возникала она в тебе в самые трудные минуты, часы и дни твоей жизни. Ты листаешь томик Бунина со стихами и понимаешь, что это — счастье проживать свой вариант человечества, человеческого существования, жизни, судьбы, любви, женщины, вечности… Вот — счастье…

Застолье угасло к двум часам ночи. Все разошлись (жили все до одного рядом, в сотне, в двух сотнях метров от дома Светланы, да и от школы родной, где было много баскетбола, дурости, игры, дружбы и тоски).

Иван остался ночевать у Светы, в ее комнатушке — с книгами и любовью-дружбой, в которой дружбы было больше. Но…

Утро. Света ушла очень рано — ехать до политеха, где она училась на теплофаке, далеко. Иван встал, оделся, умылся, обошел дом — пусто: отец Светки на работе, братишка на учебе, на уроках в 128-й школе, родной и ненавистной для Вани, да и для многих иных, читающих, думающих и что-то там свое воображающих…

На душе было — смутно. Пусто. Или пустовато, если бы не стыд, радость, неловкость, идиотизм этой сельско-городской советской жизни, смущение — и радость: все — я — мужик. Всеятеперьмужик. Стыдно, радостно, подспудно скверно, подспудно чудесно, но стыдно. Как сказал один немец, не битый русскими, четыре года длился бой, а мир не наступал, — солдат махнул на все рукой — и смертью героев пал. Иван вышел из дома-домишки, запер дверь, ключ припрятал за подкрылком крыши низенького сарая и нырнул сквозь ветки весенней, уже ожившей калины — в калитку. Он медленно двинулся в сторону Северного кладбища и Коммунистической: страна-колхоз. Местные люди, человеки, все одного возраста уже повыползали на волю поближе к магази-

нам, лавкам, гастрономчикам в надежде раздобыть пойло. Сначала филки, капуста, денежки — а потом пойло. Одеколон, лосьон, чернила (красное порошковое вино на спирту), в наилучшем случае водочка в мерзавчиках. Или что-нибудь аптечное. На спиртовой основе… Питекантропизм местного населения удивлял и давил на совесть, на душу, на сердце, которые начинали побаливать, как застарелый перелом челюсти, руки-ноги, запястья, пальцев (казанков, изуродованных в постоянных драках). На одной из калиток под кнопкой болтался тетрадный листок в клеточку с надписью, сделанной химическим карандашом: «В доме водки нет! Остатки спят на огороде или в доме № 17». Здесь, в этом районе, на Коммунистической, вдруг запахло дисбатом, бараком, костром, голодом, горем, вертухаями и каторжниками с лопатами, ломиками и кайлушками, нечистой, несвежей едой, человеческой, телесной и иной грязью — и, вообще, несчастьем, непреодолимым, мощным, наглым и страшным, как детский сон после прочтения сказки Погорельского «Черная курица». Здесь все было — погорельское, но — весеннее, солнечное, с голубым небом и почти открывшейся землей, избавленной от снега, из-под которого показался мусор, сор, дрязг и ужас всех и всяческих отходов человеческой жизнедеятельности. Иван развернулся — резко, как на плацу, и быстро пошагал прочь отсюда — из этого теплого, милого кому-то привычного и родного ада.

Ты идешь сквозь весну — городскую, поселковую, рабочую, похмельную и грязную. Идешь в лето. Ты думаешь о себе, о своих стихах, об университете, о том, что ты стал мужчиной, о стыде, о радости, о счастье, которого нет, о покое, которого нет: есть только воля и терпение. Писать, думать стихи, читать — и жить только этим. Публиковать свои опусы? Рано еще. Да и зачем? А ведь хочется… Ты вспоминаешь пятую командировку — в «Арабию». Ты бежишь. Это атака. На хрена твою группу погнали на пулеметы? Чтобы всех положить? Ты мчишься со своим АК-47 — и запинаешься левой ногой о проволоку, ржавую, стальную, торчащую из белого песка, не оглядываясь, ты бежишь дальше. В левом ботинке захлюпало. Пот? Кровь? Да, кровь. Видно, царапнуло. И в этот момент кто-то или что-то бьет тебя тещиным карандашом — ломом — по правой ноге, и тоже ниже колена. Падаешь. Лежишь в отключке. Очнулся. Приподнял башку: правая нога откинута в сторону зигзагом, словно

у нее два, если не три коленных сустава… Пуля? Две? Осколок?.. Где публиковаться? И главное что публиковать? Этот бред полутютчевский? Да-а-с… Дела-а-а.

Душа в тебе сегодня жила отдельно. Частный сектор жилого массива (а был еще и узэтээмовский промышленный — сотни гектаров выжженной и промасленной до планетарной мантии земли), это деревня — слобода заводская, — жила своей жизнью, вполне определенной: родился, проболтался полубеспризорником по болотам окраинным, по кривым от мусора улочкам, по рынку-базарам, по хатам-малинам — и пошел в школу, точнее, зашел в школу и вышел сразу же после пятого класса — в жизнь развеселую и разголодную, шпанскую, хулиганскую, пьяную с детства коренного, дотянул до армии — не взяли: недовес, беззубость, туберкулезность и т. п.; зато живешь половой жизнью со всем, что движется, зато сидишь, где надо — ходка за ходкой; зато ножичек, паханчик, бандерша, дочки ихние… Годам к 20–25 тебя убивают в драке, в деле, на зоне. Все. Бессмертная душа оказалась изначально смертной. И религия не спасла — ни языческая, ни христианская, ни коммунистическая, ни воровская. Сердце плачет кровью, когда видишь этих ребятишек пяти-семилетних — у них взрослые, если не пожилые, лица попрошаек, хитрецов, тунеядцев и христопродавцев… Живые смертные души. Смертные ли? А ты, засранец, бессмертен, да?! Книжек обчитался, облюбили тебя — перелюбили, правильный, да? — семьи своей помощничек, да? Бандита, кавказского шулера, в учебке подрезал, грохнул (ну, согласно Постановления и Приговора Трибунала), с подругой переспал, урод, да?! Умный, бнядь, чистенький, моб твою ять, долбомеб, буеносец х.енов, герой — ж.па с дырой… Медалька за отважку у тебя? Да?! А здесь люди. Гибнут. А ты? Что ты сделал? Сделаешь?! Поедешь на БТР к обкому партии и рас.ерачишь этих го.донов: съехались «Волги» к Обкому — съехались волки к обкому… А дальше — что? — пулю себе в лоб? Декабрист, да?! Пестель х.енов. Убийца. Боже, Боже, Боже мой!.. Душа болит. Душа гибнет. Душа уже давно живет отдельно от тебя…

Публиковаться? Публиковать — что?! Стишки про птичек? Про любовишку надуманную?.. Ну, про небо — это да. Нужно. Тут ты, может быть, и прав. Про вечность. Про Бога. Про дождь и про снег. Про душу измотанную, измученную пошлостью и подлостью «общественной жизни»? Божегосподитымой…

Вот и школа твоя. 128-я. Экспериментальная… Эксперимент педагогический, производимый с тобой и над тобой, — не удался. Ты остался Ваней. Ваней Орловым. Ваней Орловым-Черминским. Красавцем-уродом. Немтырём. Ты плачешь, как девочка, по ночам. Нервы? Хренервы хреновы. Что тебя мучает? Кто? Люди? Ты? Нет. Что-то еще. Что? Может быть, ты псих?.. Господь испытывает сильных. Нас енбут — и мы крепнем. Над рекой над речкой рос с березой клен, в белую березку был тот клен влюблен… Отражается небо в лесу, как в воде, — и деревья стоят голубые… На свете счастья нет. Но есть покой и воля… Где они обитают-то — эти покой и воля?..

Не публиковаться — а дождаться настоящего, подлинного, истинного, сильного, нет — могучего голоса, стихотворения, соответствующего Абсолюту… Не известность, но вестность: быть вестником Абсолюта. Не возня социальная — но работа ума-сердца-души (душа — отдельно и отдельна!) до изнеможения, до проникновения в середину, в ядро, сердцевину, в сердце ужаса поэзии и красоты.

Он дошел до перекрестка Коммунистической с Пустырем. Это и, вправду, был пустырь. Абсолютный пустырь. Но казался ему не пустырем: вернувшиеся к нему детские глаза видели каждую ямку, каждую рытвинку и канавку. Здесь жгли костры в темные вечера после занятий в школе. Здесь разговоры разговаривали, беседы беседовали, смеялись, горевали, молчали в ожидании домашних издюлей за провинности, отмеченные в дневниках. Здесь ты сидел один у костерка, жалел Катю: тебя в третий раз исключили из школы (сначала изгнали с уроков литературы и русского языка — навсегда) за «лишних» Белинсковских людей. Директорша все же пожалела тебя — прикрыла большим бюстом, перманентно кучерявой шевелюрой и партбилетом… Остатки заборов от снесенной деревеньки — здесь был когда-то конец города и Уралмаша. Здесь произошла твоя первая оборонительная и победная драка с кучкой взрослой шпаны, блатных, приблатненных — вы с Юриком Пятиловым, скользя на кожаных подошвах «корочек», «кор», отмахивались от серьезных пацанов. Здесь ты узнал свою левую: два попадания левым крюком через руку (а ты ведь длинный был парнишка) — два нокаута. Печально, но классно… Коммунистическая и с другого своего конца завершалась предкладбищенским пустырем: весь этот «коммунизм» простирался, таким образом, от пустыря до пустыря, что соответствовало учению Маркса-Энгельса-Ленина и Сталина,

а также — от школы № 128 до Северного кладбища. Школу окончил, прошелся по Коммунистической — и на кладбище, в земельку. Вернее — в глину, желто-красную, в которую первыми, судя по надписям на крайних памятниках русского, татарского и еврейского отделов кладбища, — легли некто Плотников, некто Ишмухаметов и некто Мебель, причем могилы с фамилией «Мебель» занимали треть иудейского погоста…

На пустыре между школой и коммунизмом встречалась мебель, тоже неживая: какие-то дряхлые скамеечки, табуреты подломленные, стулья надломеленные и даже шкафы перекошенные — как знак иной, бытовой, геометрии, обнявшейся со временем, — да так крепко, что из всех щелей сыпался деревянный прах. Были здесь и панцирные металлические сетки кроватей — три штуки, облюбованные любовью, ночной, пьяной, запретной и похотной, потной, почти потайной… На заднем краю пустыря стояла инвалидная кресло-каталка, древняя, как самодержавие. Оно стояло так, что лицо сидевшего в ней человека было направлено прямо в Ивана, который катал в мозгу, в его лингвистической впадине слово «влагалище»: «влагать», «влага» (окказиональное), «владеть» (окказ.) «Окказ.» звучало в твоей башке как «отказ» (на твой безумный мир один ответ — ОТКАЗ!..)… Лицо старика в инвалидной коляске было знакомо: лет 60–70, точнее не определить — алкаш; глаза зеленые с карим, нет — карие с зеленым, нет — зеленое от солнца, значит — карие, карие, карие — восточные… школьные… пятый класс… Петя! Ревматик с печальными очами… Молчаливый умница. Он! Точно — он. Боже мой, что с ним… Да-а-а…

— Ваня, здравствуй…

Петя говорил из-под земли: глухо, негромко, невнятно, заикаясь, медленно, но — со слезой, почти радостно. Слезы, внутренние слезы, размыли это утро, как молоко пролитое, по сердцу твоему и душе, по всему твоему существу — внутри тебя… Что делать? Что делать?..

— Здравствуй, Петя…

Петя сидел в коляске, растирая колено левой, еще не до конца скрюченной ревматизмом и ДЦП рукой, ладонью с длинными, почти белыми пальцами.

— Петя, ты как? Совсем плохо? — Петя улыбнулся, но не жалко, не рабски покорно этой сучьей жизни, а радостно:

— Вот, живу сейчас на улице. На пустыре. Сладил себе шалашик… Но скоро здесь дома станут строить. Я хренею. Мне-то ничего не дадут — ни подвала, ни чердака, ни подъезда… Перееду в сады, поближе к кладбищу, где вдоль дороги мертвые с косами стоят… Видал — миндал?

— Ага, стоял. Видел. Плотников, Мебель, Ишмухаметов.

— Хха. Точно…

— Знаешь, Петь, поехали ко мне. Что-нибудь придумаем. Накумекаем. Поскребем в затылке.

— Поскребем — вшей пое.ем… К тебе? А там же мать твоя, Катерина Ивановна, она меня из пнизды чьей-то вытащила… Зачем? А?..

— Катя будет рада. Жить будешь за шкафчиком. Телек тебе притараню.

— Точно притаранишь? Я в «Мире животных» люблю.

— И я люблю. Особенно Згуриди. И Пескова уважаю. Там еще «Клуб путешественников».

— И «Кинопанорама». С девками-красулями. Ништяк.

— Ага, ништяк… Поехали?

Ехали диким полем пустыря, огибая канавы, рва и ямы, а также насыпи дохлого опрессованного гравия-щебня и кучи мусора, появляющегося здесь бог весть откуда. Ехали мимо школы, так сказать родной. Вспомнилось стихотворение Чухонцева «Во сне я мимо школы проходил и, выдержать не в силах, разрыдался…» То ли моностих, то ли дистих — все стихотворение как пробуждение, продирание глаз, вытирание слез… И ты схулиганничал вслух: «Во сне я мимо школы проходил и, выдержать не в силах, матюгнулся…»

———

Пересекли пустырь. Выехали на родную улицу Восстания — прямо к «Новинке», к старому, обшарпанному магазинчику, за которым покоился обширный двор-свалка, прикрытый забором и ветхими дощатыми воротами. Из «Новинки» — один за другим — выходили солдаты, молодые, из «ВВ», то бишь вертухаи, из было голов 15, у каждого в руке была мороженка «Морозко», за 12 копеек штука. Они кое-как построились. Прапор, молодой, еще сам парнишка, скомандовал: «Вперед!» — так и побрели зеленые человечки со своим мороженым, со своими переживаниями, терзаниями и со своей армейской неволей, и за крохотным неровным (шли не в ногу)

строем тянулся невидимый, призрачный шлейф, парок, дымок несчастья, счастья, беды, предчувствий — хороших и нехороших — Петя и Ваня аж зажмурились: таким густым был этот призрачный хвост душевного неравновесия, стеснения и обиды на судьбу (два года тебя, моб твою ять!). Дымок этот, парок, душок неустроенности иногда обретал цвет — серый с серебром и пеплом, цвет густой и нестойкий. Его видели все, особенно птицы. Собаки бродячие и вольные коты остановились и смотрели на это чудо-юдо.

Они остановились — коляска вскрикнула передней осью. «Надо будет новую доставать — Катя поможет, у них там, в больничке, наверняка есть такие колымаги», — подумал Ваня. Закурили. До Ваниного дома оставалось метров пятьдесят. Ниче, перекурим это дело: Ваня подрагивал сердцем и душой — как отнесется Катя к новому жильцу?.. Хотя… у них в однушке постоянно кто-то жил: родственничек, знакомый, сбежавший от родителей одноклассник, — мама все улаживала, ее уважали, все ж таки врач, гинеколог и к тому же акушер; полУралмаша народилось с ее помощью. Посмотрим, сказал слепой — Ваня усмехнулся: лучше послушаем, сказал глухой; не, сказал безрукий, давайте потрогаем; не-не-не, сказал безжопый, лучше посидим на диване; не, сказал безротый, лучше водки выпьем; нет-нет-нет, сказал безногий, безобеихногбезногий, лучше пешком за газировкой сбегаем; ну что вы, господа, сказал бездушный, давайте уж лучше девушку полюбим, а?.. Ниче, прорвемся. Вынырнем. Осмотримся. Отдышимся. И — спать… Петя заметил задумчивость Вани и спокойно, никому, прямо в узкое уличное небо произнес, негромко, не заикаясь, но внятно и твердо: «На хрена до хрена захреначиваешь — выхреначивай на хрен!» — Ваня, улыбаясь, ответил: «шШел хрен по хреновой дорожке, встретил хрен хрена на окошке: — Здравствуй, хрен! — Пошел на хрен. — Схватил хрен хрена за хрен и выкинул на хрен!» Они заржали по-уралмашевски, как шпанята малые. И поехали к подъезду. «Слава Богу, третий этаж, а не пятый», — подумал Ваня. «А какой хоть этаж-то, я ведь забыл, Вань», — Петя был напряжен, скован, но счастлив: ну, выгонят, хоть согреюсь, поем, отмоюсь…»

———

Мать была дома — забежала перекусить. Все-таки завотделением роддома, блин — имеет право. Увидев Ваню и Петю в коляске,

она ничуть не удивилась, но улыбнулась как-то обреченно: Ванька вслед за котятами, ежами, птичками и щенками приволок целого человека. Большого. Нет, мелкого… Настоящего. Живого… Да это же Петя наш. Школьный товарищ Вани… Ох, как он усох, изболелся, измучился…

———

Петю посадили в горячую ванну. Пришел Андрей. Организовали Петин закуток за большим платяным шкафом, где раньше спала Катя («за шифоньером», как говаривала она). Иван принес еще одну раскладушку от соседей (вернее, купил за трояк старую скрипучую стрекозу, сделанную из дюраля и брезента, а также крючков, стальных суставов и пружин). Теперь все в порядке: они с Андреем будут спорить, кому нынче спать на диване, а кому на раскладухе. Миру — мир, как говорил министр обороны СССР маршал Антон Гречко.

———

Помывка Пети длилась недолго, но с определенными трудностями технического характера: коляска — встать — слезть — раздеть — вскарабкать Петю в ванну и в обратном порядке, но — уже чистого и в чистое одеваемого Петю, помолодевшего лет на тридцать. Бритье Петиного лица (кто, интересно, брил мингрельского вождя?!) длилось недолго, как финская война накануне Великой, чисто, быстро, но с кровью (ох, как трудно брить чужое лицо, если ты не барбер-барбье!), уточнили — с малой кровью. В дверь позвонили и сразу стукнули в косяк два раза кулаком. Дверь открыли, вошел участковый Смирнов Михаил Михалыч, старый капитан милиции (он был не из мусоров и не из бывшего СМЕРШа, он был фронтовик, потерявший семью во время войны — голод съел его жену и двух пацанов). Михалыч был невысок ростом, худ, но крепок, как Ванин дед Иван Иваныч: страдания и непосильный труд, голод и беда сделали этих людей иными — прежде всего добрыми и непомерно сильными и самостийными, вольными — и внутренне, и внешне.

— С новосельем, Пётр! Как устроился?

Иван подумал: блин, и часу не прошло, а Михалыч тут как тут.

— Прописку какую делать? Временную?

— Постоянную. — Катя наливала чай, пряники и дешевенькие, но вкуснейшие вафли розоватого цвета уже лежали в огромной

хрустальной чаше (единственная вещь из прежней жизни с инженером-казаком).

— Ну, смотрите… Ладно… Все сделаю. Давайте паспорта. — Михалыч закурил, выдувая из себя густейший дым от папирос «Север» в открытую форточку, под которой он сидел — боком к подоконнику (кухонька крохотная, но вмещала она порой в себя человек 12–15).

— Ваня, как дела? Университет? — Иван кивнул и улыбнулся улыбкой дурака — это от удовольствия и призрака счастья, который часто подгоняет к нам молодость.

— Ах, чай-то какой! Дембельский… Спасибо, Катерина Ивановна. Пойду. В паспортный — за пропиской для Петра, а потом — рвану достраивать коммунизм на проклятой Коммунистической… Ох, уж мне этот частный сектор. Лодыри. Земля, участки пропадают. Ни черта не садят-не сеют. Ни черта. Одна крапива да голожопки — сказочные и реальные, как приговор суда.

В эту пору еще не произошла смычка милиции, мусоров с преступным, так сказать, миром. Менты гоняли шпану, воров щипали, проституток воспитывали, а бандитский контингент уважал милиционеров-фронтовиков, побаивались их «ТТ», кулака и поджопников… Михалыч ушел. И сразу в дверь кто-то опять позвонил. Михалыч что-то запамятовал или кого другого принесло? Катя открыла — в прихожую (два квадратных метра) уверенно шагнула бабушка-училка из соседнего дома, которая подарила когда-то давным-давно, при царе Горохе, Ване книжку стихов Цветаевой «Версты».

— Добрый день, товарищи соседи. Где Ваня? Отслужил? Молодец. Наслышана. Герой, говорят.

— Ну что вы, Тамара Андреевна, так себе морячок. Морячок авиационный.

— А отвагу-то где проявил — на взлетке, в воздухе или выполняя интернациональный долг? Интернационал — великое дело, мероприятие, политика и заурядная человечность… Ну, где тут новосел? — Она прошла в кухню, где сидели Петя и Андрюха.

— Добрый день, Пётр! Вот тут тебе кой-какая одежка, денежки и гостинцы. — Тамара Андреевна, совсем уже старушка, маленькая и сухонькая, присела на краешек табуретки, прикоснулась губами к чаю в чашке:

— Остыл. Болотинка вышла… Ладно, ребяты, пойду я. — И вышла из кухни: — Не провожайте. Отмечайте Петра новоселье…

Наконец, остались все свои. Петя пил чай — медленно, аккуратно: левую руку его потряхивала то ли болезнь, то ли волнение… Ваня почувствовал ком в горле, ушел в ванную, закрылся, пустил воду и заплакал-заревел, как мальчишка пятилетний…

Минут через пятнадцать-двадцать в дверь снова позвонили и даже пнули пару раз для убедительности. Катя открыла: перед порогом стоял наряд милиции из трех человек (третий, видимо, водила). Катя не успела и рта открыть, как увидела, что вслед наряду на лестничную площадку третьего этажа поднялся Михалыч с двумя сетками-авоськами в руках: Катя разглядела и хлеб, и колбасу, и яйца (на подложке 30 штук), и четыре литровых бутылки молока (по сосуду на каждого члена семьи), и торт вафельный огромный, площадью полметра на полметра, и две бутылки дорогого портвейна, и кульки с конфетами, печеньем, пряниками и мармеладом. Михалыч глянул строго на ментов, и те молча развернулись и почапали вниз к своему воронку…

———

Михалыч выпил еще чашечку чая, заваренного на смородиновом листе. Посидел-покурил и обратился с вопросом почему-то не к Пете, а к Ивану:

— Что за фамилия такая — Крутивертибутылкин? А, Петя? Погоняло, что ли, кличка такая, да?

Петя и Ваня молчали. Они сидели в кухне втроем — Катя убежала на работу, а Андрюха покандыбал к дружкам играть в свою любимую игру купи-продай-поменяемся: в ход шли виниловые пласты, нумизматика, марки, этикетки всех мастей и коробки (пустые) из-под сигарет-папирос… Петя молчал. Иван знал, что фамилия Пети была Заякин, видимо, Михаил Мизалыч разыгрывает пиеску.

— Так вот, парни, Заякин — это по Петиной материнской линии. А по бате Пётр есть Крутивертибутылкин. Говорят в 1919 году какой-то писаришка, из первых советских долбомебов, выдал документ Петиному новорожденному папаше, влепив туда этого Крутивертибутылкина по той причине, что накануне Калиновское начальство (села Калиновка на севере Уралмаша) отдыхало с барышнями, выпивали и крутили бутылку по очереди — кому с кем

целоваться. Барышень тех, естественно, расстреляли под утро как контру. А фамилия-то эта как раз и родилась: Крути-верти-бутылку. Такие вот тут дела. Так они обстояли, да и стоят до сих пор…

Петя разомлел после ванны, горячего чая и стакашка винца:

— Михалыч, Ваня, вот вы мужики правильные, грамотные и заслуженные. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем барышень-то постреляли?.. — Он помолчал и вдруг произнес, возможно, самую длинную фразу в своей жизни: — Ленин — трус, гаденыш, пламенный дрочила, безжалостный папашка. А Сталин — изверг, но он был больной: в нем сидела пара Ноев, но ковчег он так и не изладил, не смастырил, не заделал. Хрущёв — страшный и смешной карапуз. Брежнев — слабак… И вот они, эта братва все разорили, всех по миру пустили, все переиначили. Устроили тут, забабахали пиндец полный, а у пиндеца этого кликуха, ну погоняло: крути-верти-российка… — Здесь Петя резко замолчал, уронил на пол чайную ложку, а потом положил на стол стоявшую рядом с ним пустую бутылку из-под «Порто» — и крутанул… Михалыч закурил и выдохнул с дымом: — Я ни хрена не слышал. Да и убогий ты, Петя, юродивый, блаженный. Не говори про эту крути-верти никому, да?

— Ага, Михалыч. Я все понял. — Петя крутил бутылочку, а Ваня глянул на Михалыча: тот — точно, отчетливо — ни хрена не слышал. Недослышал… И они все — втроем — рассмеялись.

— Шульберт, харем! — медленно и осторожно серьезнея, твердо сказал Михалыч. — В политику не лезьте. Пятьдесят восьмая статья — еще рабочая… Скоро все переменится. Ждите. А я пошел — прописку делать. Крутивертибутылкину. И они опять рассмеялись, но уже сдержаннее, не доходя до уровня ржания, или ржаки, как говорили молокососы.

———

«Шульберт-Харем (Харэм)» — значит «хватит, хорош, стоп!» Это было уралмашевское словечко, комсомольско-блатное, или приблатненное — это уже точно. Петя смотрел на Ивана почти с любовью, но чуть-чуть настороженно: не выгонит ли? Так смотрят животные на человека: лошади, собаки, кошки, коровы и куры — им всегда нужно видеть человека, следить за ним, за его глазами, за его движениями, чтобы контролировать его нрав и знать, когда он что-нибудь принесет и даст тебе — живому животному, умному, полезному и до-

брому — пожрать… Смысл есть во всем. Ты вспоминаешь: смысл жизни — в самой жизни… Но ты хочешь почувствовать и понять смысл жизни и существования бытия. Жизнь бытия… Боже мой… Какая тут политика, а? Общество? Государство? Капитализм-социализм-феодализм-рабство… Рабство… Демократия-либерализм-рабство. А где справедливость? К деду, к Пете, к народу? Где? Нет ее: нет свободы, братства, равенства. И не может быть. В этой квартирке есть прихожая, туалет, проход в кухню, ванная, комната (одна!), кладовочка малюсенькая и балкон, а — да: еще три окна (одно заложено книгами наглухо, т. к. выходит оно на север, на холод, на дубак, на Заполярье, на тундру, на Ледовитый океан); в квартирке 19 стен и переборок, 6 дверей и три батареи (батарейки) парового отопления. И ты здесь — несвободен. Ты свободен только в лесу, на озере, в горах, в океане, а пустыне, в степи… Ты — дикий. Русские все дикие. Мы не рабы. Мы — дикие. Все русские дикие: и тюркские, и германские, и финно-угорские, и еврейские, и другие, другие, другие. Мы не рабы! Мы дикие. И свобода у нас в душе, братство — в сердце, а равенство — в голове… Господи, или мы — дикие рабы, не помнящие родства, для которых история — это полухудожественная словесность в черновой записи, и ее можно и «нужно», «архинеобходимо» (по-Ленински, да?) подправить, подписать, приподписать, придосочинить… История для нас — это некая беллетристика, это все придуманное и надуманное. Значит с ней, с историей, можно делать все что угодно. Прагматика рабства? Прагматика дикости? Одностороннее — идеологическое — отношение к себе, к миру, к истории. О человеке забыли и здесь, и на Западе, и на Юге, и на Востоке. О человеке забыли на земле и на Земле. На планете. Цивилизация уткнулась мордой в прагматику. И ей хорошо: тепло, комфортно, уютно, клево, прикольно и железно, как говорили в России до 1980-го года.

———

Ваня съездил в университет (это слово мысленно он писал и произносил с прописной буквой «У»): занятия на рабфаке проводились пять дней в неделю, но в две смены у всех, — первая смена — учеба, вторая — стройка. В стык с главным корпусом (вдоль проспекта Ленина) возводилось современное шестиэтажное здание (для матмеха и истфака), где рабфаковцы занимались отделочными работами. Главное — это палуба, которая должна представлять

собой «мозаику», то бишь растворную стяжку (цементный раствор) таскали по единственной лестнице в носилках, тяжеленных и неудобных, как в дисбате; затем в жидкий раствор вонзали длинные узкие полоски стекла, а само растворное поле засыпалось мелким разноцветным камушком, все это выравнивалось гигантским деревянным шпателем на могучей ручке (шпатель напоминал палубную швабру — «машку» корабельную). После высыхания и окаменения этого поля (весь пол в переходе из здания на Ленина в здание на Тургенева: боже мой! — Ленин и Тургенев встретились — сразу представляешь омерзение, которое испытывал Иван Сергеич при встрече с Владимиром Ильичом, так сказать, нет — прямо сказать стычка, смычка (насильственная) творца и деятеля-разрушителя…)

Во дворе Иван увидел мальчишек, играющих в футбол («Бразилия — Аргентина», дом № 19 — «Бразилия», дом № 23 — «Аргентина»), затем, после игры, победившая команда играла два тайма по 30 минут со сборной СССР — с пацанами из дома № 21, в котором как раз и жили Орловы. Ваня был сильно удивлен, когда увидел в воротах «Бразилии» Петю, на коляске; Петю, не пропустившего еще ни одного мяча! Так, надо бы его взять в нашу команду (СССР), тем более Петька живет сейчас в доме № 21. Контровая, решающая игра должна была вот-вот начаться, так как «Аргентина» продула 0:3. Ваня вмешался в ход футбольной истории двора. С Петей все уладили: он стал вратарем сборной СССР, дома № 21, то бишь поменял гражданство («Уже в третий раз,— подумал Ваня,— Коммунистическая — Пустырь — Бразилия»), ништяк — страны стерпят, человек — важнее!..

* * *

Мозаичный пол в переходе на Тургенева напоминал широкий ручей или узкую речку, такую прозрачную, что, казалось, донные камушки лежали и блестели на поверхности воды. Ты любил здесь бывать: ходить, расхаживать туда-сюда, стоять с рабфаковцами у окна и курить втихаря, чуть ли не в рукав, как на палубе боевого корабля, коробки — в ожидании краткого монолога боцмана или дежурного офицера: пиндюли были неслабые, но добрые — пацаны шли не титьку сосать, а пропадать в буше, в пустыне, в горах, в прибрежных океанских и прочих водах, выполняя — ценой жизни — задачи, поставленные командованием и начальником всей на хрен разведки. (Где ж твои воины-разведчики, думаешь ты — и грустишь,

и тоскуешь по усталости и по силе, которая в тебе появилась в нужный момент… Эх, где вы, пацаны?.. А я вот, блин, в универе — балду валяю. Дитмара Эльяшевича Розенталя прочитал один раз, как приказ и приложения к нему. Знаю — наизусть. От зубов отскакивает…)

Учились на рабфаке легко и весело. Иван помалкивал. Относился ко всем рабфаковцам уважительно, как к бойцам из другой разведгруппы или из роты диверсантов (вслух так на флоте не говорили), или из штурмовых подразделений, или из чистильщиков, которые умели работать, воевать и молчать… Ты сидишь на занятии, сначала решаешь, что это — лекция? семинар? практическое? лабораторное занятие; потом понимаешь, что ты сидишь на кентавре и тихо, плавно так едешь на нем в страну Ликбезию. Ликбез чистой воды. Преподаватели не дергали Ивана, уважая его заикание и знания, в которое медленно, но верно превращалась Ванина начитанность…

Кузнечик похож на человека. Или наоборот? С Петей было — наоборот. Когда он отрывал свой зад от сидения инвалидки и пытался встать, приподняться, нашаривал ногами сушу, твердь над собой, под собой, перед собой, окрест себя. Он был ловок, как многие неленивые и жизнерадостные инвалиды. Он легко и в точечку-тютельку отбивал мячи, летящие в ворота,— руками, ногами, головой. Изредка он выкарабкивался из коляски, как краб — их своего схорона, и тогда он очень напоминал кузнечика: его попытка шагать безвольными уже ногами казалась насекомой походкой. Походкой человеческого насекомого. Иногда он отбивал мяч задницей, реализуя второе значение дома № 21 — «очко»: первое, понятно, выигрыш в карты набором двадцати одного очка; второе было еще понятнее — очко есть ж.па. Вот такие вот дела. Такие вот мысли были в голове слушателя рабфака Ивана Васильевича Орлова (Черминского): «Черминский» пока оставался за скобками современной истории пролетарского государства… Особенно хорошо Петя-колясочник играл в чижика — он наглухо перекрывал зону своего «дома» и отбивал чижика (ромбический деревянный четырехугольный малюсенький брусочек с заостренными обоими концами и с метками на боках: I, II, III и IV), отфигачивал чижика резко, точно и мощно туда, где был «дом» супротивной команды — прямо в середку, через головы «сторожей»… Русский бейсбол, блин… Еще Петя лучше всех играл в чику: разбивал стопку монет, установленную на асфальте, битком (свинцовая лепешка) с первого раза.

С ним не играли — боялись. Играл только Ваня (в шутку, но азартно) — все равно у него с Петей один карман. Когда Петя, изображая насекомого, совершал нечто невероятное (например, 10 раз кряду — чика!) пацаны хором выдыхали: «Молодчик!» — то бишь, «молодчина», «молодчага».

На рабфаке много было литературы, языков (русский и иностранный, у Вани — английский), истории и путанного, тупого, демонстративно беспомощного обществоведения. Иван помалкивал: помнил поучения деда, Арефьева, Коли покойного (Царствие Небесное) и комроты Печерского, но главное, точные и безжалостные (по отношению к любой идеологии) наставления Николая Иваныча, начальника разведки МП СФ. Знай — и молчи. Делай добрые глаза. Делай туповато-усердное выражение лица. Но — молчи. Молчи-молчи. Молчи-молчи повсюду. Даже на Уралмаше, даже в Шатрах, даже в универе (ну там-то каждый пятый — стукач). Не бойся. Но — молчи.

Рабфак казался Ивану какой-то неопределенной промежуточной жизнью. Рабфак — промежуток между жизнью и жизнью. Между жизнью-1 и жизнью-2. Внутренний Иван постоянно и строго контролировал Ивана внешнего: молчи-молчи…

* * *

(Одиннадцать месяцев назад). Ужас касается тебя трижды. Первый раз (неожиданный и катастрофически явный, материализованный), когда ты слышишь хлопок миномета (трубка ок. 80 мм) в долине — звук выстрела доходит сразу со всех сторон, без эха, не концентрированно, но как-то необычно (а ведь слышал такое сотни раз!), растопыренно… Свиста нет. Ты успеваешь крикнуть шепотом, но шепот этот куда громче крика, клика, вопля: ложись! мина!.. Свиста снаряда не слышно, значит, он летит прямо в тебя или куда-то рядом с тобой, не дальше вытянутой руки. Группа идет гуськом в буше, по гребню баракообразной сопки лаосской. Ты, нарушая устав, шагаешь первым — осторожно, чуть растопырив ноги и до боли в мозгу опять же растопырив глаза — нет ли растяжек. За тобой кандыбает огромный Петя Махач, Яковенко, он из Махачкалы — отсюда и прозвище. За ним с интервалом в 7–8 метров идут остальные — пять бойцов. Замыкают колонночку эту Вовка

Симак и Юра Дмитриев, он чапает последним — почти спиной к движению, отслеживая и контролируя тыл. В голове твоей включился Led Zeppelin, Stairway To Heaven, эта вещь, песня-непесня, баллада-небаллада, медляк-немедляк, опера-неопера, — так гигантский кусок времени и неба, звучащего в башке, сопровождает тебя уже два года, врубаясь в мозгу (или в сердце? в душе? или сразу всюду?) в самые трудные и печальные минуты твоего военно-морского существования. Мина шлепается почти беззвучно, звук взрыва сдувает в буш: она попадает прямо в Петю. Тебя поднимает над этой болотисто-каменисто-вулканической землей — и все: конец фильма.

Ты скатываешься с сопки почти до подножия. Лежишь, уткнувшись мордой в расщепленный пенечек, по которому ползают огромные желтые муравьи. Небо тоже желтое. Растительность вся, даже молодой бамбук, тоже желтая. Тебя подбирают повстанцы. Не повезло. Это кранты. Каюк. Кукан. Выкупа нет — расстреляют парня, который в два раза выше местных гигантов. Ты валяешься на бетонном полу в бетонной кондейке в обнимку с огромными тараканами, которые, как тебе кажется в твоей контузии, сочувствуют тебе, жалеют тебя и обещают помочь. Ну, с тараканами-то, этими кокручами (cockroach, англ.), ты договоришься. Но, тем не менее, тебя без допросов расстреляют. Три раза. У бетонной стенки кондея. Ты лежишь в своей хате, коморе, и молчишь: из глаз, из ушей, рта и из всех остальных отверстий в твоем теле подтекает юшка, ты весь в крови, и комбез твой серый стал кирпичным. Ты ничего не жрешь. Чуть-чуть поешь. И постоянно — при визитерах что-то бормочешь, пуская красные и розовые пузыри — воздух в пленочке крови (ты постоянно подкусываешь прикушенный во время взрыва мины язык, чтобы крови было побольше). Ты писаешь в комбез — и уже воняешь. Ты постоянно, но невнятно пускаешь с кровяными пузырями изо рта звукоряды, похожие на Fuck и O my God, Jesus Christ, Mamma etc…

Второй ужас был двойным: второй-первый — это страх за группу, за ребят, за Юрку и Вовку, за Дзинтарса и Матиса, страшных неумех, но гениальных снайперов, за Колю Архангельского, еврея из Архангельска, охренительного гитариста, рассказчика и прибаутчика. Второй-второй ужас обволакивал тебя и закипал внутри тебя: как отсюда свалить? Ребята с сопки, видимо, соседней, — пускали зеркальцем зайчика, вычерчивая треугольник (слава Богу,

муссоны еще не грянули) с точкой (трижды возникающей в треугольнике всякий раз), расположенной ближе к вершине этой фигуры. Геометрия, мать ее, говорила Ване: «Мы на соседней горушке, живы-здоровы; уходи из лагеря повстанцев левее — обязательно уткнешься в наш постамент, в нашу фортецию, в сооруженное природой фортификационное возвышение; ждем, следим за всеми тропками в буше; если поведут-повезут тебя, — отобьем, врежем — мало не покажется; твои, Ваня, соратники».

Третий ужас ты загасил в себе, когда шел — ровно, средне-медленно, вольно и свободно к колючке, натянутой по периметру базы. Шел с калашом (сорок седьмым) в левой руке. Правой, свободной рукой не махал, а помахивал. Шел так, как учили в спецшколе МП — незаметно, не привлекая внимания. Двухметровую сеть из колючей проволоки взял махом, с первой попытки. Все — буш. Рванул к своим в обход несчастливой горки — к соседней, где зачалились твои бойцы.

* * *

Ужас сжимается в тебе до светящейся раскаленной точки, которая дрожит, вибрирует — и вдруг взрывается. Взрывается тишиной. За бортом эсминца шевелится мускулистая вода. Ты куришь на баке. Один. Ребята спят или режутся в карты, закрывшись в спецкаюте. Выпивают. А тебе бы прилечь на койку, на шконку, на три поставленные в ряд, вплотную друг к другу три баночки-табуреточки. Закинуть под голову туго свернутую куртку меховую — и читать Пушкина. Книги с собой не брали — нельзя. Нельзя ничего русского. Ни Пушкина, ни Толстого, ни лондонского издания Джойса, ни сонетов Микеланджело, Данте, ни стихов и картинок-чертежей Да Винчи… Океан. Еще долго до дома или до новой точки действия, движения, выполнения задачи. Ты неволен. Несвободен. Absolutly. Как миллионы людей, запертых в империи, несчастных и счастливых… Свобода? Где она? Что — она? Что за баба такая — Свобода…

Мир опустел теперь куда же
Меня ты вынес океан
Судьба земли повсюду та же
Где капля блага там на страже
Уж просвещенье иль тиран…

Океан тебя выносит на терра-логос, на остров такой, надземный, надводный и подземный-подводный, воздушный и безвоздушный, надвоздушный, космический, что ли? — Повсюдный. Прочь отсюда — и душой, и сердцем, и умом. Прочь от этих государств и народов, их войн и лживых дружб. Прочь от толпы и толп. От черни? — Ну да, от нее. В терра-логос. В Терра-Логос. Into Terra-Logos. Ты криво улыбаешься своей глупости или своей мечте… Печально все это. Печально. И тишина шуршит, пошумливает Океаном — этой гигантской каплей в терра-логосе, где живут только художники. Поэты и музыканты. И Свобода, и сам Океан.

Свободы сеятель пустынный
Я вышел рано до звезды
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя
Но потерял я только время
Благие мысли и труды…

Паситесь мирные народы
Вас не разбудит чести клич
К чему стадам дары свободы
Их должно резать или стричь
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич…

Пустынный океан ближе к закату заметно расширился и преувеличился: он теперь заходил и в небо, и в тебя, в твой головной мозг и в сердце. Только душа противилась его движению и расползанию повсеместному… Просвещенье и тиран. Они стоят над пропастью в обнимку. А за ними — стреноженные — пританцовывают толпы, опьяненные предвкушением знания и ожиданием легкой и сладкой казни… Тьфу ты, на хрен!.. Договорился. Додумался. Твоя страна-колхоз далеко. Ее убьет цивилизованность, НТР и прочая приносящая прибыль зараза. Знание знает тирана. Тиран знает знание. Они — непримиримы. Просвещение поглаживает им спины, изредка поплевывая в оба лица…

———

Рабфак сворачивался. Экзамены перенесли на июнь, чтобы в июле и августе выпускники рабфака, уже ставшие студентами, успели крепко поработать на стройке нового корпуса на Тургенева. Ивана Сергеевича Тургенева. Училось Ивану легко: он и не прекращал — никогда, в любых условиях — если не читать и не писать впрямую, прямиком: книгу в блокноты, — то постоянно думать стихи, думать о стихах, думать о поэтах, думать о поэзии. Думать постоянно, длительно и глубоко до тех пор, пока дума не обращалась в сильные ощущения то ли чуда, то ли удачи, то ли в чувство приближения чего-то неизъяснимо важного, может быть, даже главного. Жизнь твоя и околичная куда-то двигалась. Телега жизни, да?.. Но ты уже начинал понимать, что нужно поломать все рамки, ритуалы и обывательские традиции жить. *Жить*. Привычку жить, как все живут. Или не живут. Изображают жизнь. Изображая жизнь, ты изображал изображение жизни, чтобы тебя не трогали, чтобы все-все-все отвяли от твоего думания стихов…

Хоть тяжело подчас в ней бремя
Телега на ходу легка
Ямщик лихой седое время
Везет не слезет с облучка

С утра садимся мы в телегу
Мы рады голову сломать
И презирая лень и негу
Кричим Пошел такая мать

Но в полдень нет уж той отваги
Порастрясло нас нам страшней
И косогоры и овраги
Кричим полегче дуралей

Катит по-прежнему телега
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега
А время гонит лошадей…

Ты сам себе телега, кони, дорога, ямщик, седок и такая мать. Останови в себе телегу, выпряги коней (о, мерин Ежик!) и пойди с ними и за ними к озерцу. Улыбнись воде и лошадям. Потрогай водицу — пусть и она тебя тронет, мягко ухватит за пальцы, за ладонь, за озябшее запястье. Она — время, которого нет. Здесь, в тебе его нет. Есть только вечность и жизнь, точнее — существование душиумасердца. Ты отпускаешь лицо свое, и оно ложится на воду и смотрит глазами — уже не совсем твоими — в твои глаза. И ты уже не ямщик себе самому, а пловец. Ты слышишь лес, воду, воздух и звезды (днем!), лошадей и преподавателя: он что-то говорит о каком-то съезде КПСС, который прямо-таки выпрямил полуспившуюся страну и указал направление движения не к отрезвлению, но к более сильному и тотальному опьянению ложью коммунизма, морального кодекса строителя этого изма. Изм сей уже не изматывает твой слабый умишко: это он внешне такой советский-советский, но глубже — просто ум, разум, способный находить в словесах и в словесности (изящной, естественно) жизнь иную, настоящую, верную и непознаваемую, как Бог и душа. Ты думаешь об истинной сущности слова в художественном тексте, что значит — говорить, как Толстой, Да Винчи и Джойс. Говорить много, излишне много — *переговаривая*. То бишь говорить, переговаривая, и переговаривать, недоговаривая. «Война и мир», «Улисс» и улыбка крепко сжатыми губами женщины, способной говорить с зашитыми устами. Переборщить, недоборщив, — выйти из рамок, фреймов литературы, искусства так называемого — прочь, в глубины, т. к. именно там начинается истинный художественный и внутренний мир — мира, когда художественное становится сокровенным, а внутреннее — художественным. Такова, видимо, подлинная жизнь, смерть и любовь. И — вечность. Быть как Бунин и Юрий Палыч Казаков — точным, ясным, высоким, глубоким и ужасным до «прекрасности» — но! — без огляда. Без оглядки. Без страха быть и оставаться одному.

Но! — не быть, как письменники-одесситы Бабели, Олеши, Катаевы и остальные, которые вывернули наизнанку советскую словесность одесской набивкой наружу, чтобы литература, оставаясь советской, выглядела поновее…

Этот мир обывательско-советский *интонационно* — не твой. Это не твой мир. И слава Богу. Советский писатель — это

Полу-фанатик полу-плут
Ему орудием духовным
Проклятье меч и крест и кнут
Пошли нам Господи греховным
Поменьше пастырей таких
Полу-благих полу-святых…

Военная советская проза: горячие снеги, блокады, сотниковы, звезды, доживания до рассветов — это война, героизм-героизм-героизм… Если *это — война*, тогда где же были мы? На какой такой войне? Война — это искусство смерти. Это — главное. Главное — выжить, уцелеть не для того, чтобы дышать, а для того, чтобы выполнить задачу. ГУЛАГ тоже война. И задачи там были поставлены жизнью и Богом — выжить и дожать эту милую власть. Сталин — Черчиллю: «Я расстрелял 10 миллионов кулаков». Это вот как раз и есть война. Все боялись Сталина. Страх не позволял нормально бить немцев. Страх порождал глупость, трусость, осторожность и все летело к чертовой матери. Шесть миллионов пленных русских солдат. Двадцать шесть миллионов — убиты. Сталин? Герой? …Основа истории человечества — это прежде всего история словесности. «Гильгамеш», Гомеровы поэмы, античная поэзия, Да Винчи, Микеланджело, Данте, Шекспир, Толстой и так далее, далее, далее — ближе, ближе, ближе — к сердцу, к разуму, к душе. Когда мы научимся видеть (и слышать!) в Чингисханах, в Александрах Македонских, в Дариях, в Карлах Великих, в Наполеонах, в Петрах Первых и проч. антигероях — тогда мы очистимся и, может быть, вернемся к разумной жизни… Медаль твоя «За отвагу» имеет не две, а бесконечное множество сторон… Но есть еще и Главная Медаль «За жизнь!», и у нее не две, а три очевидных стороны: на одной написано «Тирания», на второй — «Демократия и либерализм», — и то, и другое суть глупость, потому что у Главной Медали есть третья сторона — главная: «Истина, Вечность, Дух…»

Полу-милорд полу-купец
Полу-мудрец полу-невежда
Полу-подлец но есть надежда
Что будет полным наконец…

Необходимо постараться — в муках, в крови, в ужасе — увидеть и услышать милорда-мудреца и подлеца в абсолютно полном содержании, отбросив прочь форму, изолганную до политической паранойи и обывательской прагматики… Ты усмехаешься. Съезд КПСС: ну да, точно — съест кпсс. Сожрет тебя, жирную, жадную, жестокую — всю. Целиком и полностью.

Мичман Стуканов (старшина) командовал обычно так: — Старший матрос Орлов, подойти ко мне целиком и полностью. Целиком и полностью. Так нужно пообращаться и с историей. Так называемой *историей*…

———

Вечерком вы с Олей встречаетесь. Оля — взрослая девушка, рабфаковка (журфак). Красивая, высокая, ладная. В новых голубых джинсах (огромная редкость и зависть рядомживущих), в замысловатых босоножках. Сначала вы сидите в «Молодежке», где тебя помнят, как Королёва, запустившего Гагарина в космос: ты запустил кавказского хама вместе с пластмассовым креслицем в витринное окно — прямо на орбиту кругового тротуара… Может быть, он До Сих Пор там — *там* — летая, сидит и — сидя — летает?.. Метрдотель улыбается тебе. И ты просаживаешь последние копейки-рубли: цветы — вино — еда — шампанское — вторые цветы и т. п. Ночью вы гуляете по городу, заходите на Площадь Советской армии, где еще нет Черного Тюльпана (Афган случится через три года). О, фонтан с цветомузыкой! Клево. Классно. Железно. Вы сидите на бульварной скамеечке, не целуясь, но думая о поцелуе. Обнялись. Нет, она тормозит. Вдруг вскакивает со скамейки и бежит к огромной круглой клумбе, нашпигованной рассадными цветами. Оля садится на корточки, смотрит на цветы — выбирает. На площади пусто. Два часа ночи. Утром всем на работу. Оля выбирает садовые крупные — с ладонь — ромашки. Нюхает. Говорит: — Клевые ромашки, я от них торчу… — Потом поднимается с корточек, поднимает к небу лицо — звезды: — Ваня! Звезд — как насрано! — говорит она, нет, восклицает с восторгом человека, впервые рванувшего в космос… — И ты гаснешь: зародышек призрака любви схлопывается в груди — так щелкает затвор пустого ТТ. Почти не слышно и нежно: все — капут. Нашей первой любви, еще не наступившей, наступает конец…

———

Утром Иван уходит из общаги. Рано утром. Очень рано. Слишком рано. На душе тяжело, нечисто и невесело. Вторая нелюбимая любовь. Енабый стыд! Военно-морской ужас… Света позавчера приходила в универ из своего УПИ-политеха. Постояли. Покурили. Сказала, что, мол, давай так: ничего не было. У меня ведь, мол, парень есть. Наш одноклассник. Твой соратник по баскету. Вовка? Коровин?! Он же кинет тебя… Эх, Света… А ты сам — что? — не кинул… Урод.

На занятия еще рано. Едешь на вокзал — в буфет. Перекусить. Бурдяного кофе испить. Кофейной бурды намахнуть… Ваня, ты что вытворяешь?! Урод… Почему мужикам нравятся девки вульгарные (это об Оле)? Нет, не вульгарные, а вульгарноватые, гаражные шлюшки; не наглые, а нагловатые; не красивые, а смазливые; не умные, а хитрые?.. Идешь на вокзал. И тебя распирает позор. Твой позор: ты аки акула, наглотавшаяся табуреток. Сиденья сих табуретов отполированы задницами — не до блеска, а до зеркальности. Смотрись же, сучок (от «сука», самец суки), в свои жопные зеркала… Урод…

Ты пьешь бурду. Даже зонная жидкость, напоминающая одновременно чай, мочу и скислое какао, не столь отвратительная. Вареное яйцо, вкрутую, куриное пахнет, освобожденное от скорлупы, яйцами Гаргантюа или немытого целую вечность Панурга. Ваня, говоришь ты себе, — а ведь это твоя жизнь… Ты чужой здесь. На гражданке. В универе. В общаге. На войнушке ты свой. Хотя… Ни порох, ни динамит, ни ТНТ, что-либо (особенно фосфор, напалм) планете не нужны. Пошли они на х.р — китайцы, химики, Нобель со своей премией, Оппенгеймеры и Сахаровы… И Королёв туда же… Рыжие. Оба рыжие — и Гитлер, и Сталин. И Чингисхан рыжеватый. И товарищ Македонский Шурик. И Наполеончик… Все были срыжа. *Срыжа*: и Ленин милый тож. Пассионарность. Пассионарные народы — голый, как задница в бане, нацизм… Рыжих — вон из Истории. Душегубы. Всех рыжих полководцев и политиков — в цирк! В цигк, как говорит/произносит это словечко Лёнька Данилов, рабфаковец, будущий нежурналист с будущего журфака. Лёнька на днях, указав на дом сталинской постройки, молвил: — Знаешь, Вань, что здесь живут только актеры из музкомедии, все — гомосексуалисты. Ты слышишь это слово впервые. Педерасты, пидарасты, пидоры — эти

звукоряды ты знаешь, но «гомосексуалисты» — это что-то новое. Оцивилизованные педерасты. Пушкина убил педераст, или дважды сексуал. Да-а-а… Ты не удерживаешься — и выпиваешь стакан тагильской, воняющей резиной (тоже нижнетагильской), водки… И — домой. На трамвайке. Долго и уныло. В полусне.

———

Иван задремал в холодном (а ведь уже лето — первое мирное лето за три года!) вагончике трамвая № 5, который пилит до Площади Первой пятилетки, прямо до центральной проходной УЗТМ — и здесь твои полтора года остались. Ты дремлешь, грезишь, бредишь (водка плохая): ты прошел всю Великую Отечественную. Потом — Монголия и Япония. Затем арест. Пятьдесят восьмая. Пытки. Пуля в затылок. Все… И сразу, без интервала: 1812 год, ты офицер, адъютант генерала Алексея Петровича Ермолова. Дважды ранен (тождество с твоей реальностью). Награжден трижды: два «офицерских» и один солдатский (батальон проголосовал) Георгия. Еще ранение — нехорошее — в ноги. Под тобой убито две лощади (жеребец Ежик и кобыла Майка). Отставка. Уезжаешь в имение. Живешь один. Пишешь. И — умираешь счастливым… Да, ты знаешь, что такое счастье: родиться, писать и умереть. Нет, не писать, а думать стихи и прозу. Ты знаешь, что такое дым: в одиночке (в Питерской) вас двое — ты и твой табачный дым. И больше никого и ничего. Только думы и дым. Ты знаешь о дыме все. А он — о тебе. Так и живете вдвоем в одиночной камере — в обнимку. Он уходит — и ты закуриваешь новую цигарку («Охотничьи», «Северные», «Памир», «Прима» — вот такие ссыгареты).

———

Пешком идешь домой. Дома — пусто… Садишься на пол — ноги не сгибаются в коленях — больно: ранения еще свежие, не вросли своим уродством в общую систему жизни тела твоего, хотя душа и разум уже привыкли к увечью — и ты почти не хромаешь. Хромают от боли — но боль теперь часть тебя, твоего существа. Ты сидишь, как нищие сидят на тротуаре, те нищие, увечные, поисковерканные в конце пятидесятых. Ноги чуть раздвинуты, между ними — кепка для подаяний. Для подачек на водочку и хлебушек. Ты сидишь как нищий. Между колен — пепельница. И ты понимаешь, что 1812–

1814 (и 1805, и 1807 с Аустерлицем) и 1941–1945 (и 1937, и 1939, и годы за 1945-ым) — все это не совсем безумие: время, превращается в вечность в тот момент, когда память крови и рода твоих соединяются с памятью страны, народа и истории. Но истории не только и не столько войн, сколько — души, душ и духа, которые питаются не только водочкой и хлебушком, но — прежде всего — словом и музыкой. Ты — отец — дед — прадед — прапрадед — и т. д. — это морпех, чекист, гимназист (ох, много у Ивана Иваныча в его биографии темных мест!) и царские офицеры, и генералы. И это не нитка крови и не канат, а жила земляная и небесная, проходящая сквозь мир и тебя и питающаяся миром, духом и тобой… А все эти торговцы, политики и гососаксофонисты суть осыпавшаяся корочка с этой жилы. Судьба — одножильная, и обнять ее может только двужильный человек — родом своим и миром, словом и песней.

Иван вышел на балкон: во дворе пацаны играли в лапту. Петя ловко, прямо с коляски, жучил чижика, ловко чекая его лаптешкой и засвечивая им — ударом с лету. Недосягаемо далеко летел деревянный чижик… А в клетках чижики живут недолго. Они только поют и перелетают короткими, как вспышка фонарика во тьме, вспорхами — с куста на куст, с земли на землю, с воздуха на воздух. Петя ударил лаптой — с хорошего маху — по чижику, тот взлетел свечкой — и вдруг замер в воздухе надземном, почти в небе — чуть-чуть недолетел. И душа Вани подскочила и замерла над зависшем над двором балконе. Дверь балконная была открыта настежь — квартира пустая и входная дверь заперта. Но в доме кто-то ходил, или что-то расхаживало, перемещаясь из кухни в единственную комнату, из комнаты в прихожую, из прихожей — вновь в коридорчик кухонный… Вот в ванную заглянуло… Ты сходишь с ума? Галики? Аудиальные галлюцинации? Что-то со слухом? Последствия контузии? Одиночества — нутряного, подвздошного, глубокого, как свежая могила или не менее свежий окоп? Иван чуть повернул голову в сторону распахнутой балконной двери и периферийным зрением засек светло-серое платье. Женщина. Она? Снова Она?

Она вышла на балкон и молча присела на деревенскую «стулку» — стулик, табуретик, сколоченный из трех досок в форме буквы «П».

— Ваня, вечность всегда начинается завтра.

— То есть ее нет? Она вообще не наступает. Она есть, но не наступает, не начинается?

— Вечность наступает всегда и везде, но вы этого не замечаете. Вы видите — сразу и целиком — Гагарина, войну, различные сборища ЦК КПСС, красивые ноги, высокую грудь… да, еще бороды на мужских лицах — они ведь здесь негласно запрещены?

— Полузапрещены. Борода полузапрещена, как Мандельштам, Пастернак, Ахматова и Цветаева, как Платонов, Бунин и Набоков.

— Один человек в свой день рождения, сто пятьдесят лет назад, то есть вчера — он старше тебя всего на семь лет — сказал: сказал прежде всего себе, Мне и Ему.

— Сказал?

— Ну, нет. Точнее проплакал. Провыл. Прорыдал. Но сдержанно без аффектации и надежды на ответную жалость, жимолость и милосердие мира:

Дар напрасный дар случайный
Жизнь зачем ты мне дана
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал
Душу мне наполнил страстью
Ум сомненьем взволновал

Цели нет передо мною
Сердце пусто празден ум
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум…

— Судьба тайная… Насколько тайная?

— Полностью и навсегда.

— Но всегда наступает завтра…

— Всегда есть всегда, как время, которое вы себе придумали, как изобрели себе общество и государство.

— Из ничтожества — в никтожество?

— Да. Путь такой: ничто — что — кто — никто. Формула искажена, нарушена, уничтожена.

— Или уничтожена?!

— Молодец… Так есть. Sic!

— Сомненье, волнующее ум, неопределенность, потерянность, изумление перед никтожеством своим…

— Ты прав. Так и есть: изумление перед ничтожестью креативного безделия. Безделия ума, сердца и души. Вас пожрут ваши эмоции.

— Уже началось.

— То ли еще будет. Готовься.

— Сердце пусто? Празден ум?

— Они готовы действовать, потому что починены духу неопустевающему и трудолюбивому.

— Однозвучный шум?

— Чем монотоннее — тем исчезновеннее.

— Но ведь поэт — это само исчезновение: он не может существовать без вещества исчезновения. Он поглощает это вещество с произношением каждого и всякого звука… Дар — напрасный? И случайный?

— Нет. Здесь твой товарищ по голошению, по думанию и страданию мира, музыки и стихов — не прав. Он это знает. Это детское отрицание в значении утверждения.

— А как же читатель? Ведь он — в обществе себя и музыки?

— Читатель — это немтырь. Поэт — не-поющий.

— И поэт — немтырь?

— Да. Поэт поет то, чего не знает никто, кроме Него. И поэт — не знает. Он предощущает, но не ведает.

— Значит «Поэту» — это чистая правда?

— Не вся. Только ее социальная и антропологическая части. Малюсенькие. Но почему-то важные для вас, милых идиотов.

Она глянула — коротко — Ване в глаза. Вспышкой… Вспышкой — чего?.. И — улыбнулась. Я пойду? — Иван чуть было не спросил: Куда? И как? И почему? Но вдруг все понял — и застыдился.

— Да, конечно! Спасибо Вам! Э-э-э, можно… я тут вспомнил… прочитаю. Вслух?

— Можно и не вслух. Можно — в себя. Читай в себя.

Поэт не дорожи любовию народной
Восторженных похвал пройдет минутный шум
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной
Но ты останься тверд спокоен и угрюм

Ты царь Живи Один Дорогою свободной
Иди куда влечет тебя свободный ум
Усовершенствуя плоды любимых дум
Не требуя наград за подвиг благородный
Они в самом тебе Ты сам свой высший суд
Всех строже оценить умеешь ты свой труд
Ты им доволен ли взыскательный художник
Доволен Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь где твой огонь горит
И в детской радости колеблет твой треножник…

— Не дорожи?..
— Так.
— Ты царь. Живи один?
— Это истина.
— Свободный от всего ум? От чего?
— От себя самого в том числе.
— Ты сам себе Высший Суд?
— Да, потому что ты в Нем, а Он в тебе. Мироздание это понимает — и не колеблется, как твой треножник… Я пойду.
— Но… — Она исчезла… — Иван докуривал седьмую сигарету. Подряд семь сигарет — непрерывно. Голова раскалывалась. Что-то в ней искрило и переливалось фиолетово-сиреневыми всполохами, как северное сияние. Полярное северное сияние. Биполярное сияние в голове у человека, живущего одновременно в себе (не высовываясь наружу) и с людьми.

———

Вещество музыки ощущается полнее в одиночестве. Ты ставишь на старенький «Аккорд» виниловую пластинку «Барочная музыка» (Телеманн, Корелли, Пашельбель, Альбинони, Марчелло, Пёрселл, Вивальди, а с ними — в этой компании — Бах, Гендель, Рамо). Ставишь иглу на дорожку с Марчелло («Oboe concerto in D: Adagio»). Музыка такая легкая, что не поднять: но она раздувает волосы и веет прямо в лицо так, что глаза закрываешь — сначала щуришься, а потом сразу слепнешь и превращаешься в часть музыки. Что это?.. Что со мной?.. Музыка тебя понимает, она тебя разговаривает, она тебя слышит — немтыря. Она тебя слушает до немоты твоей.

И ты никуда там не «уносишься», не «возносишься», не «паришь» (под парижами) — ты просто звучишь всем существом своим так, что слышно богу, что видно так далеко и долго, что глаза болят… Глаза болят от любви, которая скоро случится.

———

У каждого живого и «неживого» существа есть своя музыка: у птицы, у рыбы, у бактерии, у дерева и травы, у камня, у песка и глины. Эта музыка — вибрация, возникающая под воздействием множественной гравитации — астрофизической, вообще процессуальной, биологической, психической, интеллектуальной, языковой (дрожь любого языка не только как знаковой сущности, но и субстанции прежде всего музыкальной). Человек — по определению — должен слышать каждую и всякую, и различную по природе своей музыку. Но он слушает Кобзона или орет под пьяную лавочку «И снег, и ветер, и звезд ночной полет — всегда мое сердце в тревожную даль зовет (комсомольскую даль, общественную и государственную, то бишь толпяную, хоровую). Толпяная, хоровая, коллективная эмоция убивает многие, если не все, способности души человеческой. Вот он и «болеет» футболом, попсой, ночными клубами и дискотеками, пляжами, кабаками и войнами. Война — дело общественное, коллективно-оздоровительное… Языковая музыка как чудо, как порождение, возникновение, явление, проявление и сила божественная не терпит толпы, ее совокупной метапсихики, ее обобществленной и опустошающей все и вся эмоции — метаэмоции организованного движения по кругу: квартира — работа — кайф, потрясение ерундой, чепухой, пустотой. Толпа стремится к пустоте до тех пор, пока сама не становится пустотой. Позитивизм поверхностного и полезного быту (о, комфорт!) познания — это антипознание, это зарывание себя в свои отходы, в свое дерьмо, в свой мусор, в свои (и в детскую!) кровь, проливаемую на войнах, нужных только производителям оружия, амуниции и хавчика, раздаваемого порционно. В штрафбатской зоне, в дисбате порцию жратвы (баланда, мусорная каша с привкусом «бациллы» [мяса] называли «порцайка»). Человечество получило свою порцайку развлечений, кайфа и — позднее — hipe'a («хайп»). Вот и трясется над ней — и гибнет комфортно, респектабельно и живенько, кинематографично, душещипательно и пустопорожне. Всеобщее хреново

нобилити (nobility) давным-давно расчеловечилось в своих капитализмах, фашизмах и нацизмах. Rest In Peace!..

———

Головка звукоснимателя подобралась к девятой дорожке — к девятому кругу (вторая сторона пластинки) — и квартирка исчезла, — сначала раздвинулась на все четыре стороны света — особенно на север, потом стала расти по вертикали — вниз, в дебри корневые, глиняные, и — дальше, в недра, в мозг замороженный, каменистый и почти прозрачный; в сердцевине музыки, в душе Ивана и этого стереовизуального креста пылала, посверкивала, угасала и вновь мерцала, вздуваясь и пламенея истинная правда, редкое, невиданное чудо — гармония звука, разума, сердца и души, их четвероединое объятье медленно вращалось внутри объятия плоти и души, севера, юга, запада и востока, небесной бездны и планетарной прорвы. Это был ужас Бога. Ужас Абсолюта. Ужас всеобъятия гравитации и гармонии. Гравитация гармонии сушила глаза и увлажняла кончики пальцев и ладони…

* * *

Что бы Ваня ни слышал: звуки леса, шум воды, пение птиц, говор людей, гром паровоза, трамвая или лай собаки, или шепот страниц в распахнутой книге,— он слышал музыку — свою. Даже когда он слышал музыку — он ее переиначивал. На свой лад. И это была уже другая музыка. Своя. Это напоминало болезнь. Какую? Блин, ты все делаешь музыкой. Только музыкой. Постоянной, бесконечной, вечной музыкой… Бабушка это знала. Убитые морпехи это знают. Оставшиеся в живых — это слышат. И слушают Ваню — Неваню — а эту, может быть, простую, но дикую и проникновенную музыку. Эту музыку слышит только тот, кто любит и гибнет. Ее слышит даже смерть.

———

Иван нагреб колючей красной земли и ссыпал ее горстями в сидор. Килограммов 8–10… Потом раздаст родным погибших. Он это сделает с Николаем Иванычем через три месяца, после командировки… Кружат вороны кружат вороны кружат вороны надо мной и течет река в обе стороны будто жизнь моя с тобой холодна вода

холодна вода глубока вода нету дна что меня с тобой развела волна не твоя вина а моя беда… Эту песню Ваня услышит через 45 лет по телевизору, поглядывая на фильм про войнушку. Запомнит сразу всю — целиком, — раз и навсегда…

———

Музыка в голове Ивана то вытягивалась в канаты, в веревки, в шнурочки и длинные шелковые нити, иногда эти, говоря поморски, концы, ершились, становились гусенично-подобными, мохнатыми, как нитки из овечьей грубой шерсти. Рок'н'ролл вытягивался в Баха, Бах — в хард-рок. Эстрада, джаз и вообще попса — в Моцарта. И наоборот: толстый канат без труда, сам собой, преобразовывался в Баха. А волынка — в Грига. Но такие превращения никогда не происходили с музыкой итальянского барокко: Вивальди оставался Вивальди. Гайдн, Рахманинов, Перголези — сами собой. Чайковский вел себя в Иване, его существе по-разному: то превращался в конец, то в немца, то в итальянца. Гендель же никогда не подчинялся обстоятельствам войны и оставался Генделем. В долгих походах Иван, продираясь сквозь буш, одновременно летел, сквозил, парил, несся сквозь музыку, звучащую в голове.

* * *

Иван стоял на балконе. Один. Он курил болгарскую сигарету с фильтром и думал о Ней: в армейские, «военно-морские» годы Она часто навещала его, словно следила за ним, словно опекала его, как Арефьев, Печерский и живые, политые слезами образы деда, бабушки, Кати и Коли… Коля, бедный, где ты? Иван, будучи верующим, не принимал церковные мифы о строении инобытия. Инобытие было, в представлении Вани, шире, глубже, выше и шарообразнее. Рай, Ад, Предысподняя — слишком примитивны для того, чтобы принять себя в душу усопшего, душу бессмертного по трем «ведомствам». Были там, видимо и «свободные» от ритуального мышления зоны. Например, загробный мир — Поэтия.

———

Краем неба идешь… Передвигались вдоль заката, вдоль кромки земли — она показывала свой рубчатый, холмистый, кустистый,

неровный, но и не плавный, а острый, как зазубренное лезвие старинной дедовой косы, край. На стыке кромки неба и лезвия земли ходили — горизонтально — искры-искорки то ли от оселка завалившегося солнца, то ли от наждачного бруска земли, на которой только что завершилась бойня. Когда почти стемнело, Иван остановил скорбно-боевую колонну. Передал по цепи команду: перезарядить АК, РПК и ПКТ трассерами, чтобы страшнее было тому, кто сунется, придвинется к колонне, попытается блокировать ее. Иван выставил авангард (пять лучших и опытных бойцов), арьергард (семь самых отчаянных морпехов) и фланговые заслоны/контрольные слухачи и наблюдатели. Кроме того, по возвышенностям скакал на своих двоих Абылхапов с тремя каракалпаками: Сакен стрелял божественно, азраильно и архангельски точно — во тьму, на шум, на мельк, на шорох, на дых, на чих, на хруст былинки, на всхлип водички, на глухой, интимный бульк в горле — на глоток…

Иван шел попеременно то с побитыми, ранеными, то с усопшими. Он думал о том, что бытие (вообще существование вещества жизни) не монолитно. Есть физическое бытие, есть метафизическое (как в поэзии — особенно: Тютчев, Боратынский), а есть и другое — другие «бытия». Иное бытие легко называть инобытием. И что? Все? Этого хватит? Ни хрена! — есть третье бытие, оно не дает слиться-соединиться физике и метафизике, оно есть интерфизика: оно живет между двумя «физиками» — материальной и метаматериальной, и нематериальной… Вот так. Примерно так… Сорок верст кандыбать. Не нарваться бы на кубинцев или еще каких-нибудь бандитов. На партизан черномордых. На южноафриканцев. На французов. На разведчиков, сука, всех, сука, стран, сука… Ладно, Бог — не фраер. Прорвемся. Вынырнем. Вот идешь ты «домой» точно в озере карасем идешь из мошны сколько женщин мы к черту бросили сколько сами мы не нужны… Лёня Губанов? Похоже… Вот идешь ты — и пуля снайперская или дурная чмокнет тебя в висок. И — все. Ты Там — в третьем бытии. В интербытии Без Суда и Следствия. Скажут Павлы-Петры: стихи думаешь? — тогда иди в третье бытие. Там располагайся. Живи. Нет, существуй. Метаживи. И — метаотдыхай от этой долбаной Африки, песков, камней, зверей и буша. Там уже — для смеха — не подложишь (втроем — тяжело!) отгрызенную и погрызенную гиенами огромедную башку жирафа в палатку пацанам — как раз

в изголовье, чтоб повонючее было да пострашнее: ржали тогда все, но без обид — дело молодое, военное…

И скажут тебе ангелоподобные существа — дети неба: иди сюда, ступай вон туда, видишь, речки, пара озерец, домики островерхие, сады-садики с черешней и яблонями, а кругом-то беседки, скамеечки, и люди в малом количестве ходют — туда-сюда, без заботы особой. Так себе — ходют и смотрют, то на Небо, то на Растения с Травой. И забота у них одна: как бы додумать стихи, недодуманные в Жизни Людской на планете Земля. Ходют, думают, бормочут, улыбаются, а то и плачут от удач и неудач в думании своем. Иди. Видишь их? К ним иди!.. (Господи, значит меня все-таки убили.) Но когда и кто? У оврага? Кубинцы? В акациях долгоиглых, наглых и жестоких, безжалостных… Убили?! — Нет, ты жив, парень. Иди в долинку-то (отвечают ангелоиды), иди к своим. Вон, смотри: Пастернак грядку грабельками боронит; а вот Ахматова с Бродским вежливо спорят о величии замысла, пьют водочку из наперстков и закусывают черешней; а вот Пушкин с удочкой сидит у прудка, смотрит на воду и разговаривает с водицей; Заболоцкий дрова колет — мелко так и ровненько, садится на колодку — комель березовый — и закуривает «Северок», папиросочку малую да злую; а вот Лермонтов с барышнями в серсо играет — резвый и веселый, но временами оглядываясь на темный лес, набухший окрест поселенья; Тютчев с Боратынским в угадайку играют: чьи строки-стихи? — Тютчев часто посматривает на небо, тоскуя по Елене; Хлебников сидит у заливчика речного и кушает с газетки хлеб с огурцами малосольными, рядом с ним (он часто трогает ее) наволочка с пухом лебединым и свиристельным; Цветаева с Тарковским гуляют по аллейке и, попадая в тень от куста, целуются; Мандельштам что-то пишет на прибрежном песке на арамейском среди волооких купав, лотосов и лилий; Боря Рыжий играет в подкидного с Деном Новиковым, и тут подходит, хромая, Гриша Дашевский и присоединяется — решили продолжить игру, но уже в переводного, транзитного; Садовской на коляске инвалидной катается с горки, а страхует его, придерживает за спинку каталки Кузмин; Блок сидит один; Жуковский с Вяземским пьют пунш в беседке; Крылов, похудевший, постройневший точит карандаши, как грек в Эгейском море, — прямо в речку слетает кудрявая легкая стружка; Лена Шварц стоит в прудовой теплой водичке по бедра — в купальнике, — а присесть

в пучину боится; Лёня Губанов играет на губе; Веневитинов ходит туда-сюда: знакомится со всеми; Рильке громко читает стихи Мандельштама («Соломинку» с прицепами); с приятным акцентом; Есенин и Маяковский играют в лаун-теннис — молча, зло, напористо, яростно и бесконечно; Витя Смирнов с Игорем Сахновским занимаются бегами жуков — пока на стадии тренировки; Набоков пишет стихотворение — вечное, прекрасное и неповторимое, и все это чувствуют; Женя Туренко плачет над стихами Бориса Поплавского, который, в свою очередь, плачет над стихами Туренко; Саша Сопровский пишет статью о поэзии группы «Неподвижное время»; Фет и Анненский ходят по пятам за Державиным и читают на два голоса (низким и высоким) его «Снегиря»; Иван Барков первым замечает тебя и кричит — негромко, так, чтобы слышал только ты: «Не убили тебя, милый? Давайте к нам, к нашему шалашу: я вижу, ты не один…»

———

Дисбат, зона, колония — это один день, черный и белый, длящийся месяцами: дырявый день, не твой — ты не в нем, ты в себе, изредка выглядываешь в дыры земные. Война — это одна ночь, черная и белая, длящаяся месяцами: ни прогалинки, ни прорехи небесной — только дыры и канавки в земле. Окопы-окопчики. Лежки. Брустверы. Каменные подковки, выложенные из булыжников радиально, с просмотрами сквозными — для ствола и взгляда. Становишься не частью ландшафта, а прямо и насквозь — землей. Лежишь как язычник — дома, в земле, в камнях, в глине, в песке, в растениях диковинных и колющих-режущих, ядовитых и молчаливых… Колонну накрыли три вертолета. Они ходят тройками, а не парами, как наши. Ты берешь ПКТ с бронебойными и разрывными (через один — в ленте) и ловишь рыбье брюшко геликоптера. Стреляешь не очередью, а дуплетами: раз-два, раз-два, раз-два… Разлетелись, гады. Боятся. Просекли, что это не партизаны, а русские. Засасали… Вовка уполз на вершину африканской каменной горки — и ждет. РПГ-7 — говно. Вверх плюет слабо. Но Володя Симак — орел. Дождался. Врезал. Одна лопасть от взорвавшегося тихохода подлетает к Ивану и замирает у ног, чуть-чуть, слегка, почти нежно касаясь штурмового башмака. Готов. Второго приземляет Сакен. Молодец, Абылхапыч! — он бьет из СВД — пилоту в глаз. В левый. Почему,

Сакен, именно в левый? — Ближе к сердцу… Третий уходит. Быстро и без красиво-лихих виражей. Удирает… У нас есть 45 минут: они вернутся двумя-тремя звеньями по три. Ребята находят подходящий буш — туда переносят всех холодных и раненых. Группа разведчиков Ивана взбирается на горку и разворачивает КПВТ — эта хе.ня броневики пробивает и рушит. Итак, бронебойные, зажигательные. Плюс по ходу предполагаемого налета готовят два ПКТ и четыре РПК. Стрелять — только со спины. Лежишь на земле ровно, упираешь приклад ПКТ или РПК в камни под углом 45–60°. Ждешь. КПВТ у Вовы. ПКТ — у Юры и у бойкого морпеха из порушенной роты, звать — Петя. Как Яковенко, убитого прямым попаданием мины летучей в Лаосе. Петя боец спокойный и старательный: Петя, ты, главное, не спеши, хе.ачь, сдвоенными, дуплетами, как по уткам из дробовика. КПВТ установили на каменную бабу, которую сложили в пять минут. У Вовки два вторых номера. Помощнички. Все. 45 минут. Время «Ч». В буше там всем молчать. Особенно убиенным. В горле ком от такой шутки, но на душе становится легче: *наши мертвые нас не оставят в беде наши павшие как часовые…* По сто водяры. Сигаретка на двоих-троих… *Отражается небо в лесу как в воде и деревья стоят голубые…* Негроиды ищут колонну. Колонну с убиенными, ранеными и уцелевшими soviets. Негроиды белые и черные. И, сука, серые. Вот щас и почикаемся. Главное не плакать, не выть и не ссать. Устали? А Бог не устал видеть все это?!

Вертолеты вернулись. Шесть бортов. Шли двойным веером с чередующимися двумя уступами влево и вправо. Они шли прямо на Вовку и остальных. Все — капец. 200 метров. 150 метров. Молчать!!! Ждать!!! Идут, гады, осторожно, опасливо… 100 метров… Огонь по команде (это Иван кинул по цепи)! 80 метров. 60 метров. Так. Пора. АГОНЬ! Володя срезает два в центре веера, еще один слева задымил. Юрка своим РПК разваливает четвертого. Иван орет: — Четыре ноль!!! Семь стволов пулеметных. И КПВТ, и два ПКТ, и все РПК, АКМ умолкают: два геликоптера расходятся в стороны по флангам. По левому — ВСЕ — АГОНЬ. Все. Нет левого… Правый уходит. Уже не вернется… Нет, так не бывает, думает Ваня, но в башке стучит: мы это сделали! Это вам за наших…

Иван вдруг заметил: язычники! На войне, в бою мы все — язычники. Ханы Чингизы, князья Невские… Война — это ночь, сегодня она — белая.

…Иван Семёнович Барков жарил рыбу на камушках каленых. Рядом сидели Дельвиг, Полежаев и Батюшков. Сумароков вышел из леска с охапкой хвороста. Бросил ее на землю и стал выбирать хворостины и ломать их — беззвучно. Охапка хвороста упала — беззвучно. Рыба на горячих камнях шипела беззвучно. А вот голоса были слышны. Голоса поэтов… Лермонтов громко рассмеялся и быстро положил в карман белого длинного сюртука золотой гребень. Тот самый. Роковой. Встретивший пулю Мартынова и отразивший ее, направив вверх — в тулово, в легкое, потом в ключицу, отразившую свинец и направившую его вниз, опять в легкое… Такие дела… Граф Комаровский с князем Вяземским играли в большие шахматы, расхаживая между фигурами с умным видом — остроумец и безумный. Безумие побеждало. До мата оставались два хода. Пётр Андреич улыбался: радость Комаровскому, какая-никакая… Грибоедов музицировал. Где-то в домике. Его не было видно. Музыка была слышна не только хорошо, но и заметна глазу: ей подчинялись и птицы, и цветы, и стрекозы…

Нужно было уходить… Нет. Залечь в буше, в этом же квадрате. Если будут искать с воздуха — рванут сюда и дальше. Иван отправил Сакена с каракалпаками топтать трехжильную пешеходку — чтоб с неба было видно… Остались в буше: ни костра, ни сигареты. Только галеты, сгущенка, пять литров воды на десятки бойцов. И — водка. Не перебарщивать! Убью! Володя, собери фляжки… Ночь вошла в буш на час раньше положенного срока. Через час по населенному МП квадрату ударили русские грады. Мимо. Стороннее. Как-то левее. Нет, не наши (ошибочно, рассеянный огонь). С наших установок работали черненькие. Иван лежал с закрытыми глазами и видел, как эти засранцы в новенькой англо-саксонской униформе радуются каждому пуску, а особенно взрывам, плоским, широким и глухим до глухоты в желудке. Окружают?.. Два десятка раненых. Куда двигать? Или напролом. А то ведь всех положат — как одного и как пить дать. Черные расхерачили квадратов десять, в том числе и тот, где хоронила МП. К утру стало стихать. Ракетки иссякли. Суки. Из этой землерубки вышли впятером: Вовка, Юра, Сакен, один «овражный» с оторванной (отстреленной ПКТ) рукой и Ваня. Вышли из зарослей открыто: один хрен, никого нет — все уехали на градовских таратайках. Посмотрели друг на друга. Разделись. Промазались. Перевязались. Вкололись антидотами и обезболом.

Оделись. Проглотили по кремлевской таблетке, пожрали, выпили по двести граммов водки — покурили. Взвалили сидора, набитые водой, водкой и хавкой. На каждое плечо (2–3 на одного человека) накинули по АК-47 и РПК. Вовка взял ПКТ (тяжеленный, да еще с лентами). И в открытую двинулись на восток. Потом по ломанной линии — на север, потом опять на восток: 5 км (восток) — 5 км (север) — 5 км (восток) — 5 км (север). Шли молча. Злые. Попадись кто — перебили бы на хрен. И не закопали. Шли не колонной, а зигзагом. Впереди Иван, как в Лаосе, будь он неладен, когда Петю Яковенко разметало миной. Замыкающий — Юра. А рядом с ним, как всегда, Сакен, его друган, корефан и братан… Господи, помоги им и спаси их, грешных и живых! — Ваня шел сквозь сухие слезы жары, чужой земли, глаз, сердца. Ему больно физически — за все, что произошло. Убитых прикопали. Но — гиены найдут. Да и остальные хышники, будь они здоровы и пусть не кашляют… Война, да?.. Да?! — я спрашиваю. Кого — спрашиваю?! Сука, себя спрашиваю. Верхние интересы государства, рабочих и крестьян? Да-а-а… Он оглянулся — далеко позади над бушем кружили грифы. Много. Сотни. Жратвы много. Стервятники. Трупоеды. Птицы. Воздух любит птиц. А нас не любит…

———

Шли по белому песку, как по толченому стеклу. Здесь миллионы лет назад было море. Океан. Нужен океан. Найти шаланду — и уйти, вползти, вплыть, вкарабкаться веслами в щель между двумя океанами — воздушным и водяным, соленым, как кровь песка, которую выпустили силы небесные, — песка, выжатого всей жаркой тяжестью солнца. Пятеро шли, выходили. Это называется у МП — «выходить». Не бежать, не уходить, а выходить. Почему «выходить»? Из боя? — это невозможно: гражданская война — бесконечна и повсюдна. Из войны? — это невозможно: война случается каждое мгновение — вся планета пылает синим пламенем («Сгорая спирт похож на пионерку когда она волнуется когда…» — так скажет через дюжину лет Саша Ерёменко, Ерёма, тоже стармос — только ТФ, а СФ наш от него далече, как Африка эта долбанная от Москвы с красными полотнищами, вывешенными то ли к похоронам очередным, то ли в ожидании коммунизма). Пятеро выходили. Пять — из 12 разведчиков и ротной сотни морпехов, уловленных чернотой

и кубинцами в овраге. Пять. Всего пять. Выть хочется. Идешь, соблюдая двухколонный уступ вправо и влево. Бнять, пятеро — это уже колонна! И уступы — хрен прицелишься. Откуда? — Только с воздуха. Ты бы, моб твою ять, кинул сюда на вертолах десант — голов двадцать, и все — нам конец. Эти гады догадаются?.. Да. Могут. Нужно искать высотку — хрен возьмут. Патроны есть. Гранаты. Два гранатомета. Пулеметы. Идем, как верблюды к Моисею в пустыне Египетской. Моисей был башка. Настоящий царь и МП. Всех обделал и уделал… Тебе кажется, что-кто-то шестой идет рядом… Чувствуешь — свой. Живой? Мертвый? Кто? Это? Страшно глянуть влево. Но — точно — кто-то идет… Мертвый? Догнал нас. И — воскрес? Стрельнешь шарами влево — так быстро, что аж больно глазами… Арефьев? Нееет… Откуда?

Высотку нашли. Всю поросшую акациями шипованными и дикообразными. Прикопались. Обложились камнем. Будет десант? Будут добивать?.. Ночью кушали последнюю банку перловки с тушенкой, гоняя ее по кругу. Ели с ножичка Ваниного, швейцарского — лезвие узкое, много не возьмешь, но все одно в рот кое-что закинешь. Выпили по 100 водки. В темноте закурили в кулаки. И все молча. Немые. И мертвый слева от Ивана стоит — водки хочет. И курить хочет. Спали по трое — двое на шухере. Начало светать. Рассвело быстро, будто свет в кухне хрущёвской включили. Гул пошел. Вертолеты. Откуда? С тыла? Или из пункта, мать его, назначения?.. — Ну что, парни… — Ваня помолчал. И продолжил: — Помирать будем. Как отцы наши и деды… А может, свезет — и отобьемся… Главное — ничего и никого не бояться… Все. По местам стоять. С якоря не сниматься. Сушить весла. Поплывем — пойдем, сука, по воздуху. Все. К бою!..

Вертолеты шли не с тыла. Двигатели гудели, потрескивая и подвывая, по-нашему, по-мивосьмому. Три единицы. У них есть наши вертопрахи. Ждем…

Ждем. Огонь придержать. Ждать… Один, ведущий, вертолет прошел прямо над ними. Можно было замочить с полплевка. Пропустили. Рядом с Володей упала какая-то тряпка. С воздуха? Три патрона АК-47 завернуты в тряпку. Вовка подполз. «Бнять, щас рванет», — подумал Юрка… Вова развернул увесистую тряпочку, ссыпав патрончики в ладонь — *вымпел андреевский.* Диагональный белый крест на голубом поле.

— Вовка, не вставай!!! Провокация!..

Но Вова встал во все свои 203 сантиметра, подняв вымпел над головой и вытянув руку так, будто делал блок перед баскетбольным кольцом, в котором застряло чужое, маленькое, как лимон, солнце. Вовка улыбался и искал глазами Ивана. — Наши!

Эвакуация группы — две минуты. Все три геликоптера строем пошли в сторону базы… В просторном отсеке МИ-8 ты видишь загорелую рожу офицера. Незнакомого. Но глаза — родные: Печерский! Уже майор, или кап-три! Здесь! В этом дерьме! С кем он? С ротой? С батальоном штурмовым МП? Да уж, вввстреччча!

Присели. Все — к машине. И всех пятерых — в штабной шатер. Доклад… Орлов? Молодцы. Потери огромные. Не ваша вина — и волосы на жопах не рвите. Не салаги. Все — к карте. Орлов, показывай. Здесь повстанцы. Здесь родезийцы. Здесь кубинцы. Здесь французы, легион,— в бои не вступают. Здесь кубинцы. Около двухсот. Лагерь. Вода в ржавых танках — видно с воздуха, с земли — невидимки. Здесь овраг. 44 холодных. Вышли на овраг случайно. Выполняли свою задачу. Три языка оставили в дружественном племени. В наручниках. Ноги переломали. Эвакуировать их надо прямо сейчас.— Покажешь где? — Так точно.— Так, вся группа (пятеро, да?) — в вертолет. И — за говорунами. Кто языки? — Два офицера и унтер-офицер. Один из белых. Один черный. Один повстанец.— Все. Ясно. Вперед — к борту. Идем немедля…

———

Ваня сидел на покоцанной седухе, покрытой то ли брезентом, то ли лысой искусственной кожей, в десантном отсеке вертолета. Сидел он хорошо — между Юрой и Вовкой, напротив сидели незнакомые МП и Сакен, раненого Дзинтарса (Ваську), снайпера, оставили на базе. В голове включилась музыка из «Красной палатки» — лучшая вещь Саши (так его Ваня называл в себе) Зацепина. Потом он понапишет много чего, и для Пугачёвой тоже — так: морковный кофе для советского обывателя, преимущественно для бабонек. Со слезой. С надрывчиком. В общем, фуфло. А вот треки из фильма «Красная палатка» (да еще в паре с Эннио Морриконе) — вещь. Прямо в нутро, в душу. В иллюминаторе-бойнице, внизу, текла пустынюшка, покрытая песчаной волной, как в море-океяне. Иван вздрогнул — точнее, содрогнулся, как от удара изнутри, внутри, в груди: на ум вдруг

пришли два стишка — вместе, парой, почти обнявшись, как две части жизни, — одна светлая, ясная, другая — смутная, мучительно призрачная и не от мира сего: сначала пушкинские нереиды.

Среди зеленых волн лобзающих Тавриду
На утренней заре я видел Нереиду
Сокрытый меж дерев едва я смел дохнуть
Над ясной влагою полубогини грудь
Младую белую как лебедь воздымала
И пену из власов струею выжимала…

Вот: жизнь — любовь — смерть (прекрасная, от любви, вожделения и красоты)… Потом, вдруг, ниоткуда (из госпиталя, где лечил контузию) — месяц спал с открытыми глазами и где была офигенная библиотека, и где в «Литучебе» нашлось это коротенькое стихотворение Мандельштама, Осипа Эмильевича, загадочного и невероятного, нездешнего, несоветского, неземного, ненебесного, но морского поэта.

Нередиды мои нереиды
Вам рыданья еда и питье
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое…

«Нереиды» — со строчной буковки, а? Звучит как «народы мои, вы народы…» Слезы — еда и питье поэту. Любому. Всякому. Каждому. И сострадание мое, наше, ваше обидно *вам*, потому что вы рождены и взращены *обидой*. Обидой неНептуна и неПосейдона: они — миф, призраки. Обидой воды, бьющейся в сушу, отражающейся в небе, в глазах Пушкина и Мандельштама, Юры, Володи, Сакена — в моих глазах. Воды, не могущей стать скалой, светом, песком, ветром. Воды, состоящей из слез — горько-соленых. И твоих тоже…

Плененных и оставленных в дружественном племени (три тысячи долларов США — за этот ихний, твою роту, постой) брали почти с боем. Не отдают — и все. Хоть тресни. Тогда Вова простучал азбуку боя — в воздух — из ПКТ, а этот инструмент работает так сильно и эффективно, что слова сваливают к экватору… Отдали.

Гордо улыбаясь. Хорошие ребята эти, живущие голышом. Им эта война на хрен не нужна…

В самолете, идущем на Мурманск, Ваня думал стихи вперемешку с горькой мыслишкой о том, что они, бойцы, не будут стоять с оружием и наградами под знаменем СФ и бригады МП — ни в Мурманске, ни в Североморске, ни в Москвище. Они будут стоять по одному ночью, на плацу, когда не спится, в тьме-тьмущей. Будут стоять и плакать. Будут выплакивать из себя Баренцево море — до донышка. А потом вернутся в кубрик и выпьют бутылку водки — до дна.

———

Человечество не хочет и не может разобраться в себе и с собой — поэтому воюет с тем, кто не против повоевать, с тем, кто послабее. Естественный отбор? Не знаешь. — Спроси у Клима. У Клима Самгина. Или у автора-родителя сего Клима, этого носителя ницшеанско-фрейдистских усищ. Усища огромны и вязки (в поцелуе), как водоросли… Ты второй день ходишь, спишь, стоишь, не понимая, что произошло: рабфаковский стройотряд разогнали, потом собрали и отправили уже как колхозную бригаду в Большой исток, городок-поселок на юго-востоке города, недалеко — километров двадцать. Журналисты и один филолог (Ваня) — отдельная бригада. Поселили в дырявом бараке, хуже и ветше дисбатовского. Через перегородку жила еще одна бригада: философы и один филолог (Шуня), с ним познакомились уже под конец всех работ, перед колхозным дембелем.

* * *

Уралниисхоз напоминал Шатры — своим промежуточным состоянием между городом и деревней, своими двухэтажными домиками, которые строились пленными немцами, своими ужасными дорогами внутри и окрест и своей единственной шоссейкой, проходившей через центр поселка, то бишь улицей, или улочкой, Ленина. Товарища Ленина. Было известно, что у Ленина была жена и две-три любовницы. А может, и четыре. А были у него друзья? Мужики? Здесь Лениниана молчит. Ленин дружил только с Карлом Марксом, то есть с книгой и книгами товарища Марксаэнгельса и все такое. Пятое-десятое. Журналисты приняли Ивана нормально, вполне

дружелюбно, но малость настороженно и даже опасливо: за Ваней маячило что-то темное и гибельное — война. Иван об этом — ни слова. Он решил все позабыть. И теперь, действительно, все медленно, с усилием Ивана, но верно — забывалось… Ваня чувствовал себя в поселке овощном, показательном и почти коммунистическом чужим — городским. Странно: в Шатрах он был деревенским, в Свердловске — тоже деревенским, в Мурманске и везде на Кольском — городским, в командировках, на иных континентах он понял впервые и по-настоящему, что он не советский, но русский… Так кто же вы, Ваня? — вопрошал он себя: деревня — город — Россия, или колхоз, совхоз, промышленный центр, СССР, РСФСР и прочее? Социально-географическая шизофрения ласкала душу, думающую принятые Бог весть откуда стихи. И ладно. И славно, как говаривала бабушка Наталья Григорьевна… Он вдруг подружился с Кулькиным Серёгой, журналюгой лет тридцати (о, рабфак!) из Новосибирска. Он был похож на Юрку Дмитриева — такой же богатырь, но пониже ростом. В забаве тягаться на ручках (локти на стол, сцепились клешнями — и поехали) Серёге не было равных. Но вдруг Ваня положил его на обе, поочередно. Особенно на левую, которая почти не пострадала в походах. Правая была ломанная-переломанная, а левая — уцелела. Тем паче левая у Вани была основной, базовой колотушкой (крюк, полукрюк), но он никогда не демонстрировал ее в деле: дал себе слово не применять никогда и нигде то, что умел. Не дай Боже!..

Иван часто думал о том, что он мог бы стать нехреновым убивцем, душегубом — где угодно: в шайках уралмашевских, в ментовке, в армии, кабы остался на сверхсрочную. Но… — спасибо правой ноге: это чистая комиссовка, списание тебя не с корабля, а с берега морского. Бог миловал и надоумил. Да и не был этот книгочей и стихолюб приспособлен к гражданской полуподпольной грязной жизни. Он был *слишком* добр и мягок в отношениях людских, человеческих, недочеловеческих и нечеловеческих.

В день приезда рабфаковской бригады (журфак и lonely philologist; остальные, философы и еще один lonely philologist, подъедут через три дня) ребята зашли в павильончик с названием «ПИВО», надо сказать, что ребят этих было ровно пятнадцать человек. Бригадир — Ваня. Вошли в этот пивной амбарчик, заказали по две кружки пива. Первую пили залпом. Выпили, выпучили

шары, онемели, окаменели: пиво было с дустом, видимо, для крепости, видимо, местным алкоголикам нравилось так — горлодерно, с вывихом кишок, с вязанием их морским узлом — в кишечный кулак. В общем, поносно. Вышли на волю. Обошли эту срань пластиковую цвета «ораньдьжь в попе». Зашли с фасада, наклонились. Ухватились клешнями за нижний край передней стенки. На счет три — подняли эту скорлупку и кинули ее, толкнули вперед так, чтобы кувыркнулась она на крышу односкатную. Открылась внутренняя картинка, так сказать атлас утробы пивнухи. Шесть ящиков «Жигулевского», бутилированного, плюс какое-то дерьмо самопальное в форме пирожков. Алекс Добжинский, бойкий, рыжий и ражий очеркист (настоящая фамилия Шортников — ну, шорты: слово новое, но вкусное, как бюстгалтер) вскрикнул, почти взвизгнул: «И с этим мы — в коммунизм?!» — и добавил грустно, но еще громче: «За пирожки с говном ответишь, кавказ!» Кавказец, хозяин гадюшника, улыбнулся: мол, парни, не бейте, а? Кинули ему по рублю за пиво и пошли по адресу к своему бараку — ветер дунет, ракушка пластиковая обратно встанет: жди северного ветра, гаденыш! Сиверко… Знать, будет нынче. Знатно будет…

Устроились в бараке на краю картофельного поля. Конец июля-начало августа: с голоду не помрем — картошка под боком, копать — ночью, кушать всегда. Есть. Жрать. Насыщаться. Молодость подружила всех моментально — в походно-выездных условиях она работала мощно, соединяя парней в бригаду. Просто — в бригаду, — и упраздняя — на корню — все предпосылки к раздорам, ссорам и разборкам. Молодость рассовечивает. Молодость берет все лучшее, что бывало в армии (а служили все до одного), на заводах-фабриках-работах. Молодость рассовечивает и рассвечивает зрение, расширяя его, но не углубляя: коллектив, какой он ни есть, вырабатывает хоровое, общее, слаженное существование, но и заражает опять же хоровыми эмоциями и ощущениями. В первый же ночной вечер в корявой комнате (шесть на четыре метра), в темноте, мигающей красными, оранжевыми и золотыми огоньками раскуренных сигарет, в тишине нового места вдруг Серёга Кулькин, симбирский амбал и любитель Пушкина и Есенина (знал и часто по пьянке и по просьбам друзей читал наизусть всего «Онегина» и всю «Анну Снегину»), вдруг и совсем неожиданно обратился к Ивану: мол, Ваня, расскажи о флоте, о Заполярье, о северном (полярном, что ли?)

сиянии. Иван отговорился как отрезал: служил, мол, в морской авиации, могу военный билет показать, а хромаю по дурости; и абсолютно серьезно добавил: две пули 7, 62 — по одной на каждую ногу. А че? — Бывает… А вот зато я офигенно стригу; думаю, настриг я вагона два волосни, ходили ко мне все (с базы), и офицеры захаживали — все ж экономия да и дружба с рядовым составом… Ты в первый же день дембеля решил так: дома, в Свердловске, в Шатрах и где угодно — ни слова об МП, дисбате, разведке и командировках (давал три подписки о неразглашении: две на двадцать пять и одну на тридцать лет). И вас, мол, буду стричь — машинка (механическая, ручная) с собой. Бокс, полубокс, под ноль, спортивная молодежная — любая. А стихи… Нет, не пишу. Я их думаю. Записываю редко. Да и дерьмо все это. Слабо. После Тютчева и Мандельштама (правда читал-то всего текстов с десяток, не более) — особенно. Однажды «черные носилки» и «солнце» случились у меня в стихах — еще до знакомства с Осипом Эмильевичем. Боюсь. Надо бы все прочитать. Все стихи всех поэтов, а?.. А то как в детстве выйдет: пишу (лет в 10–12 моих) «Горит костер рябины красной, и никого не может он согреть…» А потом через год читаю Есенина — и сжигаю в туалете, в тазике жестяном свои тетрадочки, блокнотики — все сжигаю… Такие дела… Пацаны, пока Иван говорил, позасыпали. Один Серёга не спит. Вышли на волю. Сели на гнилую завалинку. Закурили. Помолчали. И отправились назад — спать…

В тамбуре, или в сенях, барака Серёга остановил Ваню, положив тяжелую руку ему на плечо:

— Ты сидел?

— А что, заметно?

— Нет. Но я как-то почувствовал в тебе это.

— Да. Немного. Дисбат… Никому, ладно?

— Мог бы и не уточнять. Конечно. Универ — то, се… Я понимаю.

В комнате, где спали, воздух потяжелел. Серёга негромко заметил: — Воздух спернутый.

— Ага, пораспускали задницы…

— Слюшай, дарагой, ты када спиш, кантралируиш себя, да?

— Нэт, генацвале, сацибели, сокаури, нэт, дарагой, нэ кантралирую пока, да?..

Уснули они с улыбкой во рту, но не выпуская ее наружу, на губы: кто живал в казенных домах (армия, тюрьма, общага, дом колхозника

и колхозницы), — тот спит с лицом строгим, спокойным и мутным, как вода в аквариуме…

———

Отряд рабфаковский назвали (неофициально) «Кардиология»: умер-то студент-биолог от сердечного приступа, и все стройотряды в городе разогнали по колхозам — беречь сердечки свои в бараках, сарайках, кушать ворованную с поля картошку (о, картофан!), пить пахнущую резиной водку и пиво с дустом по райцентрам… Пока кардиологисты работали на овощах — огурцы (основное), помидоры (их было мало), а капусты и картошку еще не копали — рано: обычно это делали в сентябре. Сегодня и завтра случились выходные: какой-то местный праздник, который ребята почему-то назвали Праздником Утопления Карася. Особенно понятным смысл такого названия был для бывших срочников-дембелей: карась — это уже не салага, а боец, прослуживший целый (!) год из двух положенных. Почему — утопление? Где — утопление? Ну, с праздником все ясно: всесоюзная, всероссийская, областная, городская, районная и сельская пьянка. Всеобщая и беспощадная (как в День строителя: гуляют — все!).

Пацаны все уехали в Свердловск, глотнуть пыльного, дымного и тяжелого воздуха, источаемого всяческой промышленностью. Иван остался один. За старшего. Старший остался за старшего. Он сидел на койке в трусах и курил, «Приму», конечно, местную, но без дуста… Сидишь вот так — один-одинешенек — никому на хрен не нужный. Галя, Света, Оля и т. д. Думаешь о них (почти всегда), но сейчас почему-то не думается. И не воображается. И к рукоблудию не тянет. В общем, тоска. Тоскливо жить. Жить — это как? А умер — это как? А ни жив, ни мертв — это как? А умер — это где?.. Сидишь, пьешь спитой, третичной заварки, чай — и заблуждаешь себя в своих размышлениях. Тебе двадцать два. «Красивый, двадцатидвухлетний» — это он о себе. Маяковский — о себе. Нарциссизм. Пролетарский. Тупой и здоровый, как молодое государство наше. Стыдно. Итак, поэзия нужна всем? Поэзия нужна? Поэзия никому не нужна? Поэзия нужна Богу? Поэзия нужна девочкам? Поэзия просто есть. И она, «энта паезия» (как говорит Серёга), почему-то втянула тебя в себя… 6, 7, 8, 9, 10, 11 — как жить с ней? С поэзией? Как жить без нее?.. А умер — это где?.. Завтра вечером все вернутся, съедутся —

с подарками, едой и водкой… Вот — жизнь… Одиночество — лучше всего: оно порождает воображение, видения, сны вне сна, мечты вне мечты, желания вне желаний, жизнь вне жизни, любовь вне любви и смерть вне смерти. Без смерти… Красивый — двадцатидвухлетний. Урод. Кто? — я или Маяковский. Или оба?.. Невозможно быть всем и всеми и жить, как все и все. Почему? Для тебя это гибельно. Гибельно — одно и то же. Изо дня в день. Из души в душу. Но и поэзия — одна и одно и то же: жизньсмертьлюбовь… Конечно, проще так, как все: мочиловка в Мончегорске; дубаситься в Дубаях, в Дубровке; махаловка в Махачкале (убиенный Петя Яковенко из Махачкалы был, а погремуха у него была «М*а*хач»: он был огромен, в нем было пятьдесят кровей, но побеждали русская и кавказская; силач, но добряк изумительный и изумляющий; боец — один из лучших, особенно в рукопашке и в стрельбе по бронетехнике противника из РПГ-7; он всегда — в свободное от нас и себя время — читал одну и ту же книгу — Лермонтовского «Героя»); кулачный бой под Кулаковкой после Поля Куликова; ну и кое-что под Пизой, Пензой и Пинском… Скушно, господа офицеры… Скушно… Петя — одну книгу. И ты — одну другую иную жизнь — стихи… Не они в тебе. Они всюду. Это ты — в них. Все — ты кропал для этих огородников, танкостроителей, комсомольцев и камунисоф.

М*а*хач, Петя Яковенко, убитый миной в Лаосе, читал одну и ту же книгу. Можно было бы горько и глупо пошутить: герой читал «Героя…» Лермонтовского, но… Одну книгу читал… А ты думаешь одну книгу, всю свою недолгую жизнь. Думаешь стихи, как думают цемент, песок, кирпич и тес для постройки дома. Каждую деталь, каждый предметик думают. Каждая строка, любой продумываемый, вытаскиваемый из бездны тьмы текст, стишок — это часть книги… Кажется, так оно и есть…

Ребята приехали. Усталые. Уже не шумные и не безобразники. Алекс Добжинский, уроженец малого фабричного города с Южного Урала, игравший роль этакого полуиностранца, почти русского с почти польской фамилией, парня, битлолюба и дипперплзнатца, с почти акцентом почти явного англосаксонского происхождения,— «красавец» с хорошим деревенским финно-угорским лицом — стоял посередь колхозного общего жилища барачного типа и произносил монолог о роли марксистско-ленинской философии в современной жизни современной молодой молодежи. Он стоял,

широко поставив ноги, спиной к печной плите с ведром кипящей воды для картошки и яиц (куриных). Руки в карманах. Алекс притомился, замешкался, заплутал в липких и неприглядных водорослях шутливой идеологии. Он подпрыгнул. Выпятил грудь и сжал руки в карманах.

— Эй, шестипалый, скоко время? Двенадцать или полшестого? — Ваня спрашивал строго, но справедливо. — Алекс выдернул руки из карманов, как пару осотов из грядки — даже ладони вытер о штаны:

— А вы, досточтимый убийца Моби Диков, какого хрена не читаете Ленина? — все рассмеялись.

— Хочешь, Алекс, старую историю из детства Ильича. Нашего Ильича?

— Что-то новое, уникальное, суперлативное?

— Да нет, все знают историю. Но не до конца. Вот она. Надеюсь, здесь нет молчи-молчи?

— Молчи-молчи? Что за животное такое?

— На флоте так зовут особистов и политотдельцев. Надеюсь, нет.

— Среди нас нет ни чекистов, ни бандеровцев, ни смершевцев, ни лесных братьев. Здесь только братья по разуму. — Иван начал:

— Ну вот. Как-то Ленин, еще в детстве, в глубоко нереволюционном состоянии увидел дома, в гостиной, на столе широкую хрустальную, такую мещанскую вазу-блюдо со сливами, которые еще не пробовал. Ну, ему было четыре-пять. Берегли парнишку. Смотрит он — никого нет…

— И молчи-молчи нет?

— Ну да, ни-ко-го. Схватил он одну сливу, нет, прямо сливищу, жевнул ее пару раз и проглотил. Про косточку он не знал — и ничего не заметил, так сказать, не ощутил… Вечером пришел с работы папаша семейства Ульяновых. Расположился в гостиной. Просмотрел в газету. Все вздор. Сор и дрязг. Отбросил он газетенку. Встал. Подошел к столу. К вазе со сливами. Машинально пересчитал. О-о-о! Одной не хватало… За ужином папаша, когда все уселись вокруг стола (в центре — ваза со сливами), говорит, мол, что за фигня: кто-то одну сливу слопал. Я, мол, пересчитал — не хватает (щедрый был человек). Дети напряглись, ну там Саша, Маняша, Володя и т. д. А Вова-то, Ильич-то наш, вообще побледнел-посинел. Папаша продолжает: мол, в сливах есть косточки, и кто эту косточку, хоть

одну, проглотит, тот точно помрет, так как не выкакать ее — нельзя, невозможно… Тут Вова, наш Ильич будущий, раскололся — заплакал, заканючил, завыл… Его, конечно, успокоили… Но прошло много-много лет и сей эсдэк, большевик вдруг украл и сожрал сливу России. С косточкой. А косточку не высрал — и помер. Умег от запога мозга. И все, кто глотал Россию с косточкой,— подыхали: задница и головной мозг разрывались. У Троцкого, у Зиновьева, у Каменева, у Бухарчика (так его, любя, звал Ильич: «наш Бухарчик»), у товарища Сталина, у Хруща… Мораль сей басни такова: Зайчонок ложит хрен на Льва.

Все поржали. Повеселели. Чуток испугались. Посерьезнели. Серёга Кулькин встал, подбросил дровишек в печку:

— Пошли, ребята, картофан воровать… И сливы…

———

Ежедневно происходил ранний подъем. Пустой чай. Еды было мало или не было совсем. Денег пока не давали — за работу. Занимались «урожайцы» грузчицкой («грузины») работой: стаскивали ящики с огурцами и другими овощами от теплиц и с гряд, длинных, как взлетка для истребителей СУ (первых, стремительных, долетавших от Мурмана до Питера за семь минут); сдавали принесенное приемщице, которая сортировала — на глаз — прямо ящиками огурцы: это высший, это второй, это первый сорт, это нестандарт. Потом делались документы на все огурчики, которые оказывались почти все высшего сорта, но оформлялись как второй. Через пару недель Ивана назначили экспедитором: он с водителем зилка татарином Сашей возил овощи в Свердловск, где директоры магазинов продавали нестандарт как первый сорт, а остальные — как высший. Разница ценовая (с машины) была огромной — до двухсот-трехсот рублей). Этот «навар» делился на две части — одна магазину, другая экспедитору (но с деньгами «работал» татарин Саша, Иван делал вид, что ни фига не понимает, да и, прямо говоря, он не совсем понимал сей бизнес советский, он его недопонимал потому, что ему было плевать на это изобилие «капустных денег»).

От всех этих совхозно-колхозно-советских игр ему было тошно: ты занимаешься этой работой и знаешь, что все это в финансово-экономическом отношении — блеф. Воровали все. Рабы всегда воруют. И главные рабы, и самый главный — бровастый и вечно целующийся

со всеми подряд пьяненький и добренький дядька — воруют. И ты воруешь свою жизнь у себя. В тебе образовывается обрыв перед прорвой, и ты стоишь на краю бездны, но иной: грязной, темной и пьяной, — а твоя бездна — словесная — начинает тебя сторониться…

В конце рабочего дня Иван с водителем Сашей шли в светленький двухэтажный барачок, где в светелочке со спаленкой жил другой Саша — Дядя Саша, который принимал деньги, угощал водкой водителя и экспедитора, сам Дядя Саша выпивал солдатскую кружку водки и запивал горькую солдатской же кружкой молока. Младшие, Татарин и Иван, пили из стопочек, закусывали, курили (Дядя Саша не курил), но недолго: минут 20–30 — и прощались. Дядя Саша давал — всегда — 25 рублей Ване («для пацанов») и 40 рублей водителю. Остальное, около трехсот хрустов, прибирал в буфет, занимавший треть площади всей светелки…

Жить стало лучше. Жить стало веселее. (Как однажды выразился с доброй улыбкой Сталин — он еще не знал, в сливе, которую он сожрал, есть косточка, — косточка России, гибельная для всех, кто глотает эту сливищу целиком.) Две недели парни, рабфаковские-университетские, жили без копейки денег. А что, есть ее и другие копейки? Ну да: жизнь — копейка, судьба — индейка; или — наоборот. Деньги в эти две недели добывали Серёга и Ваня, используя способность Ивана не пьянеть и быстро выпивать — из горл*а* — без отрыва от сосуда поллитровку водки и сразу же запивать ее — тоже без отрыва от пузыря — бомбой чернил (хоть и «Краснодаром», убийственным «портвейном»), то бишь гадкого, гадостного и гадючего вина «плодово-выгодного». Мерзость… Серёга на задах сельпо собирал алкашей, бился с ними об заклад в рубль с носа, что вот этот чувак в тельняге в течение минуты выжрет без отрыва от стеклотары и махом пузырь водки и бомбу винного дерьма — и не упадет, но споет песенку «Как на кладбище Митрофановском» или битловскую «Мишел» на инглише. И уже после сольно-вокального выступления убредет спать в студенческий барак. От-так-от… Или сыграет на гитарке любую хрень на заказ — ритмом с элементами баса, ударных и соло на одной, двух и даже трех струнах щипковым манером — так, как это будет делать лет через 8–10 Марк Нопфлер из грядущего «Dire Straits», — это вам не козлячьи и щенячьи ВИА комсомольского разлива. Нет — «РАЗЛИА»…

Но: через две-три недели Дядя Саша начал подкармливать будущее отечественной журналистики и даже филологии. Через пару недель, когда водитель-татарин-саша крепко выпил у Дяди Саши, Ваня пошел провожать одного из участников преступного огуречного треста домой. По дороге к дому Татарина, которого пришлось полуобнять и страховать бедром — человеческую «коробку», попавшую в качку — штормило: где-то внутри водителя ходили мутные, зеленоватые, с песком морские валы баллов в шесть–семь,— водитель вдруг раскололся: он резко остановился, встал сразу на два якоря и заговорил:

— Вань… знаешь… ты поосторожнее… это… эт-то… блин… дядя саша… он — вор… ты… никому… убьет… убью… ни-ко-му…

— Саш, я уже пропер. Сначала думал, он — кассир. Ан нет — вор. Держит мазу… Все — я онемел и умер…

— Во! Молодец… Веди меня, веревочка, веди… Сколь веревочке не виться…

— Ага… Вот — пришли.

———

Огурцы шли густым тяжелым потоком, но Саша с Ваней управлялись. Уставали, но выматывались легко, по-молодому: часок поспишь — и в рейс, в Свердловск, с огурцами туда и с деньгами обратно. Через пару дней Дядя Саша, угощая татарина и этого городского водкой, колбасой и деньгами, вдруг подзабылся, чуток оторвался — и выпил не одну положенную «пайковую» кружку водки, а две с половиной. Он преобразился: финно-угорское лицо его, вся его белобрысость и спокойствие, уверенность в правом деле своем обострились. Он вдруг, помолчав (и эти оба, шныри, тоже молчали), рассмеялся.

— Сынки, знаете сколько я оттянул? Четвертак.

— Так много не дают,— удивился Ваня.

— Дают. Еще как дают. Было у меня десять дет за мешок малины, я ж колхозником был. А на зоне перед откидом прислали мне полупальто-москвичку с шалевым коричневым воротником типа цигейка. А пальтишко было красивое: черное с отливом, на меховой подкладке. Вот. Ну, блатота подкатила: сыграем на пальтишко? А откидываюсь я через тройку дней. Нет, говорю, мол, мамаша расстаралась. Не могу. Не буду. Припугнули меня — я их послал. (Кулаки Дяди

Саши, как у Кассиуса Клея, с бледными казанками, изящные, но, видимо, крепкие. Стальные.) Последняя ночь в колючих лопухах. Лег на свою шконку: под матрасцем — полупальто, а под подушкой топор. Под утро двое подошли, принюхались. Один достает напильник, другой с пикой. Я их обоих топором огладил. Одному башку снес…

Выпили еще по одной, Дядя Саша — пригубил и запил слова свои и глоток водки кружкой молока.

Дали плюс 15. Не расстреляли. Самооборона, но спланированное. Превышение жизни. Превышение смерти. Превышение воли… Так вот четвертак и выскочил.

— А короновали… — Татарин запнулся.

— А это уже я превысил себя — и со всей крестьянско-пролетарской ненавистью подмял лысого хомяка, а потом и хозяина: деньги — не честь, все сделают. Такая вот история… Превышение у нас по бухлу пошло. Пора стопориться.

Ваня подумал: «От слова "топор" — слезть с топора и дунуть на денюжки…»

———

Дядя Саша собрал на воле, здесь, в Уралниисхозе, большую, даже для города, библиотеку. Много читал: очки у него были зэковские, на веревочках — две лупы-залупы, шутил сам. Этот вор никогда не сквернословил. Ни разу не матюгнулся. Да и по фене не нес. Мужичок как мужичок. Правда, с превышением судьбы…

* * *

Колхоз — как ссылка — подходил к концу. Иван постоянно ощущал свою дикость, прежде всего социальную: Дядя Саша был ему симпатичнее, интереснее, чем Донатас Банионис. Иногда дикость выходила из него бурно. Дикость вообще не может уйти по-тихому, на цыпочках и с улыбкой идиота. Дикость выходит и проваливает вон — с пьянкой-гулянкой, с похмельным веселием и с постпохмельным ужасом, тоской… Иван неожиданно для себя стал жить (но — внешне, внешне, внешне), как ему казалось, на всю катушку. Он вспоминал — редко, крайне редко — армию: он запрещал себе думать о том, что было с ним и с ребятами в дисбате, в МП, в командировках, в госпиталях. Он понимал, что он живет неправильно:

все — с превышением. С превышением себя, с превышением воли своей. Он не ненавидел себя. Он себя не замечал. Себя — внешнего. Он мимо видел. Мимо видел все, но прежде всего себя. Ты мимо видишь себя, а не сквозь и насквозь, навылет. Ненавидеть и мимо видеть, точнее — мимовидеть, — это разные душевные процессы. Мимовидеть себя — значит жить по-иному: не внешней житухой, а внутренней мукой… Внутренним слухом, зрением и словом… Такое раздвоение твоего существа было болезненно, но необходимо, чтобы быть в этом обществе, чтобы думать музыку и стихи.

Май, июнь, июль, часть августа и конец апреля (еще дембельского) — это время пустоты, полного душевного обвала, провала, — прорва показалась: прорва жизни обыденной, мирной и пустоватой. Вся эта и такая жизнь держится только на эмоциях, чаще не человеческих, а животных: щенячьих, телячьих восторгах, воробьиных переполохах, голубиной нудности, занудности, ворчливости, собачьей активности — с голоду, с похоти, с водки, с хоровых мыслей и чувствований бытия, которое, не задерживаясь, переливалось из себя в себя, не касаясь так называемой коллективной жизни, толпяного существования, строевого энтузиазма и государственно-общественной лжи, в которую верили и не верили все и которую просто не замечали.

Внутренний мир Ивана дрогнул, пошатнулся, но устоял: он опять замкнулся (в себе), хотя внешне оставался прежним: у него отросла иссиня-черная борода, а волосы — русые — на голове выгорели до финно-угорской белесости. Теперь он — мысленно — сравнивал свой облик с портретом Печорина: светлые волосы и черная борода — признак породы (спасибо деду, его многострадальной родовой кровушке, которую пролили — всю — и власть, и террор красный, и войны, от гражданской до Великой). Кому это интересно? Только тебе. Ты становишься язычником, но Печориным — язычником любви, тоски, ума и захолодевшего сердца. Это язычество общественное, государственное (сколько в Политбюро ЦК КПСС членов-богов?), это язычество не этническое, но городское, урбанистическое, искусственное и бесполое. Не душевное язычество — но душевная дикость, чреватая пьянством, безобразием и уголовщиной. Печорин и душа. А где здесь государство, партия и правительство? Все смешалось в воздухе России, ставшей империей с погремухой СССР. Нет — с погонялом: от существительно-

го «гонения», а также гон, гоньба, гонки (соцсоревнования в труде на благо и т. д.), угон (целых народов Крыма, Кавказа и кулацких регионов России), прогон и прогонка (по-блатному — ложь, развод, брехня в личных целях, где личное — есть партия и страна).

Иван провалился в эту прорву лжи, игры, инсценирования, репетиций коммунизма в пространстве алкоголизма повального, тотального (водкой торговали уже чуть ли не во дворах городских многоэтажек: рюмочные, рюмочные, рюмочные, забегаловки, пивные, ларьки, киоски и гастрономчики, и магазинчики объемом в спичечный коробок).

Ты живешь, под собою не чуя страны… Сидишь задом в стакане, граненом и с водочкой, а в руке твоей — стакан, в котором отражается двести миллионов стаканов, наполненных живительной влагой. Живительное — заживляет, прислепляет и осчастливливает… Ты бежишь по белому песку Синайской пустыни. Что-то бьет тебя по ногам — сначала по левой (несильно), потом по правой — как стальным ломом, — и ты отрубаешься… Тебе не спится: через три дня возвращаемся в Свердловск, а через неделю начинаются занятия в универе, на филфаке. Страшновато? Да: а вдруг ты полный или частичный дурак, идиот, слабоумный, могущий только думать стихи…

Мне не спится нет огня
Всюду мрак и сон докучный
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня…

(Ходики настенные времен царя Гороха — уже достали, дотянулись до точки безумия в этом кучном, хоровом сне пятнадцати молодых мужиков, в этом скучном сне, эротическом и болезненно сладком — до горечи…)

Парки бабье лепетанье
Спящей ночи трепетанье
Жизни мышья беготня

(Мышей здесь слишком много; на Коле [Кольском] были крысы… Жизнь убегает от тебя, шумя окрест мышами…)

Что тревожишь ты меня
Что ты значишь скучный шепот
Укоризна или ропот
Мной утраченного дня
От меня чего ты хочешь
Ты зовешь или пророчишь
Я понять тебя хочу
Смысла я в тебе ищу…

Кучный — докучный — скучный поскребной шумок съедает этот смысл,— тот смысл, который снаружи, то бишь — жизнь, но тот смысл, который в тебе,— он уцелевает. Он ждет твоего ума и сердца. А душа — всегда готова…

Кроме двух мужских отрядов «колхозников», в этом поселке работали и девушки: филологини второго-третьего курсов. Среди них была одна особа, Вера Ванина. Фамилия этой милой девушки прямо указывала на Ивана: мол, носительница сего семейного, родового имени имеет явно выраженное отношение к Ване. К Ване Орлову. Влюбленность Ивана имела вторичный, чисто эмоциональный характер: судьбааа!.. Они встречались по вечерам, но не на танцах в Доме культуры, а в садике перед сельской школой, еще пустой, закрытой до начала сентября, а то и до середины-конца этого месяца, до конца уборки картофеля. Ваня и Вера часто и подолгу сидели в сумраке деревенском на скамеечке («как у Христа за пазухой») поворобьиному: что-то непрестанно говоря и рассказывая друг другу, изредка касаясь друг друга то плечами, то бедрами; Вера всегда немножко отодвигалась в сторону, а Ваня медленно, как шелкопряд, переползал — «шевеля помидорами» — опять поближе к ней, чтобы сидеть впритирку… Школа была единственным зданием в овощном поселке, которое было построено из белого кирпича. Два этажа, буквой «П», но с короткими ножками. Постройка новая, ставшая ориентиром и для местных, и для приезжих: «У ШКОЛЫ», за школой, около школы, от школы вторая улица в сторону Дома культуры (и «танцев», которые скоро превратятся в дискотеку, в позднее — в ночной клуб (уже в ельцинские времена)).

После долгих сидений (без поцелуев) на пришкольной скамейке, еще дольше — почти до света, до утра — стояли перед бараком, где жили студентки филфака. Однажды Вера вынула из сумочки

книжку, белую, в ламинате, блескучую, ладную, просящуюся в руки и в глаза: «Стихотворения» Арсения Тарковского. В имени и фамилии поэта журчало и курлыкало что-то нездешнее и одновременно исконное, родное.

Вера была недотрогой, а Ваня — перед этой милой и странной Ваниной — еще не превратился в слепца любовной романтики и грядущей (где-то далеко-далеко, не видать отсюда — только почувствовать) любви. Он еще не ослеп (он — уже немтырь!), чтобы любить касаниями, оглаживаниями и утыканием лица своего в плечо девушки-женщины, которая пахла еще девочкой, ребенком. Вера была скромницей. А Ваня не стал еще скоромником, срамником (как говаривала бабушка Наташа), напористым парнем, мужиком, преодолевающего наглость похотью, желанием и чего-то совсем уж взрослого-взрослого, почти пошлого и почти грязного… Ты полуобнимаешь не ее плечи, а воздух вокруг плеч, груди, рук. Гравитация желания сильна, но куда мощнее становится она — нереализованной физически. Сплошная, душная метафизика таких отношений, движений и разговоров, тихих и серьезных, мучила тебя (и — ее), но и наслаждала, наполняла межчеловеческое пространство не столько половым и откровенно банальным, почти пошлым, сколько делала это пространство безмерным, твоим, ее, но и не твоим и не ее, а еще чьим-то. Чьим?.. Ты, вы, оба — в беспамятстве… Хорошо и страшно забыть о себе и, опустившись на дно бездны, вдруг подняться к верхним пределам перенапряженной и начинающей уставать бесконечности.

О только бы привстать опомниться очнуться
И в самый трудный час благословить труды
Вспоившие луга вскормившие сады
В последний раз глотнуть и выгнуть блюдца
Листа ворсистого
Хрустальный мозг воды
Дай каплю мне одну моя трава земная
Дай клятву мне взамен принять в наследство речь
Гортанью разрастись и крови не беречь
Не помнить обо мне и мой словарь ломая
Свой пересохший рот моим огнем обжечь…

Вера дала на время книжку стихов Тарковского — оказалось: навсегда. Ваня выпросил ее. Выклянчил — молчанием, выпуклыми — от слез внутренних — глазами, похолодевшими от ужаса красоты пальцами и напавшей вдруг на него сутулостью и полуопущенной головой, повинной и склоненной перед красотой — за всю грязь этой жизни, людей, страны, мира. Тарковский вместе с книгой остался у Ивана навсегда. Так бывает: увидишь синицу на оконном кресте зимой — это навсегда; услышишь плач листвы осенью в саду деревенском за пять минут до первого снегопада — это навсегда; поймаешь далекую — высокую мелодию — только перышко музыки неслыханной кружит в голове, в груди, в крови — это навсегда…

———

Раннеосеннее солнце не слепило. В душе, в воображении Ивана, осень еще не наступила. Утром случились первые судороги заморозков. Не заморозков, а скорее, приморозков. Они сидели с Серёгой на завалинке, мягкой от гниения стародавних черных досок-плах (шестидесятка — 60 мм досочка была, а сейчас — исхудала от жизни своей открытой и неподвижной).

— «Кулькин» — это что за фамилия такая, Серёга, а?

— От деревни Кульки. Татарское слово…

Серёга влюбился тоже, но не в филологиню, а в рабфаковку-философичку, в девушку красивую, хрупкую, с большими глазами, такими большими и нараспашку, что им нечего было искать и высматривать — в них уже было все. То бишь глазам хватало глаз… Они курили и негромко переговаривались. Прямо перед ними, чуть левее, стояло сарайное чудовище многоочкового коллективного колхозного туалета, сортира, отхожего места на два входа — для «М» и «Ж». Ваня произнес свежее свое стихотворение, стишок, так сказать. Серёге нравилось все, что писал этот странный парень-мужик-юноша-старик: стихотворения были короткими, с многоточиями и многими частыми метафорами… В это время в туалете что-то зазвучало, забурлило, загазовало, забомбило. Парни переглянулись и чуть было не заржали, но Иван приложил палец к губам: мол, сохраняем тишину — посмотрим, кто там такой бомбометалель, задних дел гранитометчик и минобросатель… Шум и гул, взрывы и стоны в туалетном сарае продолжались. Парни ждали:

вот-вот появятся противник, вооруженный до ушей… Вдруг все смолкло. Через десять секунд (по часам: бой продолжался 11 минут 33 секунды — короткий, но жестокий с кинжальным огнем, с убитыми и ранеными) заскрипела дощатая серая дверь, хлопнула, отскочила и хлопнула еще раз, но уже тише. Все — конец звуковой атаки. Из-за серого строения полевой уборной показалась Серёгина любовь… Ваня вскочил и бросился в барак — отсмеиваться. Серёга взошел в общий колхозный барак медленно, осторожно, как после боя, с опущенными руками, лицом и глазами. Так умирает колхозная студенческая любовь. Хоп, бах-бах — и умерла…

———

Состояние духа и тела сегодня было странное, не угнетенное, но и не легкое, когда пух летит от уст Эола: Иван остался один — все уехали («дембель» колхозный) в Свердловск или по домам, в городки и села свои; Вера у автобуса даже всплакнула, глянула на Ваню — глазами всплеснула, как незримыми ладошками ангела, вошла в узкие двери транспортного средства, нашла место, села и смотрела вроде бы на Ивана, но и одновременно мимо, так смотрят и такой взгляд бывает у слепых и контуженных в бою ребят, находящихся то ли в боксерском состоянии грогги (нокдаун на ногах), то ли в состоянии предокосевания, — не поймешь, косой перед тобой человек или одноглазый (хорошо тому живется, у кого стеклянный глаз: он не плачет и не бьется, и сверкает, как алмаз). Иван шел, не касаясь земли, и дышал так, словно здесь не было воздуха. Он стал воздухом и землей…

Ваня зашел к Дяде Саше попрощаться. Тот принял его, провел в дом, но не в кухоньку-гостиночку, а в свою комнату, в которой стояла узкая солдатская койка (на панцирной основе и на железных ногах с колесиками), небольшой самодельный столик для письма и чтения, на котором лежала толстая, «общая», ученическая тетрадь, два выпуска журнала «Уральский следопыт» и книга Гоголя «Мертвые души», также — что сразу бросилось в Ванины глаза — по трем стенам стояло три книжных шкафа, огромных, старинных и застекленных, из породистого дерева, проморенного коричнево-моренной кислотой. Ваня молча ахнул: две тысячи книг! Книги стояли в два-три ряда, а еще и лежали на ковриках между столами — в стопках, — новые книги, еще не читанные. Дядя Саша

в стоячем положении (а ведь он всегда сидел, когда Ваня приносил ему деньги с Татарином) оказался ростом с сидячую собаку. Но! — Ростом-то невеликим, но Пушкинским!.. Дядя Саша хлопнул Ваню по плечу. Налил водки. Они молча выпили. Дядя Саша начал разговор, оказавшийся коротким:

— Нарушу порядок, поступлю не по понятиям: сколько сидел?

— В чистую — полгода… ну, семь месяцев… в дисбате… в грязную — три года…

— Где пачкался?

— На войнушках.

— Морпех?

— Ага.

— Вьетнам видел?

— Да. Был.

— Напалм?

— Да… Это просто красный фосфор. Он и у нас есть…

— Ваня… Иван, ты ведь знаешь, кто ты?

— Знаю.

— Это правильно. Не виляй в сторону. По колхозам не шустри. Учись в университете. Закончи — и пиши в открытую. Как в очко. Знаешь?

— Да. Проигравший ползет из окопа за водой…

— Где?

— Да везде. И в Африке. И в Аравии. И в Индокитае.

— Понятно. Знаешь? —

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий
Я пил степную синь
И суп варил из мидий

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло
И потому лады
Поют как Мариула

И потому семья
У нас не без урода
И хороша моя
Дунайская свобода

Где грел он в холода
Лепешку на ладони
Там южная звезда
Стоит на небосклоне…

— Тарковский… Вьюгу на латынь переводил Овидий… Как смерть переводил на русский… как волю на мечту переводил…

— Да. Волю — на мечту. Сначала мечту — на волю. Мечту на снег и на рывок. Всю жизнь свою — на волю. Судьбу. Да. Судьбу.

— А-а-а… — Дядя Саша оборвал фразу Ивана: — Иди. Ты из всех нас самый свободный…

———

Ваня шел, не чуя ни земли, ни воздуха. Он шел по воле, по боли… Ты должен быть крупнее себя. Крупнее этой жизни…

С утра я тебя дожидался с утра
Они догадались что ты не придешь
Ты помнишь какая погода была
Как в праздник и я выходил без пальто
Сегодня пришла и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день
И дождь и особенно поздний час
И капли бегут по холодным ветвям
Ни словом унять ни платком утереть

Ни судьбой утереть… Иван ехал на автобусе домой… Быть крупнее судьбы.

VI. Думающий стихи

Человек, думающий стихи, несчастен (или счастлив?) трижды: во-первых, он не умеет жить, как все — обыватели, граждане, политики и прочие господа-товарищи,— он не владеет приемами и правилами социального поведения, которое держится всегда на лжи, на игре, на коллективности, имеющей искусственное происхождение; поведение и образ жизни думающего стихи зависят от мучительных и счастливых, а иногда убийственных процессов появления текста; во-вторых, думающий стихи чувствует, ощущает и недопонимает жизнь, смерть и любовь по-своему, не так, как это происходит с другими, иными, нормальными: они воспринимают словесность — художественную, «изящную» и поэтическую как некую необязательную для пропитания игру, как баловство; может быть, думание стихов — это и есть баловство: Бог тебя бал*ует*; ты — думающий стихи — мыслишь не так, видишь не так, слышишь не то, осязаешь, обоняешь и пробуешь на вкус все-все-все не так, как иные, коих большинство; ты осознаешь свою ущербность еще в раннем детстве (3–5 лет), ты побаиваешься этого твоего прекрасного уродства, но ты и гордишься им — тайно; тебе больновато, больно и невыносимо больно знать, что ты никогда не будешь любим (*она* нигде, никогда и ни при каких условиях не разберется и не осознает, кого она любит — человека или думателя стихов), что ты никогда не будешь иметь сто друзей, сто рублей и сто любовниц (Есенин поэтом не был: он был неграмотным в небесном отношении и абсолютно слепо-глухим стихописателем, который своей писаниной угодил огромной массе населения, которая, по словам Осипа Эмильевича, оставалась, остается и останется чудовищно невежественной в сфере поэзии: жратва, чины, деньги, тщеславие, амбиции и похоть не дает этой массе образовываться и хотя бы изредка заглядывать в бездну культуры); в-третьих, все слушают, а ты —

слышишь, все смотрят, а ты — видишь, все «понимают», а ты — предощущаешь и прошлое, и настоящее, и будущее; все — говорят, а ты — поешь, — поешь музыкой, музыкой языка, музыкой разума, музыкой чувств, музыкой души; все спешат — а ты сидишь ночью на балконе, в деревне — на траве, тюрьме на шконке, на войне в окопе, в вертолете, на корабле, в плену, в бою, в университете с открытой книгой на коленях, даже в туалет, в ванную, в трамвай ты идешь с томиком стихов; в кафе, за праздничным столом, на похоронах — везде и в любой ситуации и всегда ты думаешь стихи: и свои, и своих братьев, живых и мертвых, думающих стихи вместе с тобой…

Хронотопические, временны*е* и пространственные полосы озарений — умственных, душевных, вообразительных, глубинно-высоких, низменных и грязных, прекрасных и болезненно красивых, — этаж за этажом, уровень за уровнем, сквозняк за сквозняком, то светом, то темнотой меняли тебя: ты, проходя сквозь озарения, становился другим — более безумным, более чужим окружающим тебя, более умным и нездешним.

Ты немтырь. От рождения. От жизни. От нежелания говорить с теми, кто не слышит. От презрения говорить на чужом тебе языке. От страха быть не осмеянным, а убитым презрением общества. У общества женское презрение. Общество и обижается на тебя, немтыря, по-женски, зло, мстительно, издевательски, грязно, мелко и тупо, как деревенский баран с огромными яйцами… Ты немтырь. Ты сейчас, в свои двадцать два, немтырь потому, что тебе нечего сказать обществу, государству, набитому тупыми алкашами, ворами, чиновниками — все равно не поймут: покрутят пальцами у виска и пойдут домой к телевизору — жрать и пердеть на балконе, кто громче… Суки. Сколько ребят погибло за вас, для вас, для вашего существования… Ты заика, многодум, полный рассеянец (таких, как Ваня вообще на этот свет лучше не пускать — пусть живет там, где был до рождения своего), — ты мальчик, маленький мальчик, который плачет по ночам, вспоминая казака-инженера и «еш канфеты в шкафу… мама Джеку адала деденьке на Красный…», поминая ребят и в Египте, и в Анголе, и Индокитае (особенно в Камбодже и во Вьетнаме; ты помнишь Ахмеда, вытащившего тебя из-под огня с простреленными ногами и беспамятного, как ихний белый тяжелый песок). Ты молчишь. Ты плачешь в себя и молчишь. Твое молчание — слышит. Оно слышит все. И земля отвечает ему: ты

становишься землей, земля становится тобой, и вы не чувствуете друг друга. Вы молчите. Молчать — значит говорить. Ты пытался быть частью неба — осознанно: ты начинал ощущать его, чувствовать и иметь, как свою руку, голову, лицо и глаза. И ты стал частью неба — но превратился в полного и безнадежного немтыря…

Когда мы смотрим на пространство — любое — мы не видим ничего, кроме движения, предметов, цвета, ландшафта… Но если ты зряч по-настоящему, по-немтырски, если ты истинно зряч, — ты видишь, что воздух и все окрест состоит из узелков. Если один из них, как почка или крохотный бутон, соцветие, раскроется, — ты видишь не цветок и не соцветие и не ветвь лиственную, — ты видишь сквозь время нечто большее, — ты имеешь дело с вечностью, которая есть и в тебе, и в твоей руке, и в вечности есть ты — целиком и навсегда. Вечность везде. Время — нигде. Жизнь и смерть защищены любовью. Потому что возможность видеть, зрение — это любовь. Зрение — это любовь. Слух — это душа. Это дух. Истинное зрение и слух — это любовь. А мы… Мы живем, под собою не чуя земли, планеты, мира… Мы ничего не знаем о мире и не хотим знать. Мы знаем только войну. Мы живем для себя, для войны, для смерти. Смерть и война. Живем для себя, а не для Духа Общего…

Иван жил одновременно прошлым, настоящим и будущим: прошлое, нечто смутное и темное, забиралось и клубилось в настоящем и будущем; настоящего не было — оно было перенаполнено прошлым и будущим; будущее думалось, слышалось и виделось стихами. Семья становилась если не чужой, то почти незнакомой: мать (Катя!) постарела так, словно пережила с Иваном все, что происходило с ним в последние три года; Андрей учился в выпускном классе, умело используя память о старшем брате, которая еще жила в школе, изгонявшей из себя Ваню, «декабриста», заику, спортсмена, книгочея и местного авторитетного пацана; Петя часто болел — мать устраивала его на вылежку в свою четырнадцатую больничку; Петя совсем исхудал и стал похож на сталинского зэка, оттянувшего четвертак и получившего ДП плюс «минус 100». Иван виделся с Петром, часто навещая его в стационаре, но осенью перевез его в Шатры, где встречался с ним чаще, чем дома и в лекарне.

Отчуждение немтыря — дело обычное и двустороннее: люди тебя не сторонятся, но и побаиваются, не принимают, так сказать, в объятия; да и ты — внешне — со всеми свой, но — внутренне —

чужой. Чужой себе, чужой другим и свой своим (всем) стихами. Думание стихов, писание, сочинительство, уныние, разочарования, радость (редкая), горе (постоянное), счастье (неизбывное, ровное и могучее: счастье — быть на этом свете) — все это зависимости. Жизнь тоже зависимость. Как алкоголь и наркота. Но зависимость жизнеродная, всесильная и огромная, как Петя на инвалидной коляске в узкой прихожей хрущёвки.

Ямбическая сила в кубических сантиметрах! — Люди тебя не видят — ты прозрачен. Человеки вообще не воспринимают никак нечто неизвестное, пугающее, бесконечное и безмерное. Поэт? Стихотворец, поэт, литератор, писатель, писатель всего на свете (убогая советская литература!). Ты говоришь, что Сотников и Рыбак Василя Быкова карикатурны. Но! С Сотниковыми мы сдали бы Москву и все на свете. Воевали и выбили немцев из России Рыбаки. И тебя опять не видят. Не понимают. Не хотят понимать… Тебя и полеты в космос не удивили и не привели в восторг: ты там, в тех местах, недоступных взору и слуху, уже давно обитаешь — время от времени, когда Пространство отодвинет Время или поглотит его — и позволит, разрешит быть частью себя… Ты думаешь стихи ежесекундно. Твой разум давно полифункционален: он может работать одновременно в разные стороны. Ты записываешь стихи ежедневно (по 5–10 текстов). Это безумие. Ты уже перешагнул порог вдохновения, просветления и усталости навсегда. Такое обильное и частое записывание стихов — это некий внутренний, душевный, изнурительный спорт («спортивное стиходумание и стихосложение»). Но! — стихи постепенно преобразовывают, меняют тебя, и ты — вдруг! — начинаешь ощущать себя не стихотворцем, не поэтом, но поэзией. Самой поэзией. Ты не носишь звание поэта. Социальный чин социалистической литературы. Ты становишься представителем (или представителем, воплощением etc) поэзии. Представитель Поэзии… Одним словом, ты или поэзия в человеческом воплощении, или социальная роль (общественная, публичная etc) «паета», «паете-песиника», «паета народного», то бишь паета масс рабоче-крестьянских и прочих. Паета монетарного, планетарного, как хвутуристы и остальные выкаблучиватели стишков. Социальные роли литературы и литераторов устраняют чудо, божество и само вещество поэзии, гармонии, человечности и антропологичности в космическом объеме. Прагматика, монеты, денюжки, а еще и почет

с орденами и звездами героев соцтруда, крепкий достаток и пролетарская, быдловская наглость всех этих евтушенкорождественскихвознесенских и прочих козловых. У них там, на Западе, Энди Уорхол, скотина бездарная, а у нас тут, на Востоке, советские классики советской литературы, советской поэзии… Была ли советская поэзия вообще? Была! — советская, но поэзии не было. Окромя Мандельшама, Заболоцкого, Тарковского и тех, кто помельче и помоложе. Журналиста Достоевского вдруг разрешили и прочитали, и не заметили, что не-художник он, а криминальный репортер, беллетрист — ну, чистый француз!..

Социальная, общественная, государственная, коллективная ортодоксальность («устойчивость» власти) опирается всегда на голодность масс, на моду, на тренды, бренды, на тренди-бренди балалайка-растопузая хозяйка. Стадионы они собирали. Голод на стишки? Нет — голод на хоровые эмоции (как в опере или на футболе)… Бедные люди. Белые ночи. Братья Черномазовы. Филология рухнула без литературы. И вряд ли поднимается в двадцать первом веке — эпохе роботов, средств связи и пустой информации, то бишь неинформации, или информации пробелов, провалов, прорв и лакун. Останется кожура. Изнутри эта нарядная, социалистическая и капиталистическая культура иссохнет и — вся — преобразится в кинематограф, в шоу, в пляски голышом и проч…

Ты сидишь на лекциях с твердым лицом и тяжелыми глазами, тянущими тебя к столешнице парты университетской, измызганной, изрезанной и расписанной, как уголовники с семью ходками. Твоя светлая голова и черная борода, особенно большая раскольничья борода пугают партком, тетенек, читающих политэкономию, диамат, истмат и основы научного коммунизма. Сокурсники, однако, жалеют тебя, чувствуя в тебе горемычного думателя стихов. Все знают, что ты — поэт. Но ты этого не знаешь. И знать не хочешь… Но ты знаешь другое: счастье есть — всюду. И его одновременно нет. Нет потому, что мы не умеем и не можем почувствовать его таким, какое оно есть. Ты понимаешь, что дело здесь не в удовольствиях и наслаждениях: счастье всегда горчит, и горечь счастья усиливает духовное наслаждение и страдание счастьем. Счастье, как ты думаешь, — это бытие, инобытие и интербытие (связь бытия и не-бытия) в синтезе, в единстве, в невероятно могучей силе этого союза, слияния трех состояний бытия… Идиллия? На высоте

духовной, мыслительной, художественной, поэтической жизни нет ничего темного. Но и светлое причиняет тебе страдание: муку — не понимать, а только ощущать силу и красоту жизни. Жизни — не общественной, а естественной, человеческой, природной.

Молодость идеалистична, романтична и глуповата. Молодость думает, что любит, слушает и понимает музыку. Но это не так (чаще всего): просто музыка — ритмически, тонально, мелодически и кодой своей (чем проще — тем доступнее) — совпадает с бурлением процессов роста и развития организма. Наверное, трудно, не будучи меломаном и предстателем поэзии, слушать до глубокой старости Led Zeppelin или Марчелло (Алесандро), тоскуя по тому, что еще (и уже никогда не будет) не исполнено давно умершими музыкантами.

К концу двадцатого века состоялся губительный для культуры и внутреннего мира человека союз маркетологов, политиков и финансистов. Наука и художественная словесность начали превращаться в бизнес (и в СССР тоже — к восьмидесятым годам: ВИА, группы, танцевалочки, подпевка и подтанцовка и проч.).

Иван сидел на лекции, или «на паре» (пара часов в любом занятии по 45 мин каждая с пятиминутным перерывчиком и пятнадцатиминутным — между парами). Тянулась лекция по истории КПСС. Ваня на спор с девчонками и Саней Сидельниковым, тоже рабфаковцем, обещал просидеть 45 минут под партой. Он уронил — негромко — на пол учебник, весом в полтора килограмма, нагнулся за ним, затем сполз с сиденья, потом сел на пол, достал из кармана тоненькую книжку стихотворений Давида Самойлова и… вдруг почувствовал, что голоден, как ангельская гиена: терпеть не могу голодать! Ты неожиданно как бы придремал — и попал туда, куда никогда не хотел возвращаться. И вот вы сидите вшестером в окружении. «В алюминиевых трусах ломом подпоясатый», ты понимаешь, что дело — швах: фланговый отвлекающий — с горки — удар не удался, они напоролись на засадный ПКТ негроидов-голландцев-англичан-кубинцев-французов — хрен разберешь. Легли треугольником, за камешки огромные: треугольник капраза Арефьева работал — три точки огня, две со снайперами Матисом Луйком и Дзинтарсом Вашилишунцом (с Ванаймой и Васькой, «ванайма» по-эстонски «бабушка», «васька» по-русски «котяра», то бишь с бабушкой и ее котиком), третья с пулеметом (Сакен и Юрка), со снайперами прилегли Володя Сима-Симак и Ваня. Снайперы хреначили часто

и результативно (боезапас, слава Богу, был приличный), Сакен Абылхапов с пулеметом (тоже ПКТ с четырьмя цинками — не зря тащили эти патронищи «антислон») был богом каракалпакским — бил короткими прямо по арбузам без зеленых полосок. Хотелось жить… Плеханов, Георгий Валентинович, старейший теоретик социал-демократии, сразу заметил молодого революционера, прямо в Лондоне и заметил (или в Швейцарии? — нужно уточнить), прямо-таки и подружился с почти юным Владимиром Ильичом… Матиса ранили. В левый бок. По касательной. Два-три ребра сломаны. Ваня натянул на снайпера (только не ори!) корсет из тонкого спецброника, затянул его — аж рукам стало больно. Матис молчал… Потом прошептал «С-с-сука» и «Я тебя сейччас в глаз пристукну разрывной…» «Империализм и эмпириокритицизм» великая книга. Георгий Валентинович, кстати, будущий меньшевик и в революционных делах белоручка, одобрил этот капитальный ленинский труд… Ваня по цепочке (шесть звеньев-то всего!) передал: «Делаем восьмерки». Треугольник, со строгими секторами обстрела, вытянули к двум вершинам его и перекрутили, изобразив восьмерку. Знак, так сказать, бесконечности. Бесконечности стрельбы и жизни здесь, сейчас, когда «здесь» удваивалась в две петли, и два сектора обстрела накладывались друг на друга, тогда как свободная двойка бойцов ушла. В обход и в тыл этой долбаной ораве, которая, видимо, пересралась или патроны у них по счету: тоже ведь кочевники. Сакен и Юра Дмитриев ударили вовремя: Володя приготовил гранатомет к стрельбе и ахнул первой осколочной… Ваня — по цепочке «Опять треугольник». Одна вершина его уже чистая: там Сакен, Юрка и ПКТ. Чернолицие рванули в ложок, в ямку… Однако Зиновьев и Каменев явно слиберальничали, и Ленин поставил их на место (возле параши, что ли?) — вывел из состава группы СД, исполнявшей роль ЦК… Совместили секторы огня (если смотреть с вертолета). Огонь — огонь — огонь. Все…

Из офицеров хорошо и основательно (до нуля противника) воевали только бывшие фронтовики, битые немцами и бившие немцев. Без них Р-Д-Ч да, собственно, и вся армия развалились бы к чеморовой, к черноморской матери. Все спецчасти, особенно разведка, диверсионные подразделения и группы чистильщиков верили только тем, кто грохнул Германию с Берлином. Без Арефьевых нам было бы тяжко. Тяжко — как без земли или как под землей…

Иван в конце концов уснул под партой. Выиграл пари (1 бут. водки), но проиграл зачет по истории КПСС… Ну, чта паделаишь — еш канфеты в шкафу.

Ты выходишь из аудитории последним, и преподаватель останавливает тебя, смотрит долго в глаза и спрашивает:

— Что с вами, Иван? Приболели? — профессор Ефимов, мужик добрый, он читает ихнюю историю КПСС как не свое, но мягко и негромко. Часто шутит. Он скоро умрет. Его убьет вранье. Ложь. Неправда, которая стала многоэтажной — крыши не видно, а в подвал не пробраться — охраняют молчи-молчи.

— Да, Михаил Ефимович, как-то подустал…

— Работаете?

— Да. Думаю.

— Думаете?!

— Именно так, Михаил Ефимович: ду-ма-ю.

— О чем же, позвольте полюбопытствовать.

— Не о чем, Михаил Ефимович, а *что.*

— О, тогда понятно… Вы, Ваня, на зачет приходите. Все будет хорошо…

Иван вышел в коридор философского факультета. Его дожидался Саша с вопросом:

— Пива?

— Отнюдь.

— Винца, бормотушки?

— Отнюдь.

— Водки?

— Весьма!.. — И они поспешили в ЦГ (в центральный гастроном), который располагался как раз через дорогу, упираясь в здание Оперного театра и почти касаясь «Спорттоваров», универа и Яшки-памятника Свердлову, который вечно отвечал на вопрос С. М. Кирова: проспект Ленина был длинен, но вполне обозрим, здание УПИ завершало эту авенью памятником Кирову, который, огромный и чужой, протянул руку к Яшке, спрашивая: — Яков Михалыч, спросите у Владимира Ильича (памятник, стоявший в конце проспекта, а Яшка торчал как раз посередке), есть ли водка на Томачёва («монополька», еще с царских времен, торговавшая водярой), Яшка тоже вытягивал, тянул свою короткую еврейскую длань к Ленину и вопрошал: — Владимир Ильич, а не подскажете ли, любезный,

есть ли водочка на Толмачёва? — Ленин стоял лицом к югу, то бишь бортом к проспекту, одну руку он вытянул вперед, в сторону улицы Вайнера, а другую согнул в локте, другой, левой рукой, он держал кепку мраморную, огромную, страшную и загаженную голубями; Ленин оттопыривая большой палец левой ладони с кепкой, отвечал: — На Толмачёва нет — пройдите на Вайнера, — четко указывая короткой, но толстой ручкой (правой) на Вайнеровский гастроном.

Уже в ЦГ ты вдруг замер, опешил, окаменел: а где же это было? *Это* было? Лаос? — нет, негры. Негры — может быть, американосы? Нет. Они бы сдриснули. Трусы. Жирные и лоснящиеся воины. Камбоджа? — Нет. Ангола? — Нет. Вьетнам? Вьетнам? Вьетнам?..

— Вань, гони монету!..

Пили на любимом месте, на взгорке, или на валу, который поддерживал зоопарк, чтоб не побежал со всем зверьем в город. Выпили одну — вошли на территорию зоопарка по билетам, — и направились к Волку. К его вольеру. К Лобану. К Богу Волков. Это был огромный зверь, не сдряхлевший и не запаршивевший в неволе. Он уже знал и Шуру, и Ваню: вышел из каменной норы и лег на травку — смотреть, как ребята, его в общем-то друганы, будут пить вторую водку (а была еще и третья). Ваня осмотрелся и перебросил через сетку увесистый кус ветчинной колбасы — останкинской, которую знакомая продавщица, симпатизировавшая Ване, всегда передавала Ване почти тайком, в упаковке серобумажной, а то и коричневой, что ли? — не разобрать…

Волк-Лобан был знатный и славный, могучий и очень мягко настороженный. Но этих парней он уже знал, поэтому колбасу развернул, распечатал и быстро, но изящно, без чавканья и рыка съел. Он сидел в своем загончике один. «Что он делает? Чем занимается в этой одиночке? — думал Иван, — Что он читает, наконец? — Он читает свою память, свою свободу, свою юность и молодость. Он читает свое оголенное бедой и неволей сознание. Как, собственно говоря, и Ваня, этот молодой мужик, с виду веселый, а в сущности своей — убитый, гибнущий в этом сером и вечно грязном городе. Когда тебе совсем плохо и ты умираешь (мысленно и наяву), но не спишь, не даешь себе уснуть — боишься проспать свою смерть, — в тебе работают сразу два маятника, тяжелых, ядроподобных, повисших на нервах твоих, жилах и артериях: один раскачивает тебя из стороны в сторону, по всем сторонам и по кругу; другой бросает тебя снизу вверх и сверху вниз;

все это происходит непрерывно, поочередно. Движения маятников выписывают объемный воздушный крест. Донесешь его до утра — выживешь. Донесешь его до границы переплетающихся амплитуд маятников — выживешь. Контузия (две), тяжелое ранение (проникающее) ног, десятки средней тяжести и легких ранений (от ножа уралмашевского до осколков мины), а позднее сердечные приступы — все это ускоряет движение, раскачивание и кружение маятников.

Ты сидишь с Сашей у волка, как у костра. Ты в гостях у волка. Ты в гостях у костра. Ты бо́льшую часть жизни просидел у костра — рыбачьего, бродяжного, тюремного и фронтового. Ты крутишь в башке дурацкие межеумные междометия «ништяк», «чирик-ху.к», «простяк», «голяк», «пястяк» (от «пустоты», от «пустого»), от неналичия денег, книг, любви, дружбы, идиотских хоровых эмоций и проч. В тебе обнялись, крепче двух друзей, родовые призраки дворян, крестьян, казаков и арестантов, расстрелянных сразу же после революции семнадцатого года. Они валяют тебя — внутреннего — как ваньку-встаньку, как коробок спичек, как гранату Ф-1, как яблоко, которого нет…

Они бросают хлебные крошки голубям. Голубям не подневольным, но добровольным узникам. Какого хрена они живут в зоопарке? Свобода — окрест. Голубь — птица бо́льшенькая и непростая: есть в ней что-то, как во врановых, что-то роковое, гибельное. Сизари-и-и-и…

Семь голубей семь дней недели
Склевали корм и улетели
На смену этим голубям
Другие прилетают к нам
Живем считаем по семерке
В последней стае только пять
И наши старые задворки
На небо жалко променять
Тут наши сизари воркуют
По кругу ходят и жалкуют
Асфальт крупитчатый клюют
И на поминках дождик пьют.

— Водку пьют… Почему Тарковский? А не Есенин? «Москва кабацкая», а?

— Потому, что голуби на моих поминках пьют не водку, а дождевую водичку. Прямо с неба: оно — в луже.

———

Уходили от волка молча. С твердыми лицами. И водочное жжение в груди смешалось с холодом предчувствия чего-то большого и нехорошего, что надвигалось сразу с двух сторон — вертикальных: снизу, из земли, оглохшей и ослепшей под асфальтом, и сверху, с неба, становившегося иным, уже почти осенним, затвердевшим и с остановившемся взглядом кого-то или чего-то — сюда в этот тесный воздух городской, в город, который пустел, как бутылка из-под молока, когда жидкость молочная иссякла, а стекло бутылочное все удерживает и удерживает пленку пустоты. Надвигалась — отовсюду — осенняя пустота, пока еще густая, но уже остывшая, как кончики затекших пальцев…

— Борьба с умом?

— Нет, Саша, борьба сумо. Японская: одно толстое выталкивает другое из круга толстых в простор худых.

— Мы — худые?

— Мы — иные. Немтыри. Жрем водку. Плачем волка. Волк тоже оплакивает нас. Мы наплакиваем то, что будем скоро оплакивать.

— Время?

— Ну да. Советское время. 1977. Скоро все произойдет.

— Революция?

— Нет. Хуже.

— Бунт?

— Еще хуже. — Бардак. Наш русский бардак, в котором всем придет пиндец.

— Полный?

— Нет, полнее полного: обыватель возьмется за себя — будет обывать этот мир. Тотальное воровство и вранье станут реальной войной. Тихогражданской войной. Разорят и распродадут заводы. Все малые поселки и городки «рабочего типа» погибнут. На улицах будут лежать замерзшие и захлебнувшиеся сивушной рвотой. Людей будут выбрасывать из хрущёвок, их вывезут из леса — Шувакишские, Пышминские, Берёзовские, Полевские, Сысертские — и закопают живьем…

— Вань!.. Успокойся, а? Не пророчь хе.ню.

— Саш, она, хе.ня, уже здесь. Обкомовцы продали весь скот — перевыполнили план. Кириленко уже в Москве. Скоро на его обкомовский унитаз сядет огромный тупой дядька-алкоголик. Он будет или строитель (шишка), или промышленник (тоже шышак), в общем инженеришка, прорабушко-недоучка. И нам всем придет пиндудец.

— Все, Вань, хорош. Завязывай. Давай лучше своего Тарковского бормотни.

Иван, читая стихи, не заикался. Голос его шел, появлялся откуда-то сначала из груди (грудной голос, как у Кати), а потом из земли и — глубже — из пустоты, густой и осенней, белой, черной и пахнущей гниющим яблоком…

Я тень из тех теней которые однажды
Испив земной воды не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый путь
Смущая сны живых живой воды глотнуть

Как первая ладья из чрева океана
Как жертвенный кувшин выходит из кургана
Так я по лестнице взойду на ту ступень
Где будет ждать меня твоя живая тень

А если это ложь а если это сказка
И если это не лицо а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз?

———

— Саш, я не верю в реинкарнацию, в перевоскрешение, в самовоскрешение, в переселение душ, но я знаю, что есть единство, некий общий закон существования душ в союзе, в сообществе, в соорганизации, который пополняет вещество мироздания и питается им, стоится из него — без повторений и типологичности, типичности. Мироздание, Вселенная — это изменяющийся сам по себе и изменяемый нами хронотоп, состоящий из вещества пражизни, прадуха, прамышления и прачувствования. Это — пантеизм? Восточные практики философии и психологии? Не знаю. Скорее, нет.

— Но ты думаешь свои стихи и молчишь. Что ты думаешь, кроме стихов?

— А хрен его знает. Подзорная труба любой высокой мысли рано или поздно превращается просто в трубу. Чаще в *позорную трубу*, потому что мы — трусы, и мы редко идем до конца. Мы зверушки, теплые, милые и безобразные. Мы ссым вечности и, с другой стороны, смерти как полного исчезновения. И поэтому духовно и мыслительно мы непоследовательны, непредсказуемы. Именно этот изъян любит искусство и литература, называя это жизнью. А это — не жизнь, это — предательство жизни…

— А поэзия, что — тоже врет?!

— Не всегда. Ну вот, опять Тарковский.

Мне опостылели слова слова слова
Я больше не могу превозносить права
На речь разумную когда всю ночь о крышу
В отрепьях как вдова колотится листва
Оказывается я просто плохо слышу
И неразборчива ночная речь вдовства
Меж нами есть родство меж нами нет родства
И если я твержу деревьям сумасшедшим
Что у меня в росе по локоть рукава
То кроме стона им уже ответить нечем…

———

— Слова — права — вдова — листва — родства — рукава… — Это же он не из земли выходит, а в землю заглядывает?

— Мы все оглядываемся на небо и заглядываем в землю…

Третью водку они пить не стали. Закопали, уже в потемках, бутылку в клумбу цветочную под Яшкой.

— Не выпьет, сука, революционер?

— Не, Саш, обоссыться. Другие времена. Скоро предъява ему будет за Романовых. Большой придет к власти на Урале и взорвет храмы в том краю, где он родился, а потом прихватит Москву с Россией, натворит дел и поборется с самим собой за восстановление памяти уничтоженной большевиками императорской семьи.

— Ага: Колчак спешил-спешил в Екатеринбург — спасать Романовых, но опоздал. Выпил чекушку, сел на камешек перед синотеатром «Колизей» — и заплакал.

— Пришли товарищи, выпнули Колчака и назвали «Колизой», «Октябрем», а Екатеринбург — Свердловском.

— Аминь!..

———

Умер Петя. От чего — непонятно. Ревматизм. ДЦП. Амнезия… Умер он, как думал Ваня, от тоски. От той же самой тоски, которой он замирал сам… Он плакал и пил водку недолго. После похорон Пети Уралмаш опустел.

———

Вещество жизни не вытеснило вещество смерти: Петя стоял перед глазами, за глазами, внутри глаз — постоянно, во сне, наяву, в думах, в разговорах — пустых, в лекциях — не менее пустых; наука, литературоведение социализировались, идеологизировались насквозь — из литературоведения дух науки — вон, и, казалось, навсегда. Петя, высокий парень двадцати пяти лет с пролетарским, с негородским и сельским одновременно — с деревенским лицом, вытянутым, почти красивым, бледными и благородным от страданий: вечно скрюченные ДЦП и ревматизмом ноги доставляли только мучения. Но руки — руки! — у Пети были красивы, нет, прекрасны, узкие ладони, длинные прямые, ловкие и нервные пальцы (Петя в отрочестве был щипачем на толкучках; вся его семья жила воровством, грабежами и редко собиралась вся в дому — из восьми человек трое-четверо всегда парились на киче, в зоне, в лагерях… Ваня плакал от любви и ненависти к *этой* и *такой* жизни. За что?! За что Петя, мальчик, парень, молодой человек с лицом Андрея Болконского, страдал? Страдал — и жил так, словно никаких мучений не было: *так бог* решил, судьба двинула, житуха дернула. В мире функционеров от КПСС (у всех — рожи Чичикова, будто это десятимиллионные близнецы). Природно честный — до последней морщинки на лбу, Петя прожил жизнь свою — всю — ненапрасно: он выправил душу Ивана, покомканную войной, расправил ее — и она обняла, огромная и теплая, этот мир, душный, заводской, толпяной, хоровой, полувоенный (даже дети все еще — через 30 лет —

добивали фашистов-немцев в своих играх). Вещество жизни разделилось на три мощных потока и вошло со смертью Пети в Ивана, в плоть и в дух его, — в город, в работу, в университет, — и в небо, выше, выше, выше — туда, где темнота и свет суть одно целое. Целое, неделимое и вечное…

Иван жил в себе. В своем Потеренбурге. Но в городе этом он был самым маленьким и младшим: главными были музыка, язык, поэзия и гармония. И — дрожь от ощущения ужаса красоты. Красоты звука, смысла, дерева, неба, женщины, земли, снега, звезд, ночных и земных, — красоты звука мысли. Звука образа. Звука, порождаемого ритмом и пустотой пауз, провалами метафор, безднами метафор, прорвами прямоговорения… Стихи думались и начинали думать Ивана.

После смерти Пети Иван одновременно и провалился в прорву уныния, боли, муки и возлетел сквозь стихии в невероятную высоту стихий иных. Земля, вода, воздух, огонь силой беды, любви, интуиции и музыки (пусть траурной) вытолкнули Ваню туда, где обитали три главные, генеральные и вечные *стихии света, тьмы* и *пустоты*. Эти стихии — очевидно первичные, всесильные и всепорождающие. Особенно *пустота*. Пустота способна сотворить все. Даже — Бога…

———

Кто придумал эту ночь? Был день целый день. А? Выход из боя, а тем более из окружения — самое сложное и гиблое дело. Ваня-юркаволодя, Ванайма-Эстонский Медведь, Янтарный Волк (Дзинтарс), Сакен — волком, лисой, сурикатом… А ты — соплей: если надо — в себя втянешься. В нос. Через нос — в Пустоту. Исчезнешь. А то и выпрыгнешь из себя на три метра вперед с высокой траекторией, как мина, как Сакен Абылхапов, как волклисасурикат… Вышли. Ушли. Из саванны, из аудитории, из дома — во двор: нынче поминки. По Пете. Решили во дворе. На доминошно-картежно-шашечно-шахматных столах, сколоченных из старых досок, но лиственничных — вечных, черных, как тушь, гладких, как жопа бегемота. Столов пять. Пять на шесть — тридцать. Будет 40–50. Водки купили. Три ящика. Огурцов соленых от деда привезли десять банок. Помидоров соленых, прыскающих при надкусывании прямо в душу. Десять курей нажарили с соседями… Конфет до хрена.

Варенья банок десять литровых (особенно малинового, терпкого, крепкого, как сладкий спирт). Арефьев-то застрелился. Разрядил ТТ в молчи-молчи. Капитан первого ранга. Дядька твой сродный. Племянник дедов. Орловых-Черминских стало меньше… Герой Великой Отечественной… Достали свежих огурцов на Уралниисхозе. Дядя Саша, честный вор и книгочей, прислал пять ящиков: Петя-то — сын его подельника, сокамерника, лагерника, сопланетника… Старая большевичка, училка, что ли, любительница Цветаевой, — умерла. А как звать — запамятовал… Ничего — вспомнишь…

А участкового Михалыча убили. Ножиком-режиком. Сейчас новый, но тоже хороший мужик… А Михалыча помянем и Цветаеву М. И. с большевичкой тоже… Поминки не праздник. Поминки — это молчаливое, сидячее гулянье, которое переходит в общее песнопенье и даже в пляски половцев Уралмашевских… Так, еще только четыре утра… Куда ведет тебя свободный ум?..

Главное — не расслабляться. Нынче поминки по брату. Брату по Уралмашу, по Болоту, по Восстания улице. Брату по нищете, по голоду и полухолоду. По оборванчеству. До армии — весь в ремках. И все — в ремках. А Петя — в лохмотьях. Сука смерть забирает лучших. Петю-калеку. Петю-фонарика: светился он в натуре… В натуре Юрик… Дмитриев. Петю Махача (Махач — Кала) — миной. Прямое попадание. Ботинок не осталось (или мы в кедах были?). Пять командировок. Пять полетов с этой планеты, из родной страны — в войну. Будьте вы прокляты, политики хреновы. Все. Все, сука, до одного, сука, до последнего, до самого милого. Падлы, просто падлы — в натуре… В каждой командировке было, повторялось, как дежавю, одно и то же задание: выйти на американцев. Их разведгруппы (спецы! Оххх…) шастали всегда рядом, но не ближе десяти километров. Мы же входили в контакт с легионерами французишными (там было много русских и славян), с группами Массад (тоже наш народ, как пел Высоцкий: на четверть наш народ); массадиковцы были ребята неплохие, уважуха была обоюдная. Плохо было с местными спецами — всегда: они хе.ачились до корчей, но всегда убегали, когда видели наши знаки. Группа Ивана часто (за полтора года — дюжину раз) выходила на следы, стоянки, схороны, лежки американцев. Обходили это дело с флангов, нащупывали ихние пути отхода — и отставляли там почту. Русскую МП почту: кострище, пустые банки из-под тушенки, сгущенки, каши, какао, а также пустые, рваные и мятые

пачки из-под сигарет «Прима», «Охотничьи», «Северные», «Памир» и др., а еще из-под папирос «Беломор», «Волна», «Прибой», «Север», реже — «Казбек» и «Герцеговина Флор». Оставляли и кучки дерьма — для проформы и ужаса. Они это безобразие находили — и бежали. Сразу. Russians!!! Korea! Vietnam! Laos! Kampuchia! O-o-o, fuck! Mother fucker!.. С ними не было ни одного контакта: морозная война. И все холодало, холодало, холодало — до жара, до зноя… Трижды брали языков. Всего — пятерых. Они — плакали! Они помнили Сталинград, Курск, Берлин… А мы помнили Хиросиму и Нагасаки… Такие дела. (Потом этих жоржиков отпускали)…

Американосов было жалко. Но Иван никогда об этом ни с кем не говорил (Пятьдесят Восьмую статью никто не отменял и никогда не отменит — просто перецифруют, — хрен узнаешь). Ты жалел людей. Все мы люди — а гадим друг другу в карман!.. Страшен был исход добрых американосов из Вьетнама (1973–1975). Их гнали по речкам к морю, где работала артиллерия Хо-Ши-Мина («Хошимин, Хошимин, милый крейзи Love machine»). Или: Хошимин, хошь мин, самолетов и доспехов и двенадцать штук морпехов?! У тебя в группе часто 12 бойцов. Оптимальное количество охотников…

Петю поминали во дворе. Стояли люди на балконах со стаканами гранеными в кулаках. Одного дядю Васю закрыла в квартирке жена (а этаж — четвертый!): водочку ему отправили на бечевке. И закусь. И ДП. Потом он, поднабравшись, сломал замок. Вышел. Ремонтнул замочек — и рванул вниз по лестнице во двор… Запели к вечеру. Сначала «Лучину». Потом «Ой, мороз…» — но тихо, вполголоса, почти в себя. Петь в себя — это русское изобретение: не шуметь, но страдать, а вот потом уже шуметь… Закончили к полуночи. Разнесли по домам посуду. Посидели за пустыми столами — уже не все, человек десять — и разошлись по домам.

Иван любовался поминками, а ночью вдруг возрадовался: ни одной драки, ни одного шума, ни одного базара, ни одной ругани. Даже откинувшиеся уголовнички понимали, кого они хоронят. А кого? *Кого?* — Так ведь ангела. Ангела по имени Петя.

———

Ты помнил вспышку, грязно-красную, с клубами пыли, с хвостами бамбуковых листов и отростков, с изрезанным бушем небом. Смотреть больно. Ты оглох — значит, слышать не больно: мир

замолчал… Тебя тащили по земле сначала за руки — ползучее распятие, распятие волоком; потом тащили за ноги — люди в хаки японского покроя. Лаосцы? Да. Они все одинаковые: и партизаны, и повстанцы, и представители армии правительства, и полпотовцы, и проамериканцы, и охотники за головами… Ты греб раскинутыми руками чужую землю… Махача… наповал… в клочья… а ты кувыркнулся с горки-сопки — вниз — к общей для всех тропе. Это где-то рядом, километр-два до их базы… Плен?! Ну да… уйду… один хрен, уйду… Оклемаюсь. Положу всех. Кто бы ни были они… В изрезанном деревянном небе попадались колодцы. Небесные колодцы, наполненные со стороны бога болью, дымом, дымом, дымом…

Как дымный столп светлеет в вышине
Как тень внизу скользит неуловима
Вот наша жизнь промолвила ты мне
Не светлый дым блестящий при луне
А эта тень бегущая от дыма…

———

У Вани с Сашей был уговор (по женскому полу, так сказать): сказал первый *«моя»* — и опоздавший не мешает тебе делать ее твоей. Молодость светла: в зрелости и старости этот свет (в отличие от *того*) становится ярче, и от такого ослепительного света в мире становится почти пусто. Саша и Ваня сидели за партой перед первой лекцией (самой первой!) в универе (!) на филфаке (!) (им, хлебнувшим житухи, это все казалось нереальным, почти сказочным, особенно — свет, исходящий от ламп, от окон, а главное — от женщин, девушек, студенток: свет был женщиной, и женщина была светом…). Двери в 339-ю аудиторию были открыты (левая половинка). Было еще рано: 8.40 утра, и Сашка с Ванькой были одни, но сидели они за единственной партой в ряду, приткнутой к стене как раз рядом с открытой половинкой двустворчатых дверей. Ни-кого!.. Рановато приехали… И вдруг — в аудиторию вошла, прошла мимо Саши и Вани высокая девушка с фигурой молодой женщины в цвету, с длинными распущенными светло-русо-золотистыми волосами — густыми, пушистыми и легко-тяжелыми с виду. Она оглянулась на парней, но как-то так неточно, неприцельно, показав близорукие чухонские глаза, подведенные чуть-чуть. Но губы…

но лицо… носик… все было прекрасно. Не красиво, не сексапильно, но прекрасно, изумительно, волшебно. Парни охренели. Саша раскрыл рот от удивления и ужаса красоты, но Ваня вдруг впервые в жизни — успел: негромко, но отчетливо произнес: *«Моя!»*

(Когда ты написал «Моя!», ты вдруг заплакал. Встал. Вычистил пепельницу. Заварил новый (пятый!) кофе и поставил на вертушку диск «Space», потом, после первых проникновенно-бодрых звуков, отключил дисковод и переключил центр на USB — зазвучала мелодия из фильма «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна, с Олегом Янковским и его трудным возмужанием. Сердце твое выровнялось, застучало уже не в голову — а в душу, как тогда в 1975 году в Лаосе: прорвемся!..).

Саша хлопнул Ваню по плечу: ты всегда пострел-всюду-успел, а вроде сидишь себе пень-пнем, стишки свои думаешь, мать твою за ногу… Ваня почувствовал в себе и окрест полную перемену воздуха, времени и городской пустоты. Восхищение, нежность, страх, темноватые предчувствия, радость, почти счастье омыли его изнутри, как хорошие стихи, как «Демон» Лермонтова, как Тютчев, как «Пора, мой друг, пора…», как «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь…», как весь Пушкин, как Шекспир, как Дантов «Ад», как Чеховская «Степь», как Бунин, как рассказы Юры Казакова («Юра» — так его звали новые друзья Вани)…

Девушка выбрала место в аудитории поближе к трибунке лектора и доске (она была, точно, близорука, что делало ее еще милее)… Первая лекция «Фонетика современного русского языка» (сокращенно: фонетика СРЯ,— трудная деепричастная форма некоего глагола, да?) читалась профессором Глазыриной Верой Васильевной, с которой Ваня скоро подружится. Вообще, парней на филфаке было хрен да маленько. Армейцев было три: еще, кроме Саши и Вани, Елисей — рыжеватый, с нежным лицом, чуточку испитым и жирной портачкой на запястье (вдоль руки) «BEATLES», поэтому парни (все) были заметны, их постоянно использовали люди из деканата в похоронах, в хозработах, в хождении за три улицы в составе Добровольной Народной Дружины (ДНД), в работах любых, в том числе и в помощи преподавателям при их переездах с квартиры на квартиру, в ремонте (постоянном) мебели, дверей, замков (и замков-«молний» на женских сапогах), и в организации демонстраций на 1 мая и 7 ноября…

Ты — это череда, шеренга, колонна, состоящие из тебя самого, но разного, ожидаемого и неожиданного. Ты смотришь на себя фронтально или сбоку — в щеку и в висок, или упираешься сам себе в затылок, многоразово и по очереди — ты почти не отличаешься от похожего на тебя и от чужака. Тебя много: умный, идиот, урод и красавец, но высокий, но лысый, не плешивый, а лысый, бреющий башку наголо… Тебя выводят из ихнего партизанско-лаосского зиндана наружу, под небо. Ставят у бетонной, плохо отлитой стены (суки, кто делал? — убил бы!)… Ну да, сейчас будут долго расстреливать — дней 5–10 до тех пор, пока не расколешься. Тебя учили в РШ тому, как они это делают: серьезно, деловито, но фальшиво. Ты видишь магазины к АК-47 — они пустые. Рожок полный — тянет и оружие, и руку, и ремень, и карман, и подсумок, а пустой — летает в воздухе, как железная бабочка — огромная и запаянная в длинную коробочку… Тебя ставят сначала лицом к строю вооруженных карликов, лицом к ихнему желтоватому свету. Потом поворачивают мордой к стене. Потом команда. Потом — отмена. Тебя уводят в полуподвал, в бетонную камеру без шконки, без корешей — бродяг и преступников, мать их за ногу… Тебя выводят, выводят, выводят, ставят мордой к ихнему мутному солнцу — маленькому, как зрачок маламута. И — стреляют. По-настоящему. Пули херачат выше на 15–20 см, башка в бетонной пересохшей муке… Ты стоишь перед третьим залпом из пяти АК-47 и вспоминаешь стихи узкоглазого Исикава Такубоку, который бы — точно — составил тебе здесь компанию… Двойное презрение убило бы как раз Такубоку и Ивана: эти древние кхмеры такое не простят более молодым этническим единицам… Залп… Мука… Мозг от жары спекается в пирог…

Помню
Рассказывал нам
Как жизнь свою безвозвратно
Загубил человек
Он был слишком талантлив…

По ночам Иван устраивал мозговые читки. Иногда они были душевными, иногда сердечными. Но уста его оставались замкнутыми… Боже мой, скальд в 9 веке писал:

Драпа об Олаве шведском
Вал завыл сломал
Весь навес древес
Нес в злосчастный час
Челн нещадно мча…

Ну чем не Хлебников?! Это дописьменная поэзия, но — Поэзия! Текст — насквозь прорифмован — фонемами, морфемами, слогами, но не лексемами! Это же анаграмма. Древнеегипетская почти. Но — во льдах, в снегах и под Северным сиянием. Это же Анаграммы Северного флота Русского Заполярья, Русского Севера!.. Боже мой, я умру — и эти мысли тоже. Их тоже расстреляют.

Пьяной пены полны
Пью из зуба зубра…

Или: Ёкуль Сын Барда

Отдельная Виса
Жаркая жжет язва
Жил и не тужил я
Быстрой бьет струею
Брызжет рана красной
Хлещет ввысь кровища
Вытерпит муж муку
Князь честной отмщает
Мне великим гневом…

Вытерпишь уж муку, муж и отомститель — не великим гневом, а любовью страшной и огромной: в ней утонет небо…

———

Начались мучительно сладкие и горькие дни переглядок с Нимфой. Так они с Сашей нарекли филологиню-красотку. Виделись шесть раз в неделю, учились в одной группе 101 (лингвисты), в 102 и 103 обитали будущие литературоведы и учителя. Сто первая делилась на две части: общеязыкознанцы и русисты. Иван-русист. Юлия Логотипова, нимфа, была историком лингвистических

учений, изучателем диахронических и сопоставительных исследований, практиком топономастики, диалектологии, номинации и ономасиологии в целом. Она знала три-четыре языка (европейских, основных) и изучала — самостоятельно и произвольно — еще пять-шесть языков. Юля любила зарубежную прозу (журнал «Иностранная литература»). Ваня любил синхронию с долей диахронизма, фонетику (и сравнительную в том числе) лексикологию и фоносемантику. Он читал круглые сутки стихи: русские, западно-европейские, юго-восточно-азиатские: золотой век, серебряный (то, что было доступно), современную поэзию (от Дэзика Самойлова до Чухонцева Олега, проклятых французов, испанцев, итальянцев (в переводах), Роберта Фроста, Эмили Дикинсон и Джона Донна (в переводах и в оригинале — начал учить английский — сам, литературно, текстоведчески и культурологически).

* * *

Четыре плохая цифра. Ваня не любил 4, 13, 22, 44 и все, что содержит эти повторяющиеся цифры, становящиеся числами. Четыре недели в лаосской крытке. Завтра пойдет пятая. 28+2=30. На тридцатый день… В тридцатый день уйду, а не уйду — убьют, но именно на тридцатый день. Почему? А потому что 30, или 3:0 в мою пользу, или 30 очков в баскет за игру (что часто бывало в юношеском «Уралмаше»). В 30 лет у тебя, может быть, выйдет книга твоих стихов. Или опубликуют, например, в «Новом мире»… На тридцатый день он умылся питьевой вонючей водой. Отжался 30 раз. Приседания — по 30 раз на каждой ноге. Левая была хороша. Правая побаливала от осколков, которые не вынешь пальцем из поверхностного ранения. Загноилось… Ништяк. Прорвемся. Ничего, косые, покоцаю вас ручками — и уйду. Такова воля небес, земли и Ее. Она приходила нынче ночью. Гладила по плечу — силы давала. Сказала, что, точно, уйдешь… Длядь! Я… длядь! в плену… Х.р вам. Хрен вам… буй вам, суки косые…

Есть некий час в ночи всемирного молчанья
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес…

Да, Фёдор Иваныч, уйдем мы с тобой… Бедная Катя… Дедушка… бабушка… Коля… Андрюха… И все-все-все… Обещаю — уйду… Они сидели рядом на грязном, в помоях и испражнениях, бетонном полу. Она держала тебя за руку. А ты — не плакал. Молчал. И сказал Ей как обещал: уйду. Пойду на рывок. Вырвусь. Постараюсь не убивать. Рвану. Выйду наружу. Тишину не нарушу. Выстрелы из подвала никого не удивят. Ствол отниму — и положу всех в госпиталь…

Долгие годы ты будешь мучиться, переживать: убил этих троих допросителей или ранил. Стрелял по бедрам. Но стрелял, как учили в РШ на мишенях с американосами под два метра. А эти — клопы, карлики, лилипуты. Где у американоса бедро — там у кхмера живот… Такие дела.

Помогал всегда Алессандро Марчелло со своим невероятно сокровенным гобоем (в транскрипции Баха: Иван Севастьяныч вообще вытащил из вселенской тишины все итальянское барокко. И — Вивальди тоже. Такое вот приключается чудо…).

* * *

Не смотреть в глаза собаке — особенно мне: заплачешь. Юля была чудом. То ли реальным, то ли сотворенным Ив*а*новой душой. Может быть, над созданием его поработали и Бог, и Гармония, и Абсолют, и Гравитация, и Воображение, и душа?.. Что было чудом? Кто был чудом? Юля? Ты? То, что зовут любовью? Капсула воздушная, наполнившаяся вдруг иным светом, цветом, иным звуком, иным сладкородом — переродившимся кислородом, водородом, азотом и прочей жизнью? — Мир поменял свои размеры и цвет. Он стал сжатым, малым, в него помещались двое, и он стонал от тесноты, учившей тебя задыхаться, а потом дышать; мир стал черно-белым без Юли, мир, сужаясь для двоих, вдруг становился тысячецветным, в этой палитре доминировали золотистый, телесный, белый, синий, зеленый, голубой и серебристо-серо-яркий — до зажмуривания, до смыкания век. Иван понимал, что это не любовь — пресловутая, привычная, бытовая, «земная» и т. д. Это было не чувство, это была не эмоция, а состояние и ситуация, которые имели свой топос и свой хронос. Место любви — не везде, а только рядом, окрест любви, — сунь сюда руку — обожжет. Время любви двигалось по вертикали. Черно-белое и тысячецветное чередовались, и в интервалах,

в зазорах мерцали невиданные изумрудно-коралловые, багровые и сине-небесные мерцания, вспышки, взрывы. Это было невыносимо. Но ты шел вперед — в это мерцание, входил в него и умирал, сразу же, моментально воскресая… Ты хотел умереть: теперь все изведано — и мучительное счастье, и губительное зависание в себе, в воздухе Юли, в общем сладкороде и в общем черноночии — приоконном, наскамеечном, набалконном, напольном, напостельном. Был ли это полет? Да. Но, скорее, падение или вертикальное возлетание бог весть куда…

Юля и ты неожиданно стали вместе: ты провожал ее и встречал (жила она через дорогу от универа в доме, где на первом этаже был огромный [по советским меркам] магазин «Спортивные товары»). Ты помотался на Уралмаш (пешком, потому что «гостил» у Юли до полуночи) и с Уралмаша — на трамвае (метро еще не построили). Это было нечто новое, необъяснимое: ты жил ожиданием встречи, но встречи не помнил потому, что ты превращался в Ваню, стоящего под балконом хрущёвки, под квартирой Гали… Тебе казалось, что ты все это придумал. Что все это в любой миг исчезнет.

Вот и лето прошло
Словно и не бывало
На пригорке тепло
Только этого мало…

Все стало любовью, и этого было мало. Хотелось увидеть край бескрайнего, нужно было увидеть загадочный круг Паскаля, центр которого везде, а окружность нигде. Ты был нигде. Ты был там, где мало кто бывал. И ты понимал, что ты, скорее всего, не вернешься оттуда… Да и не хотелось возвращаться. Как Тютчев.

И медленно опомнилась она
И начала прислушиваться к шуму
И долго слушала увлечена
Погружена в сознательную думу
И вот как бы беседуя с собой
Сознательно она проговорила
(Я был при ней убитый но живой)
О как все это я любила…

Да! Любовь — такая, — это смерть! Любовь — это смерть. Когда ты умираешь не в тот свет, а в иное бытие, прекрасное и ужасное. Нет, страшное…

———

Нет, необходимое для жизни, для говорения в себя, для ощущения смерти, не конца твоего, не завершения существования тебя, но для чувствования этого завершения всего, что есть ты сейчас. Так окунают лицо в воду морскую, не окунают, а кладут его на линзу горькой воды, чтобы увидеть себя, свое тельце, ноги, пальцы на ступнях, колени, живот, грудь — все, кроме лица своего: лицо не видит себя, целиком отдавшись созерцанию того, что есть, того, что было, того, что скоро не будет…

Иван с Юлей теперь сидели (на общих лекциях) за одной партой, за одной расписной, как деревянная книга, университетской партой. Они и ходили всегда вместе — по коридорам универа, вокруг универа, в филармонию (Иван не любил Брамса, но терпел: в те годы часто «возили» Брамса), в кино (кинематограф Ваня тоже не любил: хоровая эмоция убивала его, он заболевал идиосинкразией ко всему, что переживалось коллективно). Они просто гуляли. Чаще в парке «пионеров», в бывшем саду бывшего Расторгуева, которого, естественно, расстреляли ленинцы, троцколюбы и свердловцы (хотя и дзержинцев, и всякого другого отребья хватало: Россию захватили пролетарии-бомжи-тунеядцы-алкаши-воры-душегубы — и не знали, что делать с ней. Они знали, что делать им с самими собой: жрать, жрать, жрать, но не знали, что делать со страной… И сейчас не знают, спустя полвека и целый век после переворота 1917 года). Юля и Ваня много читали, чаще вместе: Юля находила англичан и немцев, Иван — произносил, выносил из себя, заносил в воздух стихи… А еще книги: Ваня покупал много книг (по ночам он дежурил в морге четырнадцатой, уралмашевской, больницы, где работала, в роддоме, его мать; иногда он бегал к знакомым мужикам-грузчикам (уралмашевцам) и перевозил мебелишко граждан с места на место…).

Филфак существовал своим «литературным подпольем» отдельно от философов, но в союзе со студентами журфака. На филфаке-журфаке УрГУ работало литобъединение, которым попервости руководил Борис Марьев, бывший сыщик (окончил юринститут),

а в те времена один из самых известных (официально признанных — член СП) поэтов Свердловска. Параллельно он читал античку филологам и журналистам. Его любили. Он был добр, талантлив и хорошо образован (после ментуры окончил Литинститут в группе Сельвинского Ильи, в которой «мастер» делал из пацанов и девчонок — сельвинят — строгал по живому по своим габаритам, — неплохой, способный плотник отечественной словесности, к тому же формалист!). Борис Михайлович Марьев сразу заметил Ваню (видимо, еще и по бороде, черно-смоляной, и по светлым волосам, отраставшим по-битловски на голове). Марьев был вторым профессионало-литератором после Саши Воловика, фронтовика, поэта талантливого, а заодно и мужа Рины Ливензон; Воловик заметил Ваню еще в школе (когда, после выступления мэтра, Ваня прочел, заикаясь, потея и почти плача своего «Оленёнка»); Рина и Александр в конце семидесятых уедут в Израиль, а через тридцать лет Рина и Ваня встретятся в Екатеринбурге и подружатся навсегда… Марьев назначил Ивана старостой Лито — и пошла работа: стихи, стихи, стихи — на бумаге и вслух, в голос, в плач, в ор… Многие в те годы были больны Евтушенко и Вознесенским — вот и кривлянье, оранье, шептанье и танец толстеющих лебедей…

Лито, после смерти Марьева (ему только исполнилось 42 года — сердце; он любил повторять из Гейне: если мир треснул, то трещина прошла через сердце поэта; красиво, но не точно, так как мир всегда трещит по швам и повсюдно, и поэты всегда гибнут — даже тогда, когда трещина проползет, промелькнет, пролетит мимо), возглавляли многие: и стихотворец-фронтовик, маленький, восторженный, который всякий раз хвалился знакомством с Евтушенко: «даже не знаю, как называть его — Женя, Женька или Евгений Александрович, — такой он великий и гениальный». Был еще и журналист лет сорока (Геннадий), и затрапезный старичок, или Старикман, как звали его лито-вцы. Но Ваня (с Юлей — они ходили в это словоблудие вместе) покинул лито при фронтовике-стихотворце, обозвав его дураком и ни хрена не чувствующим поэзии стихоплетом. Это товарищ Яков (прям как Свердловище) потом до самой своей смерти будет ненавидеть Ивана и тормозить его стишки повсюду — и в газетах, и в сборниках, и в журналах. Зачем тормозить-то?! — все равно никого не публиковали. Двадцать лет не публиковали стишки Ивана, хотя его стихи знались и переписывались народами

Свердловской области, Урала и даже в столицах, где с публикациями было еще жестче.

Через три десятка лет Рина Ливензон писала Ване из Израиля, звала в гости. Но Иван (он был женат уже на другой, во второй раз), потерявший любимую женщину, не какую-то определенную и персонифицированную, а вообще любимую. Потерял так — будто она ушла от него, бросила его и т. д., — Иван просто и явно погибал. Он жил в деревне, в домике, который построил сам, в саду, который развел сам на пустыре, в тайге, в лесу, в полях и на полянах-еланях, в оврагах и на берегах многочисленных речушек, рек и озер. Он тогда не спал семь недель (Ваня не пил уже десяток лет — бросил), плакал в одиночестве, выл, кричал до кровохарканья. Искал ружье. Приготовил веревку, перекинул ее, опетлив, через турник, написал записки дочери, сыну, второй жене и, конечно, Майе, с которой познакомился сразу после ухода из лито, на втором курсе филфака… Покурил. Перекрестился и встал с табурета, чтобы выйти из дома к турнику… Взрослый мужик — годов ему уже за полтос, точнее 55 (возраст смерти Анненского, Заболоцкого, Бродского — ах, как все совпадало)… Встал… И — услышал стук в ворота, и это — в два часа ночи! Иван вышел. Открыл калитку и увидел бледные, лунные лица сына и жены Ларисы, которая спросила сразу, без приветствий:

— Жив?.. Да. Жив. И слава Богу! Мишка вдруг сорвался — едем к отцу прям щас. Поехали…

Мише было тринадцать лет… Странно. Но — понятно: надо жить… В одном из писем Рина писала, строго успокаивая Ваню, что, мол, ты потерял игрушку. Ты не утратил дара своего. Дар — от Бога. Дар — главное. Главное — стихи. Держись и все такое…

В те поры, еще студенческие, среди филологов-графоманов высоко чтились стихи Юрия Кузнецова, поэта от Бога, но быстро и незаметно социализировавшегося, ставшего славянофилом и все такое… Но Ваня очень серьезно переболел его виршами: нет, это не была «испанка» Мандельштама или онкология и онтология Тютчева, Боратынского и других великих — это, скорее, была ангина. Поэтическая ангина: прополоскал горло стихами Тютчева, Заболоцкого, Мандельштама — и ты здоров… Но у Юрия Поликарповича Кузнецова были знобительные стихи, немного, но были:

Звякнет лодка оборванной цепью
Вспыхнет яблоко в дальнем саду
Вздрогнет сон мой как белая цапля
В пруду…
…
Я хотел бы туда повернуть
Где стоит твое белое платье
Как вода по высокую грудь…

Или:

Женщина о чем мы говорили
Заказали скверное вино
И прижались в этом тесном мире
Так что место заняли одно…

Или:

Я в поколенье друга не нашел…
…
Такой души на свете больше нет
Забытую за поколеньем новым
Никто не вырвал имени на свет
Ни верностью ни мужеством ни словом…

Однако Кузнецов, хоть и Юрий (Георгий!) сдулся. Был съеден социальной средой московской литературы… Ваня решил никогда не уезжать в столицы-в заграницы. Ему хватило трех лет флота. Пехотного флота. Он не мог дышать без слов «Шатры», «Урал», «горы», «тайга», «река», «озеро», «дерево», «птица», «зверь», «небо», «камень», «глина»…

После ухода из лито Иван был приглашен в другое лито — при заводе «Электротяжмаш» (Эльмаш, сосед Уралмаша и соперник в уличных разборках, боях и сражениях [по тысяче рыл с каждой стороны и при окружении пролетариата вдоль проспекта Космонавтов — границы Уралмаша и Эльмаша]; именно здесь на этом рукопашном рубеже, как раз в центре находилось молодежное кафе «Наутилус», одноименец будущей группы «Наутилус Помпилиус». Именно в «Нау» (NOW! Сейчас) Иван два года играл ритм и пел в кабацкой группе «NOW»…).

Лито на Эльмаше вела Майя Петровна Вяземская (Урал и Сибирь еще сохранили в себе потомков Трубецких, Мусиных, Вяземских и Орловых-Черминских)… В каждом предмете, процессе, в растении, в животном и человеке ты видел то место, ту полость, то дупло, то вместилище, в котором должна быть душа. Если это место светилось — значит душа на месте. Если нет, то нужно было ждать. Ждать прежде всего себя, готового увидеть свечение. Майя светилась вся. С Майей Вяземской Иван встречался лишь однажды: ее пригласили на филфак как выпускницу УрГУ и уже известного здесь, на Урале, и в Москве поэта. (В те времена говорили: поэтессу, потом — поэт Ахматова, например, и, наконец, в разгар гендерных войн двадцать первого века — поэтка какая-то; к примеру, поэтка Жандармбекова… Звучит! А?!) Майя стояла перед аудиторией, сливаясь с оконным светом всем своим свечением: невысокая, но огромная — голосом, глазами, жестами, речью, вообще устами и, конечно, стихами. Это была Красота в чистом виде. По Полю Валери, «абсолютная красота; по Гоголю Николаю — «красота красоты». Иван сидел в среднем ряду, ближе к аудиторной доске и глазел за Майю, но скрытно (разведка!), однако Майя Петровна сразу заметила его взгляд, вошла в него, вцепилась в него — нежно и крепко — и начала читать стихи о любви, о смерти, о Крыме, о Древней Греции, о Катулле… Все заметили, что Майя читает — прямо и адресно — Ване — так, будто в аудитории мест на сорок (битком набитой студиозисами и препами) было пусто, будто в ней были только двое (это заметили все: поэт «выстегнул» из толпы поэта,— это нормально). Такое дознакомство явно и ясно показывало, что Майя и Ваня были знакомы всегда (как говорил Ваня вслед за Майей: еще до рождения и уже после смерти). Мистика? Нет — жизнь. «Жизнь такова, какова она есть — и больше никакова», как сказал один гениальный графоман с Вторчермета, где лет через двадцать будет произносить (и носить, и подносить!) свои стихи Борис Красный. Борис Рудый. Борис Рыжий.

И Тютчев благословил эту встречу:
Прекрасный день светился не исчез
Полнеба обхватив бессмертною зарею
А мы из глубины полуночных небес
Глядим на мир пророческой звездою…

Ваня с рождения (и с до-рождения?) имел мощный широко-глубокоохватный слух, всегда переиначивал, нет, корректировал чужие тексты (известные тож), музыку, живописные и кинематографические тексты. Часто ему (если не всегда) говорили: ты все переврал! Но: ты знал, что не переврал и не переделал, а пропустил сквозь себя и Нее. Она соврать не даст. Ни одной фальшивочки не допустил — накажет такой бессонницей, что в птичку превратишься: будет скакать, порхать и попискивать… И так тоже бывало. Она изменяла все звучащее: усиливала ветер, шум рощи березовой, шипенье соснового бора, говор сельчан и деревянную речь горожан, слова во всех песнях (и в англоязычных), фабулы романов, повестей и рассказов, стиль — идиостиль (идиотский, индивидуальный многих авторов и писак). Порой это все доходило до безумия: лет через семь-девять, находясь в Индии (командировка на три года — преподавание русского языка как иностранного: языки-посредники — английский, малаялам [дравидийская языковая семья], хинди, урду и язык жестов [изобразительных: делай, как я, как в МП, в разведке, в рейде]).

В тот день тройного свечения Майи, ее стихотворений и окна, собиравшего в себя все золотистое дня, неба, воздуха; в тот день — в день творения всего на свете — они с Майей не поговорили. Даже не поговорили! — но и так всего было много, страшно, прекрасно, смертельно и чудесно.

«Я знаю силу слов…» — не силу и не слов: я знаю вечность слов, я знаю пламя слов, я знаю шорох слов, я знаю, что слова — это я, а я — это слова, и между нами Вселенная, круг, центр которого везде, а окружность нигде… Арсений Александрович это знал.

Мало ли на свете
Мне дано чужого
Но за все в ответе
Музыка и слово…

Но!.. Ты ведь понимаешь, что озарение и антиципация (предвосхищение, спасибо Гёте) — не в тебе и не в слове, а во всех девяти стихиях. Озарение возникает только после отемнения, замрачения, замутнения. Отемнение и озарение — сестры. И поэзии нужны обе сестры, оба состояния: ты живешь в темноте разума, души и сердца и ждешь просветления. И — летят тебе в лицо и в душу светляки. Светляки

и светлячки слов. Так и прорываешься, так выныриваешь, так выживаешь. А водка — не помогает. И подруга не понимает, что происходит: ах, я ему разонравилась… козел… графоман… идиот… и т. д.

Они с Юлей стали неразлучны. Казалось, навсегда. Неразлучность была множественной, чередующейся так: вместе, один, одна; в отчаянии, в радости — вместе, одна, один.

Осень появилась ниоткуда и как-то сразу вся: воздух захрустел, листва облетела и улетела, как летние птицы, город стал просторнее, дома — уменьшились, присели, приподсели, тротуары расширились, лужи превратились в лупы большого (но разного) диаметра: земля смотрела сквозь них на небо, которое и без оптики прицельной, «оружейной» приблизилось вплотную к тому, что уже не дышало, еще дышало или задыхалось от горя, счастья и любви… У Пионерского прудика (Харитоновского бывш.), подзамерзшего, подразбитого камешками, утками и поступью редкого тепла — несильного, неубедительного, но настоящего, потому что последнего, — у прудика Юля вынула из ледяной водички первое хрупкое стекло. Ледышку. Большую — и поцеловала ее, и, не отрывая губ, крупных, темно-алых, от своей стороны льда, приблизилась к Ване, к его лицу — и Ваня поцеловал, прижался ко льду губами, расплющил губы как раз напротив Юлиных губ. Поцелуй через лед… Странно… Изысканно, да? — думалось тебе, и ты, понимая, что это игра, перестал играть и стал целовать льдинку всерьез — насквозь, до воли, до свободы, до холодного тепла Юлиных губ…

Они гуляли долго, бесконечно. Иван бывал в ее доме, но к себе, на Уралмаш, не приглашал: в бедноту, в однушку, в однюшку, в одняшку… Стыдился? Стеснялся? Да… Он ни слова никому и никогда не говорил о службе в армии, на флоте, о командировках, о разведке. Редко и лаконично заикался о дисбате (за что сидел — не говорил: убивец, да? Ужас-то какой!..). На лекциях ты, сидя рядом с Юлей, иногда вдруг онемевал. Ночь. Буш. Постоянный, непрерывный и беспокойный насекомый звук не дает уснуть, не дает думать, не дает воображению ни вздохнуть, ни пукнуть. Будто кто-то или что-то настраивает радио или цикаду, и всех насекомых и гадов сразу, всех вместе, и они пищат, шипят, щелкают прямо в тебя и в небо, которое тоже не спит, проклиная буш, джунгли, ночь. Голова твоя наполняется стрекотом и шипом, и, чтобы не сойти с ума и не оглохнуть, ты выливаешь цикадный напиток, эту жидкость

живности из черепа — раз за разом — то сквозь уши, то сквозь глаза, то сквозь сердце. Но гривенник ящерки цокал где-то в горле и в затылке, но цикада ввинчивалась сквозь ухо в мозг, а иногда чавканье зевающих и жрущих грызунов измазывало лицо твое и всего тебя, голого перед Богом, шоколадной грязью… Или ты вдруг начинал недоумевать: если союзники освободили заключенных из гитлеровских лагерей, то кто же и что же освободит невинно и насильно осужденных (а их миллионы!) из сталинских лагерей?..

* * *

Это была крохотная комнатка на втором этаже ДК Эльмаша. Расположились. Майя здесь впервые. К ней на «занятие» пришло человек десять-двенадцать: все филфаковцы — и Витя Смирнов, и Андрей Сафонцев (потом он поменяет фамилию и станет Танцов*ы*м — Андрей очень обижался на подвижку ударения: Т*а*нцов, а не Танцов*о*й); Аркадий Застырец, философ из УрГУ, Женя Оз*и*мов, сокурсник Юли и Вани, и кое-кто другой, не вполне знакомый, на лицо понятный народ… Говорила сначала Майя о поэзии современной: о Тарковском, о деминутивах Кушнера, о Самойлове и вообще о поэтах-фронтовиках. Беседа длилась часа полтора-два, но времени никто не замечал. Ваня неожиданно для себя прочитал стихотворение Кушнера без уменьшительно-ласкательный суффиксов.

Пошли на убыль эти ночи
Еще похожие на дни
Еще кромешный полог скорчась
Приподнимают нам они
Чтоб различали мы в испуге
Клонясь к подушке меловой
Лицо любви как в смертной муке
Лицо с закушенной губой…

И все по очереди и в разброс начали читать стихи Самойлова, Левитанского, Кушнера, Тарковского, Владимира Соколова — всех еще молодых и крепких поэтов, переживших войну и Ленина-Сталина… И время соединилось здесь, на Эльмаше, в первых снегах и в первой зимней светлой темноте,— с пространством,

как в открытом космосе, — и образовался не проход в иные миры, а выход из этого мира в прекрасную пустоту музыки, мысли и образов. Такое высвобождение ты переживаешь ежедневно, когда читаешь Мандельштама (разрозненные, переписанные тобой под копирку стихи, которым цены и времени, и пространства нет). Озимов толкает тебя локтем в бок — твоя очередь, и ты читаешь Тарковского, его стихи — это призрачное продолжение Мандельштамовой мощи.

Хорош ли праздник мой малиновый иль серый
Но мне все кажется что розы на окне
И не признательность а чувство полной меры
Бывает в этот день всегда присуще мне
А если я не прав тогда скажи на что же
Мне тишина травы и дружба рощ моих
И стрелы мощных крыл и плеск ручьев похожий
Но объяснение в любви глухонемых…

Все молча выходят вон из этого казенного здания и пешком идут в Центр. Танцовой уболтал Юлю. А Майя, шедшая рядом с Иваном, вдруг тихо, почти шепотом произнесла — вниз, в первый снег:

— Приходите, Ваня, один. Ко мне домой. Мы собираемся почти каждый день. Декабристов 12–12, четвертый этаж. Посидим в кухне. Покажу прижизненного Мандельштама… Знаете, сразу скажу, что такого человека, как вы, встречаю впервые: в вас столько жизни! Разной. Огромной. И — живой. Живой жизни…

Ваня ответил:

— Да.— И сразу прочитал, почему-то глухо, почти громко, но не заикаясь.

На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной степи
Так вот что мне с детства так горько знакомо
Видение цезарианского Рима
Горбатый орел и ни дома ни дыма
А ты мое сердце и это стерпи…

———

Свет неведения чередуется с темными потеками познанного — не успеваешь зажмуриться, моргнуть, прикрыть глаза рукой, опустить веки,— будто едешь куда на поезде, сидя у окна, и лицо твое чересполосно, полосато и переослепленно, как душа, увидевшая себя в зеркале книг. Ты знаешь больше, чем узнаешь? Нет: ты любишь мир — весь. Любишь его квантами света и музыки Тютчева, Боратынского и всех с ними рядом живущих и дышащих в тебе… Советская поэзия дарит тебя строчками, строфами, редкими стихотворениями. Заболоцкий, Хлебников и Тарковский — белый, синий и красный, как лист кленовый,— не обновляют тебя, но укрепляют тебя в тебе и на свете этом, не имеющем конца. Слово бесконечно…

На втором курсе появились два новых, свежих парня: один — брюнет с Кавказа (Абхазия), в целом русский человек, хотя отец его — эстонец, а мать — украинка; он был всегда прям, молчалив и оченосен: его глаза, глаза раненого оленя (как говорили девочки), оглядывали мир неравнодушно, печально, чуть-чуть весело, но жертвенно — выбирая очередную жертву короткой, но *гарачей лубви*. Первого звали Петя Шульженко (не путать с «синим платочком»), и он писал не стихи, а рассказы, и это было убийственно странно для остальных, сочинявших вирши под кого-то, чаще под Евтушенко, Маяковского, Есенина, Вознесенского или Самойлова — этакий герметический поэтизм, вырастающий не словесно, но в большей степени интонационно (из интонации фронтовика и поэта, весьма зависимого от советского мира). Второй перевелся из Оренбургского педа. Игорь Ахновский — тонкий, нежный и невыносимо говорливый и писучий стихотворец, прочитавший все на свете, знавший (лично!) всех (жаль, что Мандельштама убили до рождения Игоря — он и с ними бы покуривал, поговаривал и попивал сухое винцо. Первый, Петя, через год переспит с Юлей, прельстившейся кавказско-эстонской экзотикой в общем-то неотесанного парня. Со вторым Ваня просидит три оставшихся до университетского дембеля года за одной партой — в разговорах, в стихоплетных дуэлях и в Игоревых полусплетнях о мире советской литературы. Первый через много лет станет другом Ивана, второй станет известным, но чуточку глянцеватым прозаиком (по его книжками будут снимать фильмы, а один аж с Егором Бероевым!).

В филфаковской общаге на ул. Большакова, большого большевика, в холле, на зеркале, ростом с Петра Первого, среди десятков записочек, свернутых и прикрепленных к раме зеркального сооружения, всегда можно было найти открытое настежь объявление «Петя! Твои трусы в 509 комнате!» На пятом этаже часто орал свои бессмертные песни прокламативного типа Саша Башлачёв, с которым Иван пил водку, и Саша, чувствуя в Ване нечто, что недоступно ему (война? тюрьма? Мандельштам?), утихал и даже улыбался, глядя на небо пятого этажа…

Ваня не любил общаги-казармы-кубрики-камеры-шконки-койки и тумбочки. Он в виду этих пятиэтажек начинал тосковать по Шатрам, по деду с бабушкой, по коню Ёжику (уже поседевшему), по корове Ночке Второй, по овцам и курям… Хотелось все бросить и спрятать свое тельце в непроходимых уральских лесах… Когда он думал стихи, себя и мир, — время кончалось, обрывалось, и пространство, прохрустывая, расползалось, как марля, намокшая кровью (осколок мины, ништяк, вынем, обезбол — спиртяшка, стерпишь?). Но когда ты думал стихи, то бишь проникал туда, где никто и ничто не ходит, не летает и не плывет, — происходил пространственно-временной синтез. Он свершился усилием разума, сердца и души — вот те и гравитация иная. Истинная гравитация. Антропологическая. Нет — человеко-поэтическая. Этот странный, видимо, индивидуальный и объединительный хронотоп всей своей метафизикой каким-то загадочным образом воздействия на физический «пространственно-временной континуум». Дурацкие слова. Пустые. Время — в тебе, а не в ваших теориях… Термоядерная бомба испарила ваш долбанный континуум. Ты думаешь себя. А это больно… Гуманитарные науки закрывают себя от мира, как горшок с пустотой, запеченной в трансцендентальной печке… Все — шульберт, харем. Инаф базара, так сказать…

Поженились Юля с Иваном еще на первом курсе, первого апреля. Для смеху, что ли?.. Филфак был сильно удивлен. Но, ничего, проглотил, привык. Через кучу лет многие признавались Ивану, что ребята и девчонки с других факультетов (и даже из УПИ) приходили на филфак УрГУ посмотреть на эту пару: она красавица, он тоже не от мира сего. Любовались… Дочь родилась в начале декабря. Юля была занята собой и зарубежной литературой, хотя занималась исторической лингвистикой (и сравнительной тож). Иван работал где

только можно: и грузчиком, и ночным развозчиком газет, и плотником, и на заводе, где начальствовал тесть: дежурил по ночам в деревообрабатывающем цехе, предварительно загрузив в сушилку вагон досок и прибрав в цехе стружку; он писал роман, потом повесть, потом рассказ. Читал свои опусы друзьям. Кому-то нравилось. Кому-то не очень. Кто-то просто молчал. Ваня сочинял (в прямом смысле и деле) то, что уже было написано кем угодно, кого он любил: от Гоголя до Юрия Казакова. В эти годы появился в Майиной «академии» Кельт, уроженец северного уральского городка Серов, студент иняза пединститута, писавший редкие рассказы, которые были необычно хороши: язык — интонация — безумие нормальной жизни и все такое. Когда Куле (так звали Юлю-младшую: ее первый коммуникативно осознанный звук был таков: «клюкля»; сначала ее звали Клюква, но потом переехали на «Кулю» — от «Кулёма» — от закутанной в платочки и шалечки девочки с татарскими, дедовыми, Череповскими глазами — от Василия Никанорыча, с которым Ваня не виделся и не слышался десять книг. Когда Куле исполнилось полгода, Юля отняла ее от груди и уехала на месяц в топонимическую экспедицию. Начался отит, то-се — Ваня месяц не спал, — каждый день «скорая», врачи, уколы. Теща помогала. Тесть матерился. Ваня молчал. Девочка выздоровела, и Ваня понял, что он теперь один на один со всеми семейными проблемами…

Начал слабеть — до полного исчезновения — запах моря: запах любви, влюбленности, желания обнять, жажды смотреть в любимые глаза. Запах моря какого? Чёрного, Баренцева, Жёлтого? Аравийского? Индийского океана? Атлантики? Бенгальского залива?.. Просто запах моря — моря небывалого, повсеместного. Запах моря на Урале. Запах моря начал истончаться: ничтожное — ничтожным, но великое — всем. Нужно думать стихи. Это единственное, что ты можешь, умеешь и без чего ты не выживешь в этой тихой обывательской среде, когда твой тесть, увидев книги, сложенные в стопки в углу комнаты, заметил:

— Кубометр книг… Нет, полтора… Нет, почти два… Лучше бы колбасы купили.

На третьем году семейной — с Юлей — жизни они вырвались к друзьям в Новогодние праздники. Город литературный, молодой — жил на кухнях. Круглосуточно. Было несколько компаний полубогемного типа, в которые Ваня (и Юля) был вхож: это Майина

кухня, своя кухня, кухня Озимова, кухня Эльвиры, журналистки, женщины лет пятидесяти, но удивительно молодой, задорной и влюбленной в Ваню, в его роман (кажется, «Учитель»). У Юли были свои кухни и дома — дамские, куда Ваню было не затащить.

Поехали — все: и Юля, и Ваня, и Саша Субботин, и Витя Смирнов, и Женя Озимов, и некто Соколовский, и другие тож к Шуре Субботину на съемную квартиру. Погуляли. Крепко выпили. Ты, намявшись по работам, свалил с кухни, бросил на пол свой полушубок, лег — и вырубился, как в Египте после боевого денька. Комнатка была малюсенькая, но с кроватью полутораспальной и даже диванчиком… Ты очнулся под утро. Сел на полу, на шубе своей, огляделся. На кровати кто-то или что-то возилось, барахталось, возякалось и перешептывалось. Ты протрезвел, закурил и закашлялся: в полумраке ты разглядел на полутораспальке сидящих с вытаращенными глазами (на тебя, естественно) голых Юлю и Петю… Ты встал. Оделся. Обулся. Накинул полушубок на плечи. Вышел вон. Купил бутылку водки. Выпил ее из горлышка в один прием. Купил еще одну. Выпил ее в два приема. Купил еще две и поехал к матери…

Запах моря исчез совершенно. Пахло почему-то нашатырем и кошкой. Запах беды… Все несчастливые семьи похожи: в таких домах или слишком светло, или темно, словно накурено и курица подгорела на сковороде. Светлая серость, светлая тьма несчастья…

В 32 военном городке, располагавшемся в Свердловске, абсолютно недистанционно, произошла утечка боевого ОВ — сибирской язвы. Светло-печальная ночь произошла как раз в трех верстах от этого, с позволения сказать, городка (забор, проходная). Иван заразился. Через три дня слег — в маминой однушке хрущёвской…

Информация о заражениях людей сибирской язвой распространилась быстро, но втихую: все помалкивали, на юго-восток, на юг и на запад города ездить прекратили — сидели по своим уралмашам, эльмашам и визам (Верх-Исетский завод — с него начинали Екатеринбург в начале 18 века), втузгородкам, березовским, пышмам, шувакишам, кушали картофан с соленой капустой, запивали водочкой и нарыпались. Катя пичкала Ваню антибиотиком (пенициллин) и приговаривала: «Дубинарум по спинарум кватум сатис». Однако не помогало: температура выскакивала за 40, легкие умирали — не воздымались, но, напротив, ужимались и болезненно принимали в себя холодок воздуха — ледяной, гибельный, смертельный…

Начался бред. Ваню ловили соседи на тротуарчике вокруг пятиэтажки. Он бродил босиком по снегу, в трусах и уговаривал каждого встречного-поперечного беречь боеприпасы, не палить в молоко, в молоко небесное, не то потечет оно, все потечет — сюда, и зальет землю нашу к такой-то ротной матери. Просил соседей, уводивших его домой, доставить на позиции побольше воды, а еще оборонительных гранат — «лимонок», то бишь «Ф-1»…

Катя провела «консилиум»: пригласила в дом толпу мужиков-врачей (среди них были и военные). Они разработали методику излечения Вани от этой военной болячки, от этой дури. И теперь с ним всегда сидела дома медсестра. Достали (с диким трудом) громоздкий ИВЛ. Переливали («доливали», как выразился один военврач) кровь. Ване полегчало. Но болел он еще долго — два с половиной месяца, до апреля, холодного и темного, как пустая деревянная пивная бочка, рассохшаяся и пропускавшая свет только сквозь щели в дощатых боках. Бочка была закрыта и сверху, и снизу — дышать, с.ка, нечем.

Ваня часто бредил. И в часы дневного, самого тяжкого, и ночного, мягкого и интересного, увлекательного бреда приходила Она. Навестить. Поговорить. Помолчать. Она читала ему новые, незнаемые Ваней бог весть откуда прилетевшие стихи. Иногда напевала ему их, а он подпевал. Из Заболоцкого. Сон? Бред? Иванов бред?

Жилец земли пятидесяти лет
Подобно всем счастливый и несчастный
Однажды я покинул этот свет
И очутился в местности безгласной…

Дальше Николай Алексеевич-Иван барахтается в промежутках бытия и инобытия до тех пор, пока не встретит мальчика. Потом Николай-Иван-Она пропевают мир, идеальный, гуманный и разумный, чистый и духовный, ровный и почти радостный. А потом…

Со мной бродил какой-то мальчуган
Болтал со мной о массе пустяковин
И даже он похожий на туман
Был больше материален чем духовен
Мы с мальчиком на озеро пошли

Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто долетевшее с земли
Не торопясь рукою отодвинул…

Или на два голоса напевали Тарковского.

Третьи сутки дождь идет
Ковыряет серый лед
И ворона на березе
Мает клюв и перья мнет
(Дождь пройдет)
Недаром к прозе
(Все проходит)
сердце льнет
К бедной прозе на березе
На реке и за рекой
(Чуть не плача)
к бедной прозе
На бумаге под рукой…

Она примолкла. А потом тихо сказала, глянув в окно:

— Ваня, ты куда хочешь-то? *Куда?*

— Я хочу быть сразу и *здесь*, и *там,* и *между ними*. Хочу быть *здесьтам* и *тамздесь* — сразу в двух, в трех местах — всюду.

— Ты уже *всюду. Всюду* и *нигде*. Такова твоя поэзия. Наша поэзия. Вся поэзия. Все ее м*у*зыки и муз*ы*ки, мысли и смыслы, образы и пуст*о*ты, ритмы и паузы. Всюду и нигде. Вот тебе Олег. Фамилии не помню.

Река темнеет в белых берегах
Пронесся ледоход неторопливо
И тишина зыбучая в лугах
Стоит недели за две до разлива
Я что-то потерял но что и где…
…
И колесо колеблется в воде…

Иван улыбался. Иван-дурак…

— *Во сне я мимо школы проходил*
И выдержать не в силах разрыдался…

— Ты идешь мимо себя. Видишь себя. Осматриваешься. Оглядываешься. Оглядываешься — и видишь иного себя. Настоящего. Тебе плохо. Больно. Любовь твоя не умрет. Ты ее забудешь. Это страшнее смерти.

— Ничего не делать? Терпеть? Забывать.

— Не терпеть, а забывать. Собственно говоря, это одно и то же. Ты побывал там, где не бывает никто. А ты побывал. Ездил, летал, ходил *туда* на побывку. У каждого, у всякого и любого есть время-место, где не бывал никто. Каждый боится его. Редкий ищет его. Ты его искал — и нашел. Ты без него теперь быть не сможешь. Sic?

— Sic… transit…

— Ну и так далее…

———

Вот я тебе прочитаю, Ваня, стихотворение одного фронтофика. Нет, не все — отрывки… а может быть, и все — целиком. Ты знаешь, *что это такое…*

Нас хоронила артиллерия
Сначала нас она убила
Но не гнушаясь лицемерия
Теперь клялась что нас любила…

— Прям, как женщина, да?

— Да, только одноразово. Женщина тебя похоронит трижды в день. И — оживит… Вот, Вань, дальше.

Она выламывалась жерлами
Но мы не верили ей дружно
Всеми обрубленными нервами
В натруженных руках медслужбы
Мы доверяли только морфию
По самой крайней мере брому
А те из нас что были мертвыми
Земле и никому другому…

Ваня смотрел сквозь Нее, как сквозь экран, на котором мелькали рамки, звезды и цифры — кина ишо не было…

Тут все еще ползут минируют
И принимают контрудары
А там уже иллюминируют
Набрасывают мемуары…

— И выписывают себе орденские и медальные жестянки, бренчалки… С.ка, герои штабные… И эти… молчи-молчи…

— Каждому свое. Судьба — манья, губастая шлея («Господи, так бабушка говорила», — вздрогнул Иван)… Дальше.

И там вдали от зоны гибельной
Циклюют и вощат паркеты
Большой театр квадригой вздыбленной
Следит салютную ракету…

— Но моих войн не было! — никто и нигде ничего не писал и не говорил. Я три слова дал — подписки о неразглашении… Нормально?..

— Да. Для войны и государства — нормально… Еще.

И там по мановенью файеров
Взлетают стаи Лепешинских
И фары плавят плечи фраеров
И шубки женские в пушинках…

— Эт точ-но…

Бойцы лежат им льет регалии
Монетный двор порой ночною
Но пулеметы обрыгали их
Блевотиною разрывною…

— Хватит! Прошу вас — хватит!..

———

— Ваня, иди замочи под левую пятку минут шестьсот… Протемнение всегда сменится просветлением.

— И просвещением?

— Иногда. Спи. Я посижу с тобой. Ты сейчас один. Один — в себе. Всех выгнал из себя. Там у тебя *том* свет. Спи. И ничего не трогай во сне. Тронешь — мир изменится. Или погибнет. Не касайся того, что первее и старше тебя. Только дуновение. Воздуха. Звучащего. Спи прямо в стихи. Они сами за тебя все решат…

* * *

Сакен Абылхапов вытащил всех: из пяти бойцов четверо были ранены. Вовка в живот. Залили водкой это ранение. Перевязали-перетянули. Юра потерял кисть левой руки — осколок градовского снаряда. Матис Луйк, Ванайма, получил лицевое (носа почти не было) но глаза — целы! — снайпер жив… Васька, Дзинтарс с перебитой ногой — в колене, с.ка… Но глаза целы — снайпер есть, второй. Ваня обежножил: осколочное множественное обеих ног ниже коленок, но идти мог. Матерясь и плача от боли. Но — мог!.. Сакен получил 7, 62 в плечо с близкого расстояния. Чуть контужен. Перевязали. Перетянули. И Сакен один всех, по очереди, перетащил в красную щель, вулканическую, что ли? Примаскировал. Ушел за 15 км в сторону моря и связался с нашими, передал: мне то ли 41, то ли 17… То бишь квадрат 41–17… Все ждем. Шесть гранат Ф-1, 0 пулеметов, 5 АК-47, 5 наполовину пустых рожков, плюс — воды 7 фляжек, водки — 3, еды — 0, табак-с есть пока (у Вани — заначки: блок «Родопи» болгарских), и еще плюс — никто не ссыт, и все хотят драться, не воевать, а рвать мясо т. н. противника; рвать — и жрать его, чтобы обосрались наемнички хе.овы: здорово раздухарились. Выживем. Выплывем. Вынырнем. Прорвемся…

———

Болезнь прижимает тебя к смерти. А ты врежь болезни слева, подравняй строй: пусть стоит рядом — болезнь и смерть. Пусть посмотрят друг на друга. А пока они знакомятся — выруби их. Обеих. Они ведь не женщины — они грамматические бабы… Шульбер — харем…

Лежишь в алюминиевых трусах, ломом подпоясатый… весь в капельницах. Вены уже убегают от игры. Ставят в кистевые вены. Кулаки в синяках, как после хорошей драки. Весна. Неужели — весна?.. Воробьи считают серебряные ложки на крышах, в деревьях, на асфальтовых дорожках хрущёвского двора. Сказали: зараза проходит. Отступает. Но с боями. Береги фланги. Укрепляй фронт. Прикрывай тыл. Мракобесие болезни сменилось светобесием: больно смотреть на окно, на свет. Болезнь уходит от тебя, отходит и опять подбирается к тебе. Ты уходишь от себя к себе — в бред, в мысли безумные. Дальше от себя не уйдешь… Весна… Катя начинала бегать в сад, коллективный, четыре сотки с домиком, яблонями, кустами и грядками. В марте, еще по снегу, с ней в сад стали ходить обе Юли — большая и малая, как Медведицы ходят с неба на землю, если стоять ночью на горе, на скале, на взгляде своем, отвердевшем от боли, болезни, хвори, слабости и силы. Сила умирать равна слабости жить. Постоянно сидишь в себе и решаешь, прислушиваясь к себе: чего больше — умирания, слабости, окрепления?.. Ты добираешься до кухни (три метра пути!) и находишь на подоконнике среди цветочных горшков (сады, как говорит бабушка; она приезжает раз в неделю из Шатров, привозит трав, еды и денег; дед ездит чаще: поговорит с Ваней — и сидит в кухне, дверь прикроет и плачет; последний Орлов-Черминский, настоящий; воин; израненный, и круглый (медалька «За отвагу!») Георгий у него есть, а звезд не нужно: о них, о звездах, пишут в Евангелии — знак диавола; а звезды-то кругом — от Кремля до ж.пы трамвая)… Настоящий Орлов, не из тех, выскочек Екатерининских, а из тех, кто Орду гонял и Пугачёва-душегуба пленил… Дед плачет. Сын генерала от инфантерии (пехоты,— и ваниной морской пехоты — sic!), попавший в Совдепию, родил с голодухи дочь, Катю, а Катя родила (от проходимца-казачка-инженера) настоящего Орлова: высок, силен, умен, студент университета. Филолог: ну, ничего-ничего… Тоже неплохо. Будет в роду не генерал, а сочинитель вроде Гоголя и Тургенева… Потом они на постели больного играли в карты: покер, бридж и Блэк-Джек (двадцать одно). Оба азартные, но Ванька умнее, сдержаннее — недаром командир разведгруппы (до пятидесяти человек бывало в иных кампаниях: пять кампаний парень отработал; Катя, слава Богу, не знает, а бабка все знает — душой: вытягивает из глаз твоих всю информацию — молчи-не молчи…).

Они резались в карты, пластались, ласково шелестели картоном, раскрашенным и разрисованным по ранжирам. Ваня поддавался. Иван Иваныч злился (картинно, как Ноздрёв). Ваня хладнокровно громил деда — но не до конца — оставался шанс, которым дед пользовался на всю катушку — и выигрывал…

Кроме деда, бабушки, врачей и медсестры, в дом никого не пускали. Андрюха жил в Шатрах (совсем съехал на трояки — учебу забросил)… Ване не было скучно: он вызывал к себе и в себя кого хотел, но только тех, кого уже не было в живых: Лермонтова, Пушкина, Тютчева, Боратынского, Анненского, Заболоцкого и — на закуску — Ивана Семёновича Баркова, поэта огромного, первого русского чистого силлаботониста и матерщинника, охальника, хулигана (Маяковский с Есениным отдыхают) и востроумного сукинова сына…

Ване нашли книжку стихов Константина Левина. Прочел — на слезе, в слезах, с горечью в душе, в сердце, в головном мозге, во рту: палец лизнешь — тоже горький…

Приходит пять и семь и девять
Вполне ничтожных лет
И все тускней в душе что делать
Серебряный твой след

Я рюмку медленно наполню
Я весел стар и глуп
И ничего-то я не помню
Ни рук твоих ни губ

На сердце ясно пусто чисто
Покойно и мертво
Неужто ничего
Почти что
Почти что ничего…

Юля передавала приветы через мать. Они встречались втроем на улице: Катя, Юля и Куля (два годика! — на ручках не ездила — ходила в сад, а это три километра, сама, или, как она говорила: «сяма»… Выносливый ребенок. В папу.).

Солнце ранневесеннее не слепило, так как внутри, в душе Ивана, в воображении его это было иное солнце, другое — осеннее. Тебе казалось, что весна и осень поменялись местами: слабость телесная, слабость душевная, слабость умственная — все это и пугало тебя, и одновременно охраняло от того, что произошло. А произошла дикость, невообразимая гадость, мерзость, после которой жить было нельзя.

Юля с Кулей однажды зашли в уралмашевскую квартиру-лазарет, вместе с Катей, которая захлопоталась с чаем, закусками, с посудой, с языком своим, неуместно работавшим — в холостую. Ты ходил почти раздетый: голый по пояс, с капельницей на плече (как с ружжом 1812 года), в трениках с огромными пузырями на коленях, на заднице — хоть Монголию туда прячь вместе с Китаем. Неприглядный вид твой не смущал никого — будто ты болел всегда, всю свою жизнь. Ты ушел с Юлей в кухню, плотно закрыл ее и еще — для надежности — подпер дверь табуретом, самодельным, огромным, весящим с пуд (в саду изготовлен Ваней — еще пацаном). Она стояла у окна, упираясь бедром в газовую плиту. Ты сел со своим ружжом к столу. Она, после долгого молчания, сказала, видимо, дереву, клену, выросшему — под окном самостийно:

— Ты фашист…

Он молчал. А что тут скажешь: твоя жена на твоих глазах (аж сердце прихватило, будто облепили его пластилином)… Ты поймал сибязву. Чуть не сдох… Да уж, фашист натуральный.

Ваня опустил голову так низко, что казался трехглавым: плечи стали дополнительными башками этого голого по пояс мужика… Она смотрела на его волосатую грудь, руки, на его отросшую бороду — ну, вылитый Достоевский в пору расстрела, или Шукшин в период загула — не малого, не среднего, но — вселенского… Ты вдруг начинаешь говорить, интонируя почти как Тарковский с пластинки.

Отнятая у меня ночами
Плакавшая обо мне в нестрогом
Платье с детскими плечами
Лучший дар не возвращенный Богом…

Она прислушалась. Совсем отвернулась к окну. И увидела там, на дворе, мужичка поддатого, волочившего автомобильное крыло

прочь. «Крылья волочит…» — подумала она. «Что я делаю?!» — подумал он…

Ты молчишь. Юли засобирались. Катя вышла проводить их до троллейбуса (метро еще не построили). А ты вдруг, как всегда неожиданно, понимаешь, что виноват ты: это ты грешил всю жизнь. Издевался над младшим братом. Хотел убить отца. Убил засохшей коровьей лепешкой гуся татарского. Украл у одноклассника кеды, новые,— извозякал их, состарил и носил преспокойненько. От нищеты? Ну да. От нищеты духа. Чуть не убил мужика с ножиком куском асфальта. Воровал у покойного Коли сигареты для Гриши-татарина, учителя твоего по рыбалке. Вспомнилось: вы идете на ветхой лодчонке вдоль берега болотного озера — и вдруг вас обсыпает дробь, а потом вы слышите выстрел: у Гриши вся рожа в крови, у тебя — спина — дробинка последняя вышла из кожи на спине через почти двадцать лет. Ты ни с кем не дружил. Книги тебя любили. Но не убивал Сайнишвили, Гурама, буйного полублатного козла. Но ты убивал. В пяти точках Земного шара. Война. Сходил в храм к священнику. Говорит: за правое дело. А может, оно было — в государственном отношении — левое?! Ты в бою не сдерживал себя. А кубинцы на юге Африки? Ножами порубили. Потом еще и дорубливали. А сколько вертолетов снесли с неба? Сколько пилотов? А охраннички с допросителями в Лаосе — троих положил. Азербайджанца обидел. До сих пор сидит в ресторанном кресле на тротуаре. А женщины? — Света, Вера, Оля, Юля, Инна и другие?.. Ты просто сваливал. Сбегал от них. Не то было. Не то. А чем ты думал? Сосиской своей?! Урод. Урод. Урод… А сколько морд разбил, поломал, перекосил? Это что? — не в зачет… Это все — точно идет в черный твой список. Список немтыря…

———

А еще: работал на законника. В России всегда три власти: официальная (монархическая или коллективно-монархическая: большевики, потом [в девяностых годах двадцатого века] жулики и прочая шваль); чиновничья (от номенклатурщиков, имевших свое микрогосударство в стране,— до псевдодемократических депутатов — из бандитов, чиновников, ельцинских миллиардеров etc); бандитская (окрепшая во время Великой войны и последней официальной — Великой отечественной; а также выпущенная на волю

стая ельцинских соколов). И ты работал сразу и одновременно и на камунисов, на чиновников, и на бандитов. Что было делать? Что было поделать? Застрелиться? — Да!..

Ты участвовал в строительстве бандитско-чиновничьего коммунизма-социализма-пофигизма. Грех. Пулю себе в лоб? Да!..

Темное место в дедовой жизни: Москва — цыгане — Урал — стало в твоей жизни материализованной мукой слушать ложь, молчать, участвовать в строительстве и работе советского и постсоветского вуза… Какой университет просрали! — Отдали его УПИ, тупому, полезному и эффективному вузу (20 тысяч студентов!). Господибожетымой…

В твоей семье: папа — сталинист и камунис; дядя (Коля) — офицер-электронщик, работавший на Байконуре; Катя — советский и уличный врач, лечащий всех — от людей до собак и котят; жена твоя Юля — из торгашеской семьи: деньги-квартиры-машины-жратва-тряпки; брат твой — будущий мент-бандит-вор-дерьмо, имеющий семь киосков на окраине города; остальные пригнулись к земле, к тарелкам, к пирогам, к соленьям и вареньям; ты — немтырь, говорящий в себя, думающий стихи, и тебе по барабану все эти хрущёвы-брежневы-андроповы-черненко-горбачёвы-ельцины и последующее ворье. Кто ты?.. Представитель отечественной словесности — научной и «художественной»? Ты — терпила. Пострадавший от себя. Ты уедешь, уже будучи доктором филологических наук и профессором, в деревню — не в Шатры: там все твой братишка продаст, прожрет, пропьет — и обидится на тебя. Навсегда. Собирал пустые бутылки на сдачу в ППП (приемный пункт посуды), потом собирал денюжки, потом забухал и т. д. и т. п. Кто ты? Зачем ты? Откуда ты? Куда ты?..

Ты читатель и носитель стихов. Ты любишь Верлена, Бодлера, Рембо, Шекспира, Данте (семь раз прочел и знал почти наизусть «Божественную комедию», «Новую жизнь»), Рильке, брата Мандельштама по тому (не — этому) свету, свету поэтическому, беспредельному… Сейчас ты, перестав умирать от сибирской язвы, открыл Давида Самойлова, поэта, бойца, тартусского отшельника…

Светает поздно К девяти
И долог этот час светанья
Где начинает свет расти…

_____
Когда-нибудь и мы расскажем
Как мы живем иным пейзажем
Где море озаряет нас
Где пишет на песке как гений
Волна следы своих волнений
И вдруг стирает осердясь…

Свет растет в тебе. И ты живешь иным пейзажем. Своим. Ты сам себе творец своего места. Оно в тебе, в твоем воображении. Там нет времени, и там все живы. Все поэты. Все музыканты. А театралы доигрывают свои ничтожные роли в земле. И все равно всех — всех — жалко… Всех, кто неодушевлен. Всех, кто расчеловечен. Всех, кто пуст.

И жалко всех и вся и жалко
Закушенного полушалка
Когда одна вдоль дюн бегом
Душа несчастная гречанка
А перед ней взлетает чайка
И больше никого кругом…

Ты попробовал быть всеми. Быть всем. Но этих всех и этого всего, оказалось, нет. Ты их придумал. Они просто живут и очерчивают круг: это мы, все и все…

Катя оставляла Кулю ночевать… Начались игры: чей ребенок? С кем ей лучше? Дочке, девочке, нужен отец!.. Мать вся измучилась. Вконец… Но Юля сделала верный ход: она влюбила Катю в Кулю, во внучку, — в «Свою внучку!..» Виноватым во всем: и в разрыве, и в уходе, и в болезни, и в измене, и в холодной весне, и во всем на свете — оказался Ваня, немтырь хренов… Но морпех держался. На Юлю даже не смотрел — пускал взгляд, как длинную очередь из ПКТ, мимо, рядом — но мимо: чаще в окно, в крест окна (в доме три креста! — не наглядишься. Ком горловой давно уже рассосался, как галечка солевая. Но зрение воспринимало лишь монохромную основу, черно-белый кариес мира.

Свиданий наших первые мгновенья
Мы праздновали как Богоявленье…

— Ну-ну… Ага… А как же. Куды деваться-то? Гоша едет на машине — чирик-ху.к-пиз.ык-ку-ку… Ку-ку… Как говорят менты, «вряд ли всего» — конец. Начался черно-белый бесконечный и бессонный фильм «С безымянного пальца кольцо / В третий раз поневоле скатилось / Из-под каменной маски светилось / Искаженное горем лицо…» Не светилось, а темнело, смеркалось, исчезало… О самоубийстве Иван не думал: рано — то ли еще будет… Он знал, чувствовал все наперед. Он даже сроки назначил: вернусь — проживем в целом 14 лет, три из них будут сказочно и отстраненно прекрасными. А потом Юля с тобой разведется: ну не тот ты, кем должен быть; нищий, немтырь, неперспективный. Обиды не было: что обижаться-то на смерть? Смерть уже произошла. Ты теперь не жив, но рожден смертью: ты, однако, товарищ старший матрос и молодой филолог, и еще моложе (по советским, воровским, понятиям) стихотворец-авангардист, футурист, то бишь фашист (как Маринетти), ты не народен, не общественен, не камунисичен, не ленинец, не сталинец, ты — с.ка, гитлеровец; мы, с.ка, кровь проливали за прекрасные стихи Симонова, Твардовского, Егора Исаева и даже Роберта Рождественского (он уже покаялся, он наш). А ты — чужд социалистической действительности.

Ты умер, но смерть тебя родила заново, не воссоздала, но именно изготовила тебя — уже иным.

Свиданий наших первые мгновенья
Мы праздновали как Богоявленье…

И — финал:

Когда судьба по следу шла за нами
Как сумасшедший с бритвою в руке…

* * *

Истерика? Нет: равнодушное понимание того, что произошло. Роль смертельно живого оказалась не тяжелой и страшной, — когда ужаснее было состояние думания того, что никогда не будет опубликовано: Меня Никогда В СССР Не Напечатают И Не Издадут. И это, Ванюша, нормально. У твоего поколения не было своей Великой Отечественной — и твое поколение сопьется, сдохнет и останется непрочитанным. Нет, конечно, были в твоем поколении литературные козлы, уроды и извращенцы: их именами еще библиотеки назовут в заштатных умирающих городках, городишках, поселках. Потом эти библиотеки исчезнут — их сожрет Интернет. Он все сожрет. Все — кроме таланта… Ты тяжко переживаешь, проживаешь, изживаешь и оживляешь свой т. н. талант. Он — онтологичен; и от прелестей общества и государства не зависит. Это обещает тебе свободу, волю и силу думать стихи…

В бессонные ночи приходил Тарковский. Арсений Александрович включал проигрыватель и выбирал пластинку: «О! "Картинки с выставки"! или: "Барочники" (не путать с барачниками!) в транскрипции Баха; Марчелло… Да-а-с…» Звучала волшебная музыка. И ты вспоминаешь стихи Тарковского.

Влажной землей из окна потянуло
Уксусной пролью хмельнее вина
Мать подошла и в окно заглянула
И потянуло землей из окна

— В зимней истоме у матери в доме
Спи как ржаное зерно в черноземе
И не заботься о смертном конце

— Без сновидений как Лазарь во гробе
Спи до весны в материнской утробе
Выйдешь из гроба в зеленом венце…

Ты спишь — не спишь, как ржаное зерно в черноземе… В Шатрах. И потом гуляешь по лунной деревне, почти Гоголевской, такой живой и мертвой, но чудесной и божественно бледной. Ты знаешь все о себе и ничего не знаешь об этом — летом — зимнем

свете, льющемся с луны на крыши крестьянских построек и на сады, и на мясистые кусты картошки и на листву трех громадных тополей, которые возросли здесь из семян, упавших с луны…

———

В мае Иван вышел из болезни. Через день-два раздумий: возвращаться на филфак или нет — он, вспомнив слова Веры Васильевны Глазыриной «учись, Ваня, хорошо, я хочу оставить вас на кафедре в качестве ассистента», — вдруг понял, что в одной фразе профессор, завкаф и ведущий лексиколог России обращается к нему как к двум разным персонам — на ты и на Вы. Как к парню, видимо, не совсем тупому, и как к мужику, который является человеком серьезным (женат, дочь, в армии служил, на заводе работал, да и на факультете лицо приятное: борода, редактор стенной газеты «Словарь», — сам назвал — суффикс «-арь» здесь со значением деятеля, то бишь тот, кто работает со словом [«Тише, Женя работает со словом!» — так говаривала Лена, жена Жени Озимова, сочинявшего стихи, рассказы, пьесы, игравшего на гитаре и носившего на запястье жирную татуировку «Beatles»])… Ты ходишь по единственной комнате, по диагонали, как в одиночке, но — от окна к окну, а не от стены к стенке. Ты проходишь всякий раз мимо двух зеркал: круглого (модерн, подарил Кате на ДР) и прямоугольного, в деревянной гоголевской раме, это зеркало сделал дед. И само зеркало, и раму прекрасную, но не мещанского пошиба, а дворянски строгую, но строгую, но сложную по резьбе (токарной, ручной — резцом), а значит, простую. Дерево было некрашеное. Дерево было золотое. Не золотистое — но золотое, как сердце сосны… Зеркальце — зеркало — зерцало — окно — лужа — река — озерцо — озеро — залив морской — пролив — море — океан: мир этот состоит из зеркал, точнее — стоит, движется, летит, гибнет и возрождается на зеркале. На зеркалах. Прилив зеркал рождает этот мир, появляет его. Отлив — уничтожает. Синтез времени и пространства вывел нас на зеркала. Недаром индейцы майя отдавали пуды золота за зеркальце — португальцам, испанцам и прочим проходимцам, — обретая могучий хронотоп, сжатый в кулаке, поднесенный к зрачку, к сердцу. И ты перетекаешь — весь — сквозь свой зрачок в это зеркальце, и — глубже, глубже, глубже — до полой, тотальной, абсолютной синевы иной прозрачности, иного зрения, иного существования, иного бытия…

* * *

В доме со «Спорттоварами», где в первом подъезде жила Юля с сестрой и матерью, в двушке, но сталинской постройки, с баскетбольными потолками, в доме этом (всегда крашенном чем-то бледно-зеленым, как океанское зеркало), в третьем подъезде жила бабушка Вериго. Ее, по всей видимости, знал весь квартал, весь микрорайон, весь центр Свердловска: это была очень пожилая женщина, то ли испанка, то ли еврейка. Ваня знал ее по магазину «Академкнига», они часто натыкались друг на друга глазами — до тех пор, пока не начали здороваться. Здоровались-здоровались, раскланивались-раскланивались — и заговорили. Однажды. Неожиданно для обоих. Бабушка Вериго пользовалась в своем (огромном!) дворе полудурной славой то ли полуведьмы, то ли полубезумной… Оказалось, бабушка Вериго любила Гегеля и особенно Канта. Иммануила. Для Ивана — Иммануила Великого… Болтали (женщины и полуженщины и детвора), что она по ночам качается на детских качелях с распущенными седыми, очень длинными, до попы, волосами, держа на груди двух котят — черного и белого. Котята тоже любили ночные качели в пустом мироздании… Через полгода бабушка Вериго полупопросила у Вани почитать его полустихи, котрые дошли до нее в списках (третий-пятый экземпляр машинописи под копирку). Бабушка прочла Ванину писанину (дюжину коротеньких стишков) и, поймав его в «Академкниге», испросила его разрешение оставить сии опусы себе… Получив смущенное разрешение, она глянула Ване в глаза — коротко, черноглазо и глубоко, как зеркало,— и промолвила: «Иван Васильевич, вы поэт ("пооэт")…» «Вряд ли всего»,— отозвался Ваня полушутливо, полуозорно: «Еш канфеты ф шкафу, да?..» Они рассмеялись, отсекая двадцатый век, и, кажется, рассмотрели и полуузнали друг друга. Полуузнали в полумире, в полустране, в полувечном полуголоде, в полусвободе без воли, но в полной красоте всего на свете…

В Юлином подъезде дома над «Спорттоварами» жила одна из дочерей Бориса Ельцина — та, которая скромнее, добрее и умней свой бойкой Наинообразной сестры. Иногда, редко, нет, редковато Ваня сталкивался на узковатой полусталинской подъездной, межэтажной, лестнице с самим Борисом Николаевичем. Обычно, если не всегда, он был отчетливо пьян, тяжел и угрюм, но не шептался

и не безобразничал, как все уральские алкаши, горнозаводские, чиновные и простонародные. На третьей лестничной встрече Б. Н. спросил Ваню: — В волейбол не играешь? Вишь, длинный какой…

Так и познакомились. Иногда стояли на межэтажной площадке и курили, стряхивая сигаретный пепел в баночку из-под бычков (для «бычков»!), прикрученную проволокой (алюминиевой) к перильцам приоконным. Б. Н. был прост в разговоре. Узнав, что Ваня «жених» (словцо Б. Н.) Юли, дочери Арнольда Гололобова, сокурсника Б. Н. по стройфаку УПИ и сотоварища Б. Н. по волейбольной сборной института, Б. Н. оживился. И глянул на Ваню, как на сына, ну, полусына или племяша. Иногда Б. Н. предлагал шлифануть «выпитое до того», коньячком или лучше водочкой, и они спускались во двор, Ваня бежал за пузырем в ЦГ, потом усаживались на скамеечку под густую сень сирени — и становились невидимыми. Б. Н. жаловался на Наину, жену свою: руглива была. Но ругала она его иезуитски — молча. Молчанка бабья страшнее мордобоя. Б. Н. отсыпался после принятого внутрь у дочки, в ее квартирке. Потом через часок-другой вставал, шел под душ. Пил крепкий чай. Разжевывал мускатный орех и катал его во рту до встречи с молчальницей-начальницей. Запах спиртного отшибало, как память контузией. Б. Н. был уже первым секретарем Свердловского обкома КПСС, но явно собирался в Москву. Но как? Как один из его предшественников Кириленко, зарезавший весь скот в области и окрест, сдав, естественно, мяса государству (Москве!) больше всех, — он, подлец, сразу был переведен поближе к кремлю, стал членом политбюро — гном со сморщенной рожицей и ненавидимый уральцами до скончания веков…

* * *

Примирение произошло в конце мая, в самое безумное время, когда живое ищет живое, чтобы, убивая себя и себе подобное, любить. Только это другая любовь — мощно животная, похотливо-непременная и дурная. Они с Юлей сидели на лекции, но порознь, в разных концах большой аудитории. Ваня отправил ей записку: «Пошли отсюда? Прямо сейчас?» Юля получила записку, прочла и встала, и он встал. Они вышли — без извинений и раскланиваний — из аудитории, из университета, из себя — в себя…

…Иголки черные и сосен чешуя
И брызжет из-под багровая брусника
И веки пальцами я раздираю дико
И тело хочет жить и разве это я…

И разве это я ищу сгоревшим ртом
Колен сухих корней и как во время оно
Земля глотает кровь и сестры Фаэтона
Преображаются и плачут янтарем…

И тело хочет жить, забывая о душе, которая так надсажена ужасом безвременья любовного и вечностью безлюбовной, что ты постоянно кричишь в себя, как в пропасть. И земля, напитавшись кровью твоей, пустила кровь свою в себя: и ладони твои пахнут травой, землей и водой. И — огнем…

———

Ванина теща Светлана Гололобова «сварганила» молодым и помирившимся комнату в доме сталинской (древней уже) постройки — двадцать кв. м. в коммуналке. В двух меньших по площади комнатах жили одиночки: горький пьяница и толстая нечесаная баба — первый не докучал, вторая же вечно торчала в ванной, куда попасть было трудно да и невесело. Везде была видна кровь: на стенах, на полу, в умывальнике и в ванне. Тетенька то ли устраивала свою личную жизнь, то ли работала проституткой, поэтому часто делала криминальные аборты: ванна с окровавленной очень горячей водой и длинные толстые вязальные спицы, коими происходило самоочищение утробы. Юля здесь жить не могла. Иван изредка заходил в их комнату-комнатищу с друзьями-сочинителями выпить да послушать самодельные стихи, прозу или поорать песни Высоцкого с Высоцким же, оравшим свои опусы с магнитофонной ленты. Было весело и неуютно. Балкона не было — курили в комнатории до рези в глазах… Вскоре теща, женщина пробивная и всех-знающая, как-то разменяла все на свете на кое-что, и Юле с Ваней досталась однушка в девятиэтажной брежневской стене (семиподъездная махина — по тем временам в городе Бажова — редкость)…

———

Гололобовы съезжали, разъезжаясь по закоулкам, но поближе к центру. Арнольд Борисыч, тесть, давно ушел от Светланы к другой Светлане, которая родила ему дочь. Светлана Первая психовала и была сверхактивна. Бабушка Васильевна, мать Арнольда, бушевала в своей двушке хрущёвской, недалеко от центра. Семья была, как говорили в те времена, продуманная, то бишь «умела жить» при любой власти. Единственным необычным и «неторговым» человеком была сестра Юли, младшая — Мария, она училась в консерватории, любила Шостаковича и все такое.

С Б. Н. Ваня попрощался — навсегда — в его том неопределенном состоянии и статусе, — разом и обычным образом: они напились, столкнувшись у подъезда — Ваня выходил из этого спорттоварного дома навсегда — Б. Н. входил в дом отсыпаться после пьянки. Они обнялись. Взяли водки и просидели на заветной скамеечке под сиренью до поздней ночи.

— Б. Н., что с вами? Вам плохо?

— Нет, Вань, я мысленно получаю часть завтрашних пилюлей от жены…

Так печально и разошлись. Навсегда. Б. Н. ждали будущие реформаторы — комсомольские капиталисты. Ивана ждали только стихи. Он сидел, уже один, на скамеечке, и сирень касалась его рук, его лица и слез на щеках. Пьяных слез? Нет, скорее, слез сирени, которая плакала Ваней.

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст как струпья положил

Он понял масла густоту
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето
Расширенное в духоту…

Приближался глубокий обморок страны. Струпья снега, смерти, самоубийства… Прикроют срам весенне-летней красоты. Срам красоты и духоты. Духоты советской, российской, уральской. Духоты планетарной. Духоты вселенской.

VII. Каждую ночь во сне

Иван вернулся в семью («вернуться в семью» — общеизвестная идиома семидесятых-восьмидесятых годов двадцатого века). Вернулся — не возвращаясь; они жили вместе, втроем: Юля, Ваня и Юля маленькая (Клюкля, Клюква, Куля/Кулёма) — в новой однокомнатной брежневке, где Иван обшил (в комнате) три стены (исключая оконно-балконную) книжными стеллажами; книг было немало, все классика и современная поэзия, — с двумя сериями (сотенными по объему) — «Литературные памятники» и «Библиотека поэта». Это была уже коллекция: книги первого (разноцветного) и второго издания «Библиотеки поэта», синего цвета; и болотно-чумазого цвета памятники литературы от античных до средневековых и современных авторов (классиков) — от Еврипида и Катулла до Данте, Ларошфуко («Максимы»), Монтеня («Опыты») до русских прозаиков и (слава Богу!) поэтов (Тютчева, Баратынского, Блока и других; Некрасов тоже был, но его Иван на дух не переносил: развесистая сладкая клюква с приторным комом сострадания в горле пролетарской культуры); в «Академкниге» Ваню знали: главный продавец (или старший?), симпатичная пожилая женщина оставляла для него книги, и недавно он «отхватил» Рильке «Новые стихотворения»… Он водил по утрам в садик Кулю и забирал ее оттуда вечером (однажды не забрал — загулял с местной поэтической шпаной, и воспитатель, хорошая женщина, привезла дочь на автобусе в новый дом Орловых (как думал Иван, понимая, что это дом Гололобовых).

Каждую ночь, во сне, Ивана убивали. Чаще в Индокитае. Сибирская язва не снилась: вся вышла вон через бред, галлюцинации и бодрые умирания то ли плоти, то ли сознания, то ли мира внешнего, то ли внутреннего. Сердце подсело, ослабло. Нервы впервые заработали на всю катушку. Иван молчал. Короткие раз-

говоры с женой. Прогулки с Кулей. И — участившиеся попойки с друзьями-товарищами, трудно пережившими советскую молодость. Страна еще не трещала по швам, но уже потрескивала внутри, глубоко — под ногами и над головой — небосводом, погодой, воздухом, пахнущим жженой резиной и невоздухом, пахнущим ложью, лжей, ржой, пакостью газетно-радио-телевизионной. Ты все чаще начинаешь думать: ну почему тебя не грохнули в Лаосе, в Египте? Ножки прострелили. Театрально порасстреливали. Поокружали негроидами, кубинцами, французскими легионерами. Попридавливали вертолетами. Подолбили минами. Постреляли (чаще — с вертушек) во лбы — ан, мимо, мимо, мимо… Ты представил себя, вообразил себя, придумал себя, живущего через сорок лет и пишущего эти строки. Ты живешь в деревне с каменистым названием (Урал ведь!), один, но с собакой, лайкой. Потом вдруг — молодая жена, уже третья по счету. Ты пишешь все это. Ты думаешь, тебе кажется, что ты пишешь, но реально и ирреально это она, эта вещь словесная, пишет тебя, воскрешая то, что недоумерло. Ты уже не умираешь во сне: там ты давно мертв и смотришь по ночам, под утро чужие сны. Сны бывшей жены Юли, сны второй жены Лиды, сны Кати, умершей в 2004 году, но не отпускающей твою душу — такая любовь. Сны убитого Арефьева. Сны погибшего Махача, Пети Яковенко (все о Лаосе, о Лаосе). Убитый Арефьев? Самоубитый? Кто убил Арефьева? Сталин? Чугунин? Алюминин? Железнин? Уранин? Полонин?.. Гамлет, убивая себя, прогоняет мир от своего суда к самосуду… Сны Вовки Симака, пустившего себе пулю в лоб на даче в Комарове, недалеко от Ахматовской будки. Пулю себе в лоб из «Тульского Токарева». Из «ТТ»… Трамвайно-троллейбусное что-то… Юра Дмитриев удавлен собутыльником в родной деревне или удавился сам по пьянке. Сны. Просто сны и сны снов сынов сна…

Сын сна? Или сон сына своего мира? Ты видишь сон второй своей жены Лиды — и во сне своем-ее чувствуешь мощь боли, которую она перенесла после твоего ухода. Ты видишь сон своей бывшей жены и, находясь одновременно в двух снах, испытываешь все, что испытано ею и тобой, и все, что будет еще испытано тобой сейчас-завтра-в смерти-после смерти, откуда ты проникаешь в чужие сны, оставаясь в своем сне, мире, муке, музыке, тишине, пустоте и — опять! — в музыке…

Сны деда Ивана Иваныча Орлова всегда отталкивались от страха, летели от него, казалось, прочь, но все прочее окрест снов Ивана Иваныча было страхом. Сны Осипа Мандельштама дневали в стихах его, а ночевали в воздухе, которым дышал Ваня. Которым дышали все, но не все насыщали свою кровь поэзией небывалой, почти чуждой и вместе с тем неопровержимо родной. Сны поэта, сны поэтов — это призраки стихотворений, музыки, семантики и гармонии, — призраки, появляющиеся и существующие до появления и после исчезновения (то бишь написания) стихов. Ты крутишь в памяти или тебя крутит, вращает вокруг себя легкий, грустный и ужасный по существу и веществу своему стишок Тарковского.

…Гнутым словом забавлялся
Птичьим клювом улыбался
Встречных с лету брал в зажим
Одиночества боялся
И стихи читал другим

Так и надо жить поэту
Я и сам сную по свету
Одиночества боюсь
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь

Там в стихах пейзажей мало
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма
Только люди как попало
Рынок очередь тюрьма

Жизнь должно быть наболтала
Наплела судьба сама…

Это слово забавляется поэтом. Осипом. И одиночества не боялся: поэт — певец, поэт — пловец; одиночество певца и одиночество пловца — вот тотальное, безысходное и плодотворное и, с точки зрение гармонии, бога и абсолюта, — одиночество поэта. Это нормально: без одиночества не возникает вещество поэзии.

Нет. Будут — так себе — песенки для людей, живущих веществом иным — веществом жизни бытовой, которое одиночества боится. Одиночества бежит обыватель. Да? Одиночество — снование по свету, рынок, очередь, тюрьма. Жизнь — нема. Жизнь — немая, но не немтырь, если ты крупнее жизни. Крупнее судьбы. Крупнее языка. Крупнее толпы и речи. Крупнее себя… Судьба-то наплела. Судьба — она как советское литературоведение, оправдывающее все — и гнусное, и кровавое, — только не поэзию: она не нуждается в оправдании; она оправдывает и жизнь, и судьбу. Она оправдывает все. Она вынуждает бытие делать выпрямительный вздох.

И Шуберт на воде и Моцарт в птичьем гаме
И Гёте свищущий на вьющейся тропе
И Гамлет мыслящий пугливыми шагами
Считали пульс толпы и верили толпе

Быть может прежде губ уже родился шепот
И в бездревесности кружилися листы
И те кому мы посвящаем опыт
До опыта приобрели черты…

Музыка-поэзия-гармония были всегда. Еще до речи и до нарастания толпы. Вот — одиночество: ты убеждаешь себя в том, что тебя нет — а есть только звук, шепот, призрак мелодии, муки и счастья, — и все это до тебя и без тебя… *Без тебя.*

* * *

Советское неудержимое и всеобщее воровство постепенно превращалось в подпольный российский бизнес. В нищей стране, где было странно видеть-встречать в Москве мерседесы (два) — то брежневский, то высоцкий. Ивана начали посылать на научные конференции то в Москву, то в Питер (в другие города-университеты он не ездил). В Москве уже накануне университетского дембеля Ване удалось прослушать недельный спецкурс Сергея Сергеевича Аверинцева, посвященный русскому духовному стиху… Это было в римской аудитории в здании старого филфака. На огромную, как показалось Ивану, сцену вышел небольшой дядька в сером, сильно

поношенном костюме (нижние торцы брюк были обтерханы, с молодой бахромой, еще нужной и непротивной, башмаки были стары, стерты, неизвестного природе цвета, нечищеные, со скошенными каблуками — (и меня скосило время, как скосило твой каблук…), в белой рубахе, без галстука (или в галстуке? — но таком, что его было не видать). Аверинцев вышел на край сцены-подиума, укрепился каблуками, так что носки башмаков нависли над бездной ямы — то ли оркестровой, то ли межпланетной, то ли над прорвой, разверзшейся между человеком и культурой. Он стоял на каблуках и покачивался на краю чего-то ужасного и прекрасного, носки его башмаков (не — ботинок!) колебались ритмично в пределах амплитуды духовности аудитории. Аверинцев заговорил. Его артикуляция была явно интеллигентско-зэковской — это Ваня узнал, учуял сразу: но ведь Сергей Сергеевич не сидел!.. — и слава Богу… Сонорные, свистящие и шипящие сначала отвергали твой слух, отталкивали его — ты ни хрена не понимал — ни слова. Но! — через две-три минуты ты въехал, вперся, втянулся, влетел в Аверинцевский текст и сидел в первом ряду, как на средне-верхнем небе. Небо аудитории иногда касалось Ваниной головы — и Ваня чувствовал себя частью речи Аверинцева. Впервые он узнал звук и запах науки — тихий, чуть пыльный, но не душный, а небывало свежий…

Ваня смотрел на нос Аверинцева и думал: это не нос, а ност какой-то. Ност Нострадамуса и Гегельта, ност Канта (любимого Ваней) и будущего Хайдеггерта. О, этот «т»! — он, глухой, но твердый, как «ер» (ъ) держал на весу всю словесность.

Боже! Где ты, Ваня-дурачок, был все это время?! Гравитация Аверинцевского курса не искривляла время и пространство, но делала их пластичными: они облекали тебя, обнимали, отталкивали — и ты плавал в себе, как в невесомости; это как прыжок с семи тысяч метров — полет до раскрытия парашюта, с мыслями не о приземлении, а о кислороде в маске, в баллоне заспинном. О кислороде мысли, мощи и силе ласковой смерти, обещающей вечность. Курс Аверинцева как стихотворение (напевное, глуховатое, призрачное) в прозе вызывало из Пустоты — в тебя — эхотворение, лови его. Лови. — Это ведь навсегда. Это тебе не жизнь, не общество, не игрушки истории, это — чистая эластичность времени, стремящегося сквозь пространство к вечности. То бишь к истине, которая недоступна, но плодотворна, если ты ее наконец-то ощутил.

Поэзию речи Аверинцева Ваня услышит еще несколько раз: разговаривая со Святославом Николаевичем Рерихом (они дружили с ним в Индии, где Иван работал три года и преподавал русский язык в Керальском универе); переговариваясь с Ольгой Александровной Седаковой; беседуя и переписываясь с Александром Семёновичем Кушнером; учась науке как таковой у Веры Васильевны Глазыриной, его завкафедрой; говоря с Майей Петровной Вяземской, дружа с ней и любя ее — до гроба; перезваниваясь и переписываясь с поэтами, такими, как Дима Месяц, Саша Калужский, Сергей Шестаков и др.; встречаясь с Петром Чейгиным, с Сергеем Гандлевским и др.…

Ты слушаешь поэтов-художников-мыслителей — в себя; и говоришь с ними так, будто говоришь в себя, сквозь себя — и себе, и собеседнику, и миру. Ощущение счастья преувеличивается и разрастается в полное слияние немого-звучащего со слышащим-предзвучащим. Предзвучание напряжено до тех пор, пока ты не станешь стихотворением — весь, внезапно-ожидаемо и навсегда. Эхотворение ведет тебя к тебе, и ты звучишь то в числе единственном и одиноком, то в числе деревьев и птиц, то в бесчисленности гармонии и ужаса красоты.

Она не еще не родилась
Она и музыка и слово
И потому всего живого
Ненарушаемая связь…

Да обретут мои уста
Первоначальную немóту
Как кристаллическую ноту
Что от рождения чиста…

Немтырь — это исходник, это источник. Немтырь — первоначален. Немтырь — ненарушаемая связь всего живого.

Говорить в себя — это мучительно и сладко. Ты, естественно, хотел бы, но не жаждал разговора со сверстником, с девушкой. Особенно ты тоскуешь по прикосновениям — взаимным — ее и твоим с пересекаемостью жеста, ласки, нет — ласковости, напитанной страстью. Низ живота твоего тоскует по женщине. Но — не любой. Какой?..

Ты, кажется, уже прокололся с Юлей, с этой семьей, с этим несостоявшимся союзом. Ты сам виноват: тебе мнится, что все окрест тебя и с тобой — такие же, как ты. Все думают и говорят в себя, а изредка делятся тем, что отыскивается не в быту и не в коллективных существованиях, а в себе. Ты — фильтр эфира, времени, божественных чудес и загадок; ты — накопитель любви. А любовь — накопитель тебя. Ты, в последний день пребывания в Москве, после последнего стихотворения в прозе, прозопоэтического текста лекции спецкурса Аверинцева, — решаешься подойти к нему. Подходишь — и видишь перед собой себя — такого же немтыря. Вы разговариваете. Об Осипе Эмильевиче. Сергей Сергеевич читает тебе стихи — свои, всеобщие, божественные.

Когда смерть посмеется надо мною
Как та что смеется последней
И сустав обессилит за суставом

Твоя да будет со мною Сила

Когда мысль в безсмыслице утонет
Когда воля себя потеряет
Когда имя мое позабуду

Твое да будет со мною Имя

Когда речам скончанье настанет
И язык глаголавший много
Закоснеет в бессловесности гроба

Твое да будет со мною Слово

Когда все минет что мнилось
Сновидцу наяву снилось
И срам небытия обнажится

Пустоту мою исполни Тобою

Он диктует. Ты быстро записываешь текст так, как будто это наиважнейшие разведданные о Лаосской базе повстанцев. Быстро, скоро, точно, со строфоделением. Аверинцев просит твой листок с его стихотворением. Удивляется и радуется — все точно: Сила Твоя, Неимя мое, Имя Твое, Слово Твое и Наше, Пустота моя послесмертная и, наконец, Ты. Ты. Не Она, не Смерть, а Ты. (Ваня чувствует Ее рядом, сбоку — почти за спиной; Она касается его левой лопатки — легонько. Она улыбается и радуется Ване, Сергею, Слову и Ему.) Вечером, перед отъездом ты напиваешься. Ты выпил много. Но ты трезв, ясен и светел.

Ты покидаешь ДАС (Дом аспиранта), где жил неделю на высочайшем (по тем временам) этаже: девятнадцатом? сто одиннадцатом? триста тридцать третьем? С тобой новые незнакомые знакомцы: аспиранты МГУ, физики — четыре неразлучных таракана и торчок… Ты по садовой привычке, сидя спиной к распахнутому окну, бросаешь в небо, через плечо, пустую бутылку из-под водки. Вы летите на лифте вниз. Находите место падения земно-небесного стеклотарного тела: в асфальте лунка глубиной в 2–3 сантиметра; осколков нет — стекло разбилось в пыль. Вот — синтез времени и пространства. Тебя провожают из этой сингулярности на Три вокзала, и ты, на верхней полке, всю ночь говоришь и думаешь в себя продиктованное Чудом стихотворение.

———

О научной (и какой-либо другой) карьере Иван и не подумывал — он просто жил в себя: с музыкой, стихами, словесностью и лингвистикой. Все, что оставалось от Ивана, мерцало окрест во внешнем мире. Этот мир был слишком очевиден и прост: политика, деньги, идеология (везде — и на Западе), развлечения и подневольный (во всем мире) труд. Иван жил в себя, и все, что оставалось от него, поглощалось миром внешним, общественным, государственным, бытовым (многовато миров для одного!). Ты работаешь — думаешь и звучишь — в бездну, которая велика, великолепна, велемолчалива, но не велеречива, как люди. Она — тишина говорящая и тишина слышащая, она — пустота неиссякаемая и пустота преисполненная. Пустота родительная. Но — не родительская: она — огненная точка объятия времени (которого нет: есть только вечность) и пространства (которого так много, что его нет: оно мощно и темно входит

в вечность — и рожает новые миры, и повторяет прежние, после их исчезновения). Исчезновение чревато космосом. И — экокосмосом, если думать, слушать и жить в себя…

Ивану было больно. Больно любить Юлю. Больно любить Кулю. Больно любить Майю. Больно любить Сашу Сидельникова, Катю, Игоря и всех-всех, кого он любил. Он любил людей — всех, но уважал не всех. Его — пока, временно, а значит всегда, спасали Вивальди, Гайдн, Пёрселл, Рахманинов, Бетховен (домашнее имя «Бетх» — почти индийское, сказочное), реже — Бах, чаще — Корелли, Альбинони, Марчелло и другие парни из бездны. Ему помогали думать стихи Да Винчи, Микеланджело, Врубель, Данте, Шекспир, Осип, Райнер (Мария), Фёдор Иваныч, Александр Сергеевич, Евгений Абрамыч, Арсений Александрович, Николай Заболоцкий — Николай Алексеевич; реже — Пастернак, Цветаева и Ахматова; и никогда — эстрадники, клоуны и сервилисты. Тебя обвиняют в эскапизме. И — правильно: ты — оскапический эскапист, немтырь и пловец, бывший (бывших не бывает) боец, думатель мира и стихов. Ох — как больно. Больно. Жить — больно. Но не страшно.

———

Учеба в универе подходила к концу. Иван все чаще зависал «в гостях». У него появились любовницы — или он у них возник, точнее — возникал и исчезал. Можно ли любить одну, а спать с другой? — Можно, — неожиданно вскрикнул дворник… Иван работал везде, где хоть чуть-чуть платили. Половину заработанного отдавал жене, остальное тратил на книги и выпивку. Он связался с артелью «Новый поворот» — с ребятами, молодыми преподавателями с разных факультетов, с которыми только пил и барагозил — на работу они к себе не звали: строить коровники, клубы и другую мелочь по селам и городкам Свердловской области. Шарахались они знатно. Круглые сутки. Один из лидеров «Поворота» рыжий амбал Джек, чуя предразводное состояние Вани, как-то под Новый год сочинил:

Льется водка пляшут телки
Веселится весь народ
А Орел висит на елке
Здравствуй жопа новый год…

Ваня ответил:

Эх туманы-растуманы
Дождик проливной
Мой пиджак во-первых рваный
Во-вторых не мой…

Эту печальную частушку Ваня спер из Майиных уст: автор шедевра уже помер — был убит машиной в родном ему (и Майе) Крыму, ночью, по пьянке. Автора звали Геша. Это был двуметровый красавец — баскетболист, историк, археолог и проч. Он был одновременно и знаменит (в Майином кругу словесников-друзей), и безызвестен в перепаханном поле советской литературы, которая терпеливо дождалась своей смерти в 1988 году (ждать осталось недолго — восемь лет). Это был странный человек, социальный аутист и гениальный мужик, однажды сказавший Майе: — Майя, не важно, где живешь ты (в Свердловске) и где обитаю я (в Крыму); не важно с кем ты сейчас и с кем я… Да и вообще не важно, жив ли я…

Ты жил в пустоте. Тебя обзывали — за стишки твои — эскапистом, асоциальным типом, внутренним врагом СССР. Журфак УрГУ выпустил учебную газетку (А-4, 16 стр.) со стихами и прозой ребят из литобъединения. Некто Чернов из Главной Газеты Урала опубликовал в Главной Своей Газете статью на полную полосу с названием «КТО среди нас?!», обозвав стихи Ивана и остальных «мертворожденным выкидышем» (! — см. грамматику и семантику сей идиомы), а Ивана заклеймил как засланца с Запада: «Его стихи — это переводы образцов западной загнивающей поэзийки…» Да-а-а… — не мохай, кастрюлька: ты еще полюбишь… ну чта паделаиш еш канфеты в шкафу… Или в «шкафе»?! Твою ж роту и дивизию, и всю отдельную разведроту имени Родины…

Ты жил в пузырьке воздуха — в стекле, и сквозь тебя твой воздушный шарик было видно так далеко, что Радищев с Гоголем отдыхают. И Чаадаев тож. Стекло было, пузырек воздуха был, и ты был, а окна не было. Не было и зеркала с таким пузырчатым изъяном. Тоска. Не Чеховская. Вселенская… Ты запивал. Останавливался. Писал статьи научные. Гулял с Кулей. И думал, думал, думал стихи. Безумие. Окна-то не было!

В России холодно в Италии темно
Власть отвратительна как руки брадобрея
О если б распануть да как нельзя скорее
В поэзию широкое окно…

Нет, в поэзию — окно, — это дико. Поэзия сама себе окно, стекло и камень. Она бесконечна и как проем во все пространства и времена, и как стекло, в котором изредка появляются увеличительные слезы воздушных пузырьков. Нет, это не бракованная сфера. Это — множественная оптика поэзии вербализованной, оязыковленной.

Человек в тебе может мнить себя всемирным поэтом, поэт в тебе — или думатель стихов — понимает, что ты — часть поэтического воздуха, потока увеличительных капель жизни в холодном стекле мира, мироздания, общества, литературы и проч. В детстве вы с пацанами в Шатрах часто, ежедневно ходили на ходулях: на шестах с прибитыми к ним короткими брусочками, — чем выше они прибиты, тем опаснее ходить и тем свободнее быть — вверху, почти в ближнем небе, — античные котурны отдыхают… Ты ковыляешь на ходулях в небе, а рядом бежит с восторженной мордой мохнатый человек «Типа собака». Или типа собаки. Или из семейства псово-человеческих. Идешь-плывешь-летишь, выше всех и вся, — и дух захватывает нечто нечеловеческое и нептичье, и не ангельское, а скорее свободное, абсолютно свободное от гравитации, прежде всего… Ты падаешь. И тебе не больно. Ты беззвучно смеешься. И вновь взбираешься на ходули — с окровавленными локтями, плечами, коленками, ладошками и немохнатой мордой собаки «типа человек». Когда ты внутри этого вертикально-горизонтально-диагонального движения на ходулях, ты знаешь, что это повторится — и не раз: с каждым прочтенным, услышанным и продуманным стихотворением, с каждой любовью, несчастной и губительной; с каждым рывком познания — духовного и научного; и, наконец, это ощущается, когда ты внутри боя, атаки — фланговой, с тыла и проч.; внутри боя, как внутри дерьма или внутри пучка электрических разрядов; внутри боя как внутри дерьма, и дерьмо — это ты — весь: в божественном дерьме; и ты — дерьмо, и ты его (себя!) не замечаешь, потому что тебе некогда выплюнуть себя из боя, из дерьма; некогда утереть лицо, убрать это из ушей, из носа, из глаз, из души, — и ты пылаешь, как душа твоя, промороженная

насквозь, пылает в тебе и окрест — в войне, в любви. Стихи умывают тебя, омывают влагой слезной и любовной. Стихи начинают думать тебя.

Стихи начинают думать тебя.

Заблудился я в небе что делать…

Не разнять меня с жизнью ей снится
Убивать и сейчас же ласкать
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска

Не кладите же мне не кладите
Остроласковый лавр на виски
Лучше сердце мое расколите
Вы на синего звона куски

И когда я усну отслуживши
Всех живущих прижизненный друг
Чтоб раздался и шире и выше
Отзвук неба во всю мою грудь…

———

Если шагаешь на ходулях, то не заблудишься: круговой горизонт вяжется в узел, шкотовый, и затягивается так, как щеки втягиваются в рот при сильной табачной затяжке. Ты, немтырь, вечно ходишь на этих пацанских, деревенских сооружениях — и тебе легко жить и умирать от любви и стихов. Юля, жена твоя, пыталась вскрыть вены — изрезала тупым (самым тупым) ножом полукухонным запястья, глубоко расцарапала кожу — до вен не дошло. Вызвали скорую: народу в доме было много, но дома было два — тещина двушка в первом подъезде и их однушка в восьмом. Ты был в это время в тещиной норе с друзьями и вином, а Юля и подружки ее — в набитой книгами квартирке уже немолодоженов, но — так себе — среднеженов. После скорой помощи, обработки ран и перевязок — все собрались у тещи (слава Богу, она была в отъезде, а с Альбертом, мужем ее и другом Б. Н. Е., они уже

не жили — вместе). Осудили тебя. Ты хлопнул стакан водки и ушел на две недели. К Майе Вяземской.

Это был не запой — это был заплыв, не в сторону от любимого, дорогого, но нежеланного острова, а просто — прямо в куда и в никуда, в чистое открытое пространство какой-то небывалой и запретной воли. Пока ты пьян от свободы, ты еще держишься, но хмель начинает слабеть — и ты выныриваешь в муку, в стыд, в свой позор, в свой ужас. Время проходит, и ты идешь домой «сдаваться». А там, дома — долгая, молчаливая и безысходная война. И ты вновь срываешься — и плывешь прочь. В такие заплывы ты живешь у Майи Вяземской, дворянки, скрывающей это от чужих, дочери дворянина, лесничего всего этого края; дочери дворянки, бывшей хозяйки имения в Крыму, в Древнегреческой Колыме, как говорила и писала Майя. Они жили тихо. Недавно умер отец Майи, парализованный, — она за ним ухаживала рьяно и трепетно, «ходила» за больным и умирающим, как говорили в деревне. Потом Майя «ходила» за больной и ослепшей матерью. А потом — за дочерью, болевшей тяжело и непрестанно.

Они жили ровно, дружно, полюбовно и умно (благодаря Майе, ее способности знать все). Принимали гостей, ходили вместе в «четырку» (гастроном № 14) за едой. Однажды ты вдруг, переходя улицу Декабристов (декабристов, любимых тобой и молчаливо не уважаемых Майей), сказал:

— Майя, я благодарен тебе за тебя, за твой талант. Ты мне очень, дико помогаешь. Особенно со стихами.

— Ванечка, да это я тебе благодарна: это ты меня многому научил — показал свободу поэзии от общества, от истории, от языка, наконец…

Иван понимал, что это не совсем так: Майя, и только она, научила его чести, достоинству и совести писательско-поэтической. Говоря языком т. н. науки, она показала тебе пример идеального, благородного и независимого «творческого поведения». Честь. Совесть. Достоинство… Еш канфеты ф шкафу… Ничта ни паделаиш.

Майя была Нефертити. Невысокая, но вся — вертикаль, нежная и сильная. Хрупкая и невероятно выносливая: «Я так долго со смертью жила…» Виталий Волович сделал ее голову, сначала в гипсе, потом в мраморе — русская Нефертити… Озимов, кстати, когда слышал имя «Нефертити», всегда говорил, как бы под нос себе

и пространству: «Шея, как у Нефертити, тити, как у Нефершеи». Язык обнялся с царицей. Не напрягая ручонок синтаксиса, облепил божество — и стал божеством…

Приходило время — всегда в голову, а не в сердце, не в душу, — и ты засобирывался плыть на свой родной остров. Остров Майи был свой, но не родной. (В глагольной форме, неправильной, засобирывался, кроме ароматов просторечности и старины, мерцало слово «собороваться». Близкородственные лексемы. Близкородственные мученики Майя и Иван.)

Он с неимоверным трудом входил в прежние воды (и не дважды, а многажды) и плыл. Плыл из живой воды в мертвую.

Я тень из тех теней, которые однажды
Испив земной воды не утолили жажды
И возвращаются на свой кремнистый путь
Смущая сны живых живой воды глотнуть…

Ты плыл долго, выбирая путь поокружнее, подальнее. Ты становился невидимкой, как в Лаосе, когда шел свои тридцать метров от каталажки к периметру колючей проволоки. Прыжок — и ты в уме?! И ты опять безумен. Там, на твоем и ее острове, ни хрена не изменилось. И не менялось. И не изменится. Никогда.

———

Студенчество твое закончилось. Прошли три месяца сборов военных от военной же кафедры. В УрГУ мало парней, но рота набралась. Четыре взвода: три с журналистами и математиками-физиками-механиками; четвертый взвод — химики, биологи, филологи и прочие представители сферы неестественных наук. Офицеры — те же: милые раздолбаи-алкаши, которые всегда были серьезны то ли от похмелья, то ли от редкой и мучительной трезвости.

Иван командовал четвертым взводом. Их было двое, служивших в армии: Саша Сидельников и Ваня. Игорь отмазался от военки — ушел сразу из универа в литературу: остальные не-жили еще три месяца, в Елани, под Камышловом (родина Б. Н. Е.), где Ваня с отвращением слушал базовый фольклор срочной военной службы: прапорщик Обуй.уйко, старшина роты; Бэрэжысь, Серёха!; речь боевого офицера на тактических занятиях: «Значит, так: берем

большой огромный бак — нальем воды, и — хрен туды: поссать, посрать, перемешать, прокипятить — И Можно Пить!..»; — Застебнысь, бо нае.ну! — Товарищ адмирал, застегните воротничок — он два раза не повторяет (опять о старшинах); На — кури: эти суки научат; и прочее. Милое, вонючее.

Военные лагеря опоганили воздух в огромном районе Свердловской области. Пять вузов загнали сюда две тыщи выпускников: диплом о высшем образовании — без отбывания наказания за твой мужеский пол в лагерях — не выдавали. Юля приехала однажды (еще что-то теплилось у них с Ваней) — но! — ехать на поезде 5–6 часов — это уже слишком для барышни. Они ушли в лес. Сделали там свое супружеское дело: отдали долг друг другу — и Юля уехала.

Лагеря эти «партизанские» (переподготовщиков называли в те времена партизанами) были тяжелые (три месяца в лесу, на жаре) и почти апокалиптические: застрелился из «Макарова» Толя Коган, математик; почему? — два взвода параллельно отплясывали на стрельбище — математики вели стрельбу по мишеням из пистолетов (из уродливых, неудобных и неубойных «макарычей»), Ванин взвод метал боевые наступательные гранаты (РГ-7). Все шло нормально. Вдруг командир математиков прибежал к Ване: там у нас Коган поранился — отгонял муху стволом «Макарова», и — случайный выстрел.

Иван усадил свой взвод на травку. Погрозил кулаком и рванул на соседнюю линию (метров пятьдесят). Толя Коган лежал на рубеже огня. Он был жив. Ваня повернул его: входное в висок, глаза вывалились — выхлопные газы вошли в череп. Все. Конец. Конвульсии длились долго. Ноги еще бежали куда-то, а тело лежало убитое. Руки вытянуты по швам. А ноги бегут. Бегут отсюда, из этого дерьма, из этого тупизма, из этого зла, из этой тоски… Иван накрыл Толю крапивой. Взвод математиков отвел прочь от огневого рубежа и Толи. Показал и этим кулак (Иван дал себе слово в лагерях ни с кем не драться — не получилось, скоро придется дважды врезать двум подлецам). Послал — бегом — командира математиков Мансурова (говорят, был гений, он через десять лет, став доктором наук, умрет скоропостижно от опухоли в головном мозге) к полковничку Бабину, начальнику огневого цикла — офицер сидел в палатке с чайком-кофейком — коньячком в трехстах метрах по фронту стрельбища

к югу. Приехал ГАЗ-66, бортовой, и увез Толю, Мансурова и Бабина в учебный полк (в в/ч №…), базировавшихся под Камышловом.

Полковник Бабин оказался мужиком нормальным: он просидел две недели в курилке (хотя и не курил), один. Иван иногда подходил к нему. Вадим Михалыч, полковник Бабин, плакал, но в себя. Ваня знал, что это такое.

— Товарищ полковник… Вадим Михайлович, Мансурова им не отдавайте — это ведь явный самострел.— Бабин, мужичок небольшой, но аккуратный и подтянутый, как все династийные военные, помолчал и выдохнул:

— Парня… жалко… Мансурова отмазал… Все взял на себя…

Дело как-то разрулили. Молчи-молчи отвяли. Оказалось, что у полковника Гаспарова, книгочея и шахматиста, отец — большой генерал в Москве. Он и помог всем этим недотепам и полудуркам, давшим боевое оружие в руки вялых и математически отягченных пацанов. Ваня часто встречал Гаспарова в «Букинисте», где, после поиска книг, они сидели в отдельной комнате с букинистическими раритетами (магазин принадлежал Жене Розову, известному всей стране как борец с наркомафией), пили кофе, играли в шахматы, обменивались книгами: Ванины антикварные издания на Гаспаровские первоиздания поэтов Серебряного века.

Лагеря шли к концу, и люди начинали по-тихому сходить с ума. Подполковник Степанов совсем озверел. Был у Вани во взводе «курсант», или партизан, химик Серёжа Тубин, сын Якова Соломоныча Тубина, литературного критика и любимого всеми отверженными от печатного станка молодыми сочинителями, участника ВОВ, выпускника 1942 г. военного «училища лейтенантов», потом, сразу после выпуска — в бой: Курская Дуга… Из выпуска училища (400 лейтенантов) Яков Тубин один уцелел. Елисей (Женя) Озимов (он же — Озонов-Вездесущий) водил Ваню в гости к Якову Тубину — мужик крепкий, малого роста, головастый и башковитый, умница, мудрец усмешливый и смешливый, грустный весельчак и печальный оптимист: не туды пошла страна после Победы… Серёжа — его поздний единственный сын, умник и тоже мудрец, но отчасти и аутист (как все ученые и поэты настоящие). Сережа удивлялся Ване: молод, но уже не молод — почти старик (по уму и опыту «жизненному»), поэт «известный в узких кругах», добряк, как и сам Серёжа, но строг в лагерных условиях имитации войны.

Они с Серёжей не дружили, но Иван постоянно его защищал, берег от этих оголтелых полудурков, впервые (в 22 года!) надевших гимнастерки образца 1943 года и опять же впервые увидевших НЕГОРОД, впервые живших в копаных землянках — В ЛЕСУ!..

Полполковник Степанов, точнее — полуполковник, Серёжу невзлюбил, нет — возненавидел: мол, слабак слюнявый, еврей сопливый, ничтожество полусоветское!.. Однажды полполковник увел Ванин взвод на тактические занятия (Иван дежурил по роте вместо болевшего майора Марцинюка, боевого офицера, «вьетнамца», попавшего на военную кафедру УрГУ то ли по ранению, то ли по проштрафу («пионера в попу клюнул», да?). Степанов, вместо занятий, устроил гоньбу — бег на выживание. Серёжу притащили волоком в лагерь. И сразу — в полк, в госпиталь (почки, сердце, печень и т. д.). Иван впервые после Индокитая (после 1975!) разъярился. С побелевшими глазами и посиневшим от гнева лицом вошел в офицерскую палатку. (Никто не знал, где и как провел три года в армии Иван: официально — морская авиация.) Степанов вылетел из палатки горизонтально. Приземлился. Вскочил (спортсмен, да?!) — и получил левый боковой, применять который Ваня зарекся.

— Один удар — а сколько говна, — прокомментировал полковник Гаспаров. Он обнял (крепко) за плечи Ивана и спросил:

— В чем дело. Доложите. По форме. По Уставу. — Иван охолонул. Помолчал и доложил:

— Тубин — ребенок, больной. Степанов это знает. Здесь не армия и не дисбат. Я его, суку, засужу…

— Степанов тебе что-то сказал… Что?!

— Товарищ полковник… Я сказал: ведь Серёжа Тубин помрет, и Вы, полуполковник Степанов, в этом — точно — виноваты. Степанов же ответил: «Ниче, одним жидом меньше станет!..» Вот и все, товарищ полковник.

— Иди в мою палатку. Расставь шахматы, они в тумбочке. Жди. Скоро вернусь.

Гаспаров вернулся. Молчит. Присел к шахматной доске:

— Видишь, ферзь, король, ладья, слон-офицер, конь — это все офицеры и генералы. Сила. Степанов же… Степанов даже не пешка. Заткнул я его. После лагерей уйдет в отставку. Не уйдет — сядет… Сядет за истязание младенца, за «жида»… Я ведь сам армянин и еврей одновременно… Что мне — вешаться в компании Степановых?

Или бздеть? Как думаешь? Ты ведь уже и план, я знаю, разработал — план утопления душегуба в Воробьиной речке. Нет, дорогой, пусть в речке дети и воробьи купаются. А это — гниет в своем коллективном саду. Он, Ваня, трус. Даже я, при своем большом папе, парился в Анголе. А этот холуй справками прикрылся… Итак, Ваня, e2–e4…

Жизнь — это сплошная общественно-бытовая ложь?.. Убить его, гада… Нет… Стыдно. Пусть живет и пахнет, фрайеришка лошковый.

А если это ложь а если это сказка
И если не лицо а гипсовая маска
Глядит из-под земли на каждого из нас
Камнями жесткими своих бесслезных глаз…

Жизнь твоя противится коллективному существованию, проистеканию и забвению. В России холодно, в Италии темно, власть отвратительна, как руки брадобрея, о, если б распахнуть, да как нельзя скорее, на Милосердие широкое окно…

Часы песочные желты и золотисты
В степи полуденной кузнечик мускулистый…

Ты пьешь — ночью — водку с майором Марцинюком. Он спросил: — Вьетнам?

Ваня, глядя в костерок, тихо ответил:

— Весь. Почти весь Индокитай…

Он сказал:

— Дальше не говори…

Ваня вытер слезы:

О город ящериц в котором нет души
От ведьмы и судьи таки сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала
И солнце рыжего ума взошло в глуши…

— Страх Божий: рыжий ум… солнце рыжего ума…

— И на носилках солнце черное несут…

— Доигрались… Пойдем-ка, Ваня, спать. Завтра последний день лагерей… Да, спасибо тебе за гранату — 62 метра! Боевую…

— Я ж когда-то был метателем: диск, копье, реже — ядро и даже молот…

— Жаль, что серпы не мечут.

— И — звезды…

———

Свобода.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси
Ты завираешься с Орландом куролеся
И содрогаешься преображаясь весь…
…
Звук сузился слова шипят бунтуют
Но ты живешь и ты с собой спокоен…

———

Человека в тебе становится все меньше, потому что увеличивается — в тебе — немтырь, говорящий в себя и думающий стихи. Думающий стихи не должен давать воли человеку — в тебе: в тебе тебя — не один и не два; их — тебя в тебе — больше, по счету и без счета. Ты содрогаешься. Кто в тебе содрогается? Кто в тебе преображаются? — Оба: первые — оба. И человек уменьшающийся, и думающий стихи — разрастающийся и поднимающийся по вертикали. Человек может съесть в тебе думающего и страдающего стихи. Это — античудо. Чудо — это когда думающий стихи — тратит безоглядно в себе человека, губит его в себе до полного исчезновения. Почему? К чему? Зачем? — потому что обаяние (любое) человека отвлекает общество от его (человека) писательского ничтожества. Потому думающий стихи отказывается от себя-человека, от себя-общества, от себя-читателя, от просторного герметизма общественной словесности, литературности, развлекательности и проч. Человек сложен, художник пугающе прост, дик, неприручен и свободен — от всего, от всех и от себя-человека. Это — смерть автора? Это смерть текста? «Поэзия умирает!» — Идиоты, Поэзия — феномен космический, хронотопический и не всегда зависимый от сочинителя: поэзия сама говорит, поет и плачет. Что сказал автор? Да так — кое-что.

Что сказал текст? — жизни не хватит осознать это. Что сказала поэзия? — Вот главное, что ощущается и думается, но не понимается. «Вот стихи — и все понятно, все на русском языке…» — Глупость и примитив. Язык — это неединственное средство нащупывания и высматривания поэзии. Здесь так: поэзия высматривает нас, мир, себя. Поэзия создает поэзию. А не ты, дядя Вася и тетя Петя…

Звук сузился — и не уйти, не отойти, не отбежать от него — слухом, разумом, сердцем, душой. Вот и зависаешь в воздухе звучащем. Suspended In Time? Нет: Suspended In Sound. Ты сжат, как кулак, и у тебя вырастают (нет, не крылья!) жабры — чтобы дышать Земным Невоздухом. Чтобы дышать Плачем, Песнью и Печалью. Печалью не по себе, а по глухоте мировой, вселенской, божественной, чудесной: глухота святая дает тебе не повод, а возможность и силу — петь. Плакать. Молчать.

Человек чертовски сложен — художник чудовищно прост: он = слух-душа-уста-не свои; он — тишина, он поет, плачет, молчит, чувствует и думает тишиной. Литературоведенье этого почти не знает — оно у козы в носу ковыряет. Собака лаяла на дядю фраера…

Думающий стихи и мир — свободен. Ты отказался от общества — и теперь у тебя есть все. Все — это свобода. Не внутренняя какая-то, не внешняя, не промежуточная (жуткая!) — но абсолютная свобода, не ограниченная ни жизнью, ни смертью, ни временем, ни счастьем, которого на свете нет. Но: есть покой и воля. Дядюшка Эйнштейн сказал: свобода — это пространство и время творчества. Творчество требует у общества свободы, «свободной» от авторитетов и предрассудков. Свобода есть духовное начало творчества. Духовное начало проявляется в законах Вселенной. Это начало безмерно больше, крупнее человека. Поэтому творчество (наука, словесность и художество) вызывает почти религиозное чувство.

Свобода просвещает — общество (любое!) протемняет. Мракобесие — светолюбие — свет — тьма-пустота. Светобесие общества (любого) — не в несправедливости, а в замутнении тишины, пустоты и света… Еш канфеты в шкафу. Ни чта ни паделаиш…

Заблудился ты в небе — что делать? Думать стихи, чтоб раздался и шире и выше отзвук неба во всю твою грудь.

———

Иван стал попивать водочку, выпивать и, наконец, пить. Будто начал он праздновать Бесконечный День Зависимости от водки и табака. Юля молчала, но смотрела на Ваню — уже постоянно — то ли равнодушно, то ли холодно, то ли как на некое нечто, выполняющее обязанности мужа-немужа, отца-неотца, а ничтожного полудурка деревенского, немтыря или полунемтыря-заику, запинаку, вынужденного молчуна, — и была, конечно, права: с точки зрения уралмашевской банальной эрудиции, ее, становящийся бывшим, муженек оказался ничтожеством, никтожеством и уродцем. Ваня никогда не говорил, не рассказывал ей об армии и проч. Он молчал, как положено немтырю. Он теперь был не морпех, а морпес, живший на три хозяина и служивший им верой, надей и любой. Он старался для семьи: работал, приносил деньги — это раз; во-вторых, он постоянно бывал у Майи; в-третьих, он непрестанно думал стихи, и они действовали на него как глубинное кровообращение — этот словесно-музыкальный кровоток не позволял Ивану застрелиться или просто помереть. Он старался не думать о разводе. Хотя поводы были — взаимные: сначала Юля после первого курса уезжает в топонимическую (регулярную) экспедицию, влюбившись в юного доцента Олега, который через десяток лет станет священником и отцом семерых детей. Куле было полгода. Мать отняла ее от груди — и свалила. Дочь осталась с зятем ее мамы — зять-не-дать-невзять, как говаривала старшая Гололобова. Юля младшая кричала от боли месяц — отит. Потом прошло — и вернулась топонимическая мать («мать-горемать», как выражалась Катя, свекровь любительницы ономастики). Будто ничего и не было. Ваню оставили на кафедре ассистентом. Юля пошла в РИО УПИ. Но быстро ушла: зрение сильно минусило, почти по-заполярному. Решили: не работай. Сиди с дочкой. Во — кайф! Сидела-то бабка Юлина, она же прабабка Кули. Такая вот приключилась… Эта… вот.

Брат Вани Андрей женился на кассирше из магаза имени хлеба. А потом вдруг после армии (водитель, в Чите) — стал милиционерским водилой: от ППС и ППМ до личного ш*о*фера начальника городского УВД полкана Шубы (Шубин, да? Такой вот Одеждин, нет верхнеодеждин). Андрей превратился в толстого мента, слегка заикающегося и плавающего на звуках «р» и «л», особенно на мягких

их вариантах. Он и подарил Ване «Вальтер», пистолет, конфискованный в процессе то ли задержания, то ли обыска злодея.

Ване стукнуло двадцать семь, и он оказался в запое, глубоком и одиноком: сидел в однушке один — все уехали на дачу в Черноусово (недалече от атомной станции — чистое, блин, место). Ваня жил с котом Жуликом, серо-полосатым и пушистым, очень больным: он страдал черт знает чем уже год. Врачи, звериные и человечьи, не помогли: рак желудка или еще что-то ракообразное в почках. Кот страдал. Он плакал — слезами из глаз. Он стонал. А иногда повизгивал. Иван выпил бутылку водки из горла — ночью. Взял Жулика и пистолет. Унес кота в лес. Они сели рядом. Костерок — махонький и неяркий — притянул глаза Жулика, и Ваня увидел в них такое *страдание*, что разрыдался. Он застрелил Жулика. Выкопал ножом могилку. Закопал. Прикопал — посадив над тем, что было Жуликом, малюсенькую рябинку. Потом вбил в землю рукоятью пистолета вешку — рядом с могилкой. Найду? Найду. Не здесь — так *там*.

Дома он добавил еще бутылку. Плакал. Писал два письма: Майе и Деду-Бабушке-Кате — о том, что не может так жить. Он писал о щенках песцовых, которых не убил, когда помирал с голоду в тундре: «выпускной экзамен» в ШР/РШ — четыре недели в тундре, один, у тебя только ночи. Пройдешь пять КП — и выйдешь, — хорошо. Нет — тоже хорошо: найдут вертолетом и отправят в роту охраны. Он поплакал. Проплакал все, что болело. Ан нет — еще ведь думались стихи. Их-то как выплачешь?.. Он сел на диванчик Кулькин и выстрелил себе в висок — осечка. Второй раз — осечка. Третий — опять осечка… Так и уснул, сидя на малом диванчике со стволом в руке. Под утро приехал брат Андрей. Разбудил. Увидел пушку.

— Три осечки, Андрюша… — Андрей вышел на балкон и выстрелил:

— Кто-то не хочет твоей смерти. Кончай ты с этим. Давай-ка лучше намахнем. Я принес.

Выпили. Иван уснул. Проснулся — ни Андрея, ни пистолета… Ни кота. Только лес в глазах да Жулик, рябинка…

———

Ты стоишь у окна. Куришь. Видишь серебряные емкости с надписью «Пропан! Огнеопасно!», помойку, гаражики, каре старых и юных тополей, каре асфальтовой ленты на земле, палисадники в тылу трех

пятиэтажек, турники, бельевые веревки, деревянный открытый хоккейный корт (кои были в каждом дворе), три песочницы с грибками и кусками сочинского пляжа, скамейки, на них — старушки в белых и светлых платочках, — и все это рушится — вверх, уносится в небо, обдирая твою морду и сквозь тебя вырывая нутро, — все течет и мчится насухую в небо: впору ощутить себя — не унесло ли тебя на хрен отсюда… Все — рухнуло. Рухнуло. Но не вниз, а ввысь. Любовь? Конечно. Стихи — в тебе и в небе. Мир людей убил тебя? Да. Что остается? Остаются стихи. Ты застревал между миром людей (семьи, друзей, сослуживцев, коллег) и миром твоим — миром книг, стихов, души, ума, сердца, предчувствий, снов и разочарований. Разочарование — это исчезновение тебя прежнего, грядущего, бывшего и воскрешение тебя исходного, коренного, настоящего. Это — больно. Да. Тогда, уже лет пять назад, в Москве, в Дни Аверинцева, ты поднимался в лифте на черт знает какой этаж и чуть не плакал от духовной и нравственной правды Сергея Сергеича, впитанной тобой залпом: глоток — втекание Ее происходило неделю. Но… На стенках лифта было много надписей, но выделялась одна, писанная черным фломастером, жирно: «СЕГОДНЯ ТОЧНО НАПЬЮСЬ». Чтобы заслониться толщей хмеля от мира людей. Да? Ты, сука, стрелянный, битый, судимый (неправедно!), грешный, грязный и чистый — стихами, преподаешь, да?! Да?! — Нет: ты вернулся в себя. Ты немтырь. Терпи, парень. Терпи, старший матрос. (Или — лейтенант запаса, замкомроты по молчи-молчи, военкоматские мудрецы запихали тебя, немтыря, в военные пропагандисты и в стукачи, да? Хрен вам!..). Ты стоишь между двух зеркал: слева семантика, справа форма. Форма мира людей. Бессодержательная, но — о, чудо! — функционально мощная. Пока мощная. Скоро все рухнет. Упадет с неба на Россию — вот тогда начнется Вторая Гражданская война. Война Девяностых.

Ты работаешь ассистентом на кафедре современного русского языка. Ты счастлив. Вера Васильевна всем жэнщынам говорит постоянно: «Не трогайте Ваню: он пишет стихи, и у него мужская научная логика; он мыслит, а не компилирует, не имитирует; не трогайте Ваню!..» Ты идешь по длинному филфаку на свою первую лекцию по курсу «Культура речи», идешь к вечерницам (на пятом курсе вечернего отделения — ни одного самца), открываешь дверь в аудиторию (а. 338), здороваешься. Проходишь к трибуне. Ты читаешь

стоя, но через тридцать пять лет будешь делать это сидя: позвоночник, раздробленный прикладами и сапогами вертухаев, хохлов, уже не держит; и ноги простреленные болят — *болять*.

У тебя — эротический шок: на курсе сорок девиц, девушек, женщин и одна старушка. Все — не просто красивые, они — прекрасные, они — это тебе двадцать семь, они — это ты сваливаешь, уже полусвалил из мира людей… Ушел, двинул, возлетел, вынесся в свет небесный. Несмотря ни на что. Женщины — свет небесный. Несмотря ни на что. Они — свет небесный. Болезненный и прекрасный, — гибельный! Они — женщины: цвет и свет небесный, и занебесный, и поднебесный, и вненебесный, но — небесный…

Цвет небесный синий цвет
Полюбил я с детских лет
Раньше он мне означал
Синеву иных начал…

Нет, не так. Нужно:

Цвет небесный синий цвет,
Полюбил я с малых лет
В детстве он мне означал
Синеву иных начал…
…
Он прекрасен без прикрас
Это цвет любимых глаз…

Да у женщин — у всех — глаза любимые — и тобой, и другими, и любовью. Любовью любимые глаза…

Это взгляд бездонный твой
Напоенный синевой
Это цвет моей мечты
Это краска высоты
В этот голубой раствор
Погружен земной простор…

«Твой»? — Чей — «твой»? Нет, не Юлин. Все — оторвался от нее. Сорвался. Отлетел. Улетел. Это краска муки, одиночества желанного и одиночества проклятого, гибельного: это краска, льющаяся из сердца — в глаза, в уши, в сердце иное, в небо.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих…

Ты, засыпая, часто ловишь в своем головном мозгу странные, повторяющиеся все чаще словечки, фразы, словосочетания, вроде таких: «И получил пулю в лоб» или «Она была вся голая», «Мы убиты, но сражение (бой) выиграли», или «Иди ко мне», «Пукнул в себя в знак уважения к обществу», или «Пукнул в себя в знак уважения к собранию братьев по перу», или «Песнь Плачем», или «Плач Песней», или «Великое предназначение», или «Долбаная антиципация (предвосхищение)», или «Сегодня точно напьюсь», или «Он обнял ее», или «Сколько тусовок — столько литератур», или «Осторожно, русские!», или «Наша баня тесом крыта…» и т. д.

Ты стоишь за кафедрой-тумбой-ящиком, на котором лежат твои записи лекций, иллюстрации — языковые, стилистические, речевые. Ты смотришь на сорок красавиц — и вновь ощущаешь эротический отрубон, обморок, — эротическое отчаяние, которое подкреплено страхом заикания. Зрение твое, слух, все рецепторы и голос — разделяются и существуют автономно, независимо друг от друга, от ума, от плана лекции, от желания все это начать и поскорее закончить… Голос… Заикание… Онемение. Немчура, да? Немтырь… Но! — ты, вдруг и неожиданно для себя, начинаешь звучать. Женская аудитория уже была готова к продолжению и продлеванию до вечности твоей немоты: она, недоумевая, любовалась тобой. Любовалась тобой и твоей робостью, и твоей растерянностью, и твоему эротическому провалу в чужой человеческий, женский космос. Любовалась твоей убитой любовью (все в универе все знали), любовалась твоей влюбчивостью (тоже знали), работающей вхолостую. Любовались фигурой военного, боевого товарища (догадывались: бабы, особенно женщины, чувствовали все — и твое прошлое, и настоящее, и грядущее). Любовались черной бородой,

светлыми волосами на голове, горбоватым носом, шрамами над бровью, на щеке и тонким шрамиком, пересекавшим, мягко и нежно, твой нос — не нос, а хрен прирос, как говоришь ты сам. О себе. Это нормально.

Ты начинаешь каждую фразу с «э-э» (чтоб не заикнуться на взрывном, свистящем или гласном, особенно «и»), с хмыканья, с улыбки, с шутки — глазами, глазами, глазами… Но — ты говоришь! Правда, трудно думать сразу о многих вещах, а говорить о культуре речи: ты думаешь о своем голосе и внешнем (как тебе кажется) уродстве, о красоте студенток — взрослых женщинах — молодых, ох, молодых; ты думаешь стихи. Ты думаешь стихи. Ты разговорился! Ты говоришь! Почти не заикаясь. Тебе это почти нравится. И ты — думаешь свои стихи. И они думают тебя. А еще ты думаешь язык, речь и текст! И они думают тебя! Господи, благодарю Тебя, Брат!.. Ты стоишь, прямой и сильный, тебе больно от Большой Нелюбви Юли, тебе страшно за Кулю, тебе больно за стихи, за язык, за текст.

Улыбаешься аудитории. Тебе больно и хорошо. Потому что ты знаешь, что будут стихи. Скоро будут. И ты умрешь. Они придут. Ты их запишешь — и умрешь… Ты читаешь лекцию, и за твоей спиной стоят — незримые — все из рода Орловых и Черминских, Свояковых, Череповых и Заборских, все: и живые, и мертвые. И они рады за тебя… Рядом с ними, чуть в стороне стоят ребята из разведки МПСФ, живые и мертвые. Все смотрят на тебя, мальчика, рабочего, бойца и убийцу — студента, преподавателя… И зрение твое переходит в слух. Слух — в зрение. Осязание, вкус, обоняние обволакивает их. И из этого слепящего, горячего и болеутоляющего шара появляется голос, рожденный немотой. Голос твой — из немоты. Он состоит из боли и немоты. Немота говорит — не ты. Не тишина, а напряжение немоты тишины говорит тобой… Примерно так.

Без немоты нет голоса.
Он прекрасен без прикрас
Это цвет любимых глаз
Это взгляд бездонный твой
Напоенный синевой…

———

Это синий негустой
Иней над моей плитой
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим…

Лекция закончена. Вопросы. Ответы.

— У меня два вопроса, последних, — говорит рыжеватая, с короткой стрижкой рябая девица.

Ты моментально отвечаешь:

— Два? Вопроса? — Вот: двадцать семь; почти уже не женат… Угадал?

Все смеются… После лекции к тебе подходит рыжеватая:

— Я Оля. У меня нелады с научным руководителем, а через год — дипломная работа. Не против, если поговорим?

Ты останавливаешь выходящих из аудитории, просишь всех вернуться на свои места. Когда все расселись, говоришь:

— Да, Оля, поговорим… Знаете — это уже всем — хочу прочитать вам стихотворение Николоза Бараташвили. Или — Пастернака?.. Он — переводчик… Читаешь. Все понимают, что этот мужик — ниче, потянет, нормальный, норм, ст*о*ящий преп… С этого дня ты каждую лекцию в универе заканчиваешь чтением любимых стихотворений, написанных твоими любимыми поэтам. Живыми и мертвыми.

———

После лекции хотелось напиться: так было хорошо от сделанной работы и так было стыдно — ведь позаикивался все-таки и на один вопрос не сумел ответить, обещал через неделю, перед следующей лекцией. Функциональные стили речи. Признаки. Свойства. Тоска. Подошла рыжеватая Оля. Высокая, точнее высоконькая, стройная, лет двадцати пяти-семи, глаза зеленые. Обсудили курсовую работу (последнюю — перед дипломным сочинением). Поулыбались. Покурили вместе во дворе универа. Ваня спросил себя: «Она?» Разошлись. Телефонов тогда не было — только рабочие. Обменялись служебными номерами телефона. Ваня прикоснулся ладонью — легко, как бабочка, к локотку Оли. Она не дернулась, не дрогнула.

Улыбнулась. Стояли под Третьим Тополем, укрытые двумя его братьями-сестрами, тоже огромными, с порослью и густой листвой. Прикосновение было мимолетным, но осознанным, с нежным толчком локотного уголка — вверх. Оля, улыбаясь, вдруг глянула зеленым взором прямо в Ваню, глубоко — до печенок. Обняла его — под Третьим Тополем, скорее, приобняла, нарушая дружескую окружность движения телес и души. Он поцеловал ее в губы. Не ткнулся губами в губы, а призадержался или был придержан мягкой и влажной упругостью первого, почти случайного поцелуя… Глаза Оли, зелень зрачков, потемнели, как бы заслоняясь от всего своей глубиной — глубиной зрения, смущения и желания. И — убежала. Быстро ушла. Красавица. За что тебе такое?! За то, что произошло с Юлей и с тобой? Или это — любовь. Она?.. Зелень глаз — до синевы — глубокая, нестрашная, добрая и умная. Умная синева глаз, да? Умная и уже, как тебе кажется, преданная.

Она ведь знает, что ты женат. — Значит, не женат. Наши жены — пушки заряжены. Из-за двух тополей к Третьему шел Петя. Тот самый, который… С Юлей… Тогда, перед сибирской язвой. Сибирская язва разлуки. Петя — разлучник? Да ладно! Судьба-разлучница не выбирает, а берет… Ты улыбнулся Петру. Он быстро приблизился к тебе — и обнял. По-мужски, по-кавказски (Петя был из Абхазии, сын прокурора, эстонца; мать — украинка. сам Петя — русский. Русский сочинитель, такая вот чехарда).

— Прости, брат! За все прости!

— Это ты прости меня, Петь. Я был неправ больше тебя. Один хрен, все рушилось. Семейка наша с Юлей разваливалась. Я не тот, кто был искомым. Я был и есть ископаемое, стихоплет.

— К тому ж известный… Ты, Вань, забудь это все. Хочешь — врежь мне.

— Да ладно. Ни к чему. Все уже произошло…

Петя задержался с учебой-неучебой на пятом курсе. Ты диктуешь ему по ночам его дипломную работу (по Дороти Паркер). Скоро он защитится, но не уедет в Гагру, в Леселидзе — останется в Свердловске на два-три года: с отцом у него были терки-разборки бесконечные. И Петя писал свои рассказики здесь, на Урале. Ты знакомишь его с Майей Вяземской, ведешь его к ней — и она в восторге от вас обоих, молодых, талантливых, веселых, крепких, безбашенных. Вы расходитесь: Петя бежит на свою кафедру, а ты

бредешь домой, пешком через весь центр города, за тюрьму городскую, за храм Ивановский, за стадион, за этот жесткий советский треугольник: церковь, тюрьма, стадион и вино. Нет, стихи. Сине-зеленый холодок стоит в горле, в душе, в сердце.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах твоих

Это синий негустой
Иней над моей плитой
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим…

Так и будет. Но не сейчас. Не теперь. Не сию минуту. И не сей год… Оля… Петя… Да, надо жить. Мгла не уходит. Но имя тоже на месте: не бежит от мглы, а проходит мимо Ивановской церкви, где тебя крестили дважды: сразу после рождения и еще раз, за компанию с младшим братом и двоюродной (Колиной дочкой) сестрой; первое Крещение — по Святкам — Георгий-Хлебопашец; второе — тоже по Святкам — Георгий-Победоносец. Почему Георгий? Почему не Иван? — Батюшка так решил. А как решил — так и есть: ты вечный пахарь-думатель стихов, любви, жизни, судьбы и работы-работы-работы, — и ты воин (три континента облетел с группой своей).

Имя судьбы твоей здешней, земной — Мгла…

Ты заходишь в рюмочную — в павильончик пластмассовый «У Иваныча» (это сеть гадюшников нового, чуть отмытого типа), который стоит как раз в географическом центре пересечения трех секторов онтологического излучения, мучения, избавления и укрепления: Тюрьма (СИЗО, или КПЗ, как хотите) — Стадион-Церковь. Тюрьма — северное направление (Колыма, да?), Церковь — южнее, Стадион — северо-западное. Неравнобедренный треугольник, так сказать, добра и зла. Неравнобедренный наконечник стреловидного пространства, летящий сразу в три стороны, во все стороны — окрест. «У Иваныча» ты встречаешь Петю. Он один. Сульженко, Шульженко (без Клавы) и Бахман. Так и сидит сам-трое. Пьет коньяк. Увидев Ваню, вскакивает, распахивает объятья. Щас полетит.

Ты еще очень насторожен. Но! — ты чувствуешь, что это — судьба, чреватая дружбой навсегда…

И на следующий день вы летите в Абхазию, в Адлер: доедешь до Псоу, горной речки — село Холодное (русское), потом мост через Псоу — и село Леселидзе (генерал-герой ВОВ такой был), где дом Петиной семьи: отец-прокурор, мать-домохозяйка и сестра Лена-красавица. Вы летите втроем: Юля, Петя и ты. Твою роту! Кто бы подумал?! Сказал?! Сделал так?! С тех пор Ваня часто мотался по воздуху в Адлер, пьяный и без денег, он проникал на аэродром, находил воздушное судно. Подходил. Вызывал командира. Говорил: я к Сульженко — и в ответ слышал: грузись!.. На обратном пути Иван и Пётр заказывали пять канистр с вином и чачей означенному командиру, капитану, альбатросу,— и все было в порядке, «по закону», «по понятиям»…

Петя вел жизнь насыщенную и рассеянную одновременно: менял женщин, пока не нарвался на «залет» — милая, юная биологиня УрГУ забеременела. И парень женился. Свадьба была в Леселидзе — на 250 персон. Был Шеварднадзе и другие генерал-персоны (словечек вроде «виайпи», «босс», «папа» еще не было тогда в обиходе). Свердловчане приехали в Абхазию на свадьбу скопом: Юля, Ваня, Елисей-Евгений Озимов, Фунт (медик-филолог-меломан), Фома (филолог и поэт — все они были «поэты»), Шура Пятн*и*цкий (физик и поэт), его невестушка, красавица и журналистка царевна Тамара и еще кто-то, очень важный, но необязательный. На свадьбе было несколько эстонцев из горных сел (Эдик Танвель из Сальме, например), из Таллина (Карл Лыхмус, известный мультипликатор и мультифункциональный двухметровый мужик, с бородищей, бицепсами и добрыми глазами, чуть-чуть испуганными, когда он беседовал с Иваном, кося балтийским оком в сторону Юли…) Пили много, но легко, весело. Юля с Ваней прибыли первыми, и дядя Володя, прокурор, сказав, что свадьба на Кавказе — это еще и тяжелая работа, попросил Ваню о помощи: заасфальтировать дорогу к дому и все дорожки, сколотить 12 огромных и длинных матросских столов, вскопать грядки под какие-то цветы (на продажу) — а земля в Абхазии не мягче самшита, растущего тысячелетиями в горах. Иван припахался. Но ниче — привычен. В семье Пети его зауважали: он еще и бамбуковую рощу почистил, поправил изгородь, установил огромную палатку, поближе

к бамбукам, в которые текла речка-ручей Ежовый: в тех местах водились ежи. Но еще больше было змей.

— Почему ручей Ежовый, а не Змеиный?

— Так безопаснее — слово страшнее пистолета, — ответил Владимир Петрович.

Свадьба длилась три дня. Окончание праздника — из уральцев — не помнил никто. Гости разъехались. Хозяева тоже уехали — провожать с застреванием в гостях у гостей на пару-тройку дней. Петя организовал оставшихся: все — свердловчане. Все сидели за одним столом, бесконечным в геометрическом и гастро-алкогольном измерении. Все — самые крепкие. Петя, Иван, Шура Пятницкий, Фунт (Фунштейн Серёга), конечно и бесконечно, Озимов (Юля исчезла еще с вечера — не ночевала). Ваня знал, что она загуляла с Карлом Лихмусом, но… Ну чта паделаиш — еш канфеты в шкафу… Ворота открылись, и на дорожку, свежеасфальтированную Ваней, ступили три девушки. Они подошли к дому, то бишь к укрепрайону — к столу с богато снедью и пацанами — почти уже мужиками, а все маленькими после принятия внутрь по маленькой. Озимов был готов, но еще сидел и пялился на девиц.

— Мы бы хотели снять комнату, — робко проворковала с фальцетами одна из девушек.

— Откуда, э-э-э… снять? — искренне удивился Озимов.

— Ну, это, из дома какого-нибудь…

Озимов вдруг вспомнил, что он в Абхазии. Это воспоминание потрясло его, и он басом, ни к селу, ни к морю, вопросил, опять же басом человека глухонемого, но вдруг вчера научившегося кое-что говорить:

— Девочки, комнату догоним… найдем, — и Елисей-Евгений хлопнулся навзничь с моряцкой скамьи на твердую садовую, подвиноградную землю. Его подняли, усадили. Озимов опять заметил девиц. Удивился и, как на допросе, самым своим басовитым басом надавил на полуголых преступниц:

— Гражданки, а вы откуда… приехали?

— Из Свердловска!

Озимов упал лицом, головой, грудью в блюдо с салатами — и уснул на три дня.

Вернулись Петины родители. Вернулась и Юля. Она подошла к Ивану и шлепнула его по лицу:

— Опять пьяный!..

Иван помолчал. Он чувствовал, что сейчас сорвется. Сил не было терпеть. Он взял Юлю крепко за локоть и шепотом сказал:

— Давай еще. — Юля врезала еще.

— Еще. — Юля повторила.

— Ну, а теперь я… — к нему бросились все, даже собаки, обожавшие этого уральского парня, стали по бокам — справа и слева — и заурчали на Юлю и всех, кто там причитал и вскрикивал.

— Ладно. Вяжем. Конец. Конец фильма. Все нормально. Бой мы выиграли. Мы победили… Но погибли все. — И дал своей жене (мысленно уже бывшей) пощечину. Одну…

Ты всегда будешь это помнить. Тебе всегда будет стыдно. Перед людьми, перед собаками, перед уже полуженой, а потом, видимо, очевидно — неженой… Еш канфеты в шкафу…

———

Ты думаешь, ты уверен, ты знаешь, что все делал правильно до милой Абхазии. Семья, Юля, Куля — они вошли в тебя, как стихи, откуда-то сверху, сами собой, и ты видел и ощущал этот новый для тебя порядок существования. И вдруг… Измена? Измена другая? Да нет. Оказалось, что это был порядок внутреннего существования. А внешнее — оказалось другим. Ты был уверен в равенстве, в тождестве, в адекватности духовной и телесной жены и тебя. Идеалист хренов. Полудурок деревенский. Военно-деревенский. Придумал себе семью. Дочь? Она разберется (и — разберется: через тридцать-сорок лет так и будет — дочь окажется с тобой). Кто виноват? Никто… Твое воображение убивает мир реальный? Ну да. Вроде того. Так и есть.

Воображение твое дороже жизни? Воображение твое шастает в иных пределах, в иных землях, в ином небе. Иное небо роднее общего небосвода, перечеркнутого белыми инверсионными линиями движения самолетов. Есть внешний мир, и в нем — твой мир. Ты творишь и дотворяешь его бесконечно: внешний мир явно отстает от твоего, иного, внутреннего. Обогащается ли внешний мир? — Да: городами, городами и коммуникациями всех видов, а еще вооружением (все думают о войне: *вооруженный зреньем узких ос…*). Однако силой и безжалостностью своего воображения ты увеличиваешь — несмотря ни на что — вещество жизни — любой:

физической, метафизической, музыкальной, семантической, любовной,— жизни ужаса и красоты. Красоты — от ужаса существования. И ужаса — от произрастания красоты. Красоты и ужаса в до-смертной сфере вещества, в за-смертной, после-смертной и внутрисмертной. Смерть — это валентность, нулевая валентность вечности и жизни. Жутковато, да? Ну, ничего, ничего, — как говорит Саша Сидельников, — не мохай кастрюлька — ты еще полюбишь. Сашкино слово «парчуканка»: красивая девка, которая убьет тебя и все, кто мешает ей достичь своего (и общего для планеты) уровня комфорта всех видов — от бытового до… до бытового. Парчуканки и парчуканы — это человеческие особи, не зверьки, но и не люди: они до смерти своей охорашиваются во всех сферах и смыслах.

Вы едете с Петей и Озимовым в Москву. По пьянке. Билеты в театры — на Горбушке. Идете на Высоцкого («Таганка»), во МХАТ, в Ленком. Оседаете в общаге Литинститута. Пьете. Читаете. Братаетесь. Знакомитесь с Игорем Меламедом, с болгарином Червенко Крумовым. Где-то ползаете, ходите, пьете, кричите стихи, ночуете. В туалетах и в кухне общажных на стенах висят объявления черным по белому ватману: «Осторожно! Бытовой сифилис!..» Однажды всей бандой поэтической срываетесь и едете в Абрамцево, на дачу чью-то. Там пьете. Спорите. Читаете стихи. Спите по очереди. Но ты и Петя — самые крепкие: недремлющие сочинители, молчаливые (уж не из КГБ ли?): Петя спокоен, ты угрюм… Водка кончается раз за разом. В сельпо ходишь ты — как самый амбалистый, и глаза у тебя снайперские… Ты входишь в магаз: тесно, народу пять-шесть то ли местных, то ли бедных. У тебя деньги есть (отпускные за ночную работу на заводе — в «деревянном цехе», и дед подкинул, и Катя сунула четвертак), ты не спешишь. Осматриваешься: выгнутые баллоном стеклянные витрины, полки, слева окно и стол перед ним. Рядом со столом стоит мужик в телогрейке, почти новой, чистой. Высокий. Здоровяк. Морда тоскливая. Но в очках. Его потряхивает. Отходняк. После запоя. Ты берешь не шесть, а десять бутылок водки, не пять, а семь банок тушенки, колбасы побольше и хлеба. Рассчитываешься с продавцом (это дядька, видимо, из бывших старшин роты — деловитый, трезвый и взгляд хитрый). Отходишь к столу (квадратный, с фанерной столешницей, крытой лаком, треснувшим и показавшим мелкие желтые коготки). Складываешь основное в рюкзак. А три бутылки водки, две — тушенки,

булку хлеба и кусок колбасы опускаешь в авоську. Поворачиваешься к странному алкашу (а сам-то ты кто?!) и говоришь:

— Извините, это — Вам,— и указываешь на авоську. Мужик, в очках-очечках, вздрогнул. Глянул тебе в глаза долгим тоскливым взором то ли заспанного лося, то ли пьяного музыканта в ресторане перед закрытием…

— Вы… извините… я не могу принять… стакан — и все… Если у Вас есть время, дойдемте до моего домика — там и познакомимся…

Незнакомца, который показался тебе знакомым (может быть, типичное русское лицо, разбавленное финно-угорскими и тюркскими генами: высокие скулы, крепкие и прямые надбровные дуги — прямые из-за металлической планки на очках, соединяющей окуляры?,— высокий лоб, увенчанный облысением; сутуловат, но крепок, плечи покатые, как у грузчика или музыканта, играющего на виолончели или на контрабасе (ты сам в те времена пару лет играл в ресторане в составе группы студентов УПИ: рок, блатняк, дворовые хиты и дореволюционные плясовые вроде «Гимназистки румяные»; но зато почти все из «Битлов» и Маккартни («Wings»: «Хоп, хэй, хоп!..»)). Руки большие, сильные, кисти рук как раз, наоборот, совсем не работнические, и пальцы тонкие, нервные, красивые… Познакомились: Юра — Ваня. И здесь тебя осенило: Юрий Казаков!

— Юрий Павлович, я рад… нет, счастлив встретиться с Вами…

Помолчали. Юра опять глянул тебе в глаза и в тебя, как в ноты. И тишина изменилась, стала иной, новее и более слышной: в ней можно было разобрать, уловить слухом паузы — паузы в огромной паузе тишины. Тишина говорит бо́льшей тишиной. Не молчанием и не умолчаниями, а провисами воздушных пазух и пауз, в которых копится что-то очень, или даже слишком, важное и которые заметны только тому, кто ждет от тишины иного звука-незвука, иной музыки-немузыки, иной речи-неречи. Пауза не говорила и не звучала — но! — прослушивалась. Она — слышалась!

Выпили еще. Уже не по половинке стакана, а по полному.

— «Трали-вали»… «Арктур — гончий пес»… «Голубое и зеленое»… «Кабиасы»… «Свечечка»… «Во сне ты горько плакал»… — Юрий Павлович опять глянул в тебя — в то место, где обитает словесность (если она, конечно, не живет в тебе везде) — улыбнулся. Лицо его стало добрым, почти беспомощным.

— Твои любимые?

— «Трали-вали» и «Во сне ты горько плакал»…

— Н-да. Может быть… Может быть.

Юре было плохо. Но уже начинало хорошеть: бледность выветривалась с его лица, и проступала здоровая кожа, уже в морщинах, как утренний морской заливчик — до первого, еще не существующего, ветерка.

— Ты пишешь? Что? Стихи? Прочитай, пожалуйста!

Ты читаешь. Три строфы. Старое. Почти из детства. Ты уже отошел от ощущения памяти, в которой слушателям что-то любится, а что-то нет. Ты читаешь то, что любишь сам.

— «Мальчики туда не долетят…»… Какое здесь главное слово?.. Ведь не «мальчики» и не «туда». Хотя для тебя, видимо, все-таки «туда».

Ты сидишь на табурете и смотришь на свои польские облезлые джинсы. Штаны. Тебе неловко. Как бы эту неловкость, смущение и неведение собственной какой-то там значимости — не обнаружить, а овнутреннить, обовнутреннить, запихать в себя, растворить в себе.

— Думаю, все слова, все три важны.

— Нет, Ваня, — Юрий Палыч уже ожил и снял протереть очки. Протирал он и шарфом, средне-длинным, оставшимся после снятия телаги на шее, — да, Ваня, главное слово и здесь, и там, и всюду — «не долетят»… — Что сейчас пишешь? Прозу?

— Да, рассказики, повестуху, пьесу.

— Да ты никак у нас орел, — Юра улыбнулся в полную силу.

— Я не пишу. Я думаю. Думаю стихи — всегда. А прозу думаю урывками, фрагментами, сценами.

— Думать стихи. Точное определение и название. И я думаю любой текст как книгу.

— Думаете книгу?

— Да. Думаешь книгу — входишь в иной дом, в ином месте, в ином времени. Дом безмерен. Место — беспредельное. Время нескончаемое… И ты — огромен. Куда крупнее себя… Так?

— Да, Юрий Палыч. Это как фотографировать прыжок со скалы в 150 метров высотой в пропасть глубиною в километр. Прыгаешь вниз — и фотографируешь. Без парашюта. Фотографируешь скорость (2–3 секунды). Планета летит тебе в морду. Щелк — сфоткал.

Выбрасываешь в нижнее небо, в поднебо, парашют (что-то вроде нынешних парапланов) — и вроде бы как летишь вверх — возвращаешься. Это замедление. Резкое. Это второе фото. Фото тебя, твоего недвижного почти полета после падения. Ты, укрупняясь, уменьшаешься — планета крупнеет. Прорва родная мотает тебя восходящими потоками воздуха, пара, мелкозернистой воды, росы и слез каменных…

— Ты где, Ваня, служил?

— В морской пехоте.

— Все. Вопросов нет… За тех, кто в море!..

Ты уходишь. По-тихому: Юра сидел на койке, сидел-сидел — и прилег. Договаривал он свои разговоры уже полулежа. А потом лег. Закрыл глаза. Отрубился. Отбой. Ты одеваешься, берешь свой сидор-рюкзачок. Шепотом выходишь. Думаешь: бутылка на опохмел у него есть. Еда есть… Ты возвращаешься: а деньги! берешь с полочки книгу, кладешь ее на стол, а под нее сине-фиолетовый четвертак, купюрка по тем временам немалая. На неделю хватит.

———

Идешь и вспоминаешь, какой книгой ты прикрыл денежки так, чтобы видны были со стороны встающего с койки, садящегося на койку и закуривающего и с тоской глядящего в окно, вспучившееся ватным светом вечерним в темноту комнаты справа. Ты идешь по селу, и люди смотрят на тебя так, как Егор из «Траливали», делая такое лицо, будто давно знает эту рыбу, плеснувшую слева — настолько ты здесь уже свой, чуть распаренный и хмельной — и от водки, и от долгого важного разговора. Вот, ты знаком с Юрием Павловичем Казаковым (даже адресами и телефонами обменялись, но ты, конечно, не позвонишь — рано еще; ты — пока никто и ничто, так себе, опохмелятель). Но через три года Юрий Палыч умрет. И ты будешь плакать в туалетах: дома, в универе, в гостях — тайком, чтобы никто не видел и не знал твоего горя.

Господибожетымой! Ты знаком с Юрием Казаковым… Значит, ты знаком (семантически и культурологически) лично с Иваном Буниным, с Иваном Гончаровым, с Иваном Тургеневым (три Ивана на тебя, и тебе — одному — Ивану, внуку помещика и сочинителю), со Львом Толстым, Михаилом Лермонтовым, Александром Пушкиным — и с Афанасием Фетом, и с Фёдором Тютчевым, и с Евгением

Боратынским… и даже с Гоголем, и — цепочечно/радиально с Булгаковым. Ты дикое животное в этом месте и веке, а вы, не знающие о Казакове, — домашние, приручённые животинки… Писать книгу, думать книгу — это быть сразу нигде, везде, в прошлом-настоящем-будущем и в несуществующем, и в форме, и в материи иного вещества… Мистика? Да. Нет! — мистика думания стихов, музыки, книг — есть жизнь. Жизнь эта реальнее реальной, общественно-исторической, социально-истерической и толпяной. Человек не пойдет в стадо людей — куда бы то ни было: в концерт, в цирк, в театр, в кинотеатр, на банкет в честь того-то и сего-то. А в зоопарк пойдет — к волку, к сивому, к лобану с глубокими крыжовенными глазами с белыми и красными прожилками… Не думать думу, книгу, стихи — значит не существовать… В общем и целом: бой мы дали и победили, но все погибли. Успел стишок додумать — значит передал шифровку миру, люду и Богу. Думать стихи. Это не болезнь — это вся твоя жизнь. Думать стихи.

Ты родился, когда планета начала хворать. Скоро ты созреешь — и Земля начнет умирать. Ты успеешь это увидеть. Ты это увидишь.

Тебя пытали, били, добивали пять раз: дисбат, плен, рукопашные бои (особенно с наемниками-кубинцами), долбаный Уралмаш и три брака (один кончается и два на подходе), — и ниче — живой…

Наконец ты доходишь до домика, в котором литературная шпана томилась от жажды. Ли-те-ра-ту-ра: сколько тусовок — столько литератур-литературок. Тошно. Душно. Печально. Но — ничего. Прорвемся. Вынырнем. Такая жизнь. На «мертвых» планетах есть вулканы, гейзеры, землетрясения, камнепады (булыжники, глыбы ползают по поверхности планет и плавают, вполне осознанно и целенаправленно, в плазме), провалы, геоподвижки (как карты тасуют — плиты громадные, величиной с Азию), взрывы и, наконец, температура. Все это есть жизнь. Иная жизнь в ином небе. Не начало жизни (предначало) и не конец ее (предконец), а нормальная, только богу понятная жизнь. Так что сиди за столом, пей водку и улыбайся. Улыбайся, дорогой…

———

Ты живешь в гнезде катастроф: в гнезде — перепутанном, жестком, проволочном — не повернуться, не вздохнуть, не вырваться. Стихи думаются трудно. Не печатают. Тебе уже под тридцать.

Две-три публикации в газетках, которые никто не читает. Семья рушится. Медленно, но верно. Жена тебя презирает: ты становишься «пьющим человеком». Скоро ты станешь «глубоко пьющим мужиком». Абзац. Пора выставлять траурное каре морпехов: после каждой командировки привозили «холодных», и, когда приезжали родные за телом сына, внука, жениха, а то и мужа, — без объявления и какой-либо команды все, кто был в РР (разведроте), молча выходили в парадной форме (№ 1) с наградами, значками, знаками, и ленты на бескозырках были — черные, с надписью «Северный флот». Матросы, не путаясь и не кипишась, самостоятельно, без команд, становились в стройный ряд в две шеренги, сломанные через колено — в каре. С матросами стояли и офицеры, бывало, и во второй шеренге, при орденах, и небо, и бог все это видел сквозь гигантскую твердую, неограненную, солено-морскую слезу… Гроб увозили. А каре морпехов оставалось на месте. Стояли еще минут 20–30. Потом старшина рот, Стуканов, герой Великой Отечественной, негромко, почти шепотом говорил себе под нос:

— Сынки, расходимся! Через час все — на камбуз! Помянем!..

Твои катастрофы — это ты. Сам ты. Собственно ты. Ты — катастрофа. И в твою память и муку — никто не выйдет и встанет в строй траурного каре. Так что улыбайся… Ты часто стал впускать в себя дурную мысль: почему тебя не убили в Африке, в Азии, на Уралмаше?.. — Нельзя жить в состоянии непрерывного отчаянья. Dum spiro spero. Ну да. Ага. А как же. Хрен там! — Пока я думаю стихи — я существую. Думать стихи — это не выше, это стороннее этой жизни, этого общества, этих людей, мыслящих, чтобы пожрать, украсть, срубить капусты, бабла, хрустов, зеленых, денег… Думать стихи — это значит петь. Петь в себя. Петь в ночь. Петь в небо. Прав Казаков: они туда не долетят. Не долетают. Или — облетают место сие, страшное и пустое для них… Да-а-а, политморсос твой гикнулся, рассыпался. Сейчас ты — голый человек, думающий стихи. Катастрофы?! — Ниче, прорвемся. Вынырнем.

———

Твой политморсос — сдох: политическое, моральное состояние — аховое… Вот и хорошо. Врагу не сдается наш дохлый моряк. И пощады ему никто не желает: на кафедре на тебя смотрят с удивлением и сочувствием. Друзья с тобой просто пьют: питие

успокаивает, если бухать до отруба, до отрубона, до вырубона. А утром — подъем: лекции, занятия. А после работы — в рюмочную на улице Малышева, в «Коньячную». Потом к Майе: она звала — Лёша Решетов приезжает, хочет познакомиться. Ты идешь к Майе. Она тихо посмеивается. В кухне, сидя за столом и положив голову боком, ухом на столешницу, спит Решетов. Он маленький. Как мальчик. Красивый. Сын расстрелянного отца-журналиста. Мать была на зоне как член нехорошей семьи, антисталинской, антисоветской, контрреволюционной. Его мать из знаменитого грузинского княжеского рода. Ты уходишь, обещаешь зайти попозже, когда Лёша проснется. Через пару часов ты возвращаешься с водкой. Лёши нет. Вышел куда-то кого-то навестить. Ты выпиваешь один — бутылку водки и засыпаешь за кухонным столом, уронив голову — ухом и щекой — на столешницу… Ты просыпаешься. Охреневший и почти слепой от выпитого.

— Ну вы даете: встретились, называется, ты со спящим Решетовым, а Решетов, вернувшись, — со спящим Орловым.

— Пьяный Морфей нас, сволочь, развел по разным углам… Где же Лёша?

— Уехал в Пермь — поезд в девять вечера.

— А сейчас сколько?

— Одиннадцатый. Вот книгу тебе Лёша оставил. Подписал: Ване Орлову и т. д.

Сапожник допился до белой горячки
Поэт дописался до белых стихов…

Ты не удивляешься. Правда — неудивительна. Правда — это весомая часть феномена отчаянья.

…И на одной из стен лачужки
В глухом неведомом краю
Тень стихотворца тенью кружки
Пьет участь горькую свою…

Ты выпиваешь рюмочку и закуриваешь.

Убитым хочется дышать
Я был убит однажды горем
И не забыл как спазмы в горле
Дыханью начали мешать…

Ты выпиваешь еще. Полстакана.

В гостинице в номере «люкс»
Сижу завываю как люпус
И на передвижников злюсь
Зачем увеличивать скуку
Как славно написана рожь
Как вольно она колосится
Как жаль что сюда не войдешь
В обнимку с молоденькой жницей
Ты только что встал на постой
Прилег на казенной постели
Приходит Саврасов седой
Грачи говорит прилетели…

Ты пьешь полный стакан. И сразу наливаешь второй.

Заколочены дачи
Облетели леса
Дорогая не плачьте
Не калечьте глаза
Все на свете не вечно
И любовь и весна
Только смерть бесконечна
Тем она и страшна…

Ты плачешь. Роняешь голову на стол. Засыпаешь… Просыпаешься — прямо в праздник, словно ты, потный, грязный, полуживой,— открываешь глаза под водой, морской и зеленоватой, холодной, баренцевой и гибельной — и выныриваешь к свету, к людям, к шкафам с книгами: в комнате толпа — человек десять (на советской-то жилплощади!), и все смотрят на тебя и улыбаются тебе. Они все сидят за столом: и Аркаша Застырец, и Кабак, и Костя

Белокуров, оттянувший срок по пятьдесят восьмой, и молоденький Саша Неверов, прозаик, и Озимов, и Петя (Саши нет — он к Майе не приглашался), и еще кто-то, даже Шура (Пятницкий) — вылитый Блок, весь в белокурых кудрях. Мудрец, писатель и древоточец художественный Костя Ордынский сидит с краю. К нему подходит молодой долговязый философ с укромной фамилией Лобок и кладет на стол рукопись:

— Вот, Константин Николаич, написал философский трактат. Посмотрите? — Костя Ордынский, с каменным лицом отстраняя рукопись, говорит:

— Я такую ху. вообще не читаю. — Произносит он эту фразу так, будто дружелюбно так сообщает: «Я пьесы вообще не читаю». Все смеются. Ваня идет в ванную. Где, стоя под душем, рыдает. Рыдает, как девочка, уронившая в речку мячик…

Едет собака в трамвае куда-то
На контролеров глядит виновато
Где же ей денежек взять на билет…

Ты стоишь под дождем на четвертом этаже в бетонной клетке, нет — коробке…

Зачем поэт словарь толковый
Такой большой тебе иметь
Нужны всего четыре слова
Земля и небо, жизнь и смерть…

Ты не идешь в комнаты, в праздник. Ты садишься в пустой кухне за пустой стол. Открываешь бутылку. Наливаешь. Пьешь полстакана. Мало. Выпиваешь всю бутылку — до дна — из горлышка. Из горла. Изгорл*а*.

О не касайтесь участием мнимым своим
Тех закутков где мы горести наши храним
Скрипка рыдает когда ее тронут смычком
А без него она боль переносит тайком…

Вошли Майя и Костя-сиделец:

— Вань, сходи за водкой к таксистам! Ночью в такой мороз только ты умеешь убедить и переубедить судьбу.

Ты выходишь из подъезда — в джинсах и свитере, без шапки. Идешь по тротуару и вдруг слышишь прямо с неба — Майя кричит с балкона:

— Ванечка, лови свое пальто и шапку! Морозно!

— Да! Под минус сорок или за сорок. Ловлю!

Майя бросает шапку — она падает прямо в руки. Потом, встряхнув, как одеяло, диагонально, веером пускает по воздуху твое пальто. Оно раскрывается и медленно опускается с неба к тебе. Распахнутое — оно абрисом своим точно совпадает с географическими очертаниями России. Будто кто вырезал из карты мира эту морозную страну. Россия опускается все ниже и ниже — вся в звездах. Перед землей, сугробом она вдруг сжимается почти в кулак и попадает тебе в охапку, в объятие. Ты держишь этот ком России, как ребенка. И на душе становится неожиданно радостно и светло: спасу, уберегу… Зуб даю, не профукаю. Удержу на краю… Чуть помедленнее звезды! Чуть помедленнее…

———

Мы все нормальны в пределах своего безумия. Но! — человечество убивает в себе человечность, как Зевс, Посейдон и Аид убили своего отца Кроноса. Вот модель развития цивилизации… Ты шагаешь домой, на ул. Крауля, в однушку, где уже давно, кроме языка междометий жены, ты русской речи не слышал. Еще шаг — и вы в разводе. Ты идешь от женщины, мордовки, которая выдает себя за еврейку. Быть евреем становится модно и выгодно (это — в городах). То ли еще будет после девяностых!.. О, ты — глубоко пьющий человек. Или — страдающий. Страдающий — чем: головой, сердцем, душой?! Головной мозг — биологичен. Сердце, психика, душа — биологичны. И: все это — социологично, то бишь гибельно. Ты чувствуешь придвижение перемен. Они двигаются к тебе как бы в сидячем положении — жопой, ее половинками, подползая и вползая в твое пространство… Но: ведь есть головной мозг, сердце и душа иного качества и иного вещества: геологического, кристаллического, плазменного, вообще — температурного. Может быть, жизнь — это не только вода, кислород, «живые» клетки,

но и температура? Температура всего на свете, на этом и на том. Температура космоса. Температура небесных тел — газообразных, твердых, жидких и других, коих мы просто не знаем?.. Иная жизнь.

Ты вспоминаешь стихи Юрия Левитанского (книжку купил в поселке Гари: на Урале три дыры — Сосьва, Гари, Таборы; так иная жизнь — таежная; таежная жизнь соединяет и одновременно расталкивает жизнь биологическую и жизнь иную). Ты сходишь с тротуара и садишься на городскую, зэковскую, устриженную и укатанную газонокосилками траву. Не травку, но траву. Ты думаешь стихи.

Все стихи однажды уже были
Слоем пепла занесло их слоем пыли
Замело и постепенно их забыли
Нам восстановить их предстоит
Наше дело в том и состоит
Чтоб восстановить за словом слово
И опять расставить по местам
Так, как они некогда стояли…

_____
И внезапно вздрогнешь было так
И внезапно вспомнишь вот как было
Ну конечно так оно и было
Только так и было только так…

Слабые стишки, но все-таки сильны они прозрачностью своей. Такая вот прозопоэзия…

———

От Майи до дома, уже и не твоего, или — от Майи до Майи… Майя тебе, друг, мать, сестра, подруга, жена, поэт, мудрец, образец достойнейшего и честнейшего человека, женщины, личности, образовавшей здесь, на Урале, остров свободы думать, жить, любить, страдать и умирать… Ты вернул «Вальтер» брату, ставшему отпетым ментом, имеющим семь киосков, торгующих водкой, дурью и прочим дрязгом. «ТТ» ты утопил в болоте — бросил в лыву Шувакишскую, бродя там в поисках черт знает чего: грибы поздней осенью-зимой? Ружье («Тулка» шестнадцатого калибра) отдал соседу. Хорошее ружьецо: кучность такая, будто дробь сжимает в кулак

сила выдоха оружейного и мощь воздуха, не мешающего сквозить сквозь тебя свинцовым шариком. И — никакой петли! — Терпи, старший матрос, а ныне лейтенант запаса. Терпи. Думай свои стихи — и положи на этот мир, милый и хитрый, с прибором. Перемогай свои душевные сломы: немтырь (но немтырство твое защищает тебя от пустых контактов, многословия и пустомыслия); отец (которого не видишь и не знаешь уже десятилетия); не-учеба (до всего доходишь сам — от фонемы до специальной и общей теории относительности); армия; тюрьма (три побега — и битье тебя хохлами-вертухаями — сутками: трое суток после третьего побега в три смены), война (слов нет); люди не думают стихи и музыку и живут жратвой, тряпками, имуществом и прочей хе.ней; Юля (бежать нужно было от такой, бляха-муха, красоты — пустой и самовлюбленной); алкоголь (это — не проблема, это — жизнь, но временная — лет на пятьдесять: ты знаешь, что вынырнешь и доплывешь куда надо без этой заразы — любимой, милой, доброй и гибельной, но — прекрасной!); грехи (все: их так много, что лучше сказать все это тишиной); твое отсутствие в мире словесности — не печатают (двадцать лет не будут печатать!); тебя — немтыря — в этом мире людей нет: человеки заняты телом своим; работа с жэншынамы в универе — убийственна, хаотична и жестока; предательство твое: застрелил Жулика, кота, бросил дюжину за дюжиной любовниц и т. д.; разрыв с братом (пока еще внутренний: ну как же — ты кандидат науков, а он ворует и развозит по домам пауков в погонах); грядущие смерти бабушки, деда, Кати, Саши, Пети и вообще смерть — это все неотменимо, это все говорит тебе: мы скоро, сука, тебя навестим — держись, матросик, б.я; невозможность жить, как все; абсолютная невозможность и неспособность твоя *играть* в литературу, как это делает Озимов и многие другие («Тихо! Евсей работает *со словом!*» — охренеть можно: какая сакральность! — НО!: сакральность в думании текста, записи его на бумажку…); состояние твое — suspended in time, in word, in music, in death as in love etc…

———

Ты убит. Ты убит не жизнью, как думают и говорят дураки и слабаки («Это не мы такие — время такое…» — слабочатина человечья), ты убит собой: своим немтырством, своим мытарством и своим неприятием себя в этом мире. Не — неприятием мира, —

но! — себя… Ты убит, и ты любишь всех. И тебе кажется (все реже и реже), что тебя любят все. Но это не так, век воли не видать! — потому что ты — такой и не такой, ты, скорее, разэтакий. Раньше ты думал (да и сейчас обманываешь себя), что *все такие, как ты*. Ни хрена! Собака лаяла на дядю-фраера! Все — разные и одинаковые одновременно. Все не хотят тебя — ни в друзья, в наперсники, ни в товарищи; все хотят тебя не видеть, не встречать: на твоей роже распечатано горе — от залысин ранних до бороды, еще черной, смоляной, аспидной… Ты добр. Ты работолюбив, ты думаешь стихи, музыку, жизнь. Ты думаешь и теряешь любовь. Ты думаешь смерть — а она думает тебя! Здесь, в этом мире, на Урале, в промзонах — каждый за себя. Квартира, деньги, еда — мечта мечтов мечтательных. Ты не устал от таких *(таких)* людей — ты устал от себя. Ты понял, нет — почувствовал, что никто в этом городе не думает стихи. Никто, кроме Майи и Лёши. Остальные играют в литераторов, диссидентов, протестантов (кухонных) и философов от картошки (первое), от Запада (второе), от собственного благополучия и комфорта (третье)… Ты едешь в Шатры. Работаешь на огородах, в саду, на покосах. А потом вы с Гришей Якубовым, твоим рыбалочным учителем, напиваетесь в дым и ночью кандыбаете на рыбалку. На пруд. Претесь на мотоцикле с коляской сквозь голожопкино поле. Едете на твой полуостров. Разводите костерчик. Костерок. Выпиваете бутылку. Ты засыпаешь. Гриша — рядом уже дрыхнет.

Просыпаетесь. Очнуваетесь. Озираетесь. Припоминаете. Все на месте, кроме потухшего костра: мотоцикл, снасти, прикормки, насадки, наживки и живцы (карасики малые в бидоне пятилитровом). Оживляете костер. Пьете чай. Водка лежит в коляске мотоцикла — в ту сторону даже не смотрите. Гриша готовит и забрасывает на середку заливчика закидушки на карпа и на щурят (первым — перловка, хлеб, тесто; вторым — мальки карасиные), ты оснащаешь, наживляешь пять длинных удочек (удилища из молодой сухой сосны) и закидываешь их за траву прибрежную — на окуня и на щучку. Все сделано. Все готово. Светает. Копошились в темноте. Наощупь. Но — безошибочно, без запуток лесок, без зацепов крючков за штаны, за пальцы, бедра, руки (до локтя — так бывает чаще всего). Снасти расставлены. На душе светлеет, как в небе за сосновым могучим бором. Вы садитесь ближе к костру. Ты идешь к мотоциклу. Приносишь бутылочку белой. Вы аккуратно

и трепетно — без внутренних содроганий и потряхиваний спохмела — выпиваете ровно по стакану — водка в них налита всклянь. Закусываете степенно, но жадновато — зеленью: луком, укропом, петрушкой — и свежими огурцами. Потом ты тащишь трехлитровую банку с огурцами — малосольными. И вы, уже насытившись и поправившись с перепою, медленно и торжественно съедаете все малосольные огурчики, которые еще хрустят, брызжутся и не осолоняют тебя до пустыни Сахарской, но оставляют все части организма по местам.

Потом вы полулежите на боку, как на известной картинке. Но вы молчите. И вдруг ты — неожиданно для себя — начинаешь говорить стихи. Свои. Ты говоришь медленно, очень негромко, будто продолжаешь разговор с собой, с озером, с Гришей, с водичкой, с первым коршуном, с первой береговушкой, с росой, обнявшей вместе с травой и вас, ваши вещички, удилища, будто они продрогли и покрылись пузырчатой жемчужной кожей. Ты говоришь долго. Гриша наливает еще. По четверть стакана. Хоп — и потеплело на сердце. Хлоп — и не жужжит совесть твоя. Долбаная. Ты опять говоришь стихи. Гриша смотрит на тебя так, будто видит впервые — такого огромного, как земля, и спокойного, как вода. Он удивлен: Что это? Голос? Музыка? Безумие? Где мы, бляха-муха? Кто мы, мать твою за ногу? А муравей? — он тоже *это* слышит? Вишь, остановился на коленке. Привстал на дыбки, поднял передние лапки, потирает их — ладошка об ладошку — озяб, что ли? Или? — нравится? Это говорение… Ты умолкаешь. Тоже постепенно: «и вытер руки о траву…», «горстку мозолей сжимая в своем кулаке…», «зубами чокаясь при поцелуе…» (лучше — «в поцелуе», да?), «с яблоком надкушенным в руке…», «зачесался пригорок — и поэтому я пробежал по нему…»

— «Покушал, выдохнул: «Живу…» — и руки вытер о траву…» — Это правда? Вань, это все, что говорено, правда?

— Гриш, это правдивее правды.

— Истина?.. Но она ведь так… в храмах, ну, там это, Бог, Аллах, Саваоф, то-се…

— Это истинная правда, Гриша. Может быть. Не знаю. Я это чувствую. Но не знаю…

———

Время и место, оставленные тобой, продолжают жить: они переживают по-прежнему и свое, и твое. Ты возвращаешься — не исчезая, ты видишь знаки своего присутствия здесь и сейчас: удочки твои, сапоги, кусты смородины, крыжовника и малины, посаженные тобой. И — калина: был малый кустом, в нынче — кустище, поддеревок, почти дерево… а гроздья горьких ягод! Ох, зальешь их водой (тайком от бабки с дедом) — намахнешь стакашек старинный, граненый — и улетаешь мимо прошлого и будущего, мимо настоящего и ненастоящего, мимо воображаемого — прямо в себя, в настоящего, неделанного, немодернизированного городом, не изуродованного работой в женском коллективе, студентами, отчетами, защитой диссертации кандидатской: о, у Вани железная научно-мужская логика! Не трожьте его — он пишет стихи! — не пишешь, а думаешь, страдаешь и радуешь то, что бывает музыкой, смыслом и красотой… Кто бы это знал, а?

Рыбалку проспали. Собрали снасти. Выпили всю брагу на ферме (10 дворов крестьян совхозных), продали мотоцикл, купили три ящика водки. Пили полторы недели — на пруду-озере. Спали на лапнике, на земле, на животе пригорка, лежащего на спине мордой к небу: все было или казалось живым, усмешливым, матерщиноговорящим и веселым. Потом ты сгонял в город, нашел деньги — выкупил мотоцикл, мотик, мотцык, мотовойку, переделку эту у крестьян. Разбудил в шалаше Гришу (успел построить) — вручил коня железно-колесного, «Урал» с колясочкой. Потом опять пили. Но не сильно. Отпаивались. Рыбачили. Взяли несколько тушек карпа и до хрена окуня, чебака и щуки. Потом пришел дед. Увидел рожи Вани и Гриши — за неделю не обцелуешь. Посидел у костра. Хлебнул чаю. Забрал рыбу и уехал на Гришкином пердулете: сами допьете — и придете. Бабке на глаза не кажись — потом, когда морда схуднеет, придешь, объяснишься…

Едешь в город, но не на Крауля, а на Уралмаш, к Кате (Андрей в армии — служит в Чите, «воюет» с местными казаками-долбонебами). Ты в отпуске на два месяца перед длительной загранкомандировкой. На кафедре не было ставки: кто-то вышел из декрета, и ты завис. Отпускные — пропил. И вдруг Матфиза Фёдоровна, коллега твоя, доцент и замдекана, уговаривает тебя сделать крышу для

ее дома, построенного из пустых бутылок разномерных, бутылок, собранных в универе по вечерам (пили все и на всех кафедрах — по вечерам, ночам: после смерти Брежнева началась не политическая, а кадровая перескачка — но новые генсеки мерли, как мухи). Время советское, государственное начало убывать. Иссякать. Ты это чувствовал даже жопой: из конца-то в конец, будет ли конец этим концам! СССР пошатнулся. Всех тряхнуло. Армия держалась. Милиция начала обандитиваться. И — обандителась к девяностым годам окончательно.

Крышу Матфизе поставил (первая крыша в жизни! — потом будут еще, но эта была четырехскатной, под черепицей (которую подавала Юля, приехавшая на Таватуй в дачный поселок на один день — завершающий) и над бутылочным домом, который показали в местных новостях: на коньке крышмана восседал с молотком в ручонке старший матрос-лейтенант запаса Ваня Орлов (он же Черминский)… Подходил срок отъезда заграницу. Перед последним алкогольным заплывом, заныром, прыжком в прорву — тебе снится странный и страшноватый сон: ты один в незнакомой комнате, стоишь в потемках (вечер, что ли, поздний). Дверь открывается сразу в четырех стенах — четыре двери, и в каждую из них входит некто в Юлином темно-синем пальто в крупную клетку с капюшоном. Капюшоном — на голове. Это точно не мужик. Кто? Он-она-оно поднимает голову, и ты видишь лицо Юли — мертвое, синюшное, длинноносое. Голова в капюшоне говорит шутовским голосом: «А вот и я-а-а!» Был у них такой семейный шутливый возглас. А вот и я-а-а! Ты изо всех сил вырываешься, выкарабкиваешься из сна. Долго пьешь холодную воду из-под крана. И выходишь вон из дома. Бредешь к истоку улицы Малышева и начинаешь дикий марафон прощания с Уралом, с Россией, с домом родным, с землей, с небом и лесами, окружающими Свердловск.

Идешь от Московской до Генеральской по Малышева. Зрение твое направлено в тебя, внутрь. Слух твой — весь — внутри тебя. Ты оказываешься в помещении тишины. У тебя 50 рублей. И ты должен их не просто пропить, но выпить на эти деньги в каждом алкогольном учреждении: от кабака и кафе до рюмочной, пивной, столовки и забегаловки. Это не спорт спиртоносный, спиртосодержащий и спиртонеизбежный — это ритуал смерти твоей здесь, на Родине. Ты уезжаешь бог весть куда. Но — далеко. Ты идешь

к рюмочной (пост № 1) — и включаешь музыку: сначала в тебе играет Вивальди, потом вальс Эдисона Денисова, потом насекомая музыка Губайдулиной — и вдруг начинает звучать «Space», Дидье Маруани — откуда? — столь легкая, но упорная музыка, здесь, в этой грязи, в этой осени уральской, настоянной на гари, саже и промышленных газах? Ты выпиваешь две рюмки коньяку — это старт (впереди ровно 12 алкогольных КП: ты третий по выпуску учебки, полгода! — и первый по окончании РШ, — сдюжишь!). Идешь дальше — а музыка в тебе работает. Слышать в себе музыку — это думать стихи: ты знаешь все варианты звучания, интонации, смыслов, образов и бездн концептологии, которая пошевеливается — ковром — как ртуть где-то внизу — под тобой, — и вверху — над тобой, не касаясь тебя, — все оттенки тона, голоса, тишины. Тишина руководит твоей музыкой. Тишина творит твою музыку. Все документы на загранку готовы. Да! — черт! — забыл взять две справки: 1) о том, что ты жив и 2) о том, что ты мертв для Свердловска, для России: через порог — из сердца вон. Все — предсказуемо. Предсказуемость, веселая и гибельная обреченность человека и человечества в целом — лежит перед глазами прямо здесь — вот оно: на ладони, как дохлая зеленая лаосская лягушка: хочешь — целуй ее, хочешь — похорони, хочешь — присоединись к ней, хочешь — забудь и живи без дохлой лягушки в горсти. Ты выпил уже восемь порций коньячка (по 50 и по 100). Ты видишь — вдруг начинаешь видеть и замечать не только пространство, но и время: змея в траве вьетнамской, рисовой. Трава в змее. Почти дерьмо. Но — ядовитое. О, сучье вымя! О, бляжье племя! О, суспензия! Неплохое имя для новорожденной. Сус-пен-зия… Нет, это такое ругательство…

В чебуречной на кресте Малышева и Всех Женщин (ул. 8 марта) ты видишь трех молодых патаскух, в джинсах дорогущих (на толчке Шувакишском — 250 руб.), с огуречными ляжками, переходящими в редчайшие в те времена ботфорты — это вниз, а вверх — в огуречные жупки, как говаривала Катя (об огурцах, не о бабах). У Кати в роддоме работал гинеколог Жупиков. Маршал Жупиков не отстоял Москву и не взял Берлин — с такой фамилией и девку не возьмешь. Так… ты уже поднапился. Берлин. Нью-Йорк и все такое: в каждой стране есть свой Ленин, Маркс, Энгельс, Розенберг и Берия. Ха-ароший ряд. Парадигма ономасиологическая, антропонимическая, политонимическая, правдонимическая…

В стекляшке на Исети ты бьешь морду козлу. Потом тебе бьют то же самое, но уже на Луначарского (угол Малышева). Наркомтяжпроп и наркомкульт не спасает тебя. Но ты уцелеваешь: тебя бьют, а ты подставляешь лоб. Думаешь, трое поломали казанки: лоб-то чугунный. А чугуний — это вам не люминий. Наливай!..

Ты просыпаешься у Ольги. Она смотрит на тебя с ужасом и любовью.

— Завтра?

— Да, Оля, еду завтра.

— Куда?

— Еще не сказали…

Ты прешь в душ по изумительно ровной прямой… Выходишь. Борода мокрая. «Борода — это протест против Советской власти!» — было сказано тебе профессором Майдановой, читавшей курс истории КПСС.

Ты опять на улице. Идешь домой пешком. Но не поешь. Устал. Ты знаешь, что тебя ищут Юля, Саша, вся родня. Даже чета Бабиных, с которыми сдружился в последние 5–7 лет. Владимир Григорьевич (Володя) принял тебя на охвостье срока обучения на рабфаке. Лида (тоже Григорьевна) — ученица Веры Васильевны. Ученый. Вы дружили семьями до тех пор, пока семья Орловых не посыпалась, как семечки из дырявого кармана. Все психуют: ты пропал. Вот ведь урод! А? Нет, не просто урод, но урод безответственный…

Рухнуло все. Все. Ни эха, ни пыли, ни осколков, ни выстрелов, а ты — убит. Ты потерял все: семью, страну, себя. Куда ехать-то? В сказочные страны? Пришел в этот мир, чтобы узнать его или просто-напросто познакомиться с ним. И что? Мир не принял тебя. Он прильнул к твоему воображению, как к стеклу оконному, подмороженному и молочному. Ни быта, ни людей. Пусто. И ты пытаешься высмотреть что-то в этом мире своим воображением. Ни-че-го. Это как наука, НТР пресловутая, технологии хреновы по крохотному отрезку (ножницами!) кончика травинки (травы-резучки, как ее называли в детстве, а это дикая тимофеевка или еще что-то вроде овсяных), по зелененькому треугольничку травинки изучают и пытаются понять целый лес. Какие на хрен три закона Ньютона и все на хрен законы? — этих законов 3333333 в трехмилионной степени + n (n) + бесконечность в степени бесконечности! Триллионы

небесных тел в триллионной степени — это лишь частичка кванта вещества Вселенной и Вселенных…

Журналюги и псевдоученые ху.рят сенсацию за сенсацией. Изучают полтергейстов и полтергейш, а также полтергеев. Аж визжат. От выдумок своих гиблых ощущений… А ты своим воображением и думанием стихов — знаешь, что все это хрень колхозная. Колхозно-американская чушь. Колхозно-японская передовая научная мысль. С-с-стыдно…

Ты неожиданно остываешь. Становишься звонко-ледяным — внутри, как в лаосском бетонном кармане: от псевдорасстрела. Крошка бетонная кожу на башке посекла — воздух — свежий, свободный — притек и распространился в тех участках головного мозга, где обитают здравый смысл, совесть (и в душе!), честь (и в душе!), долг (и в душе!), достоинство (и в душе!). Жена (уже предбывшая, почти по Шолохову, царствие небесное) спит. Вещи собраны. Четыре утра. Еще два часа есть — и вперед, в Кольцово, к самолету. Выходишь на балкон. Куришь. Думаешь: перестали с женой говорить о литературе, о философии, об истории, о жизни, о смерти, о любви, о времени, о Космосе, о Боге — значит, скоро разбег, расход, раздрай, рассеивание, развод. Ты куришь и плачешь. Она спит. Она тоже знает. Все знают. Особенно ее родственники (о, кубометр книг! — лучше бы колбасы купили!), кошка Лея, самка, тоже знает. И Куля (ей семь лет уже) — тоже знает. Выпить бы. Нельзя. Самолет. Потом сразу же — в Минвуз, там скажут, куда ехать-то? Лететь-то? Сваливать-то? Кого хоть учить-то? И какое в той неведомой стране бухло? — неизвестно. Тундра полная… Да уж. Ужь! — Как бы так просуществовать в себе — до конца. Долго ли, коротко, то-се… Ты сидишь на половичке балконном, почти упираясь в решетку железную балконного ограждения. Это чтобы ты не упал. Не навернулся… Блин, ты так уже навернулся — реально и вообразительно, — что костей не соберешь.

— Соберешь, — она сидела в двух метрах от тебя (балкончик махонький, как сталинский карман).

— Добрый утро!.. Простите… Доброе день! Простите… Добрые ночи! — ты весь сжимаешься внутренне — до размеров сердца…

— Ваня, все только начинается. Жену ты потерял. Она еще побудет с тобой. Ты заработаешь много денег. Она их потратит — на себя. И — уйдет. Уедет. В Лондон. Повенчается в Храме Вознесения

с евреем британским, ювелиром, — в часы твоего тридцать шестого дня рождения. И все. Да, это труднее войны. На войне все понятно. Здесь — тоже понятно, но — толпе, а не тебе. Терпи. ТАМ ты найдешь хороших людей и подружишься с великим художником.

— Не знаю, что сказать…

— А и молчи, милый! Ты сам все знаешь. И пить бросишь. И сына еще родишь. И читать твои стихи будут. И книги будут. Будь умным и добрым, каким был всегда.

— Да я ведь дурак. И злюсь часто.

— Неумные никогда не будут. А ты будешь. Ты помогаешь всем. И будешь помогать. Ты учишь языку — значит мышлению и воображению… Терпи!.. Помнишь, у Мандельштама: «Образ твой, мучительный и зыбкий…»? Произнеси ЭТО вслух.

— Образ твой мучительный и зыбкий
Я не мог в тумане осязать
Господи сказал я по ошибке
Сам того не думая сказать

Божье имя как большая птица
Вылетело из моей груди
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади…

— Впереди, Ваня, не туман, а тишина. В тишине все найдешь, что ищешь.

— А «клетка пустая»?

— Эк мотает тебя, словно по вагону, когда идешь за чаем к проводнику. Или в вагончике узкоколейном, который тянет малый паровозик от Девяносто пятого переезда до Шатров, мимо Шатров — на Тальковый комбинат имени Лермонтова.

— Имени Лермонтова?!

— Ну, а кого же еще…

VIII. Слон говорит

Снится сон во сне, который ты воспринимаешь как сон из будущего сна, еще не приснившегося, но уже работающего тревожно и напряженно — в тебе. Внешний сон прикрывает в себе грядущий, эти сны взаимосвязаны ситуативно, но разведены в разные стороны разорванным временем. Сначала ты сдаешь самый мутный экзамен по историческому материализму. Истмат — о, лучше бы ты был историей математики или курсом происхождения русского мата! — истмат: история материи как таковой?! («Рыба как бл.дь таковая» — старая твоя шутка). Тебя мучает экзаменационная комиссия (госэкзамен?!), ты понимаешь, что ты весь на виду со всем своим внутренним миром и несогласием с советским качеством государства и власти, «государства и революции». Ты, как хреновый снайпер-салага, устроил свою лежку на голом ровном месте… Потом — вдруг, но вполне ожидаемо, ты видишь Матиса Луйка с СВД и себя, работающего вторым номером. Лежка совсем нехорошая, пользованная, окрест голо, но и другое место не найти. Ночью бы здесь полежать и попугать негроидов в два ствола. Выстрел. Встречный. Опережающий вас. Пуля. Матису в плечо. Он кряхтит и что-то проборматывает по-эстонски, матерясь по-русски. Перевязываешь. Ранение «теплое, прохладное», по касательной. Заканчиваешь. Откатываешься в сторону в микроскопическое углубление, в призрачную ложбинку, тянешь Матиса за собой. Раздеваешь его: подшлемник, комбез, башмаки. Лежа, не поднимая головы, обливаясь потом, как мочой, мастыришь чучело и закатываешь его на Матисово место прямо на черно-багровые родинки на пески — от крови. Все это делаешь, не доползая до гибельной лежки. Подправляешь муляж бойца с настоящей (не макетом!) СВД. Ползешь в голяк, в солончаки, роя под себя мелкое стекло позванивающего песочка, — в сторону — к полуголому Матису. Укладываешь себя поудобнее. Поправляешь

прицел. Снайпер ты еще тот. Но… попробуем. Встречный выстрел. Есть! — твоя ответка… Тихо. *Там* поднимается башка. Второй выстрел. И — третий: инерционный — по ходу возможного уползания… В аудитории, кажется, № 315 на философском факе, — все меняется: это ты принимаешь у НИХ экзамен, и они бздят, позитивисты-преобразователи государства и общества, завоеватели природы. Они от нее милости не ждут… Они позитивно создают новый мир — левой рукой, а правой (позитивизм — правша) разрушают. ИХ пятеро; бывшие экзаменаторы валятся один за другим. Все: пять двоек… Впереди тишина. Зачистили. Тянешь чучело к себе. Одеваешь Матиса Луйка, чемпиона Европы по гребле на каноэ (юноши), и вы негативно-позитивистки ползете к себе, к нашим. Встречают. Медбрат, старшина, взрослый парень, сверхсрочник (тогда еще не было контрактников), — обрабатывает рану, перевязывает и дарит группе (семь человек) фляжку спирта. Жаль — не флягу…

Вы поете шепотом: «Я тебе на чучу-бучу — чучу-бучу отчебучу и — отжучу…» Юрка не сдержался на «отжучу» и заржал. Хлопнул супротивный ротный (советского производства, но вражеский) миномет. Не сюда. Вон отсюда. Не мимо — а далеко…

———

Сны кончились. Ты проснулся? — нет, недопроснулся: вспоминаешь, как прошедшим летом ты забегаешь в арку, под арку дома — спорттоваров — ливень! Июльский, огромный шар дождя потянулся к земле, прикоснулся к нему — и лопнул. До универа два шага. Но нужно не бежать под колонны центрального входа, а плыть. Ты стоишь в арочных потемках. Закуриваешь. Лето 1984 года. Оглядываешься на некое шевеление, жизнь, которые происходят в глубине этой каменной дыры: две женщины, очень молодые, голые — платья, мокрые насквозь, крепко прилипли к телам… В тебе, глубоко-глубоко, послышался далекий, легкий и почти любовный рокот вертолетов. Военных. Десантных. Как в лучшей песне о Вьетнамской войне Штатов Билли Джоэла «Гуднайт, Сайгон». Вода — взасос — целуется с землей… Ты шагаешь в ливень, в него, внутрь шара, втянувшегося в водяное яйцо, в эллипсис влаги. Ты идешь медленно, спокойно по пустому тротуару. Никого. Все попрятались от любви в свои заботы. Но ты — в ливне — бредешь, улыбаясь, как дурак, яко посуху. Погода шепчет: займи да выпей! Да.

Нереиды мои нереиды
Вам рыданье еда и питье
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое…

Черт! Это — сон. Какой по счету? Во сне ты считаешь сны. Листаешь себя, свое воображение, свой опыт, свою память… Вот он — текст! Так текст появляется. Скользишь вниз и вверх одновременно. Оказываешься в казенном месте (самые страшные твои сны — о казенном, в казенном месте, о недоказенном сознании, недобитом музыкой). Пока недобитом: арест, кто арестовал. Сон? Сон тебя арестовал? Не поймешь, но почувствуешь: весть идет к тебе, в тебя, сквозь тебя:

— Что это?

— Стихи.

— Чьи?

— Мои.

— Неразборчиво. Читай!

Ты читаешь свои еще недуманные, неявившиеся стихотворения — одно за другим.

— Тааак!.. Э… Это еще не написано?

— Не записано: я не пишу — я записываю…

— Молчать! Заткнись! Закрой хлебало свое, выродок, немтырь!..

Пауза. Ты видишь себя, но его ты никак не рассмотришь: нечтонекто, прохожее-похожие на Свердлова, на «Яшку» — на памятник Я. М. С. перед универом.

— Слушай сюда, Орлов! Ты проговариваешься к трем годам или к вечной ссылке в Индию. Что берешь?

— Беру… Индию… (Думаешь: «Три года на зоне или в крытке не вытяну. Сдохну».) Почему — Индия?

— Далеко она отсюда. Вот и мотай срок ссылочный, сволочной. Пожизненно. По-жиз-нен-но (так скажет через двадцать пять лет хирург после артериального шунтирования: «Варфарин» и «Зокор» — дабл-дабл — по 20 мг ежедневно и по-жиз-нен-но. Кроворазжижающие препараты).

Ты выныриваешь из пятого сна в шестой: почему Индия?! Еще ведь не распределяли. Послезавтра в Москве, в Минвузе… Или уже распределили? — и просыпаешься. Стоишь под душем.

Куришь, отбросив руку с сигаретой на восток, подальше от водяных брызг. Ты должен чувствовать и знать всегда свою правоту и правду. Правду слуха, голоса, дыхания…

Мысли, нет — думы: настаиваются в тебе, как темные и светлые воды — чтением, страданием, тоской, счастьем (редким, но сильным, кротким и нежданным), радостью, медленно увеличиваясь и преувеличиваясь в тебе, и — переливаясь через край сознания и разума. То, что избыточно, — то и переливается — в стихи, стихами, в музыку, музыкой и постоянным и болезненным ощущением красоты и ужаса. Сначала — красоты, потом ужаса и, наконец, вместе — ужаса и красоты. Ужас красоты, да? — Двигатель и движитель вещества поэзии и жизни твоей и нетвоей, общей. Ты живешь (внутренне) как призрак в призраках ужаса и красоты. Это не миражи. Мираж в пустыне (скажем, на Синае, в Сахаре, будь они благополучны, прекрасны, грандиозны и страшны) — артефактуален. Тогда как северное сияние — это основа Природного отпечатка всего, что ты зовешь (и призываешь!) Главным, Чудесным и Божественным.

Эк мотает тебя! — словно по вагону, когда идешь за чаем к проводнице. Ты всю жизнь ищешь проводницу. Та, которая «Она», — не проводник, а часть северного сияния, часть света (потока фотонов), часть иного неба. Ох, качает тебя, бросает на леера, бьет башкой о переборки, о надстройки, о воздух морской, плотный — почти деревянный. Деревянное море. Деревянное небо… Вас с Юлей провожают в Кольцово, ведут к самолету. Родня Юлина смотрит на тебя с презрительным уважением (зять — не дать, не взять, — а вот поди ж ты, едет из совка на волю вольную, заграничную, тряпичную и алмазно-золотую). Все. Вы в Москве. Ты протрезвел, казалось, навсегда, а оказалось, на пять лет. Ты — призрак трезвости…

———

Остановились — на месяц — у Юлиной тетки, женщины властной, капризной, но внешне веселой и приветливой. Иван в течение месяца прослушал два курса: страноведа Костомарова и психолога Леонтьева-младшего. Полуинтересно. Далеко от практики. Экспериментально верно, но профессионально невыполнимо (экспресс-обучение русскому языку иностранцев); в этой сфере дела обстояли так: сколько аудиторий, этносов, языков-проводников (от английского до языка жестов и картинок etc) — столько

вариантов преподавания. Геолингвистика еще не проснулась. Наконец настал день распределения преподавателей — «русистов» по странам. Ивану было все равно — и куда ехать, и к кому ехать, и как ехать. В 1979 году грянула война в Афганистане. Глупая, страшная и преступная затея, которая в девяностых породит «афганцев», воинов-интернационалистов, преданных и забытых властью Горбачёва. Начиная с 1982 г., со смерти Брежнева, генсеки мерли один за другим (Андропов, Черненко; уход Черненко состоялся в те поры, когда Иван и Юля уже обитали в чужой стране). Одним словом, никто из преподов не желал ехать в Афган: война!..

Ты не спишь: завтра определится страна, и через день-другой — выезд за границу. Ты весь в бессоннице — от одиночества, от чужой войны (уже не твоей!), от разлуки с «совком», как говаривала Юля. Ты не хочешь ехать никуда. Ты бредишь Уралом, Шатрами, лесом, реками, озерами, холодом, снегом, звездным зимним, вечно Рождественским небом, любовью — бывшей, обрывающейся и грядущей… Ты куришь на балконе — уже морозно, но мягко: Москва — не Урал, — у тебя там-здесь все жестче, мощнее, определеннее — и погода, и природа, и люди. Идешь с балкона в кухню. Закрываешься. Куришь. Осенние тяжелые мухи в полусумрачном полете натыкаются на мебель и роняют стулья. Полная кайфострофа: загранка (кайф познания, да?) и страна без тебя, Урал без тебя, люди без тебя. Ты, вроде как, умираешь, но не навсегда, а на год-два… Ты ложишься на раскладушку — в кухне, куришь — ниче, проветрят. Женщины любят открывать форточки. Им всегда душно, жарко, потно и одиноко. С холодным воздухом веселее — тебе. Если бы окно городской светлицы смотрело в ад — во Ад, — то хозяйка всенепременно открыла бы форточку, чтобы проветрить помещение свое, себя, в себе.

Ты спишь — и живешь во сне. Тебе Что-то или Кто-то показывает фильм «Ты — завтра, твою роту!». Ты видишь себя, как мертвеца, со стороны. Вы с Юрием Марковичем (доцент из Таллина: получается — всегда — «и сталина» или «из сталина») и еще сотня командируемых за рубежи Отечества сидите-стоите в огромном холле в Минвузе. Выходит ваш куратор-инструктор, выдвигает на середину бетонно-древесной площади стол, кладет на него три листа бумаги форматом А-4 и говорит:

— Вот три списка: капстраны, соцстраны, развивающиеся страны. Запишитесь. Обозначьте (блатное: «обоснуй!»), куда вы

хотели бы поехать — работать. («Бардак», — подумал ты). Вся сотня знатоков современного русского языка как иностранного рванула к столу. Очередь образовалась. Ты выдергиваешь Юрия Марковича из топочущей и кричащей шепотом толпы: «Пойдем покурим (Ю. М. — страстный курильщик), подумаем — у меня есть план.

Вышли. Покурили. Ты, матюгнувшись, спрашиваешь Ю. М.:

— Есть чистый лист А4?

— Да-да… Вот он.

— Пиши, Юрий Маркович, на листочке этом следующее (точнее — «следувающее», как говорит Куля; сердце сжалось: Кулю брать с собой не разрешили, оставили заложницу — вдруг пойдет в отказ, останетесь в загране, не вернетесь; у Ю. М. два сына, старшего оставили в СССР, младшего, Марика, разрешили взять с собой): «Мы, Орлов И. В. и Золотов Ю. М., готовы ехать туда, куда нас пошлет Минвуз, туда, где мы нужнее». Так! Теперь подписи. Ты кладешь свой (четвертый листок) к трем на столе: видно, что в развивающиеся страны не хочет ехать никто; кое-кто (5–8 человек) топают в соцстраны, а вот в капстраны поехали бы все остальные (90 специалистов). Выходит куратор (скорее, майор КГБ), подбирает со столика бумажки. С удивлением смотрит на лишний четвертый листок, но берет и его. Уходит. Через полчаса выходит. Объявляет: «Золотов Ю. М. и Орлов И. В. едут в Индию. — Здесь пауза. Длинная. — Остальные (читает длинный список фамилий), остальные… остальные… остальные едут в Афганистан».

Немая сцена. Ю. М. напился сразу после выхода из здания Минкульта. Это на радостях. Ты не пьешь. Куришь.

— Вань, ну ты даешь!.. Ты знал? Да? Знал все наперед?

Ты просыпаешься, едешь в Минвуз. Ты знаешь, что произойдет: «Все… остальные… остальные… остальные… — в Афганистан». «Всего на свете поровну». Да? Все значимое в этом мире ровно, как само себе, друг другу… Странная мысль, фраза. В грамматическом, в сновидческом и провиденциальном отношении.

———

Тебя и Ю. М. вызывают в кабинет (остальных распускают до отлета в Кабул). Куратор-референт-майор изображает на своем лице пугливую любознательность разведчика. Ты эти приколы знаешь. Отвечаешь на вопросы коротко, почти односложно. Вас с Ю. М.

отпускают. Послезавтра вылет. Прощай, немытая Россия… Только синь сосет глаза… Люблю отчизну я… Да, скифы мы, да, азиаты (и Ю. М., еврей, тоже азиат?) мы с раскосыми и жадными очами…

На откосы Волга хлынь Волга хлынь
Гром ударь в теснины новые
Крупный град по стеклам двинь глянь и двинь
А в Москве ты чернобровая
Выше голову закинь…
<…>
Ах я видеть не могу не могу
Берега серо-зеленые
Словно ходят по лугу по лугу
Косари умалишенные…

_____
Косит ливень луг в дугу…

_____

Время медленно и туго сворачивается, скручивается в трубочку, которая похрустывает в душе, как вафельная с кремовой начинкой — детство. Детство? Скорость. Самолет. В Индию. Через Ташкент, а он город хлебный. В Ташкенте болтаешься почти вдоль взлетки и начинаешь чувствовать и понимать, что трубочка времени не хлебная и хрустящая, а хрустальная и позванивающая. В темном небе ни звезды. Только вдруг покажется призрачная зга с северо-востока, с севера на юг, как волосок сивый пожилого или крепко пожившего пространства. Уже — не твоего, Орловского, а иного — русского мужика, бродящего с женой в дозаправочной тишине и пустоте. Посадка, точнее — перепосадка в самолет — и через долгое мгновение ты же в Нью-Дели. Усаживаетесь с Золотовыми (Ю. М., Лиля, его жена и малой, совсем карапуз Марк-Марик) в такси. Это старинный «Амбассадор», леворукий. Таксист — сикх (тюрбан, курта-пайджама, пояс легкий и прочный, а за поясом — кирпан, то бишь кинжальчик такой, но не настоящий, а сувенирный, игрушечный; ты его покупаешь у сикха за доллары — вот идиот кацапский! — и сбережешь его до развода с Юлей: в день развода ты его утопишь в реке Исеть,

ночью, упираясь ногами в приречный ил, а башкой — в надречное русское небо). Индия. Страна, так сказать, сказка сказок…

Рано утром в отеле трубочка времени внезапно и резко разворачивается — сначала в квадрат окна, затем в чужой азиатский город, далее в Индию и, наконец, в чужбину. Все. Время остановилось.

В башке крутится битловский «Jet». Еда в горло не лезет. В полдень — передали — должен быть на индивидуальном приеме у посла. Ю. М. и ты. Юрий Маркович волнуется. Он вырядился в белый костюм с белым же галстуком. Ты — в вельветовых (кофейного цвета) легких штанах, в голорукой рубашке из бледно-голубой джинсы, на ногах кроссовки… Вы сидите с Ю. М. в приемной посла. Вызывает Ю. М. Он торчит у посла долго — минут сорок. Выходит бледный, мокрый (жара!) и весьма-с смущенный. Ты встаешь навстречу ему, и он, проходя мимо, шепчет:

— Иди! Вербовать будут.

Ты включаешь в себе стармоса, врубаешь в голове «Гобой…» Алесандро Марчелло и входишь в кабинет посла, где, кроме этого милого в целом человека, одетого легко, как и ты, — сидит за отдельным столиком, сбоку от столища посла человек в черном костюме и черном тяжелом галстуке («О! АнтиЮрийМаркович… Да-с… Молчи-молчи».). Вы разговариваете с послом: едете в штат Керала — там русских вообще нет и не бывало, вот, мол, телефон атташе по культуре из Тривандрума, из консульства СССР, — звоните. Ты явно нравишься послу:

— Спортсмен?

— Легкая атлетика, баскетбол, но уже давненько диск я не метал и мячика не мял.

— В армии служили?

— Северный флот. Морская авиация…

Черный в черном галстуке, мужик явно из молчи-молчи, моложавый и злой, — вдруг вмешался в диалог, словно топорик в сосновую колоду всаживает:

— Имеете хобби?

— Имею. Или… хобби имеет меня: рыбалка, теннис.

— Все?

— Нет, не все. Стихи пишу.

Молчи-молчи встает и указывает на дверь женской ладошкой:

— Свободны… Пока свободны.

Посол буквально бросается к тебе, обнимает за плечи. Провожает до дверей — в общем-то до самой Индии. Все: ты свободен. Пока свободен…

———

Ю. М. завербовали. Объяснили. Пояснили. Пригласили вечером в другое здание — в торгпредство — для беседы. Ю. М. напуган. Молчит. Ты не лезешь с расспросами. Все ясно-понятно.

Блин — на хрен, е-мое, они ведь все знают о тебе. «Морская авиация»? И про ранения знают. И про контузию. И про подписку о неразглашении. Почему не вербанули? Даже не попытались?.. О, черт! То есть Бог! — Стихи тебя прикрыли. Заслонили. Стихоплет — находка для шпиена. И опять эта пугливая любознательность разведчика в черном костюме-тройке. Пугливая сообразительность разведчика («бумажного», кабинетного) распечатала тебя примерно так: бывший практик из ВР, из МП, Севфлот, то-се и бляха-муха — ударился башкой, и записались стишки. Хрен с ним, с этим Орловым: пусть живет. Но! — может еще и пригодится…

Ты в Нью-Дели уже неделю, нет, лучше — недели: «Дели — недели». Ты охренел от соотечественников за каменными заборами посольства, торгпредства и других учреждений. Ты устал от индийцев-северян, дружелюбных и алчных. Женщины русские (жены командированных пахарей) разбежались кучками по торговым точкам («Яшвант-Плэйз» того стоит: подземный город — магазин, рынок, стадионы бутиков etc). Ю. М. уже уехал с семьей в Бангалор. Пьешь ром. Покупаешь с собой бутылку и выходишь в город, которого не знаешь. Забредаешь в тихий райончик без обезьян. Находишь пересохший фонтан. Тихо. Пусто. Жарко. Пахнет жженым сандаловым деревом. Улицы Нью-Дели (и тем более и гуще — Олд-Дели), сжимающие потоки демонстрации города-деревни — коров — обезьян — автомобилей, старых, крепко поношенных, как зэковские башмаки, берцы, гады, — даже верблюдов, сикхов, мусульман, индуистов всех течений — туристов — полицейских (повсеместных) с бамбуковыми палками (стучалищами-хлестališами) — с желтовато-серым небом, с землей, потеющей мусором, пылью, песком (город поставлен в пустыне) — с тобой, спящим на бетонном кольце погибшего фонтана, — все-все, все — исчезает. Ты устал от чужого воздуха, чужих богов, чужого неба, чужих

языков. Ты плачешь: ты хочешь услышать русскую речь. Ностальгия? Да ну! — это просто печаль по холоду. Здесь холодно бывает только по ночам: бывает, бродяги и нищие, коих на улице — миллионы… Индия — вся — это сплошная улица, выпавшая из времени, растущая с севера на юг — до Бенгальского залива, до Индийского океана, расталкивающего Тихий и Атлантический — волной, ветром, вечным движением вод, цунами, херикэйнами (хураганами-ураганами), муссонами — то восточным, то западным. Тебе скоро ехать в Кералу, на самый юг Индостана, к Цейлону-Шри-Ланке, а ты сидишь жопой на чужом камне, пьешь свой ром (с хорлышка, да?) и слушаешь отсутствие родного языка…

Ты вернулся в детство, в Шатры. Ты — немтырь, с тобой мало кто разговаривает (беседует, да?), — поэтому ты слышишь язык иной, почти — на первых порах — неразборчивый, — речь воздуха, земли, растений, птиц, зверей (диких и домашних), неба и — воды. Вода говорит понятнее всех и всего. Она говорит, что ты — мальчик-дурачок (Искандеровский дядя Коля так прозывает Чика). Но ты знаешь, уже знаешь! — что «дурачок» — это лучше, чем нормальные советские дети с Цап-Царапа или Уралмаша. Нет, ты не с улицы Цап-Царап. Ты Шатровский парнишка. Ты вспоминаешь вдруг — в Индии! — стишок Нонны Слепаковой, питерского поэта. Про мальчика-дурачка. Это не Толстовские, Аксаковские и другие литературные мальчики. А у Достоевского вообще детей нет, кроме малолетних проституток. Это не Гайдаровские дети и не дети Катаева или даже Марка Твена. Да, у Достоевского были дети? В жизни его — не в писаниях?..

Как-нибудь когда-нибудь
Вырвавшись на волю
Мы с тобой направим путь
К лесу или к полю

Время даром не губя
Двинемся тропою
Я возьму с собой тебя
Я возьму с собой себя
Чтобы быть с тобою.

Ну а ты возьмешь сачок
Удочку и мячик
Потому что дурачок
Потому что мальчик…

Следом является еще одно Слепаковское, или Нонно-Слепаковское, стихотворение… Ты намолчался до своего рождения, до появления своего на свет этот — ты намолчишься после смерти своей. Жизнь твоя — это молчание в мир и говорение в себя. Музыка в тебе увивается, как плющом и виноградником, песней, словами, стихами. Но! — оказалось, что без речи родной слух твой вконец измучен, измочален мыслями твоими, дурью твоей, идиотизмом твоим, твой паранойей гармонии… Горе? — Нет: счастье. Горькое. Горький опыт чудеснее сладкого своим результатом — плачем, песней, музыкой…

Нежный отход утепленный обман
Грянуться оземь Предложен диван
Слезы сухая подставлена горсть
Ночь одинока является гость

Добрый обман милосердный отход
Даже надеется даже зовет
Где-нибудь как-нибудь дескать авось

Экое горе-то видеть насквозь…

Тебя кто-то окликнул. Высоким голоском. Нечеловеческим. Но родным. Ты тряхнул головой. Оглянулся. — *Воробей!* Воробей говорит по-русски! Воробей го-во-рит по-рус-ски! Он знает такой язык — общий для всех, и в этом языке — внутри и в созвучиях, и в интонации — есть русский. Ты выпиваешь. Допиваешь всю, до дна, бутылку. Закуриваешь. Воробьи скачут парами и по одному по каменному кругу мертвого фонтана. Господи, это же колодец! Колодец языка… На железную ржавую ограду (это, видимо, заброшенный садик, индийский палисадничек; каменный сад, каменная вода, каменный пот пустыни) — прямо на гнутое копье воротец садится ворона — и каркает по-русски! Ободранный кот, одичавший

и страшный, нежно мяукнул — по-русски! Господибожетымой, есть с кем поговорить. Есть! Слух твой освободился от шумной тишины гигантского города и учится слышать русский язык — растений, ветра, воды и птиц. Все: еш канфеты ф шкафу…

Вы с Юлей в поезде. «Первый» класс не берите — жара, пыль, ковры и насекомые. Берите второй класс — он с АС (aircondition), с кондиционером: немецкий вагон, купе на двоих, как в нашем поезде СВ...» С Богом…

———

На поезде ехали до Кочина. Там вас ждет машина с водителем Мухамедом и референтом ректора Керальского универа (Kerala State), который стоял на стреме у выхода и аэропортика с плакатом «Васильевич».

— Видишь, по отчеству встречают тебя, — рассмеялась Юля.

— Или по Отечеству. Си-Си-Си-Пи все-таки (латинское прочтение русской аббревиатуры СССР). Бабка моя, Наталья Григорьевна, говаривала: «Ну, что там опять позорил китайского Мао Зэ Бздуна?!»

Въехали на стареньком «Амбассадоре» в юниверсити-кэмпэс (Campas), в городок-городище с огромным садом, почти бушем (bush, джунгли), универ — его ряды корпусов и прочих построек — был чуть выше Guest House'a. Если стоять лицом к Северу, то по левую руку стояло, чуть дыша, мутноватое Аравийское море (которое ты помнил по двум командировкам в составе… и т. д.); а по правую руку — горы, несколько слоев-ступеней в небо. Красота. Взяли «европейский» (лучший!) номер — он был лучше защищен от зверя, гадов, насекомых, а также имел АС.

Юля радовалась перемене места. Иван разбирал вещи. Открыл сумку заветную с русской снедью — и в лицо пахнуло домом, Россией, Уралом. Будто взял на руки ребенка, дочку свою, и въехал лицом — слухом, взглядом, обонянием в облако младенческого тепла, дыхания, запаха конца и начала, — аж в глазах потемнело… Юля ушла в душ — вполне казарменный, бетонный мешок с душевой стационарной стойкой и двумя краниками, как в общественной бане. Номер был вытянут с севера на юг: прихожая (она же гостиная), спальня с кухонным аппендиксом (но с дверями! — это важно: скорпионы, огромные пауки, ящерицы и ящеры, то-се…), завершалось жилье будуаром, напротив которого располагался душ (ванны

не было), откуда вылетела голая твоя жена — в слезах, в ужасе, в конце света и, вообще, в конце конца всех концов:

— Собираемся! Уезжаем! Бы-ы-ы-стро!

— Что? Что случилось?

— Там какие-то существа…

Ты идешь в душ. Включаешь свет — и от лужицы на полу рванули к сточной дыре в полу огромные тараканы (от 12 до 18 см!), на малаялам, языке керальцев, «кура», или по англо-саксонски «кокруч» (таракан). Бляха-муха! Ну шта паделаиш! — Еш канфеты.

— Это, Юль, тараканы. Завтра принесу кошку — всех разгонит: мы в Египте… — и осекся…

— Где?!

— Шучу (ты никогда и ничего не говорил-рассказывал о службе в армии, — так, нес чепуху про морскую авиацию, которую прихватил телом и душой на армейском-флотском охвостье). Шучу. Успокойся. Давай-ка выпьем водки русской с черным хлебом. И — ляжем спать.

— Вызови кого-нибудь из персонала!

Ты спускаешься (уже глубокая, мертвая ночь) со второго на первый этаж. Находишь боя («boy»), Чандру (Чандран), ведешь к себе в номер, радуясь, что парнишка, видно, неплохой, приветливый. Вы, втроем, до утра, угощаетесь родными, ставшими заморскими, разносолами (новые друзья Салтановские научили: везите с собой две-три головы сыра нашего, консервы рыбные, икру красную и много водки: Вера Васильевна наказала по вечерам выпивать по рюмке водки — для профилактики ЖКТ — и Ваня тогда мысленно добавил для себя — «ЖКТ и ЗАПОЯ»).

— Юль, а может, это не мы *попали*, а *они*?

— Кто «они»?

— Не *кто*, а *что*! — Си-си-си-пи.

— Ты… говоришь об остаться? Здесь? Заграницей?

— Нет. Для меня это — полностью исключено. Но… Но: давай поживем-увидим. Да?

— Да. Как ты говоришь: все — значимо…

— Ну да: все значимо в нашем мире равно, как само себе, — друг другу.

— Грамматическая белиберда. А смысл-то?

— Все внутреннее — важнее внешнего.

— Да что ты говоришь [*с иронией*]?!
— Давай-ка еще по одной. Скоро рассвет. Пошли к морю. К Аравии.
— Впотьмах? Чандра сказал, что в садах леопард бродит.
— Вот и познакомимся. У меня есть кирпан.
— Этот кривой кинжальчик? Он бесполезен.
— В умелых руках — это супероружие!
— Да иди ты на фиг!
— Ага. Пошел…
— Все: спим. Умираю — спать хочу…

Ты лежишь. Куришь. Юля спит. Театр. Загранка. Без оружия!.. Непредставимо. Что я *здесь* делаю?.. Ладно. Не психовать. Театр. Ты попал в дурную пьесу «Заграниц. Индия. Бардак». Да, театр подражает жизни — жизнь подражает театру. Социальная, внешняя жизнь. Однако весь мир — нетеатр, и люди в нем неактеры, а нелюди. Это в «Гамлете» так — не далее, не глубже и не шире… А перед кампусом — рыночек: фрукты, овощи, куриные яйца, ананасы, бананы-бананы-бананы: желтые, белые, розовые, зеленые, черные, красные,— и рыбовладельцы. Море — рядом. Арабская рыбешка. Макрель. Запах зеленый, как вода в Море Аравийском. Нет, частности бытия неизменны. Изменчивы, мобильны сферы общего, глубинного бытия. Так что не психуй… «Ванька, гранаты взял? Сколько? Бери четырнадцать — каждому по две: в группе, блин, семь рыл. Одна врагу. Одна себе. Прижми к животу, дерни за колечко — и дверка, тьфу,— вечность твоя, персональная, от-кро-ется»… Спи, морячок. Спи.

———

Было страшно: начинать работать со студентами — без языка-посредника; точнее, языков — без английского (знал слабовато и подавляюще теоретически, без какой-либо практики), без хинди, без урду, без малаялам (местный язык дравидийской языковой семьи), без хинглиша (индо-английский макродиалект, кажется, понятный, но чудовищно карикатурный по отношению к исходному состоянию современного английского языка), без арабского (в Керале жили тогда, в середине восьмидесятых двадцатого века в основном мусульмане: «Муслимс», реже — «муслимз»). Начальницей Russian Demartment'а оказалась очень приятная во всех отношениях женщина, драведийка,— добрая, умная, отучившаяся

в Москве в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (кто такой Лумумба — загадка навсегда). Ее звали Н*и*рмала, муж которой тоже учился в Москве, в МГУ на истфаке, и теперь оба они преподавали в калькутском универе. Муж Нирмалы — Гангадаран, или Ганга, по рождению принадлежал к очень высокой касте индийцев, отстоявшей всего на шаг-два от браминов (или «брахманов» — представителей высшей касты). Иван, обитавший всю свою жизнь в огромном полиэтническом пространстве, легко принял родовое, кастовое, этническое, социальное и проч. разнообразие Индии, в частности — Кералы, одного из штатов государства (21 штат и 9 союзных территорий вполне соотносились с пятнадцатью республиками в СССР плюс с несколькими автономиями условного характера). Душе стало уютнее. Индийцы нравились и Юле, и Ивану: они были почти как русские, советские люди — добры, хитры, покорны властям и свободолюбивы одновременно.

Ты ходишь по чужой земле, красной, вулканической: за спиной Арабское море, перед лицом — горы с чайными плантациями и джунглями (сухими без муссонов, которые случаются ранней осенью в августе-сентябре — месячный ливень,— это первый муссон, а второй — недельный — обрушивается ближе к зимним месяцам),— все остальное — это города (огромные: Каликут здесь зовут городком, но население в нем куда больше двух миллионов), селения (проехав Индию не единожды с севера на юг и с запада на восток и обратно, ты видишь вдоль трассы с багроватым асфальтом (еще англичане строили, заливали и прокладывали дороги, естественно, руками индийцев) сплошной забор, изгородь, прясло, штакетник, железные заборы, бетонные ограждения деревень, сел, городков и городов, которые тянутся десятками километров и склеиваются в одно целое поселение, образовавшееся на полуострове Индостан само собой. Одним словом, Индия — это геоприрода (небольшая — это не Сибирь) и люди. А еще диковинные для русского глаза грифы, орланы, огромные коршуны, змеи, ящерицы и ящеры, крокодилы, обезьяны-обезьяны, коровы-коровы, буйволы-буйволы и слоны-слоны.

Приехав в Индию и осев в Каликате (точнее, под городом, в двадцати пяти километрах к югу — в университетском кампусе-городке), ты вдруг стал ощущать свое пребывание и сознание места и времени здесь как вторую армию, но уже добровольную,— как шестую командировку, но не в составе такого-то военного подразделения,

а в составе семьи из двух человек — Юли и тебя. Изменилась, конечно, интенция: милитарная была замещена обязательной и абсолютной гуманитарной. Но: от этого чувствования, ощущения и осознания себя *там, за бугром,* ты постоянно жил и прозябал в работе и развлечениях, находясь в состоянии терпимого, но тревожного напряжения. Вернулись «военные сны». Но ушел алкоголь: интернационально-гуманистический долг оказался необходимым и неизбежным платежом за годы литературного ужаса в СССР. Здесь, в индийском универе, ты прочитал и еще дважды — за три года — перечитал всю русскоязычную литературу: от Карамзина и Державина до Солженицына, запрещенного и живущего теперь в США. Ты «подтянул» свой английский язык — помог Джеймс Джойс: ты прочел «Улисса» с помощью англо-русского двухтомного словаря (огромного) Мюллера. Через три месяца ты заговорил худо-бедно на инглише, который постепенно превращался в хинглиш.

Каждый вечер (ранний-ранний: темнеет здесь в 19:00 так стремительно, будто Он свет выключает рубильником во всей зоне приэкваториальной); светлеет так же: внезапно; сидишь утром, уже за шесть часов, пишешь или лежишь в огромной гостиничной кровати (2+n) и читаешь — и вдруг что-то щелкает в груди до дрожи в голове, в конечностях, в животе — светло! — это Он рубильник рванул на себя: паситесь, странные народы, пейте свой кофе, чай, сок и прочую жидкость — и на работу. Работа здесь оказалась мерцающей: забастовка и карантины. У тебя три курса: с нуля; бакалавриат; магистратура; продвинутый курс русского языка; постгредьюэйт (аспиранутра). Студентов хватает — по сотне душ. Как-то ректор универа, ярый антисоветчик (и это понятно и похвально: трудно, однако, не смешивать советское и российское — «Откуда вы?» — на этот вопрос вы научились отвечать не «From Soviet Inion» [лучше — *«onion»*], а «From Russia») — ректор-джентльмен, англо-саксонистый, низкорослый симпатичный южанин с темной кожей пристал к тебе:

— Слышал, у Вас со студентами туго? Студентов-то нет у Вас или слишком маловато?

— Why not? — (Ректор вздрогнул — ответ грубоватый). I have more than hundred students — over one hundred.

Ректор вдруг обрадовался (мужичок был из богатеньких, но умный и добрый). Well done! — Скоро вы с ним подружитесь и будете играть — парой — в теннис… Правнук русского («царского»)

генерала и праправнук епископа (православной русской церкви), отца и деда твоего деда Ивана Иваныча Орлова-Черминского, расстрелянных большевиками в Архангельске в 1923 (или 1922? году — здесь все смутно, т. к. дед только однажды проговорился, а ты не пристаешь к нему с вопросами, чувствуя в нем ужас казни и утраты), — правнук врагов трудового народа, в сущности, — контрреволюционная сволочь, — *ты улыбаешься этому*, в общем-то, не очень счастливому человеку, с которым судьба свела вас здесь, в Индии. Времена нелегкие: в СССР мрут один за другим генсеки Брежнев, Андропов и Черненко, а в Индии убивают Индиру Ганди: север страны пошумливает, а вот на юге, в Керале, молчат. Сыновья Индиры тоже гибнут (Санджай разбивается на самолете, говорят, не случайно; Раджива Ганди просто убивают). Кругом перестройка: смерть опережает Горбачёва, и он приходит на пустое место — место слабости, страха, дрожи в руках, в щеках и в животе. Индия же ошпарена родовым кипятком из котла полиэтнического, полирелигиозного, полисоциального варева — англичане умеют заваривать смерть.

Ты много работаешь. Месячные (по месяцу!) забастовки тебя не касаются — ты решил работать со студентами и слушателями на дому. Все это знают. Все смотрят на тебя со страхом уважения и почти восхищения. Ты бесплатно учишь русскому языку и русской словесности (индийцы учат русский язык и изучают русское по трем причинам: а) работа на военных объектах; в армии с советским вооружением; б) любовь к прозе Льва Толстого; в) восхищение музыкой русской речи, русского стиха, русской мелофонетикой. Аутсайдер, студент Бобби Джон (кералец, но христианин, а не индуист и muslim) ездит к тебе на своем автобусе (рейсовом: снимает его с трассы и едет к тебе заниматься русским). Бобби почти мальчик. Живет недалеко (километров сто от кампуса) с родителями и двумя кобельками-шпицами по кличке Сталин (черный шпиц) и Гитлер (белый шпиц). Бобби не понимает, чьи имена носят его собачки. Он улыбается смущенно и говорит: «Прикольные имена…» Красота Юли, твоей жены (это важно для индийцев), тоже неплохая реклама и метафизический стимул изучать русскую словесность. Ты постоянно ее смущаешь и нечисто, нечестно веселишь, обыгрывая имена новых знакомств: Кунни Кришнан — Пукни С Крыши; или Сурeш (неприятный тип, алкаш, избивающий свою жену — ты ему однажды врежешь, и он исчезнет), итак, Сурeш — Говна поешь;

или Раждив — В Попе Нарыв; или Санджай — Нету Бабы, Не Кончай (Носом не кончай). Дурацкие, грубые военно-морские шутки с уралмашевским акцентом.

Индия, Каликут (Каликат, исконное: город Кожикоде) начинают привыкать к тебе. И ты, возвращаясь из поездок — trip'ов по стране, «домой», уже ощущаешь город временно близким тебе, а универ, его Campus, родным, или почти родным, скорее, двоюродным. Запахи, ароматы и вонь безканализационных улиц Каликута (сточные канавки, забетонированные под желобки); ароматы сандалового дерева свежего, влажного и горящего (тлеющего) — вот душная атмосфера Индии: в городах душно — сандал, пахучий, инопланетный, нутряной, вулканически воспитанный и отшлифованный зноем,— пахнет утробой Вселенной, влажной и горячей от слез, счастливых и горестных. Чай и кофе, заваренный кипящим молоком прямо на улице, на лотке, на ящике из-под мебели — мальчишкой где-нибудь на подъезде к кампусу, к универу,— пахнут протошоколадом, нежным и крепким, как английский ром «Геркулес, трипл экс». Майсурчики, розовые бананчики размером с мизинец (из горного Майсура привезенные) — это сны сахара и детских уст. Обилие людей (круглые сутки) на улицах и на Улице Индии (от северных отрогов Гималаев до Цейлона-Шри-Ланки) — это движение и шевеление космического сознания, истосковавшегося по звездам и Южному Кресту, по океану и Кресту в нем, по чудесному и божественному состоянию мира, где нет бедных и богатых, праведных и дурных, гениальных и бесталанных.

Иногда в чужом бывает больше родного, чем в своем — чужого. Но, тем не менее, ты оказываешься, будучи «на чужбине», в особой ментально-вообразительной ситуации, которую ты называешь художественной шизофренией. Ты зависаешь (suspended in time) во множественном ощущении себя, которое открывается триадой «Я — Ты — Он»,— себя, обитающего одновременно в СССР (умом), в России (разумом), на Урале (сердцем и душой), в Африке (памятью), в Индокитае (болью), в Шатрах (сладкой болью), на Уралмаше (смутной ломотой в левом плече), в Уральском универе (ненастольгической радостью), в однушке на Крауля (смутной тоской), на Декабристов у Майи Волконской (любовной болью и печалью). Воображение твое преувеличивает образ любви, Бога, Гармонии, Поэзии, Словесности. Образ поэзии множится

тобой, миром, поэтом, автором, героем, читателем, забвением твоим — там, на Родине.

Мгла над именем моим… — Примерно так… Ты думаешь сразу три (и больше!) книги: книгу стихов, монографию о поэзии, книгу прозы, книгу записок, вспышек мозговых-сердечных — душевных и духовных. Ты думаешь книгу. Но и книга думает себя — тобой!

Ты думаешь книгу — книгой.
Книга думает тебя — миром.
Мир думает себя — гармонией.
Гармония думает себя Богом.
Бог думает тебя — временем и вечностью.
Жизнь думает тебя и себя — смертью.
Смерть думает себя — бессмертием…

Бабушка просила: «Слазь в подпол за огурцами. Там в подполье еще чего присмотри». И ты лезешь в подполье сознания, страны, истории, поэзии и гармонии — за Мандельштамом, за свободной литературой. Тебе предлагают издать книгу стихотворений в Германии, в Индии и в Израиле. Ты отказываешься: тебя выдворят из СССР навсегда, и это убьет деда, бабушку и Катю… Ты сидишь в номере университетской гостиницы (Guest House), пишешь. Оглядываешься так, будто кто-то хлопнул тебя по плечу. Видишь — это Он:

— Осип Эмильевич?! Вы?..
— Ты. Говори мне — ты.
— Почему? Как? Я не знаю… Откуда?
— Потому что ты — это я.
— А я?
— Я — это ты.
— А Тютчев?
— Это мы.
— Рильке?
— Это мы.
— А кто мы?
— Тютчев…

Уже темно. Ты с фонариком, один. Юля спит. Уработалась на теннисном корте. Ты бредешь по узкому тротуарчику, в темноте, наезжая на конус («на торпеду») слабого света из фонаря. Оп! — тебя кусает

кто-то/что-то. В саду в университетском, переходящем в Мауглевские джунгли, сыро, аспидно, пусто. Ты ругаешься. Выругиваешься. Скорпион. Огромный. Черный. Это — хорошо: черные не шибко ядовитые. Тебя уже кусали эти насекомые ребята, членистоногие господа, особенно в Лаосе. На большом пальце ранка. Выдавливаешь кровь. Эх, не отсосешь заразу — нога правая, негнучая, простреленная и резанная по мениску. Прижигаешь укус угольком сигареты. Слава богу — ранка одна, а не три — треугольником, остающимся после укуса змеи… Идешь обратно — думать книгу.

Ты думаешь — сквозь книгу, — что ты немтырь. Впервые — твердо и вполне осознанно — ты нарекаешь себя *немтырем* за тысячи километров от дома, от своих книг, от своего стола (хотя и писал ты постоянно в совмещенном с ванной санузле, садился на опущенную крышку унитаза, подкатывал к нему из угла тесной ванно-туалетной комнаты стиральную машину то ли «Кама», то ли «Пермь», то ли «Пермяк», то ли «Вятку»: все — финно-угорское эхо чистоты, стирки, писания, думания и курения (в ванной — можно!). Немтырь: мальчик, рыбачок, дедо-бабкин внучок, безотцовщина, помощник деда в с/х работе, песнестихоплет — это навсегда. Это ты — внутренняя часть «матрешки»-человека. Внешняя часть — оболочка, — это ты — юноша, рабочий, матрос, студент, грузчик, работник морга (морг и фрезеровщик — совпадение с Бродским), дворник, охранник (вахтер), истопник, кочегар, кандидат и (скоро) доктор филологических наук, ассистент кафедры современного русского языка, аспирант, старший препод, доцент, докторант, член СП (СССР, это отдельная история — в будущем), — одним словом, говорун. Немтырь и говорун. А еще пятое-десятое, то-се, бляха-муха и полная трансгрессия. У тебя с детства зябнут ноги — диабет: ходишь по дому — летом — в шерстяных носках, — зимой — в унтах.

Живешь: внешне ты разный: амбал, звероватый тип, шутник, не остряк — а игрок рече-языковой, не каламбурист, а скорее, этимолог незабавный, но неизбывный. Внутренне ты иной: думаешь в себя и в себе свои стихи, тексты, книги (что совсем не понятно ни родственничкам жены, ни филологам-коллегам, воспринимающим филологию как работу, как карьеру, как профессию, как Stairway To Paradise, как нудное, но неплохое (при Советах оплачиваемое — примерно так) дело. Думаешь свою науку. Свою прозу. Свою физику и астрофизику, свою философию (слово очень уж

слабое), свою антрополингвистику, свое текстоведение, свою гармонию. Филфак — институция женская: во-первых, ВОВ и другие войны выбили и выбивают мужиков; во-вторых, водка руководит мужской половиной страны; в-третьих, их берут в армию, гонят на заводы (вы-ы-ысокие оклады); в-четвертых, разбил в СССР общественно-государственную витрину — пошел на зону, года на три (стране нужны лесорубы и рудокопы); в-пятых, мужиков долго маринуют в додоцентном периоде, как в банке, стеклянной и безразмерной; в-шестых, «в-главных», — мужиков в гуманитарные сферы науки пускают со скрипом — на хрен вольнодумцев творить, а?! (Ельцин и после него вообще начнут душить философию, филологию и историю — и додушат!)

Тебя и любят, и не любят. Серединки нет. Общественное мнение глупо и чересчур наглядно, повсеместно и бессовестно: если ты иное — тебе конец, — рано или поздно сковырнут. Подойдет со сладкой улыбкой стукача-стукачки — на цырлах, — и сковырнут, как болячку, коросточку, которой нет.

На улицах города, на воле несвободной, женщины тебе улыбаются. Мужики настораживаются. Ночью одинокие пешеходы переходят на другую сторону — через трамвайные рельсы городского снегonight-way'а. Примерно так. Но! — ты знаешь, что мир этот внешний ни-че-го не значит: он неизменен при всех и любых политических и экономических формациях. Актуальная литература (и стихотворчество) — вся как раз в этом и об этом. Меняется только глубинное, общее, не бытовое и социальное — а бытийное, онтологическое, чудесное и божественное, страшное и грандиозное. Потому мир человеческий все еще жив. Стоит. Гибнет. Воскресает. Жиреет. Умирает от голода.

———

Музыка — это не то, что звучит, а то, что, совпадая с ритмом, дрожью, кодой с твоей кровеносной, ментальной и духовной природой, — меняет тебя. Не преображает, а потом разображает — но меняет, изменяет тебя, тебе — тобой. Ты сам музыка. Экзотика наземной гармонии превращается в насущную надобность быть собой и носить в себе экзомотив Орфея. Вот и эта страна, сторона, глубинка мира исторического, вечного, — Индия — перестала быть экзотической, экзотикой, ахами-охами: она, Индия, стала тобой (ты

впустил ее в себя), а ты прирос к ней — прежде всего музыкально. Индия — это и сон, и не-сон, — это другая реальность, близкая к *иной* реальности и реальности художественной, которая есть не миф, а — мы.

Шагни на трап Jet'a — и ты в Лондоне, где тебя тихо ненавидят, как огромный, громоздкий, бездарный и безвкусный памятник коммунизму, фашизму, тоталитаризму etc., предлагая тебе небольшой изящный (почти крохотный) памятник капитализму. Идиоты! Все идиоты! Идиоты, живущие в изящных домах, в изящном саду, в изящном лесу. А что поделаешь с изящной тайгой? С изящными гигантскими реками? С изящными бескрайними полями, горами и, наконец, с изящной тундрой и не менее изящным Ледовитым океаном?!

Индия восьмидесятых годов двадцатого века, замусоренная, вообще нечистая, нищая, больная телом и политикой, мозгом и прагматическим, и религиозным, почти философским. Ты читаешь «Стихи об Армении» (взял и таскаешь с собой повсюду О. Э. М. в «Библиотеке поэта», где Дикий Лифшиц обосрался навеки). Орущих камней государство… Индия — орущих камней государство (и пустошей, и пляжей, и жутких желтых рек), и Армения — такое же государство: но в Индии все есть прирученное, а в Армении — дикое, а значит — божественное. Индия в корке религиозной, тогда как Армения — это каменистая норка религии, словесности и культуры: храмы, кумирни, погребальные костры, слоновьи пляски (как русские девки в хороводах и в лилиях лицом к лицу по шестнадцать в ряд) — по сорок слонов в шеренге, коих две, и они — соперничают, играя, «воюют» — это Южный Пурам, великий праздник! Но и великий праздник — отличить окаменевшую лепешку кукурузную от гранитной и коровьей; кусок сыра — от булыжничка в Армении. О, это не менее великий праздник. Цикл «Армения» и «Багават-Гита» — как книги — явные, близкородственные почти сестры. Черно-бело-красные (вино! коньяк!) армяне и разноцветные индийцы: сари и доти (дхоти) всех цветов. Сари: берешь отрез материи (ленту шелковую, хлопковую, иную) не менее шести метров и оборачиваешь чресла своей женщины в несколько кругов-слоев, а конец (около метра) перекидываешь через плечо (можно со спины на грудь, можно наоборот). Доти (dhoti, dhothi) — это для мужиков, особенно южных: квадрат материи оборачивается вокруг таза и прикрывает дядьку до земли — удобно, нежарко и нежалко испачкать, порвать.

Не смотри на сари долго — заплачешь: так красиво и чудесно, так богини одеваются там, где существует Протоиндия.

Ты работаешь много. Жена много путешествует (и одна, и с Нэтрой, другом богатеньким с Севера Индии, владельцем всех магазинов, торгующих в Индии и окрест свадебными сари; он влюблен в Юлю; все здесь влюблены в нее; ты знаешь, чем это кончится, так как это уже началось). Ты работаешь со студентами, слушателями, аспирантами и аутсайдерами на Russian Department'е, в саду на скамьях, дома — в гостинице, в гостиной. Ты почти один здесь. Бывает… Каждый вечер ты покупаешь ветвь бананов (20 кг), и каждое утро берешь пакет с бананами и выходишь со двора Guest House'а — он подходит: подросток еще, с огромными ушами, маленькими человеческими глазками, на заплетающихся толстенных ногах и с ловким, рукастым хоботом. Слоненок Коля (не путать с Кали, Богиней Зла!), он бежит к тебе, разбрасывая в стороны огромные ножки. Ему три года. Он знает русский язык. И его хозяин — тоже: ты даешь хозяину 100 рупий, а Колю кормишь бананчиками-майсурчиками, пахучими, ароматными, малюсенькими и вкуснейшими. Ты заранее тыришь бананчики по карманам (в шортах, в жилетке, в рубашке), и слоненок Коля (чуть-чуть волосатенький, но еще очень юный) ищет их и осторожно, но быстро и ловко вытаскивает хоботком, сует их поочередно в треугольный роток с острой верхней губой, выплевывает кожурку и жует мякоть бананчика.

Потом, наигравшись со слоненком Колей, ты прешь домой. Находишь цикл «Армения» О.М. И читаешь, впав в обморок, одно и то же стихотворение.

Лазурь да глина глина да лазурь
Чего ж тебе еще скорей глаза сощурь
Как близорукий шах на перстнем бирюзовым
Над книгой звонких глин над книжною землей
Над гнойной книгою над книгой дорогой
Которой мучился как музыкой и словом…

Человечество живет тремя потоками: в снегах-равнинах-степях-тундрах; у воды-морей-озер-океанов-рек; в небе-горах-перевалах-отрогах-пропастях… Примерно так. Но есть и другой, иной поток: живущие в музыке и слове — немтыри.

Не говори никому
Все что ты видел забудь
Птицу старуху тюрьму
Или еще что-нибудь

Или охватит тебя
Только уста разомкнешь
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь

Вспомнишь на даче осу
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу
Как я ее собирал…

Ты почти спишь, почти не спишь, почти живешь, почти умер: одиночество — твоя мать, сестра, жена. Тебе хватает. Ты плачешь…

Я тебя никогда не увижу
Близорукое небо…

Ты, как нижнее, исподнее небо — поднебье,— распластан на пять сторон (как «беличья распластанная шкурка» О. М.), не света, а твоего постоянного пребывания — ментального, душевного, мнемонического в болезненных и родных для тебя точках планеты: Урал — Северная и Южная Африка — Индокитай — Индия — Кольский полуостров, Заполярье. Ты стоишь со слоненком Колей (он пахнет, как давно не мытый морпех — на задании, в рейде по тылам противника, в отходе, в убеге от преследователей, в бою, когда уже наплевать на все), под солнцем, которого нет: оно — вездесущее, огромное, но крохотное — с точку под восклицательным знаком, с триллионы таких точек повсюдных: жара! а ты ее уже не чувствуешь. Ты одинок. Но с Колей легче — ты ждешь встречи с ним день, вечер, ночь (хозяин слонов говорит тебе, что Коля тоже ждет тебя — постоянно направляет хобот — за пять километров от тебя, а то и за двадцать пять — в твою сторону: к универу, к гостинице, к теннисному корту, к Каликуту, где ты покупаешь компакт кассеты с классикой [Итальянцы и Гендель, Бетх и Бах] и английский сыр

в банках, и английский ром «Геркулес», и индийскую лапшу (быстрогот) с масалой — дикой и крепчайшей приправой), — ты один, видимо, на месяц: Юля уехала в Тривандрум (столица Кералы), к академику Фёдорову — офтальмологу, к нему на судно-госпиталь, на котором он обходит три океана, сотни стран и одну планету; скоро ей сделают глазки (у нее –5, диоптрия хренова!) — операция будет транслироваться на всю Индию, Индокитай и арабские страны.

Все рушится у них с Юлей. Все несчастливые семьи (а их 90%) похожи друг на друга, а счастливые — счастливы по-своему. Да, Лев Николаевич? Ты писал о дворянских семьях, о бездельниках и пустозвонах — они были счастливы этой пустотой! Да, природа русская спасала их. В тебе четверть крови дворянской (дед), четверть крестьянской (бабушка), четверть полуинтеллигентской (мать Катя) и четверть бешеной крови казачьей (отец, батя, папенька хренов), а еще польская дворянская (мелкопоместная), разбойничья (варнаки уральские) и еще, еще, еще… Примерно так. Мама Джеку адала деденьке на красный. Ну чта паделаиш. Еш канфеты в шкафу… Ты горюешь и наслаждаешься одиночеством: ты пишешь что-то, читаешь, учишь дравидийцев русскому, думаешь стихи, будущие книги. Ты знаешь: они будут. Ты знаешь, что литературного замысла как планирования — для тебя — нет. Есть протозамысел, когда книга (думаемая) и ты мыслите гармонию, а мир, вечность, бесконечность и Бог думают вас — и вы, все вместе — думаете Главное. Это не бог, не гравитация, не время, не разные измерения хронотопа (спасибо, Бахтину!), а нечто большее, более крупное — ему тесно здесь, ему тесно там. Где? — Ты не знаешь, но ощущаешь этот сгусток света, тьмы и пустоты живородящей — он распространяется как некое протовещество во всем сущем, смертном и бессмертном.

Кошка Пуча («pucha» на малаялам — «кошка») из котенка, подаренного Нирмалой и Гангадараном, превратилась в зверя, которого боялись все: и змеи, и пауки (размером с пятерню), и сентипиды (длиной до полуметра), и скорпиончики (особенно желтые, белые и красные — самые опасные, это ты помнишь со времен Индокитайской кампании). Пуча идет себе, идет по мраморному полу, почти зеркальному, посматривая на свою милую морду — и хоп! — взлетела: это ты подхватил ее, проходя мимо. Она сразу начинает тарахтеть-мурлыкать. Ты ее откормил — до минибегемотских кондиций. Хороша, зараза! Ох, хороша…

Ты один. Думаешь: ты — снайпер, обозревающий и мыслящий, и ощущающий мир и текст; но мир и текст тоже снайперы; ты всматриваешься в будущий текст, но и текст, как снайпер, целится в тебя, метит в тебя и метит тебя миром, воображением и смертью. Процесс думания текста — жизнь: вдруг, бумс, и вы друг друга выследили — и нажали на спусковой крючок, триггера (trigger) — все, дело сделано. Но бывает, что встречные пули (твоя и текста) влепляются лоб-в-лоб! — друг во друга: такая вот свинцовая лепешка, — птичка смерти-жизни накакала… Реже все-таки ты попадаешь: текст есть! Появление текста — смерть твоя (для текста) и смерть текста (для тебя) — ты снова идешь на охоту.

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник
В самую гущу… —

Ты видишь свою распластанную, простреленную, изломанную, страшную ногу: розово-желтые сухожилия, голые кости (обе — ниже колена), свое мясо, уже заветренное, — и ты видишь сразу, без паузы, эту же ногу, но уже разделанную, через 32 года в дорогой больнице, от щиколотки до паха: шунтируют бедренную артерию, вырезают ее и выбрасывают, вытягивают из тебя метровой длины вену — и вшивают ее на место артерии. Все. Два таких ужаса — между ними универ, семья (первая), Индия, семья (вторая) и ты — безвестный думатель; полуизвестный литератор, профессор, доктор наук, известный полуученый, известный стихотворец, филолог, эссеист и т. д. Примерно так. — Хлоп — и не жужжит, но мучает послезвучием. И дозвучием — тоже…

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник
В самую гущу его целлулоидных терний
Смело до хруста ее погрузи добудем розу без ножниц
Но смотри чтобы он не осыпался сразу
Розовый мусор муслин лепесток соломоновый
И для щербета негодный дичок не дающий
ни масла ни запаха…

———

Кошка Пуча летит по воздуху индийскому. Так и ты полетел. Взлетел — Кто-то подхватил тебя — и полетел… Ты вспомнил, как это делается и кем это делается: воображение отстает от таких интенциональных взлетов, вылетов и перелетов. Воображение детализирует происходящее — ты перемещаешься туда, где хочешь быть (например, из африканского или лаосского ада — в Шатры). Воображение обустраивает твое параллельное существование, затягивает его во времени, устанавливает в пространстве. Такое не-бытие *здесь* — есть *бытие там*, где ты *должен быть*, чтобы выжить и быть — дважды. Это не шизофрения (а если и она — то художественная), не галлюцинации, не бред, не сон — это просто твое двойное (тройное и т. д.) бытование, или наличие тебя, если не всюду, то там, где ты хочешь или должен быть. Кошки это умеют: они вдруг исчезают (однажды Гриша, черный кот, Ванин любимец и любимец всего литературного Свердловска, исчез; бесследно, не покидая квартиру — через три дня котище вдруг появился: глаза — ошалевшие от того, где он был и что он видел; параллельное пространство? телепортация? — это все хрень полная: коты умеют и любят жить сразу и одновременно в нескольких местах). Кошки исчезают (и собаки тож) и возникают то здесь, то там без особых стараний — у них это происходит само собой. Вот и ты освоил это дело, это новое полихронотопическое состояние своего тела, души и ума. У Пучи, индийской особи, оказался Гришин словарь (в переводе на человеческий язык вполне адекватная миру знаковая система органического происхождения). Вот эти котизмы: котострофа, котокайф, котострофа (грамматика, кстати, у котоязыка — музыкальная по сути и звуко-беззвучная по форме выражения), котоклизм, котоклизма, котурны, котобаза, котомогильник, котомобильник, котовасия, который, шкот (ы) (переходящий в шкоду), наркотик (-и), кот без порток («ток» — это «кот справа налево»), покотили (пошли, поехали), котаться, код, котолог, коталка, котоляска (и коляса, и Аляска), аперкот (-ик), абрикотин, щекотка (щекастый), антрекот, шкотулка, сукотка (с брекоткой — загадочные слова), икота, котолизатор, коомка, которжанин, поток (мытье полов хозяевами), котегория; а вот идиомы и иные словечки: им овладело беспокойство, охота к пилименям; выходила на берег Котюша; плимень (пельмень); кадопоник (подоконник); Викторономыч

(Викторович); писотка (пятьсот рублей одной бумажкой): — Вань, давай писотку — в зоооооопаааак пойду; игральные карты: тут (туз), детить (десять), тэть (шесть) и т. д.

Ты изучаешь, «учишь наизусть» мир, а он тебя учит — себе. Коты и другие зверюги дарят нам не только свое доброе расположение, но и саму жизнь, себя, свою душу.

Ты понимаешь, что семья твоя, а главное и основное — отношения с Юлей, — накрываются медным тазом, медленно и верно, точно, скоро будет заподлицо с уровнем земли. Становится все темнее и темнее — остался ободок света — с севера; все остальное болит — мучительно, ноет непрестанно. С тобой стали случаться запои. Небольшие. На три-четыре дня. Выйти трудно из пьянки, но еще можно — стихи помогают. Ты много работаешь. С людьми. Стыдно быть с похмелья. Ох, как стыдно — жуешь орешки, чтоб не пахло спиртом. По ночам не спится, и ты переносишься то в прошлое свое, то в будущее. Чаще — в будущее, в девяностые: СССР исчезнет… Богатые — бедные… То-се. Примерно так. Хлоп — и не жужжит.

Ты в 1992 году — из 1985 (тебе исполнилось тридцать лет, такой вот Шульберт-Харем): читаешь стихи незнакомого тебе — совершенно — поэта. (Он уже есть, в Москве, «Московское время».) Гандлевский. Ты его стихи полюбишь в девяностых. Нет, не полюбишь — но прикоснешься к ним, как к своим — сам себе о себе. Котострофо такое вот происходит — прямо с рубежа твоего возраста, с тридцатилетия. Обвал, обрушение. Трагедия, воспринимающаяся, скорее, как гибель, но отнюдь не обновление чего-то там и кого-то там. И руки дрожат. В полыханье любви и похмелья мотыльками ты перенабит. Нет — снегом. Стеклянным снегом.

Все громко тикает под спичечные марши
В одежде лечь поверх постельного белья
Ну-ну без глупостей но чувство страха старше
И долговечнее тебя душа моя
На стуле в пепельнице теплится окурок
И в зимнем сумраке мерцает два ключа
Вот это смерть и есть допрыгался придурок
Жердь, круговерть и твердь мученье рифмача…
Нагая женщина тогда встает с постели
И через голову просторный балахон

Наденет медленно и обойдет без цели
Жилище праздное где память о плохом
Или совсем плохом Перед большой разлукой
Обычай требует ненадолго присесть…

(Это не ты проходишь сквозь время — это время проходит сквозь тебя, возвращается и уходит, и ты бежишь за ним, летишь, расставив буркалы по сторонам не черепа, а по разрыву тебя — в прошлое и в будущее…)

Присядет и она не проронив ни звука
Отцы учители вот это ад и есть
В прозрачной темноте пройдет до самой двери
С порога бросит взгляд на жаркую кровать
И пальцем странный сон на пыльном секретере
Запишет уходя но слов не разобрать…

Вот это ад и есть. Вот это смерть и есть. Вот это жизнь и есть. Твоя жизнь. Это не кренделя музыкальные Шуберта-Шопена, Моцарта-Моцарта; это быка за рога берет Бах. Берет Бетховен. Или тебя сей бык берет за рога…

———

Когда кот орет (от любви, от голода, от онтологической тоски) — его корежит, комкает и выгибает, как оперного певца (или певчиху), — это или неимоверная, трудная легкость и свобода (весьма форматированная) музыка, или рост голоса — вслед за сгущением существа живого и внезапным освобождением его от муки тишины и недвижения… Муха садится на ящерицу, на человека (на Чандру не садится — опускается на американку-профессора, орущую на индийского боя из-за простыни, из-за ниточки, высунувшейся из уголка постельной материи); муха садится на Суреша, полного гада (оч-чень похож на русского люмпена, пролетария-алкаша), когда муха садится на тебя — помни: муха никогда не ошибается. Муха — это курсор докомпьютерный, стрелочка, подчиняющаяся «мышке»: кто же водит здесь пальчиком… Ты смотришь на муху и думаешь о ней уже больше часа и понимаешь: пора домой, в Россию, на Урал. Ты обращаешься к мухе:

— Не смотри на меня, сука… сука… сука… с укоризной. Немтырь, да еще и заика. Ты улыбаешься, и лицо твое плывет, рассредоточивается, как под водой. Ты думаешь (спасибо мухе!), что улыбка имеет национальную форму: улыбка индийская, восточная (обман! доброе и корыстное издевательство); улыбка европейская (политкорректность, формализованное уважение, полная асемантичность); улыбка американская (эх, все ОК, и зубы хороши!); улыбка арабская (двойной кинжальчик, мягкий, влажный, теплый и вполне религиозный); улыбка индокитайская (пожалей меня, а?); улыбка русская (да е.ись все на хрен! — пил, пью и буду пить; я — волен; воля — это главное). Примерно так…

Ты один. Всегда один. Внутренне. И — внешне. Все сошлось: твоя единичность абсолютна. Ты гуляешь по ночам в ботаническом университетском саду (на поясе охотничий средний нож), ты ищешь леопарда (а они немаленькие), ищешь с ним встречи — не убить, поговорить! Тебе так хреново, что ты хочешь говорить только с леопардом. Говорят, это самец. Огромный. Мы поймем друг друга. Изредка ты видишь его рефлектирующие глаза — чаще с фланга или с тыла, резко оборачиваясь: он тож хочет с тобой поговорить, да? Твердо-упругий, с плотной, как зубная щетка, шерстью, он незримый, неслышимый, как хорошее, чудесное, бесконечное и мгновенное стихотворение, которое ты думаешь и которое нисходит к тебе из темени ночной, верхней, небесной — по Зеленому лучу, который мало кто замечал в момент финальной части заката: вертикальная спица зеленого света — без свиста — пронзает Аравийские воды и бесшумно вонзается, не вонзаясь, в черную уже пустоту. И там… Что же там?..

Ты слушаешь Led Zeppelin, одну и ту же вещь: Since I've been loving you. Появляется пространство. Твое. Пред- и послемузыкальное. И ты в нем растешь. Видишь себя. Или Горовиц (Бетховен) — то же самое. Или Ave Maria Майкла Болтона в паре с Пласидо Доминго. Или Донецетти («Любовный напиток» — Лука Паваротти; и Паваротти же — «Аида»). Потом ты жрешь свои «Noodle. Чикен. Masala». Пьешь ром. Сразу — фужер трехсотграммовый, — и прешься во тьму как антропологический зеленый луч — но горизонтальный — искать леопарда.

Потом, под утро ты сидишь над Солженицыным («Архипелаг...»), над Набоковым (романы, стихи, рассказы), над десятитомником Пушкина. Читаешь его прозу. С карандашом. Убираешь «лишнее».

Правишь… Вдруг вскакиваешь с дивана: что я делаю? Это А. С. П.!.. Все — пора домой. Пока цивилизация ищет пути дальнейшего самоубийства, пока она (с наукой, естественно) мягко и с удовольствием втягивает себя (как червяк дождевой — в плотную глину в ступор — в одно-единственное направление (о, аспект, бляха-муха!) — в прагматику, ты не выходишь из себя — из музыки и стихов. Это, видимо, нехорошо. Попахивает зависимостью, вываривaнием себя в собственном, так сказать, соку. Паранойей? Шизофренией? — Нет! — Одиночеством с — женой… Все. Пора сваливать. Сваливать с этой горки, переходящей в ямку, в пропастинику, в бездночку… Дочь? Видимо, останется с тобой. Эта дама-дамочка уже в дамках: здесь, за бугром, заграничкой, — она поняла, что она действительно красива, что она может влиять (не на мир!) на мужиков так, как ей хочется. Красота — товар. Она это знает. И ей это нравится.

Ты «гуляешь» вне заборов кампуса. Идешь с горы. Поднимаешься повыше. Видишь море. Здесь есть лес. Баньяны, кустарник, мэй-триз (майское дерево). Многолапое, нежное, мощное, красивое и ужасное своими толщинами дерево баньян. Вроде, стоит на месте и одновременно идет — все — сразу во все стороны. О, дерево баньян… О, дерево… О, баньян…

Плач плачем

Когда ты думаешь о любви, ты не знаешь: она уже случилась? Ее вещество уже в тебе? Или она еще не подошла к тебе (ты — к ней?)? Или ты, уже придумав ее, отворачиваешься лицом и сердцем к стене, голой, без ковра — и нечего рассматривать: узоры то ли пропали, то ли еще не возникли — вместе с шерстяными разноцветными нитками, которые трогают, ласкают, мнут, вытягивают женские пальцы, тонкие и длинные; о, открой свое лицо! — ковра нет и не будет. Не будет геометрии узоров, тригонометрии движения мысли, полисферичности воображения, создающего гармонию.

Когда ты думаешь о любви, ты знаешь, что она есть, но с тобой и не у тебя. Даже когда она наступает, как лето, осень и весна, ты ждешь зимы: ты выдумываешь непреодолимые трудности. Ты ищешь эту зимнюю любовь в трамваях, на улицах, в коридорах универа и в аудиториях. В книгах. Особенно в стихах.

Когда ты думаешь о любви, ты постоянно пишешь ей письмо: — По воле покойного, из-за смерти, из-за колючей проволоки, из-за решетки, из бинтов, из боли, из глубин своего безумия, из книг,

великих и ничтожных, из людей, живущих толпами, которые они кличут нациями и государствами, городами и политическими партиями. По воле покойного меня — из смерти, из жизни, из книги, из гроба — пишу Вам глазами, взглядом из темноты по извести настенной, по коже своей усыхающей; пишу Вам взглядом, мыслью, душой, лучиком-фонариком безумия своего: меня нет.

Когда жизнь и смерть переминаются, как левая и правая нога — поочередно. Пока жизнесмерть переминается у меня на груди, в груди, в голове, в мозгу, в сердце, в душе — в жизни моей и в смерти моей, я знаю, что ты есть. Но — не для меня. И не моя.

Я трогаю твои вещи. Осторожно мну, ласкаю, глажу ладонью. Я плачу. Они пахнут не тобой, а тобой и мной.

Когда дверь в номер открывается — сама, в гостиную входят они: леопард и старая знакомая — Она. Леопард огромный — в длину; лапы коротковаты, но башка большая и красивая по-человечески. Она говорит:

— Собери все оставшиеся боеприпасы. Оставь каждому по рожку, по лимонке и по три патрона в ТТ — остальное отдай Сакену Абылхапову, он — лучший из вас, он прорвет линию окружения, и вы — все шесть плюс Сакен — прорветесь: нужно двинуть к северу — север вам всем (кроме Сакена) родной, — так что вперед… Леопард подходит, словно подтекает водяная крепкая и объемная водяная пружина, к прикроватному столику и берет пастью, зубами твой любимый охотничий нож в ножнах и с буковой рукоятью. Он подходит к тебе и кладет его (он влажный и сладкий на вид от слюны леопарда) в твои протянутей в темноту ладони.

— Темнота скоро сменится тьмой. Во тьме — пустота. В пустоте — иной мир, иная жизнь. В ином мире — ты, живой и мертвый от любви, которой нет, потому что она есть.

Она говорит леопарду:

— Все значимое в этом мире равно, как само себе, друг другу. Ты равен мне, я равен леопарду, леопард равен и тебе, и мне…

Когда я пишу Вас по воле меня, покойного, — из-за смерти, из-за колючей проволоки…

Ты сидишь на лекции профессора, бывшего вертухая, такого, каким, например, были почти Бабель и почти Довлатов, — профессора, который (по его словам), будучи охранничком (войска «ВВ», конце сороковых годов двадцатого века), пристрелил конвоируемого

из любопытства, шлепнул его потому, что было лень вести этого «шпиена» (58 статья) сквозь азиатскую жарень по степной сковороде — в городишко, в тамошнюю тюрягу, наполненную недобитками… Ты вспоминаешь, как профессор Атвеев рассказывал эту убойную историю у костра, на реке Сакмаре, в топонимической экспедиции: вы с ним выпили три бутылки «Старки», и четвертая ждала своей очереди.

Когда ты поешь, всхлипывая, как мальчик-дурачок, ты думаешь о том, какая речь из тебя прет: внутренняя, внешняя или промежуточная. Возникающие стихи ты произносишь трио — одновременно в этих трех произносительных сферах. К ним примешиваются, и достаточно явно и ощутимо,— речь плача,— речь задыханий, речь легкоматерная (ооочень просторечная), речь военно-морская (точная, сочная и слишком очная для этого женского мира). Эту толпу речи, эти пузыри речи, колтуны и пробежки по ним речью, эти обрывы, всхлипы, вдохи без выдохов — все, что плачет и поет,— мучительны, гибельны, но и вместе с тем светлы и чисты.

Она исчезает: поворачивается к тебе спиной, и ее серое платье становится частью сумерек. Ком в горле — выходит из горла, как пар выдоха на морозе, и зависает над тобой и леопардом, как шаровая немолния. Эта немолния сближает двух зверей — алчущего и плачущего.

— Проводишь меня? — спрашивает глазами леопард. Темные крупные пятна на его шкуре светятся тьмой, как фонарики ручные жизни, находящиеся в звере, как фонарики троянцев в троянском звере, живущем в саду-джунглях, бродящем по аллейкам (хаотично разбросанным от гор до Аравийского моря). Елены нет. И Юли не стало. Ты выпиваешь стакан (фужер, стопарище) рома. Протягиваешь руку к зверю — и он подставляет под твою ладонь свою огромную башку.

— Пошли!..

В твоей огромной голове, выросшей до размеров воздушной сферы, черной и звездной (с Южным Крестом!) — от сада до моря,— включилась Танита Тикарам (Amore Si), она, эта странная англо-индийская, мальчиковая певица, полный гений баллады,— вытеснила из головы Баха, который все-таки остался где-то на периферии внутреннего слуха и плача, создавая абсолютно трагический фон происходящей в сознании песни, плача, стона, но не воя (русского)

и не вопля (африканского) и не гнусавой песенки речи Индокитая,— в этом фоне особенно отчетливо слышались заднеязычные арабские согласные звуки с придыханием.

Ты подыхаешь. Ты отдыхаешь от себя. Ты не дышишь, а придыхаешь: вперед, назад… Ты стал жить с придыханием. Придыхание — это как выхлоп из легких — твой — с алкоголем. Перегарное придыхание. Перегар любви. Перегар всего, что уже давным-давно сгорело, догорело, выгорело. Перегар, гарь выгоревшей души — с бело-голубой сажей и черно-белой ласточкой, которая вдруг уцелела и теперь вылетает из тебя — на волю…

Гарь. Гарь. Пустошь. На Урале три дыры: Сосьва, Гари, Таборы. И в тебе три дыры: две — в каждой ноге по одной — пулевые,— и в душе. А сердце… Его уже нет. Оно ушло куда-то. За стихами? За дровами? За Зеленым Лучом к Аравийскому закатному морю.

———

Пишу, пою и плачу Вам по воле покойного — из-за смерти, из-за колючей проволоки, из-за артерий, резаных и сшитых, из-за костей, переломанных и сросшихся как попало, из-за немоты своей, закладывающей уши, из-за мыслей своих, перекрученных и стянутых в канат, который держит башку между морем и горем, между горем и горами…

Ты совсем утратил способность улавливать и выражать предметные смыслы, а это чересчур экзистенциально-невизуально, это слишком метафизично. Метафизично, как безумие. Твое безумие идеально, болезненно и очистительно. Ты уже не плачешь слезами — ты плачешь тишиной, которая слышит только тебя и которая любит тебя. Ты прижимаешь к лицу Юлину футболку, дышишь ей, внюхиваешься в нее — как врастаешь в этот недостиранный хлопок, белый, но уже с серым налетом — в белый, но уже бестелесный. Ты брошен, как эта футболка, и вы с ней теперь оба бестелесны, безвидны и немы. Вы оба — немтыри…

Пишу Вам по воле покойного из-за смерти, из-за колючей проволоки, из молчания, из затянувшегося сна, из светлой тьмы метафизической, где трогают тебя за голые руки и плечи — звуки: звуки музыки, стихов и звуки молчания твоего, звуки послеплача и послеспеснопения. Песнопения немтыря.

Спокойной тяжестью — что может быть печальней — на веки чуткие спустился потолок. Ты видишь — в*е*ками. Ты видишь все

изнанкой век. Ты всматриваешься — как врастаешь — в кровавое нутро свое. Оно — свободно от всего, что снаружи. Оно — зависимо только от внутренней музыки (Глен Гульд включился в голове Бахом) и стихов, которые, по определению — феномен нутряной, подспудный и вечный… Куда он денется после смерти твоей?..

———

Пришло письмо от Озимова (Евсея, Елисея, Евгения), старого твоего приятеля, талантливого во всем и всюду. Пришло письмо из страны, где генсеки мрут как мухи — в страну, где произошло двойное — с интервалом — убийство (точнее — тройное: Санджай, сын Индиры Ганди) премьеров. Это — чудо: письмо от Жени Озимова, человека простого, потомка кочевников и древних болгар, шахтеров и битлов — всех четверых. Хорошее письмо. Без новостей. Просто — со временем — временем родным, русским, бесшабашным (как сам Елисей), безбашенным (как сам Евсей), умным, с гигантской начитанностью (как сам Евгений), добрым и хитроватым, всегда веселым и сверхвитальным, — временем диким, но прекрасным и молодым. Письмо Жени ты выучил наизусть. Вот оно. «Пишу Вам по воле покойного, который завещал мне вчера, ранним вечером, писать к тебе, но не сразу, а опосля пьянки, состоявшейся вечером средним, а за завершившейся утром темным, уже почти осенним, августовски-сентябрьским, мягко-жестяным, ибо листва здесь у нас, на Урале не жухнет, как ты знаешь, а крепнет вещественно и твердеет — может пробыть на древесных ветвях аж до Нового года. Пишу я тебе, Ваня, потому, что был изумлен тут на днях появившимся стихотворением, посвященным шкафу-комоду древнему, красного дерева, стоящим во второй (мало кому досягаемой) комнате в доме Майи Вяземской. Майя Петровна тоже была зело удивлена этому опусу, сочиненному то ли мной, то ли Аркадием Ахтырцем, то ли тобой, но никак не Серёгой Кабаком или Андреем Петровичем Омлетовым, или Костями обоими (и философом-древолюбом, и древоточцем, а также иным Костей — полиглотом, водкоглотателем и тишайшим человечком), или Сашей Бердниковым (он же Кельт), или даже мной или тобой — в беспамятстве текстотворчества допьяночного или послепьяночного, али и вовсе беспьяночного. Отзовись, Ваня: не знаешь ли ты сие творение, то бишь авторство его да и автора самого:

***

Майе Волконской

Смертью растенья цветущая вещь —
Створки и ящечки, ящер узора,
Хвост не откинувший, хрястнувший лещ —
Так высота прижимает озера.
Пещь усыпальная, дивный комод,
Храм уложения тряпок и книжки
Не сберегательной, наоборот,
В рифму косую — без дна и покрышки.
Град скрипородный, ресничная верфь,
Чудный корабль, растворяющий брюхо,
Встав на попа, чтоб древесная червь
Изображала извилины слуха.
Домодержавный хозяин судьбы,
Да отпусти мои карие очи:
Коли окурок охоч от губы —
Углем уйти в червоточину ночи…

Сдается мне, Ваня, что написали мы этот стишок вместе: ну, не помню — хоть убей, хучь растерзай, — помню, что-то мы пили и бормотали под Павликом Морозовым, у Телебашни, в парке Павлика. Помнишь? У Павлика были в гостях, а окрест и округ бегали мимо и сквозь нас студентки УрГУ, в трусах и в телесах, а мы — ноль и нуль внимания — сочиняли в шутку. Но было жутко от слов этих вечных… Помнишь? — Отпиши. Жду ответа, как зэка — лета; жду ответу, как зэка — котлету… А Осип — гений. И Майя гений. И ты гений. Обнимаю.

P. S. А Юлю ты потерял. Или она тебя потеряла? Или вы оба потерялись. И — не ищи. Бесполезно. И вредно. Твой Елисей-Евсей-Евгений Озимов из города на Исети.

август-сентябрь 198?-какого-то года. Все. Еш канфеты ф шкафу.

———

Одно письмо тянет за собой другие. Интернета и мобильников, и смартфонов еще, слава Богу, не было. Почта была почти голубиной: письма летели в Индию по воздуху — самолетами. Пришлю письмо

от Юрия Марковича Золотого: зовет — настоятельно — к себе, в Бангалор, мол, познакомлю («дорогие Юля и Ваня») с великим Рёрихом Святославом Николаичем, художником, он, мол, тебе, Ваня, понравится: картины — класс, много ню (похоже на твоего любимого Ренуара). «Но не на Врубеля!» — подумал Ваня и спустился в офис гостиницы-гестхауса — звонить в Бангалор. Дозвонился сквозь все забастовки и бойни мусульман с индусами. «Приезжай, Ваня! Один? Вот один и ехай — ждем: Лиля готовит фаршированную щуку, а Марик выучил наизусть пять твоих стихотворений. Ждем!»

В груди посвежело. В голове просветлело. В душе произошло расширение пространства и времени. Твоих — времени и пространства. Потянуло, повеяло — сквозь тебя — отовсюду бессмертием. Смерть небессмертна. Она тоже кончается. И начинается иная жизнь. Ты — весь — обострился и слухом, и зрачком, и шкурой своей, и обонянием, и во рту стало горько и хорошо, как от перца-чили (зеленого, свежего, с солью — после стакашка рома). И ты почувствовал, как леопард вздрогнул под May-Tree и царапнул любовно, мягко и длинно каменную вулканическую почву, землю, корочку, кору земную — землю, красную, как уральская кладбищенская земля, вынутая из земли черной, серой, — из глины иной — голубой, — той, из которой ты лепил в отрочестве своих прекрасных и дорогих сердцу уродцев. Ты опять почувствовал в себе способность и возможность влюбиться. А ранее ты влюблялся каждый день в реальных, выдуманных, воображенных и невообразимых, живых и мертвых (физически, умерших), и в нерожденных женщин, — в их обобщенный образ, в незыблемый образ женщины, девушки, существа недосягаемого физически, существа и вещества любви — метафизического, как молчание, как недопроглоченный и недовыученный, недознакомый и недо-родной русский язык. Этакое набоковское зависание в языке, проплывание с языком и сквозь язык, сквозь себя — с собой и без себя.

Я выехал давно и вечер неродной
Рдел над равниною нерусской
И стихословили колеса подо мной

(и надо мной, и во мне — стихословили тебя ритмом, сердцебоем, кровобегом, вечных вдохом)

И я уснул на лавке узкой
По занавескам свет, как призрак, проходил
Внимая трепету и тренью
Смолкающих колес я раму опустил
Пахнуло сыростью сиренью

Была передо мной вся молодость моя
Плетень рябина подле клена
Чернеющий навес и мокрая скамья
И станционная икона

И это длилось миг блестя поплыли прочь
Скамья кусты фонарь смиренный
Вот хлынула опять чудовищная ночь
И мчусь я крошечный и пленный

Дорога черная без цели без конца
Толчки глухие вздох и выдох
И желоба колес как повесть беглеца
О прежних тюрьмах и обидах…

Ты сам себе цель. Сам себе начало и конец. И середина — с кульминациями, взрывами, штормами, тюрьмой, сумой, зароками от них, заклинаниями и песнопениями, плачепениями, плачами и песенными всхлипами: всхлип — текст. Всхлип — смерть. Всхлип — воскрешение. Всхлип — преображение тебя, мира, воображения, песни, стона и стихотворения…

———

Ты едешь в Бангалор. Юля еще не вернулась. Прислала записку с проезжим атташе по культуре (из Тривандрума), мол, все ОК. Ты едешь ночным автобусом через Вайнад (городишко в горах), потом через Майсур (где работают два русских из Питера — Саша, он, и Саша, она, с фамилией Отопригора (охренеть!), — в Бангалор. Дорога почти вертикальная — сквозь ночь, тьму, скалы, джунгли, небо и звезды — по серпантину. Водитель — точно морпех: ведет автобус, как БТР на выходе из боя (или — на входе?), — напористо, на газу, без остановок и торможений на виражах, коих сотни, если

не тысячи. Вайнад стоит на задвухтысячной высоте. Заправка. И — дальше в бой с пустотой ночи, аспидно-звездной и пахнущей сухостоем и слонами, их навозом (брикеты размером с полуторалитровую банку и такой же «баночной» формой). Слонов много. Дикие. Бродят семьями от пяти до дюжины особей.

Ты умираешь: ты умираешь — и начинаешь жить, уже всерьез, по-настоящему, всюду и нигде, всегда и никогда — в чистом свете, в чистой тьме, в долгой мысли, в бесконечном образе и в вечной любви. Инерция сопротивления, энергия воли и неподчинения власти (советской, любой) переходят (скачком, с болью, сразу) в инерцию сопротивления времени социального, которое приходится пролетать — опять же с болью — насквозь, дальше и дальше, и «длиньше» (о, деревня!) — до вещества чистого времени, которое зовут вечностью. Почти с Золотого века в России пели и бились, плача, стеная, рыдая, но — с гармонией и страданием — счастьем за свободу души. Эта «бойня», или самоубиение поэта, даровала ему не свободу, коей нет и не может быть, но — волю! Ныне ты пробиваешься сквозь полость идеологии, недоэстетики, недоэтики, ненравственности и невежественности «масс», сочиняющих эмоционально-социальную хрень, чушь, дерьмо, — ты пронзаешь ее еще в отрочестве и начинаешь ощущать невыразимое, непознаваемое и главное…

Ты еще увидишь и услышишь преобразование сути «современной поэзии» от оксюморона — до оксиморона, до аксимерона, до окси-аксимирона (откуда взялся Мирон, папа С. М. Кирова? А?!) до уксуссимерона, до уксиморона, до окакайсиморона, до оксихуеморона; ты еще нахлебаешься дряни, которая ложится на идеологически подкованную литературу, — мерзости Полной Пошлости «Прекрасного» (ППП). Такова динамика некомпетентности, разобразования, протемнения (взамен просветления) и тотальной невежественности литераторов от 1917 до 2017 годов!

Едешь в горном автобусе, как в БТРе, как в БМП. Ты пьешь ром (у тебя три литровые «бомбы» этого пойла). Въезд в Майсур, он располагается, распластывается на плоскогорье. Дальше — сон в ночлежке-забегаловке для туристов-ездоков-пассажиров. Ты выходишь из автобуса по команде водителя вместе со всеми: девочки налево, мальчики направо (или наоборот). Ты справляешь малую нужду рядом с сикхом, он в курте-пайджаме, в тюрбане и при кирпане (кинжальчик) за поясом. Вы работаете из тьмы

во тьму, как пулеметчики (первый и второй номер). Вы чуть пригибаетесь от звезд. Ты поднимаешь голову — и чуть не падаешь то ли на спину, то ли на колени: прямо перед вами с сикхом, над вами высится двуострый, двупиковый собор — Кёльнский!.. Ты закуриваешь, протягиваешь сикху зажигалку и пачку сигарет, твои руки трясутся…

— Эт-т-та… Мы — где?!

— В Майсуре.

— А не в Кёльне?

— Неа, это копия Кёльнского собора…

— Бляха-муха!

— Ага…

Я научился вам блаженные слова
Ленор Соломинка Лигейя Сервита
В огромном зеркали теснится голова
И кровь звезды просеивает сито
Стекла и ртути амальгамы
И женщины и тьмы…

В огромном зеркале без рамы…

———

В Майсуре ты берешь моторикшу и прешь, тарахтя и вихляясь по узким улочкам, набитым людьми, скотом, велосипедами, старинными автомобилями, ишаками, пешеходами, полицейскими, обезьянами и ароматом зловонным открытой канализации, сливных канав, кое-где забетонированных, но открытых. Ты чувствуешь, что воздух, напичканный запахами бензина, навоза, дерьма, открытой канализации, сточных канав, фруктов, бананов (и майсурчиков твоих любимых!), — натянулся, как незримая простыня или развернутое во всю свою длину сари. Натянулся и дрожит… Что-то будет…

Вы пьете с Сашами Отопригора водку, виски, вино («Голконда» из Хайдарабада, где ты бывал на конференции, блин, международной, ох…). Читаете стихи: Саша читает свои, его жена Саша читает Сашины, а ты — Мандельштама.

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима
В серебряном ведре нам предлагает стужа
Голконды красное вино
И темный образ северного мужа
Напоминает нам оно
Но северные скальды грубы
Не знают радостей игры
А южным дравидийкам любы
Янтарь пожары и пиры
Их убивает воздух юга
Чужого неба волшебство
И все-таки пропащая подруга
Откажется попробовать его…

Саша (он) — смеется, он услышал подмену. Саша (она) — грустит… Ночью вы просыпаетесь от негромкого близко-далекого рева — то ли воды, то ли коровы. Утром ты едешь в центр Майсура на велорикше: автобусов нет. Улицы пусты. По сточным канавам медленно и бодро ползет красная жижа, а над ней — сверху — сукровица. Ты берешь такси до Бангалора — далеко, блин, дорого. И шофер-таксист смотрит на тебя с явной нелюбовью дрожащими глазами.

— Что случилось?
— Столкновение…
— Солнца и Луны с Землей?
— Ну да. Мусульмане погнали индусов.
— Куда?
— На Луну?
— Сколько народа участвовало в «столкновении»?
— Около трехсот тысяч.
— По сто пятьдесят?
— Не, сто — индусы, двести — муслимы.
— А полиция?
— Била сначала бамбуком. Потом стреляла.
— Что это ревело ночью? Как вода. Или как кровь?
— Это шумела смерть. Разгоняла жизнь по домам…

———

Ты знаешь, что в этом шуме-вое ночном ревела и твоя кровь, и твоя вода, не успевшая стать снегом. И ты вспоминаешь, что смерть перед тем как ожить, оживать и жить — шумит. Шумит, гудит, звучит, играет свою музыку, состоящую из странных и страшных ритмов. Только ритмы. Мелодия ритма.

Вы едете на таксешке неспешно, пугливо. Вы оба озираетесь по сторонам. Столько крови ты видел только в Африке и в Лаосе. И это не дежавю — это действительно так звучит смерть. Теперь она живая. Теперь она, сука — богиня — чудо, наша, твоя, этого индуса (?), муслима (?), буддиста (?), христианина (?), человека —? Человека ли? Мы — все — человеки?! Да ладно. Хватит трындеть! Мы атомы смерти и жизни; только в нас соединяются жизнь и смерть. Они, милые, обнимаются. Ты видишь: худющий полицейский (подросток, недоросток, недоносок, недопесок, недоживок, недобиток) разваливает череп своему отражению в зеркале религий и города — такому же, как сам он, худющему, скелетику мужичка индийского, майсурского. О, Боже! Чем он бьет? Нет, не палкой бамбуковой (как полпалки лыжной, старинной, из детства, из Шатров, из Уралмаша, из души) — он разваливает башку человеческую мачете; или палашом, что ли; или обрезком, заточенным, нержавейки (1/8 обруча бочкового). О, Боже…

Вы съезжаете на Бангалорскую дорожку. Здесь — пусто. Все шепчут имена своих богов — по домам. Или думают их? Они — думают Бога! — от ужаса: никакой, на хрен реинкарнации нет. Ее нет потому, что есть жизнь, смещающая в себя все: и смерть тоже…

Ты сидишь рядом с водителем. Оглядываешься на задние сидения — и видишь женщину. Это тетя Оля, мама Юры Путилова, умершая, когда ты был на флоте… Вот это смерть и есть. Отцы-учители! Вот это смерть и есть! Узкодушные вожди, цари, военачальники, долбаные войны, короли, феодалы, коммунисты, империалисты и революционеры смерти не видят. Даже когда имут ее. Они пьют статистику — залпом: ПОБЕДА! Узкодушие государственных, военных, политизированных и пересоциализированных т. н. людей принимает только то, что страшно увидеть целиком. Страшно увидеть целиком в семи измерениях жизнь, смерть, любовь, вечность, бесконечность духа и бога. Эти господа-товарищи и товарищи-господа

видят все в одном измерении: деньги. Арифметика и деньги. Альберт Э. — отдыхает. А и Д — вещество примитивное, доодноклеточное: все значимое в этом мире равно, как само себе, друг другу…

Ты выходишь из такси перед воротами сада Бангалорского технологического института (университета). Платишь водителю-подростку, подбогу, подмужику сверх меры и ступаешь на бангалорскую землю. Ты идешь по тоннелю-аллее may-trees. Уже темнеет, и эта растительная труба диаметром в семь метров вдруг начинает шуметь. Вверху. В ветвях, листве и цветах чудесных деревьев и M-Trees… Вороны! Их тысячи, десятки тысяч. Они увидели тебя и узнали: это русский, чужак, не индус, не муслим. Это русский мужик… Ты останавливаешься. Закуриваешь. Достаешь из кармана штанов фляжку. Пьешь. Выпиваешь почти все — до дна, на котором остается пленочка рома.

Вороны — маляры: они отбелили твою джинсовую куртку, штаны и бейсболку, а также заплечную сумку-суму с гостинцами, которые ты прихватил для семьи Золотых. Светает. Здесь солнце восходит осторожнее, помедленнее, чем в Керале на берегу моря: дравидийское солнце просто включается и выключается (восход в Бенгальском заливе, заход — в Аравийском море). В Индии, как в детстве, солнца всегда много, но оно тобой не замечалось ни тогда, ни теперь потому, что все, что попадало в тебя — зрением, слухом, осязанием, духом и нюхом, — было ярче любого солнцесвечения; там, в тебе, это *оно* вытемнялось и неожиданно рассветало не сразу, но постепенно — по мере осенения *его* воображением. Во почему ты — не «актуальник», не «поэт актуальный, актуальнейший», не «поэт-актуальник»: главное — то, что ты думаешь, страдаешь и счастливишь, чем ты возрастаешь, — это главное явилось тебе и к тебе — и вошло в тебя как особая, внутренняя, «персональная» солнечная система, в центре которой смешались свет, пустота, тьма, Бог и стихи. Ты всегда знал, что никакого такого специального и хронологического «завтра» — нет. Мы постоянно и неотрывно думаем и говорим свое «завтра», мечтаем его, воображаем, наслаждаемся им, не подозревая и, естественно, не зная, что «завтра» уже было, оно уже прошло. Оно уже прошло…

А где «сегодня»? Где «вчера»? — потоки времени неоднородны и самовольны: время спешит превратиться в вечность, мы торопимся и силимся жить во времени, которого нет… Где «новое», где

«старое»? Все — промежуточное: старо-новое, но твое. Ты выходишь из аллеи, как узкий книжный стеллаж, облитый строительно-ремонтной известью. Заходишь за трансформаторную будочку, такую русскую, помятую и нечистую. Снимаешь штаны, куртку, кепку, надеваешь новые джинсы, футболку и бейсболку, отираешь кроссовки сброшенной на землю одеждой, сворачиваешь ее в тугой рулон — и суешь этот странный цилиндрический одежный предмет в урну. Вот — университет. Слева — коттеджи. Третий слева — дом семьи Золотых. (В Шатрах есть место — Золотые; это заброшенные прииски, шурфы, раскопы, воронки; как от взорвавшихся снарядов полковой артиллерии, артбатареи, золотые до сих пор золотоносны, и некоторые старички покапывают там золотишко.)

Ты шагаешь к первому коттеджу. Останавливаешься. Видишь камень. Белый. А рядом — незаметный — черный. Садишься на белый. Нет. Неудобно. Пересаживаешься на черный — хорошо. Закуриваешь. Оглядываешься на белый камень: на нем сидит Она. Это гранит — черный и белый, два куба 0,5х0,5х0,5 м. Ровные. Кто их сюда притащил?

— Это я нашла тебе местечко, и — себе: посидим, отдохнем.

— Вы… А где леопард?

— Дома, в саду, ждет тебя. Ты ему понравился.

— Как потенциальная закуска? — Она улыбнулась:

— Нет, как настоящий друг. Вы оба думаете главное — стихи. Он — свои, дикие, извечные и бесконечные. Ты — свои, короткие, языковые, с музыкой, но тоже дикие.

— Дикие? Почему?

— Они первичны. Ты сразу — с трех твоих лет — пошел к ним.

— Пошел?

— Да. Думать стихи — это и есть путь. Путь поэта — это не жизнь его и не смерть, и не вино, и не девушки, не слава, не книги, не премии-призы (как лошадям дают, да?), а стихи. И не сами, собственно, стишки, а процесс *постоянного* думания. Не поэзия. Поэзия — вещество свободное и неуловимое, оно может поцеловать тебя, но — только после Бога, Меня и Любви.

— Да-а… Простите, а…

— Да, главное не сомневаться. Не в себе не сомневаться, а не сомневаться в существовании главного.

— Примерно так.

— Примерно так: войдешь в дом Золотых — увидишь нечто. Не удивляйся! Так должно быть…

Ты закуриваешь. Поднимаешь глаза — белый камень пуст и одинок. Белый камень свободен. Кто подойдет к нему? Кто присядет на него? Или… на нем уже кто-то сидит-стоит или парит над ним с первой бабочкой-индийкой? Ты встаешь. Смотришь на свой черный камень… Мой!.. Пусть живет здесь. А ты будешь жить — везде. Да и Он живет везде. Камень. Камень. Камень.

Ты звонишь в металлическую, красивую, почти драгоценную дверь. Через полминуты дверь открывается. Трое Золотых смотрят на тебя: Юрий и Лиля чуть-чуть исподлобья, как человеческие волчата, а Марк бросается к тебе. Ты подхватываешь его на руки, он обнимает твою шею, защищая тебя от мира взрослых людей. В этот момент в дверном проеме показывается женщина. Ооочень красивая. Англичанка? Американка? Нет, голландка-нидерландка… Нет… Нет… Это Юля. И ты печально радуешься черт знает чему.

— Привет, Ваня.

— Какими судьбами? Я уж думал, ты осталась на Фёдоровском офтальмологическом эсминце… Нет, крейсере… Нет, линкоре… Авианосце… Там есть, на верхней палубе, вертолетная площадка?

— Не знаю. Не видела. Не могла видеть. Сейчас, после операции, вижу, но теплоход ушел. Сплыл. Был да…

Они обнялись. Он чуточку придеревенел уже до объятья. Она прижалась к нему и поцеловала в губы…

Ты научился исключать из себя ревность. Ревность, зависть и чувство мести, желание мести. С детства ты обучен бедной жизнью семьи Орловых, семьи полуторной (полуторка, да, как грузовичок с кукурузой хрущёвской): дед, бабка плюс катя с двумя головастиками, Андрей — не очень, головастый, но глазки его тюркские, папины, хитроумные, а ты — голован, башка, как говорит Озимов «лобастый затылок».

Юля уже посетила имение Татгуни, познакомилась со Святославом Николаичем Рёрихом (именно «Рё», а не «Ре», как произносят это имя все: вторая нота после «до»). Больно кольнуло: успела, милая, всеми любимая рас-кра-са-ви-ца…

Имение знаменитого старца располагалось совсем недалеко от Бангалора: это была плантация каучуковых деревьев с усадьбой (каменный дом, каменный барак-мастерская, постройки и кумирня), очень просторное место, почти открытое, плоскогорное — такое

трудно оборонить и защитить от уже невозможных набегов арабов, индусов, муслимов и дикарей.

Святослав Николаевич принял всех: Ю. М., Лилю, Марка, Юлю, которых уже неплохо знал, и тебя — странного мужика с тюркославянской внешностью, смоляной бородой, высокого, крепкого, всегда чуть напряженного и молчаливого. Еврейская семья Золотых (без старшего сына Саши) была как одно целое, только десятилетний Марк торчал отовсюду из этого крепкого, симпатичного семейного земного шарика, наполненного любовью, заботами и постоянно ощущаемой окружающими тревогой. Марк прилепился к тебе, и вы теперь повсюду шастали, шутили, смеялись, поигрывали и бормотали детские стишки — вместе, на два голоса, которые звучали как хор, русский хор в индийской экзотике. Святослав Николаевич приобнял Ваню. Посмотрел ему прямо в лицо, заглянул в глаз и почти утвердительно спросил:

— Стихи пишете… и музыку?

С. Н. водил две полуторные семьи (или Ванину полусемью) по имению. Показывал-рассказывал… Ты впервые услышал дворянскую речь — питерскую, петербургскую, антисоветскую, российскую, русскую (ныне Москва и ее мещанский говорок съел почти до конца, выел, доедает северно-русский и восточно-русский говор, распространяя по всей России аканье и мяуканье с южно-русскими протяжениями и усечениями безударных гласных. Речь С. Н. не удивила, а потрясла твой слух: щчастье, щчука и ясный, сильный «Ч», крепкая такая аффриката во всех «Что», «потому Что», «Чтобы» и т. д. (Бродский так говорил: «Что», «Чтобы» — и это было прекрасно и дореволюционно; пролетариат, рабы, ставшие господами, испоганили русскую речь, обеднили ее и лексически, и фонетически, и стилистически, и синтаксически, и фразеологически. Гибель любой империи — это прежде всего гибель коренного языка «освобожденных» народов и территорий…)

Ты запоминаешь все, что говорит и рассказывает С. Н. Вечером записываешь. Десять раз в течение двух лет вы встречаетесь с С. Н. Ты исписал целую тетрадь, которая исчезнет в первый год жизни в России после возвращения из-за бугра. Исчезнут фотографии, слайды. Но особенно жаль той толстой тетради, наполненной Рёрихом.

Ты всегда был равнодушен к Рёрихам. Картины Н. К. — холодные и неподвижные — ты не любил: земля/Земля в них исчезла,

а Космос еще не пришел. Вот и стоят синие пирамиды горных вершин на фоне синего (фиолетового, голубого etc) неба, тоже несостоявшегося: небо то ли уже ушло, то ли еще не пришло. Н. К. Рёрих — это избыточная трансгрессия и постизбыточная постпустота опустевшего постмира. Да: это — Вечность. Ее репрезентация. Но — не вещество времени-вечности. Не изнанка, не шерстка, не скорлупа-кора, не возможность жизни, смерти и любви. Но — возможность Пустоты как полного начала или абсолютного конца.

Несколько раз Иван и Юля приезжали к С. Н. сами: звонили, писали — и он приглашал. Пили чай. Обедали. Плавали в бассейне, гуляли по имению, всегда втроем. Без Девики Рани, когда-то кино-звезды Индии и окрестностей, а теперь полноватой, медленной и очень маленькой пожилой женщины с застекленными думой-мукой-равнодушьем глазами. С. Н. влюбился в Юлю. Ваня не удивлялся — привык. Да и внутренне он, вслед за женой, освободился от парности существования где бы то ни было (да и Юля была «свободна» — уже давно). После бассейна у Юли разболелся глаз: покраснел — что-то туда попало, налипло на глазное яблоко. Святослав Николаевич взволновался (ты был спокоен — почувствовал «бабьи игры») — и вынул соринку языком. Вылизал око жене твоей-нетвоей. («Ништяк поцелуйчик», — подумал ты, вернее: ухнул эту фразу в себя — на самое дно вещества твоего доброго и нестрашного одиночества, которое прочно встроилось в треугольное основание твоей жизни — «Стихи-музыка/Она/Некто»; Некто — это и Петя-колясочник, и пацаны из твоей разведгруппы, и Озимов, и Петя, первый после тебя любовник Юли, и Саша-рабфаковец, кореш твой, и дед с бабушкой, и Катя, и Коля, и слоненок Коля и все-все-все, кого ты любил, любишь, будешь любить за гробом своим). Ты вышел из бассейнового пространства вон — и направился к Кумирне, — беседке с божками и колоколом. Положил на каменный поднос бананы — появились обезьяны. Эти страшные и милые, некрасивые и изящные существа вели себя как вольные разведчики в свободном поиске: они тебя уважали, никогда не приставали, не попрошайничали на всей территории Индии, Цейлона (Шри-Ланки) и т. д. Они чувствовали в тебе разведчика, тоже вольного, в свободном рейде (чаще в себе, внутри себя), в поиске музыки, которую не съешь, не пощупаешь, не сломаешь, не размажешь по стенке, не расстреляешь, — которая идет к тебе навстречу, потому что ты ей нужен. Такая вот

гравитация поэзии и любви. Ты бьешь в колокол и загадываешь желание: пусть через три года выйдет в свет твоя книга. Еще раз трижды качаешь колокол. Все. Дело сделано.

Талант оголяется. Талант оголяет своего носителя, снимая с него антропологические слои — кожуру человека и человечности: мы видим «гения» — и он чудовище, — одновременно и чудесен, и чудотворен, и чудо-творец, и — это нормально — он полный нечеловек, или послечеловек, или — реже — недочеловек. Приходится мысленно и духовно восстанавливать его «человеческую», «животную» форму, адекватную гениальному содержанию — таланту. Святослав Николаевич Рёрих — художник, которому удалось (природа и бог позволили) не просто сохранить человека, но и гармонично синтезировать в себе и окрест себя все стороны сложнейшей системы таланта человека, мужчины, дворянина, интеллектуала и старорежимного интеллигента. Такие люди, как правило, несчастны: они — неприятно милые люди. С. Н. не был неприятно милым человеком — он обладал мощным зрением, слухом и духом, его глаза были всегда взглядом, познающим, одобряющим и бесконечным в рамках персональной вечности культуры. Его публичность, рожденная известностью отца, матери, брата, вообще семьи, — была интимной, но интимность оставалась неизменно личностной и доброжелательной.

Однако к Ивану он относился как-то по-особенному: ему нравилась его жена. И с этим ничего не поделаешь. Их беседы, мягкие споры всегда образовывались вокруг проблемы духовности таланта. Ваня показал ему свои стихи (и в имении, и в письмах) — С. Н. хвалил написанное рукой (вслух Ваня никогда не читал С. Н. свои стихи — но Мандельштама читал, хотя и понимал, что для С. Н. Мандельштам был, скорее, импрессионистом, чем уникальным стихотворцем, писателем и абсолютным, по Ваниному разумению, поэтом).

Между С. Н. и тобой — восемьдесят два года жизни, таланта, работы и работ этого действительно уникального существа, этого хранителя (через отца и мать, людей крупных, сверходаренных и своеобразных) России. Не СССР — но России Ваниного деда, Ивана Иваныча, России Орловых-Черминских… и — Россиии Череповых, Озимовых, Петровых, Сидоровых, Идоровых, Доровых, Оровых, Ровых и просто Вых (о, Гоголевский Вий-Вых-Вывих времени, пространства и сознания). Лирика в двадцатом веке стала публичной, нарочито открытой

и навязчивой: открытость такой лирики (не поэзии — а литературного стихотворчества) прикрывала автора, заслоняла его от модальности идеологии и идеологий, а главное — от агрессивной социальности, от коллективной эмоциональности и хорового мышления, тавтологического, ослепшего и опустевшего. С. Н. это почти понимал. Но, как и любой другой художник (с малой, средней и большой буквы), Святослав Николаич был идеалистом. Идеалистом — как и Ваня. Идеалистом — как, исключая Некрасова Н. А., все поэты Золотого века. Ванина теория, а точнее реноминация литературно-культурных веков удивила, но, тем не менее, была если не одобрена С. Н., то уж, точно, принималась этим огромным художником как болезненный, но честно пережитый вариант: 16–18 вв. — Бронзовый век со следами налипшей на него древесины, овсов и картофеля; 19 век — Золотой, и — точка; конец 19 и начало 20 в. — Серебряный; а вот 20 век — не Свинцовый, не Железный, не Стальной, не Атомный, не Термоядерный, не Денежный, не Идеолотизированный (с запашком имитационной и пустеющей философии) — но! — Алмазный, Бриллиантовый; почему? — потому, что подлинно вольных (ну, почти свободных) художников, и литераторов, особенно поэтов (не стихотворцев!) оказалось совсем немного. Мало. Редко. Это уже не золото и серебро — но алмазы. Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Хлебников, Заболоцкий и еще некоторые, полузабытые или перевспомненные. Святославу Николаевичу понравилось этимологическое наблюдение Ивана: Бог, сотворив планету (это — грубо говоря, а также и твердь небесную, и хляби, и Все на Свете), первыми создает растения, а потом уже человека и животных; значения фамилий поэтов «алмазных» содержат в себе семантические компоненты со значением «растение», выраженные прямо или потенциально. Например, «Цветаева» — «цвести»/«цвет»/«соцветие»/«цветок»; «Пастернак» — прямое название растения (травы); «Мандельштам» — «миндальное дерево»; «Хлебников» — «хлеб»/«хлеба»/«хлебные злаки» и т. д.; «Ахматова» (псевдоним) — реальная фамилия «Горенко» — от «гора», которая может быть поросшей деревьями, кустарником, травой, цветами, мхом, и т. д.; «Заболоцкий» (исходная форма «Заболотский» — место, расположенное «за болотом/болотами» и поросшее лесом, травой, кустарником, цветами и т. д.

— Что ж, голубчик Иван Васильевич, вполне убедительно и… и красиво, — резюмировал гипотезу Вани Святослав Николаич.

———

С. Н. начал поглядывать на Ивана то ли с сожаленьем, то ли с легким сочувствием, то ли слегка виновато. Юля и Ваня не избегали друг друга, но в глаза не смотрели: так, мельком, но тебе хватало и такого «стрелкового» взора; убеждение о разрыве, как ты его ни ослаблял, не истощал (и похотью в том числе), только крепло. Они теперь редко оставались один на один. Одна на одного. Один на одну. — Пара потихохоньку, но окончательно распалась. Без выяснения отношений. Без скандалов. Без «семейной аналитики». Остался лишь синтез: мир раскололся надвое — в одной половине его осталась она, в другом — он. Ты смотришь по утрам на свою бородатую морду и думаешь: «Я вчера не вернулся из боя…» Смерти в глаза не посмотришь, но себе, умирающему, поглядываешь… Посмотри себе в глаза. В глаза кончине своей… Ты ухмыляешься нарочито бодро и мерзко — паяц — и разбиваешь зеркало. Бангалор тебя добил — будто ты опять увидел двойник Кёльнского собора в глубокой, южной Азии… У смерти ни кожи, ни рожи, ни глаз — только взгляд. Взгляд смерти — прошлой, нынешней, грядущей — исходил из тебя.

Ты говоришь Святославу Николаевичу, отвечая на его вопрос «Что с Вами, Ваня?», о том, что в тебе и вокруг тебя образовался разрыв хронологический, экзистенциальный, трансгрессивный, онтологический: ты торопишься жить, но не внешне, а внутренне; все живут преимущественно (и Юля) внешне, социально, эмоционально, прагматически; но тебе наплевать на прагму — ты живешь метафизически. Ты немтырь. Ты думаешь стихи — в себя, а не в людей. Поэзия? Мы — все — говорим о литературе, и говорим оценочно, однако аксиология — неподвижна, нежива, она в параличе: «нравится — не нравится», «модно — немодно», «нужно — ненужно», «полезно — неполезно», «модернизм — немодернизм» (и еще триста таких пар), — и никто не скажет ни слова о гармонии, об ужасном и прекрасном; куда делась оценка: «это — живопись!» или «это — стихи!». Слова и понятия «честь», «долг», «совесть», «достоинство», «талант» умирают. О «вдохновении», о «тайне», о «нравственности» — все и все молчит и молчат. Им — страшно. Это планета обывателей, потребителей, людей (еще пока) не-думающих! Не думающих ни в себя, ни окрест, ни по вертикали, ни в сердце ужаса красоты. Все стали думать в деньги, в славу, в комфорт. Твою

мать!.. — С. Н. нахмурился. И вдруг улыбнулся — и нос его увеличился (и так немалый), и глаза его вырвались из пучков морщин:

— А ведь Вы, голубчик, дело говорите. Любой сколько-нибудь сто*я*щий художник — Художник! — знает это… Но… молчит.

———

С. Н. приглашает Юлю и Ваню в свой заветный каменный barrack (есть разница между barrack'ом С. Н. и тем уралмашевским бараком, где ты родился). Он демонстрирует картины. Сначала нечто подражательное Николаю Константиновичу Рёриху, отцу, потом пейзажи, а затем пошел чистый азиатский Ренуар: ню, женщины, как и у Огюста, светились! Женская нагота светоносна. Иван не выдержал, вскочил с табуретки и обнял могучего старика. Рёрих смутился, но разулыбался и чуть-чуть прослезился. «Великий старик!» — подумал ты — и сказал это С. Н. глазами. Юля исчезла, не выходя из барака. Они с С. Н. остались вдвоем на две-три минуты… Картины выдвигались на рельсиках к зрителю одна за другой. На четвертом десятке Иван устал. Вышел вон. Закурил. Вернулся — С. Н. и Юля ждали его и чай, который должен был поднести из усадьбы слуга. Ты сел на свой певучий тростниковый табурет и почувствовал, почуял, что сейчас что-то произойдет. Главное. Самое главное. Одно из того, что составляет Главное. Что?

Святослав Николаевич угощал чаем с печеньем (которое Ваня на дух не переносил, но из уважения к свету женщины на картинах С. Н. пожевал одно, мягко-твердое, с зазубринками, тающими во рту). После чая (все отпили по полчашечки — чай был заварен по-индийски, как и кофе, с кипящим и сладким молоком, — очень вкусный, как в детстве конфеты «Школьные») С. Н. сказал:

— И — последняя картина…

На холсте, размером примерно три метра на два (или более) был куст. Куст Иисуса. Огромный. Он теснил и раму, и подрамники, и всю механику выдвижения на зрителя по железной дорожке картин; он раздвигал стены и все узкое (прокатное, накатанное по рельсикам) пространство барака; он сначала давил на череп, выжимая из него немоту, изумление, ужас, движение листвы Иисусова Куста на холсте, а затем проникал в череп и раздувал его до размеров барака, сада, плантации, штата Карнатака, всей Индии, всего Индостана, Азии, Евразии — и неба! Немтырь онемел окончательно:

из листвы проглядывало, светясь, лицо Иисуса с оленьими глазами! Оленьи глаза Иисуса… Господибожетымой…

Ты втягиваешь в себя Иисусов Куст, и Куст вдыхает тебя в себя. Вот ужас истины и красоты…

С. Н. ведет вас к кумирне. И ты еще раз загадываешь (книга!) желанье свое утробно-душевное. Потом возвращаетесь в barrack — просто посидеть, помолчать, пошептаться… После Иисусова Куста ты говоришь только шепотом. Шепотный немтырь.

———

Юля с Ваней гостили у Золотых и, естественно, у Рёриха ровно десять раз. Не 11 (любимое число Вани) и не 9, 12 (тоже неплохая нумерологическая семантика) — а десять. Ни два — ни полтора. Иван обычно обитал в стороне от С. Н. и Ю., которые, постоянно улыбаясь, о чем-то говорили, часто о чепухе, которая била тебя — по печени. Ты знал, что С. Н. скоро умрет. Он был крепок прошлой силой и прошедшей жизнью, родовой мощью и талантом, небывалым, огромным. С. Н. был явно крупнее себя — с Иваном, и — куда меньше себя — с Юлей. Любовь. Точнее, мерцание любви.

Однажды С. Н. рассказал историю о слонах-людях-человеках: забрела как-то на плантации семья диких хоботных, бродила, искала съестное, питалась. Рабочие что-то там строили и вырыли котлован — глубокий и узкий, видимо, под трубы или узел трубно-водоводных соединений и разъединений. И один слоненок свалился в эту четырехметровую яму… Ты вспомнил слоненка Колю Кеpальского — и сердце сжалось, как обезьянья мордочка, до слез внутренних, нутряных… Что делать? Взрослые слоны (слонихи, естественно: самцы из семьи изгонялись) опускали в пропасть хоботы, но все было безуспешно. Это длилось часа два. Люди стояли (с С. Н.) в стороне и не вмешивались: дикое не терпит человеческой природы, обвыкшейся в добровольной неволе. Потом вдруг альфа-самка, мама, Мать, мамаша всей семьи, повернулась к яме хвостом и начала задними столпообразными ногами сгребать, сбрасывать в яму землю. К ней присоединились все члены, членши и членики Семьи. Земля падала на дно рукотворной пропасти, а слоненок (пусть он будет Колей-Младшим, совсем еще ребенок, малыш, крохотный слонище) стал бегать по кругу и поперек дна бездны. Через час-другой он поднялся до Семьи — и был спасен… Оказаться

в яме, когда тебя засыпают землей (жесткой индийской, вулканической), бывает спасительно и для Семьи, которая умнеет, и для пострадавшего, который мудреет. Гибельное дарит ум, крепость характера и возможность порождать свободу. Порождение свободы — вот жизнь поэта и немтыря.

Юля в бассейне. С. Н. с полотенцами и горячим чаем рядом. Ты уходишь к кумирне, садишься на такую русскую-русскую лавочку и читаешь письмо из России, от Майи Волконской. «Ванечка, ты все про снег да про снег… Бедный!.. Терпи, скоро срок твой (всего-то три года) кончится… Ждем тебя!» В письме Майя прислала стихотворение Ольги Седаковой. Имя новое для Ивана. Но скоро оно для тебя станет одним из синонимов поэзии. Вольной поэзии. Неподконтрольной. Вневластной. Внесоциальной. Внеидеологической. Просто стихи. Стихи как песнь и как плач.

В ореховых зарослях много пустых колыбелей
Умершие стали детьми и хотят чтобы с ними сидели
Чтоб их укачали и страх отогнали и песню допели
О сердце мое тебе равных не будет усни

И ночь надо мной и так надо мною скучает
Что падает ключ и деревья ему отвечают
И выше растут и тоскуют другими ключами
О сердце мое тебе равных не будет усни

Когда вы не спали вы к богу глядели в окошко
Для вас на столе прошлогодняя сохнет лепешка
О сердце мое тебе равных не будет усни

Бог старый старик и он вас поминает в поклоне
как будто себя поднимает на узкой ладони
Он знает смерть подойдет и лепешки не тронет
И он поднимает ладони и просит возьми

Усни мое сердце все камни и травы и руки
их видно вдова подняла и упала на землю разлуки
и плач утекал как вода и ответные звуки
орешник с земли поднимали как ветер одни

О жить это больно! Но мы поднялись и глядели
в орешник у дома где столько пустых колыбелей
Другие не смели но мы до конца дотерпели
О сердце мое тебе равных не будет усни

И вот я стою и деревья на мне как рубаха
Я в окна гляжу и держу на ладонях без страха
легчайшую горсть никому не обидного праха
О сердце мое тебе равных не будет усни…

———

Горная колыбельная в древних Индийских горах, пьющих на юге Бенгальский океан и поднимающих — плачем — на севере небесные Гималаи, занебесный Тибет…

———

Лицо оленя. Глаза оленя. Глаза — очи оленя и Иисуса. Лицо — жизни, уставшей быть животной. Лицо — жизни, уставшей быть человеческой. Лицо, его дыхание святое, превращающееся в дух… Ты перечитываешь «Горную колыбельную» — и Кавказ обнимается с Тибетом, с Гималаями. Что-то толкает тебя одновременно в спину и в грудь — сильно, одномоментно: два удара — навстречу друг другу. Это и есть сердце. Сердце на месте своем. Сердце, ему равных не будет. Сердце, не спи… Ты видишь, как иные люди, люди иносветные, то ли умершие уже, или еще не рожденные ходят окрест: и в доме, и в мастерской, и в саду, и возле кумирни, и на плантациях. Ты видишь, как дед сидит по-зэковски на корточках и допивает неупиваемый зэковский чай, как, растопырив локти, умывается мать Катя над бочкой, как бабушка стоит на коленях перед иконой, упираясь в колени земли — в корни деревьев и жизни. Ты их видишь: Коля, давно упокоившийся, кормит слоненка Колю (тоже умер?!) стручками свежего сладкого гороха. Вы все пьете вечный индийский чай с молоком. Дарджилин. И ты смотришь на Н. К. Рёриха, отца С. Н., и на самого С. Н., на их узкие (особенно у отца) татарские лица, на белые-белые, белейшие узкие тюркские, азиатские бороды-бороденки. Все почти прозрачны. Почти. С. Н. не похож на Николая Рёриха… Боже, как они похожи друг на друга!.. Они не видят тебя, но знают, что ты с ними, что ты видишь их, что ты рад им. В углу залы Рахманинов. Он показывает

жестами, что перед ним рояль, которого нет. Сергей Васильевич играет. Но ты знаешь, что слышишь эту музыку только ты.

———

Вы возвращаетесь от Рёриха в Каликат (university-campus). Мимо Майсура, мимо Индийской-Кёльнского собора — сквозь горы и по дороге, которой обинтована гряда горных вершин. Вы не разговариваете друг с другом и не смотрите друг на друга, будто едет раздвоившийся сиамо-русско-индийский близнец — мужебаб, женомуж: вместе (не всегда — пока что) и раздельно, но в странном и болезненном единстве общего несчастья, общей нежизни и общей любви, которая, как известно, никогда не кончается. Она ослабевает, провисает, как бельевой белый нерв в уралмашевском дворе (хрущёвском), она уже и не любовь, но вдруг наливается силой боли, мощью утраченной гармонии. Теперь любовь — вся — дисгармонична. В основе любой гармонии всегда побаливает дисгармония. Из тебя постоянно выходят осколки (железки крохотные, вросшие в тебя давным-давно после взрывов мин): из спины, из рук, из ног, а теперь — из души. Металлические коготки обрастают плотью и становятся шарообразными. Шарики. Их легко выковыривать из кожи, где они хорошо видны — черные, круглые, твердые… С. Н. Рёрих, время от времени, своей антропогеометрией напоминал тебе твоего отца: взгляд из-под бровей, крепкий нос немалого размера с горбинкой, широкоплечесть с сутулинкой (но — не с сутулостью), могучий и коренной, как исходная форма жизни — растение. (С отцом ты помиришься уже после развода с Юлей, после женитьбы на Лоре, девушке уралмашевской, библиотекарше — она тебя спасет от пьянства; после примирения отец — через тридцать лет! — разболеется, потеряет обе ноги и будет умолять тебя, жалко и косноязычно после инсульта, не хоронить его в коротком, детском гробу…)

Штат Керала (столица Тривандрум) — это Урал Индийский: отсюда пошли горы, моря, реки и люди. Недра Кералы едины с недрами Урала — таблица Менделеева отдыхает. Но Индия младше Урала (Шигирскому Идолу — от восьми до двенадцати тысяч лет), и горы Индии — дети гор Уральских, точнее, их остатков, но не останков. И на Урале, и в Индии постоянно чувствуешь присутствие вещества мира иного. Ты думаешь: я был там еще до своего рождения, до существования своего — я знаю *тот* мир.

Ты вспоминаешь зачитанные ветром, дождями и снегом могилы своих предков в Слободе (через пятнадцать лет ты построишь дом по соседству со Слободой — в Каменке, деревне старинной, первой на Среднем Урале, основанной в 1574 году): прадед Никанор, дед Никанор и бабушка Агриппина Николавна, — и ты неожиданно и мгновенно ощущаешь себя сначала мальчиком, знавшим их, а потом существом, человеком, веществом времени, которые существовали и жили еще до возникновения Каменки, Слободы, Демидовых и Строгановых… Это — не память — и не прапамять, это — больше, чем память, это осколки вечности шевельнулись в тебе — и ты от боли прозрел…

Вы едете на автобусе, железном, страшном — и постоянно над бездной: пропасть — пропасть — пропасть. Ты пьешь свой ром. Юля ест свои вишни и выбрасывает косточки в незастекленное окно. Вы движетесь к концу своей жизни Индийской и Семейной. Вы оба это знаете… Ты смотришь на сухой буш (блин, джунгли еще то фуфло: вот в Африке, в Анголе…). Автобус останавливается. Мальчики — налево?.. Нет: на дороге стоит одинокий огромный слон-самец и дергает хоботом бамбуки. Автобус остановился. Замер. Водитель, молодой дравидиец, выглянул в салон и сказал почти по-английски: «Вальдалифант… Мэйль. Вери биг!..» Говорил он шепотом — как бы себе, ободранному — и внутри, и снаружи — автобусу, джунглям, пассажирам (все проснулись), горам, камням и небу: «Вери биг! Вери Вальд («Wild»)!..» Затем автобус двинулся помалу вперед, как торпедный катерок — мористее, слонистее. Слон отпустил бамбук, который сразу выпрямился — стрельнул в небушко близкое. Этот «Вальдалифант» развернулся хоботом и огромными (вери хьюдж!) бивнями к игрушечному автобусику — и вдруг вспрыгнул, ударил передними ногами в англосаксонский асфальт (спасибо, Британия, за добрые, вечные дороги из красного асфальта!) и сделал три огромных шажка к машине. Водитель сдал назад — отскочил от слона метров на пятьдесят и остановился… Слон махнул хоботом слева направо и отвернулся — всем телом — к бамбуку. Автобус дохнул двигателем и тридцатью тремя глотками расцепеневших ездоков-пассажиров. Все вышли из салона — куда бежать?! Ясно, куда: девочки направо, мальчики налево… Все закурили, даже женщины, отвернувшись от мира автобусов и слонов — к горам, они курили «биди», листовой табачок, скрученный в тонкие, крохотные

сигарки. Мужики засмолили мариванну, ты пыхтел своим «офицерским» «WILLS'ом» и думал о гранатомете, которого нет. Думал о ПКТ, которого нет. Думал о КПВТ, которого нет. Думал об Ф-1, которой нет («лимонка» такая). Думал о том, какой ты гад: бедный альфа-самец слоновий — он-то в чем виноват? Это ты и вы влезли в его жизнь, в его завтрак, в его большие и долгие мысли… Ты стоишь впереди, ближе всех остальных к слону. Ты качаешь сердце влево, вправо,— поворачиваешь его то влево, то вправо, то вверх жизнью, то вниз — смертью и любовью. Ты смотришь в небо (Юля рядом, но остается внизу, в горах, в бамбуках, на красной дороге). Ты делишь свое отчаянье на три пряди: жизнь, смерть, любовь. Ты заплетаешь их в косицу, в косичку, в косу — вот твои думы, вот твое начало без конца. Вот почему у Смерти на Плече Коса!.. Ты вспоминаешь бабку из телевизора, которую корреспондент спрашивает: «А Вы, бабушка, где живете-то, где стоит Ваша деревня — в Европе или в Азии (это на Урале, на реке Чусовой — чус-ва: быстрая вода)? Бабка морщится до упора (морщины мешают): «В Явропии. Явропейские мы…» Журналист и бабушка стоят у обелиска «Европа — Азия», оба курят… только вот слона у них нет. И бамбуков нет. И ни хрена у них нет, кроме картошки (10 соток), микрофона (один) и телекамеры (одна)…

Где ты? Что ты здесь делаешь?.. Это безумие — быть у черта на куличиках… Да, шестая командировка. Пятая была убойная. Шестая — вечная? Кругом бамбуки, индийцы… Вспоминаешь киргиза Толю Батбаева, учившегося в УрГУ на филфаке по разнарядке: 10 киргизов, 10 монголов, 10 казахов — остальные славянотюркофинноугорцы плюс кавказцы etc. Толя сдавал историю русской литературы, профессор Иван Алексеич, уважаемый и любимый (с опаской) всеми просит Толю Батбаева рассказать историю создания Пушкинского «Годунова». Толя говорит: писал Пушкин, кончил писать; вскочил и побежал к зеркалу — и ну прыгать и хлопать себя по ляжкам, покрикивая «Ай да Пушкин! Ай да сука!..» Потом Толя, получив диплом филолога, уехал домой в город Фрунзе (потом Бешкек). Через месяц-два ты встречаешь его в Свердловске (потом Екатеринбурге) — удивляешься, спрашиваешь:

— Толя, ты как оказался здесь? Что случилось? — Толя с ходу отвечает — быстро и страстно:

— Понимаешь, Ваня, живу я в Бишкеке, живу. Выхожу однажды на улицу и вижу: блин, кругом одни киргизы. Понимаешь, Ваня, одни киргизы!..

Родина? Это как? — Это больно. Всегда больно… Сразу после демобилизации вы, дембеля, были приглашены к однокласснице, родившей в браке с одноклассником мальчика. Хрущёвка-однушка. Сидите на кухне. Угощаетесь. Одариваете. Потом мамаша юная зовет вас в единственную комнату — смотреть ребенка (серебряная ложка, пупсы, погремушки, конвертик с деньжатами, то-се…). Тихо вползаете в полумрак. Мамочка (яжмать!) включает торшер. В кроватке лежит совсем-совсем малыш, весь в зеленке (диатез), головка кривоватая — отлежал, весь в какашках (бывает!)… И юная дама, свежеиспеченная мать, вдруг шепчет (в оглушительной младенческой тишине):

— Вот, блин, скажу не как мать — объективно: какой красивый ребенок!..

Ты смотришь на дикого слона, стоящего на узкой британской красной шоссейке, слон смотрит на бамбук, бамбук смотрит на небо и на каменистую землю. Ты вспоминаешь «безумную» песенку Ольги Седаковой — и плачешь.

В психбольнице

Идет идет и думает куда
Конечно если так но у кого
ничего увидим я тебе!
Ой мамочка не бей меня не бей
Я не нарочно и давай подол
Ловить а поздно
Мать ушла
Сидит в углу качает младшую
А рядом котик небольшой
Хороший котик забери-ка деток
Ты покачаешь люди отдохнут
Вот я тебе!
Усни мой ангелок
Но глубина ее ужасной жизни
Не засыпала на руках
Она подумала и встала

Разжала руки
И пошла
И как земля в земле лежала…

Ты плачешь в себя, как этот слон, который должен уйти с дороги, — и уйдет, он это знает… На кладбище, где смерти нет совсем, я черный хлеб с летящим снегом ем…

Ты плачешь в себя и улыбаешься, шутишь с перепуганными индийцами. Ты умираешь в себя и одновременно воскресаешь — для спасения всех и себя, для победы над слоном, который продолжает рубать юные бамбуки. Где ж, парень, твоя семья?.. И вдруг тебя осеняет: Индостан — полуостров — находится как раз между Африкой и Индокитаем (североморские словечки «Арабия», «Черножопия», «Синай-х.е-мое», «Лаос-хрен те в нос», «Вьетнам — не приходи, не дам, или: сделаю ам-ня-ням и т. д.», «Замочу-замучаю, как Пол Пот Кампучию», «У саванны жопа гола, это, батюшки, Ангола» и т. д.) — то бишь все возвращается, правда, маршрутец иной. Но все вернулось — и окружило, и накрыло!..

Слон говорит: «Были бы у меня руки и голос, послал бы я вас подальше, муравьи в чалмах, в вакрах и в лысинах…»

Россия — Африка — Индокитай — Индия, а за Тибетом, за Гималаями — Китай. Вот твой нынешний мир. Мир невозможностей, невыносимостей и неразумностей. Мир — как Россия. Духовная некомпетентность и преступная недодуховность, недолюбовь, недожизнь, недосмерть… Слон говорит — сквозь стихи Седаковой.

Пруд говорит
Были бы у меня руки и голос
как бы я любил тебя и лелеял
Люди знаешь жадны и всегда болеют
И рвут чужую одежду
Себе на повязки
Мне же ничего не нужно
Ведь нежность это выздоровленье
Положил бы я тебе руки на колени
Как комнатная зверушка
Испускался сверху
Голосом как небо…

Прошел бы я весь чернозем небесный, продавливая его до глины, чтоб было Господу видно, где какую брать для лепки и труда — над миром сим, над Духом сим, под небом этим черноземном, осыпанным кварцевой крошкой. Не золотом и алмазом, но любовью. И нежностью.

Слон говорит. Он думает — а ты слышишь. Слон говорит — тебе. Ты берешь из сумки пятерню бананов и подходишь к нему так ровно и заметно-незаметно, тем ходом, каким уходил из Лаоссого плена. Он поворачивает к тебе хобот. Глаза у него маленькие, карие, человеческие. Он берет бананы. А глаза-то без ресниц, что ли? Вот у слоненка Коли — с ресницами. Берет бананы и уходит…

Ты едешь в автобусе в Каликат. Ты едешь один. Но с Юлей. Но между вами на автобусом диванчике сидит Она и смотрит в окно:

Плакать я хочу и плакать
Не могу как бесноватый
Некий царь больной расудок
Говорит служебным духам
Принесите что ли арфы
Приведите музыкантов…

Ты продолжаешь, понимая и чувствуя, что это опять Седакова (обчитался, что ли?).

Вижу
Бродит нежное вниманье
собирает глубину…

———
Страшно дело песнопенья…

Она подхватывает:

Для того чей разум зорок
Зренье трезво слово твердо
И над сердцем страх Господень.

Теперь ты — один:

Нужно петь как слабоумный
Быстро пестро бесприютно
Нужно быть как погремушка
Отгоняющая змей…

Она:

Ходит золото в рубахе…

Ты:

Страшно дело песнопенья
Но оно мне тихо служит
Или я ему служу
Чудной мельничкой верчу
Золотую рукоятку
Вылетает снег и ветер
Вылетает океан
И оно подобно шлюпке
(шестивесельной?)
Настигает исчезая
Карим золотом сверкая
Над безглазой глубиной…

И Она заканчивает, завершает этот ужас поэзии, плача и песни — эту песнь:

Что не нами начиналось
Что закончилось не нами
Перемелет в чистой ступке
Золотые небеса…

Ты слушаешь, потому что слышишь. Слон слушает, потому что слышит. Он и Она слушают и слышат. Ты повторяешь и повторяешь в себя, в себе Песнь в Галактической Нити Персей-Пегаса, в Комплексе Сверхскоплений Рыбы-Кит, в Местной Группе Галактик, в Галактике Млечный Путь, в Рукаве Ориона, в Солнечной системе, на планете Земля…

Автобус выезжает из времени в вечность.

IX. Душа убывает легко

За три года до развода, во время раздрая семьи-семейки и через девять лет после суда, советского, самого смешного и ужасного в мире, — ты пил. Первый запой (три недели) произошел незаметно, второй был — прекрасен (ты — волен!), а третий объяснил тебе, дураку, простую вещчь: ты, сука, запойный.

На втором стакане водки (первый был, как пух от уст Эола) ты плакал (пил всегда, почти всегда один), на третьем тебя вытягивало из Урала и забрасывало то в Африку, то в Индокитай, то в Индию. Ты ставил пластинку, включал автовозврат четвертой (плохая цифра!) дорожки и слушал «Space» — «Magic Fly». Ну там, самолет взлетает… Действительно же ты сидел в боевом вертолете…

Пилоты-моряки: знают словечко «галс». Молодцы парни. Их часто сбивали. В плен они не шли — отбивались, и твоя группа, брошенная с вертушки, под прикрытием мигаря, спасала (чаще) одиночного любителя петли Нестерова на вертоле.

Четвертый стакан (и все по 200 гр) укладывал тебя там, где сидишь. А сидишь ты в своей комнате. Один. У Кули — своя комната, но она часто ночует и днюет, и вечеряет у бабушек. У Юли тоже своя — но большая, как левиафан; Иона хренова… Эта Ионаюля в России нынче бывает редко: все по англиям, германиям, австриям, индиям и прочим смачным на советское ухо местам…

Ты очнулся. Нет, ты — очнуваешься. Узнаешь с трудом географию мира, себя внутреннего, топографию пьянства своего. Тебе не стыдно. Тебе хорошо. Боль твоя, долгая и неизбывная: Юля, разлад, развод, Перестройка, Ельцин и т. п., — тупеет, как гриб молодой, пробивающий лбом-шляпкой-котелком своим почву, коренья, траву-листву, чтобы увидеть первый, иной свет — пусть мутый, но существующий и не покидающий тебя. Твое сознание наплывает и накладывается на часть огромного не-твоего, чужого, иного,

запредельного сознания; твое — врастает в него. Но — движется, тем не менее. В зоне пересечения и взаимоналожения двух сфер сознания (твоего и нетвоего) рождаются безбольные просторы, поля, пропасти, высоты и бездны, где растут стихи… Ты плачешь от стихов Ольги Александровны (которая возлетает вровень с парением Марины Ивановны и Анны Андреевны).

Только увижу
Путника в одежде светлой белой
Что нам делать куда деваться
Только увижу
Белую одежду старые плечи
Лучше б глаза мои были камнем
Сердце водою
Только увижу
Что бывает человеком
Шел бы я за ним плача
Сколько он идет и я бы шел шагал
Таким же спорящим шагом…

Любовь, даже самая мерцающая, слабая и неуловимая душой, зачаточная, — начинает крепнуть в тебе, внутри, глубоко, глубже сути твоей, — сначала выдумками, фантазией, воображением, а потом начинает существовать в тебе уже абсолютно своей жизнью, становится частью тебя и тобой: болит, радуется, счастливится и горюет. Печалится — и обретает язык свой и голос твой. Любовь — сущность метафизическая: это не секс — сексом все завершается и разрушается; начальная пора любви — эротика, не влечение, половое и иное, а мощная и множественная гравитация. Любовь живет самой собой. Она питается собой. И — тобой. И ты, вечно голодный и несчастливо-счастливый, думаешь свою любовь и свои стихи. Ты, обращаясь к любви (словесно!) и себе, полюбливающему любовь, употребляешь не формы первого (я, мы), второго (ты, вы), третьего (он, она, оно, они) лица, а формы иного лица: четвертого, пятого… седьмого… сто пятьдесят седьмого, двухтысячного: этот, эта, та, тот, то, те, некая, некий, некие, кто-то, некто, кто-нибудь etc. Язык любви — в тебе и в ней. Этот язык — не он и не она, и не они, — этот язык — некий, иной. Как осень. Осень — некое время года, крупнее

года и его двенадцати месяцев! И ты, умирая, умираешь с Евгением Абрамычем:

Зима идет и тощая земля
В широких лысинах бессилья
И радостно блиставшие поля
Златыми класами обилья
Со смертью жизнь богатство с нищетой
Все образы годины бывшей
Сравняются под снежной пеленой
Однообразно их покрывшей
Перед тобой таков отныне свет
Но в нем тебе грядущей жатвы нет…

Ты выпиваешь пятый стакан водки: перед тобой таков отныне свет… Тебе тридцать пять. И на башке твоей появились залысины… В широких лысинах бессилья! — ты будешь думать стихи. Стихи свои, чужие и стихи иные…

Ты выпиваешь — медленно, мучительно и сладко шестой стакан: люди делятся на людей и художников, художники — на людей и не людей. Ты говоришь о себе в семьдесят втором лице. Нет, в семьдесят седьмом. У тебя семьдесят семь лиц, спин, жоп, сто пятьдесят четыре ноги, столько же рук, но душа, сердце и разум (не поддающийся опьянению) существует в единственном лице и зовутся «Ваней», или Онтыя. Онтый, какой-то, да? Не Антей, но Онтый. Или — Онтыйя. Онтый — вождь одиночества, пьянства и стихов.

Как дымный столп светлеет в вышине
Как тень внизу скользит неуловима
Вот наша жизнь промолвила ты мне
Не светлый дым блестящий при луне
А эта тень бегущая от дыма…

Сколько здесь глаз? Взглядов? Вот: огонь, дым, свет, высота (небо), тень (тьма), скорость исчезания, жизнь, Она, Онтыйя, блеск, сверк, сварка слезами звезд, луна, лунаты, лунаона, луная, лунаон, лунаони, лунавы etc… Охренеть! Ты качаешься внутри себя: водка трясет матрешку — и разведгруппа мелких небожественных

матрешек стучат в тебе — им больно! Блин, им больно! Эй, им больно!.. Ох, как больно Онтыйяю! Больно вам. И боли — больно…

А вот французское стихотворение Фёдора Иваныча: Как зыбок человек / Имел он очертанья / Их не заметили / Ушел / забыли их / Его присутствие / едва заметный штрих / Его отсутствие / пространство мирозданья… Товарищ старший лейтенант! За время вашего отсутствия нет никакого присутствия: только очертания бойцов, студентов, ассистентов, старших преподавателей, доцентов и профессоров!..

Социализму пришел трындец — горький для бедноты, сладкий для чиновничества, кислый для всех вместе, но и радостно-тревожный: грядет гражданская война, не Разинская, не Болотниковская и не Пугачёвская, и не Ленинская, это война — серая, негромкая (по ночам в Свердловске стреляют, изредка взрываются Ф-1, миллионы стариков, одиноких и больных людей, алкашей выброшены на улицы — по всей стране: борьба, так сказать, за независимость; звезды, заводишки и фабрики-фабрички разоряются, продаются, сдаются на металлолом, миллионы сели на иглу, в Яковосвердловске каждый шестой ширяется), эта война такая, сука, тихая, но героическая, она вся — либерально (либерализация цен) — Ельцинская. Боря геройствует — отплясывает. Обнимается со всеми Бушами сразу. Молодец… Седьмой стакан (или восьмой?) пошел… Всем, кто жил душой — конец, всем, кто жил и живет кошельком, карманом — кайф, лафа, халява. Халявный хавчик пи.оров комсомольских (Гайдарынемцовыхакамадыивсяэташваль политико-монетарная). Ну ЧТА ПАДЕЛАИШЬ? ЕШ КАНФЕТЫ В ШКАФУ.

Капитализация оборванцев породила социализацию (тотальную) красоты: эстетика, этика, нравственность, художественность растворяются в развлекухе. Социализация красоты ведет к смерти искусства и словесности: останутся только театры и шоубиз (нес). И это — навсегда? Дааа… Ох, еще ведь и цирки есть!

Восьмой стакан выпит… Развод был быстрым, горьким и смешным. Ты брел к зданию под гранитной / бронзовой / неживой рукой Ленина, в котором располагались мэрия (горсовет), куча магазинов и монстр торговли «Пассаж». С тыльной, ободранной стороны строения находился неприметный подъездик без крыльца — Суд Ленинского района. Ты плелся по Малышева (наркома), повернул на Вайнера (революционного пролетария). Прямо на углу был магазин-магазинище «Часы». Глянул — обомлел: вывеску сменили,

и таперича тута светился сквозь огромные витринные окна гадюшник с гордым названием «Коньячная». Ты остановился. Закурил и заметил, как с той стороны жизни тебе машут люди, мужики: Толя Рыбаков (журналист), пара-тройка стихоплетов и САМ Кровопивин (!). Ты заходишь в каравеллообразный гадюшник. Здороваешься. Говоришь, что вот, мол, бежишь в Ленинский суд разводиться…

— К Ленину?! Сам Ленин вызывает?!

Все ржут. Ты медленно выпиваешь девятый стакан (коньку). Закуриваешь и внятно, с душой, бормочешь:

Я пригвожден к трактирной стойке
Я пьян давно мне все равно
Вон счастие мое на тройке
В сребристый дым унесено…

— Это не такси «Три тройки»? — смеется Толя.
— Заткнись. Давай, Ваня, дальше, — гудит Кровопивин…

Летит на тройке потонуло
В снегу времен в дали веков
И только душу захлестнуло
Сребристой мглой из-под подков…

Опять Толя:
— «В снегу времен»! «Сребристый дым»!.. Это твои?! Стихи?!
— Заткнись, это Блок. Иван — дальше:

В глухую темень искры мечет
От искр всю ночь светлым-светло
Бубенчик под дугой лепечет
О том, что счастие прошло…

Ты проглатываешь плач. Продолжаешь.

И только сбруя золотая
Всю ночь видна всю ночь слышна
А ты душа душа глухая
Пяьным пьяна пьяным пьяна…

Выпиваешь — залпом — десятый (нет, здесь не 200, а 185 граммов!), прощаешься. Кровопивин дает тебе японскую жевательную резинку (антиалкоголь) — и ты тихо выметаешься прочь. Ты идешь мимо гастрономчика. Какой-то пьяный мужик валяется в грязи. Присмотрелся — это ты… Нет, не ты: ты бредешь в Высокий Суд и терять тебе нечего, кроме своего тела… У тебя есть еще полчаса до начала заседания. Однажды в командировке ты стал африканским вождем, и Юрка Дмитриев и все вслед за ним называли тебя «Ваше Высокопреосвященство». В тебе опять заиграл «Space». Magic Fly. Сознание и память твои путаются: ты думаешь по-испански (испанский — против кубинских наемников), — ты мысленно говоришь по-французски (французский — дружить с Иностранным легионом), ты материшься по-английски (английский — пугать америкосов). Язык твой, многоголовый, смеется над тобой, как русский язык смеется над нами, давая миру сомнительный чистоты имена (в речевой сфере это — чушь и глушь): Потебня — под-е.ня; лингвисты Щучка, Пескарик, Карасик, Окунёк и другие плавниковые… Все-все-все начиналось с Большого Взрыва. Так? Но: Взрыв — Чего? Думается, что Взрыв (особенно Большой) — это процесс непрерывный и бесконечный (и безначальный), он идет постоянно до тех пор, пока не произойдет столкновение, оттолкновение, распад или синтез физического, метафизического и интерфизического (главного! — это связь) вещества. Интерфизическое вещество порождает музыку и поэзию. Интерфизическое (все!) — это вещество одновременно мощное и нежное… Нежность Мандельштама. Нежность Седаковой…

С нежностью и глубиной
Ибо только нежность глубока
Только глубина обладает нежностью
В тысяче лиц я узнаю
Кто ее видел на кого глядела
Из каменных вещей как из стеклянных
Нежная глубина и глубокая нежность

Так зажигайся
Теплый светильник запада
Фонарь капкан мотыльков

Поговори еще
С нашим светом домашним
Солнце нежности и глубины
Солнце покидающее землю
Первое последнее солнце…

Нежность выглядывает отовсюду: грубая — из физического; эфемерная — из метафизического; всесильная — из интерфизического, — из музыки и поэзии.

———

— Истец в своем заявлении утверждает, что Вы злоупотребляете алкоголем. Как часто Вы пьете? Какое количество спиртного Вы употребляете… / потребляете…

— В один присест?

— Да. Отвечайте.

— Пью каждый день с утра до вечера. Выпиваю разом 0,5 литра водки. И так два-три раза в день…

Развели быстро. Да не по углам — по разным сторонам света: бывшая жена отъехала в Англию; бывший муж остался в России. В Свердловске. Дочь по решению суда осталась с матерью. Однако Куля жила с отцом еще три года. Бывшая жена вышла замуж через дюжину дней. За англичанина, который не позволил делить трехкомнатную квартиру в центре (у будущего нового мужа, ювелира, было три особняка в Лондоне): пусть, мол, поэт пишет свои стихи в старой своей квартире; нельзя, мол, обижать поэта, это — грех…

Бывший муж и ответчик (по исковому заявлению) женится через полгода на Ларе, но не на Пастернаковской диве, а на филологине (и третья жена будет с филфака: она появится тогда, когда ты начнешь убывать оттель — досель; жизнь твоя станет уже не–жизнью, а сплошным и непрерывным думанием-страданием стихов и слушанием музыки (вернутся итальянцы во главе с Вивальди, Корелли, Марчелло, Альбинони; вернется Чайковский; вернется Гайдн; вернется Рахманинов, вернется Бах — иной, свежий, небесный; вернется Бетх(овен) — его музыка появлялась сама — из себя и тебя; вернутся Led Zeppelin, особенно «Since I've been Loving You», вернется простенький Space; а вот «Beatles» окажутся игрушечными, легковесными; появится Sting с двумя шедеврами: «Shape of my

heart» and «Fragile»; тебя найдет сразу вся *твоя* музыка — *она* тебя и спасет)…

Ты читаешь — годами, десятилетиями — только стихи. Читаешь стихи, читаешь, читаешь — и вдруг начинаешь видеть, как Бог, — то бишь зреть сквозь себя нутро мира, фигуры неба и формы смерти, — так жизнь твоя становится виднее, заметнее, вечнее.

Новая жена Лара была всегда спокойна, будто боялась потревожить мир, прильнувший к ней ненадолго — всего лишь на всю ее жизнь. Родился Юрик. Юрий Иваныч. Куля (Юлия Ивановна, его сестра) уехала к матери в Лондон, но училась она в Эдинбурге, где дружила с членами королевской семьи — принцами, так сказать, наследными и с головами под корону.

Малыш, или малышбан, как называешь его ты, как и Куля, был твоей формальной копией: правда, Куля и содержательно была тобой, а вот Юрик пошел в Лару (уралмашевку, как и ты) — «ртуть-парень», «огонь-паренек», спокойный, медлительный, рассудительный, малоподвижный, но взрывной, как ты: мог неожиданно вспыхнуть и наломать дров.

Ты выпиваешь двенадцатый стакан. Идешь в универ. Пешком. Читаешь одну-две-три лекции — и на волю: пить! В бывшем кабаке «Уральские пельмени» наливали. Но тебе нравилась келья, прилепившаяся к кабаку, — «У Дяди Вани» (таких тошниловок было по городу не счесть — начинались девяностые). Семнадцатый стакан? Нет, двадцать седьмой или восьмой… Да! — двадцать девятый. Мир сузился, мироздание сжалось до размерчика прожженной и прособаченной душонки какого-нибудь Жана, Хуана, Жунна, Джона, Ивана, Яна, Януша, Яниса… Представил? Увидел?.. Так вот, это уже произошло. Стоп машина. А я че — я ниче: другие вон че — и то ниче… Ночь. Ты в своей комнате (ну, кабинет, да?..), Лара и Юрка в детской. Спят. В гостиной пес Джоли и котище Григорий, почти выхухоль черная, космач, пуховик, глаза желтые как два полнолуния, клыки видны: они опускаются ниже челюсти младенческо-котячьей — парень растет с псом, с колли (мама — лайка: Джоли с виду прям-таки чистый колли, а по характеру и по душе — лайка, охотничек, хулиган, «зверок», как говорят манси); они вместе грызут одну кость, глодают одну тушку замороженного минтая; а до Лары и Юрки питались с тобой из одной сковороды в голодные пограничные годы (восьмидесятые с 88 года и начало девяностых) —

ты жаришь рожки с колбасой (покупаешь из-под прилавка у тети Даши в гастрономчике огромный батон останкинской или ветчины рубленой — добрая колбаса, отменная еда, пайка, хавчик, бацилла) и делишь поле рожко-колбасное на три части — и в три пасти вы это поедаете с табурета перед телевизором («В мире животных»).

Ты лежишь на красивом крутом матрасике. Рядом магнитофон. На повторе играет одно и то же: «Baby since I've been Love You» (три раза подряд), потом «Show must go on» (три раза) — и назад от Фредди к Robert'у Plant'у. Выпиваешь тридцать третий — и плачешь. Вспоминаешь стихи Пушкина:

Мой дед когда мятеж поднялся
Средь Петергофского дворца
Как Миних верен оставался
Паденью третьего Петра
Попали в честь тогда Орловы
А дед мой в крепость в карантин
И присмирел наш род суровый
И я родился мещанин…

К 1920 году был уничтожен род служивый и военный хамом и шантрапой (а ведь твой предок участвовал в пленении Пугачёва, душегуба и христопродавца) — и ты родился товарищем. Товарищем — кому?! кого?! Этим шутам, играющим в строительство коммунизма, потом гражданизма и, наконец, капитализма. Но: без сословий, без чести, без достоинства, без совести, без ума, без доблести и без преданности своей земле!..

Валера Паверман, погибший от безделия и пьянства; профессор-зарубежнолитературщик, лекции читал наизусть (проверяли: и на журфаке, и на культурологии, и, естественно, на филфаке). Хорошо читал. В каждом часе и паре лекционной он произносил без предупреждения, так — будто на ум пришло, прибаутки, остроты, анекдоты.

Кто видел в море корабли
Не на конфетном фантике
Кого енбли как нас енбли
Тому не до романтики…

Ты улыбаешься — и плачешь. Пьешь тридцать девятый стакан…

Однажды драматург Шекспир
Затеял пир
И пригласил туда друзей
И два кило купил сельдей
Вы скажете Шекспир?! Сельдей?!
Не для себя же — для бля.ей…

Пятьдесят первый пошел. Ночь. Только в азеровском анклаве на ул. 8 Марта-Большакова стучит АКМ да изредка грохает граната Ф-1.

За окошком силуэт
Тихо лег на силуэт
И ребятам не понятно
Кто кого насилуэт…

Ага. Смешно. О, какая языковая игра! Каков, сука, каламбур! Стыдно… Семьдесят третий пошел…

Я с милашкой долго енбся
У подножья пирамид
Не буди во мне Хеопса
Пирамида говорит…

Рифма охрененная. И Хеопс скоро восстанет из хеопсов. И пирамиды скоро возопят!

Спутник мчится по орбите
с апогея в перигей
На борту кронштейн прибитый
Первый в космосе еврей…

Сто одиннадцатый пошел. Полет нормальный. Ты подходишь к окну. Спиной (к дому своему) знаешь, что у тебя есть немецкий револьвер (бывший газовый, а ныне огнестрельный) и одна Ф-1. Но ты один. Ельцин и его комсомольцы в Кремле. А ты здесь один. Вчера

ты «гостил» (читай «бухал») у брата Андрея. Ушел утром. Зима. Стоишь с пятью ранними пассажирами, ждешь автобус до дома: там душ, переодевание, сто тридцать седьмой стакан — и на лекцию… Вдруг слева, с юга заработали АК-47 и два ТТ. Летят две «Волги». Догонялки. Ты падаешь мордой в снег. За тобой — все остальные. Тачки пролетели. Встаешь. Все стают. А один лежит. Подбегаешь. Женщина. Пуля вошла в лоб. Наповал. Шальная смерть. По-Ельцински, по-комсомольски и уже почти по-капиталистически нормальная. В стране гражданская война. Смычка мусоров и бандюганов произошла быстро, сладко и нерасторжимо.

Сто семьдесят девятый стакан ты пьешь на ночь. Ложишься на спину в комнатной темноте. Музыки всегда мало. Но: музыки много.

Когда я жил на этом свете
И этим воздухом дышал
Я совершал поступки эти
Другие нет не совершал
Когда помалкивал и вякал
Мотал и запасался впрок
Храбрилсяя зубоскалил плакал
И ничего не уберег
И вот теперь когда я умер
И превратился в вещество
Никто ни Кьеркегор ни Бубер
Не объяснит мне для чего
С какой не растолкуют стати
И то сказать с какой-такой
Я жил и в собственной кровати
Садился вдруг во тьме ночной…

Будто не Сергей Маркович, а ты сказал вот это… В груди начинает болеть потерянная любовь. К ней присоединяются боли всех потерянных (профуканных) тобой любовей. И Гандлевский опять заговорил в тебе, утешая и добивая тебя.

Так любить что в лицо не узнать
И проснуться от шума трамвая
Ты жена мне сестра или мать
С кем я шел вдоль околицы рая

Слышишь ходит по новой гроза
Так и надо мне так мне и надо
Видишь вновь закрываю глаза
Увлекаемый в сторону ада

Заурядны приметы его
Есть завод проходная Кузьминки
Шум трамвая но прежде всего
По утраченной жизни поминки

За столом причитанья и смех
И под утро не в жилу старшому
Всех вести на обоссанный снег
И уже добивать по-простому…

Скороблянабал. Ты родился и жил сорок лет в деревенской России. Даже городская — она — была деревенской. И — остается таковой («Жизнь такова, какова она есть — и больше никакова», — так сказала поэтесса [еще не «поэтка», но «поэт-эсса»] из города-поселка Билимбай Первоуральского района). Ты — к сорока своим — ощутил и осознал кое-что: государство, власть, политика (и политики), социальность (и социализация всего На Свете), социум (ы) — все это не культура и к культуре не имеет никакого отношения, если, конечно, культура — это не кинотеатрцирк; но! самое мощное и губительное в любой цивилизации — идеология; самая сильная и гибельная идеология денег; коммунизм, социализм, капитализм — это формы существования идеологии денег; фашизм, нацизм, религиозный фанатизм — инструменты, инструкции и процессы, дающие деньги. Деньги!.. Будь они прокляты… О, да, еще и ЛГБТ+ИК+N+etc и некий феминизм — это тоже политика: жили люди, жили — два миллиона лет (Африка), двадцать тысяч лет (Междуречье, Вавилоно-Ассирия etc) — и вдруг обнаружили у себя в паху (в пахах, похоже на «в папахах») что-то странное и постоянно

зудящее, чешущееся… О, что же это, Господи?! О, так это же письки наши! Гениталюшки! Родимые! Они-то и суть самое важное и главное в политике (будь она проклята!) и в идеологии (Боже, вышла книжка, русская: «Поэтика феминизма», то бишь поэтика политики. Феминизм, как и акмеизм, не есть синоним понятия «поэзия»!..)

В чем фишка?! А — фишка в двести пятом стакане… Ты пьешь восемь лет. Защитил кандидатскую в тридцать шесть своих бедовых лет. Тебя побаиваются: алкаш? ученый? поэт? (публикуешь стишки в Москве; работаешь с лексической семантикой, пишешь статьи научные; пьешь как лошадь — а все жив и, кажется, здоров). Ты пьешь восемь лет…

— Ты пьешь восемь лет и будешь пить еще четыре года.

Ты оглядываешься — Она. Ты поднимаешься со своего финского пружинного матраса, прижавшегося с пола. Джоли выходит из твоего «кабинета», а Гриша — отважный кот — остается, — он вспрыгивает, нет, взлетает на подоконник («кадопоник») и пялится двумя своими полнолуниями на Нее.

— Кота тебе подбросила я. Он черный и шарообразно пушистый, и клыки у него волчьи. Но он — твоя тень. Вот и не отходит от тебя.

— Почему еще четыре года? Вы уверены?

— Да… А сейчас оставим кота и навестим кое-кого.

— Кого? Где?

— Одного поэта. *Там…*

Ты надеваешь куртку, черную, кожаную, индийскую.

— Нет, надень рыжую-апельсиновую кожаную.

— Испанскую?

— Ну да.

— Она же легкая. Задрыгну.

— Не озябнешь. *Там тепло.* Всегда тепло.

Они переходят по мостику-коромыслу речку и оказываются в поэтологическом раю.

— Меня хочет видеть Блок?

— Да, Александр Александрович.

Они вошли в дом сквозь беседку, восьмигранную, с крестиками и лилиями, в форме которых росли странные кустарники, расплющиваясь и меняясь по степени и силе давления взгляда на живые узоры. Блок сидел в кабинетике, за столом. На полу покоился финский пружинный матрас, но не розового, а стального цвета. Рука

Блока лежала на стопке бумаги как фарфоровое пресс-папье в форме и в виде руки Блока.

— Добрый день, Александр Александрович, Вы — *здесь*… Как Вам *здесь*?..

— Ты.

— Как тебе, Александр Александрович, здесь? Как поживаешь? Что поделываешь? (Ты не чувствуешь волнения совсем, все происходит так, как и должно быть.)

— Просто Александр. Лучше — Саша. Ты. Саша… Вот пишу письмо Любе.

— А она не здесь?

— Нет. Она осталась там.

— Но… время-то у вас с Любовью Дмитриевной одно…

— Ваня, времени нет. Есть только вечность и любовь. Они — суть поэзия.

— Я помню записи твои в дневнике 1908 года. В них все страшно и легко.

— Да. Именно так: страшно и легко. Я в ту пору находился между жизнью, вечностью и любовью. Потом жизнь ушла. Я тогда очень устал. Устал, как весло Харона. Грести пустые воды, напрягаться, пружинить, потрескивать и постанывать…

Блок был очень молод и чист лицом. Большие глаза его, серые с голубизной, легко удерживали сиреневатые, или посиреневшие, зрачки… Он встал. Поставил на стол кофейник и три крохотные чашечки лепесткового китайского фарфора. Фарфоровой рукой он быстро, но не спеша, точно, по-снайперски выверено и длинной струйкой разлил черный напиток по фарфоровым лепесткам. Запахло нежным кофейным порохом, горько-сладко, по-домашнему крепко и невесомо.

— В 1908 году я писал чушь: «хочу приобщиться к народу… хочу, так сказать, заняться общественной жизнью, работой…»

— Как Чехов, да: мы будем работать, работать, работать, учить крестьянских детей…

— Абсолютно точно так.

— Я люблю твоих «Скифов»… но… побаиваюсь…

— И я люблю это стихотворение. И — боюсь его… Иван, хочу тебе кое-что сказать. Точнее — напомнить (ты это знаешь сам, но подзабыл в процессе жизни). Главное для тебя, для меня, для нас

всех, обитающих в этом пространстве, — главное — не верить, как ты выражаешься, социализации, если ты, непременно, поэт. Музыка и стихи. Они — вечны, и они — вечность. Поэзия — это связь жизни, смерти, любви и красоты.

— Я искал бесконечно красивых…

— Да. Вечно красивых.

Они пили кофе, втроем. Но кофе в чашечках-лепестках не убывал. Он и не остывал. Пахло вечностью.

———

Ты проснулся через час, в пять утра, выпил двести девяносто девятый. Покурил. Прослушал «Июнь» Вивальди. Заплакал и уснул.

Через двадцать лет — ты это видишь в своем пьяном бреду — ты построишь дом в деревне (не в Шатрах: бабушка и дед уже умерли, и ты не в силах даже просто заехать в Шатры, заглянуть в шатер березовый). Дом стоял новый, а баня присела в углу твоей земли — старая, но большая (по-дурному просторная — кто так строит бани! — в бане должно быть тепло, тепло печное, а не любое электрическое, дурно пахнущее казенное тепло «русской сауны»), в бане ты постоянно бьешься башкой о притолоки — бьешься, бьешься — и ходишь, избитый баней… О, как болит башка. Как после пьянки с Башлачёвым в общаге на Большакова-Чапаева. Он кричал свои песни, ты бормотал свои вирши. Однажды чуть не подрались — но Игорь Сахновский (в будущем известный писатель и стихотворец: в одной из книг есть стишок с твоими строчками — что-то вроде «но соринка в глаз попала, / заслонила целый мир…») разнял. Не пустил Сашу в бой, а ты и не рвался. Ушел. Свалил. И больше к журналистам на пятый этаж в холл не ходил — скушно все это: крик, шепот, бормотание, ор, тишина.

Ты спишь — бредишь, а пьянь твоя бодрствует — водит тебя в просторах твоей памяти, воображения, боли и любви. То на комсомольскую свадьбу зайдешь, то на капиталистическую. И то и другое — не свадьба, а сратьба. К чемору! — как говаривала бабушка… Башлачёв уехал в Ленинград (Ленинградский рок-клуб), где однажды выпрыгнул в открытое окно и улетел — навсегда… В 1986–87 году ты получал чеки (и доллары) в спецкассе на Кутузовском в Москве. Вызывали получателей по селекторному радио: «Орлов: пятое окно». Там было тесно и душно (излет лета), небольшой

зальчик, без стульев, ровно посередине, в центре своем был пуст. И в этой антропологической лакуне стоял один-одинешенек крупный мужик. Ты вдруг узнаешь в нем поэта Юрия Поликарповича Кузнецова. Ты — никто. А он — поэт, получающий долларовый гонорар за переводы или публикацию за бугром. Ты подходишь, протягиваешь ему руку и говоришь: спасибо Вам, Юрий Поликарпович, за стихи и книги, особенно за «Выходя на дорогу, душа оглянулась…» Вы знакомитесь. Он влюбляется (моментально) в твою жену. Но ты уже привык к такой лабуде. Вы идете в пельменную, пьете водку и коньяк, а ты жалеешь, что подошел к этому высокому, но рыхлому, с бабьим лицом человеку-поэту: разговора не будет — Ю. К. любезничает по-медвежьи с Юлей. А тебе уже плевать. Ты *это* уже проходил. Напились. И т. д. …

Пятисотый стакан — самый сладкий. Ночью покупаешь в гадюшном киоске самарскую водку. Обезоруживаешь нарка. ПМ отдаешь продавщице. Принайтовываешь басурмана к решетке, которая покрывает весь киоск, наручниками, продающимися здесь же (продавщица — девка лет сорока — с удовольствием жертвует сей товарец), милая водконоска дарит тебе литровую самарскую плюсом к твоей поллитровой. Отступив в сторону шагов на двенадцать — в тень от дома (темно: фонарь один на весь проулок), ты открываешь пузырь и пьешь из горла. Полбутылки одним ахом. Водка сладкая. И это радует.

Пятьсот пятьдесят пятый (без учета твоего алкогольного участия в коллективных застольях и попивания водки из горла, из жестяных банок, из пластмассовых стаканчиков, кои продавались с крышечками всюду и всегда) идет соколом. Ты слушаешь (ночью в четверть звука, Билли Джоэла «Good Night Saygon» с мартирологом, среди поминаемых певцом — Polansky. Славянин. Поляк? Русский? Хохол?.. Ты плачешь. Потом рыдаешь. Бьешься, как в бане, в стену башкой… Выпиваешь еще и негромко (не разбудить бы Лару с Юркой) бормочешь свой, наш мартиролог: Три Серёги: Серёга Клочков («Клок»), Серёга Клычков («Клык»), Серёга Колычев («Кол»); Сакен Абылхапов («Аблом»), Денис Воробьёв («Дэн»), Стас Чекавинский («Чек»), Петя Яковенко («Махач»), Петя Яковлев («Яша»)… Ладно, корешь — хе.ню порешь… Лондон-Париж, хе.ню говоришь. Швыркаешь носом, как сопельдофер. Soppel-Dofer. Ну, как-то так… Не плачь! — Я куплю тебе тягач…

Встаешь в 6.00 (лекция в 9.00). Звонишь лаборанту кафедры Вале: я заболел. На неделю. Температура и все такое. Пьешь семьсот двадцать третий… Вышли от Блока, промелькали в полосках, кружках и квадратиках света, проницавшего беседку. Вышли к дубу. Толстовскому? Андрееболконскому?.. Воздух перечеркнула ласточка.

— Откуда? Здесь же нет птиц?

— Залетела из жизни.

— Что с ней будет?

— Вернется назад. Расскажет всем, как тут, что тут. Каково эдакое существование… У границы (у Большой реки) встретили трех девиц, одетых одинаково — в джинсовые юбки и жилеты, а блузки белые, в кружевах, а на запястьях по браслету гранатовому да с алмазиками. Ты вопросительно смотришь на Нее. Она понимает твое любопытство и откликается:

— Это Калипсо, Эрато и Эвтерпа, музы эпоса, лирики любовной и поэзии. Которая краше? А, Ваня?

— Эвтерпа.

— А Эрато?

— Слишком она… гламурноватая какая-то. А Калипсо — прям Гомер да Толстой в одной юбке.

— Ну-ну! Не шути так: услышат — накажут. Ни строки не напишешь. За тремя девицами, на берегу Большой реки сидел старичок в моцартовском паричке, оказавшимся седыми волосами с голубоватой прозеленью. Он легко поднялся с травы и шагнул навстречу Ване (Ее он почему-то не заметил или не видел совсем, а может быть, по старости не усмотрел):

— Иван Васильевич, рад Вас видеть. Наслышан. Это нечего, что Вас там не знают. Здесь Вас знают и уважают все…

(Тютчев! — содрогнулся Иван. Господибожетымой! Фёдор Иваныч!)

— А это хорошо, что Вы любите Жуковского (вон он — в рощице подберезовиками любуется), Баратынского и Вашего покорного слугу: невыразимое от нас не уйдет, не спрячется, а злободневное, да?.. Вот господин Некрасов злободневничал, злободневнил — да и принес тяжелейший и соблазнейший для дураков вред Поэзии. Эвтерпа, простите, посмеивается, но… И я, грешный, сочинял бредятину барско-холопскую. Стыдно мне, батенька…

— Но… Фёдор Иваныч! Без Ваших философических элегий и миниатюр поэзия нынче была бы иной — беднее, глупее и болтливее.

— Спасибо, дорогой Иван Васильич!.. И я позволю себе дать Вам совет — не совет, но пожеланьице: не гляди туда, где глухота! Не смотри, а видь! Не слушай — а слышь! Не пой и не плачь — а плачь и пой: песнь и плач — одно… Не смотри туда, где глухота!.. — Фёдор Иваныч коротко, но крепко пожал руку Ване, поклонился пустоте, в которой была Она — и быстро, скоро, не сбавляя шагу, удалился в сторону Рощи Жуковской…

Восьмисотый стакан пахнет водой, а не водкой. Водой не-из-под-крана, не из скважины, а из колодца: крепкий и топкий аромат камня, лиственных бревен, железной цепи и звезд, застрявших в далеко глубокой воде, приводят тебя в чувство, в память, в себя…

Сыну пять лет. Дочери — двадцать два. Она приезжает редко: живет то в Лондоне, то — чаще — в Японии. Ты чувствуешь себя всюду и всегда не лишним, а природно чужим: когда вы с Ней ступили на сушу (воздушную? почвенную? влагообразующую? водную? о, хляби небесные!..), ты спросил у Нее:

— А это что за пространство, такое-этакое?

— Это сфера вещества.

— Сфера трех веществ?

— Ну, это у тебя их три (и все в голове). Попробуй думать, мыслить и воображать всем своим телом, плотью и не-плотью, всем своим существом.

— Вы хотите сказать, что ЭТО — сфера всех веществ? Или… сфера вещества вообще, как такового? Вещества неразделенного, дофункционального?

— Примерно так. Но: еще проще и еще сложнее. Проще — для поэта. Сложнее — для ученого… Отвернись от Платона, геофизики и астрономии (это ложные, примитивные учения и представления о жизни), от физики, от Эйнштейна, от Ньютона, от философии, от Гегеля, от Канта, от Хайдеггера (завирального, но приблизившегося к истинному ближе всех), от социологии, психологии и политологии, коих вообще не существует. Отвернись от себя — и повернись сердцем к Гомеру, Данте, к Шекспиру, к Рильке, к Тютчеву, к Эмили Дикинсон, к Пушкину и к Боратынскому (к обоим Бо/аратынским), к Мандельштаму, к Хлебникову, к Заболоцкому,

к Александру Поупу, к твоим современникам — Майе и Ольге, — и ты увидишь себя, голого, но одетого в домыслы и вымыслы, твои и чужие…

— А музыка? Я всегда в ней… Что это? Какое вещество?

— Музыка — проводник слова. И проводник дела, тела, души и сердца,

— Каково вещество музыки?

— Музыка — феномен довещественный, поэтому она и существует в бесконечном количестве форм. Музыка ментальная. Музыка крови. Музыка не тактильна, но ты к ней прикасаешься, и она это чувствует. Музыку слышат не все. Прямо сказать — единицы. А то, что вы называете и считаете музыкой — это ритмические колебания воздуха, которого в мироздании почти нет. Музыка — это и ритм, и энергия миростроения и миростроительства… Ну чта паделаиш…

Еш канфеты в шкафу…

Тысячный стакан ты выпиваешь после похорон отца, которого не знал, деда, которого любил и частью которого был… Ты вшивался, подшивался дважды. Эспераль. Торпедо. Или объемный (огромный) укол, или ампула под кожу (в верхнюю часть ягодицы или под лопатку). До финиша пьянства твоего остается один месяц. Тебе почти сорок четыре… В твой пьяный бред заглядывает покойный (на земле), но живой всегда — в тебе — дед. Ты говоришь, что стал кандидатом филологических наук.

— О, приват-доцент! — ехидно усмехается Иван Иваныч. Потом улыбается, — скоро ты остановишься в своем пьянстве, перестанешь быть «глубоко пьющим человеком» и займешься своим делом по-настоящему…

Сфера вещества и веществ была проникнута серебристым туманом. На границе небесного серебра Она вдруг сказала, но не обращаясь к тебе, а скорее к туману:

— Ты тоже будешь здесь. Ты еще напишешь свои элегии и книгу о том, кто думает стихи.

— О немтыре.

— Да. Ты тоже будешь здесь, как эти две тени…

Из тумана вышагнули и остановились двое, будто поджидавших Ее и Ваню, именно их и именно здесь. Это была девочка и крупный мужчина. Нет, маленькая девочка-старушка, востроносая, с седыми

волосами и молодыми весело-серьезными глазами. Она обратилась (без приветствия) к Ивану:

— Вы любите поэзию Бориса Красного?

— Нет, не люблю.

— Но все-таки, прошу Вас, напишите о нем книгу.

— Зачем?

— Потом поймете…

— А Вы… Как Вы относитесь к его стихам?

— Я их тоже, как и Вы, не люблю: они излишне эмоциональны, если не истеричны.

— Да. Да… Вы здесь… как Вы здесь… Вы гуляете?

— Да, прохаживаемся с Сергеем. Он совсем озяб. Пора домой.

— Домой?

— Ну, Вы же написали: «А умер — это где?..» Так вот, мы еще с Вами. Живы. Только вот зябко здесь.

— Это от тумана и его серебра…

Ты опрокидываешь в себя тысяча какой-то стакан водки. Засыпаешь. Музыка земная — вся есть вырастание и произрастание коды и вещества неведомого — к финалу (у Вивальди во «Временах года» [«Сезоны»] есть двойные, тройные и даже четверные финалы — квадриги). В роке — сразу длительная кода — и хлоп, и не жужжит. Или «медляк», «блюз» — это словно оса кружится вокруг сердца, ввинчивая множественную, но монотонную коду в воздух, в мозг, в небо…

— И что же мне поделывать? Как мне быть?

— Думать. Думать все на свете и все во тьме. Думать всем существом. Слово и слова придут сами, — Она улыбнулась. «Так она прощается», — подумал ты и проснулся.

После второй вшивки, или подшивки (многие иные алкаши чаще «кодировались»), ты продержался насухую три недели. Однажды ночью ты надрезал кожу на верхней части задницы и выдавил-выковырял ампулу десантным ножом. Выпил. Пошла вторая сотня второй тысячи стаканов: в сутки, в течение почти дюжины лет, ты выпивал литр-два водки. Как ты не сдох? Неведомо. Ты теперь лежал на твоей «финляндии» (тюфяк стал пестрым от водочных и кофейных пятен, а также от сигаретных ожогов — как ты не сгорел? — неведомо), дремал и от бессилья общего, тотального включал музыку в голове, чаще «Июнь» Вивальди и «Since I've been

loving you», иногда в тебе пел Паваротти арии из Доницетти, «Любовный напиток», из «Аиды», или в тебе напевал Марк Бернес свои и твои «Журавли» Наума Гребнева, или в тебе нежно рычал Высоцкий: «Банька», «Кони привередливые», но чаще все-таки «Он вчера не вернулся из боя»: «Наши мертвые нас не оставят в беде, / Наши павшие как часовые / — Отражается небо в лесу, как в воде, / — И деревья стоят голубые…» Иногда Глен Гульд заходили в башку с Бахом, а порой Гери Мур играл в мозгу «Dirty fingers».

Борис Гайнутдинов («Барс»)

Саша Верников («Кельт»)

Витя Смирнов («Геннадьич»)

Андрей Матвеев («Моцик»)

Игорь Сахновский («Игорёша»)

и другие важные, а также особо важные Саша Сидельников («Шуня» и проч.) и Петя Сульженко («Синий платочек») — все они и иные, все-все-все пили с тобой за убитые две страны: за Россию и за СССР. За РФ пока тостов не поднимали, памятуя о Ельцине, о расстреле Белого Дома, о миллионах убитых несчастных квартиросъемщиках, о ваучерах, о миллиардах долларов (самое актуальное слово в девяностые), украденных у каждого из русских, татар, башкир, финно-угров и прочих людей, умирающих здесь и сейчас.

Саша умер в 1998, Петя — в 1997. Год смерти. Смерть продолжалась целый год. Родная смерть, пережившая жизнь. Неродную жизнь…

О, родная смерть! Разведку встретили на базе МП в кубрике Jet'ом Маккартни, а провожали в командировку опять же Маккартневской «Yesterday»… Ты паришь во временах и пространствах. Ты летаешь. Ты умеешь летать. Все перед смертью научаются летать. Твой вечный сон о погоне за тобой милых кубинских наемниках, о стрельбе по тебе (на спине — мишень в виде яблочка или бутылочки кубинского рома), о западне: дальше бежать некуда. Осталось три патрона в ТТ. Два по «кубикам». Один себе… Ты обливаешься ледяным воздухом ужаса и — вспоминаешь, ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ ЛЕТАТЬ! Толкаешь планету от себя — ногами — и летишь. Это длиннющий, в десяток километров, прыжок. Три прыжка — и ты на песчаном берегу океана. И — никого окрест. Пусто. Спасен?..

А где группа? Где твои разведчики, мать их так? Увел ты гадов от них — это точно… Значит, добрались до своих. Направление они

знают, а вот расстояние… да, это тухло: они же не ведают, что ты могешь летать… Ну, чта паделаиш…

Ты осушаешь двухтысячный. Кто видел тебя в этом запое, говорят: «Не жилец». Доктор философии Саша Лобок увидел, как ты опорожняешь фужеры с водкой (175 гр.), и заплакал: «Он же ж умрет…» Где тут полиция и больница, а?! Скоро будет вторая. Три скорые. Две (антиалкогольная и реаниматоры) спасут тебя. Из кардиоцентра тебя вытащат Озимов и Женя Ройзман (он всех спасает), который переговорил с начальником жизни-смерти, дал ему денег, и ты свалил домой, через дорогу, а медсестра ходила трижды в день — укалывала, прокалывала, ласкала, мол, не помирай… Через неделю ты встал и (с обширным, задней стенки миокарда) пошел читать летние лекции на интенсивных подготовительных курсах: деньги все пропил, а скоро Лара с Юриком из Крыма (еще украинского) приедут. Еш канфеты в шкафу.

Идешь с курсов домой: загнешься — не загнешься, дойдешь — не дойдешь?.. Все друзья развалились. По диванам. Все девочки твои: поклонницы, ненавистницы и любовницы — исчезли. Один. Харашо!

На Царском Мостике через речку-говнотечку Исеть стоят — как раз на серединке, на горбинке стального-чугунного (каслинское литье) радугообразного сооружения — три дамы, девушки, девицы. Одеты — как в театре Нижнетагильском на представлении г-на Мольера — в чем-то длинном, но воздушном и почти проницаемом. Подходишь и говоришь им стишком Лени Губанова (из книги Андрея Георгиевича Битова):

Вот иду домой точно в озере
Карасем иду из мошны
Сколько женщин мы к черту бросили
Скольким сами мы не нужны…

И сразу — без паузы (это Петя Кошель):

Издалека от самого заката
Бьет океан волною лиловатой
Любимая ни в чем не виновата
Любимая ни в чем не виновата

С путины возвращаются ребята
Он водку пьет и нет ему возврата
Любимая ни в чем не виновата
Любимая ни в чем не виновата

В фуфаечке где сто одна заплата
Он берегом проходит воровато
Любимая ни в чем не виновата
Любимая ни в чем не виновата…

Ты видишь не испуг в глазах подружек из вечности, но сочувствие.

— Ты — Ваня. А мы: Каллиопа, Эрато и Евтерпа. Евтерпа стесняется тебя: она думает, что ты ТАМ свой — ведь ОНА всегда с тобой!

— Кто — Она?

— Наша старшая сестра. Нянька. Воспитательница и подруга.

— А вы? Кто — вы?!

— Я Каллиопа, это Эрато и Евтерпа. Вот прогуливаемся. Прохладно здесь у вас. Куда холоднее, чем на Древнегреческой Колыме.

— А это где?

— Твоя подруга Майя сказала:

Не какие-то грозные вехи
Мелкий камень да козьи орехи
Да прибитая пылью зима
Околоток античного мира
Вековая провинция Тира
Древнегреческая Колыма…

— Да! Это из «Днестровского лимана»…

Каллиопа имела высокий рост и крепкое телосложение. То ли гречанка, то ли еврейка, то ли Светка Кускова, одноклассница твоя. Нос почти гоголевский, но толстоватый и крепкий. Эрато была крохотной и очень подвижной — «вертушка» (не — вертолет! — но дева!). Очень хороша собой: и лицо, и фигура, и глаза почти сиреневые. Евтерпа оказалась молодой (но бессмертной) женщиной, почти родной — как сестра или жена. Она была стройна,

гибка и молчалива. Улыбалась редко — но так, что дрожь проходила по телу сверху вниз и обратно — три раза. Родная душа. Родная жизнь, хоть и иная. Родная смерть. Родная любовь…

Ты пьешь водку из… Нет, не из горлышка бутылки и не водку. Георгий Александрович, нарколог, тебя подшил — как раз между лопаток… Ты пьешь кефир из широкого горлышка бутылки литровой. Выздоравливаешь.

Музыка слушает тебя. А тебе мнится, что это ты, великий и всесильный, входишь в нее, втекаешь, влетаешь… Музыка — это такой феномен, такая субстанция, самовольная и капризная, пугливая и отчаянно прямая и искренняя, это такое вещество, покрытое эмоциональной пленкой, плевой, кожицей, скрывающей в себе нечто большее, нет — глобальное, всеобъемлющее представление мира, или метаэмоцию: метаобразы, метасмыслы, метаидеи, метатипологию частей мира и тебя, которые наблюдают тебя и оценивают: годишься ли ты, в силах ли ты объять необъятное, услышать неслышимое, увидеть незримое. Нужно тысячи раз внять музыку в себя, вжать, врастить ее в себя, чтобы она услышала тебя и оставила тебя в себе… Тебя убивали, ты умирал десятки раз: в детстве утонул (Коля, Катин брат, спас тебя, вынул из глубины голубого уральского карьера-разреза); ты умирал от болезни Боткина; а во младенчестве ты, впервые шагнувший в открытое окно на узкий наличник в коммуналке на ул. Сталина и впервые оставшийся в комнатке (3 на 3 = 9 м^2), когда Катя убежала в Старый-Новый гастроном за молоком (слева «Дворянское гнездо», справа ул. Ильича с библиотекой детской), — ты шагнул в воздух, ступил на него — и пошел, вылез на подоконник с диванной подушки, выбрался на широкий, как ладонь Юрия Власова — штангиста, жестяной наличник и пошел по нему от родного окна к неродному балкону; внизу собралась толпишка, все молчали, ахая в ладошки, а дядя Стёпа, старшина, мент, мусор, — взбежал на третий этаж (на первом был ресторан «Север», остальные три — коридорная система комнаток), вылетел на балкон и поманил тебя: «Ванечка, Ванечка, а вот — пряничек, иди ко мне, родной…» — он же спас тебя, когда забрал у тебя, пятилетнего, наган, заграничный и со взведенным «курком»; тебя трижды спасали ноги от потоптания толпой шпаны на ул. Победы (ты — победил?); тебя вытащил из-под летящего деревянного трамвая («Пятерка») Юрик Пятилов (не фиг ездить на подножках!); в десятом классе тебя

проткнули пикой, ты с трудом среагировал, и заточка (изготовленная из автомобильного «дворника») проткнула тебя левее сердца (как музыка — всегда чуть левее сердца — нужно чуть-чуть развернуть грудь — и в точку!); тебя убивал пером воровским Блатной, когда вы с Борей Медведевым, твоим шефом по фраерному стану, отмахивались («вырубая») от четверки блатоты; армию, точнее флот, опускаешь, пропускаешь, отпускаешь: пять командировок — пять плюс десять смертей держали тебя за яйца; ты погибал, будучи студентиком филфака, забираясь по пьянке на пятые этажи хрущевок по балконам; инфаркт; выстрелы (два) себе в висок — осечки; и кубометр водки, вина, пива, лосьонов, одеколона и даже французских духов «Мажинуар» с поэтом Сашей Еремёнко; ну и любови твои до гроба (две-три, но абсолютно гибельные)… Эх-ох-ух, тра-ля-ля!..

Ты умер семь раз, хороня своих: бабушку, дедушку, Колю (мысленно: ты был тогда в тюряге военной), Катю (бедную маму твою), Сашу Сидельникова и Петю Сульженко — лучших своих друзей, Игоря Сахновского, Витю Смирнова, Витю (Виталия Михалыча) Воловича, великого художника… И так далее, и все больнее, больнее, больнее…

С братом Андреем произошел разрыв. Сразу после смерти Кати. В декабре 2003 года она пропала. Андрей (все-таки мент: генералов возил) пробил все морги и больницы. Нашлась Катя на Эльмаше, полуразрушенном и запущенном донельзя здании: в больничке, в травматологии — перелом шейки бедра. В те годы, нищеты, пьянства и разрухи, такие травмы считались смертельными: старики падали зимой, оскальзываясь на гололедах, перебираясь через гребни снежных завалов,— ломали себе все на свете. И умирали. Можно было продать квартиру и вывезти Катю в Германию или Швейцарию, но… А куды же девать семью? Квартиры тогда подешевели — денег хватит лишь на дорогу, на первичное лечение, а на операцию — шиш. Иван замолчал. Совсем замолчал. Окончательно. Его вдруг избрали председателем правления Союза писателей (местного Уральского отделения) России. И он согласился. Но не сдуру, а потому, что не хотел избираться в Универе на пост декана филфака (он уже защитил к тому времени докторскую и стал профессором: написал первую свою монографию о поэтическом тексте как уникальной этико-эстетической системе — эта книга стала основой второй диссертации). Из травматологической больнички Катю забирали

вчетвером: Ваня, Андрей, Лара и жена Андрея Лена (торговка: семь киосков). Спросили мать, куда она хочет: домой, к Андрею или к Ване. Катя выбрала Ванин дом. Она стала совершенно беспомощной. Привезли. Помыли. Уложили на широкую кровать в самой большой комнате, освобожденной от всего лишнего… Андрей и Лена даже чаю не попили — вдруг снялись, вскочили, вспорхнули и впрыжку, похохатывая от удачи такой (Ванька взял инвалидку себе), выдвинулись вон. Мент («мусор» по-уралмашевски) и торговка, и все семь киосков и прочая хрень — все это вымелось из дома Ивана к такой-то матери от матери родной.

Мать умирала долго: в больничке у нее случился инсульт — не заметили эскулапы, но дома, у Ивана, она оправилась, посветлела, повеселела. Они делали трижды в день стоятельно-ходильную гимнастику (правая нога Кати стала огромной, неподвижной и неживой — сосуды не работали, кровь застаивалась). Катя, всегда живущая музыкой, слушала бесконечно Лучано Паваротти (и канцоны, и арии, и песенки), иногда Чайковского и Рахманинова, и всегда рядом с Паваротти был Вивальди, все: и концерты, и циклы, и оперы. Умерла Катя летом. Иван был в Каменке — стоил дом с товарищем своим Барсиковым (Барсиков был хороший молодой мужик с аутизмом и энтузиазмом).

Аутизм и энтузиазм Антона Барсикова веселил Ивана и спасал Антона от внезапных — до обморока глубоких — задумчивостей. Иван приезжал в Каменку два-три раза в неделю, а то и на целую декаду (сказывался всюду больным). В тот день он с утра сбегал на озеро с удочками. Вернулся. Перекусил. И поднялся на чердак бани (жили, пока строили дом, в бане). Уснуть не мог: в голове крутились строки:

Волны фору дают брусчатке
Все теснее как предки в сыне
Словно времени отпечатки
На распиленной древесине…

Дальше — ничего. Точно волны времени неуходящего, волны тоски и волны напряженного думания стихов, которых еще нет… Зазвонил мобильник. Ты закурил. Взял трубу. Это была Лара.

— Слушай, Бабе Кате совсем плохо… (Лара — под сына Мишу — звала Катю Бабой Катей).

Ты помолчал. Затянулся. Засмотрелся на циферблат паутины в углу чердака:

— Умерла?

— Да.

— Когда?

— Когда ты пришел с рыбалки и наверняка думал новые стихи…

— Пятилов уже едет к тебе… — перезвонила Лара.

Ты услышал со двора голоса Григория и Людмилы (они имели дачу по соседству). Узнали от Ларисы. Пришли, поспешая, утешать…

Ты лег на чердачную солдатскую койку (откуда эта рухлядь здесь?!) — и додумал вторую строфу, которая пришла сама. Но больно — пришла.

эти кольца сучки излуки
полный свиток ствола живого
только крепче родство в разлуке
и темнее от крови слово…

После третьего инсульта лечащий врач, глядя в глаза Ивану, сказал:

— Не надейтесь! Сердце у нее, как тряпка. Изношенное. Изодранное. Забирайте свою маму домой! Пусть уйдет… выйдет ТУДА из родных стен!

Ты подумал: воевал мужик. Не менжуется. Говорит прямо. Серьезно. Как офицер с офицером на передовой… Но: в тебе, в груди, где-то посередине, возник небольшой, но твердый и тяжелый кулак. Он то сжимался, то разжимался, то опять сжимался еще крепче.

Через год после смерти поехали в Шатры, на кладбище, где урну с Катиным прахом «подхоронили» к могиле деда, рядом с которой, в метре к югу, была могила бабушки. Приехали — табором: три машины Юры Пятилова, Толика (дяди бывшей жены, с которым ты по-прежнему дружил — да и Каменка твоя сблизила вас, да и горести Толика ты понимал и как-то помогал, и не только участием и словесными траурными гимнами), и огромный Land Cruiser Жени Остмана («восточный» человек, да?). Расположились поминать. Пироги, вино, соки. Толик взял с собой сына — похмельного Вовку,

Юрик прихватил Серёжу, хорошего молчаливого парня, Лариса, руководя Мишкой, сынишкой вашим, «строила» всех: так, это — сюда, это — туда, ты — здесь садись, вы располагайтесь тут, а вы падайте на одеялко здеся (это — детям)… Годовщина. Год после смерти Кати. Лето. Август. 22-е. Холодно. Без дождя, но с тоской или, что еще хуже, с печалью. Ты звонишь Андрею (появились мобильники, у тебя «Nokia», тяжеленький и удобный для сжатия в кулак, как «лимонка»).

— Привет! Ты где?

— Как где? Дома. А ты где?

— В Шатрах на кладбище.

— Мы ж договаривались на завтра.

— Нет, на сегодня: 22 августа. День смерти.

— Да иди ты… На… В…

— И ты иди, — ты отрубаешь звонок. Через минуту-две звонит он:

— Твою… да я тебя… Перестреляю всех… («Бухой», — думаешь ты).

— Перестреляешь. Где?

— Везде. В городе найду. Шмальну. И бабу твою, и щенка твоего… — ты прерываешь разговор. Кладешь телефонище в карман и направляешься к кустам до ветру, по дороге ты отключаешь звук. Тебя потряхивает: «бабу»! «щенка»! — то бишь Ларку и Михася. Твою ж мать… Допился мусор: сутки через двое возит толстозадых с лампасами, сутки пьет, сутки отсыпается — и так десять лет. Охренел товарищ… Да и… Бог с ним… Адыхай, ну-с…

В кустах закуриваешь.

С могилок кричит Лара:

— Юр, тут тебя Андрей. Мне позвонил. — Ты берешь Ларину трубу (Андрей кричит — голос пьяной ярости, почти истерики):

— Я убью твоих детей. Пристрелю. Всех грохну. Замочу!..

Ты обрываешь его монологический крик:

— Заткнись. Завтра позвоню. За угрозы будешь отвечать. Имей в виду, дружок. Я ВПИСАЛСЯ… Ты знаешь меня и помнишь, ЧТО это значит. Все.

Печальной, блин, будет эта песня о том, как птицы улетели… прилетели… умирали… А в них менты всю ночь стреляли. А темно-то как — глаз выколи… Договорились о встрече. Под вышками ПВО, за Уралмашем, за кладбищами еврейским и татарским. В назначенный день сошлись. У теплотрассы.

— У тебя что? У меня ПМ.

— ТТ.

Андрей явно зассал. Но бешенства в его взоре не поубавилось. Катя всегда говорила: «Какие вы разные — как от разных матерей…» Он — вылитый толстый татарин с хитро-добрыми глазами. Ты пошел в деда: худощавый, высокий, со светлыми волосами и чернейшей бородой. У него — деньги. У тебя — стишки. Он — мусор. Ты — профессор. Он суетливый. Ты печальный. Оба — алкаши: он до сих пор, а ты седьмой год не пьешь. У него жена — торговка. У тебя — филолог, библиотекарь. Он отнял деньги у Кати прямо в ЦБ («Сбер»), когда она получила компенсацию как репрессированная и позвала его с собой для надежности — деньги-то немалые. А он сгреб их. И Катя вскрикнула. Подошел мент банковский (ох, девяностые), Андрей корочки красно-мусорные показал — мент отвял. Он Катю успокоил: «Зачем тебе ТАКИЕ деньги, а мы в бизнес, в киосочки их направим…»

— Где будем? — спросил он (в ментовском тюфяке).

— А вон — в перелеске…

Нашли две жерди — «барьеры». И — бревно, чтобы посидеть после смертоубийства. Отсчитали по двенадцать шагов в противоположные стороны от бревна, положили на этих отметках по жерди. Все — поле сражения готово.

— Покурим?

— Можно.

— Ты хорошо стреляешь? (в те поры Ваня еще молчал о своем военно-морском прошлом: служил вот в авиации морской — и все дела).

— С обеих рук. Любой тип и вид стрелкового оружия. Любимое вооружение: ТТ, АК-47, ПКТ, реже — РПК.

— Не гони пургу.

— Ну-у-у… ставь на бревно… вон — банки консервные, шишки клади — сколько хочешь.

Андрею полегчало. Он расставил банки, разложил сосновые шишки.

— У меня три обоймы. Думаю, хватит,— Ваня незаметно, но очень быстро — хрен моргнешь, вынул пистолет из-за ремня на талии, выстрелил шесть раз (столько было банок), затем упал на живот, откатился в сторону и одной пулей снес все шишки —

сбоку, «в колонну». Одна осталась. Иван встал, подошел к бревну (толстому, диаметром сантиметров тридцать) и сверху, «вертикально» выстрелил пять раз («Когда он поменял обойму?» — подумал Андрей) — сделал розочку. Розочку смерти…

Или — «звездочку» — пять пулевых отверстий окрест-вокруг шишки. Что дальше? Постояли. Покурили. Все?

— Расходимся? — спросил Андрей.

— Да.

— Навсегда?

— Не знаю. Как Бог даст…

Ты уходил через еврейское кладбище. Шел медленно. Брел. Но — легко. Отдыхая от великой и преступной глупости, совершенной здесь и сейчас братьями. Ты брел и прислушивался: не выстрелит ли он себе в башку — там, за теплотрассой, в перелеске… Ты добрел до Лоханки — остатка от озера, заболоченного вдрызг. Здесь вы, пацаны, купались, начиная сезон нырков, заплывов и игр в конце апреля: вода в Лоханке была незамерзающей, античной, древней — и пахла она мамонтовой шкурой. Шкурищей. Ты сел на бережку. Пусто. Никого. Забросил в воду сначала стреляные гильзы (по привычке МП ты их собрал), потом разобрал оба ТТ и частями булькнул ими точно в центр озерца. Все. Больше никаких пистолетов. Прощай, так сказать, оружие. На душе стало тревожновато: как — без ствола?! — Как, как — с каком просто жить. Не коли себе в попу соломинкой. Пустить себе пулю в лоб? Захочешь — найдешь волыну и пустишь то, что разрушит твой головной мозг. Мозг: ты — смозгляк. Трус. Напугал идиотика (так говаривала Катя: «идиотики», «свинята», «орелики» и т. п.). Зря? Не знаешь. Ты ничего не знаешь, кроме того, что мир — это каузативный эллипсис в сознании общества: что важнее, дух или бытие etc… Ты ничего не знаешь, кроме того, что Достоевский — попса, журналюга; что Золотой век литературы — элитарен (никто не читает Гоголя, Пушкина, Толстого, Тютчева и т. д., окромя поэтов и филологов — они это делают по надобности, прагматически, т. е. вхолостую, напрасно, но красиво: строят свой каузативный эллипсис, не понимая, что эллипсис — это пропуск вещества, опущение вещества, это выпуклость и выпуклости, а также «впуклости», пустоты); остальная так называемая словесность полухудожественная — это «литература» идеологическая, политическая

и экономическая, то бишь ДЕНЕЖНАЯ («Дэнги давай, да?! — Ху.дожнику, да?!). Ты ничего не знаешь, кроме того, что самый крутой поэт, физик и человек — это БОГ. Бог, кто бы он ни был, чем бы он ни был. Еще ты знаешь, что трусы дырявятся от прыщщей… Ты знаешь, что природа, стихии — безгрешны. Именно природа (вся, оптимально и максимально действующая везде и всегда) высвечивает грехи человека. Показывает их человеку…

Ты всегда помнишь (и чувствуешь во всем: в деревьях, в траве, в цветах, в воздухе, до и после дождя, в звездах, в слезах) — всегда помнишь и знаешь — шелковистый запах младенческой мочи (мочушки). Ты чувствуешь и знаешь ощущения, мысли, сознание, душу и вещество младенца, живущего между трех миров и летящего в трех мирах, в трех веществах, из которых вырастает, показывается еще один мир — мир-до-жизни. Младенец знает то, чего не знаем мы, рожденные, живые и смертные. Младенец гуляет между смертью и бессмертием, между до-смертием и жизнью, чреватой то смертью, то бессмертием. Младенец знает секрет, сущность такой жизни, он помнит его и ее. Младенец свободен от дикой энергии цивилизации, технических революций, войн, социализации и обязательной лжи во всем и обо всем. Младенец состоит из атомов свободы и любви…

Свобода любить. Свобода убивать. Любить, убивая. Убивать, любя. — Вот такая западня, капкан, онтологический эллипсис: что сильнее — любовь, убийство, жизнь без любви и убийства? Убийствие — это состояние любви, да и жизни… Sorry, seems to me the hardest word… Ты идешь на запад от еврейско-татарского кладбища — и падаешь на траву, как срубленный под корень тополек. Ложишься на спину и раскидываешь руки. Блин, бил.дь, барабойство хреново! — Ты чуть не убил брата. А он? Он УЖЕ не хотел стреляться — кровь родовая сработала как тормоз. В голове включился вертолет (египетский, ангольский, индокитайский) — Space, Magic Fly… Будь он неладен… Прилетела птица. К тебе? Она опустилась рядом с головой, крутя башкой (монокулярное зрение) от руки, сжатой в кулак и выброшенной на запад (правая рука) — к голове, к глазам доплакательным, выпуклым от влаги; твои польско-русские-кавказские глаза («хитрые», — говорили женщины; «печальные», — говорили девы; «офигительные», — говорили любовницы). Сойка. Жар-птица, сойка-соечка, сойка-ойка прекрасная, а кричит

голосом умирающей старушки, уже слабой, уже полунеживой, но полулюбящей себя, почти полуживую, мир этот, слишком живой и влюбленный в себя. Сойка рада, что ты не убит. И — брат твой не убит. Убийствие отошло. Отошло не в сторону, а на север — за вышки ПВО, за тайгу, за тундру — во льды, вечные (пока) и великие. Подлетела сорока — не сорока, а Дзержинский! — поджарая, злая и вся полонская, шляхтенская: мол, мы с тобой одной крови!.. Хрен тебе, — подумала сойка и двинулась боком к сороке — та забздела и сдунула прочь. Ты зевнул во всю Ивановскую, и еще, и еще, и еще — нервы? давление? На последнем зевке вдруг вскрикнул на все три Ивановские — и сам вздрогнул от своего вскрика: невозможно набить морду жизни, смерти, любви, наконец, Богу; замахнешься — рука отсохнет вместе с сердцем… А Бог и не заметит… Souvenir From Rio. Space. В башке. Ты плачешь, лежа на подкладбищенской траве, и слезы текут из глаз на запад, на восток и чуть-чуть на юг. Словно группа твоя отстреливается с двух зрячих горушек — очей на лике пространства чужого, родного, единственного. Убьют всех. Сегодня, точно, убьют всех. Тебя последнего — везение? — нет, забота о пацанах и отсутствие страха…

Сойка вспрыгнула тебе на плечо и заглянула в глаза, в ноздри, в рот. Неожиданно и ниоткуда прилетел чечень с красной головкой. Не подлетел — а прибыл. Чечень с пробитой головой. Красные перья на башке — не кровь. Это твоя голова пробита, но не снаружи, а изнутри. Чечень сел на грудь и теперь невесело рассматривал пуговицу на куртке, верхнюю, единственную — все остальное замок — молния. Сойка спросила: «Это ка-а-а-а-к?!» Чечень крутнулся на месте и молча ответил: «А вот так: этот парень хотел видеть и тебя, и меня, и Ее…»

Она подошла откуда-то то ли сверху, то ли снизу, но как-то вертикально.

— Ты поступил правильно, — Ваня подумал: «А что мне его убить, что ли, нужно было? Я уже наубивался…»

— Не серчай, Ваня… Когда ты поступаешь правильно — значит это делаешь не ты.

— А кто?

— Он.

— Кто Он?

— Сам знаешь, не придуривайся.

Ваня лежал с закрытыми глазами. Она была рядом: то ли стояла, то ли сидела на воздухе, набившемся в куст, то ли ходила-расхаживала вокруг лежания Ваниного. Она была везде. Ваня, не открывая глаз, смотрел на нее и видел цветастый черно-алый халат, домашний, крепко поношенный, протертый, но не до дыр, не до прорех, а до сквозняка матерчатого, широкого, но еще не прозрачного и светившегося как фрагменты рыболовных (или бабочковых) сеточек. Свозь эту сеточку он видел одновременно и Ее, и небо.

— А там, в писательском, так сказать, раю, бывает непогода? Там всегда утро? Или день? Или вечер? А ночь там бывает?

— Всегда, но попеременно, то утро, то ночь. Утром все живут. А ночью думают стихи. Или стихи думают их — обитателей, как ты выразился, рая.

— А непогода?

— Бывает. Особенно ночью. И дождь, и гроза, и снегопад, и метель; и гроза бывает.

— Чтобы лучше думалось?

— Да, чтобы сильнее, мощнее и глубже думалось и чтобы скорее записывалось.

— А компьютеры там есть?

— Нет. А к чему они: головной мозг, сердце и душа богаче и быстрее (работают совместно) электроники.

— А искусственный разум?

— Это оксюморон. Алогизм. Полная экономико-политическая чушь, которой вас здесь пичкают всякие Гельмуты Грехи, денежные типы, ростовщики и воры…

Ваня включил воображение. Зазвучал Рахманинов. Без Мацуева. Сергей Васильич играл на рояле сам и улыбался, и лицо у него было изрезано усталостью, морщинами, светотенью и глазами всех, кому удалось заглянуть в Ванино воображение. А Ванино воображение явило Ивану женщину, восточную, высоконькую, стройную с русско-татарскими глазами. Она вышла из ванной голая. Подошла к гладильной доске, взяла трусики и надела их молниеносно, но с оттяжечкой и хлестко…

— Это твоя третья жена,— заметила Она, слегка отвернувшись от Ваниного видения. Она родит тебе сына. Ивана. И будет он Иван Иваныч, как твой дед, прадед, прапрадед и все предки-мужчины.

— Мужики.

— Да. Мужики — дворяне. Офицеры.

Воображение ввело в концертную залу с Рахманиновым Фёдора Иваныча, друга твоего пра-пра-пра:

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

— А любовь? Как же любовь? А, Фёдор Иваныч? Любовь духовна изначально, по определению…

Она сидела на полу
И груду писем разбирала
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело…

— Зола зеленоватая от чернил. А порой фиолетовая и бледно-синяя, или — черная с сединой. Седая зола… духовного опыта зола седая… Нет… Чушь…

Я виноват. Перед Богом, родными. Виноват перед многими женщинами. Виноват перед собаками. На зоне мы жрали по ночам вареную собачатину. Я собак не ловил и не убивал. Но ел. И кошатину ел. А крыс не жрал — пацаны рубали и нахваливали. А я — не мог… Я потом, после армии, пил. Все пили — девяностые. Ельцинские. Богемили все как могли: и пишущие, и непишущие. Пошли какие-то сейшены и фесты. Был один раз. Выступал. Откусил полмикрофона и шваркнул его о палубу какого-то давным-давно затонувшего Дома, блин, культуры, где-то на окраине Свердловска. Ушел. На рассвете. Брел домой с незнакомой, как мне, пьяному, казалось, дамочкой, а это была Марина, сестра Лиды — художницы. Шел и плакал. А она все успокаивала меня: у тебя классные стихи. Ты поэт. То, се…

Пятое-десятое. С тех пор я не ходок на такие мироизъятия. Тошнит. Рожи эти. Потные. Пьяные. Орущие. Толпа. Чернь. Обыватели, прикоснувшиеся к святому, к поэзии — и ошпарившиеся парами смыслов и алкоголя… Ненавижу себя!..

— Обыватели — обывают. Обживают то, что уже обжито, переживают то, что уже пережито, открывают то, что уже открыто. Они, как выражаетесь вы, «торчат» от «Мастера и Маргариты», романа с мещанско-злобной, даже мстительной подоплекой. Романа для дураков, жующих свои несвежие носки и нахваливающих вкус и аромат манго, исходящей от этой одежной жвачки. Вы все обыватели. Да не все…

Трезвость пьянит. Долгая, затянувшаяся трезвость ничуть не хуже и не тяжелее вечно пьяного, полупьяного и похмельного состояния. Ты пережил двенадцать запоев, которые длились по три месяца, по четыре, а то и полгода. Трехэтажное, нет — многоэтажное похмелье закаливало тебя — и убивало. Однако ты оставался собой — Орловым: все были на кого-то похожи; Пятницкий — на Блока, Озимов — на Дина Рида, на Джека Лондона, на Хёмингуэя, на Маккартни и даже на Смоктуновского в молодости: покойный Петя — на типичного ковбоя и ловеласа; покойный Саша — на молодого Льва Толстого, еще не резонера, но уже весьма рассудительного товарища; Аркаша Застырец, Серёга Кабаков, Саша Калужский, Валера Мухачёв и некто безымянный, но огромный, по словам Майи Вяземской, составляли сказочную тройку (с заменами — быстрыми — как в баскетболе) богатырей: Добрыня, Илья, Алёша Попович. Иван Орлов был похож на Ивана Орлова: на любого из Иванов Орловых-Черминских, живших в последние пять-шесть столетий.

Наступила пора, когда уже нельзя было отговориться от греха и заслониться, оборониться фразой, имея себя в виду: «Окончания Праздника Он Не Заметил» (грубо говоря, нажрался-напился до чертиков, до зеленых соплей и беззвучных песен, когда упившийся певец сидит, раскачиваясь на полу, и думает-воображает, что он ПОЕТ).

Ты живешь как-то по-новому: работаешь на трех-пяти-семи работах (лекции в разных вузах + универ), а еще у тебя есть «пеньки» — голов пять-семь — репетиторство, которое дает легкие деньги-неденьги, тратишь их моментально: все вздорожало, но еда

в магазинах появилась. Ты — ко всему прочему — строишь дом в Каменке (дочь Юля-Куля помогла тебе купить участок с коробкой под дом из пеноблоков советского образца — цементно-неподъемных и огромных). Ты увез в Каменку Андрюху Острикова, парня хорошего, каменщика, но аутиста средней степени: он был твоим студентом в девяностые в Академии искусств и художественных ремесел, где ты деканствовал на литературном факультете (ах, как все громко звучит — в действительности же это была шарага, деньгокачка, препы — с миру по нитке, студенты — балбесы с какими-то деньгами, — аж тошнит от таких новых вузов (их развелось в те поры в Свердловске — сотни, куда ни шагни — вывеска: «Институт экономики и политологии» и прочая хрень… Однако ночи были твои: ты обитал в своей комнате, где появился письменный стол (скоро его заберет бывшая теща — она выгребла после развода все: и мебель, и посуду, и холодильники, и телевизоры, и даже постельное белье). Ты пишешь. Плачешь от усталости и недосыпа. Слушаешь музыку — в себе и из музыкального центра, японского, купленного на арапа за бешеные деньги случайно — вы прогуливались с Олегом Дозморовым (еще до появления Бори Рыжего) и загляну-ли в магазин электроники. О, это был и вправду ЦЕНТР — огромный, звучный, если врубить звук на всю катушку — то форточки открывались! Ты что-то пишешь: монографии, учебники, научные статьи. Ночь — стихам отдана. Ночью ты плачешь. Чаще — в себя.

Сквозь толщу водки, сквозь ее ливни, морозь, дрожь, над ее разливами, заливами, плотинами и водохранилищами, под ее легкими и одновременно тяжелыми пластами, с ее крыльями, внутренними и внешними, ее способностью тебя ослеплять и прозревать, переноситься в любые времена и пространства — ты понимаешь, что с водкой было легче и проще переживать безумие девяностых годов двадцатого века — Ельцинскую декаду.

Когда ты видишь последствия Ельцинского переворота (ГКЧП — Горби/Ельцин — Ельцин), в тебе пробуждается Purcell с его Chaconne Ing — траурное, светлое и бесконечно длящееся облако музыки — извинительной, горькой, несчастливо-счастливой и вечной, как утренний зимний свет за окном…

Никто — никто не верил в болтовню, исходившую из Политбюро ЦК КПСС (ранее — ВКП (б), еще раньше — РСДРП с большевиками и меньшевиками) в течение многих десятилетий; почти столетие

крепло в народе неверие, недоверие, отвращение по отношению к власти и властям, которые обострились в 1985 г., или раньше — в год смерти Брежнева (1982) — и окаменели, стали незыблемыми в девяностых годах двадцатого века. И сегодня, и еще 100 лет никто не будет доверять власти — никакой власти: хамство, ставшее советским, вдруг стало превращаться в воровство (по-крупному и по мелочи), в денежный феодализм, в узаконенное ростовщичество (Банки, банки и Гельмут Грех), в бандитско-чиновничий капитализм, в милицейско-полицейский ковбоизм (смычка — вечная в России — власти, криминала и силовиков — нерушима!), армия ослабла, пацанов-послешкольников наубивали в Афгане и в Чечнях (дважды!) так много, что по улицам городков, городов и сел бродили только женщины (и в десятых, и в двадцатых годах Россия — вся — в женщинах: мужиков нет, и еще долго не будет, но феминизм крепнет, и скоро им наполнятся соцсети в Интернете и залы с постмодернистской, бессовестной, наглой и грязной «литературой»); коррупция на всех уровнях госвласти уже не удивляет, а — бодрит… Дождетесь, господа. Дождетесь…

Бетховен и Марчелло (Алессандро) в своих адажио — братья. А ты племянник их адажио. Нет — сын. Их музыка разъясняет и проясняет все: и жизнь, и смерть, и любовь, и войну. «Полет валькирий» Вагнера — фуфло: Скрябин и Рахманинов появляют музыку сразу и войны, и мира. Это как с Достоевским: мерзко — деньги, деньги, деньги как вершина, как суть и как движитель страстей, — «Записки охотника» или «Смерть Ивана Ильича» — куда жизненнее, истиннее и трагичнее. Тебя удивляют достоевсколюбы: недострелянный, недорасстрелянный будущий криминальный писатель (русский король попсы) так перепугался наказания, что стал писать только о преступлениях… Нет, Рахманинов и Толстой — универсальны и божественны. А Достоевский и Вагнер — однолинейны, увлекательны, но в положении упертости своей недомузыкой — в тупик, в скалу, в железобетонный бункер, в котором всегда пошевеливаются два-три примитивных и очевидных (для публики — потому и «попса») смысла.

Ты уже не можешь быть молодцом-холодцом, «твой отцом». Ты не молодец — твой отец. Ты, еп-перный театр (всегда у тебя в глазах это красивое строение начала XIX века — напротив универа), ты, получив dubinarum po spinarum quantum satis, оберег свою душу

и свое воображение. Воображение — движитель души. Или наоборот?.. Или они едины, уникальны и универсальны?

Ты не знаешь и не понимаешь, и не различаешь, как ты говоришь в своем кабинете-кабинетике с музыкой, матрасом и письменным столом — мысленно или вслух. Ты читаешь в универе лекцию и сомневаешься в том, что тебя слышат студенты, так как произносишь сразу два текста двух лекций, разных и распрекрасных…

Вот такой, вот такая, вот такое, вот такие Loneliness. Ты — матрешка. Социальная кукла деревянная (внешняя оболочка) содержит в себе несколько (много, от семи до бесконечности) онтологических существ, которые уже не «внутренние матрешки», а одинокие, значит — свободные от общества (любого) феномены. Они вполне самостоятельные: один из них думает, другой ощущает, третий вспоминает, четвертый думает, но стихи и вообще текст, пятый обитает только в музыке — внутри ее болезненно-сладкой материи, шестой читает (с бумаги и с ума, с памяти), седьмой касается всего (чем? — плотью? духом?), что незримо, но необходимо и светостроительно; семьдесят седьмой живет и существует зверем, деревом, ветром, водой; девяносто пятый пребывает землей, состоящей из останков, ставших глиной и черноземом, землей, выдавливающей из себя колодцы; сто одиннадцатый (111!) управляет тобой по законам вечности и Абсолюта; сто девяносто девятый улавливает гармонию — во всем, что есть жизнь: в растениях, в минералах, в газах, в почве, в водах и других жидкостях, в людях, в текстах, в музыке; остальные — не умирают и слушают музыку, которая слушает тебя, запоминает мелодию, партитуру и аранжировку, а затем звучит в тебя, тобой и окрест тебя…

Язык работает в тебе, порождая речь, текст, песню и плач. И ты — работаешь в языке, порождая в нем и окрест семантику, музыку, смыслы, интонации, концепты, метафоры — образы и жизнь, не чреватую смертью.

Внутри тебя вещество жизни и смерти соединены любовью. Жизнь — умирает, смерть — умрет, но любовь останется…

Тебя слушает Перголези: «Stabat Mater» прикасается к каждой твоей кровинке, кровиночке. И ты плачешь. Тебя успокаивает Гленн Гульд, исполняющий Баха: Бах смотрит на тебя как-то искоса, но с симпатией, почти с улыбкой; Гульд что-то нашептывает, наборматывает, помогая своим пальцам и твоему Баху добраться

до тебя — до всего тебя, уже бессмертного. Бессмертного на эти три часа Loneliness. Три часа чистого неба и ясного чернозема…

В твои допьяные, пьяные и послепьяные годы ты узнаешь своих современников, своих сожизненников и сосмертников: Диму Месяца (Вадима), поэта и прозаика воздушного; Сергея Гандлевского, поэта и филолога наиумнейшего и горчайшего; Катю Перченкову, поэта и художника светлейшего; Леру Манович; поэта и прозаика сладкого, как материнское молоко; Юрия Кублановского, поэта трагического и всесветного; Надежду Кондакову, поэта и филолога от бога, человека добрейшего и редчайшего; Марину Кудимову, поэта и мыслителя мощного, как Бах; Геннадия Русакова; поэта невиданного; Костю Кравцова, поэта и филолога проникновенно-духовного; Сашу Кабанова, поэта умнейшего и двуглавого — одна голова смеется, другая плачет; Борю Кутенкова, поэта и филолога тонкого, нежного и нездешнего; Славу Глазырина, поэта юного, но трагического; Алёшу Кудрякова, поэта Божьей милостью; Костю Комарова, поэта бесшабашного, авангардного и талантливо-витального; Ксюшу Аксёнову, поэта нежного и духовного; Женю Туренко, поэта мандельштамовско-модернистского, а также Борисопоплавского сплава; Катю Симонову, поэта талантливого и уникального; Виталия Кальпиди, поэта мощного и строгого; Славу Дрожащих, поэта и человека светоносного; Юру Беликова, поэта настоящего и филолога серьезного; Женю Касимова, поэта и рассказчика изумительного; Борю Рыжего, поэта от Бога — игрового, трагического, мрачно-улыбчивого; Аркашу Застырца, поэта и филолога, и прозаика, и драматурга тонкого, блестящего и веселого; Сашу Ерёменко (ангела: вы пили водку с ним неделями и месяцами — а он всегда источал запах младенца), поэта самого свободного в России; Алёшу Парщикова, поэта небывалого (а вот с Иваном Ждановым знакомства не вышло — Бог н*е* дал); Володю Блинова, литератора на все руки, умного, остроумного и добряка с хитрецой (он однажды спасет тебя от самоповешания); Володю и Людмилу Бабенко, ученых, профессоров, людей своеобычных, ни на кого не похожих (с Володей ты дружил, а Людмила возглавила кафедру после смерти Веры Васильевны Глазыриной, которую затравили коллеги в течение двух лет, по наущению профессора-вертухая, грохнувшего ни за что, за простак, своего конвоируемого зэка в степи, почти в пустыне — из лени тащить его на стволе карабина еще дюжину

километров, а также из интереса: а КАК это — убить; у Веры Васильевны отобрали кафедру, закрыли общекафедральную тему «Идеографические словари и тезаурусы», — «переворот» готовили долго — выжидали, когда Вера Васильевна останется без прикрытия: Людмила тогда разболелась всерьез и надолго, а ты «отдыхал» заграницей, в Индии); Сашу Калужского, директора рок-групп «Наутилус Помпилиус», «Урфин Джус» и др., — Саша гастролировал с одной из своих групп в США — там и остался, работал в универе где-то в Неваде, стал профессором, преподавал английский язык и англоязычную литературу; и еще многих и многих талантливых пишущих людей…

А еще была поэтическая группа «Интернационал» с гениальным Ромой Тягуновым, выпавшим на рубеже двух тысячелетий из окна пятого этажа; с Юлей Крутеевой, поэтом и женой Жени Айсмана, тоже поэта и уралмашевского орла; с Евсеем-Елисеем-Евгением Озимовым и еще кем-то ярким, но уже все-таки фоновым, контекстным. С Айсманом ты товариществовал. Писал о нем статьи. И Женя тебе помог — дважды: подогнал денег на две твои операции (шунтирование артерий кое-каких, важных, неважных и наиважнейших). Женя Айсман часто делал рассылки стихов, гениальных и ржачных, по своим друзьям-товарищам. В одном из писем (уже появился интернет) завспыхивало стихотворение Тимура Кибирова (событие как стихотворение и стихотворение как событие случилось в 2010 году):

Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведет за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
И конь его мчит стрелой!
А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
А наш-то на ослике цок да цок
Навстречу смерти своей.
А у тех-то Господь — он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
Дарует-вкушает вечный покой
Среди свистопляски мирской!

На страсти-мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенен тишиной,
Осиян пустотой святой.
А наш-то, наш-то — увы, сынок —
А наш-то на ослике цок да цок
Навстречу смерти своей.
А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
Давно под его пятой.
Вкруг трона его веселой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.
Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
Но наш-то на ослике цок да цок
Навстречу смерти своей.
На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдет,
Никуда не спрятаться ей!

Тимур Христианский? Православный? Нет: Тимур Поэтический. Онтологический. От Абсолюта, от Гармонии, от Гравитации Беды никуды не денешься. От Светлой Беды. Нет — Пресветлой.

Люди и художники. Это разные существа: первые не замечают вторых, которые любят первых.

У тебя не было друзей в детстве, в отрочестве (в школе) было два-три человека, которых ты уважал, среди них Света Кускова; были и девушки (Таня, Ольга, еще Таня, еще Ольга и т. п.), была первая, «вечная» любовь Галя: она год за годом вспоминалась (болью, сначала горьковатой, а позднее просто болью, а еще позднее — сладковатой, но не приторной, а неопредленно медовой-малинной-яблочной,— болью, которая помогает переносить любую другую боль); то забывалась; то мерцала в тебе, как лесная утренняя паутина-паутинка, обсыпанная средней водой: не дождем и не росой, а влажным дыханием необъятной уральской тайги; то вдруг заслоняла целый свет бледно-голубой пленкой-перепонкой — дышать невозможно. И на заводе были не друзья, а товарищи-друганы,

и в армии (на флоте и в боевых командировках) друзей не было — были братья, общей кровью, своей и чужой, помазанные. Друзья появились неожиданно, но не сразу и не одномоментно — в универе: Саша Сидельников и Петя Сульженко. С Сашей сошлись душевно почти с первой встречи, еще в Уралниихозе. А с Петей эта мутотень длилась несколько лет: Петька был «балованный», сын прокурора Гагринского района в Абхазии, богатый и красивый (с «оленьими глазами», как говорили женщины), самоуверенный и юный, моложе тебя лет на пять.

Саша и Петя уже ушли, улетели, умерли (рано, ох, рано), но остались — тобой и в тебе. Это была дружба до гроба — в прямом жестоком значении.

Не общение с живыми поэтами-современниками, а постоянное знание: они есть! — и уверенность в том, что они — в тебе, все — живые и мертвые. Это — драгоценнейшая ноша, которая носит тебя, несет и выносит на такую вольную волю, где — все есть музыка, ужас, красота и бессмертие в пределах твоей гибнущей жизни. Ольга Седакова (вслед за Майей Вяземской) показала — сквозь себя и собой — очертания бесконечного вещества поэзии. Вы — разные — Ольга и ты: у Седаковой была Азаровка, была Москва и Питер, и Тарту, и заграница с Италией и Францией, и другими европейскими державами поэзии. А у тебя — Уралмаш, Шатры, Уралмашзавод, Северный флот с тюрьмой и войной, и опять Свердловск Ельцинский, а потом и Ельцинская Россия на целое десятилетие. Ольга дарит тебе Петра Чейгина, и его невероятную поэзию (книга «Пернатый снег»), и все четыре тома ее сочинений. Гениев, как думаешь ты, не существует, а вот гениальные тексты есть — всюду и всегда, то бишь, как говорит Ольга Александровна, нигде и везде, никогда и всегда («На смерть котенка»). Бродский не любил словосочетание «современное искусство». Но: современность (любую сферу ее) не нужно не любить или даже ненавидеть, не уважать, — это бесполезно, т. к. современности просто-напросто нет, как не существует настоящее между грядущим и прошедшим. All you need is Love. Любовь в стихах Седаковой — это приручение вещества любви, скрепы жизни и пустоты, чреватой мраком и светом. Хотя бы свечи.

Ты знаешь, я так тебя люблю,
что если час придет
и поведет меня от тебя,
то он не уведет —
как будто можно забыть огонь?
как будто можно забыть
о том, что счастье хочет быть
и горе хочет не быть?
Ты знаешь, я так люблю тебя,
что от этого не отличу
вздох ветра, шум веток, жизнь дождя,
путь, похожий на свечу,
и что бормочет мрак чужой,
что ум, как спичка, зажгло,
и даже бабочки сухой
несчастный стук в стекло.

Несчастный стук в окно родного мрака. Так жизнь дождя и пустоты создают звуковую оболочку тому, что есть пустота и непустота — как свет и мрак, проживающие в обнимку.

«Половой» период твоего существования (12 лет!) завершен: ты спал 12 лет на полу (вел «половой» образ жизни), на матрасе, то ли итальянском, то ли турецком, то ли китайском (с набивкой розовой внутри) — розового же цвета, как цвет нижнего белья располневших и постаревших продавщиц, надевающих белые халаты прямо на белье. Это молодит покупателя.

— Ваня, ты мне брат, отец, любовник, друг, муж… — говорит Кира, а ты отвечаешь, — И ты мне: мат, атес, систера, жена и лубовница. А еще ты мне лешыдь.

Вы смеетесь. Третья жена? Она смеется. Долго. Через три года она родит тебе сына — Ваню. «Дядю Ваню» (домашнее имя), или Ивана Иваныча, ныне покойного (умерли все — остался один ты; брат исчез: вы не видитесь и не разговариваете с ним годами, десятилетиями)…

Мы заманиваем младенца в эту «жизнь» сюсюканьем, песенками, сказочками, играми-игрушками, интернетом, тряпками, компьютером, попсой: во всем — и в литературе, и в музыке, и в «профессиональных деятельностях». Все (особенно женщины) неожиданно

и разом становятся психологами, коучами (тренерами-учителями-натаскивателями-инструкторами), все худеют — насильно, до анорексии; все это — в тренде, т. е. никому не нужно и бесполезно; все «хочут» разбогатеть — и бегут в «МММ», в «Быстроденьги», в банки — к ростовщикам и надувалам.

Тебе снится многолетнее, почти вечное, нежное животное с ласковым именем Баньян. Дерево баньян стоит на месте и одновременно идет — все — во все стороны: корнями, многими стволами, растущими у ветвей, ветвями, просветами небесными в кронах своих, тяжелых, древних и почти безлиственных. Дерево расходится — от себя — прочь от себя, не теряя себя… Ты просыпаешься: что это? к чему? где это? В Индии, в Индокитае, в Африке? Есть ли в Африке баньяны? И что значит «баньян»? А баньяны и бананы — это родственники? А русская баня (не римские термы), банька, бани? Твое воображение — дерево баньян. Растет — вширь и вверх, и вглубь — постоянно, — и, уходя от себя, от центрального (первого) ствола прочь, тем самым всегда возвращается к себе, не выходя из себя… Дерево — художник.

Появился интернет — исчез Ельцин. Появился ФБ (фейсбук), и через двадцать лет в нем чаще всех мелькают Комаров, Зейферт и Ройзман. Возникает вопрос: а не один ли это человек?

Ельцин играл в волейбол с Альбертом, твоим первым тестем (он пережил Ельцина, т. к. не скакал по танкам и беловежским пущам, а пролежал на деревенском диване пару десятков лет). Не учились — играли в волейбол, бухали. Два тупых, но прагматичных идиота. Играли. Бухали. И время пришло: Ельцин первый секретарь обкома КПСС Свердловской области. Он взорвал Дом Ипатьева (место расстрела Романовых — всех: и царя, и женщин, и детей, и врача, и слуг), потом взорвал пару храмов окрест своей родной деревни Бутка в районе Ирбита и Камышлова. Кириленко (тоже первый был обкомовец до Ельцина) перерезал весь скот в области — и его перевели в Москву. И Ельцина перевели туда же: а как же! — че навзрывал-то! Вот молодец! Настоящий мужик! Мужик, порожденный женой своей. Политик. Ну, Ленин и Троцкий прямо-таки. Сталин, блин! И — Хрущёв. Особенно — реформатор Хрущёв — вот политический папа Ельцина: маши колотушками на волейбольной площадке, в Свердловске, в Москве, в России, на выборах своих отплясывай стыдный танец с тупым хрущёвским выражением лица.

Нет, не выражением — литьем! Это же пляшущий памятник в стиле Миши Шемякина!..

Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.

Вот вся история России. С царями, революционерами, маньяками и дебилами. С мором, голодом всеобщим, с бунтами, с войнами, с казнями. А «мощный человек» — это не Ельцин: Борис мелковат. Этот «мощный» еще явится, восстанет из мощей ублюдков — и добьет выживших…

В России создавали сначала государство пролетарское (официально — sic!) — азиатско-европейское (ты чуть было не сказал «еврейское»), а потом бандитско-банкирское… Все перепуталось (в головах народов), и некому сказать… Лермонтов сказал. Мандельштам сказал… Они все сказали — во все стороны: и ретрохронически, и футурологически — и погибли в настоящем. Если бы их не убили, то все обложки Библии на всей планете покраснели бы. (Обычно библия одевалась в черный, реже в белый, цвет — отельная книга на Западе, и подпольная — в России: ты провозил библию в восьмидесятых через кордон по «зеленой» дипломатической «улице», спасибо честным и умным ребятам, твоим ровесникам из МИДа…)

Американцы создали государство бандитско-банковское, живущее на колониальный дрожжах, как Великобритания (великие британцы — 1000 лет, не менее великие американцы, изначально беглые, ссыльные [как австралийцы тож], криминальные авантюристы — и были съедены деньгами крайне быстро — крошек не осталось; русских, «россиян», деньги доедают, уже доедают — скоро докушают, — и процесс расчеловечивания завершится… О, дайте толпе гульнуть — и она опростается эмоциями, освободит и оставит только поверхностные эмоции — чувства и глубинные метаэмоциональные структуры извянут и погибнут. Коммунизм, социализм, феодализм и капитализм трансформируются в гедонизм: уже 90% жителей планеты или гедонируют, или дохнут с голода).

С голодухи только мы, дикари и рабы, питаемся музыкой и поэзией.

Пока ты не встретил Киру, ты продолжал расширять и углублять свое «умное безумие»: любовь (не только к женщинам, но как некий глобальный образ), болезни (от шунтирования артерий до онкологии: позвоночник хохлы отбили прикладами автоматов и карабинов в дисбате, — до какого-то диабета и проч.), поэзия, лингвистика текста и текстоведение (в сущности — поэзиеведение), долг перед детьми (уже трое от трех жен — последовательно: дочь — сын — сын), прогулки с памятью прошлого и грядущего и т. д. — все это облекалось и буквально точно — пеленалось в одиночество. Одиночество стало шаровым: и внутренним (оно было всегда), и внешним (ты сам его пригласил). Твое одиночество — это такой… такой… такой и эдакий полный и благодатный творческий эгоизм. Стихи думают тебя, а ты их. Вы понимаете друг друга — такое вот умное безумие, сладящее горечь и проливающее мед, холод и жар воображения. Все твои любови (все-все-все) соединились в одно целое — и ты выжил, точнее начал выживать, найдя Киру, нашедшую тебя…

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу…
И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
«О, как все это я любила!»

Сознательная гибель твоя, сознательная боль ее — соединились.

Рокфеллер пережил семь сердец. Одно свое, остальные — чужие, подсаженные. Креативный был покойничек. Креативность (то бишь деньги, прагма, комфорт, развлечение и наслаждение) противопоставились творческому процессу во всех сферах, вытеснила Poieo («творить») и теперь, самозванка, стала «глобальным творчеством». Больно смотреть на креативных господ: Чубайс (Ельцинский комсомолец-капиталист) с восторгом отчитывался по нано-проекту (миллиарды чего-то — рублей, долларов, евро, фунтов): мы-де разработали и произвели покрытие для обуви — вода отскакивает. Ну, от новой нано-ваксы до искусственного интеллекта — один шаг в нано-ботиночке. Смешно. Грустно. Печально. Закономерно: цивилизация пошла полным ходом в своем развитии по поверхностям бытия — по любым поверхностям, — от утюгов и ракет (любых) до упаковок всего на свете. Леша Парщиков создал поэму «Нефть»: чем я себя породил — тем и убью.

Ты никогда не прикуриваешь третьим с одного огонька — антиснайперская привычка: первая вспышка — ОН заметил тебя (вас), противника; вторая — поймал оптикой (ПНВ в том числе, если долго курится ночью); третья — выстрел: в лоб, он освещается горящей спичкой или зажигалкой лучше, краше и выпуклее всего остального, из чего состоит цель.

Ты много работаешь. Ты «пашешь». Ты не трудоголик (дебил несамодостаточный), ты — придурок, который хочет помочь всем и который хочет оставаться собой. Ты тоскуешь по рыбалке: не по рыбе, не по «добыче», а по воздуху над водой, земле под водой, лесу вдоль воды и по самой воде, мыслящей, знающей тебя и, может быть, даже любящей тебя… Работа — халтуры — ночное писание книг (первая монография написалась сама — за три месяца, а одиннадцатая еще и тебя «переписала», сделала тебя одиноким в т. н. науке, в филологии, где… Нет, помолчишь, не расколешься. Стихи думают тебя, и ты им не мешаешь. Ты абсолютно некреативный чувак, чувачок. Ты нищий. Первый развод чуть было не лишил тебя крыши над головой: Лоболидовы, Логопедовы или, как их там, решили сдернуть с тебя квартиру, но новый жених твоей бывшей жены, англичанин, ювелир, человек умный, добрый, щедрый и небедный, вдруг вмешался в процесс изъятия тебя из хаты твоей трехкомнатной в Центре (которую ты потом оставишь второй жене и сыну — и уедешь жить

в Каменку, в дом, который построил сам): Джон (жених твоей жены, которую ты ощущал еще лет десять СВОЕЙ женой, живя — уже живя! — со второй женой), Джон Голдинг все решил за всех: мол, нельзя выгонять поэта на улицу; пусть, мол, живет себе в этой квартирке (у нас, Джули, в Лондоне есть особняк и много чего еще), живет и пишет свои стишки. И стишки писали тебя, доцентишку, препа, литератора, лауреата каких-то там премий, — стишки защищали тебя от публичной агрессии цивилизации, начинавшей Четвертую Техническую РРРеволицию… Ты уходил в себя все глубже и глубже.

Глубина — это высота, еще не рожденная. Высота умирает глубиной — и возрождается вновь. Воскресает…

Журнал «Урал», провинциальное периодическое издание, работавшее полвека на обком КПСС и Союз писателей СССР. В девяностые журнал начал хиреть и умирать. Смерть его, еще не наступившая, подпитывалась финансовыми обмороками, сивым бредом литераторов советского толка и речи и прекрасным-ужасным бредом новолепетным, антиэстетическим нон-этическим постмодернистским подпольем, рвавшимся в масскультуру, к новоявленным изданиям и издательствам (коих было в те времена сотни на серый от счастья Екатеринбург, — Свердловск, поменявший не только идеологию названия, но и пол-секс-гендер мотивирующего, производящего наименования, топонима: советский топонимический окказионализм (Свердловск) насильно был заменен архаизмом, историзмом со всеми признаками некронима (Екатеринбург), — тройственная производящая основа раскачивала изодранный гамак городского сознания, цепляя амплитудно и регулярно то уральский камешек (распрекрасный), то городскую травку, то баночку консервную, изувеченную ножом, то пустую бутылку из-под водки. Екатерина, КТО ты? — Святая, Царица Великая или женушка великого мечтателя и безумного, юродивого Петра?..

Журнал «Урал» возглавляли в основном литераторы — члены СП, утвержденные Обкомом партии, единственной и неповторимой. И вдруг — пошли новые главреды (глав-ред-вред и т. п.): неписатель-критик, потом завхоз популярного колхозного изданьица, почившего в Бозе занозой надоедливой; драматург; драматург и, наконец, драматург. Благодаря известности талантливого и предприимчивого Коляды (Николая, Коли — его любили все), журнал был спасен!

Но: однажды вынесенный на обложку призыв заздравный «Ура, Урал!» отрывал к такой-то матери финаль лексемы, называющей опорный нищий край Державы, и вышло так: журнал «Ура». Без восклицательного знака.

Жизнь, смерть и любовь: жизнь невечна, а вот смерть и любовь, простите за плеоназм словообразовательный, бессмертны. Жизнь исчезает — смерть и любовь остаются. Но! — кого же они тогда умирают и любят — вечно, всегда, везде и нигде?..

Нет, естественно, букву финальную восстановили, но горожане до сих пор прикрывают уши от бессмертного эха, исходящего прежде всего от эха графического «ура!» и от тишины аудиальной, воцарившейся всюду после появления компьютеров и — начала новой эры уничтожения знания (ЗНАНИЯ, ибо информация — это знание минус опыт) — эры Интернета.

Однажды журналом (недолго) руководил человек, «убивший царя» (он сам в этом признался в одной из своих пьес), но недолго, его побаивались: вишь, убивец-то каков — почти что самый главный!

Убивец, однако, сей был заменен на Олега Б., тоже драматурга, но очень талантливого, создавшего пьесу, драму и трагедию «Домашняя почта, Или письма себе». Ты провел с Олегом (пригласившим тебя возглавить отдел поэзии) много лет в беседах — умных, смешных, горьких, сладостных, загадочных и зело эвристичных.

В общежитии Литинститута пили водку с Игорем Меламедом, читали свои стихи и о Тарковском не вспоминали. Евсей спал на солдатско-студенческой койке без матраца, прямо на ромбической стальной сетке. Петя где-то гулял и хвалил (по ночам) поэтесс, которые еще не мечтали быть ПОЭТКАМИ…

Ты не спишь семь недель. Пьешь ли — не пьешь, — а все равно не спишь. В твоей разросшейся до размеров комнаты, многоквартирного дома, окоема, и неба голове, нет — в башке повторяется — то в себя, то в мир — фраза: «Пишу к Вам по воле покойного — меня — из-за смерти, из-за времени и пространства, из пустоты…» Крутишь в башке то ли общим фоном, то ли лидерной партией бреда: «Since I've Been Loving You…» — и стоишь, колеблешь пятью ногами своим и пятью руками (у тебя пять плюс пять конечностей!), замираешь и раскачиваешься на пяти островах — Since (1), I (2), have been (3), Loving (4), You (5). Since — это время-остров; I — это инструмент перемены времени на вечность, have been — наличие

всего всюду (и тебя, умноженного на пять); Loving — жизнь (без жизни), смерть (с бессмертием); любовь (ее глобальный образ); You — мир (твой — из пустоты и тебя, и Любви)… Мы все (те, кто думают музыку и стихи) живем на пяти, на семи, на девяти островах: онтологических, музыкально-поэтических, бытовых, социальных, эмоциональных (весьма поверхностных; скорлупковых и ненадежных), энергийных (звуки мысли и словесности, языка, ритма и музыки, невыразимых и неопознанных да и непознаваемых), гармонийных (гармония), пловучих (случайных — радостных, светлых, благостных и гибельных, светлогибельных и печальных), пустяковых (архипелагах) и проч. И мы — (!) — устойчивы. Падаешь — сразу взлетаешь, как трясогузка с удилища, как стрекоза с плеча, как паучок с локотка рябины: взлетаешь и возвращаешься на место свое. Возвращение — есть бессмертие (в рамках твоего существования), вечность (и она случается с нами), воскрешение (или «усилье воскрешенья», по Борису Леонидовичу П…) Кто все-таки упал, рухнул, низвергнулся — того и нет. Кто устоял, остался — в полете, в паденье, во взлете, в движении (внутреннем, естественно), — тот выбирает Главный Остров — ОО — Остров Онтологии, или ОН — Остров Невыразимого…

Чушь собачья… Да?.. Не думаю так. Это ОО и ОН думают меня ТАК…

Это последний гранд-запой. Ты стоишь, дрожа, под горячим душем. Пытаешься чистить зубы — жрешь пасту… Одеваешься, как осеннее дерево, тополь или дуб, что ли, пытаясь вернуть себе свою погибшую листву. Оделся. Ты весь мокрый. Выходишь на улицу. Пытаешься идти. Идешь мелко подрагивая и подпрыгивая (чуть-чуть), как умирающий кузнечик. Медленно-медленно доходишь до первого киоска (где есть все: и «шапка-гандонка, 1500 руб», и еда, отвратительная, и водка-водка-водка в стекляшках, в жестяных и на разлив), покупаешь и, отступив (отпрыгнув) за киоск, выпиваешь 0,5 водки из жестяной банки. Садишься на деревянный тарный ящик. Закуриваешь. Прислушиваешься к ураганчику холодного жара алкоголя, который направлен вниз — к желудку, к сердцу, к печени, к мочевому пузырю… Славно. Дурно. Сдохнуть бы прям щас. Здесь… Встаешь. Ты боишься трамваев, светофоров, людей, пустырей, кустов, снегопада. Но — идешь в универ. Лекцию читать. Лексикология. Парадигматические и синтагматические отношения

лексических единиц… Писатель Максим Гордый сказал: «Человек — это звучит горько!..» И — больно. Ты бредешь к Яшке Свердлову, стоящему промеж Универа и Оперного театра и бормочешь невыносимо невесело стишки: Веневитинов Дмитрий, Аркаша Застырец…

Сначала жизнь пленяет нас:
В ней все тепло, все сердце греет
И, как заманчивый рассказ,
Наш ум причудливый лелеет.
Кой-что страшит издалека, —
Но в этом страхе наслажденье:
Он веселит воображенье,
Как о волшебном приключенье
Ночная повесть старика.
Но кончится обман игривой!
Мы привыкаем к чудесам.
Потом — на все глядим лениво,
Потом — и жизнь постыла нам:
Ее загадка и развязка
Уже длинна, стара, скучна,
Как пересказанная сказка
Усталому пред часом сна.

Не-е-ет! Не так. Не так скучно. Было куда как смертельнее и интереснее — не оторвешься от себя, почти убитого… Нет. Лучше «Нафталин» Застырцевский:

Табарен говорил: «Нафталин — это шар;
в глубине сундука ядовит он и светел».
Со слезами во рту Франсуа возражал:
«Нафталин — это Бог, нафталин — это ветер!»

Не полуночный шаг и беспечный ночлег,
Не настой водяной на серебряных ложках,
Не больной, не апрельский, не сумрачный снег
За булыжной стеной на садовых дорожках.

Табарен говорил: «Нафталин — это смерть;
погостил и пропал, и никто не заметил»
Франсуа закричал Табарену: «Не сметь!
Нафталин — это Бог, нафталин — это ветер!»

Не стеклянный озноб и размеренный бред,
Не передника в красный горошек тряпица,
Не удара, не крови, не судорог след,
Что в песке оставляет подбитая птица.

Табарен говорил: «Нафталин — это ложь;
он глаза затуманит и голову вскружит».
Франсуа прошептал: «Ты меня не поймешь,
Ты меня не осилишь, тем хуже, тем хуже…»

Не железный венок и означенный звук,
Не горланящий, ночи не помнящий петел,
Не жестокий, не твой, не отрекшийся друг.
Нафталин — это Бог, нафталин — это ветер!

Да. Стеклянный озноб. Ты весь — стеклянный. Уже разбитый, но еще не рассыпавшийся… Фёдор Иваныч… Помоги!..

О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо-пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..
Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени, —
И страшно-грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

И пошел ты, стеклянный и разбитый, но еще не распавшийся окончательно, навстречу присущей милой тени…

———

На кафедре ты молчалив. Пока никого из коллег нет — есть только лаборантка Валентина Ивановна, ровесница твоя. Она заваривает чай (кофе еще в России не появился, есть только омерзительные суррогаты), достает бутылку сухого вина. Но! Спасибо! Понижать градус нельзя — с водки на вино — говно… Ты выдвигаешь ящик своего стола (стол твой стоит не на виду — за шкафчиком со словарями), наливаешь рюмку водки — из жестянки 0,25 литра, опрокидываешь рюмашку (о, сколько уже? — 3333 стакана? 5555 стаканов? Или 7777 огромных стопарей от 150 до 250 граммов?) После долбанной лекции (о, это святое — лекции, работа, работы, халтуры, «пеньки-репетиторства», то-се, бляха-муха) ты бредешь в бар «Иваныч», в прошлом это парикмахерская, рикмахерская, махерская, ну, и т. д. Сидишь в углу бара (5*5 метров), пьешь свое пойло и слушаешь по заказу (барменша тебя знает и, кажется, уважает) своему Chrisia Rea «Nothing to fear» и «And You my Love», по очереди (так записали специально для тебя), «Fear» — «Love» — «Fear» — «Love» — etc. Куришь свои «Winston» и мысленно танцуешь с НЕЙ. С кем? С Кем? С КЕМ? Ты уже давно умер и по просьбе себя — покойного, преставившегося, — из-за смерти, из-за колючей проволоки, из пустоты — плачешь. Постоянно, ровно, спокойно плачешь — без взрыдов и почти без слез — в себя и из себя — 50 на 50. Тебя уже два. Тебя — двое. А жизнь — одна. И смерть — Одна. И любовь — одна. Где она? Как пел морпех Сакен Абылхапов «Кыдэ, кыдэ, кыдэ АНА?!..» (Видишь Москву, Литинститут: Меламед, Игорь, читает свои стихи: он уже тогда, или еще тогда, мандельштамил, но не тарковничал; Тарковский появится в Меламеде чуть позже.) В общем, тупосюжетный лирический боевик (когда уже он поостреет?).

Потом ты просишь пустить по кругу песеночку Yello «You better hide from me». (Ох, как же ты наму.охался, уе.ошился с самим собой: «иди уже куда-нибудь», — это Гандлевский.) Ах, какая нежная, пунктирная здесь труба, и клавишные ништяк… Мимо тебя, сквозь стены, проходит поэт Андрей Коровин — улыбается тебе; поэт Гена Каневский — грозит пальцем: он в капитанке; Гера Власов, поэт и женолюб, кланяется тебя. Господи, да они же из будущего! — из десятых годов XXI века! А щас — девяностые! В бар заходит дама с дитем. Пьяна. Ты подаешь ей купюру (крупную) и думаешь: то ли

материнство, то ли матерсвинство. Сия мамаша норовит припасть к твоему крохотному столику. Ты всматриваешься в ее лицо — Кира! Но! Кира — из 2017 года! В 2021 году (тебе будет 66 лет!) родится сын Ваня, Иван Иваныч, как твои дед, прадед, прапрадед и осталые пра-пра. И тут тебе, в один из дней 2021 года покажет стихи свои Иван Клочков из Архангельска, где были расстреляны два Ивана Иваныча (прадед и прапрадед), генерал и епископ, а твой дед Иван Иваныч приедет в Архангельск — и рванет обратно: бо расстреляют и его за кумпанию!.. Зачем приезжал? А за стихами Вани Клочкова приезжал, которые напишутся через 100 лет и лягут на твой редакторский, преподавательский и, так сказать, «научный» стол. Вот они, эти стишкистихисловамузыкамысльитд:

Почувствуешь, как воздух невесом,
когда меня не станет, постепенно
две музыки сыграют в унисон,
два времени пройдут одновременно,
а после — только снег и тишина,
иллюзия трехмерного пространства,
я буду не с тобой, а выше на
две музыки, два времени, два царства,
и ты, еще земная, затая
дыхание, услышишь, как смиренно
две музыки сливаются, а я
два времени иду одновременно.

Сын Ванечка будет похож на деда и на тебя. И твоя одинокость удвоится, утроится, умножится на сотни жизней твоих предков, твоих женщин, твоих детей, Киры, Ванечки и последней твоей собаки — аляскинского маламута и баламута — Нордиса.

Вокруг тебя (и далее) начала образовываться пустота. Но это была не пустота социальная, которая существовала всегда с теми и окрест тех, кто думает музыку и стихи, но пустота твоя, личностная и личная, персональная: ты тихо гибнешь от себя, мучающего себя, от водки, от женщин, от жен (поочередно: первая просто ушла [но как-то долго уходила и молча], второй было на тебя, уж точно, если не наплевать, то обливать равнодушным взором, упаковывать тебя в фольгу абсолютного спокойствия — с подрыгивающими

веками, когда ты исчезал на неделю-две-три, когда ты не мог достать — срочно — денег, когда ты писал день и ночь напролет неделями, когда ты, осовев и освинев от себя, выходил из своего кабинетика, уже седеющий, с красными узкими глазами, с отечным лицом, с вяло дрожащими руками). Пустотой был ты. Ты — сам себе — пустота. И вот в этой серо-голубой, табачной пустоте вдруг образовался Олег. Учащийся лицея при универе, юный стихотворец, с которым вы почти сразу (с третьего взгляда) подружились. Олег Дозморов был еще не Дозморов двадцать первого века, он был еще До-дозморов, преддозморов, чертовски начитанный, рассудительный, но умный, похожий на Дельвига с нутром Боратынского.

Зимой зимы немного
Пока не снегопад
Лишь стужа и тревога
Приходит наугад

Зимой зимы избыток
И близится предел
Когда дорожный свиток
Стирается в пробел

И в небесах невнятно
И кажется порой
Что снег идет обратно
Не принятый землей…

Ты был как раз этим снегом: вы дружили годы, пока не появился Боря. Боря Рыжий. Олег сблизился с Борисом так, что бритвочку между ними не просунешь. Не то что — тебя, девяностокилограммового. Тебе не было обидно такое охлаждение: молодость — штука вольная и безбольная. Молодые бросаются в каждую новую воду легко и безоглядно, им кажется, что это — кипяток, а на самом деле — это вода ледяная, которая убивает и скоро-быстро старит пловца.

Они, до появления Рыжего Б. Б., ежедневно бродили по городу, обходя ВСЕ книжные магазины. Олег был нищ и гол, как пленный монгол Тимурджин (в будущем великий хан Чингиз), поэтому ты

покупал книжки в двух экземплярах и шутил: вот, мол, стану старый — купишь мне буханку хлеба, да? — Олег смеялся, но, делая умно-растерянное по-Дельвиговски выражение лица, всегда отвечал почти серьезно: без базара, Ваня — с голоду не помрем. Вы с Олегом придумали в универе НЛО (новое литературное объединение) и привели туда, «в гости», Бориса Рыжего, Лену Тиновскую и других (о, знать бы наперед: после гибели Бори все разъедутся, вы с Олегом рассоритесь из-за фигни и разойдетесь по разным городам — Олег уедет в Москву, а потом в UK, Уэльс, Англия, Лондон; жена Олега, инъязовка, Марина увезет его из разваливавшейся страны…)

Родная речь, отойди от меня,
поди прочь, не приближайся ко мне,
я боюсь сейчас твоего огня,
между тем сгораю в твоем огне.

Так покойник садится, почти встает
в крематорской печке, зовет рукой,
открывает рот и почти поет.
Что со мной, что со мной, что со мной?

После этого стихотворения Олега (и — приезда его в Россию, в Екб) они помирились. Олег был иной. И ты стал другим: он успокоился после Рыжей Истории, а ты получил дважды друга.

После смерти Бориса часть знавших его — уехала, другая часть верещала, рыдая и скорбя, остальные — молчали и пытались не нарушить в себе равновесие жизни и смерти.

Поэтический дар (талант) чаще всего остального преобразуется в стихотворную горячку, из которой есть два-три, реже четыре, выхода (а может быть, и пять-семь?): ты находишься под давлением желания известности, славы, похвалы, наконец, сочувствия — и начинается веселое и одновременно печальное твое мучение, твоя жажда быть таким, каким тебя любят и обласкивают, или не быть типичным литератором, удобным для данного времени и места, для людей, которых ты считаешь ЧИТАТЕЛЕМ. Есть и смешанные, неоднородные пути-судьбы. Нравиться читателю — это особый вид сервилизма, или обслуживания покупателя стихов, журналов, книг — и СЕБЯ: в этом случае тобой в конце концов овладевают

деньги, слава (пусть короткая — хоть на пяток минут, но! — слава), ты обретаешь социальный статус поэта как раз в тот момент, когда перестаешь быть им. Борис Петрович Рыжий, после гибели сына, вместе с Маргаритой Михайловной, матерью Бори, поэта, — зовут тебя в свой дом почти ежедневно. И ты соглашаешься (средь рыданий и горя общего) написать биографию самоповешенного поэта. Олег был в таком глубоко обморочном состоянии, что смотреть на него было больно: однако вы с Олегом и Б. Л. разбираете архив Бориса Р. и как-то работаете с ним. Тяжко работаете. 1200 стихотворений. В неполные 27 лет. Как сказала одна редакторша в Москве: «Лермонтов! Боря очень похож на Лермонтова!..» Б. П. и М. М., родители, казалось, растворяются в воздухе — в воздухе слез, воспоминаний и ужаса. Б. П. как-то сказал Боре (при Олеге): главное не то, что ты делаешь, а то, что скажут об этом люди… Олег уедет. Ты напишешь книгу и разлюбишь себя окончательно: слабак ты, Ваня, слабак…

И, как сказал однажды Олег,
Давай пропустим этот век
Ты видишь он идет как снег
Неотвратим по головам
По судьбам городам словам

Мы лучше будем жить в другом
Спокойном светлом и большом
В котором вечер длится год
В котором вечно снег идет

Век пропустили. Двадцать первый оказался ночью, в которой часто, как снегопад, светились экраны, мониторы и мониторчики телефонов, телевизоров, компьютеров, смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочей американо-китайской-китайской-китайской чепухи.

Вглядишься в тьму ночную
Во тьме белым-бело
И снегопад вслепую
Шарахнется в стекло

Когда снежок несмелый
К утру сойдет на нет
Увидишь город белый
И вправду белый свет

Видать еще немного
И явят небеса
Всевидящего Бога
Кромешные глаза…

А ты все смотришь в подзорную деревянную трубу гобоя Алессандро Марчелло. Что там, Саша? — Снег…

Ты умер. Не «как бы» умер — а умер всерьез и навсегда: твоя оболочка мертва — она ходит на работу, в универ, в журнал, на телевидение (где ты халтуришь телеведущим развлекательной раннеутренней программы), в союз писателей (где ты руководишь союзом и Домом писателя, который родился от Володи Блинова и тебя, а теперь вот вдруг заработал), ты мотаешься по областным министрам, пишешь по десять писем в официальные (читай — чиновничьи) адреса, ты пишешь мэру Екб о том, что писатели уйдут из этого города — вот и балдейте здесь от души, казнокрады, бизнесмены и бандиты. Ох, нулевые годы двадцать первого столетия! Ты умер. И делаешь все это, будучи мертвецом. И не ты, а ты иной, внутренний, пишет по воле тебя, покойного, — тебе, думающему стихи — из-за тьмы, пустоты, из-за смерти, из-за колючей проволоки, из-за жизни иной, которой ты живешь с трехлетнего возраста своего. О, Тютчев! Дедушкин Тютчев. Наш Тютчев — Орловский, Черминский… Нам не дано.., да и не нужно предугадывать: слово говорится: сначала где-то летает, потом думается, затем произносится — и не умирает. И не нужно тебе сочувствие, потому что ты уже — в Благодати…

* * *

Саша Сидельников умер в 2002 году. Петя Сульженко, после ввода грузинских войск в Абхазию, пытался как-то зацепиться за отчий каменный дом в два этажа, за виноградник, за море чёрное, за бамбуки, росшие на задах дома вдоль ручья, впадавшего в речку Псоу,

по ней проходила граница России и Абхазии. Не получилось. Петю дважды расстреливали грузины, ткнув его лицом в кирпично-железный гараж с мансардой наверху. Стреляли боевыми, но выше. И от этого легче не стало — ни Пете, ни грузинам. У Пети был калаш с тремя снаряженными рожками — решил продать (и вообще собрать как можно больше денег — в баксах) и уходить в Россию. Он пришел на грузинский блок-пост (автомат завернул в тряпицу), поспрошал (по-грузински), кому, мол, калашок нужон?.. Один небритый и тщедушный отозвался. Петя отошел с ним за деревья, ближе к морю, почти на пляж-полуостровок, образовавшийся в том месте, где Псоу впадала в море. Грузин попросил: продэмонстрируй, дорогой, да? Петя распеленал автомат и дал короткую очередь в сторону пустой серой морской воды. На блок-посту в пять глоток заголосили-завизжали: «Чечена би! Чечена би! Чечена би!..» Грузины боялись чеченцев, которые прибыли сюда (в горы) поддержать братьев — мусульман-абхазов. Сорок грузинских героев разбежались вмиг. Пусто. Тихо. Просторно. Никого. Автомат купился… Ночью Петя с женой и двумя сынишками перешел вброд Псоу и оказался в России. Утром семья Пети улетела из Адлера в Киров, в Вятку, к духу Салтыкова-Щедрина.

Петя сломался в России через два года: он запил. Честно говоря, он пил всегда, но! — пил все, что дарит пьяницам виноград: вино (*ви*на), чачу, коньяк. В Вятке Петя перешел на водку. Подсел. И — пропал… Ты вызвал его к себе в Яковомихайловичсвердловск. Ты уже не пил года два-три. Петя поселился в большой центральной комнате с выходом на большую длинную лоджию. Здесь были только книги (три стеллажа огромных), диван, стол, пара стульев и на полке под потолком попугай Васька в клетке. Петя, бросивший все и отказавшийся от всего, жил по-хлебниковски свободно-вольно, ел что дают, читал что хотел, изредка писал свои небольшие и горько-смешные рассказики. Пить водку ты ему не позволял. Да и сам Петя, рассмотрев тебя, пишущего что-то как в запарке, бегающего на лекции в универ, и опять пишущего днем и ночью (книжку о Рыжем Боре, монографию «Последнее стихотворение» и др.), однажды сказал тебе за кофе-чаем и сигаретой:

— Да, теперь я вижу, как пишут настоящие писатели…

— Графоманы тож.

— Эт-точно, — они рассмеялись.

Петя после разрыва с женой в Вятке погрузился в уныние, но теперь, выпив-допив сие уныние окрест себя, вдруг прозрел: сколько лет коту под хвост!.. Кот Григорий не обиделся и, вытащив из-под дивана заначку (куриную косточку), положил ее к Петиным ногам…

Ты читаешь Пете хлебниковское:

Мне, бабочке, залетевшей
В комнату человеческой жизни,
Оставить почерк моей пыли
По суровым окнам,
На стеклах рока.
Так серы и скучны обои из мертвых растений
Человеческой жизни; пылью своей
Быть живописцем себя
На стеклах рока, большеокого рока.
Вдруг увидать открытую дверцу
В другой мир, где пение птиц и синий сквозняк,
Где мило все, даже смерть
В зубах стрекозы.
О, улетевшая прочь пыль
И навсегда полинявшие крылья!
Окон прозрачное «нет»,
За ними шелест и пляска
Бабочек любви стучится.
Пляшет любовь бабочек высоко в ветре.
Я уже стер свое синее зарево и точек узоры
Вдоль края крыла.
Скучны и жестоки мои крылья,
Пыльца снята. Навсегда.
Бьюсь устало в окно человека.
Ветка цветущих чисел
Бьется через окно
Чужого жилища.

Петя заплакал. Он плачет с «комнаты человеческой жизни» — в комнате человеческой жизни… И ты заплакал: «пылью своей быть живописцем себя…» О, бьюсь устало в окно красоты…

Русь, ты вся поцелуй на морозе!
Синеют ночные дорози.
Синею молнией слиты уста,
Синеют вместе тот и та.
Ночами молния взлетает
Порой из ласки пары уст.
И шубы вдруг проворно
Обегает, синея, молния без чувств.
А ночь блестит умно и черно.

За окном человеческой жизни — лето. За летом — Русь. За Русью — зима. В зиме — мороз. Мороз — поцелуй. И Русь — поцелуй. И поцелуй — поцелуй… Петя, поцелуй свой поцелуй… Петя умрет через три года. Во сне. Сердце не выдержит такого долгого и тяжкого поцелуя жизни в комнате человеческой смерти…

* * *

Сон — это иная вода. Сон — это призрак воды. Это вода воды. Память влаги и ее осязание образуют в твоем сознании картину иного мира — многоводного и многовлажного: H_2O, морская вода, озерная, речная, океанская, пот и слезы (горько-соленые), моча, жгучая и золотая, когда не пьешь два-три дня и слизываешь росу пустыни и росу твою-тебя, когда выпиваешь в день три крышечки фляжки (15–20 граммов, о, нет: миллилитров!) теплой, как кровь, водички, мутной, липковатой и языкастой: кажется, что вода ТАКАЯ лижет твое небо и глотку дюжиной языков жажды-смерти-жизни-надежды и обморока, который наполнен видениями. Страх Божий — плыть в большой воде и касаться чего-то ступнями, а того хуже — ластами (боевыми): водоросли? кит? акула? большая рыба? Призрак твоей болезни, твоего сна, твоей усталости, твоего отчаянья?!.

О вещая душа моя
О сердце полное тревоги
О как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия…

Нет, тройного, множественного: тебя — много, и ты плывешь толпой, заплывая то в жизнь, то жизнь иную, то в смерть (мирную твою) естественную, то в гибель — под огонь пулемета или в раскусывание, в разрывание тебя тупоносыми тварями, с зубами в пастях, расположенными полукругом в них, как в театре, в цирке, в Летнем саду на эстрадочке, в римской аудитории МГУ и в других старинных университетах, глотающих студентуру там и сям.

Ты заплываешь, нет, ты УЖЕ заплыл в смерть. В свою? В чужую? В чью?..

Люблю сей божий гнев! Люблю сие незримо
Во всем разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима!
Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз… и это все есть Смерть!..

Жердь, круговерть и твердь — всего этого иная вода лишена: в ней нет опоры… Ты тянешь воды на себя, как пуховое прозрачное одеяло. Одеяло из птиц! Птичье одеяло прикрывает эту водную среду, эту иную жизнь (и смерть) до тех пор, пока ты не осознаешь, что ты — в языке. Не в знаках его (звуках, морфемах, словах и предложениях), а в семантике, в смыслах, — в бесконечном (во все стороны) пространстве текста, который тебя может и не заметить: твоего барахтанья, твоего отчаянья и твоей безнадежной надежды стать этой средой, этой тканью иной воды, которая порождает миры — разные, чуждые и родные, страшные и прекрасные, ужасные и милые, как улыбка младенца. Лицо воды бесстрастно. И ты смело вспарываешь его, кромсая свое лицо на плавные и плавучие многоугольники (с окружностями и отсеченными частями, полосками и крохотными рюмочками пузырьков, пузырей и пузырищ твоего последнего воздуха, исторгнутого из легких, как беззвучный крик или насыщенная духом, вдохом и последним выдохом песнь).

Талант не зеркало, но в нем отражается самое незаметное, которое может стать (и не стать) главным. Талант отражает, отталки-

вает от себя и выталкивает из себя не все и не всех: все и все или не замечают это прозрачное (подбитое, надтреснутое, со стрелами трещин по углам, которых нет), или входят в него и проходят его насквозь. Навылет. Ты обсыпан и усыпан иной водой. Теперь ты сам — эта странная жидкость, влага, плотная и податливая, как песок. Ты понимаешь, нет — чувствуешь, что застрял в себе, как время во времени. Время во времени — это дерьмо в дерьме: «эпоха» Сталина-папашки и «эпошка» Брежнева-«вегетарианца» застряли друг во друге, влипли; при Сталине тебя бы расстреляли сразу — без допросов и уламываний (слишком ты не такой, как они, новоделы-новоязы-новохамы); при Брежневе тебя не трогали — пиши, пиши, писатель, — и ты влип, но не в кровь, а в строительную смолу, черную, жирную, толстую, как жопа бегемота, издохшего, но сопящего: «Прошу считать меня живым и главным… Мы наш новый там — того/сего — построим, нет, расстроим — до основанья… Каждый твой шаг по этой смоле, мягкой, уже твердеющей, — забирал столько сил, сколько смерть потратила их на Ивана Ильича.

* * *

— А «Идиот» Достоевского?

— Плохо. Грязно. Д. — похабник. Бродский сказанул как-то, что главный герой во всех его романах — деньги. Деньги — это идеология текста. А Набоков Владимир Владимирович обмолвился, что Д. был болен журнализмом. Думаю, нынче он был бы самым крутым блогером…

— А я бы сказал, что Д. был просто болен. А?

— Это не болезнь. Это монетарная идеология текста. Сегодня все ее ищут и ждут. Вот п.здунов, наш уральский, нашел ея в краеведении. В Наркисовиче, в другом Фёдоре Михалыче, писавшем так, как бьют в жестяное решето, в Кровопивине комсомольском и даже в Бажове, который тоже идеологизировал сказы великоотечественновоенные; даже — вы только задумайтесь и представьте себе — в Бороде Бажова! — которую хранят в стеклянной банке: сначала в однолитровой — но: она выросла! В банке! В однолитровой! — Потом в трехлитровой: опять выросла и поперла прочь в сторону Полевского-городка и Москвы-столицы; бороду пересадили в пятилитровую банку-баллон — там она и упокоилась: и расти

перестала, и блестеть прекратила волосками своими не простыми, а с вывихом, как те, растущие на срамном месте.

— Но краеведение… Это же все о нас…

— Ну да. Полезное занятие. Горнозаводской Урал. Без крепостных. Но рабство заводское… Куды его денешь, а? Папашка восстановил этот горнозэковскозаводской порядок. Рабство. Рабство во имя рабства. Братства, равенства (особенно — рабское равенство) и свободы. Свободы мучаться и жрать водку. Демидовы нанесли ужасный, непоправимый вред Уралу (Среднему): исчезли реки, леса, горы были срыты ради руды — смотреть страшно на эти нижние тагилы и лесные могилы.

— Вы преувеличиваете.

— А вот прокатитесь хотя бы в Тагил — сами увидите… (Блин, с кем это ты тут беседуешь? — Ты же помер…)

— Да, и еще, это уже о поэзии: великий вред русской ПОЭЗИИ нанесли такие любимые советской властью поэты, как Некрасов и Маяковский; поэзию опустили до идеологического слабо-литературного текста, до прокламации, до листовки хамской, до писульки большевистской, а?

— Не знаю. Нужно подумать. Спорно это… И как-то тяжело…

— И еще: в наши годы — Кузьмин, Митя. Не Кузмин Михаил, а именно Митя. Социализация по гендерным типологиям изящной словесности.

— Что ж, нынче появилась собственно неизящное стихотворчество с матом, с адюльтером и прочей скабрезностью, которую называют СВОБОДОЙ…

В иных водах ты не думаешь и не чувствуешь — все окрест тебя, вся иная вода, иная среда думает и чувствует за тебя, а ты… Ты — проводник этих чудовищно огромных, высоких и глубоких ощущений. Ты спокоен. Ты уже не здесь, ты там. Это «там» стало «здесь», а «здесь» переместилось в «там». Итак, ты здесь-там-здесь существуешь, точнее — веществуешь: ты вещество мысли, чувства и ощущений всего на светах всех. Это как в языке есть огромное количество форм проявления и работы чего-то одного: единица языка — одна. Одна-одинешенька. Единственная. Эта единица — мысль? Нет — смысл. Смысл — единица языка, которая, являясь думаемой и ощущаемой, думает сама и выбирает сама то, что веществует поближе к главному. Фонемы, звуки, морфемы, морфы, лексемы, словоформы,

семантика, синтаксис, строфа и собственно текст — вот формы смысла. И смыслов. Их немного. Их — один-единственный смысл: множество и единственность бытия. Смысл выбирает не только бытие, но и тебя! Ты, избранный смыслом, становишься частью осмысленного, бессмысленного и смыслом, блуждающим в себе. Смысл живет в себе, ты живешь сразу и в себе, и в смысле…

Ревет ли зверь в лесу глухом
Трубит ли рог гремит ли гром
Поет ли дева за холмом
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг…

И ты кричишь в иной воде — воде иной, уже твоей — своей воде: «Эпистофани!» Так кричат американцы, вжавшиеся в люльки «русских горок» (американских, естественно). Эпистофани! Эпистофани! Странное словцо. Крепкий клич. Он появился в одном из американских городков в «Диснейленде» в те времена, когда там работал утправляющим русский мужик. Он, рассадив всех по капсулам и проверив крепления, всегда, в течение многих лет, — кричал «Поп.здовали!» И любители сих горок хором повторяли волшебное заклинание — Эпистофани! Эпистофани!

«Эпистофани!» — командуешь ты себе,— «Эпистофани!» — И эпистофанничаешь в божественных хронотопах. Эпистофанничаешь до изнеможения вечностью, которая все-таки есть.

Судьба. Рок. Карма. Карма… Карман… Карманник… Ты — в кармане. КТО — КАРМАННИК? Ты — и карман, и карманник, щипач, щиплющий, выщипывающий тебя из кармана, как выщипывают брови некие дамы, вопящие перед жизнью свои эпистофани… Ты озвучиваешь все, что, открывая рот и рты, не может породить слово. Ты говоришь, договариваешь и даже думаешь за котов, собак и воробьев. Додумываешь и допрыгиваешь за них. О-звуч-ка? Нет. Скорее и точнее вечное говорение как попытка надыбать слово. Найти его в хаосе тишины и шумов, бормотаний, дыханий-выдыханий и вдыханий уже не воздуха, а того, что или предшествует воздуху, или замещает воздух после его исчезновения. Воздух исчезает в слове. И слово дышит в тебе. А тобой дышит иная вода.

Слово вдыхает тебя, а выдыхает свет. Твоя московская подруга Катя показывает тебе свой «Словарь Подорожник», одновременно рисуя твою печь в каменском доме, мостки в пруду и дома деревенские на взгорке…

рыжая собака, листва, вода
подойдет и скажет по-человечьи
посужу с тобой
не смотри туда…

приснится ли дерево дерева больше не слышно
коснется ли облако облака больше не надо
ни двери ни крыши ни дома ни сада

вот сад покидающий свет кто захочет смотреть
кого соберут на живую на белую нитку
шагнет на крыльцо заскрипит деревянная смерть
крыльца и колодца и лодки…

тополиной ночи летучий свод
по реке восточная позолота
или реку вслух произносит тот
у кого глаза не болят от света
так горит под ребрами так поет
проходя насквозь и стекло и глину
и не речь как будто а часть ее
невозвратна или неисцелима…

или приходила или страшно
заглянуть в лицо
ветер в голубиные рубашки
одевает беглецов…

Речь невозвратна и неисцелима. Так сдвинь себя и толкни в заречь. В заречье…

Многое, что тебе любилось в юности и в ранней молодости, — сегодня, когда твоей оболочке под шестьдесят, — кажется

смехотворным и ничтожным. Твоя советская привычка выжимать из чужого стихотворения то, чего в нем нет, не было и не будет никогда, — вдруг истощилась, истончилась, как шерстяные самовязанные носки на пятках, разошлась и показала наконец заскорузлую, нечистую корку подошвы твоей (или чужой) ноги: о, нет, это не ангела пяточка, и даже — не младенца, — это мозоль утоптанного и натертого черт знает чем восприятия ТОГО, что вообще не воспринимается, но как-то создается (и кем-то!), появляется и существует сквозь тебя и твои вечные изящнословесные думы и заморочки. В иной воде, под толщей сумрачного света, в котором вращаются спицы золота и тьмы — попеременно, в родной влаге несуществующей, но существенной, отшлифованной сутью любого бытования и бытия, — начинают нарастать сами по себе и сами на себе узкие, вытянутые вертикалью «интенции — быть» кристаллы, мягкие, но хрупкие. Покойный Игорь Меламед:

в эту полночь в эту вьюгу
долго-долго снится мне
и по замкнутому кругу
ходят стрелки в тишине

(стр*е*лки кристаллов, которые ко времени не имеют никакого отношения)

так из плоского бутона
две безумные пчелы
тяжело и монотонно
что-то пить обречены

(у Меламеда: «время пить»)

собирать с минуты влажный
невозможный свой нектар
и накапливать протяжный
вечной музыки удар…

Так и ты с музыкой обращаешься: переиначиваешь стихи чужие (но уже как бы и твои), музыку, особенно классику; пересказываешь

чью-то прозу на свой лад (потом, после прочтения оригинала, например, Казаковского «Трали-вали», — слушатели замечают, иногда с ужасом, что ты все переврал, но — не испортил главное: кристаллическую основу художества). И музыку ты самовольно (в себе!) редуцируешь: оставляешь адажио — остальное на хрен! Моцарт, Моцарт, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, омедленнее, медленнее, едленнее, дленнее, леннее, еннее, ннее, нее, ее, е-е-е!.. Ты улыбаешься, вспоминая возвращение из Михайловска, городка староверов, с похорон Саши Сидельникова: вы едете на машинке («Москвич»?) Игоря Иванова, спасшего тебя, твою эту жизнь, и ты замечаешь, горестно-раздраженно-веселовато: — Игорь, ты — Шумахер, Миша Шумахер из Формулы-1, — мы премся так медленно, нас ВСЕ обгоняют, а мы не обогнали никого… разве что снежинку одну-другую… — Нет, Ваня, мы обогнали лошадь… — И ты вспоминаешь — да!: на въезде в какой-то городишко Иванов обошел лошадь и возницу — лошадь тащила сани с коробом фанерным, наполненным с горкой — снегом… Снеговозка. Туда везли Сашу — в последний путь, а обратно — короб со снегом, — чистым, деревенским, уральским, промороженным и кристаллически цельным…

Мы лошадь не заметили! Нет, ты лошадь не заметил! Дать, блин, тебе премию «Неистовый центурион». Вручить!.. Боже… боль-то какая… Ты едешь с распоротой рукой, завернутой в окровавленный платок и что-то напевает в тебе идиотскую песенку: Веранда, горная веранда, наших встреч с тобой синие цвета, веранда, горная веранда, сколько лет прошло, но помним я и ты… Саша, Саша… Прощай… И здравствуй через мгновенье… Сколько оно будет длиться? Nobody knows. Nobody one. Нет, ты One. Адын. Астался Адын… Ты улыбаешься: Господи, изучали этакую хрень — «Марксимилизм и эмпириокретинизм». Саша как-то на занятии (лабораторном) по культуре речи выдал кусочек жаргонной речи: — Водила, до Чучила дотрясешь? — А это где? — В районе Карла Маркса! — ОК! — Мочалки, падай!.. Вот такой базар дышал в основании полублатного Свердловского коммуницирования то ли людей, то ли… Вы скажете: «Шекспир… сельдей…» — «Не для себя же — для бл.дей…» Ох, зыконо-законно… Же-э-зно!..

Ты прячешь себя у Майи Петровны. Сидишь в кухне с открытой форточкой в зимней кухне сталинского дома («сталинки»), в кухне, упавшей в сад. Вывалившейся в заснеженный сад.

Душа убывает легко,
не слышно, не видно.
Летает не так высоко…
Да ей не обидно.

Душа убывает, как свет
июньский, приветный.
Редеет и сходит на нет…
Да ей не заметно.

Узрела заоблачный знак
и срока не чает…
Не больно, не стыдно, никак
душа убывает.

Ну, Майя… О, Майя… Эх, Майя… Ты просто живешь в доме Вяземских. Правда, остались только Майя и ее дочь Мария, родившая Майе внука Григория… Ты поутих. Хватит «воображать»-то — ну, пьян. Пьян не от водки, а от трезвости своей, долгой, мучительной и постоянной — без срывов, заплывов и залетов-разлетов. Трудно понять, что лучше, бодрее и веселее — пить или не пить: трезвость пьянит новым зрением и видением того, что было по пьянке незримым. Трезвость — бесшабашнее, отчаяннее, безогляднее, чем вечно пьяно-похмельно-отходняковое состояние. Ты стал одеваться проще, без прежней пьяной или полупьяной строгости: ушли пиджаки и галстуки — пришли джинсовые и вельветовые шмотки (сначала из секонд-хенда, потом из первых постсоциалистических бутиков). После трех месяцев непития ты стал работать (в свободное от лекций и универа) на телевидении — телеведущим какой-то несусветной чухни, развлекательной ранне-утренней программки. А однажды, вспомнив свое армейско-заводское и шатровое бытие — дисциплинированное, трудовое и наполненное смыслом если не созидания, то не безделия, — ты вдруг, неожиданно и незаметно как-то для себя и всех, — сел за стол и за три месяца написал книгу. Показал ее завкафедрой Лидии Ивановне, и она, прочитав двухсотстраничный опус, резюмировала:

— Ваня, это монография. Текстоведческая. О поэтическом тексте.

Ты удивился: откуда это берется?! И издал ее с помощью друзей-журналистов, подаривших тебе железнодорожный рулон бумаги, которую с удовольствием принял издатель — и сделал первую твою нестихотворную книжку.

У тебя к тому времени вышло три книги стишков. Из даже заметили. В городе. В Москве — тишина: нужно жить в Москве, и тебя звали туда дважды, приглашали работать в СП СССР или СП РСФСР, предложив квартиру-двушку (в первый раз) и трешку (во второй раз). Но ты отказался. В Свердловске — с завершением девяностых все поутихло: завяли, скукожились поэтические оргии, пати, вечера, сходняки, веселухи — все расползлись по домам и работам. Ты искал и находил новых поэтов за пределами Урала. И находил: подружился с Кушнером; познакомился с Геннадием Русаковым; видел Тарковского, кумира своего в семидесятых-восьмидесятых; влюбился в стихи Ольги Седаковой, познакомился с ней; обворожился стихами Петра Чейгина; принял душой и полюбил стихи Сергея Шестакова.

ты большой уже, четыре,
подойди к окошку…
где сегодня по квартире
черти носят кошку…

не трясись так, ты же смелый…
что, скажи, за шторой,
этот свет, который белый,
или тот, который…

Стихи Шестакова (все) дружат в тебе с Владимиром Горовицем (Horowitz), исполняющим на фортепиано Бетховена, и Джованни Батистой Перголези (и Stabat Mater, и Salve Regina, и Sinfonia a violoncello solo, и…), и со стихами Димы Месяца, Саши Калужского, Майи Вяземской, твоими, стихами Андрея Таврова, Кости Кравцова, Светланы Кековой, Насти Зеленовой, Кати Перченковой, Лёши Решетова.

Она приходит и говорит
Мы будем сегодня вместе
Но ты не ты а лишь ритм
Не весть а предветие вести

Не больше всяк чем его пальто
Что мыслимо то конечно
И я если я окликаю ничто
Ничто обращается в нечто

Где черен мел там и пепел бел
Без моря не скажешь суша
А кто из нас эту песню пел
Не знает и тот кто слушал…

Шестаков (мысленно ты его зовешь Серёжей) всегда с тобой, как Тютчев, Боратынский, Пушкин, Лермонтов, Мандельштам и Заболоцкий…

Опьянение трезвостью перешло постепенно то ли в ясновидение, то ли в иное зрение, не в другое: второе-третье-пятое-десятое — а в смотрение, видение, которое совместилось не столько с понимаем некоей сути, сколько с мышлением, осознанием и думанием, — теперь ты думаешь не только стихи и музыку, но и мир, и все, что в нем есть, и все, что в нем было, но исчезло, и все, что в нем должно появиться. Состояние легкое — до невесомости. Ты — невесом. Тебя, прямо сказать, и нет — есть нечто и некто, что и кто помогает тебе вернуться в свое (и в общее) детское зрение, говорение и парение…

Ты устал от города. Этот «милионник» — город бездельников, которые по-драйзеровски, по-теодоровски ищут только деньги и находят только деньги, естественно, по-драйзеровски — под ногами. Но ты ищешь кусок земли с домиком и без по окрестным (50–100–150–200 км от Свердловска, то бишь Екб) деревням. С души воротит шопинг-поток по улицам Ленина-Ванера-8 марта-и т. д. Бредут твои соотечественники (в основном молодые) куда глаза глядят. А куда глядят пустые сытые глаза? В смартфон. А куда ведут ножки? В ТЦ (торгцентры). Мужики с улиц города исчезли: сидят по домам — умывая морды свои голубоватой жидкостью

мониторов кампутеров, тивелизоров и смартофонов. Твой однокашник и однолагерник (военные лагеря партизанские, случившиеся по выпуску из универа) Костя, историк, а ныне антишпион (охранитель технологий), показывает тебе карты (руками не трогать!) окрестностей (до двухсот км) Екб. Всюду захоронения: скотомогильники (сибирская язва), химоружие и проч. Просроч. ОВ. Только северо-западное направление почище. И река есть — Чусовая. А на Чусовой в Коуровке-Слободе жили твои предки по отцу… Отец, с которым ты, не примирившись, изредка общался в последние годы, выпивал. Но после алкогольной завязки — не виделись. И вдруг жена отца позвонила: беда. Отцу ампутировали по очереди обе ноги (по самый пах), а еще случился инсульт. Потом второй. Затем третий. Вы с Ларой забегали. Устроили в хорошую больничку. После многих мучений отца отправили домой. Ты приезжал к нему (спасибо, метро) часто: с бутылкой водки (тайком от жены отца). Отец лишился речи — совсем: только мычал печально и плакал. Но после укромной рюмки водочки начинал говорить — только матом. НКВД. Первая дивизия НКВД им. Ф. Э. Дзержинского. Лесные войны с бандеровцами, с литовскими братьями и вообще с антикоммунистическими агентами. Изредка, крайне редко Василий Никанорыч начинал говорить — медленно, теряя слоги, борясь с ускользающей интонацией:

— Ваня, вы меня не хороните…

— Как?!

— Не… хороните… в… коротком, детском гробу…

— Господибожемой, отец! Харем! Шульберт! Ты еще оклемаешься…

Не оклемался… Отец умер 10 марта сразу после народных международно-женских гуляний. И ты сидел на кафедре 8-го Марта до утра с пьющими друзьями и подругами. Сам — ни-ни. Насухую сидел за столом. Пошучивал. Лёша Старкин, доцент, решил отзвониться домой, обсудить с женой условия его сдачи в семейный плен. Он что-то мямлил о закрывшемся метро, об исчезновении всех такси. Потом замолчал. Слушал телефонную трубку. Кончилось. Он положил осторожно, как гранату Ф-1, трубочку на старинный телефонный аппарат и, не оборачиваясь к праздничному столу, внятно и спокойно, не повышая голоса, произнес:

— Получил часть завтрашних пи.дюлей…

Отца похоронили на Северном кладбище, в лесополосном поле, за Уралмашем. 11 марта умер дедушка, Иван Иваныч. Ему было девяносто пять. Бабушка умерла раньше деда на семь лет. Похоронили на Шатровском погосте, куда свезли и деда. В дикий мартовский мороз.

Поля, засеянные железной арматурой, сварными ржавыми пирамидками, кусками мрамора, почерневшими скамеечками и столиками, почти шахматными (КТО ЗДЕСЬ играет?!), венками, искусственными цветами и пустыми бутылками из-под водки,— поля уже не скорби, не горя, а памяти мусорной, берущей в себя все: и топорик, и жерди, и лопаты могильщиков, и новые, еще не подгнившие кресты,— поля, не переходящие в небо/небосвод, а уходящие в землю.

Пётр Чейгин как-то прочитал тебе:

Разговор о крайней мере
О вороне ветряной
Проживут на белом небе
Рядом с полночью сухой
Где-то в области глухой
На постели моховой

Разговоры топора
О моем живучем горле
О простуде в чистом поле
Где на — эль
А где на — ра
Восклицанье топора…

В белом небе живут взгляды — остаются там, не возвращается в глаза, пока ты уходишь с мусорного поля — прочь. Куда?..

Ты похоронил отца. Нет — обоих отцов: отца и деда-отца. Откуда вспомнилось-пришло-пробормоталось сквозь память прямо в сердце:

Мой дед не умер потому
Что было страшно одному
Приехал я и вместе мы
Взошли на ближние холмы
Я ничего не говорил
Чтобы не заплакать закурил
А он на корточках сидел
И белый хлеб с газеты ел
Покушал выдохнул живу
И руки вытер о траву…

За ближними холмами простиралась пустота, наполняющаяся холодом, одиночеством, жизнью…

X. Невыразимое

Ты необитаем. В тебе кислород, водород, азот — океан, тоже необитаемый. В тебе необитаемые острова (а на материках что-то пошевеливается, но как-то автономно, в себе — необитаемых). В тебе необитаемые горы, леса, реки и озера. Но вы: ты и они — не пусты. Вам всем: и земле, и воде, и воздуху, и свету, и темноте, и пустоте, набитой жизнью и смертью до отказа, кажется, что вы необитаемы. Что-то в вас, и в тебе, есть такое, что незримо, неслышимо и бестелесно. Это ЧТО-ТО заставляет сушу, воды и небо жить, думать тебя, ощущать, еле различать в себе это что-то, родное и чужое, почти забытое.

Ты пишешь эти строки, в которых буквы вяжутся в слова, впитывающие и заглатывающие тебя, уже со-держащие тебя,— или — не тебя, а того, кто пишет тебя: мы все вместе: суша, вода, небо и ты — пишем книгу, которая пишет нас. Нас дописывает Бог, Абсолют, Экос и Гармония. Эту книгу — нас — дочитывают и дописывают люди, растения, птицы, дельфины и насекомые. Кто-то нас пишет, дописывает и переписывает. Этот кто-то (или что-то) и есть книга.

Ты слушаешь музыку из boom-box'a: и Бетховен Горовица, Вивальди Филиппа Жаруски со-плетаются с Томом Петти, с его песенкой «Face in a crowd» — и плетется ласточкина сеть в твоем воображении, улавливает тебя, зависающего (suspended in time, in space), ты падаешь — легко, как снежинка,— на эту натянутую ласточкину сеть (на тысячу ласточек сердце разбито!) и обращаешься в слезу — пресную, снежную… Ты, умирая от онкологической чепухи (что она в пределах мироздания, воображения и сознания!), влюбляешься. Женишься в третий раз (1-3-7,— это не магия, а ритм неудач в удающейся, но не поддающейся жизни твоей). Кира младше твоей дочери на девятнадцать лет. Жена. Ты выкарабкиваешься из болезней — и вылетаешь из хвороб и смертельных недомоганий.

Вылетаешь — вон. Как галечка из рогатки — в безмерное стекло и зеркало мира. Тебе уже шестьдесят с гаком (возрастная разница с Кирой — 41 год), и у вас — от вас — отделяется, рождаясь и появляясь на свет (и не-свет), Ванечка. Приятели шутят: почти библейская история…

Вы живете в Каменке. Ванечка ждал почти четыре года — и родился. Тебе перевалило (перелетело-пролетело) за шестьдесят пять. И ты вдруг — а это самое главное — расслышал, что младенцы говорят, как дельфины. Ванечка, как и другие младенцы, говорит интонацией. Интонация — язык ангелов, птиц и детей. Иногда Ванечка открывает ротик (он похож на глаз с нежными губастыми веками), глубоко вдыхает и, кажется, силится что-то сказать. Тебе — кажется. Но! — Ванечка уже говорит, не издавая ни звука. Он говорит тишиной. Той тишиной, которую мы, повзрослев, забыли. Эта тишина — язык иного мира — мира до-рождения, того места, где дожидаются (бывает, и часто, не дожидаются никогда) своей очереди эти младосущества — появиться на свет сей: в мире этом, слишком явном и грубоватом, жестковатом, бесцеремонном, туповатом и временами добром, в мире осуществления чего? — в мире войнолюбивом, но у которого есть даже две собачки — сучка Жратва и кобелек Хавчик.

Писать — значит застать себя врасплох — так, чтобы ты не успевал опомниться от иных миров и смог повернуться спиной к толпе… A face in the crowd. Лицо в толпе. Лицо в толпе. Лицо в толпе значительнее, мощнее и светлее толпы… Младенец — лицо в толпе: он пришелец, у него есть свое время, пространство, язык, сознание, мышление, память и Память, отношения с миром дорожденческим и с миром этим; у него есть свои оценки, своя нравственность, своя красота, поэзия, музыка и свой мир, который трудно удержать и не отдать взрослым идиотам, забывшим себя предыдущего, себя-до-рождения, себя настоящего…

Обосрался бычок — стой: стой и пахни, коли ты забыл себя в состоянии себя, не осуществленного социальной, насильной жизнью. Жизнь ЭТА для младенца — насилие. И ты, долбаный мама-папа, как тот бычок — стой… В мире нет, не существует (все это выдумано идиотами) никакого такого посттравматического синдрома, нет депрессии, нет апатии и прочей изобретенной (и абсолютно вербально-визуальной) для слабаков, забывших себя, хрени. Есть

трусы, слабаки, есть не-воины, есть отчаяние, есть обмороженные на ледяном шампанском и пиве души. Души, не растущие, а убывающие в быт, в социалку, в политику и в воровство, называемое ныне экономикой и финансами. Куда как проще быть ростовщиком-банкиром, чем человеком, пытающимся соединить миры жизни, смерти, любви с мирами дожизненными и послежизненными, соединить в своем сознании, соплести их в трепетную ласточкину сеть.

Младенец показывает тебе, как душа растет: она разрывается, и возникает на месте разрывов новая метафизическая плоть души; она вне какого-либо покоя; она способна излучать обоюдоострый, многоглазый и остроглазый рентген, когда и ты, и душа, и мир — в движении общем — не пересекаются, но со-плетаются, со-единяются, со-живут. И еще: ты понимаешь Ванечкиной душой, что, еще не умерев, ты заглядываешь туда, куда уйдешь навсегда. Заглядываешь не только кровью своей и Ванечкиной, но и стихами.

Сидит младенец в корытце (ныне — «в ванночке») и похлопывает водичку. И водице это нравится. Она светится, как лицо любимое в толпе… A face in the crowd.

Иван, Кира и Ванечка, а также маламут Норд, который появился здесь два года назад — прибыл из Москвы в перевозе, страшном микроавтобусе, провонявшем ужасом и дерьмом собачье-щенячьем навсегда. Еле отмыли песика. Это твоя пятая собака. Пятая-бис тебя: щенок колли умер через месяц после покупки его у толстых теток, торговавших «паспортными» щенками, зараженными энтеритом насмерть. Васька, щенок, умница, рыжий и разумно-ласковый продержался месяц. Как с зоны взяли. Из крытки. Из тюряги. Кира и ты плакали. Вася умирал. Лето набирало силу. Ты даже рыбалку забросил. Не писал. Лежал на диване с Басё. В день рождения Будды он умер, но не навсегда, приманив в Каменку два света — этот (почти белый) и тот (серый, но ослепительно серый, въедливо-серый). Щенок соединил в тебе два света — и стало темно.

Ты входишь в уездную почту — в вагончик фанерный — и слышишь разговор двух почтовых тетенек:

— А где посылка-то давешняя? — зычный ответ:

— Ху.м сдуло!.. — Обе озабоченно и озадаченно смеются.

Вы с Кирой входите в вагончик почтовый, и та, что поогромнее, ласково-вежливо и улыбаясь, говорит вам:

— Здравствуйте, что ли! С Рождеством Христовым! Чего хотите?..

А хочется жить, а не умирать в бетонке городской с лифтами и помойкой. Ты видел смерть в метро: сквозь турникет пытается пройти без карты некое бесполое взрослое существо, одетое, как все, в пуховичок, под ним худи с капюшоном, вытянутым к небу и накинутом на башку, — это гуманоид пытается пробиться сквозь заградительные дверцы. Не получается. Ты мысленно считаешь: раз-два-три-четыре-пять… Семь раз это существо бьется безуспешно о турникет. Наконец, оно неожиданно переваливается через стальную преграду и падает головой вниз. Перелом шейных позвонков. Мгновенная смерть. Все.

У тебя начинают выходить (в свет? в темноту? в предрассветную муть?) книги: стихи, семь монографий и восемь учебников. В Екб тебя узнают на улицах. Ты не морщишься: пока это почти приятно, но скоро все это (и книги) станет неважным. Ты читаешь много, пытаясь дефинировать (а прежде — идентифицировать) феномен поэзии. Ты пишешь за четыре недели книгу «Поэзия и словесность» — все, почти все или не замечают ее, или посмеиваются, или — совсем немногие — хвалят и восторгаются. Наступила пора, когда деньги съели человека. И Россия, нищая и драная, озападнилась. Ельцин двинул паровоз. Жена помогала ему. В единственном вагоне сидели комсомольцы, а ныне экономисты, политики и олигархи. Все с нерусскими фамилиями, как в 1917 году после Октябрьского переворота. Паровозик утянул страну в гражданскую войнушку: постреливали, попутчивали, поворовывали, выбросили нищих, старых, больных и алкашей из их квартирок (закапывали в пригородах, в парках и «лесных зонах»), скупили все заводы и заводики с фабриками и фабричками — все пошло на металлолом. Ракеты распилили под строгим присмотром американцев — им же продали весь флот (и твой — Северный!) — на распил и распыл… Ты вспоминаешь время ЗОЛОТОЕ… Ты — помнишь. Всегда. Один чувак вывез из поселка Малышева прямо со двора шахт-управы в Швецию два-три грузовика с бериллами и необработанными изумрудами. Теперь живет на три страны. На три родные страны… На три? Родные? — Да. Это очень простой профтехобразовательный вопрос.

Сознание наше сузилось до размеров банкноты, тарелки, рюмки и гениталий. Мышление — пэтэушное (ПТУ, профтехучилище) — переродилось в бандитское/бизнесменское/

депутатское/чиновничье/мусорское (о, силовики! Бооохатые луды) /государственно-преступное. Гопники бросили хе.ачить по мелочам и вышли на уровень комсомолько-либерально-государственного Гоп-Сто-Па… Опа!.. Etc.

Могучая, безмерная волна народной дикости, дурного духа народного и родного разбилась на отдельные, более мощные валы, лихие и беззаконные, которые образовали потоки человеческих грязных интенций бандитов и балетных, силовых и ОПГ, компаний и ЧП, частной собственности, утекающей от балетных и огородных к бандитам и дальше — за границу. Это было, несомненно, самоограбление, экономический онанизм и бесконечное самоубийство огромной, с обломленными окраинами, державы. Единство деградации человека и прогресса монетарного в России — это нормальный путь современной цивилизации, направленный прочь от культуры, науки и образования. От музыки и поэзии, коими сыт в сей толпе не будешь.

Тебя знакомят с Эдуардом Лимоновым, который оценивает тебя — визуально: богатырь! весь в коже и джинсе, как я! и — содержательно: тебе вся эта катавасия по колено: ты дуешь свои стишки, — вот и дуй дальше, и — политически: вот такие, как ты, и спасут вашу землю, Урал; ехал сюда поездом: леса, горы, огромные реки — сюда никакие танки не дойдут; а холода какие! — сорокаградусные! Какие на хрен тут негры, нежные американцы и европейцы! — да, скифы мы, да, азиаты с раскосыми и жадными ножами… — Парень был внешне достойный, но внутренне — он явно погибал от своей разрушительной (шарообразный вектор) энергии, не способной просто жить, любить и умирать. Смерть была в нем как perpetuum mobile: глаза его выхлестывали серо-голубые ножи-ножички… А улыбка-то была доброй!

Иван носил в себе вечный двигатель и движитель познания невыразимого. Теперь он это не просто чувствовал, но осознавал: сознание художника рождается в оболочке невыразимого, и околохудожественные люди постоянно, то мягко, то равнодушно, то рьяно и наигранно, — пытались разрушить эту оболочку (для них это была оболочка социальной слепоты), особенно старались (безуспешно, слава Богу!) близкие: семья, друзья, кореша и корешовки («парчуканки», как говаривал Саша Сидельников), приятели, «старшие товарищи», общество, государство и лично товарищ (здесь

может быть любое имя — руководителя партии и страны). Для них невыразимое как ядро и как цель познания (особенно музыкального и поэтического) было чем-то пугающе незнакомым, чужим, как КРАКОЗЯБРА, как вещество и существо, живое и враждебное, но необходимое для поэта и музыканта в их главной и единственной на этой планете деятельности, жизни и смерти. Невыразимое было всем, что составляло все. Невыразимое — это ощущение наличия в Космосе, в природе и в тебе гигантских квантов истины и красоты, истины и ужаса, истины и осознания ее очертаний, истины и гибели твоей, исчезновения тебя, желаемого тобой и догоняемого/подгоняемого тобой самим. Это не самоубийство. Это — самосотворение. Или самопересотворение. Талант — это средство, вовлекающее тебя в Невыразимое. Талант — то изгой, то блаженный. То — враг народа и государства.

На мизинце левой руки ты носишь серебряный перстенек, который не напяливал на палец свой (сломанный дважды) сорок лет: колечко подарил египтянин Ахмед, дотащивший тебя (два километра по пустынному песку) до русских окопов. Парни отдали ему все, что было: деньги, часы, радиоприемники — в знак благодарности, Ахмед же оставил для тебя, бесчувственного, с простреленными ногами (правая болталась ниже колена во все стороны), этот серебряный аллах-акбар. Ты его сохранил. А теперь носишь — и помнишь его невыразимое значение для тебя, ребят и Ахмеда. Для будущих твоих детей. Для твоих стишков. Для твоей, так сказать, науки, для твоих книг. Для твоей жизни и любви. Напальный знак начинавшей происходить невыразимой и несостоявшейся гибели…

На филфаке, наслушавшись лекций, докладов и семинаров коллег, обчитавшись книг, так или иначе касавшихся поэзии, а точнее — стихотворной речи (о тексте и поэтическом тексте тогда почти не думали и не говорили: текстом для тогдашней филологии было все, что производилось речевым аппаратом человека; мышление, языковое сознание и художественный текст постоянно номинировались, но как-то так неопределенно — то ли это было именование новорожденного, то ли поминальное слово над усопшим). Текстоведение, поэзиеведение назывались науками, ветвями и направлениями исследований, но объект этих «наук» не был установлен. Не разграничивались также феномены литературы (вообще массового художественного письма и говорения) и поэзии. Цветаева сказала:

— Есть Поэт, и есть поэт. — Хуан Рамон Хименс сказал: — Есть городская поэзия и деревенская. Городская — стишки, деревенская — онтопоэзия (онтологически обусловленная и адресованная Бытию и Богу). Эзра Паунд и Николай Заболоцкий — параллельно, но первый в нейротекстоведческом, а второй — в текстотворческом аспекте — говорили о единстве (русский поэт) Мысли, Образа и Музыки; а также о наличии особых методов поэтического писания (англосаксонский поэт) — мелопоэйя, фанопоэйя и логопоэйя (то бишь музыкальное, образно-иероглифическое и семантическое мышление поэта и текста, когда интеллект/разум танцует в семиосфере текста, а слова испускают из себя, как дух, имплицитные, тайные, невообразимые смыслы. Об этом на филфаке не говорили. Да и не знали, ЧЁ это такое. На филфаке любили Достоевского — «великого», неряшливого и грязнодушного писаку. И то ништяк, покатит, пролезет: литературовед-текстовед-поэзиевед, не думающий и не записывающий СВОИ поэтические тексты (ПОЭТИЧЕСКИЕ), не способен быть со-поэтом, со-автором Мандельштама, Данте, Рильке, Тютчева, Целана, Боратынского и даже Фета. Все уссыкались от Есенина, Маяковского и Брюсова, эту троицу — как деревянный подгнивший алмаз — перекатывали годами, десятилетиями из головы в голову бедного советского и ельцинского студенчества. Нет, если говорить честно, шепоток стоял: о! Мандельштам! о! Ахматова! о! Целан! — но в кулуарах, в клозетных и купальных комнатах, а также в любых помещениях при закрытых дверях, а лучше-то — на улке, на аллейке, на скамейке, под портвешок или сухарик да с сигареточкой. Или на КУХНЕ. Все великое и настоящее обсуждалось на кухнях. Но кухня умерла в девяностых, когда препы бросились на заработки (пеньки, взятки, жополизание и все такое).

Ты существовал, умирал, воскресал, болел, выздоравливал музыкой в музыке, смыслом в смыслах, образом в образах. Текст, который ты читал, знал — знал и перечитывал тебя. Перечитывал — переделывал. Ты думал текст, и он воссоздал тебя, переиначивал — производил на свет. Ночами ты почти не спал: передумывал текст — и текст выдумывал тебя, иного, нездешнего, не такого, как все, кто образует коллективы, социумы, общество, государство, страну. Ты не был изгоем, изгнанником, — но ты был чужим, и это все чуяли: чужесть твоя была неопасна, но напрасна для общества, которое принимало только то, что говорилось, пелось, танцевалось,

думалось, воображалось, осознавалось — умиралось — воскресалось и чувствовалось всем сразу,— Хором, ансамблем, квартетом, трио, дуэтом,— но — НО! — не в одиночку. Общество живет, умирает и любит хором. Хоровое житие. Хоровое бытие. Хоровое убывание. Хоровое размножение. Хоровое исчезновение.

Кладбище — это топографическая, геоантропологическая карта жизни. Жить в земле и быть землей — тоже работа, и еще какая…

Скудоумие хоровых организаций моментально переходит в слабоумие. Слабоумие интенсифицируется несколькими (компания-компашка, тусовка, двое-трое, революционная двойка и т. п.) товарищами или товарками. Гоголь отдыхает, когда видит ОТТУДА пару литературознатцев — Мыкова и Пыкова, которые не пропустили за сорок-пятьдесят лет ни одного литературного столпотворения: юбилеи, вечера, чтения, конференции, посиделки писательские (союз писателей, универ, музеи, редакции и др.) — присутствие/реплики (почти смешные)/застолье (если стол не накрыт организаторами — обида; Гоголевская, Ноздрёвская такая обидца за невнимание и обделение рюмкозакуской). Ты сидел как-то (в пьяные годы) с Натой, твоей любовницей (и не только твоей), а заодно и с подругой твоей первой жены (любовница-подруга жены; как говорит Олег: «Прикинь, а?!») в ресторане. Столик ваш скрывался за толстенной колонной (на хрена она, эта балда, здесь была нужна?!). За колонной сидели и пили водочку Мыков и Пыков. Они что-то обсуждали — все громче и громче. Ната сказала:

— Слышь, о тебе пыкают-мыкают.

— Пукают-мукают…

Вы прислушались:

Мыков:

— Ну что, старик, пустим Ваньку Орлова в литературу?

Пыков:

— Вопрос страшный. Це дило трэба разжуваты.

— Зажуваты…

Так и не узнал ты: пустили тебя пыкающие и мыкающие в литературу. А ведь еще были и КПСС, и профкомы, парткомы и КГБ: трэба сохласовать, а? И согласовали. Не пустили. Зато из Москвы, где тебя пару-тройку раз крепко опубликовали, обратились к тебе совписовцы, пригласили в столицу, предложили квартиру-двушку. Отказался. Потом предложили издать книгу стихотворений

в Германии — немцы, настоящие, германские. Отказался: что же будет после твоей высылки из СССР с Катей, с дедом, с бабушкой, с дочерью? А пыковы и мыковы все не унимались. Они были какие-то то ли альбиносы, то ли рыжие (не как ББР, пожиже), то ли красноватые, то ли просто красочные, разноцветные, как самцы серых птичек-самочек: ну, скажем, петухи или кукухи, коих ты не видал, но представлял себе нечто невероятно и пугающе красивое, как хвост павлина. Или как кот, ищущий и кличущий свою кошь, — базлающий по ночам в саду, как румынский певец, царь эстрады постперестроечной по имени Готлиб. Такие дела: в попсе Готлиб, в массэкономике и в массфинансах — Гельмут. Жуть…

Ты открываешь книгу. Шестаков. Сергей.

И когда от нее отделится плоть
И она воспарит легка
И вернется персти земной щепоть
В пеленальные облака

И когда безмысленной шелухой
В тишину опадут слова
И прозреет музыкой слух глухой
Той что ныне слышна едва

И когда невидимый вспыхнет луч
В бестелесной твоей тюрьме
Ко всему на свете найдется ключ
И второй ко всему во тьме

Но река последняя глубока
И вокруг нее на века
Только эти белые облака
Эти белые облака…

И музыкой прозреет слух, и ты вспомнишь и переживешь вновь то ощущение, когда кто-то (кто? не Сам ли? А? — страх Божий) тебя поднимал на вытянутых вверх руках к потолку в самостроевской неуклюжей квартирке — и ты вырывался из себя, из кухонного воздуха жилья, из семьи, из человечества, из своего воображения —

в иное свое, более высокое воображение, — из своего невыразимого — и на макушке твоей волосатенькой, вихрастой вспыхивала, попыхивала и мерцала седина потолочной извести… Музыка. I've been mistreated (Deep Purple) — mistreated чем? кем?.. Ты опускался (уже как бы и без рук чужих, взрослых и некрепких от пьянства) на пол, на землю, — нет: на половую доску, шпунтованную (такую же ты уложишь на палубу своего каменского дома) — и чувствовал, запоминал те пять-семь-девять сфер околопоэзии, почтипоэзии, полупоэзии, скоропоэзии, вот-вот-поэзии, поэзии наконец-то, послепоэзии, запоэзии, сверхпоэзии, мета-квазипоэзии. Сгусток безмерный музыки-образа-слова-смысла-пророчества-открытия-ясновидения и яснослышанья-муки-счастья-гибели от жизни-смерти-любви, силы твоей, приникшей к Силе Иной, силы твоей, проникшей в Силу Иную, Силы Иной, объявшей и принявшей в себя силу твою, обнимающую Силу Иную…

Ты когда-то, в пьяную свою пору, дружил-приятельствовал с Мыковым. Вы нещадно (для себя и окружающих) бухали. Почти ежедневно. Однажды очнулись у Веры, милой театралки. Сидели на кухне. Ты курил. Мыков звонил Бобу, декану журфака, корешу и т. д., удивительно светлому человеку, остававшемуся человеком в советском универе: он был крепок, то ли из казаков (конечно, белых, царских), то ли дворян недобитых (как твой дед Иван); он — Боб — был честен ВСЕГДА — шуткой (шутил он с серьезным лицом), рискованной и длящейся годами, десятилетиями, — отчаянно умный мужчина с головой Сократа (но гладкой и ровной), лысой, как волейбольный мяч. Мыков разговаривал с Бобом. Боб его цеплял, царапал своими шутками. На вопрос Боба, где вы, ребята?! Мыков ответил:

— У Верки Зоз.

— ?

— Ну, такая вот Верка, да еще и Зоз… — Рядом с кухонным столом стояла электроплита «Вера — 303»…

Минус пятый стакан. Ты опущен — босыми ступешками (?) — на пол. Опущен стремительно. Но ты успел рассмотреть (и запомнить) в мелькании пяти-семи-девяти сфер невыразимого Золотое сечение союза музыки и поэзии. В тебе остались и само сечение, и его Золотая глубина, и Золотая высота… Музыкопоэзия — константа.

Она неизменяема. Вот авангард (не музыка, но джаз — хаотичный, тупой, с кривлянием и сплошной фальшью) — это самый «впередипрущий» ныне архаизировался, стал анахронизмом, как литературный «романтизм», «соцреализм», «фем-поэзия» и прочая социализированная словесность — словесность масскульта, сскульта, культа и льта. Так мобильники устарели, но появился интернет, и 90% молодой дежи живет в нем…

Поэзия — это вечный божественный Интернет, где мы продлеваем не только Самого, не только истину и надежду, не только друг друга, но и себя.

Тебя медленно опускают сверху вниз и вдруг останавливают твое движение. Ты зависаешь в невыразимом. Ты зависаешь и слышишь, как похрустывают суставы у пространства, обезжиренного, оледенелого, бесчувственного и безвоздушного. Пространства черно-белого, как бездна сознания и сна.

Ты вернулся с заседания редколлегии журнала: тебя пригласили работать (не — сотрудничать, но работать!) завотделом поэзии. Интернет на местном уровне волновался и поистеривал: шла бесконечная деза одновременно из нескольких источников, вполне известных тебе. Все это было неожиданно. Сам ты никогда не интриговал, не ссорился ни с кем (не нравится человек, противен тебе — просто уйди, — и не подходи к нему более). А тут вдруг такая хрень: сразу несколько постов, где ты — главный герой; ты, мол, убил (довел до смерти) девяностолетнего своего предшественника, больного раком, находящегося в клинике, где ты ни разу не был. Он давно не касался рукописей стихотворцев, желающих опубликовать свои опусы в «Урале». А ты его взял и добил! А потом еще и сместил нового главреда Быгаева — и, наконец, захватил журнал. Старались все: крутили-вертели эту новость, не встречаясь с тобой — ПЕРЕВОРОТ! Куда смотрит Минкульт и Губернатор области?! Особенно усердствовали Гоп со Смыком (Пыков и Мыков), которые двадцать-двадцать пять лет назад «не пустили» тебя «в литературу». Лютовал — медленно и шепотом — Чесноков, посидевший в кресле главреда час-полтора, — известный краевед и философ белых пятен истории. Он выступил вслед. Этот Чеснок (литпогоняло) говорил, всегда посвистывая, будто что-то сказав, нет — высказав, он подзывал свору доберманов (и пинчеров тож). Что-то у него там, во рту, свистело. Или кто-то свистел?! Чесноков был трус, но кандидат

философии (советской: кандидатская диссертация его именовалась так: «Роль постановлений Политбюро ЦК и ЦК КПСС в развитии литературы (1970–1980 гг.)». Глядя на Чеснока, ты понимал разницу между литератором (писателем!) и обывателем: обыватели, городские обыватели, — ленивцы — они спускались с этажа за хавчиком и бухлом в супермаркет — и назад, на диван, за стол. А вот совписатели еще и просиживали в союзе писателей, в редакциях, в домах творчества и отдыха от творчества, в компаниях, у бл.дей и ученицучеников за рюмкой чаю. Потом бредут под утро домой и жалуются благоверным своим: ох, наму.охался я седня — до галлюцинаций (надеешься, что это слово они знали)…

Ты сидишь на полу в своем кабинетике. Играет музыка. Гайдн. Ты сидишь на собачьем коврике. Джолли уже нет. Твоя вина: ты накануне развода почти приказал собаку убрать — куда хочешь. Джо доводил тебя до слез. Просто сам собой, своим милым собачьим видом. Своей печалью в очах собачьих. О, не смотри в глаза собаки! Ты куришь американские дешевые сигаретки внутри Галактики — по галактической нити Персея-Кита, в местной группе галактик, в длинном месте, именуемом Млечный Путь, в рукаве Ориона, где-то в Солнечной системе, на планете Земля. Сквозь четыре, а то и пять стен слышно, как возякаются подъездные дикие собачки Алек и Бобек (в произношении Юрика, сынка твоего). Ты подумываешь съездить в Москву, и тебе кажется, что вот сейчас, прямо, именно в сей момент Москва едет к тебе. Значит — Миша Лунин уже в Екатеринбурге. Он уже давно живет в Америках-Москвах: и то сказать, парень их академической семьи, батя его Геннадий Мухин — бомбист. Он много лет работал над разработками по войне. По бомбам. Миша Лунин, тезка декабриста, действительно был потомком Лунинского рода. Тоже физик, как и папа, он вдруг рванул в литературу:

Я корову хоронил.
Говорил сестре слова.
На оплот крапивных крыл
упадала голова.
Моя старая сестра,
скоро встретимся в раю —
брось на камушки костра
ленту белую свою.

Минус сто пятьдесят третий стакан. Каково это корову хоронить? Миша и еще сказал:

Холодно медведю в лесу,
И глаза его застит лед.
Я его к реке отнесу,
на льдине пускай плывет.
Пусть его желтый живот
горит, как пожарище.
Без меня пусть вопит-ревет,
Без товарища.

Мишина мифология — в поэзии — куда живее этой дохлой жизни в двадцать первом веке. Какой такой двадцать первый? Фуфло все это. Социализация времени, которого нет:

Коси молодую траву
Руби ледяные дрова
На жизнь твоему естеству
Никто не вручает права
Бездонная колыбель
Качает прозрачный дом
А ты на лету капель
Доверчивым ловишь ртом…

Минус полуторатысячный стакашек. Миша Лунин раскачал твой тридцатидвухэтажный домик. Прозрачный, как птичья клетка… Мишин Чертополох колет под сердцем:

Воровать снотворное у отца
с прикроватной тумбочки у окна
слишком громко в доме стучат сердца
слишком шумно идут пузыри со дна

Пробираться на цыпочках в темноте
постаравшись хозяина не будить
ждали новых времен, а пришли — не те
и о них теперь не тебе судить

Ночь вращает тяжелые жернова
в порошок истирая чертополох
истончая на звуки мои слова
сокращая дыханье на краткий вздох

Стоит лишь преступить закон
как за ним начинается благодать
откажись от книг, сторонись икон
а не можешь жить — начинай летать.

Ты сидишь в книжном колодце: комнатка малая, узкая и кажется высокой (глубокой) — стены (все четыре) покрыты книгами. Благодать… Звонок. Лунин в городе. Начинаем завтра. Но не на Сенной, а на площади Пятого Года, там и получим свои дары…

Приносили в горницу дары:
Туеса березовой коры,
Молоко тяжелое, как камень.
Я смотрел на ясное крыло,
Говорил — становится светло.
Голову поддерживал руками.
Мама в белой шали кружевной
Пела и склонялась надо мной.

И — получили…

Минус три тысячи триста тридцать третий стакан. В книжном колодце прохладно и пасмурно-светло. Играет Гендель. Гайдн ушел к себе спать.

Смотришь в окно, уже полное темноты и городских ослепших звезд. Над соседним домом летает-плавает-стоит в световых волнах-кругах полено Гагарина, Юрия Алексеевича, — точнее, срез полена или бревнышка. Луна, блин. Блин и Луна. Ты говоришь в пустой ночной комнатке своей (жена и сын в соседних пеналах):

— Религия… Наука… Регулируют и редуцируют общее познание… — в кабинетике, в этом книжном колодце, кроме тебя, есть еще кто-то. И этот кто-то отвечает тебе женским вечным голосом:

— Расчеловечивают познание? — (Это Она. Давно не являлась: что-то должно случиться с тобой).

— Да. Расчеловечивают. Или мы очеловечиваем познание, которое происходит само собой и само по себе — можно и не участвовать в этом процессе, можно и не противиться ему…

— Ты, Ваня, интуитивист-феноменолог. Наука о языке и тексте не приручила тебя своими догмами и велеречивыми, терминологическими фигурами речи.

— Речи, но не языка, не книги.

— Да: не сознания, мышления и ясновидения и антиципации…

— Предвосхищения?

— Вот-вот.

— Вы… Вы пришли… Прибыли… Явились…

— Я оказалась. Произошла.

— Вы оказались здесь, чтобы сказать мне что-то важное и страшное?

— Ужасное.

— Что может быть ужаснее (и! — прекраснее) воображения?

— Вот-вот.

— «Вот» — это наоборот читаемое «тов.» — товарищ, аббревиатура. Вы сказали сейчас: «товарищ-товарищ» — ну вроде как: «помолчи-помолчи».

— Да. Но — не «молчи-молчи». Этот край (твой, родной, но не единственный) до сих пор не может существовать без «молчи-молчи».

— Флотская лабуда.

— Тебе ведь больше нравится словечко «фуфло».

— Ну да, в лексеме «фуфло» шьются сразу и срок, и фуфайка, ватник зэковский с нашивками серыми с номером и двумя нолями.

— Это две буквы «О»?

— Да: Особо Опасен. Склонен к насилию (то бишь может разоружить вертухая, а во-вторых, существует внутренне (и три раза внешне) в постоянном побеге (в рывке, на скачке, на ходу, на «с-ходу», «в полете», «в заплыве» — морячки все такие, — такие дела).

— Ваня, теперь о твоем воображении: ты угадал, что с тобой?

— Да. Онкология.

— Ты умрешь из этой жизни? Как думаешь?

— Если хочешь жить, не болеть; если хочешь гореть в своем аду — выныривай из боли и прорывайся сквозь ВСЁ, сквозь безумие брошенного сына, отца, мужа, любовника, сквозь общество, сквозь человечество…

— Ну да, Ваня. Как шутил твой дед: «Две картоплыны — и суп!» — Прорывайся сквозь хоровое и управляемое воображение тех, кто — не ПЛОВЕЦ. Ты — пловец.

— Боевой пловец.

— Нет. Пловец как таковой.

— То есть: рыба как бля.ь таковая?

— Товарищ-товарищ…

— Ты качаешь свое сердце (и душу) влево, вправо; поворачиваешь его то вверх лицом, то ниц — и ни хрена: у тебя онкология… Откуда, а?

— Помнишь смену караульщиков в дисбате, в ней были только украинцы — западэнцы? Один из них…

— Головко. Старшина…

— Да. Он… Он бил тебя прикладом в спину, в шею, в загривок. Бил семь месяцев. Эти семьсот сорок три удара в одну точку породили опухоль…

— Онкология. Качаю сердце влево, вправо, вверх, вниз и по кругу — и ни хрена: нацизм — смерть, фашизм — смерть, коммунизм — смерть, капитализм — смерть, патриотизм — смерть, либерализм — смерть, демократизм — смерть… Все — смерть. А где — жизнь?!

— Жить ТАМ, где нет политики и войны.

— Жизнь — в культуре?

— Да. Если, конечно, культура — не сфера отдохновения и развлечений.

— А сфера спасения…

— Души. Духа. Все значимое в этом мире равно, как само себе, друг другу.

— Круг. Эллипсис.

— Да. Но — без пустот. Культура — это материализованная духовность.

— Ну да. Например, борода Бажова… Блин: где ее хранить? Национальное достояние волосяного покрова лица нации…

— Вот ты, Ваня, пишешь книгу…

— Наоборот, книга пишет меня…

— Процесс взаимообразный. Ты пишешь в книге: «За окном потеплело…», — но в книге твоей — похолодало. Почему?

— Нет, это не дух противоречия во мне. Нельзя думать от противного. Противное — противно. Тут в ФБ говорят (ну, «постят»):

«Ни жи.ов, ни коммуняк: как с немцами (1941–43) жить будем — сытно, спокойно…» Так, видимо, мебель живет — и жрать не нужно… Или пишут, говорят: все — дерьмо; нужно жить, как США, Англия, Европа. Почему моя жизнь не устраивает кого-то? Этот кто-то тянет тебя то влево, то вправо, то вниз. И никогда — вперед и вверх. Нельзя же — на готовенькое. Да и кто подарит готовое, отстроенное, работающее и радующее глаз…

— Помнишь, ты, когда был в бегах и ушел от зоны далеко, почти до Баренца. Ты лежал — и замерзал. И ты знал, что замерзнешь. Насмерть. Околеешь… Знаешь, ЧТО тебя спасло?

— Что?

— Ты прикурил от Северного Сияния.

— Да. Вспомнил. Спички сдохли. Зажигалки были тогда редкостью великой.

— Кто поднес тебя к Сиянию?

— Или — что?

— Или — что…

— Воображение. Я в то утро (а утро, когда замерзаешь в снегах заполярных, всегда кажется коротким — тоньше волоска музыки. Я тогда, в то утро, включил в себе Вивальди «Июнь» — и повис на собственных ресницах, как сказал Осип Эмильевич: воздух был наполнен до продыхательной плотности волосами музыки… Однажды в Индии, в первые дни пребывания в Нью-Дели, мы с Юлей зашли в богатый ресторан, оказавшийся абсолютно урду-хиндийским с лингвистической точки зрения. Подали три меню. Графика хинди. Никто по-английски ни бум-бум. Ты подзываешь waiter'a и тычешь пальцем: это, это и это (в первом меню, похожем на диплом лауреата Нобелевской Премии); еще это, это и это (во втором ресторанном дипломе); — и вот это, одно (в третьем меню). Вы сидите на низких диванчиках у столика на детских коротких ножках. Все в кабачке маленькое, как в детском саду: пуфики, столики, стульчики, стоечки, подставочки для цветов и т. д. Играет крошечная, монотонная, если не сказать занудная, музычка: три музыкантика — ситарист, бонгист и органист, а скорее меховист (он играет на треугольной гармони, лежащей на боку, похожей на кузнечные меха). Ситар сказочен, бонги вполне земные, африканистые, а кузнец-музыкант выдувает, выдыхает из мхов своего инструмента мелодичный (насколько это вообще возможно) хрип. Хрип с хрипотцой и легким

покашливанием и повизгиванием. Еду не несут. Музыка играет. Ты подзываешь вэйтера еще раз. Еду не несут. Музыка играет. И еще раз: еду не несут, а музычка играет. От углового столика отваливает огромный сикх (все на месте: куртка-пайджама, легкая чалма и кирпан/кинжал за кушаком). Он подходит к вам. Ты встаешь, и сикх, смущаясь, говорит тебе:

— Сэр, вы заказываете музыку… — Волосы музыки пахнут небом. Небо пахнет птицей и великим ничем, которое ты называешь богом, гармонией, духом, прекрасным-ужасным, абсолютом, вечностью — всем тем, что мы называем жизнью. Иной жизнью под иным небом.

— Ты устал? Может быть, уже пора?

— Что — пора?

— Отправиться на вечную рыбалку. Зависнуть навсегда между небом и водой. Там, на Острове твоих, уже твоих, поэтов?

— Знаете, я ведь и так уже лет тридцать suspended in time. Но из зависания своего, это ведь не плен, не наказание, не пытка, — из своего suspended я научился распространять себя здесь — ЗДЕСЬ — и жить. Дед мой, Иван Иваныч, прожил девяносто пять. Моему третьему ребенку от третьей женщины-жены Киры три месяца. Он тоже Иван. Нужно меня подзадержать здесь. Еще лет на двадцать, как минимум. Мой сон кончился. Как нос Гоголя. «Нос» Гоголя. Нос — сон. Палиндром — царапина вечности. Это, знаете, словно птичка в горсти царапает твою кожу коготками прежде чем улететь. Упорхнуть. Улететь от Пыкова-Мыкова, двух сексуальных протестантов в гуще советской и постсоветской толкотни, бега на месте — спиной вперед… А где, если бежать на месте, спина? грудь? сердце? душа? мозг головной? глаза?.. От Чеснока-Чиполлини и бежать не нужно. Он сам бежит — почти уже убежал — от подлинной словесности. От кого и чего бежать? От туркменов-джентльменов? — Волосы музыки натянуты, как струны гравитации. Это не тяготение, а отпускание себя и посылание себя — всюду.

— Но ведь так было всегда? С младенчества? (Она сегодня была почти родная тебе; нет — родная. Кто? Сестра? Праматерь? Смерть? Вечная жизнь?).

— Так было всегда… Может быть, это… наши встречи… разговоры… — есть самое главное событие в моей жизни?.. Почему я? Почему я и Вы?

— Потому что не все видят то, что видит тебя; не все слышат то, что слышит тебя; не все говорят с тем, кто и что говорит с ним. Ты — уединенный. Ты уединился в себя и в себе, потому что ослеп, оглох и онемел от пустоты мира…

— От социализации всего на свете?

— Вот именно. Как устроен этот мир?

— Никак.

— Как устроен твой мир?

— Мир — это круги: от ближнего к дальнему. Круг первый — растения, вода, потом круговой тальник, ива, ольха, потом круг болотных цветов, потом круги осины, березы, сосенок, елок — и все это полукругом, будто КТО их посадил здесь. А в центре вода… В воздухе круг первый — водоплавающие, уточки, гуси, лебеди, поганки (красавицы!), водоходящие и вводеходящие — цапли, кулики; потом трясогузки; потом полукруг синиц-снегирей-воробьев-соловьев, овсянок (их здесь сорок видов!), камышовки, вороны, вороны, сороки и скворцы; а верхний полукруг — коршуны (черные), ястребки-тетеревятники и соколы (сапсаны), они летят, как мысль, когда весь воздух, вся атмосфера — мозг. Мозг мира.

— Да, Ваня. Так. Sic! А в центре — вода. Вода есть глаз, ухо и уста. Она одновременно видит, слышит, молчит, шепчет (прошептывает то, что хочется ей сказать), говорит, смеется, плачет, поет…

— Орфей…

— Орфей — весь из воды. Эвридика — из суши.

— А я?

— А ты — из воды, суши и огня. Огонь наполнил тебя пустотой, которая порождает и тьму, и свет — одновременно…

— Я сошел с ума?

— Да.

— Ты не шутишь?

— За смертью не прикалываются, как говорят твои сородичи, которым ты, слава Богу, чужой…

— Я не чужой. Я — хуже: я чудовище, нет, чужовище; с рождения — в себе, пропавшем в живом и мертвом мире. Я не стал чудовищем — я был им. Я — в обществе — чудовище.

— В этом слове есть «чудо». Чудной. Чудный. Чуждый. Чующий и чуемый миром.

— Ну да… Однако я, скорее, трава, земля, птички (синица! щегол! снегирь! сорочонок! коршун! сапсанчик утренний! птич-ч-ка!). Я, глубинно, одновременно и болезнь, и лекарство от этой болезни. «Белая береза под моим окном…» — ты же видишь иное: видишь со стороны свое зрение, зрение окна и зрение дерева; они — три зрения — соединяются в одно зрение, которое уже — перезрение… Что же оно видит??? Вот — метафизика… Или! — истинная физика, утраченная в ощущениях социализированного человека…

— Sic.

— Так?.. А-а-а, так бывает?

— Так было, есть и будет.

— Но: Ходасевич сказал: придет поэт — и это будет поэт-бизнесмен, делец, строитель своих карьер — литературной, социальной, финансовой и т. д. Подступила к горлу — снаружи — утрата онтологического страдания и счастья быть поэтом… А? Не так?

— Ты забыл о несвободе политической и политологической сноровке…

— Ну, сегодня, в третьем десятке двадцать первого века (третьего тысячелетия Его!) все знают, что кремлевские мечтатели переродились в кремлевских дельцов — до самых нижних, крохотных камней. США всегда стояли на деньгах, на прагматике. И Европа — с 17–18 веков. Какая там на хрен музыка! Как говорит моя дочь (а ей уже за сорок): вот музыка, папа: тыц-тыц-тыц-тыц-тыц + ∞ tits. Титьки получаются… Все знают сейчас: ну да, это индейцы загнали англосаксов в резервации и до сих пор гнобят и уничтожают их; это евреи жгут до сих пор нацистов и антисемитов в печах и травят газом (боевым) в автодушилках; это Сталин, поэт и религиозный деятель, оттянул в лагерях 40 лет; это Наполеон до сих пор (вот уже 210 лет кряду) гоняет русских казаков через Березину и обратно; это бедные германцы заставляют Адольфа Ш., художника, писателя и фюрера всех искусств, жрать эрзац-хавчик и воевать свою Великую Империю; это жесткий, коварный хам Николай II расстрелял Ленина, Крупскую и Свердлова; это страшные и узкоглазые («косые») вьетнамцы бомбят без продыху Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес; это афганцы вторгаются ежегодно и одновременно (о, завоеватели, поработители!) в Англию (Великую Британию), в Россию (СССР и РФ) и в США; это индийцы в течение трехсот лет мучили англичан, расстреливали их из пушек… Это не я! Я только пукнул.

Но — неактуально. Здесь — денег нет! Это кто-то очень культурнообразующий назначил пятого редактора журнала «Ура!» — и тоже драматурга!.. Актуальненько — это вульгарненько и бульварненько: театр — не словесность, а кинетика с нарративчиком…

— Зло. Очень зло.

— Да. Зло. Но не злобно. А точно и правдиво. Как под пыткой. Театр и кинематограф первыми подлегли под entertainment — и перестали быть театром и кино: они теперь — хоровое хренопение и киновно. Зло? Да. Зло. Но правдиво. Художественное познание приостановилось. Начались художественные выкрутасы под румынскую музыку («Маяковский, не шумите, как румынский оркестр!..») — и все голышом.

— Мир, ваш мир, всегда был таким. Всегда.

— Всегда?

— Да. И двадцать тысяч лет тому назад, и пятьсот тысяч.

— Может быть, и так… Я один. Не один. Нас с десяток. Остальные не видят разницы между поэзией и масслитературой, а если и понимают, что эта разница есть, то все равно — в силу хорового своего «творческого поведения» — барахтаются в бесконечных хлябях беллетристики в прозе, в стихах, в драматургии, в критике и в эссеистике. Ты пишешь книгу об этом — смеются. Смех — защита от правды. Ты пишешь книгу о гармонии, о Мандельштаме — ее не читают: скушно, господа, и страшно думать о природе гармонии, о Мандельштаме, о метафизике, об интерфизичности вещества поэзии и музыки…

— Ты кому-нибудь говорил все это? Майе? Кире?

— Да. Майе и Кире. Но не до конца, не до полного моего смятения последней прямотой думаемого и страдаемого. Боюсь напугать их своим безумием.

— Это благоразумие. За-умие. За умом человеческого хора…

— За всяким умом открывается новый ум. Я — о персонально-бытийном мышлении.

— Знаешь, с появлением звукового кино фильмы, тем не менее, остались немыми. Песенки многородной, разнообразной, но однополой попсы остались беззвучными: синтезатор своим токаньем и слабым пульсом (тихо-тихо) заглушил, а затем и придушил песню. Пятьдесят лет назад битловское «All you need is love» сменилось (или переродилось) в клубняк, в клубный, в ночеклубный «All I

need is love tonight», а «Una furtiva lagrima» так и осталась незнаемой и неслышимой. Любовный напиток остался нетронутым, загустел и стал куском засохшей глины — для пританцовывающего хора (немых и дерганых: брат-братишка-братан, когда меня отпустит?!). Милые гедонистические грызуны размножались, как ртуть из градусника, е.нувшегося на пол, и эта ртуть раскатывается тысячами прелестных и потешных (но — смертельных на вдох) шариков. Ты слушаешь фортепиано, в котором живет Бах, — и плачешь уже не от собственно музыки, а от одиночества в ней. Ты говоришь с любимой так, будто спрашиваешь у нее, уточняешь дорогу (направление), путь — куда?! В любовь? Нет, ты всегда в ней. У кого и что ты спрашиваешь, когда говоришь с любовью? Ты говоришь с любовью?! То бишь с самим собой. Какой-нибудь Бардак Абома или Лёня Бережной е.нут целую страну — и ваших нет, карта бита: кучка триллионеров заграбастала нефть, газ и территории. Англия до сих пор (и всегда) считает Россию лишней страной и гневно сетует на то, что Сибирь принадлежит этим, мать их, дикарям. А с каких-таких Уэльс, Шотландия и Ирландия стали доминионами, фуфлом Англии? Кучка триллионеров и семнадцатый флот США-СССР-Англии-РФ-Испании и Албании контролирует очертания всех материков…

— Это все суета. Мелочи — гигантские, на земной взор, — происходящие всегда. Вечность для вас и ничто в пределах мироздания… Живи один. В деревне. Бросай службу в журнале. Ходи на рыбалку. Переглядывайся с водой. Следи в толще утреннего тумана, в его ходах и коридорах на воде за тем, как движется Он.

— Я видел его ступни. Страшно и смешно сказать «пятки». Его ступни — как бледные листья, узкие и крепкие, растения нецветущего, растущего сразу в воздухе, на земле, в воде и на воде, а еще — в твоих глазах, лишенных взгляда: ты видишь сразу, напрямую, без взгляда. Взгляд — посредник. Взгляд прослойки, прокладки между тобой и тобой. Он ходит во мне, окрест меня, сквозь меня… — Иван встал из-за письменного стола, самодельного, корявого, сколоченного из восьми брусков и прямоугольного куска фанеры, но покрытого пропиткой, темно-коричневой, благородного и старинного чайного тона. Он оглянулся — комната пуста. Он вышел на крыльцо, высокое, крытое навесом на четырех колоннах (кирпичных, капитальных) — в память о дедовском доме с фронтоном о трех

колоннах с колоннадой, расходящейся в разные стороны вдоль широкого торца усадьбы — как объятие, начатое, но не завершившееся. Иван спустился на кромку сада к рябине («малой», «большая росла через дерево к северу — через яблоню, старую и покрытую по стволу и веткам лишаями драгоценного зелено-седого цвета). Он посмотрел — долго — на небо. Пусто. Темно. И одновременно тесно от звезд. Выпустил в безветренный взгляд огромный цепеллин табачного дыма — прямо в Пояс Ориона. Любимая до боли под ложечкой Кассиопея — ее куст, ее объятие, ее птица, ее бабочка — была на месте: росла, парила, пошевеливалась от веяния ресниц, когда Иван моргал, мигал или щурился…

Он вернулся в дом, вошел в свою комнату с печью-камином и сказал в пустоту:

— Есть зазор между бытийным, человеческим, историческим, социальным, культурным и музыкальным (поэтическим) состоянием обезличившейся личности. Пять зазоров. Пятерня пустот и шестерня темнот. Ты движешься по этим пяти пустотам, продолговатым и бесконечным. И — никогда! — не выберешь из них ни к бытию, ни к себе, ни к людям, ни к истории, ни к культуре, ни к музыке и поэзии. Ты стоишь в темноте — и не светишься, и Она тебя слушает, видимо, улыбаясь.

— Зажигает кто-то… Нет, Кто-то свечу. Она вспыхивает и сразу почти гаснет. Свеча — жизнь. Гаснет — детство… Потом она разгорается, пыхает, рвется огоньком вверх и горит ярко. Ярко. Но — свеча кончается, опускается до огарка и вдруг опять пригашается. Это старость. Или — зрелость. Детство и старость — самые сильные возрастные состояния человека, мира, природы. Им свет не нужен, чтобы быть. Они сами свет. Он не светит замечательно кратко, но ярко, будто кто-то горит за них, за ними, с ними, ими самими… Так?

— Да. Так…

Снег полетел. Окно стало пестрым от двух темнот и одного снегопада. Снежинки летели густо, не завихряясь, почти хаотично. Медленно и быстро одновременно, но без музыки.

— Телефон. Межгород…

— Звук отключен. Как Вы?..

— Это из Питера. Жена Володи Симака.

Иван взял трубку стационарного (городского) телефона… Поздоровался. Долго молчал — слушал. Потом севшим, как в сердечном

приступе или с перепою голосом, спросил, глядя никуда и чуть отводя трубочку радио-телефона в сторону:

— Когда?.. Вчера?.. Неделю назад?.. Из «ТТ»?.. Да. Я знаю. Я так и знал…

Ты осторожно, как гранату, положил трубку на место. Сел. Но не на диванчик, а мимо. Прямо на пол, как и хотел — здесь палуба пошире. Закурил. Бросил зажженную сигарету в пепельницу. Заплакал. Лицом. Без слез. Сделал обезьянью мордочку в седой ухоженной бороде.

— Вдову зовут Оля. Она с трудом нашла тебя. Вспомнила, что ты думал всегда, по рассказам Володи, стихи. Зашла в интернет. Нашла твой сайт. И так далее.

— Что делать? А?

— Жить дальше… Сакен Абылхапов тоже погиб. На охоте. Случайный выстрел. Самострел, как вы говорите… А теперь прижмись спиной к дивану, вытяни ноги на полу — и прижмись. Юра погиб год назад. По пьянке. То ли повесили его, то ли сам повесился…

Ты сидишь на полу. Один. Никого с тобой нет. И цилиндра на башке нет. И трости. И зеркала целы. Пять зеркал: прошлое, прошлое прошлого, ненастоящее настоящее и прошедшее будущее. Ты глядишь в каждое зеркало. И зеркала всматриваются в тебя: кто таков? слабак? идиот? немтырь? Ты поешь — в себе — чудовищную песенку: Сигарета, Сигарета, ты одна не изменяешь. Я люблю тебя за это. Ты сама об этом знаешь… — А фоном звучит Good night, Saigon — некая смесь мелодраматичности, сентиментальности, меланхоличности, ложно-маршевого энтузиазма с пеплом трагичности и просветами (вертикальными) душевного подъема, который перебивается бандитской припевкой, отловленной тобой в Гарях, в поселке с поселенцами, зэками, оттянувшими по четвертаку как минимум: Шолды, Ёлды, Раскошолды, Расколды, Шелды, Елды, — и так сотни раз без остановки. За этими Раскошолдами видны еще два зеркала: в одно не заглянешь — оно прозрачное, и за ним виднеется седьмое, и ты знаешь, ЧТО в нем. И ты всматриваешься в него. И вдруг в тебе начинает звучать некая ария из некоей оперы некоего Чайковского «Некий Онегин» — козлячьим тенором, козлетоном: Піду ли я дручком пропертый, иль мимо прошпандорит він… — любимый напевон Ивана, Вовки и Юры. Ты включаешь в себе политморсос — и ни слезинки. Политико-моральное состояние Вани Орлова еще может при-

ходить, входить в Ваню и мешать ему не жить. Что-то в тебе все еще базлает, ржет и вихляется обертонами, но ты уже иной: тебя сейчас не возьмешь за цугундер. Потому что с поэзией ничего не происходит, она не рушится, она константна… Тебя называют в твоей стране, да и зарубежом, поэтом первого (переднего?) ряда (новый такой, блин, статус), а ты не ведаешь, в каком ты ряду, — да и, вообще, находишься ли ты в зале?! Твои друзья — братья — погибли. Все ушли. Твой родной брат погиб в тебе, и ты в этом сам виноват.

Роза, о чистая двойственность
чувств, каприз: быть ничьим сном
под тяжестью стольких век…

И — под тяжестью Надгробья Рильке. Не выскочишь: все уже там. Все, кроме Киры и Ваньки-малого, ему три месяца. Умудрился родить дите в шестьдесят пять своих мальчишеских лет. Мальчишка. Мальчонка.

Скрытая замкнутость, как ты себя
из всего извлекаешь,
исторгаешься даже из взлета,
о, Мощь!..

Застывшего,
словно жажду глоток,
тяжесть пронзает…

Но из мертвых и спящих
струится,
словно из твердых туч
обильный дождь
тяготенья…

О, Райнер, я работаю поводырем и толмачом себя самого: думатель стихов ведет себя — человека — и говорит с людьми за него. Говорит с Вовкой, с Сакеном, с Юрой, со всеми, кто умер и ушел в тебя — жить дальше; с Осипом, с Райнером, с Фёдором, Александром, Михаилом, Евгением, Велимиром, Николаем и Арсением…

Человек — как слепец — нашаривает рядом с собой, как пачку сигарет, как спички-зажигалку, как очки, — ЧЕЛОВЕКА. А человека нет. Его нет потому, что его не было. Исчезающий человек (ты-ты-ты!) в исчезающих цивилизациях, сгущающихся и влажнеющих солью надежды в клубиках (как дите — в кубиках!) ночных. Все опустевает: военные уничтожают военных, мирные — мирных… Исчезающее государство не дотянется до другого, тоже исчезающего или уже исчезнувшего. И тьма нагревается светом, но не перестает быть тьмой. Тьма света городского… Нет: тьмы света городского высвечивают стенки стеклянные аквариума, вольера, мегаполиса, имитации жизни, политической возни (ради денег, денег, денег), симуляции культуры, съеденной до сердцевины тик-токами, румынской попсой, голыми задницами бесполых существ… Что у тебя осталось? Что у тебя еще есть? — Музыка и стихи. Дерево и птица. Небо и земля. Снег и звезды. Деревенские звезды. Ты двадцать лет — в деревне. Теперь вчетвером: Кира, Ванечка, пес Норд и ты.

Эпидемии, пандемии, дистант, интернета хоровое и всеобщее безумие. Ты читаешь лекции — под запись — по приглашению. Ты работаешь в «Ура!» в отделе поэзии. Ты ведешь литературный клуб при редакции. Ты думаешь. Думаешь себя, мир и стихи. Что дальше? Где — дальше? Впереди? Вверху? Дальше — вертикаль. Русские городишки, поселки, села и деревни гибнут. Нижний Тагил, где ты стал когда-то в юности, до армии еще, чемпионом СССР по метанию диска, — Нижний Тагил трансформировался, в Иване, из Книжного и Нежного Тагила — в Низкий Тагил. Все стало низким. Все — кроме смерти и Москвы.

Крым ударил по монолитной плите России, но не расколол ее, не пробил насквозь: от удара по ней пошли лучевые трещины, расчертившие географическое тело на секторы, в которых образовались уже иные люди. Либералы, демократы, патриоты, президентцы, антипрезидентцы, ЛГБТ-персоны, силовики, армия, флот, военные летуны, полуразрушенные вузы немосковские (УрГУ был влит, вылит, пролит в УПИ, и политех заглотал университетскую нежную организацию: УрГУ распилили на институты — трижды, — и университет умер; особенно глубоко и, видимо, навсегда умерли гуманитарные факультеты и кафедры, а особливо досталось филологам и философам — а то как же, дармоеды и вольнодумцы; бесполезные для войны и денег профессии — а что делать с людьми, с их

интеллектуализированными душами?!). Гельмут Грех, глава наиважнейшего банка, резюмировал: грамотеи и образованщина нам не нужны — они мешают делать деньги и спокойно спать; дальше, мол, пойдем без духовно-интеллектуального балласта… Душа твоя взъерепенилась: вспомнилось, как по молодости мы все — дебилы и орлы — хотели взорвать обком КПСС [«съехались «волги» к обкому, черно-кошмарного цвета; съехались ВОЛКИ к обкому…»], и ты хотел его взорвать в конце восьмидесятых [а ты умел это делать!], не подозревая, что он [энтот абкомъ] есть часть тебя. Исполнилось сорок лет твоей преподавательской работы. И ты — доктор филологии, профессор — уволился из этого весьма женственного и, естественно, жестокого места. Тебя не убила (пока что) пандемия, и ты начал читать лекции о поэзии, точнее — о природе и веществе поэзии. Сделал 16 пробников — лекций двадцатиминутных, и тебя начали приглашать в он-лайн семинары, и ты начал делать то, что мечтал делать всегда: в универе это было невозможно. В универе никто не знал, что ты думаешь стихи и что твои стихи публикуются в России и за рубежом, переводятся на европейские (и иные) языки, что у тебя есть книги, что тебя даже награждают премиями и побрякушками вроде медали «За отвагу в литературе!». Премии, награды — это все не имело и не имеет никакого отношения к твоему думанию стихов: ты давно, лет с пятнадцати, «шизофренировал» себя, разделил себя на человека и думателя стихов (немтыря), разогнал по разным сторонам жизни, смерти и любви — и не подпускал их друг ко другу,— пусть маются поодиночке. Такие вот дела. Так распорядилась Она. Кто — Она? Она — это и ты, и не ты. Она — воображение. Она — поэзия. Она — гармония. Она — вечность. Она — богиня тишины. Тишины, которой ты говоришь, думаешь, записываешь. Поешь, плача. Плачешь, напевая, распевая, голося.

Немтырь — главное в тебе и в тех, кто прикасается к тебе — рукой, слухом, взглядом, мыслью, болью и радостью, подлостью, предательством, ложью, речью и душой.

Окружающее тебя человечество становится все более незнакомым. Друзья, товарищи, приятели исчезают: умирают, перекрашиваются, переобуваются, сдуваются, уединяются. Новый знакомцы с трудом узнаются (за редким исключением). Евсей Елисей Евгений Озимов разбогател, сходив в политику, в гордуму, в облзаксобрание, купил квартиру, как сейчас говорят журналисты, «АККУРАТ»

супротив памятника Ленину с Кепкой. Он теперь дома, на отдыхе — писатель и культур-литератур-треггер. Ахновский и Дюжий умерли (но они всегда проходили словесность по касательной). Орест Дюжий повесился: самоубийство — лучший и действеннейший пиар литератора, музыканта и вообще арт-субъекта. За ним повесился (тем же способом — на ручке балконной двери в сидячем положении) прозаик и стихотворец Шура Ирландцев (почему? — Майя Вяземская вздохнула: «Ваня, он впервые столкнулся с реальной жизнью: родил ребенка, а работать он не способен — никогда не работал и денег не получал… Такая вот катавасия…»). Все это ребята, особенно Орест Дюжий — это в большей степени изготовители или попсы, или скабреза, или гламурноватой ваты. Творческая интенция — горизонтальная с редкими вертикальными эрекциями. Стилизаторы. Фэйкописцы. Регенеративисты. Копиисты. Хоккеисты без шайбы на льду.

Познакомился в Песчанке (деревне, стоящей на реках Чусовой и Песчанке) с известными артистами кино (и театра?) Виктором Павловым и Анастасией Вертинской (Володя Баб привез их «на пленэр»). Напились. Запомнился вопрос Павлова и Вертинской:

— Настя, а почему ты, топлес, всегда руки поднимала вверх до упора в фильме этом, первом русском, ужасов, а?

— Чтоб титьки стояли…

Вот такие, как говорила трехлетняя Куля (лет сорок уже назад), «пизя» и «хои»…

Бродский как-то сам по себе разлюбился — не играми разума, но игрищами остроумия. Трижды Иосиф Александрович снился тебе. Первый сон: ты лепишь пельмени в общаге для препов, в комнате, нет, в комнатище, в зале Вовки Неболина. Стоишь себе с сигареткой в губах — и пельмени ладишь — тесто и мясо. Праздник. Великий, так сказать, Октябрь. Уж наступил… Вдруг — ты чувствуешь затылком — дверь в комнатищну приоткрывается. Оборачиваешься на темный непросвет, на щель между косяком и дверью. И — видишь: сюда (откуда?!) заглядывает Бродский. Иосиф. Александрович. В комнате светло, и он щурится из тьмы коридорной — и замечает, различает тебя, зная, что ты его не видишь. Бродский оглядывается во тьму и кому-то говорит:

— Это Орлов?! Иван Орлов? Сааам Ааарлов?! — дверь осторожно прикрывается, и ты думаешь: привиделось.

Второй сон: вы идете с Бродским по свердловской грязной улице Чапаева вдоль стройки — возводится хрущеватый домик — общага. Будущая общага. Вы останавливаетесь. Закуриваете и смотрите — весна — на зацветающую черемуху — сирень. И ты краем глаза-сознания-слуха-предчувствия замечаешь, что кран (строительный, башенный, со стрелой, допотопный — от Хрущёва еще) начинает крениться — беззвучно — и падать. На вас. Иосиф этого не видит, он что-то говорит о звездочках соцветий сирени («синели» — по-древнерусски). Ты не хочешь пугать его, напугать, встревожить etc. — и осторожно оттесняешь Бродского с тротуарчика в чистую грязь газона. Кран падает — как ветер с неба. Рядом. Земля вздрагивает. А Иосифу пофиг. Он всё — о четырех, о пяти и даже о шести и семи лепестках цветка сирени-синели. Руки твои посинели. Иосиф спрашивает:

— Что с тобой, Ваня? У тебя губы синие.

— Это от сирени, — с трудом выговариваешь ты. Фраза здесь — абсолютно материальна…

И третий сон. Камбоджа. Ну, Кампучия. В рейде. Группа семь плюс один. Семь — это разведка. Один — корреспондент от CNN. Почему-то Бродский. Блин, это же не бедный-бедный Афган. Это рас.уяренные три страны — пиндосами: Кампа, Лаос и Вьет (в небо Вьета бомберов не пускали наши ракеты и истребители, поэтому герои Вьетнамской войны сбрасывали бомбы из бомболюков на Лаос, — т. к. с бомбами в брюхе, под брюхом и т. д. не сядешь на взлетку — е.нет и разнесет). Ты выставил четыре секрета: N, Z, E, W, — и вы сидите теперь вдвоем с Александрычем у костерка. Пьете спирт и виски, курите камилек («Camel») и слушаете битловскую «Happiness is a warm gun». Ты подсыпаешь, точнее — сыплешь, мусорок травяно-лиственный, труху эту небесно-земную, — на огонек, который водит желто-голубой, оранжево-алый хороводец плазмы, тепла и света. Ха-ра-шо.

— Иосиф Александрович…

— Просто Иосиф.

— Спасибо. Вы…

— Ты.

— Спасибо… Иосиф, ты не думаешь, что тебя попрут с CNN?

— Напротив. Повысят. И хорошо заплатят. И вообще, здесь интересны все стороны конфликта. Войны.

— Мне тяжко обращаться к Вам на ты.

— Чувак, на ТЫ обращаются только к Богу, к другу и к войне.

— Ты с войной на ты?

— Нет. Я с ней на вы-вы-вы… Ведь ты еще в СССР? Еще не рванул на Запад?

— Ну, это в той жизни. Препакостные были времена. Но ведь и ты, чувак, поживешь на воле, в загранке. А потом вернешься.

— Да. К счастью, «Часть речи» уже написана.

— Уже все написано. Пока вот только не дошло все этого до мира сего.

— Работает транзистор. Музычка и музыка. «Радио Люксембург» — радиомаяк для летунов. Слышится «Dear Prudence». Битлы.

— Чаще транслируют свеженькое: Элтон Джон «Funeral for a friend», например. Странная штука: будто Северное сияние озвучено, особенно в начале вещи.

— Гайдн страшнее.

— И Гендель… А Purcell?

— Да-а-а… Пёрсл. Перлы черно-белые.

— Знаешь, здесь, на этой войнушке, людей так много, что поговорить не с кем.

— Говори с собой!

— Помнишь упавший кран в Свердловске?

— Это не кран. Это город твой, да вся страна упала на кран. Рухнула.

— На вертикаль?

— Да рухнула, свалившись с горизонтали. Такой вот вектор.

— Снебапад.

— Все кончится: здесь через два-три месяца, СССР — через шестнадцать лет. В жизни раз бывает, но — шестнадцать лет.

— Пуд времени. Последний пуд… Ну-с, где же подарок от министра виноградных дел?

— «Ахтамар». Армянский.

— Лучший коньяк. В СССР.

— И окрестностей.

— Многовато окрестностей. Хотя, их всегда больше…

— Города? Городских гор?

— Вот-вот.

— Туда ее в качель. Все на хрен социализируется, демократизируется, политизируется… Зирується… Руется… Ется… Ца.

— Социальное время разрослось и обнаглело — полезло из всех дыр.

— Но: «Это не мы — это время такое» — утверждение слабаков.

— Интернет — забава для слабаков, лодырей и тупиц.

— Иосиф, ну ты, прям, цитируешь меня в будущем…

— Ты еще, Ваня, наслушаешься и насмотришься. Начитаешься обложек (дальше — книгу — не сможешь) Нервополоскаевой, Полы Джоновой, Стахо-Оховой, Львовича (который заполнит своей толстой жопой все и всяческие [О, Ленин! Почему не Леннон?!] лакуны, пустоты и даже полноты «современного словесного искусства». Мать их так… Плебеи. Не-певцы. Певец — Орфей. А не порнограф и жополюб. Такая вот публично-домашняя квартирка «литературы». Но! — она не страшнее идеологии текста. Нет, не страшнее… Убивать приходилось? Ну, как вы выражаетесь: противника. Уже вполне вероятного. Или — невероятного?

— Плеонастический вопрос.

— Избыточность — это война.

— Да, сплошной плеоназм. Гигантский. Вещество войны — везде. Особенно в тебе. Ни хрена с ним не поделаешь. НЕ ПОДЕЛАШ, АДНАКА…

— Стихи пишешь? Записываешь?

— Стихи думаю. И музыку. На-вперед. Если уцелею.

— Уцелеешь. Да не весь.

— Человек ЗДЕСЬ — Робинзон. Вот твое — «Робинзонада»:

Новое небо за тридевятью земель.
Младенцы визжат, чтоб привлечь вниманье
аиста. Старики прячут голову под крыло,
как страусы, упираясь при этом клювом
не в перья, но в собственные подмышки.
Можно ослепнуть от избытка ультрамарина,
незнакомого с парусом. Увертливые пироги
подобны сильно обглоданной — стесанной до икры! —
рыбе. Гребцы торчат из них, выдавая
тайну движения. Жертва кораблекрушенья,
за двадцать лет я достаточно обжил этот

остров (возможно, впрочем, что — континент),
и губы сами шевелятся, как при чтеньи, произнося
'тропическая растительность, тропическая растительность'.
Скорей всего, это — бриз; во второй половине дня
особенно. То есть, когда уже
остекленевший взор больше не отличает
оттиска собственной пятки в песке от пятки
Пятницы. Это и есть начало
письменности. Или ее конец.
Особенно с точки зрения вечернего океана.

— Это будет написано, кажется, в 1994 году?
— Да, в девяносто четвертом… Страус в трусах.
— Он всегда в трусах, даже когда без них…
— Часы у тебя клевые. Спец? Махнем не глядя? Подаришь?
— Да. После боя. Если убьют.

И с неба ответил: «У нас отдохнешь!..» Заработки. Приработки. Халтура… Однажды у тебя было одновременно семь работ: универ-1; универ-2; универ-3; руководство союзом писателей; Дом писателя; академия-1; академия-2; нет, больше семи, еще ведь и пеньки бывали, и приемная комиссия (3), и председательство в ГАКе (универ-2), и Совет по защитам всяческих диссертаций. А еще десятки книг молодых авторов, которые ты составил и написал к ним предисловия («ПЕРДИСЛОВИЯ»). Денег ты не берешь за составление и пердисловоговорение. Грех. Однако писатели тебе их суют, подсовывают, подкидывают. На сигареты. Денег за такую работу брать нельзя: Он и Она накажут — замолчишь и разнемтыришься, — а это — конец… Ушел из Союза и Дома писателя — попал в редакцию «Ура!», — Олег позвал. Золотые пять лет: беседы и дружба с Олегом (к тому времени почти все близкие умерли). Потом Олега сменил другой драматург, а того вытеснил третий. И — пошло: ты написал больше ста эссе. Дима Лунный издал их в Москве двухтомником. Красота!.. Красота, которую ты полюбил и не заметил. Ты — как на зимней рыбалке: провалился под лед по самую яйцефабрику и делаешь вид, что все нормально. Так даже лучше — свежит тебя теперь повсюду, обновляет.

Бытовухе и социалке не скажешь: «Машка, выстрелю в жопу», — у соседа (в Каменке-Песчанке) была кобыла Машка с огромным

задом — крупок (метр в поперечнике); Машка была ленива, тупа, но хитра; хозяин (лесник Володя) как-то не стерпел такой вязкой езды и пригрозил Машке, мол выстрелю прямо в твою красоту, — для убедительности он выстрелил из ружьишка в сторону — лес замер, а Машка пошла шибче — с тех пор это заклинание — «Выстрелю в жопу» — работало безотказно. Лошадь закусывала стальные сухари, выкатывала лилово-голубые белки своих прекрасных глаз и делала вид, что старается… Дошел ты со своими работами до тишины в башке и постоянного звука окрест, странного звука, точно паук попукивает над ухом:

Слышишь этот странный звук? —
Это пукает паук…

На стене сидит паук с диссертантами наук. Иван выгорал. Все в нем пустело. И Кира, видимо, чувствуя это, тоже заметалась. Ваня предложил ей пожить недельку в городе — в деревне глухо, тихо, одиноко. Только паучки попукивают в головенке. Но Кира резко ответила «нет!» и, смягчаясь, добавила: «У нас будет ребенок…» Ого. Да. Ну-ну. Так не бывает. Тебе, Ваня, 66, а Кире 25. Откуда, блин, дети?.. Да оттуда, все оттуда же…

Владимир Казаков — Несравненный — поддержал тебя:

когда удар весны совпал с раскатом кровель,
чугунные лучи скользнули по воде,
и черные мосты, подчеркнутые кровью,
повисли как времен невидимый предел.

он означал ничто, он был прозрачней ночи,
слегка касаясь звезд, слегка касаясь нет,
и, будучи ничем, был, как ничто, отточен,
последней белизны подчеркивая цвет

Белизна — всегда последняя — последней не бывает. На свет и цвет белый появился Ваня, правнук Ивана Иваныча Орлова-Черминского.

А Казаков (Владимир) все не унимается:

о, поздняя моя отчизна!
о, слово умершее вслух!
какой усмешкою ты вызван,
созвездий сгорбившийся дух?

Усмешка Бога? И возрождение слова в думании мира и стихов. И дух созвездий распрямился и пошел сразу всюду и нигде, то бишь в тебе.

Десять лет ты провел, находясь постоянно (и во сне, и наяву) в состоянии одиночества: один, в одиночку. Ты читал свои лекции, руководил магистрантами, аспирантами и — редко — докторантами; ты писал статьи (научные), эссе, книги (разговоры с Майей Вяземской — с диктофоном и помощниками), монографии, учебники и прочее, что, в этом самом прочем, спасало не тебя, конечно, а скорее — жизнь твою. Ты был — внешне — с людьми и работой, но внутренне всегда оставался один — в бульоне соленом, едком и бьющем тебя током, электричеством отчаяния — постоянное внутреннее перенапряжение спасало тебя, как ты это понял позднее. Трижды ты решался самоубиться. Искушение вечное, по Тютчеву, самоубийство и любовь. Зов, так сказать, смерти. Вызов ее — тобой. Подманивание ее к себе. С напряженным равнодушие ты смотрел ей то вослед, то в глаза ее, отсутствующие и пустые, как дыры звезд в темноте. Дыры, дырочки и прорехи. Кира все изменила. Ерёма как-то с иронией сквозь слезы сказал:

О Господи, води меня в кино,
корми меня малиновым вареньем.
Все наши мысли сказаны давно,
и все, что будет, будет повтореньем.

Как говорил, мешая домино,
один поэт, забытый поколеньем,
мы рушимся по правилам деленья,
так вырви мой язык, мне все равно.

Над толчеей своих стихотворений
расставит дождик знаки ударений.
Окно откроешь — а за ним темно.

Здесь каждый ген, рассчитанный, как гений,
зависит от числа соударений.
Но это тоже сказано давно.

Деление чревато не размножением-умножением, а умным жжением. Безмолвным извне, вне тебя и трубным, гулким в тебе. Ты емкость для эха таких призываний.

Зов смерти. Не зов — а так, окликание ее. Подзывание ее. Вызывание из толпы умирающих, где ты уже не скажешь, как Саша Ерёменко:

Жаркий полдень
Бутылку вина
Ворую в универсаме…

Где ты — сама себе бутылка с самим собой, протрезвевшим и потому пьяным от себя и своей трезвости. Жалкий полдень охватывает твою жилистую полночь, сильную и светлую. Такую светлую, что можно жить без глаз. «Да, камень, где Барятинский сидел» — фраза, порождающая гнусный пересказ «Однажды русский генерал на карту Турции насрал…» Мир пьет из тебя, из бутылки-тебя, а ты не пустеешь.

Однако мы часто думаем стихи так, будто боимся разбить сосуд языка. А чего страшиться? — мы уже — все — целиком в емкости языка, но не — поэзии и не — гармонии. Так разбей эту бутыль. Стань сам себе языком и сосудом языка и себя: себя-языка. Впусти в себя, как жизнь и смерть, гармонию и красоту. Поэзию… Ты сам по себе — и язык, и поэзия. Но — не сосуд. Сосудом, вместилищем и хранителем становится невыразимое.

Пётр Чейгин очень помог тебе:

Одиноче воды, по которой гулял Одиссей,
хрипа трав, по которым прошел иноверец,
эхо жизни взошло, эхо года упало, и вереск
родословной скамьи свил кормушку для
солнечных змей.

Одичала любовь, спит поступок у стен бездорожья.
Чище шаг и светлей шпили гласных на кальке болот.
Раскошелится дым, заневестится демон порожний…
Выхлоп Солнца —
слеза на стекле как даргинская пуля горит.

Эхо влаги изустной. Циклоп свеченья отовсюду и ниоткуда — но снопом! — тебе в лоб, в точку одинокого ока. Ты играешь с пятимесячным сыном Ваней в котяшки-бодяшки: вы упираетесь — нежно — лбами, и лица ваши сближаются, почти срастаются, переходят друг во друга — и вы видите тот самый одинокий глаз, одичавшее око напротив — одинокого и одичавшего — своего… Нет, это не циклоп и циклопик — это окоемный глаз, взгляд, взор — всевидящий и безошибочно точный и проницательный, когда проницаемы и ты, и он, и мироздание, внутреннее, двойное, и внешнее — одинокое. Одинокое число существительного «СУЩЕЕ». Substantiv.

О тебе стали писать. О стихах. О книгах. О монографиях. О твоей феноменологии. О тебе — стихотворце (они говорят: «поэта») написала монографию Татьяна Шубина, старинная подруга и почти сестра. Нина Беридзе издала внушительный тест о тебе, о стишках твоих (в составе огромной монографии «Поэт и книга»). Эффект циклопизма повторяется. Литература и наука смотрят в тебя, но ты отклоняешь свой лоб от соприкосновенной с челом науки. Науки о чем? О себе? Оххх!..

Три пары глаз сопрягаются в очи. Взор — шарообразный. Не фасеточный, а монолитно-гладко-без ворсинок-распахнуто и объятно шарообразный. Икряной. Потому что его много. Бесконечно много. Жить и умирать — трудно и легко. Ты так и произносишь этот кольцевой глагол: «житьумирать». Все твое существование целиком — умещается в трубу калейдоскопа значения нескольких слов: не-жить/преджить/до-жить/жить/житьумирать/любитьтворить/сотворить/умирать-не-умирать/пересотворить/не-жить и т. д. по кольцевой, вдоль радужки души. 8 слов. Восемь… Ты всю свою жизнь что-то собирал: искал-собирал. Но! — не копил. Люди-копилки тебя не интересуют. В отрочестве ты коллекционировал глины, разные ее состояния и качества — для лепки. Инженер-казак, папаша, отвадил тебя от ваяния, пинками загоняя под полутароспальную супружескую железную кровать с панцирно-пруженной сеткой

под матрас (матраццц!). И ты сдался (внешне) и взбунтовал — раз и навсегда (на твою вечность, на твое «всегда») — внешне — против не «папы», но против этого обывалочно-мещанского и тупого мира борьбы за некий ИЗМ. Ушел в стишки. И — стал нумизматом. Брат Андрей, бывший братик, всю твою нехреновую коллекцию распродал (потом и «За отвагу!» скинул за денежки). И вот, спустя сорок лет ты начал собирать ключи. Любые. От древних до самоделок и штамповок. Развесил их по стенам веранды дома в Песчанке-Каменке. И подумал: блин, почему? Ключи?! — а потому, что если есть ключ, значит есть и замок, а где замок — там и дверь, а где дверь — там дом, мир и одиночество. Одиночество твое, леса, тайги, тундры (по соседству), реки, озера, ручьев-речушек, зверя, птиц, трав, кустарника, репейника, татарки, ромашек, эдельвейсов (горы!) и гор. Одиночество всех и всего… Да, колокольчики еще собирал. Раздарил. Звенело в ушах и без них: колокольчики крови в сердце, в мясе твоем, в ушах… В языке русском и испанском. Много-много консонантных колокольчиков поддужных — и чуть меньше вокальных рынд и церковных раздумчивых колоколов.

Ты «работаешь» в трех местах. Точнее было бы сказать «бытуешь». В универе (уволился из женского рая с удовольствием) — теперь в институте художественном читаешь историю русской литературы, теорию литературы (какая там, Боже! — теория!), теорию (и практику стихосложения), руководишь стихотворцами и прозаиками etc. Еще ты читаешь лекции on-line в интернете — москвичам, сибирякам, израильтянам, немцам и даже японцам — красота! А еще работаешь в журнале «Ура». Был «Урал» — стал «Ура», или «Ура!»: «л» потерялось, потому что умерла, нет «умИрла лубоф». Умирала: минус «ми-» и «а» — получилось «Ура». На Урале (ну, на урале) с литературой все ясно: все произошло; все всё написали — таперича хватит (летиротуры итак хватат): Решетников, Мамин, Бажов и борода Бажова (на заседании по вопросам культуры сначала Обком КПСС, а позднее и Губернатор решили — раз и навсегда — хранить БОРОДУ БАЖОВА в ПЯТИЛИТРОВОЙ банке, — в Банке Развития Культуры и Спорта. По инициативе краеведов пара-тройка слабоватых письменников были удостоены чести стать улицами, улицами-тезками писателей. Так оно справедливее и точнейше. И — тоньчайше. Майя Вяземская смолчала (Бажова любит), но губы крепко сжала — словом не разъять.

После двенадцатилетнего запоя ты ровно двенадцать лет провел в обнимку с ветром и вприглядку с огнем и водой: четыре года ты просидел в одиночестве незрячем, но прозорливом на Утесе, на камне огромном, восставшем над Чусовой; еще четыре года ты просидел на озере, над водой и с водой в лодке, на мостках и берегу; и, наконец, четыре года ты просидел возле баньки своей у костра в обнимку с ответным зрением огня, огонька, пламени, плазмы, жара, тепла, морозного зноя — зимой. Воздух, вода и огонь вернули тебе землю, а земля тебя: ты высидел, вылетал, выболел, выстрадал свои «Элегии». Выстрадал — от «страдать». Думать стихи — это и страдать их, и счастливеть от них. И помирать. Элегии вытрезвили тебя окончательно. Вышла книга элегий. Посыпались премии. К чему? Поздно. Ты научился видеть и слышать себя, видящего и слышащего незримое и незвучащее. Ужас и счастье. Ты был сам себе ужас и сам себе счастье. Никто этого не знал. Не заметил. Но ты — заметил себя в великой пустоте тесного мира и ненамозоленного движением и покоем мироздания.

Ты медленно, но неизбежно и все заметнее, отходил от всеядности толпы. Языковая, речевая и текстовая всеядность сначала облекала тебя — нет, топила! — отчаяньем в отчаянии. Но потом что-то произошло. Что? Ты ушел далече и безвозвратно от едоков информации, трендов-брендов, идеологии (любой!), разглядев пустоту во всех сферах социальной жизни и во всех процессах социализации мира. Вернее, сердца мира. Сердцевины. Центра. Ольга Седакова помогла тебе. Майя помогла тебе. Ты брел Бог весть куда в потоках когнитивной катастрофы: информация — это знания минус опыт, духовный, интеллектуальный, психо-физический, кровный. Интеллектуальная и духовная нулевизация вечности и бесконечности — вот апокалипсис подлинный.

Борода Бажова и сивый мох краеведения еще повевали, веяли, дули в себя — на «Ура»: журнал (редакция) побаивался заправских свистуновс иссссзаправссских литсератстурныхс деятелееей. Тсвоюс матсь! Ух-с… Олега на посту главного редактора сменил другой Олег (уже третий!), живущий и думающий, как все, кто не живет и не думает. Были в редакции (и в редколлегии) Настя и Алексей, оба писатели и редакторы — с ними ты и сдружился. Не поневоле, а по судьбе. Оба были твои бывшие студенты. Филологи. А ты уже (да всю жизнь) не мог без филологов: все девяностые (до тысячного

стакана) ты твердил себе и миру: «Не с кем поговорить…»; «Не с кем поговорить!»; «Не с кем поговорить!..?..!..»; «Не с кем поговорить!!!»; «НЕ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ». Настя и Алексей (еще и поэт) спасали тебя во времена всеобщей когнитивной и духовной катастрофы. И Настя, и Алексей, и ты, и еще два-три екатеринбуржца, думающие волшебный текст,— это художники, обладающие странной, но мощной интенцией укрупнения незримого, называния невыразимого. Душа такого словесника центробежна: она исходит из того, чего почти в мире не осталось — из микроскопических точек красоты, потом, поднимаясь, расширяет этот микрокосм до размеров хаоса и космоса, а затем превращает их сначала в хаокосм, а конечно — в экос — в огромное нечто, что и притягивает (сильных и талантливых), и отталкивает (слабых); это НЕЧТО есть главное, не имеющее словесного выражения, но это невыразимое — вдруг — на огромном удалении, силой гравитации таланта,— ословляется, оязыковляется, звучит, музыкалится. По Эзре Паунду, появляется мелопоэйя, фанопоэйя и логопоэйя. То бишь поэзия (до сотворения красоты) во множественном проявлении гармонии, чуда, божественности.

Алексей сказал:

Я пчелами съеден, обрезан судьбой,
Мне, видимо, все по плечу
И, веришь ли, ангел, мне плохо с тобой,
Но я без тебя не хочу.

Когда человек с рассеченной трубой
Пытается мной говорить,
Мне страшно поверить, что буду с тобой,
Но, думаешь, можно не быть?

И так мне зима засыпает глаза
Обратно в берлогу уйти.
На свет невечерний легко, стрекоза,
Немного печально, лети.

Кто и Что пытаются мной говорить — ТАК говорить:

Чем тебе оплатить
Жизнь мою или сон
Осень умеет плотить
Дух и плевать в лицо
Солнце гореть и греть
Люди зачем-то при
Вот и трамвай уметь
Ехать Тобой внутри
Вот и уметь народ
Гены Тобой сложить
Или наоборот
Фоном Тебе служить
Наоборот Тобой
Выдуман край родной
Чтобы не быть одной
С осенью и с тобой…

Такая вот — не по-Мятлевски — Грамматика Любви. Грамматика Тебя. Грамматика Ее. Грамматика Его. Грамматика Грамматики Невыразимого. Да, точно — Грамматика Невыразимого. Или — Семантическая Грамматика Мира:

Мне кажется я долго жил на свете
И жизнь свою я прожил как-то мимо
И даже зябко выходить из дома
В печеный полдень августа смотри
Пар изо рта кузнечиков…

Настя написала (и поставила на сцене) несколько пьес. Твои любимые: «Спецкупе» и «Пленка цвета крови». В них по-шекспировски соединяются центробежность и центростремительность одновременно от малого главного — к большому главному, недостижимому: интенция художника подобна интенции Самого. Его. Того Самого.

Кому-то скушно. Скушно жить. Ходит такой господин, бухтит, чертыхается, насвистывая пугачёву или румына (полтора аккорда), ругает все на свете, который (свет) не вращается округ его персоны, опустевшей точно в тот момент, когда кончилось детство. Твое детство выжило — одиночеством (глубинным), безотцовщиной,

немтырством, воображением и думанием стихов, подвигов и музыки. Кира росла (и «выросла») без отца-матери. И ее, как тебя, «воспитывали» дед с бабушкой, называя дочкой. И твой дед часто окликал тебя: «Сынок!», а бабушка все манила тебя, выманивала из окрестной нечистой жизни: «Маковка!», «Ванечка!», «Деточка!»… Вы с Кирой близнецы по детству, родившиеся с интервалом в сорок лет. Есть люди, которые всегда слабы и беспомощны: покинувшие (добровольно) свое детство, они всю жизнь играют во взрослого, пока не сыграют в ящик. Елисей Евсей Евгений Озимов как раз таков: круглый год ходит по городу в валенках, пишет (крайне редко) то рассказы, то стихи, играет на гитаре, декламирует Маяковского, обожает Хэма и Фолкнера, слушает джаз и битлов, любит азиаток (а иногда — периодами — всех подряд), имеет кучу детей (повсюду, где задерживался на пару-тройку дней), дружелюбен, но хитер, как озимые, обманывающие снег и морозы. Елисей знает в России (в СССР раньше) и в мире — всех, кто так или иначе похож на него: писателей, художников, киношников, музыкантов. Он любит всех. Но любит голосом — низким, замшевым с золотистыми кисточками. Женщины от Елисея-Евсея без ума. Они, действительно, без ума, и сами признают это после расставаний с Озимовым. Елисей рыж, но не как Рыжий Б. Б. Его рыжина благородна — она от предков, от южных тюрко-славян. Он — эрудит. Память у него огромная, как небо. Знает все. Читал все. Одним словом, страшно прекрасный человек. Пожилой Хлестаков, добегавшийся до генеральского чина (в политике, в литературе, в культуртрегерстве, в КУЛЬТУРЕ). Театральность, поза, удумчивая мина, необъятная улыбка и серьезный баритональный басок то ли Штоколова, то ли городничего (внушительный живот), то ли главаря ООН, обещающего миру покой и благоденствие.

Елисей:

— А канцлер Германии счас кто? Штольц?

— Да. (Это ты отвечаешь.)

— Это как в «Обломове»?

— Ну да.

— Тогда нам ПИНДЕЦ.

Ты:

— Кому — «нам»?

— Да всем, кто не немец.

— А как же укры?
— Глокие укры шпеко будланули…
— Окра — и кудрячат…
— Опенка.

Вы пьете кофе в кафе. И кофе пожирает вас. Всем хорошо, только девушке плохо: то кофе, то воды, то водочки, то ручечку с бумажечкой — записать про Штольца и укропов…

Не спится все чаще: лежишь и смотришь кино. Свое кино. Кино закрытых глаз. Режиссеры и вся команда бесконечной вереницы фильмов — воображение, память, стыд, страдание, отчаянье; ничего смешного — только боль. Разная боль: болюшка, болячка, больненькое нечто, нестерпимо болезненное, страшные больчики с голыми влажными пальчиками, болюшенька хорошенькая, но злющая. Понимаешь вдруг, что все твои любови длились не более четырех лет: первая любовь — три по четыре, и — конец; первая жена — на четвертом году все рухнуло, — ее измена (на глазах твоих!), сибирская язва твоя; плачи по дочери твоей, двух-трехгодовалой; вои твои — в себя; горячки и бреды (с Ней, нет — с НЕЙ); беседы с Ней; ужас и счастье с НЕЙ; отчаянье и больные муки — с НЕЙ; со второй женой — четыре года нормальной тени и света любви; с Леной — четыре года счастья и четыре-затем-года самоубийства (три томика «Элегий»); с Олей — четыре года; а вот с Нателлой — полтора года, значит — нелюбовь. Ты очень внимателен к цифрам и числам. Слишком: если 2, 22, 222, 4, 44 и т. д. — то жди/стерегись беды. Выставляй дозоры. А еще — 10: 1955 (год твоего рождения) — это 1+9=10 и 5+5=10; армия 1973 — то же самое (7+3=10); дисбат — 1974 (четверка в финале числительного; финаль — это конец лексемы и тебе); 1976 — это 7+6 = 13 (нехреновая циферка), 1+3=4 — это пять командировок + 4 ранения (2 контузии и 2 пулевых + 4 осколочных — в ногах, во лбу, вообще на лице, на шее, на ногах, сзади, где не было щитков; Лена тебя бросила в 2010 ([10+10]+10); освобождение от опухоли (онкология) на позвоночнике (один хохол-вертухай бил, сука, в одну точку — в верхнюю часть позвоночника) — в 2019 году ([10+10]+10); ох, десяточка с четверочкой — полное дерьмо; да, в четырнадцать лет тебя впервые избили до полусмерти (шпана Уралмашевская); проколол тебя Серый в твои пятнадцать лет (1+5=6 → 2 и 4).

Однажды (в Африке) ты бился на кулачках, на ножах до смерти — четверо (4!) суток. Ничья. Угомонили друг друга. Переустали. И перестали. И разошлись. Это был масай (о, масаи — великие воины, а ты великий терпеливец). Ты его перетерпел. И племя тебя не тронуло. И группа твоя не перебила их ни по одному, ни оптом.

Ты говоришь все это — себе — и слышишь в ответ: Ирина Летова умерла. Вы не дружили, но крепко уважали друг друга. Ирина даже предлагала сделать новый перевод поэм Гомера (она — подстрочники, ты — остиховление вокализированным стихом с обилием двойных гласных — не дифтонгов, а — на стыках морфем). Много лет назад (ты был еще юный преп) ты сидел в деканате на заседании факультетского партбюро — писал протоколы, собирал взносы, писал шаблонные отчеты и вообще занимался черт знает чем. Шло заседание — утверждение кандидатур препов на переизбрание (звучит как «переиздание»). Это была формальность. Для «протокола». В деканат ввели Летову. Точнее ввел — завкаф, профессер Марков (ты уже знал, что он служил в армии вертухаем и однажды, по его словам, конвоируя какого-то гражданина с 58-й статьей, так устал от азиатской жары и бесполезной ходьбы, что взял и пристрелил его из карабина в спину)… Летова отчиталась: курсы, публикации, учебно-воспитательная работа и далее по списку. Вопросы есть? Все сидят улыбаются: все хорошо, и Ирина — такая молодая, вумная, деликатная, образованная и культурная… И вдруг Марков подает голос — вопрос Летовой:

— Ирина Анатольевна, а в БОГА верите?

— Верую…

— Ну вот, видите: сами решайте…

И решили: уволить на хрен. Через некоторое время Ирину взяла кафедра фольклора и античной литературы. Но на полставки. И т. д. и т. п. со всеми вытекающими… Сволочь и сволочи. И ты, Ваня, сволочь. Смолчал.

Сто первый километр. От Екб. Это — Каменка. Это для «изящных словесников». Ты сидишь рядом с ванночкой, в которой пятимесячный Ванечка ополаскивается. Сидит в корытце, как у корытца, и похлопывает водичку. А ты умудохался на дистанте, на стройке (достройке дома деревенского), на думах своих стихозных. У тебя стихоз. Сидишь, уму.оханный, и умудряешься не умереть… А ведь

пора: тебе 66. И все внутри у тебя («ливер», как говорят чекисты и вертухаи) болит, и плачет, и дрыхнет от переусталости.

Ты научил себя говорить в себя, обращаясь к себе на ты. Но иногда (и нередко) ты кличешь себя не во втором, даже не в третьем, а в четвертом, пятом и седьмом лице, — но в числе единственном и одиноком. Немтырь — это чистая и опрощенная грамматика одиночества. Ты включаешь телевизор (интернет используешь только для работ — в журнале, в универе, в институте и т. п.) — на всех каналах вскипают (хорошо причесанные, или — расчесанные) кипятком макароны. Советские, длинные, мощные, крепкие, с хорошей дырой, длинной и сияющей, то бишь бесконечной. Связь плохая. О, как ты прекрасна, отвратительная связь! Социализировано все: и наука, и словесность, и ихняя половая любовь с раздутыми губами, титьками, задницами и нескончаемым голяком плоти. О, мерзость! О, деньги! О, б.яди!

О, пердоплен. Летят пердоплены, ИДЕТ поезда, как говаривал Сакен… О, не смотри на дерево — вспыхнет! Посмотрел. Глянул — и пылает… О, как мутно и темновато окрест — аж в горле пасмурно: пасмурна речь твоя, пасмурный язык твой, пасмурна музыка твоя, заведенная тобой в тебе…

Зачем тебе, милый, коза в городе? А чтоб е.ать и доить. — Так говаривал Барыс, твой бывший друг, аутист и каменщик. А того масая, с которым ты пластался четыре дня, звали Абубабрыс. И у него в его родной деревне была коза. У Абубабрыса были только коза и война. Чистая Ангола. Вот и все имушшшество… Ты сходишь уже не с ума, а с чего-то более высокого. С Чего?..

Песенка «Morning bird» — это лесенка домой — из безумия: ты слушал ее из музцентра и из башки своей 4 года — и теперь живешь только утром с птичкой на плече. Днем ты пашешь. Ночью — думаешь музыку и стихи. Ох, хороши твои дела, Ваня! Как хороши…

Ладно, хорош стонать: Бог бережет водоноса (в пустыне под снайперами и пулями водоносили по очереди — до первой царапины или дырки в жопе). Ты чумеешь на заседании кафедры: обсуждается материал для словаря синонимов-антонимов… «Жить-быть-существовать-наличествовать и т. д.» и «Не быть, не жить, не существовать, умереть, наконец!» — ты запускаешь по кругу (шесть столов сдвинуты в подиум с локтями, бумагами и книгами):

ЗАГАДКА
На боку вкось — на спине врозь.

Все членши кафедры по очереди читают, слабо улыбаясь и пожимая плечами. Потом Марина Слаутина, сидящая напротив через два стола, вопрошает тебя очами своими: ЧТО — ЭТО? — и пожимает плечами. И ты пускаешь по кругу клочок бумажки: «ТИТЬКИ». Марина прыскает, хватает телефон — и вылетает из помещеньица кафедры: у меня, мол, важный звонок. Потом выпархивают по очереди Татьяна, Аня, Галя и остальные — и у всех наиважнейший звонок. Ты сидишь один за огромным шестистолешным столом, а во главе этого чудовищного сооружения завкаф. Она встает. Смотрит на тебя почти с яростью — и тоже выходит. Вот такая вкось и врозь…

Сукин ты сын. — И вспоминаешь, как двадцатилетняя дочь Куля и трехлетний сын Миша — мешкаются в прихожей перед походом в зоопарк (как произносил это словечко Миша, «ЗО́ О́ ПА́ А́ А К»), и ты говоришь им, мол, поторапливайтесь, сукины вы дети, — а Куля: «Пап, мы дети от разных особ, мам и, соответственно, сук; так что правильнее будет: «Поторапливайтесь, не мешкать! Дети двух сук…» — и Кулина ржачка, и одновременно — укоризненноватый взгляд тебе — в твой бесшабашный мозг…

Ваня, пятимесячный, смотрит на тебя, младенец, проходя иные миры — заново — перед рождением и после, — он видит то, что незримо, неведомо, и одновременно сей мир. Он видит рай, придуманный Ей и Тобой. От Нее — Тебе, и от тебя — Ей, и от вас обоих — Ване. Ваня часто ныряет взором огромных глаз в себя. Хорошо в детстве «мырнуть», сделать мырк, — и получится «крым», «кырм» и «кымра». Кло*к*ая кымра как-то кудланула в сей момент нас обоих и кудрячит кеня, то бишь, меня…

По телеку — война. Война. Война. В сердце твоем образуется дырка, сквозная, и в нее сквозит ветерок предсмертья. Сквознячок сердечный вызывает не страх и не боль, но мысль простую: политики — люди неумные, но хитрые; серьезно-веселые, но беспринципные; жадные, но скаредные, скупые, напрасно-богатые; неталантливые, но честолюбивые; самовлюбленные, но амбициозно самоубийственные; равнодушные, но жестокие. Как хороший парень, дядька, алкаш Ельцин: доброта (и добро) вытекли из него

с потом, с мочой, с мозгами, с душой, с мочой, с бухлом и с дурью. И он стал истуканом на шарнирах, а на ручищах и ногах — ниточка; «Господи, благослови Америку!» — это вопль и призыв к уничтожению своей земли с людьми, с наглыми посткомсомольцами с нерусскими фамилиями, распродавшими Россию так, как это сделали украинские олигархи. Олигофренно хорошо!..

— Борь, у тебя есть чемодан?

— Есть. А что?

— Жаль… Жаль… У меня нет.

— Но у меня есть бутылки водки образца Хруща-Бровастого, с жестяной нарывашечкой с хвостиком,— дернешь — полосочка жести обрывается по кругу, и бутылочка, ну, это, пузырь открыт; а в пальцах у тебя жестяной головной уборчик:

— Жене привет, а сыну бескозырку. Ельцинскую бескозырку…

Сегодня, нынче, во времена вечно-военные этим — ЭТИМ ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАННЫМ (все поколотые, изрезанные косметологами и проч.) не понять: они знают только тыц-тыц, раз-два, тик-так, тик-ток etc…

Фрагментарная природа совести современных людей — изумляет: кинофикация сознания, мышления, словесности и части культуры (визуальной) порождает клипово-липовую доброжелательность, милосердие, ненависть, благородство, честность (честь!) — все по выбору; все состоит из войны (киновойны), крови, денег, денег, денег, предательства. Воображение кинофицируется, и воображение превращается в новый (бывший фантазийный) мир: мир крови и гламура. И некая Целлочка Людоедка ведет некую «светскую жизнь», убого-городскую…

Ты носишь дрова в дом, в баню — морозы за –35. Хо-ро-шо. Покойный Саша всегда добавлял к финалу любой попсовой песенки свой куплет:

Фа-фа-фа
Ля-ля-ля
Ке-ке-ке

Sic! Так оно и есть: ке-ке-ке. Ты в деревне — значит на земле, то бишь дома! Это — главное. Главное — ничего не бояться. Ничего,

кроме плена. Да и в плену жить можно: жить планом побега, жить жаждой свободы, жить силой своей немереной, которую не одолеет никто. Плен? Ты ушел из лаоссокого подвала (после дюжины театрализованных расстрелов), ты ушел от двух жен. Ты ушел от государства, от чиновников, от Соединенных Штатов Чиновников — и теперь фига ли бояться? Никогда и нечего не бойся! Страх оставь там, обочь, а ужас свой носи с собой!

Носи ужас свой с собой. Носи всю мерзость свою — в себе, не выпускай ее наружу. Пусть ее… Она один хрен крепко прикрыта оболочкой стихов, которые ты думаешь. Эта оболочка непроницаема, крепка, невесома, но вечна. В пределах твоего персонального бессмертия и смерти и вечности планеты, которую нынче доубивают четвертой техреволюцией и войнами. Мерзость твоя — для тебя — прекрасна: это лень, суесловие, работы твои, халтуры, лекции-лекции-лекции. Но! — не книги научные, околонаучные и ненаучные. Но все это — ничтожно, так как планета твоя, наша и Бога — умирает: человечество взбесилось и самоуничтожается (как растительный и животный мир) — безделием, голодом, войной, трендами-брендами, ангел мой. Оххх!.. Все рухнет, да недорухнет, — и ты вернешься, поставишь пластинку (винил!) Пола Маккартни, его «Jet». Ты — подлетаешь, ты прилетаешь, ты входишь в дом, ты — дома!

Гайдн — Танита Тикарам — Шопен — Пол Маккартни — вот счастье. Нужно жить. Нельзя, нельзя доживать (а тебе 66), надо жить! Несмотря ни на что: война, все умирают от горя, все умирают от пандемии, все обмирают от ужаса, все болеют, все несчастны — и скопом, и персонально — но доживать это все нельзя. Живи! Живи! Живи, Ваня! Живи сквозь смерть!

Ты рассматриваешь скорбное лицо пойманного утром и умершего к вечеру в тазике карася: огромные, еще как бы и не мертвые глаза его золотые, впалые щеки доходят до жабр, отвисшая нижняя губа, словно говорит он:

— Госссподи…

Ты заплакал. В себя. Чтоб никто не видел. Это не Земля Франца Иосифовича, здесь всюду глаз за тобой: профессор и писатель — твои прозвища. Погоняла, клички и прочая хрень, на которую местный человек способен. Здесь есть художники, еще один писатель (второй помер), но он не кажется — пропал в городе. Здесь есть Абдулла, стайка бомжей, Китаец, Лесник, Князь Серебряный,

две ментовочки, Сергей Николаич, Икромёт, Хитрая Вдова, Теща, Кошатница и Собачатница, Генерал, Петлюра, Фаина (необъемная татарка-кулачка), Бубенцы, Рыжий, Косорылый и Лбище. И еще разные жители, в основном, изгои (из городов Урала) и вполне счастливые и крепкие люди… Зимой тихо и пусто в деревне. Зимой здесь живет и множится небо. Особенно по ночам — звездами, Млечным Путем, голубым ветром светил, уже не далеких, а вполне достижимых взором, но по-прежнему непостижимых. А еще — луна. И ты понимаешь-припоминаешь, как ты перестаешь «ходить в гости» — все смотрят на тебя, особенно хозяйка чужого дома. Если ты чувствуешь, что нравишься хозяйке, ты тихо, втихую, потихому, как призрак самого себя, уходишь. Она (хозяюшка большого-малого чужого дома) звонит тебе, вы встречаетесь в кафе, в универе, в сквере, в зоопарке: ходите, молчите и т. д. А однажды ночью, когда ты пишешь, сидя в своей комнатенке, однушке, келье, пещерке городской, — она приезжает. Выходит из темноты и идет к тебе, сидящему за столом, за табуретом (столик такой, да?), за гладильной доской и склоняющемуся над стопкой писчей бумаги формата А4. Она выходит из своей темноты в твой сумрак, медленно приближается к тебе, по пути снимая, стягивая, сдергивая, скидывая с себя и отбрасывая прочь одежу свою. Она стоит, голая, над тобой (груди ее — в небе), а ты нависаешь над А4, а седьмой этаж твой скользит на север в сторону Полярной Звезды. Ты успеваешь заметить Кассиопею — ее куст, ее бабочищу, ее, как говорила Ольга Седакова, орлицу, ее дабл-ю, ее изгородь, часть изгороди, часть штакетника, не дающего тебе уйти прочь, вон, не позволяющего тебе перемахнуть его с севера на юг и успокоиться — успокоиться там, на юге. Там, на юге от Кассиопеи, ты слушаешь с сыном Ваней Nothing to fear Криса Риа, а потом опять Персела Chaconne In G, а затем Ханса Циммера (из «Интерстеллера»), потом Марчелло (Oboe Concerto in D, Adagio) и, наконец, Альбинони Adagio in G. Ваня ищет музыку, ее визуальный образец, озирается, но вдруг понимает, что музыка в нем самом, внутри. Она там и живет. Он радуется, Скачет:

Тунчик-тунчик
Перматунчик
Перматунчик
Тунчик Та…

Кто-то прошибает небо Библией. А ты — лбом. Вы с Ваней прошибаете небо, пронизываете его в три лба: в небесное, твое и Ванино… Стихотворение может стать песней (не хочет этого), тогда как песня всегда мечтает быть стихотворением. Ты держишься в этом мире на честном слове. Ты пришит к жизни белыми нитками. Ох, как видно: ох, как заметно, что ты — ЧУЖОЙ. Стиходум, немтырь — в государстве, в стране, на планете этой, социализированной до задыхания, — бродяга. Бродяга: и в уголовном, и в зауголовном, и в угольном, и в угловом, и в Гоголевом смысле. Ты — не лишний. Ты иной. Вот и все. Хрена ли тут скажешь: так есть. И это хорошо. И — Слава Богу.

Она уходит. Хозяйка большого и чужого дома. Облачаясь медленно и страшно, превращаясь в человека из общества — из женщины. ИЗ ЖЕНЩИНЫ. Се — социализация натуры и красоты. А теперь — айда назад к мужу, к детям, к телевизору, к интернету и к прочим прелестям духовно выхолощенной цивилизации. Духовная кастрация, да? Ниче, так бывает. Ишо как бывает.

Матрас Саетгалиев, вперед! — и Ванька делает первые броски (короткие, по 5–10 сантиметров), пытаясь поползти. Да, ползать — не летать. Потруднее будет. Матрас Саетгалиев, вперед! — и ты подставляешь ладонь под Ванькины пяточки, и он отталкивается, и он почти ползет! И ты вскрикиваешь, как в рекламе каких-то конфет всхлипывает гимназическая училка и благодарит за конфетки (блин, щас заплачу) гимназистов, поющих под ее окнами: Спасибо, ребята! — Спасибо, ребенок, пацан, брат-братишка-братан! Это — дворяне! — в воображении рекламщика-айтишника…

Вы живете в Каменке-Песчанке. Дом построил сам — вместе с приятелем, оказавшимся без работы и жилья. Ты находил ему работу, снимал жилье — но все шло насмарку: Лёша был аутист (отчасти): его аутизм проявлялся в погашении практической, актуальной памяти, но зато происходило замещение вещного мира — на музыку.

Лёша был любитель-меломан, скорее, не теоретик, а биограф трех тысяч музыкантов, дирижеров и композиторов — пни его ночью и спроси: сколько детей было у Баха? сколько опер написал Вивальди и почему они не исполняются, кроме фрагментов, ариеток и речитативов, какие головные уборы любил носить Лист? чем обедал Моцарт? как относился к карточной игре Равель? что за дружба

такая была: Шаляпин-Бунин-Рахманинов? был ли не в себе Вагнер? откуда у Вагнера такое занудство и бесконечно долгие роды мелодий без какого-либо заметного результата? и etc — Лёша знал все, но отвечал, используя 50 лексем [20 из них — матерные])… Лёша был народный артист деревни. Нет — поселка. Большая часть России в те поры обитала в поселках, а потом — рванула в полуразрушенные Ельциным города. Однажды Лёша, в конце девяностых, попал в рабство (в Екатеринбург!), он халтурил в цыганском поселке, богатом и провонявшем героином и дурью. Его посадили на цепь. Он пропал из поля зрения Ивана. Но, однако, умудрился, извернулся — и позвонил. Объяснился. Все стало ясно (Ваня уже мысленно похоронил Лёшу: каменщик пропал у цыган, в цыганском раю; понятно — или грохнули, или вывезли из России на Кавказ, продав его голову и руки братьям-горцам. Помог, как всегда, Айсман, главный борец с наркобаронами и цыганщиной торгово-криминально-наркотической. Уралмаш (бандиты) наехал на Цыганский поселок: прибыли пятьсот бойцов и сожгли пару-тройку особняков… Женя Айсман вытащил Лёшу из плена, из рабства, из ужаса тупизны и жестокости (Лёша рассказал милую историю о том, как бабушка и внучка, цыганки, смотрели фильмец по телеку, широкоформатный, с усечением экрана по горизонтали верхней и нижней. Бабка спросила внученьку:

— А че это экран-то узкий стал повдоль?

— А это, ба, фильмец про карликов — пленку экономят, — узкую пустили.

— Вот суки! Нелюди! — взрыднула ба…

Дом построили. Через 50 месяцев Лёша сбежал. Устал от деревни. В поселке веселее. Там бабы есть. Девчонки. Люди. Голуби. Грязь. Картофельные наделы и затопленные шахты изумрудные, уже обогатившие всех (особенно уралмашевцев), кто жаждал. Жаждал внаглую. Напролом.

Ты знаешь, что свобода, равенство и братство на планете Земля невозможны: человек не позволит — он сам себе свобода, брат и деньги. Любое национально-освободительное движение есть нацизм в широком смысле. Патриотизм (а он есть) — это неотвязная любовь к своей земле как почве, как жизни, как кладбищу, как ужасу, как красоте… Демократия — заманка для бедных: будь, дружок, богат, как мы, американосы и прочие пиндосы… Дайте мне

мою землю. Валите в свои города и тритесь там передками-задками до возгорания…

Иносексуалы заглядывают тебе в глаза, как в банные крохотные окошечки, силясь рассмотреть тебя, голого, в этой бане, бесстыдной, душной и безвыходной, которую они строят везде, во всем, в каждом. Особые люди — ни хрена не добавить, не убавить, не удавить, не удивить… Ты бежишь в свою тайгу. И она тебя принимает.

Ты колешь дрова. Комлевые колоды. Ночью морозило. За минус сорок. И ты спохватился. Взял себя, сонного, в охапку и вылетел во двор, под навес, к дровам недобитым. На лету подхватил колун (а-гра-мед-ный), выпнул валенком колоду потолще, поставил ее на попа — и долбанул с полузамаха. Колода лопнула звездообразно. Звездец. Пять толстых поленьев с середкой кофейного цвета. Смерть пахнет кофе… Недолет колуна — конец лодыжке. Перелет — конец колуну. Шейке топорища. Колунища. Поленницу-колодницу развалил колунком на звезды за полчаса. Сложил наколотые в поленничку. Пошел в дом, где гости уже проснулись и завтракали вчерашним мясом и вечной водкой, как говорит Юрик:

Сабойникизаиимса

Ииииино!..

(разбойники жарили мясо и пили вино!..)

На душе похорошело и оттого что весело на пустом месте, и оттого что скоро все уедут, и оттого что будешь ты один (семья: Кира и Ванька в городской квартирке с выездами по поликлиникам, педиатрам на плановые осмотры-приемы). Будешь ты один — с лесом, с деревенькой, с озером с двумя речками и семью ручьями. Будешь ты снег хватать на воле, как хлебные крошки. Будешь ты ждать чего-то. Кого-то. Ее?..

Ты убрал снег со двора. Проводил гостей. Прибрался в доме. Сделал себе фарфоровую бадью кофе (700 мл), вытащил к диванчику стол — сдвоенную табуретку (год назад сломал два позвонка — сидеть за столом стало мукой, а вот в согбенном положении над табуретостолешницей; в наклон, было легче — побаливало, но не шибко; а два года назад ты выскочил из своей онкологии, тоже два позвонка, но уже не на поясницу, а почти на загривке, обросли опухолью: хохлы в дисбате, вертухаи-хозяйственники ненавидели тебя за то, что морпех, за то, что высок, за то, что книгочей, за то, что мужики тебя слушали и слушались, за то, что ты москаль, за то,

что ты не жирный урод со Львіва, не западенник и не самостийник, за то, что ты руками старших своих Гитлера капутнул и бандеру раздолбал, за то, что ты думаешь стихи и диктуешь письма домой всей зоне, за то, что холодно в Заполярье и собаки местные тебя уважают и слушаются, за то, что овчарки сторожевые виляют тебе хвостами и смотрят тебе в глаза, как Сама Всемирная Печаль и как Само Всемирное милосердие)… Достал две стопки бумаги — чистой и уже исписанной, положил их на столик свой, хлебнул кофе и закурил: вознесение духа, тяга духа, обратная тяга духа, когда сидишь за одним столом с филармоническими, с дирижером Маркизом, с Володей Спиваковым; ты молод, но не настолько, чтобы сойти с ума, слететь с катушек. Это как ты однажды проснулся в Книжном Тагиле у девушки-одной, по пьянке суровой — проснулся на диванчике, но под деревянным от времени и пыли ковром, рухнувшем на тебя спящего. Очнулся под ковром, как в могиле, и не страшно: и здесь жизнь есть, и здесь как-то дышат… За филармоническим столом много народу, и все пьяненькие, мягонькие и добренькие, и все так хорошо и полюбовно. И вдруг Нина Николаевна, мать твоей подруги и хозяйки дома, просит тебя:

— Ваня, спой!..

— ?..

— Ну, что-нибудь русское-народное…

— Блатное-хороводное?.. — Ты вдруг понимаешь, что народная песня в конце семидесятых — это открытый протест против соввласти, против игры в ложь и полуправду, против хоров и хороводов а-ля-рюс и политбюро.

И ты начинаешь говорить, произносить Песнь о черном вороне. Не речитатив, не нарратив, не верлибр былинный. Ты просто произносишь ряды звуков. Негромко. Но грудь твоя (а ты поешь не столько глоткой, сколько грудью, как мать твоя, Катя) на лентах интонации выносит в атмосферу то, что называют музыкой. Три-четыре (хочешь — пять) куплета — и Песнь крепнет, расширяется, вжимает в стены всех присутствующих, ломает бетонные перепонки комнат, выносит на хрен в небо верхние этажи — и соединяется с иным воздухом звезд. Все ошарашены. Но ты — самый удивленный из всех: откуда ТАКОЕ?! Песнь Такая?! Вот почему ты ушел из рок-группы, из кабака, где пел и играл на гитарке. Ты не ушел — ты вышел вон на волю.

Лев Маркиз вышел вслед за тобой на балкон:

— Ваня, здесь, на балконе, так накурено… — рассмеялись.

— Вы пишете? Стихи?

— Да. Думаю стихи.

— Точно: думать музыку. Думать стихи. У вас, Ваня, идеальный слух. И голос крепкий. Но вы не пойте на сцене!

— Со сцены?

— Ну да. Не пойте! Пойте в себе, в себя!..

Песнь и пьянь в «Нептуне» вспоминается тебе как нечто явно не твое. Это как в телевизоре баба-генерал с фамилией Медведь. Красавица. Вот, собственно, и все, что можно сказать о генералах в юбке. Тебе снятся казенные сны, кубрики, бараки, школы, университеты, где ты вечно бродишь с ключами от замков, которые должны быть в дверях, которых нет. И никакие глокие укры и бокры здесь не помогут.

Все вышли на балкон и смотрели на ночь, на фонари, на, как выразился один стихотворец-чиновник (бааальшой) — на дождем штрихуемый пейзаж. Стояли, курили, смеялись, смотрели на задницы, пронзенные стрелой, нарисованные белыми широкими мазками и на заборах, и на домах, и даже на полотне асфальта. И ты вдруг вспомнил, как ты пристрелил из револьверчика немецкого (девяностые!) своего друга и наперсника, и выкормыша кота Жулика, умиравшего от рака, боли, истекавшего кровью… Боже мой!.. Слабоумное остроумие девяностых было глобально: им заразил всю страну, Европу и США товарищ Ельцин, воскликнувший в Сенате США:

— Бог! Благослови! Америку!

БН обратился к Богу, предварительно взорвав пару-тройку храмов и Дом Ипатьева («Я убил царя!») без приказа. Шибко в Москву хотел — приехал и покомандовать, и порасстреливать Белый Парламент…

Ночь длилась уже рассветом и оттого казалась бесконечной, как Песнь о Черном Вороне. И генерал Медведица уже пила кофе в Москве, и обе Медведицы думали: «Ни хрена себе! — Мы тоже хочим кофя. Оно — ништяк по утрам-то, до жопы продирает…»

Наконец, к своим шестидесяти пяти годам ты начал осознавать, в каких мирах ты обретаешься, обитаешь, живешь, умираешь и любишь. Некоторые сферы воображения приближались к материализации. Приближались, приближались — и вдруг опять

призакрывались, отскакивали, как баскетбольный мяч от стены. Ты заглядывал в прозу, находясь в поэзии, и видел, понимал, чувствовал, что роман как «жанр» умер. Сразу после Набокова и Булгакова. Далее все, что выдавалось за роман, оставалось крепко форматированным (ну, сюжет, композиция, бесполый хронотоп и куча героев) повествованием, имевшим природу прежде всего игровую, торговую, премиальную, мемуарную и псевдодокументальную. Человек как внутренний мир мира внешнего умер в этих писаниях (за редким исключением). Человек — что хомяк, поселившийся под кучей колотых дров: однажды вы с сыном Мишей разбирали и разносили такую пирамиду дров и в самом основании обнаружили жилище хомяка. Хомяк уже сдриснул, но неспеша, с оглядочкой. Он даже, кажется, показал Мишке кулачок свой обезьяний. Убрали последние полешки и обнаружили на земле квартиру хомячишки (вид сверху!): лежаночки из соломки, аккуратные кучки припасов — картошечка, морковка и даже свеколка, — а у входа в это плоское наземное помещеньице располагался туалетик. Кра-со-та. Вот кто научил нас строит хрущёвки.

Как говаривала одна Потерянная Бабушка из Шатров: «Христосто наш был православный мущина. Не знам, с каких краев. Можеть, и с Шатров родом-то…» Как о Хомяке говорила: так вера ее обытовилась и обиходилась.

Ты сидишь с удочками на озере, а рядом девки «плешутся», мяукают в процессе говорения и криков-кликов своих предныряльных. Вполне по-американски. Мяукающий акцент — говорение в нос, гнусавость с привизгом, с фальцетиком… Ты вспоминаешь, как тебя пригласила одна мымра — больного раком — в хоспис, — выступить, стишки почитать. Умирающего к умирающим. Онкология — дольче мелодия. Нет: онкалогие — долче мелодие, — так точнее. Выступил. Насмешил. Успокоил. Вышел из хосписа, рванул в кусты — и проплакался.

Ты сидишь с удочками, слушаешь уральских американок, наелозивших задницы свои в Турсии, на Мальдивах, в Египте (где ты поймал две пули из АК-47), на Бали. Ты рыбачишь стихи и эту книгу (тайком от себя, чтоб не сглазить). Ты ловишь то, что не поймало тебя. Нет, вы поймали друг друга. Два леща, одно стихотворение и одна книга, уловленные тобой, — невесомы и прозрачны. Безвидны, как все, что принято называть чудом.

Что-то говорит тебе: непоэзия — от Н. А. Некрасова — до Пригова в своей «гиперактуальности». Почему? — Частности бытия (любого) остаются неизменными. Что же тогда меняется? — Меняется Общее, Главное, — меняется константа бытия. Это улавливают только поэты. Редкие поэты. Остальные зарабатывают на бедном (во всех смыслах) читателе авторитет, деньги и частную вечность, которая завершается с гибелью сочинителя и частных социальных ценностей толпы.

Интернет — развлекаловка, которую нынче зовут коммуникативностью и информационной стабильностью. Стабильность мусора, пыли и грязи дарует равенство представителям толпы. Черни. Телевидение — это шоу (бесконечное, подголливудское) и сериалы «Глухая», «Хромая», «Слепая», «Кривая», «Однорукая/Безрукая», «Немая», «Горбатая» etc — эзотерическое, экстрасенсорное надувательство с последующим убийством воображения. Была когда-то в Свердловске ясновидящая Руза Калешова, все перли к ней и за ней: она могла читать газету задницей своей — и голой, и облаченной в трусы и юбку. Великая женщина. Великий человек. Лёше Решетову и Майе Вяземской делать здесь нечего. Хотя эзотерика без истерики происходила и с тобой. Например, история Роковой Кружки поэта Ивана Жданова, который, не выдержав хамства Славы Курицына, разбил о его башку пивную кружку. На бывшей жене Курицына женился поэт Божидар, который ровно через год после гибели пивной кружки Жданова (на головушке Курицына) принял на купол-кумпол-череп удар чайной (большущей) кружки от Ивана Орлова. В первом случае все кончилось миром. Во втором случае Ваню возжелали закатать в кутузку сразу три женщины: бывшая Курицына, она же впоследствии Божидар, а также бывшая жена Лёши Балабанова, снявшего пару-тройку известнейших фильмов типа «Кочегар», «Брат» и все такое. Божидар назвал жену (первую) Вани сукой — и получил (пьяненькие все были). Третья участница по закатке Вани в крытку и далее на зону была художницей (рисовала кошек — и превеликолепно). Звали ее Таня. Именно Таня отбила Ивана от жалобщиков и ментов, вдруг осознав роковую семантику пивных сосудов: два поэта, две кружки и две башки образованнейших идиотов и скотов. Интеллект всегда проигрывает водке. Ничего тут не попишешь. Такие вот дела. Два Ивана — Жданов и Орлов — остались тем, чем были (второй тоже стал известным стихотворцем

в литературочке постдевяностых годов), головы хамов оздоровели. А вот кружки погибли. Настоящие поэтические кружки. Блин. Как однажды бормотнул Саша Ерёма: «Чехов бы сказал: пить надо меньше, а я бы сказал — пить надо больше».

Включили телек: на всех каналах Шоу Уральских Пигмеев, а также Сибирских, Поволжских и Заполярных. А на одном канале бывшие комсомольцы, а ныне писатели, политологи Тюлькин и Мулькин. Приглядишься — ба! да это же лингвисты Пескарь, Щучка, Лещёв, Корасик и Фон Окунефф, но в двух лицах. Щучка была огромной милой женщиной, которая постоянно чихала (как Ноздрёв), но так мощно, что на филфаке одновременно распахивались двустворчатые двери семи аудиторий из семи возможных. Печально. Весело-печально. Пришло время не возвращаться в город. Кира изредка с Ванюшкой мотались в Свердловбург, в Екб и проч. А ты читал свои лекции и on-line, и в записи — за копеечку малую, но шибко нужную. Монетка — такая махонькая, легкая — как раз для Харона — солоноватая на вкус и горькая на взгляд…

Младший Ваня Орлов смотрит в глаза тебе, Орлову-Старшему (Боже! ты теперь самый старший, уже почти древний Орлов), он всматривается в тебя, входит в глаза твои и минуту, и две, и три, и пять, будто припоминает тебя, вспоминает тебя, виденного им ТАМ, где все мы были, есть и пребудем. Где мы все встретимся рано или поздно, но обязательно, непременно. Эт-точно. Орлов-Чермин-ский-младший знает и помнит то, что ты уже стал забывать, почти забыл. Младший напоминает старшему: ничего не бойся. Ты, старший, уже двенадцать лет ждешь войны. Ты знаешь. Каждое утро ты врубаешь новостной канал: началась? Нет? Слава Богу! Но — странно… Она, сука, уже в тебе, внутри — только воображение не выпускает ее наружу и впускает ее в себя. Воображение есть преображение невообразимого — в жизнь. И это больно…

Ты спишь. Ты спишь свою явь и снишь себе сон. Сон с Сашей Сидельниковым: вы в соборе, между вами колоннада, ты хочешь повернуть, пройти между колоннами — к Саше. Но Саша говорит: иди по своей стороне, а я по своей — встретимся на воле, когда выйдем из-под этого каменного колпака. Вы доходите до конца колоннады — и выходите, ты успеваешь спросить Сашу о деньгах на опохмел — он кивает: да, деньги есть, там, на воле, отстегну тебе, а то хрусты ляжку жгут. Вы смеетесь. Ты выходишь вон из собора…

Никого. Ты один. Ты плачешь. Просыпаешься, умытый слезами. К чему такой сон?! Ты встаешь. Закуриваешь. Пьешь кофе. Куришь вторую. Надеваешь куртку («курточку», как говаривала Катя) и выходишь на волю, в сад. Ищешь сигареты — и находишь в кармане (левом) пачечку купюр. Откуда? Это фунты, так сказать, стерлингов — британские. Что за… Что за сон?! И сон ли это? А сейчас? Ты во сне? Или он в тебе? О, Господибожетымой! Саша… Саша… Скоро свидимся.

Ты в деревне почти один. Дачники еще не приехали. Здесь местных — три двора. Остальные — пенсы, дачники и ты с Кирой и Ваней. Пусто. Чисто. Просторно. Как в параллельном Раю. Тезис горький — «не с кем поговорить» — утих, погасился, почти исчез — замена человеческой речи везде, нигде, окрест: язык растений, воды и воздуха, огня, света, тьмы и воображения всегда с тобой и не с тобой. Это как малый Ванёк — он и здесь, и все еще где-то ТАМ. Пьешь кофе под навесом у бани с вывеской (деревянной) на дверях «БАНЯ». Тавтология деревни, воли и вечности. Баня — в бане. Четыре метра на шесть с большим предбанником, где вы с Лёхой жили до постройки дома. Дом — в доме. С печью и камином. Печь — в печи и камине. Ты — в себе, в Кире и в Ване, а главное в стихах. И стихи с Кирой и малышом (полугодовалым) — в тебе. Тавтология времени, существования, наличия всего во всем. Тавтология счастья без номинатора «СЧАСТЬЕ». Тавтология души. Тавтология духа. Тавтология поэзии. Вся поэзия — избыточность, оксюморон — даже дизъюнкция, дисгармоничная гармония и дрожь соприкосновения ужаса и красоты. Всего на свете со всем на свете. Мироздания с пустотой. О, Пустота!..

— О, Пустота! — ты произносишь эту фразу полушепотом, полутишиной, полуголосом.

— И свет, и тьма. — Это Она. Ты ее ждал. Жаждал ждать, ждал — и дождался. — Помнишь, Иван, давным-давно: озеро в лесу и деревеньку?

— Да. Я мотанул, метнулся из того видения в реальность?

— Нет. Не «мотнулся», не «метнулся», не переметнулся, не переместился. Ты и твое место были всегда вместе: ты в нем, оно — в тебе. Это была твоя Каменка-Песчанка, твоя речка, озерцо и река Чусовая.

— Простите за глупый вопрос: а где я сейчас? Здесь? Там? Или в третьем месте?

— Ты — везде… Стихи думаешь.

— Свои стихи?!

— Нет, стихи недодуманные принадлежат всем. Записанные — кое-кому.

— Вот, знаете:

Хе.ачит дождь,
Хе.ачит весна,
Хе.ачит война,
Хе.ачит тоска,
Хе.ачит звук
Не горлом — а всем
Кожным покровом, —
Чт*о* за звук? Отк*у*да звук? Ком*у* звук?

— Это жизнь отнимает у тебя не силы, не душу, а время земное. Чистое время? — Нет, серенькое и солнечненькое. Скоро подойдет, наплывет иное время из иного неба, из иной боли, из иного счастья — время слушать и слышать ВСЮ музыку.

— Говорит: губа не дура. Я аж облизнулся. Значит, душа — не дура: пей чистое время!

— А что дальше?

— Что дальше? — уже не жить, а БЫТЬ…

— Тут услышал я на берегу разговор двух старух о третьей: мол, бабка так стара, что на кладбище стали ставить прогулы.

— Прогулы ставят ТАМ за пустословие.

— Но русский язык… Он вытесняется пустословной аналитикой (во всех смыслах) английского/американского/австралийского/новозеландского АНГЛИЙСКИХ языков… Так ведь?

— Так. Но это здесь. ТАМ ЯЗЫК ИНОЙ.

— Как небо иное?

— Ну да. Подними лицо к небу и почувствуй иной язык!

— Да. Я так делаю постоянно… Но ведь русский язык не потеснился, не уступил главное английскому языку — поэзии не отдал. Русский язык стеснился, сжался, уплотнился до алмазно-лингвистического состояния и стал единственным средством

онтологического, художественного, ИНОГО, поэтического мышления, тяготения и мышления.

— Да. Именно так.

— Вот, послушайте стихи Владимира Казакова, о котором писал преподобный старший матрос Ерёменко, Ерёма, Саша…

— Ты ведь тоже старший матрос?

— Да. Был и остаюсь. Никто этого не чувствует, даже семья…

— Ну, пусть кто-то разбирается со своей семьей.

— Да. С моей семьей разобралась смерть…

опять от сумрака осталось так немного
что даже виден час стоящий на мосту
чугунно наклонясь похож он на немного
глядящегося вслух в речную немоту

и чудится вода ничуть не тверже стали
и чудится «ничуть» колышет эту сталь
и темные часы так башенно отстали
как сумрак вековой сдвигающийся вдаль…

— О тебе и твоей родословной очень точно сказала Майя. Вяземская.

— Княгиня?

— Можно и так сказать, но ты же знаешь, что — «царица».

Ты не друг мой любимый
не добрый брат
нас тобою не страсть и не дом связали
мы с тобой породнились тому назад
не измерено сколько веков и далей

Тогда хлеб был пресен и беден кров
и земля неоглядна суха сурова
и цари отличались от пастухов
только тяжестью крови и даром слова…

Знаешь, как-то Мандельштам, царь поэтов, точнее, со-царь поэтов на пару с Пушкиным, сказал: писатель — это помесь попа

и попугая. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин француз (ну, то бишь французский язык); но, проданный в Персию (где я, б.я, простите, воевал), он скажет по-персидски «попка-дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает дня и ночи. Если хозяину (то бишь языку) надоест, он накрывает его черным платком («Все, сука, ночь!»).

— А еще он недосказал пару анекдотов, начатых им самим и оборванных, так как тишина, пустота, тьма, провал говорят точнее, но глуше:

1) Один еврей стоит — а другой вокруг него ходит…

2) Воевать поляки не умеют, но бунтовать!..

3) Очередь — вид советского (русского, общечеловеческого) медленного танца…

— Помнишь Георгия Владимировича?

— Да. Слушай. Это о тебе и тебе:

Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О, говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразят стихотворенье
Последнее, написанное мной.

— О, Георгий! Я живу с этим стихотворением уже лет тридцать:

История. Время. Пространство.
Людские слова и дела.
Полвека войны. Христианства
Двухтысячелетняя мгла.

Пора бы и угомониться…
Но думает каждый: постой,
А, может быть, мне и приснится
Бессмертия сон золотой!

— С точки зрения мертвых, это полная чушь. Поэты и Музыканты это — знают.

— Хочешь знать?

— Что?

— Не главное. Главное ты будешь познавать и узнавать в лицо ТАМ.

— А что же может быть неглавным и шибко важным для меня?

— Смерть… Слушай! И не плачь! Смерть не смертельна. Она — обязательна. Твоим исчезновением здесь.

— От-сю-да?

— Нет, ты и здесь останешься песнью своей. Все произойдет так, как проистекает всегда. Кончается — начинается. Это один глагол. Самый важный и главный. Знаешь, Иван: сын твой Ванечка — немтырь. Как и ты. Берегите его: он — иной. И ты иной… Кира твоя повзрослеет. Возмужает. Станет сильной. Но! — после твоего ухода… А теперь слушай: помнишь ты как-то говорил мне, что тебе кажется, нет — ты чувствуешь, что ты давно уже помер. Умер. Преставился. Исчез. Но Господь Бог, Абсолют, Гармония и ее братья и сестры, да само Мироздание, само вещество всего сущего показывают тебе пиесу, трагикомедию такую — для того, чтобы ты, по желанию и позволению Вещества, не расстроился, осознав, что тебя уже нет Здесь? Помнишь?

— Да, помню и знаю: тарелочка ягодной юшкой умыта, где губы клубники и с кровью следы… На тысячу ласточек сердце разбито, как зеркало в доме, как небо беды, когда вырывается — с мясом — звезды в отпрянувший ветер оконная рама — в глубокие и золотые сады, где ловят в подолы господни плоды и бабка, и мама…

— На тысячу ласточек сердце разбито: ты, действительно, умер — не очень давно, недавно, года-дня три-четыре назад, несколько часов, минут, секунд назад — прямо сейчас… Какая разница. Поэт умирает часто. А немтырь — еще чаще. Бессмертие — полосато. Оно — забор штакетный: планочка-просвет-планочка-просвет… Просвет. Просвет. Просвет… Вот как ты умирал-умирал — и умер. Умер, как Здесь говорят.

— Я умер… Весь? Умер? Весь?

— Нет. Твое воображение вечно. Воображение — начало любого существования, первое шевеление любого вещества, освобождение любого света — и белого, и темного, и ледяного — прозрачного,

и древесно-золотого, и карего, и голубого, и серого, и черного, и зеленого… Слушаешь? Иван, повторюсь, ты умер Здесь. Это произошло так:

1. Ты ныряешь в зеленую соль Аравийского моря. Вдыхаешь эту соль… В тебе, в середке, в душеньке твоей вспыхивает крохотной бенгальский, арабский, северо-африканский, индостанский огонек. Все.

2. Ты был убит в Египте в 1975 году (или в 1976?). Три пули: в грудь и в обе ноги. Ты три недели блуждал в коме. Но жил. В себе, собой и в себя. Потом умер. Все.

3. Ты умер, читая лекцию в 339 аудитории — «Лексикологию современного русского языка». Фразу завершил (о парадигматических отношениях в лексике) — и умер. Все.

4. Ты ушел в лес. (— Спички, нож, соль, то-се, да?) — Да. Думал стихи у ручья и записывал их на бересте березовой. И умер. Все.

5. Умер на рыбалке в третьем десятилетии двадцать первого века. Умер в лодке, на кормовой банке. Уронил голову на грудь. День был пасмурный. Озеро было без рыбаков и без дураков — одно-одинешенько. И ты, мертвец, был один. Вы с озерцом были один на один. Вдвоем. Все.

6. Ты сидел рядом с пихтой твоей в твоем саду-лесу. Умер. Книга осталась на твоих надколенях. Ветер листал страницы. Слева-направо и справа-налево. Бесконечно…

Содержание

От автора 3

I. От могучей крапивы. 5

II. Тишина распахивается. 84

III. Ивану снился сон 128

IV. Деревья шагали навстречу,такие дела. . . . 195

V. Не смотри в глаза собаке 240

VI. Думающий стихи 315

VII. Каждую ночь во сне. 370

VIII. Слон говорит 422

IX. Душа убывает легко. 483

X. Невыразимое 557

Литературно-художественное издание

Юрий КАЗАРИН

Немтырь
(думающий стихи)

Роман

Редактор — *Евгений Степанов*
Корректор — *Фёдор Мальцев*
Компьютерная вёрстка, макет — *Ирина Ракитина*

Формат 140x200
Бумага офсетная
Гарнитура Minion
Тираж 100 экз.

Подписано в печать 03.07.2026

Издательство Евгения Степанова
109378, г. Москва, Есенинский бульвар, д. 1/26, 70.

Типография и издательство «Клуб печати»
127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи,
д. 40, стр. 1, офис 32.